РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ГУВЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА

И. И. Колышко

Великий распад

Воспоминания



Нестор-История
Санкт-Петербург
2009

УДК
ББК

Утверждено к печати Ученым советом
Санкт-Петербургского института истории РАН

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 06-01–16016д

Рецензенты
к. и. н. С. В. Куликов
к. и. н. П. Г. Рогозный

Колышко И. И.
Великий распад: Воспоминания / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. И. В. Лукоянова. – СПб.: «Нестор-История», 2009. – 464 с. – (Серия «Мемуарное наследие Российской империи»).

ISBN 978–59818–7331–7



Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад»

«Сядьте и напишите свою исповедь <...> Но как напишите! Так напишите, чтобы исповедь Жана-Жака Руссо, которая вошла уже в поговорку, была недосказанной в сравнении с тем, что Вы напишете <...> Пишите все, без всякой утайки. Выверните себя наизнанку — тогда, может быть, Вам поверят <...>

Начните с того, как Вас еще кадетиком взял к себе князь Мещерский, как благодаря ему вы делали свою карьеру, как Вы за взятки, будучи чиновником, проводили дела, как Вы попали в печать, писали под тремя псевдонимами в трех разных газетах, едко переругиваясь сам с собой, как Вы попали в секретари Витте, как Вы после этого Витте осмеивали.

Упомяните о Вашей истории со смолянкой, ради которой Вы бросили семью. Как Вы, пользуясь Вашим положением известного фельетониста Баяна, влезли в целый ряд акционерных обществ и получали там большие оклады <...>

Еще многое другое, что я сейчас не припоминаю, Вы напишите и тогда перейдите к главному — расскажите, что вы делали тогда в Швеции, как вы жили там с немкой, которая была агентом немецкого Генерального штаба, как вы привезли в Россию проект сепаратного мира с Германией и как Вы хотели получить за это миллион»[1].

Так говорил И.И. Колышко журналист и писатель В.П. Крымов во время их встречи в номере гостиницы в Ницце в начале 1930-х гг. (вероятнее всего, в 1933 г.). Несколько дней спустя, когда В.П. Крымов покидал французскую Ривьеру, И.И. Колышко провожал его на вокзале, «точно помолодевший, выпрямившийся», и сказал на прощание: «Я пишу... Вы меня заразили вновь энергией. Я напишу все, как на исповеди»[2].

Через некоторое время В.П. Крымов получил объемистую папку — рукопись И.И. Колышко. Однако оказался разочарован: «Это была не исповедь, это была полемика — такую рукопись нельзя было напечатать, ни к чему, и ему она не по-

---

[1] *Крымов Вл.* Портреты необычных людей // Новое русское слово. 1962. 30 сентября. См. также главу «И.И. Колышко — Баян» в его книге «Портреты необычных людей» (Париж, 1971. С. 151–157).

[2] Там же.

служила бы на пользу»[1]. Поэтому В.П. Крымов передал ее известному собирателю русских бумаг за границей Б.И. Николаевскому. Сейчас она хранится в составе его коллекции в Гуверовском институте войны, революции и мира (Стэнфорд, Калифорния, США)[2] и публикуется с любезного разрешения попечительного совета архива.

Тем не менее, содержание рукописи заслуживает того, чтобы она была представлена на суд читателей. Прежде всего, из-за личности автора — И.И. Колышко. Современники были на редкость единодушны в его оценке. Они признавали исключительный литературный талант публициста, его личное обаяние: «В разговорах Колышко был очень интересен, остроумен и едок и в то же время мог расположить к себе, если хотел. Он очень нравился женщинам»[3]. «Собеседник Колышко был изумительный. Слушая его, казалось, будто для него не существует секретов ни в правительственных сферах, ни в думских кругах столицы. Журнальный мир Москвы и Петрограда он знает до мельчайших тонкостей, не стесняясь в классификациях и оценках»[4]. Одновременно те, кто знал И.И. Колышко, также единодушно говорили о нем как об аморальной, авантюристической личности. К сожалению для автора, такие оценки имели под собой достаточно оснований, это видно и из текста его мемуаров. Но злобы на него не держали, скорее обличая — «отпущали». Тот же В.П. Крымов выдал И.И. Колышко индульгенцию: «За его талант многое простится ему, может быть, все; настоящих талантов мало, он был настоящим, и точно волею судеб у талантливого человека должны быть какие-то непонятные другим изломы и даже пороки»[5].

Вряд ли следует сейчас лишний раз обращаться к моральному облику автора или пытаться судить его. «Великий распад» интересен, прежде всего, тем, что он написан незаурядным человеком, пытавшимся осмыслить происшедшее с ним и с Россией и найти этому свои объяснения и оправдания. Автор так и поставил перед собой задачу — «зарисовать в лицах причины великого российского распада». Да и знал И.И. Колышко действительно немало, поэтому его портреты политиков и литераторов не только колоритны, но и остры, составлены человеком с зорким взглядом.

О самом И.И. Колышко известно не так уж много. Он родился в польской дворянской семье в Ковенской губернии 27 июня 1861 г. Иосиф пошел по стопам своего родителя — офицера-кавалериста. В 1878 г. он окончил Полоцкую военную гимназию, а в 1880 г. — Николаевское кавалерийское училище, откуда вышел корнетом во Второй лейб-гвардии уланский Курляндский полк[6]. Однако военная служба мало привлекала молодого поручика (с января 1881 г.).

[1] *Крымов Вл.* Портреты необычных людей // Новое русское слово. 1962. 30 сентября. См. также главу «И.И. Колышко — Баян» в его книге «Портреты необычных людей» (Париж, 1971. С. 151–157).

[2] Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nikolaevsky Collection. Box 193. № 6–9.

[3] *Крымов Вл.* Ук. соч.

[4] *Троцкий И.* Со ступеньки на ступеньку (к портрету И.И. Колышко) // Новое русское слово. 1962. 2 декабря.

[5] *Крымов Вл.* Ук. соч.

[6] Биографические сведения об И.И. Колышко приведены в статье А.В. Чанцева в биографическом словаре «Русские писатели, 1800–1917» (Т. 3. К-М. М., 1994. С. 31–32).

Жизненный путь И.И. Колышко резко изменился после того, как он в 1881 г. встретился с князем В.П. Мещерским. На какой почве произошло это знакомство, неизвестно. С.Ю. Витте в своих «Воспоминаниях» намекнул, что оно было связано с интересом князя-педераста к молоденьким солдатам и офицерам, поставив И.И. Колышко в один ряд с Н.Ф. Бурдуковым и другими «друзьями» Мещерского[1]. И.И. Колышко категорически отвергал подозрение (видимо, именно за это он страшно обиделся на С.Ю. Витте, что нашло отражение в критике его мемуаров). Но, как бы то ни было, «Гражданин» стал первой трибуной для публицистических опытов И.И. Колышко, который писал в нем под псевдонимом «Серенький». Князь же составил ему протекцию в бюрократическом мире, после того как начинающий автор сменил офицерский мундир на фрак, став в 1883 г. чиновником для особых поручений при министре внутренних дел Д.А. Толстом.

Сразу после назначения С.Ю. Витте министром путей сообщения (1892 г.) И.И. Колышко объявился под его крылом, и новоиспеченный министр послал его на ревизию Могилевского округа путей сообщений. Чистка ведомства была в интересах С.Ю. Витте, начавшего свою недолгую карьеру в путейском ведомстве с искоренения непорядков. И.И. Колышко выявил значительные злоупотребления, начальник округа был предан суду, несмотря на противодействие Сената. Однако С.Ю. Витте остался недоволен: «До меня начали доходить сведения, что хотя Колышко и хорошо проводит расследования, но держит себя при этом по-хлестаковски, т.е. придает положению, которое он имеет в Петербурге, совсем несоответствующее значение», изображая из себя важного чиновника[2].

При А.К. Кривошеине положение И.И. Колышко в Министерстве путей сообщения еще более укрепилось, он стал членом Совета временного управления казенных дорог. Но ненадолго: в каком-то деле И.И. Колышко проворовался. По слухам, проступок даже грозил судом[3]. Возможно, история была связана с вымогательством взятки у инженера Буланжье, хлопотавшего об устройстве железного завода на кабинетских землях. И.И. Колышко прямо заявил инженеру, что он должен дать известную сумму для передачи Мещерскому и министру А.К. Кривошеину. Е.В. Богданович, которому Буланжье передал свой разговор, был уверен, что полученную сумму И.И. Колышко обязательно присвоил бы себе[4]. В результате этого скандала в декабре 1894 г. будущему мемуаристу пришлось покинуть службу. Позднее, семь лет спустя, он поступил в Министерство финансов, опять к Витте, и продолжал числиться там до 1917 г., дослужившись до чина действительного статского советника

Такая служебная карьера, как у Колышко, была совершенно нетипичной. Он не высиживал чины усердием, не добивался успеха бюрократическим талантом и не происходил из сиятельного семейства. Стремительный взлет молодого чиновника можно объяснить лишь влиятельнейшей протекцией (почему В.П. Мещерский так покровительствовал своему сотруднику?) и взятками. В любом случае,

[1] Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 266.

[2] Там же. С. 262.

[3] Там же. С. 291–292.

[4] *Богданович А.В.* Три последних самодержца. М., 1990. С. 185. Запись 22 ноября 1893 г.

его деятельность с конца 1880-х гг. была окружена атмосферой грязи, злоупотреблений и скандалов.

Одновременно И.И. Колышко стал плодовитым публицистом. Он активно сотрудничал в трех газетах: помимо «Гражданина» В.П. Мещерского, это были «Санкт-Петербургские ведомости» (под псевдонимом Рославлев), а позднее — «Русское слово» И.Д. Сытина — В.М. Дорошевича[1] (под псевдонимом «Баян») и «Биржевые ведомости» («Вох»). В 1903 г. он пытался возглавить «Санкт-Петербургские ведомости», интригуя против князя Э.Э. Ухтомского, но неудачно. Против И.И. Колышко был категорически настроен В.К. Плеве, считавший публициста вором[2]. К этому времени сократилось и его влияние на В.П. Мещерского — главным фаворитом князя стал Н.Ф. Бурдуков. Тем не менее, И.И. Колышко не только продолжал оставаться одним из основных авторов «Гражданина», но и участвовал вместе с В.П. Мещерским в закулисных политических маневрах перед началом первой русской революции. В частности, он был хорошо осведомлен о совместных действиях князя и министра финансов, направленных на смещение В.К. Плеве и установление «диктатуры Витте» на четыре года с одновременным проведением ряда либеральных реформ[3]. И.И. Колышко в тот момент играл роль посредника между С.Ю. Витте и В.П. Мещерским. Публицист также продолжал сотрудничество и лично с С.Ю. Витте, играя роль его наемного пера. В частности, И.И. Колышко принял активное участие на стороне С.Ю. Витте в полемике относительно виновников русско-японской войны[4]. Наиболее яркий пример его деятельности в этом качестве — составление всеподданнейшего доклада С.Ю. Витте 17 октября 1905 г., в котором предлагалось учредить в России пост премьер-министра — главы объединенного правительства.

По свидетельству самого И.И. Колышко, он ушел в политическое небытие вместе с отставкой С.Ю. Витте с поста премьер-министра в апреле 1906 г. Он продолжал заниматься публицистикой и небезуспешно выступил как драматург. По всей России прогремела его пьеса «Большой человек», где под именем В.А. Ишимова публика без труда признала С.Ю. Витте. Опальный сановник предстал выходцем из низов, космополитом, болеющим за развитие империи. Фигуре С.Ю. Витте был присущ трагизм: И.И. Колышко изобразил его как человека, прорвавшегося к большой власти, после чего сохранение полученного влияния превратилось в единственную цель. Пьеса не была шедевром драматургии, главный пафос произведения заключался в пятом акте, когда главные герои обсуждали государственные проблемы России. Эта сцена неизменно срывала аплодисменты. А И.И. Колышко неплохо на ней заработал: в 1917 г. он утверждал, что получил от постановок этой и еще двух других пьес (которые, впрочем, были неудачны) 200 тысяч рублей[5] С.Ю. Витте вроде бы не обиделся, но незадолго до его смерти они поссорились. Летом 1914 г. отставной сановник открыто говорил, что закрыл для И.И. Колышко двери своего дома, и обещал со временем

[1] Газета была основана в 1895 г., В.М. Дорошевич пришел в нее в 1901 г.

[2] *Богданович А.В.* Указ. соч. С. 288. Запись 20 июня 1903 г.

[3] Дневник Алексея Сергеевича Суворина. М., 2000. С. 465. Запись 1 августа 1904 г.

[4] *Ананьич Б.В.*, *Ганелин Р.Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 356–357, 362.

[5] *Колышко И.И.* Мое дело. Пг., 1917. С. 51–52.

вывести его «на чистую воду»[1]. Но, кажется, не успел этого сделать, Возвращение И.И. Колышко в политику состоялось неожиданно и оказалось эпизодом, связанным с переговорами о сепаратном мире в 1916 – начале 1917 гг.

Вопрос о сепаратном мире — одна из самых загадочных, неясных страниц истории Первой мировой войны. Несмотря на то, что мнение историков единодушно: дело не двинулось дальше зондирования почвы, тем не менее, немало темных мест в тех событиях еще остается[2]. В частности, для России вопрос о сепаратном мире оказался тесно связан с внутренним политическим кризисом, вокруг которого вращалось большое количество самых разных интриг. Поэтому исследователи еще не раз будут обращаться к взаимосвязи этих двух сюжетов.

В первые год-полтора войны немцы в поисках контакта стремились использовать максимально простые пути для своих зондажей (например, через фрейлину императрицы Александры Федоровны княгиню М.А. Васильчикову и т.п.). Они пытались вступить в непосредственный контакт с российскими правителями для переговоров о мире. Столкнувшись с неудачей, они стали действовать менее прямолинейно. Германия все больше склонялась к целенаправленному воздействию на российское общественное мнение с тем, чтобы посеять в нем убеждение в необходимости скорейшего завершения войны. Центром многих неофициальных контактов в 1916 г. стал Стокгольм. Столица нейтральной Швеции была едва ли не самым удобным местом, куда без труда могли приезжать представители всех воюющих держав. Сюда устремились также многочисленные авантюристы и аферисты, контрабандисты и коммивояжеры, обделывающие выгодные сделки, разведчики всех мастей и просто проходимцы, чувствующие запах наживы. В этой среде оказался и И.И. Колышко, правда, его появление стало делом случая.

Как пишет сам И.И. Колышко, в Стокгольме после начала мировой войны он оказался благодаря своим амурным связям. Его очередная подруга — немка Э. Брейденбенд — была вынуждена покинуть Россию как германская подданная. К тому же в Швеции он оказался с коммерческим поручением — покупать сталь для российских заводов. Окунувшись в мутную атмосферу шведской столицы, И.И. Колышко быстро почувствовал себя в родной среде. По-видимому, в 1915 г. он стал одним из осведомителей немецкого посла Г. Люциуса об обстановке в России[3]. Связь с ним он поддерживал через шведского банкира Г. Бокельмана (который до 1914 г. занимался финансовыми операциями в Москве) и свою подругу[4]. Что подтолкнуло И.И. Колышко к работе на немцев — сказать сложно. Не исключено, что деньги — кажется, публицист в них нуждался. Дальше — больше.

[1] *Троцкий И.* Обесчещенный талант // Новое русское слово. 1962. 24 ноября. Тем не менее, 8 декабря 1914 г., незадолго до кончины графа, публицист снова появился в его доме (Последний год жизни Сергея Юльевича Витте. По дневникам наружного наблюдения 1914–1915 гг. // Исторический архив. 2004. № 4. С. 81).

[2] Это хорошо заметно по весьма обстоятельной книге С.П. Мельгунова «Легенда о сепаратном мире (канун революции)» (Париж, 1957), в которой содержится как обилие деталей, так и немалое число противоречий.

[3] Г.М. Катков — Б.И. Николаевскому 12 марта 1962 г. // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nicolaevsky collection. Box 486. № 3. Г.М. Катков установил этот факт, изучая немецкие архивы.

[4] *Катков Г.М.* Февральская революция. М., 1997. С. 84.

Считая, что он установил канал связи с немцами, И.И. Колышко решил играть серьезную политическую роль — участвовать в организации переговоров о сепаратном мире. В первой половине 1916 г. он дважды встречался в Петрограде со своим старым знакомым по салону В.П. Мещерского, а тогда премьер-министром Б.В. Штюрмером, обсудив с ним возможные перспективы сепаратного мира[1]. Появление И.И. Колышко совпало с желанием самого Б.В. Штюрмера прозондировать почву о возможности выхода России из войны. Разумеется, он делал это не на свой страх и риск, а скорее исполнял поручение, за которым, по-видимому, стояли императрица Александра Федоровна и в какой-то степени Г.Е. Распутин. Не случайно в переписке царской четы с весны 1916 г. начинает мелькать уверенность в скором, к концу года, завершении войны[2]. Конечно, сам И.И. Колышко вряд ли был вполне осведомлен о том, кто стоял за этим интересом. Получив одобрение главы правительства, он вернулся в Стокгольм и рьяно принялся за дело. Публицист немедленно вступил в переговоры с немецким магнатом Гуго Стиннесом, они были весьма интенсивными и продолжались с 1 (13) по 27 мая (6 июня) 1916 г. Стороны обсуждали приемлемые для России варианты завершения войны: в обмен на приобретения в Галиции и Малой Азии Россия теряла Польшу, которая получала автономию с вхождением в таможенное пространство Германии. Судьба прибалтийских территорий вызывала споры: И.И. Колышко хотел бы (правда, не категорично), чтобы немцы вернули России Вильно, Ковно и Гродно. Однако результата эти контакты не имели. Г. Стиннес получил из Берлина указание на нецелесообразность дальнейших бесед с И.И. Колышко, так как германское руководство предпочитало дождаться, пока Россия выразит готовность к миру в недвусмысленной форме[3]. Также складывается ощущение, что Берлин не относился слишком серьезно к подобным встречам: и личности их участников, и отсутствие у них внятных полномочий свидетельствовали, как минимум, о том, что до реального диалога о мире все равно оставалась дистанция огромного размера. И.И. Колышко, также не имевший никакого мандата, наверное, понимал шаткость своей позиции, поэтому просил немцев обратиться к небезызвестному И.Ф. Манасевичу-Мануйлову, «умственному аппарату» Б.В. Штюрмера, который летом 1916 г. должен был прибыть в Стокгольм для установления прямых контактов с немцами[4]. Но произошло неожиданное: не-

[1] *Дякин В.С.* Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны 1914–1917. Л., 1967. С. 279–280; *Катков Г.М.* Февральская революция. М., 1997. С. 85. Катков скептически относится к рассказам И.И. Колышко о встрече со Б.В. Штюрмером, полагая, что ничего конкретного там обговорено не было. В.С. Дякин же отметил, что одновременно с последовавшими переговорами И.И. Колышко в Стокгольме Б.В. Штюрмер добился отставки С.Д. Сазонова, а в столице поползли настойчивые слухи, что война будет окончена к концу года (*Дякин В.С.* Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны 1914–1917. Л., 1967. С. 280).

[2] *Ганелин Р.Ш.* Сторонники сепаратного мира с Германией в царской России // Проблемы истории международных отношений. Сборник статей памяти академика Е.В. Тарле. Л., 1972. С. 136–137.

[3] *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 142; *Черменский Е.Д.* IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 184.

[4] Скорее всего, появление И.Ф. Манасевича-Мануйлова было вызвано не боязнью И.И. Колышко перед Б.В. Штюрмером из-за неудачи со Г. Стиннесом (*Ганелин Р.Ш.* Указ.

задолго до поездки, 19 августа И.Ф. Манасевич-Мануйлов был арестован за шантаж. Следовательно, вся комбинация рухнула[1]. Могли ли за этим разоблачением афериста стоять противники сепаратного мира, неизвестно. Тем не менее, связка Колышко–Штюрмер после этой неудачи более не проявлялась на политической арене.

Контакты И.И. Колышко с немцами получили иное продолжение. В июне 1916 г. в Стокгольм из Германии приехал хорошо известный кадетским лидерам князь Д.И. Бебутов, находившийся там с начала войны и намеревавшийся вернуться в Россию[2]. Князь уже оказывал услуги немцам (Генеральному штабу), в Швеции он, так же как и И.И. Колышко, искал пути к сепаратному миру. Два авантюриста не могли не встретиться, — возможно, это произошло не без участия русского посланника в Стокгольме А.В. Неклюдова, который принимал Д.И. Бебутова и вообще был не чужд действий, выходивших за рамки его официального статуса. Вскоре оба они представили немцам схожие планы по приобретению средств массовой информации в России для ведения через них пронемецкой пропаганды. Размах у Д.И. Бебутова был шире, чем у И.И. Колышко: он предлагал приобрести три русские газеты: «Новое время», «Русские ведомости» и «День», просил на это 10 млн. рублей и обещал поддержку ряда еврейских предпринимателей (Л.И. Бродского, Д.Л. Рубинштейна). Однако немцы доверяли Д.И. Бебутову едва ли не меньше, чем И.И. Колышко, поэтому не согласились на его предложение[3]. Тем не менее, они поддерживали с ним контакт через Г. Бокельмана. Возможно, что его идеи взял на вооружение И.И. Колышко. Так, он, как и Д.И. Бебутов, планировал привлечь к сотрудничеству М. Горького.

Случайным эпизодом этой политической возни в Швеции стала встреча возвращающихся домой из поездки по Европе членов российской парламентской делегации А.Д. Протопопова и Д.А. Олсуфьева с немецким банкиром Ф. Варбургом в Стокгольме 23 июня (6 июля) 1916 г.[4] Есть сведения, что организовал эту встречу И.И. Колышко. Он якобы встретил прибывших туда после поездки по

соч. С. 143), а желанием поднять статус контактов: И.Ф. Манасевич-Мануйлов был известен как личный секретарь премьера и его доверенное лицо

[1] Связаны ли были эти два события — арест и несостоявшаяся поездка в Стокгольм — неизвестно. По крайней мере, у меня нет сведений об их взаимообусловленности.

[2] О его появлении У. Брокдорф-Ранцау, немецкий посланник в Копенгагене, сообщил в Берлин 21 июня 1916 г. (Г.М. Катков — Б.И. Николаевскому 12 марта 1962 г. // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nicolaevsky collection. Box 486. № 3).

[3] Г.М. Катков — Б.И. Николаевскому 12 марта 1962 г. // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nicolaevsky collection. Box 486. № 3. Утверждение И. Троцкого, ссылавшегося на немецкие источники, о том, что в июле 1916 г. И.И. Колышко вместе с Д.И. Бебутовым заключили с Г. Бокельманом договор о создании в Петербурге издательства, скорее всего, неточно (*Троцкий И.* Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста) // Новое русское слово. 1967. 3 июля).

[4] Предварительно думская депутация встретилась у А.В. Неклюдова с Д.И. Бебутовым. Однако князь повел себя настолько бестактно, расписывая благоприятное положение Германии, что посланнику пришлось предупредить членов делегации, что Д.И. Бебутов может являться германским агентом. Эту историю сообщил Г. Бокельману И.И. Колышко (Г.М. Катков — Б.И. Николаевскому 12 марта 1962 г. // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nicolaevsky collection. Box 486. № 3).

Европе А.Д. Протопопова и Д.А. Олсуфьева, и после того, как последний выразил желание встретиться с кем-нибудь из «интересных немцев», немедленно представил им Ф. Варбурга, бывшего, как и И.И. Колышко, одним из осведомителей Г. Люциуса. Во время встречи, длившейся около полутора часов, больше говорил Ф. Варбург, развивая тему: сепаратный мир нужен, прежде всего, России[1]. То, что встреча была экспромтом, не вызывает сомнения. Косвенно это доказывается реакцией на нее в Берлине: министр иностранных дел Г. Ягов, прочитав депешу о беседе, заметил, что русские основательно «подоили» Ф. Варбурга, практически ничего не сообщив ему в ответ[2].

После неудачи со Б.В. Штюрмером и И.Ф. Манасевичем-Мануйловым И.И. Колышко продолжил контакты со Г. Стиннесом. Однако тема их изменилась: вместо сепаратного мира речь пошла об организации в России пропаганды за скорейшее прекращение войны. Эта тема возникла, по-видимому, параллельно с переговорами о сепаратном мире. Еще до ареста И.Ф. Манасевича-Мануйлова, 12 августа 1916 г., Г. Стиннес согласился предоставить Г. Бокельману заем в 2 млн. руб. для финансирования издательства в России[3]. И.И. Колышко тут же начал действовать. Осенью 1916 г. он заявил И. Троцкому, что планирует войти в руководство «Петроградского курьера», который, якобы, должна приобрести некая «группа общественников и финансистов»[4].

Начало 1917 г. И.И. Колышко провел в Копенгагене, где установил контакт с А.Л. Парвусом (Гельфандом). По-видимому, это дало толчок «предприятию» журналиста уже после Февральской революции, так как А.Л. Парвус советовал немцам отнестись к нему со всей серьезностью[5].

---

[1] *Спиридович А.И.* Великая война и Февральская революция 1914–1917 гг. Т. 2. Нью-Йорк, 1960. С. 102–103. По вопросу об инициаторах этой встречи и даже ее участниках полной ясности нет до сих пор. Непосредственные свидетели писали о ней в общих чертах, и, судя по расхождениям, им было что скрывать. Так, А.В. Неклюдов даже не упомянул И.И. Колышко в связи с этой историей (*Nekludoff A.* Diplomatic Reminiscences before and during the World War 1911–1917. L., 1920. P. 424–429). Депутату Государственной думы М.М. Ичасу — члену российской парламентской делегации — дипломат заявил, что не сочувствовал этому свиданию (вряд ли полезно), но и не препятствовал ему (не может ничего указывать депутату Думы) (Рассказ М. Ичаса о встрече Протопопова с Варбургом в Стокгольме // Русские ведомости. 1916 г. 20 декабря. № 293. С. 4–5). В других рассказах А.В. Неклюдов утверждал, что не знал о намерении Г. Люциуса присутствовать на разговоре с русскими (документ без названия, в котором излагается рассказ А.В. Неклюдова о стокгольмском свидании А.Д. Протопопова // ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 695. Л. 208). Сам И.И. Колышко по-разному описывал детали встречи. В другой своей рукописи «Скандинавия в годы войны» (см. Приложение) он представил инициатором разговора с немцами А.Д. Протопопова. По немецким источникам, роль «сводни» принадлежала не И.И. Колышко, а М.С. Гуревичу, представителю общества «Мазут» в Швеции, и, по-видимому, резиденту русской разведки. Инициатива же исходила якобы от Д.А. Олсуфьева (*Дякин В.С.* Указ. соч. С. 281).

[2] *Ганелин Р.Ш.* Указ. соч. С. 145.

[3] *Аронсон Г.* Россия накануне революции. Исторические этюды. Мадрид, 1986. С. 103.

[4] *Троцкий И.* Со ступеньки на ступеньку (к портрету И.И. Колышко) // Новое русское слово. 1962. 2 декабря.

[5] У. Ранцау — в МИД 16 марта 1917 г. // *Николаевский Б.И.* Тайные страницы истории. М., 1995. С. 281–282.

Далее на пути И.И. Колышко встретился М. Эрцбергер — депутат рейхстага, лидер партии католического центра, отвечавший за организацию пропаганды вне Германии, оппонент, даже враг Г. Стиннеса, по представлению публициста. С И.И. Колышко М. Эрцбергер рассуждал о всеобщем, а не сепаратном мире, и, в отличие от Г. Стиннеса, предлагал возвращение к довоенному положению, при этом России обещалась Галиция и проливы. Сведения об этом дошли до Г. Стиннеса (через И.И. Колышко?), тот попытался дезавуировать условия, заявив, что М. Эрцбергер не имел никаких полномочий. И.И. Колышко и М. Эрцбергер встречались дважды, первый раз — 26 марта в Стокгольме в доме Гуревича[1]. Во время второго свидания 19 апреля они составили проект договора о сепаратном мире. Казалось, что на сей раз все обстоит серьезно. И.И.Колышко после переговоров с М. Эрцбергером бросился немедленно в Россию с проектом сепаратного договора. Одновременно он получил от Г. Стиннеса деньги на приобретения российской прессы (по-видимому, речь шла об обещанных ранее двух миллионах)[2].

В Петрограде публицист появился 18 апреля (1 мая) 1917 г.[3] Однако по-настоящему развернуться он не сумел, так как сразу попал в поле зрения русской контрразведки. Скорее всего, о нем сообщил А.Р. Кугель, известный журналист и фактический хозяин газеты «День». С ним И.И. Колышко встречался дважды, первый раз — 22 или 23 апреля. Вероятно, И.И. Колышко сгубило хвастовство: перед А.Р. Кугелем он бахвалился большими деньгами, настойчиво уверяя собеседника, что их происхождение «чистое». Он также рассказал ему о встрече с М. Эрцбергером и о его мирной инициативе, после чего стал убеждать А.Р. Кугеля в необходимости пропаганды мира[4]. Уже этого было достаточно, чтобы у петроградского газетчика возникли вполне обоснованные подозрения, и он обратился в контрразведку. Кроме того, о намерениях И.И. Колышко был извещен член Петроградского совета Г.М. Эрлих (незадачливый «посол мира» безуспешно добивался встречи с ним как с представителем власти) и П.Е. Щеголев, игравший роль посредника. Связи И.И. Колышко и его деятельность оказались «под колпаком», они отслеживались более полутора месяцев, а когда журналиста и его подельников внезапно арестовали в ночь с 22 на 23 мая (4–5 июня), в руки контрразведчиков попали еще и некоторые документы, крайне неприятные для Колышко, в том числе его корреспонденция в Швецию[5].

«Большая часть телеграмм шла в Стокгольм по адресу госпожи Брейденбейд (подруги Колышко — *И. Л.*), а некоторые из них на имя Гуревича. Все они были на французском языке». Смысл сообщаемого примитивно маскировался: «Из-за несогласий в бюро ожидаются скорые перемены его состава», «Богданов, по всей вероятности, скоро покинет бюро», «Переведите полмашины в

---

[1] Отчет М. Эрцбергера о поездке в Стокгольм 26–28 марта 1917 г. // Там же. С. 287–292; *Аронсон Г.* Чемпион сепаратного мира (по новым данным немецких архивов) // Новое русское слово. 1963. 26 декабря.

[2] И.И. Колышко якобы после переговоров с М. Эрцбергером отказался от продолжения контактов со Г. Стиннесом и в частности, от обещанных ему 15 млн. марок (*Аронсон Г.* Чемпион сепаратного мира (по новым данным немецких архивов) // Новое русское слово. 1963. 26 декабря). Но, кажется, эта информация неточна.

[3] *Колышко И.И.* Указ. соч. С. 55.

[4] Там же. С. 47–51.

[5] *Никитин Б.* Роковые годы. Париж, 1937. С. 64–76.

Стокгольм, полмашины — в Христианию». Сопоставив содержание телеграмм и политические события, следователи поняли, что речь в них шла о Временном правительстве, а под псевдонимом «Богданов» фигурировал П.Н. Милюков. Помимо всего, одна из последних телеграмм была направлена на имя российского посланника в Стокгольме А.В. Неклюдова: «Ожидается назначение Терещенко. Искренне поздравляю»[1]. Также у И.И. Колышко был обнаружен печатный проект сепаратного договора России и Германии на 12 листах большого формата. Контрразведчики обратили внимание, что по этому проекту предусматривалась независимость Финляндии и Украины (как и у В.И. Ленина), а также на обещание выплатить публицисту аванс в 20 тысяч рублей[2] Еще одной существенной уликой стало длинное письмо И.И. Колышко своей подруге-немке. В нем он с удовлетворением сообщил, что подготовлена почва для удаления из правительства П.Н. Милюкова и А.И. Гучкова. Он также повторил просьбу перевести полмиллиона рублей через Стокгольм и столько же — через Христианию[3]. И.И. Колышко намеревался приобрести «Петроградский курьер» (попытка восстановить сотрудничество в московском «Русском слове» не удалась).

Захваченные документы ничего не сообщали о шпионаже И.И. Колышко в пользу Германии. Поэтому позднее, когда журналист отчаянно отбивался от обвинения, надо признать, что никаких доказательств этому так и не было обнаружено. Но вот о контактах с немцами они свидетельствовали однозначно. Причем, по данным контрразведчиков, получалось, что И.И. Колышко стал частью единой цепи, действующей в пользу сепаратного мира, куда входили и большевики (в обоих случаях фигурировала фамилия прапорщика Степина).

Тем временем план Колышко–Эрцбергера завершился неудачей. М. Эрцбергер, обещавший доказать серьезность намерений Германии выступлением в рейхстаге Т. Бетмана-Гольвега соответствующего содержания (о необходимости мира), был глубоко разочарован, когда канцлер отказался от этого плана и произнес 15 мая 1917 г. твердую, совсем не пацифистскую речь. По признанию самого М. Эрцбергера, она «чрезвычайно понизила шансы на заключение мира с Россией»[4]. Берлин же был взбешен действиями М. Эрцбергера: там показалось, что условия мира, которые он обсуждал с И.И. Колышко, были недопустимо мягкими для Петрограда.

Тем не менее, для полновесного обвинительного заключения бумаг, обнаруженных у И.И. Колышко, не хватало (мало ли кто что пишет в частной корреспонденции). Поэтому судебные власти, которым журналиста передали из контрразведки, выпустили его на свободу под залог в 30 тысяч рублей. И.И. Колышко воспользовался этим и с пафосом бросился опровергать обвинение в шпионаже. Публицист подготовил и издал даже отдельную брошюру для доказательства собственной правоты[5]. Он утверждал, что никакого проекта мирного соглаше-

[1] Там же. С. 65–66. Текст несомненно свидетельствовал о близких отношениях публициста и дипломата, однако в своих мемуарах посланник в Стокгольме ничего не рассказал о своих связях с И.И. Колышко.

[2] Там же. С. 71.

[3] Там же. С. 72.

[4] *Эрцбергер М.* Германия и Антанта. М.; Пг., 1923. С. 202–207.

[5] *Колышко И.И.* Мое дело. Пг., 1917.

ния у него не было, а имелся лишь текст статьи из датской прессы, перевод которого записала его подруга. Однако документ, обнаруженный у него русскими контрразведчиками, никак не походил на газетную статью. На первом листе его имелось специально пропущенное место для того, чтобы позднее, от руки, вставить туда дату. Конечно, он был ни чем иным, как проектом условий мирного договора, составленного в ходе второй встречи с М. Эрцбергером, причем, как известно из другого источника, экземпляр для И.И. Колышко переписала его подруга-немка[1].

От большевиков И.И. Колышко предпочел скрыться. Есть сведения, что в 1918 г. он сотрудничал в киевской прессе пронемецкого направления[2]. После этого незадачливый «агент влияния» эмигрировал в Европу. Оказавшись без средств, публицист занялся спекуляциями советскими ценными бумагами на берлинской бирже[3]. Этот эпизод из бурной биографии И.И. Колышко настораживает. Дело в том, что подобными операциями в Берлине занимались, как правило, люди, связанные с советскими спецслужбами. Если еще вспомнить и о том, что в Петрограде – Ленинграде благополучно проживала прежняя семья И.И. Колышко (а он был женат на княжне В.С. Оболенской)[4], а сам журналист не только регулярно переписывался с родственниками, но и посылал им средства для жизни, неизбежно возникает вопрос: не сотрудничал ли он с новой властью в России? Ответа у меня нет, полагаю, агентом ЧК он не был, но нельзя исключить его контакты с соответствующими лицами. Однако состояния на бумагах сомнительной ценности И.И. Колышко не нажил. К началу 1930-х гг. он перебрался в Ниццу, там жил очень бедно, в основном на зарплату очередной своей подруги-француженки, перебиваясь случайными литературными заработками и выступлениями.

Некоторые свои размышления, касающиеся С.Ю. Витте, И.И. Колышко опубликовал еще в 1920-х гг. в Берлине, взбешенный вышедшими воспоминаниями покойного к тому времени сановника[5]. К составлению мемуаров журналиста, вероятно, подтолкнула нужда: в поисках заработка он в 1930 г. взялся редактировать «Вестник Ривьеры» «за грошовое вознаграждение» — 600 франков в месяц[6] —

---

[1] Отчет М. Эрцбергера о беседе 19 апреля 1917 г. в Стокгольме // *Николаевский Б.И.* Указ. соч. С. 300.

[2] *Семенников В.П.* Политика Романовых накануне революции (от Антанты — к Германии). По новым документам. М.; Л., 1926. С. 138–139.

[3] *Троцкий И.* Со ступеньки на ступеньку (из записных книжек журналиста) // Новое русское слово. 1967. 3 июля.

[4] *Ганелин Р.Ш.* Российское черносотенство и германский национал-социализм // Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Ч. 1. Россия и русское зарубежье. СПб., 1992. С. 147. И.И. Колышко не скрывал, что материально помогает своей семье из-за границы, такая деятельность могла осуществляться только с санкции властей (не говоря уже о пристальном наблюдении за ней). Однако он называл свою супругу «Александра Федоровна» и сообщал, что у них двое детей — «голодающих и туберкулезных», а жена просто «умирает с голода и горя» (И.И. Колышко — В.И. Немировичу-Данченко 10 апреля 1930 г. // РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Д. 132. Л. 5 об.). Вряд ли эти слова следует воспринимать буквально: журналист писал их В.И. Немировичу-Данченко с надеждой получить материальную поддержку.

[5] *Баян.* Ложь графа Витте. Берлин, б/г.

[6] И.И. Колышко — В.И. Немировичу-Данченко 10 апреля 1930 г. // РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Д. 132. Л. 5.

и стал наполнять его собственными статьями, публикуя их под разными псевдонимами. Так появился цикл очерков «Россия и Витте» (составивший позднее значительную главу в мемуарах). И.И. Колышко предполагал опубликовать его отдельной книгой («листов на 8–10»), но не нашел издателя[1]. Там же, в «Вестнике Ривьеры», публицист поместил цикл очерков «Думы о России», где можно найти немало мест, перекликающихся с текстом его воспоминаний. Их он также хотел издать книгой. Наконец, у И.И. Колышко имелся замысел и третьей книги — «Эскизы беженства». Интерес к этой теме нетрудно заметить по его очерку «Скандинавия во время Великой войны» (см. приложение). На рубеже 1931–1932 гг. у И.И. Колышко, с его слов, появился издатель, готовый выпустить его мемуары на трех языках[2]. Но проект по каким-то причинам не состоялся. Похоже, что текст, сохранившийся в коллекции Б.И. Николаевского, и был подготовлен И.И. Колышко для этого издания. Из его титульного листа явствует, что выход книги в свет планировался в Берлине. Можно предположить, что за это бралось «Русское национальное издательство», где увидели свет воспоминания С.Е. Крыжановского, В.М. Вонлярлярского, там же публиковался хорошо известный И.И. Колышко В.П. Крымов.

Однако «Вестник Ривьеры» продержался недолго, всего 9 месяцев. Кажется, в 1931 г. он уже не выходил[3]. Подготовленные статьи публицист пытался пристроить в различные, более успешные эмигрантские издания: «Мир и искусство» (Париж), «Наша речь» (Бухарест), «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Иллюстрированная Россия» (Париж). Платили ему мало (в «Нашей речи», по словам И.И. Колышко, — столько, что не хватит на корку хлеба)[4]. Больше, по-видимому, пообещали в Америке, поэтому туда мемуарист отправил свои лучшие тексты[5]. К началу 1932 г. «Новое русское слово» уже напечатало 12 больших очерков публициста[6]. Он использовал их также для публичных выступлений, об этом свидетельствуют тексты трех его лекций, сохранившиеся в Пражском архиве русской эмиграции[7]. Чуть позже, в 1934–1935 гг., он сотрудничал в берлинской

[1] И.И. Колышко — В.И. Немировичу-Данченко 6 декабря [1930 г.] // РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Д. 132. Л. 1.

[2] И.И. Колышко — В. Робуру 5 января [1932 г.] // РГАЛИ. Ф. 2293. Оп. 1. Д. 101. Л. 1.

[3] Время прекращения этого издания мне установить не удалось, так как ни в одной из библиотек Российской Федерации нет его полного комплекта. Но в имеющихся в библиотеке ГАРФ первых 21 номерах статьи И.И. Колышко печатались постоянно.

[4] И.И. Колышко — В.И. Немировичу-Данченко 6 декабря [1930 г.] и 17 июня [1931 г.] // РГАЛИ. Ф. 355. Оп. 2. Д. 132. Л. 1, 8.

[5] И.И. Колышко — В.И. Немировичу-Данченко 28 июня [1931 г.] // Там же. Л. 9.

[6] И.И. Колышко — В. Робуру 5 января [1932 г.] // РГАЛИ. Ф. 2293. Оп. 1. Д. 101. Л. 1. К сожалению, мне не удалось ознакомиться со всеми, но, как минимум, часть из них вошла в книгу воспоминаний (*Баян*. Пророки. Розанов–Мережковский–Гиппиус // Новое русское слово. 1931. 3 мая. № 6671; *Он же*. Тени минувшего. Распутин // Там же. 1931. 12 июля. № 6741; *Он же*. Тени минувшего. Витте // Там же. 1931. 2 августа. № 6762; *Он же*. Тени минувшего. Столыпин // Там же. 1931. 9 августа. № 6769).

[7] *Свидетель*. Закат царизма. Силуэты. Император Александр III // ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 345; *Он же*. Закат царизма. Император Николай II // Там же. Д. 346; От любви к ненависти — императора Николая II и Витте. Доклад И.И. Колышко в Ницце от 23 января 1938 г. // Там же. Д. 347. Эти лекции представляют собой переработанные главы воспоминаний.

фашистской газете «Новое слово». Восхваляя фашизм как разновидность национализма, И.И. Колышко, вероятно, оказался недостаточно пропитан антисемитскими взглядами, и его имя вскоре исчезло из числа авторов[1]. Скончался он в безвестности 10 апреля 1938 г. в Ницце.

Несмотря на то что И.И. Колышко не исполнил просьбу В.П. Крымова, его «Великий распад», тем не менее, представляет для современного читателя несомненный интерес. Задача, поставленная им перед собой, — показать причины краха самодержавной России — выродилась, по сути, в обличение старого строя, его порядков. Разумеется, автор был подчеркнуто пристрастен, что заметно даже непосвященному читателю. Конечно, в тексте отразились долгие размышления автора и о превратностях своей судьбы, и о катастрофе, постигшей Россию после 1917 г. На его заключения очевидное влияние оказали идейные искания в эмиграции, как политические, так и общефилософские (евразийство, славянство, популярная тема «Восток — Запад» и т.п.). Надо отдать должное И.И. Колышко: он мастерски владел пером, его рукопись содержит яркие зарисовки, образы, парадоксальные выводы, меткие наблюдения, ее легко и интересно читать. В часто используемых сравнениях и образах узнается «нововременская традиция» (А.С. Суворин, М.О. Меньшиков, С.Н. Сыромятников и др.). Привлекают внимание сделанные им портретные зарисовки известных писателей и литераторов начала XX в. — это, конечно, не их биографии, а зоркий взгляд талантливого публициста, пытающийся ухватить у каждого из своих героев самую яркую его черту. Разумеется, его наблюдения субъективны, но нередко — метки. Очень важно, что И.И. Колышко уделил немало внимания закулисной стороне жизни литературно-газетного и плутократического мира (гонорары, «дачи» и т.п.). Из других источников об этом известно не так уж много, а ряд сведений автора — уникален. Поэтому далеко не все сюжеты «Великого распада» сегодня возможно прокоментировать. Нельзя не сказать, что в деталях и фактах И.И. Колышко далеко не всегда точен (это помимо пристрастности). Он явно не имел под рукой никаких документальных источников, писал свои мемуары по памяти, которая оказалась, надо признать, далеко не идеальной.

Текст воспоминаний И.И. Колышко «Великий распад» представляет собой машинопись, разбитую на главы, без общей пагинации, с рукописной правкой. Приведенные выше соображения и некоторые фразы в тексте позволяют датировать его составление в основном 1930–1932 гг. Работа автора над мемуарами не была завершена, это можно заключить уже из сбоев при нумерации глав, а также многочисленных повторений одних и тех же сюжетов. Воспоминания публикуются полностью, в авторской редакции. Без оговорок исправлены лишь явные опечатки[2], а также написания фамилий.

И.В. Лукоянов

[1] *Ганелин Р.Ш.* Российское черносотенство и германский национал-социализм // Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Ч. 1. Россия и русское зарубежье. СПб., 1992. С. 146–147.

[2] В том числе, в кратких фразах на французском языке. Судя по ним, публицист слабо владел языком.

Вместо предисловия

Распад русских государственности и общественности, русских политики, экономики и этики, начавшись 1-го марта 1881 года, завершился 1-го марта 1917 г. Падение северного (третьего) Рима продолжалось, таким образом, около 40 лет, почти столько же, сколько и Рима южного. Вдумчивые историки найдут, пожалуй, аналогию между этими двумя катастрофами, как ни велика внешняя разница между Петронием и... Набоковым, между Сенекой и Распутиным, между поэтами римского и русского декаданса, подпочва этих, как и других грандиозных государственно-правовых сдвигов, — та же. И скрытые в подпочве корни почти те же, — корни загнившего на корню века.

Распад России найдет достойную его оценку лишь в отдаленных поколениях. Нам же, злосчастным его современникам, нам, обреченным, остается лишь поднимать из мусора более ценные и цельные обломки затейливой архитектуры, составлять из них музеи, наподобие музея обломков Помпеи, и по ним судить — чем была Россия до извержения коммунистического Везувия. Эти обломки, само собою разумеется, не дадут понятия о целом; но их контуры дадут понятие о типе [...][a] храмины, а пожалуй, и намекнут на причины разрушенной [...][b] Моя задача — собрать эти обломки.

Целое поколение прожило свою сознательную жизнь [в эпоху] российского распада — люди, встретившие 1-ое марта[1] юнцами и проводившие 1-ое марта 1917-го года стар[иками] (?)[c] — поколение упадочное, на вид оно казалось здоровым, пылким, европеизированным. На деле же от него несло азиатчиной. Оно молилось на своих предков и учителей: Герцена, Чаадаева, Огарева, Добролюбова, Белинского. Считая себя их правопреемниками, оно клялось довершить начатое Милютиными и Ростовцевыми. А стлало путь Ленину с Троцким. Какой-то загадочный, дьявольский, неисследованный еще никакими гениями, но лишь предсказанный пророками процесс творился в умах, сердцах и крови этого по-

[a] Далее одно слово не разобрано.

[b] Далее текст не читается: край листа рукописи оборван.

[c] В этом месте подлинник поврежден (оборван край листа рукописи). Слово читается предположительно.

коления, все начинавшего, чтобы ничего не кончить, всем желавшего блага и всем напакостившего, растратившего свои силы в постройке вавилонской башни, спускавшегося в ад, чтобы вымостить его добрыми намерениями, и карабкавшегося на небо, чтобы закоптить его. Какая-то хворь точила русскую душу как раз в то время, когда в нее жадно заглянул весь мир, когда русский гений открыл человечеству достижения и возможности, о которых ему не снилось. Трагедия распада надвигалась с головокружительной (в историческом смысле) быстротой. Подогретая материалистическим прогрессом Европы и скованная инертностью Азии, славянская слизь претворилась в сплошной яд злостности, самоанализа, самолюбования, самодовления, окуталась испарениями мистицизма, загнила алчностью, похотью, аморальностью. Не было способнее и тупее этого удивительного поколения, не было порывистее и безвольнее, альтруистичнее и эгоистичнее, целомудреннее и развратнее. Центробежные и центростремительные силы всей русской истории, всего конфликта между Европой и Азией, столкнулись в потомках Пушкина и Булгарина, Алеши и Смердякова[2], Сперанского и Аракчеева. Изумительное, трагическое поколение! Без вины виноватое, без намерения все губившее и осквернявшее! В сильных и слабых, пасущих и пасомых, в праведниках и грешниках, — та же червоточина. В умах и сердцах — тот же червь, точивший лучшие намерения, раздваивавший добрейшие души, отравлявший сильнейшую волю. В галерее типов, творивших историю российского распада, знакомые черты Чичиковых, Хлестаковых, Держиморд, Ноздревых, Рудиных, Карамазовых. А в давящем тумане мыслей и чувств, что спутал языки строителей российской вавилонщины, явственно различается лишь грандиозный двойник, воплотивший коллективные черты поколения mixt. Одним фасом рыдая, другим хохоча, этот загадочный фантом, на рубеже двух столетий, этот всероссийский Хам[3] и нигилист с манерами светского денди, со складкой елейной религиозности, с невинной усмешкой отравленных уст, с лукавым поблескиванием таивших ненависть глаз, широко крестясь и глубоко вздыхая, вел Россию прямехонько к пропасти. И шла святая Русь за страшным вожатым своим — хоть и упиралась, дрожала, падала и вставала, но все же шла с повязкой на глазах, с залитым стыдом, схваченным терние челом.

* * *

Моя сознательная жизнь началась с воцарением в России Хама. Я наблюдал его сплевывающим семечки в вечер 1-го марта 1881 г. и палящим здание суда 1-го марта 1917 г.[4] Я прислушивался к его гвалту в дни «диктатуры сердца» Лориса и «доверия» Мирского[5]; я наблюдал его холопство вправо и влево, в дни всех четырех Дум; я наблюдал хамство Витте и Распутина, банкиров и биржевой шушеры, художников и философов, газетных писак и болтунов. Всюду и везде, от чертогов до загородных кабаков, от учреждений «идейных» до берлог утробных, от раздушенных будуаров до домов свиданий и карточных клубов, торжествовал меднолобый всероссийский хам. Большевики его лишь короновали, но не сочинили — большевики лишь набросили купол на здание, воздвигнутое нами — здание всероссийского распада.

Было время, когда и я мог что-нибудь сделать для предотвращения катастрофы. Судьба поставила меня близко к людям, делавшим эпоху — на рубеже

между государственностью и общественностью. Далекий по удельному весу от «вождей» типа Милюкова, далекий по таланту от Горького, Бунина, Розанова, Мережковского, в свое время я обладал и убедительностью, и темпераментом. Я и впрямь писал в газетах разного «направления», но писал я об одном и том же. Я не ходил «ку Плеве и ку Витте», я не лез к власти. Но я и не жертвовал своим благополучием ради правды, которую чувствовал нутром, — правда эта висела лишь на кончике моего пера. Горе дореволюционной России, а с ней и мое, одного из ее недостойных сынов, что в нас, людях дарования и порядка, отсутствовала жертвенность, — жертвенность проявили лишь «бесы» русского безвременья. Все мы были ближе к Ивану Карамазову и даже к Смердякову, чем к Дмитрию и Алеше. Все мы, и я в особенности, — Нарциссы, корыстолюбцы и сластолюбцы. Розанов, напр[имер], осмеял «Сладчайшего Иисуса», чтобы склонить выю перед лукавцем Сувориным[6]. Близко за ним следовал я и художники, богоискатели, «лучшие люди» века. Не досада за разбитую жизнь и не мстительность водят моим пером в этих очерках, а лишь потребность на закате дней сказать то, что я не умел, или, вернее, не хотел сказать на заре ее. «Ныне отпущаеши» не мне одному, а всем, кто содействовал великому российскому распаду.

Баян

Глава I.
Император Александр II

Царствование этого императора — вне пределов моей сознательной жизни. Если я касаюсь его, то лишь постольку, поскольку оно связано с моей основной темой — зарисовать в лицах причины великого российского распада. Видимое начало этого распада — царствование Александра III. Но корни его ушли вглубь второй половины царствования его отца. Именно эта половина (с 1868 г.), столь различная от первой, толкнула мою родину на путь, где оказалось место деятелям (государственным и общественным), приведшим к катастрофе. Я и коснусь ее в пределах моей темы — т[о] е[сть] событий, свернувших Россию с пути, на который она вступила с воцарением Александра II.

1-ое марта 1881 г. застало меня довольно смышленым подростком. Те мрачные дни врезались в мою память. И запомнились суждения лиц, принимавших близкое участие в событиях оборвавшегося царствования. Я присутствовал на казни цареубийц, я прикладывался к останкам убитого императора. Я видел заплаканное лицо Александра III и помню стройную фигуру бившейся в истерике над гробом супруги покойного, кн[ягини] Юрьевской. И я подметил пропасть, разделявшую две столкнувшиеся у гроба царские семьи[7]. Такие впечатления не стираются.

Их освежили и всколыхнули случайно попавшие мне в руки под титулом «Дневник Александра II» записи покойного императора за последние 10 лет его царствования. Записи эти извлечены из обширной переписки Александра II с его возлюбленной, кн[ягиней] Долгорукой, ставшей его морганатической супругой (около 5.000 писем)[8].

От Долгорукой у Александра II тайн не было: писал он ей ежедневно и отовсюду, писал по 2–3 раза в день, садился за письмо по возвращении от нее, переживая вновь радости свидания, главным образом — эротические. В существенной части своей эта переписка опубликованию не подлежит. Роман Александра II с Долгорукой — нечто вроде романа Антония с Клеопатрой[9] — почти целиком плотский. Но такова была сила темперамента царя и телесных чар его подруги (Долгорукая, как и Клеопатра, обладала идеальным сложением), что Александр II влил в свой, исключительно плотский экстаз, всю свою душу как

человек и весь свой размах как неограниченный повелитель величайшей страны и величайшего народа. Тема эта для Шекспира. Записи же царя, завязшего между великим и малым, спотыкавшегося между драмой и фарсом, следовало бы озаглавить: «История одной любви» и «Трагедия одного царствования».

Тема моя, очевидно, не царская любовь. Могут быть разные мнения о влиянии этой любви на царствование Александра II, а, следовательно, и на историю России. Но отделить личность венценосца от самой выпуклой черты ее — чувственности — историку будет трудно. В один узел заплелись мировые события и альковная тайна, узор безграничной власти и факт постыдного рабства, яд обид, разочарований и нектар наслаждения, величайшие движения души и постыднейшие судороги плоти. Корни великого распада, кажется, в этом узле. Ибо отсюда и началась та коррупция в нравах русской власти, общества и народа, что привела через эпоху Витте, Плеве, Столыпина к Распутину и Протопопову, от взрыва на Екатерининском канале к эху его — выстрелам в екатеринбургском подвале[10].

Франко-прусская война

Последние 10 лет царствования Александра II ознаменовались тремя событиями: франко-прусской и русско-турецкой войнами и террором.

20-го июля 1870 г. в 3 часа ночи курьер привез известие о начале военных действий между Пруссией и Францией. 28-го августа, после разгрома армии Мак-Магона, царь, получив телеграмму Бисмарка: «Французская армия погибла, через несколько дней мы будем в Париже», выражает надежду на низложение Наполеона. «В отмщение за 1854 и 1855 гг.», — записывает он. А в это самое время его наследник, будущий император Александр III, из Фреденберга в Дании пишет своему другу в Петербург: «Я надеюсь и уверен, что французы не замедлят взять свой реванш над “свиньями пруссаками”»[11]. Этот раскол в недрах царской семьи во взглядах на внешнюю политику России и составляет начало колебаний, приведших к японской и великой войнам.

Франко-прусская война была первым этапом к изолированию России, завершившемуся тостом Александра III за кн[язя] Черногорского: «Пью за здоровье моего единственного друга»[12].

После заключения мира между Германией и Францией царь записывает: «Я убежден теперь, что Вильгельм исправит, как следует, карту Европы. Судьба России зависит только от ее могущественной соседки». Вильгельма царь не называет иначе, как «всемогущий». Приезд его в Петербург в апреле 1873 г. ознаменовывается невиданными еще празднествами. На Дворцовой площади оркестр из 2.300 музыкантов исполняет германский гимн «Вахт ам Рейн». Кайзер и царь обнимаются, плачут. Они неразлучны. А после разлуки царь записывает: «Я так к нему привязался, что без него я одинок».

Много еще знаков дружбы между «дядей и племянником» рассыпано в царских записях. Если бы «дядя и племянник» были частными лицами, дружбе этой не было бы конца. Но за плечами «всемогущего» стоял подлинно всемогущий Бисмарк, а за плечами Александра II — ничтожный и чванливый Горчаков. История внешних дел России этого десятилетия есть история игры двух канцлеров:

железного и мочального. Одна из записей царя в 1879 г. гласит: «Он (Вильгельм) честнейший человек, но попал в руки бульдога (Бисмарка)».

Роль, которую взял на себя Александр II в франко-прусскую войну — ярого пруссофила и франкофоба, — в корень изменила карту Европы. Царь и сам это сознает. От былого престижа «спасительницы Европы» и, вообще, от первенства России в европейском концерте, не остается и следа[13]. И учитывает это в первую голову Англия.

Записи царя в это десятилетие пестрят почти бешеными нападками на Биконсфильда и королеву Викторию[14]. Все с большей настойчивостью Англия вмешивается в нашу азиатскую политику. Завоевание Хивы и Бухары приводит ее в трепет[15]. Царь понимает, что тревога Англии вызвана справедливым страхом за Индию. Но он записывает: «Надеюсь, что население Индии восстанет и отомстит поработителям». Он с радостью отмечает вопль Солсбери в английском парламенте: «Мы потеряем эту жемчужину». Но он лишь вскользь опровергает легенду о «завещании Петра». «Никакого завещания Петра не существует, — пишет он, — а есть лишь секретный договор Павла с Наполеоном». (В чем он — не говорится)[16].

Гаснущая дружба с Германией и разгорающаяся вражда с Англией вызывает столкновение с Турцией. Потерявшая свой престиж Россия уже не страшна Порте. Дизраэли и королева Виктория делают все, чтобы отвлечь силы России от Средней Азии. А Бисмарк дает царю советы, только разжигающие его ненависть к Англии и задор по отношению к Турции. В России начинают требовать отречения царя. Во второй половине 1877 года царь записывает: «Я переживаю самые критические дни моего царствования за последние 20 лет». И составляет свое завещание.

Русско-турецкая война

«Победоносная» турецкая война стоит почти на равном расстоянии (около четверти столетия) между двумя русскими войнами не «победоносными» — севастопольской и японской. Но поражение России под Севастополем не сорвало с русского оружия ореола непобедимости, а победа над турками едва-едва его не сорвала; во всяком случае, умалила. Если война с Японией окончательно рассеяла веру в непобедимость русского оружия, то война с Турцией дала этому сомнению первый толчок.

«Славянский вопрос», послуживший поводом к войне, муссируется и Берлином, и Лондоном. Для отвода глаз Лондон предлагает свое посредничество. Но под диктовку из Берлина царь отвечает: «Славянский вопрос касается только меня». И под ту же диктовку приказывает нашему послу в Константинополе заявить Порте, что «если она не утихомирится, он вынужден будет ее успокоить с мечом в руках». Для Англии (да и для Берлина) этого только и нужно. Дизраэли уже открыто науськивает Порту. А Бисмарк обещает «дружественный нейтралитет». И хотя в Лондоне шовиниста Солсбери сменяет миролюбец Гладстон[17], в Константинополе английский посол Эллиот с прежним азартом поддерживает Турцию. Взбешенный царь называет Турцию «союзницей Англии». 3-го октября он собирает военный совет, на котором брат его, вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич возглашает: «Пришла минута водрузить на св. Софии крест.

Покуда Константинополь в руках турок, английские интриги не прекратятся». А 10-го октября Горчаков, принимая английского посла, лорда Лофтуса, говорит: «Мы готовы и мы ни перед чем не отступим»... (Ту же фразу 27 лет спустя повторил достойный преемник Горчакова, Сазонов, германскому послу Пурталесу)[18]. 19-го октября Порта получила наш ультиматум, а спустя неделю была объявлена мобилизация. На Европу она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Английская пресса исчисляла русскую армию в 1½ миллиона. Не поверив этому, Италия присоединилась к английским интригам. Дальнейшие записи царя — сплошной вопль о русских потерях и о его, царя, личных разочарованиях. Франция умыла руки. Клявшийся в верности дружбы с сыном своего спасителя (Николая I) и недавно еще требовавший изгнания турок из Европы, Франц-Иосиф заявляет, что «договор 1856 г. обязывает его следовать согласию с Францией и Англией»[19]. В Вене оказался Андраши[20], стоящий для России берлинского Бисмарка и лондонского Биконсфильда. По этому поводу царь отмечает: «Султану нечего беспокоиться за свой трон, поддерживаемый его старшим покровителем, ставшим идиотом». Зубы показывает даже престарелый Карл Румынский[21], ставленник Бисмарка. До времени его Бисмарк успокаивает; но после наших неудач под Плевной[22] он уже открыто требует своей доли в турецком наследстве. Его успокаивает кулак главнокомандующего, вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича. «Этот шутить не любит», — отмечает царь про своего брата. Но из дальнейших записей явствует, что и этот столп российского милитаризма жестоко подшутил над славой русского оружия. Наконец, следует запись, видимо, стоившая царю много крови: «Раскрыл свои карты и Бисмарк... И этот потребовал кое-каких выгод за германский нейтралитет. А разве я их спрашивал за нейтралитет России в 1870 г.?» Всеми покинутый царь отмечает: «Вся ответственность за эту войну падает на бесчестное английское правительство».

10-го апреля царь производит смотр своим войскам в Унгодине и проливает слезы над участью этих войск. В последний момент турки, перед лицом русской армии, опомнились и выразили желание вступить в переговоры. Но царь, утерев слезы, отвечает: «Слишком поздно». А Англия, после неудачи этой последней попытки, усугубляет заносчивость. «Лорд Дерби дерзит нашему послу, — записывает царь. — Наши дипломатические отношения с Англией висят на ниточке. Участь христиан в Турции для этой державы безразлична: она решила спасти султана и предпочитает терпеть в Европе кровожадную Турцию, чем Константинополь в руках русских». В английской прессе обвиняют в зверствах не башибузуков, а русских. Лживые сведения проникают и в Петербург. Распространяют их даже чины главной квартиры. Долгорукая пишет, что в центре этой лжи стоит друг наследника, гр[аф] Воронцов-Дашков. Царь падает духом и заболевает. Поражение Гурко у Плевны повергает его в отчаяние: «Для меня это катастрофа, но надо улыбаться, когда кошки скребут на сердце, чтобы не обрадовать англичан...». Царь описывает хищения и беспорядки в нашем интендантстве. Упоминает о грязном деле поставщиков на армию Когана и Ко, в котором был замешан гр[аф] Шувалов и фаворитка вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича Числова. «Наша армия, — записывает царь, — оказывается благодаря им почти без провианта. Пользуясь этим, турки наседают. В столь же отчаянном положении и наша санитарная часть. Я посетил госпиталь, — записывает царь, — рассчитанный на 600 раненых, и застал в нем 2.300». А из Лондона извещают, что в случае затяж-

ки войны Англия выступит на стороне Турции. «От сумасшедшей старухи, — записывает царь, — можно всего ожидать». Бои на Кавказе, бои под Плевной. Турки дерутся превосходно. Огромные потери. Под Шипкой убивают близкого родственника Долгорукой. Она настаивает, чтобы вызвать из России резервы, сменить командование. Царь отвечает: «Резервы истощены». На глазах у всех царь тает. Он расстается с кольцами, которые уже не держатся на пальцах. Тотлебен докладывает о «неприступности Плевны»[23]. Тем не менее, Осману-паше посылается ультиматум, на который он отвечает: «Буду бороться до последней капли крови». Наконец, 28 декабря, после отчаянной атаки, стоившей морей крови, Плевна взята и Осман-паша вручает свою шпагу Ганецкому[24]. Растроганный царь возвращает ему ее. Но, обессиленный всем пережитым и разлукой с Долгорукой, возвращается в Петербург. Гвардия подносит ему золотую шпагу.

В начавшиеся мирные переговоры вмешиваются не только Англия и Германия, но и Италия, и Франц-Иосиф, «в третий раз переменивший свое мнение об этой войне». Царь дает распоряжение вел[икому] князю, как держать себя при входе в Константинополь (снабдить население провиантом и проч[ее]); но покуда вел. князь раскачивается, англичане уже в Константинополе. Царь отмечает, что турки встретили их «без восторга». Сам же он задержал свои войска перед воротами Константинополя «по совету Бисмарка». И тут же прибавляет: «никогда история не простит мне этого акта». И все-таки соглашается на настояния «честного маклера» собрать мирный конгресс в Берлине[25]. В дальнейшем, агония «победоносной» войны. После отхода войск из Адрианополя царь видит свои мечты о Царьграде разбитыми. И записывает: «Если бы я имел для советов русского Бисмарка, я бы приказал Николаю: войдем в Константинополь, а там разберемся».

Так кончилась эта война, начатая слезами царскими и побуждениями рыцарскими, а кончившаяся слезами русских вдов и сирот и побуждениями торгашескими.

Автор книги «Жизнь Дизраэли»[26] дает такую картину Берлинского конгресса: «Специальные поезда тронулись к Берлину, подвозя распростертых на мягких подушках, расслабленных старцев Биконсфильда и Горчакова. А Бисмарк говорил себе: “Конгресс — это я”. Так же думали и старцы».

На этом конгрессе, где должны были обменяться свободными мнениями, государства явились с заранее составленными секретными решениями. В Лондоне было достигнуто соглашение Англии с Россией[27]. Турция о нем не знала, не знала, что она должна уступить Англии остров Кипр. Австрии были обещаны — Босния и Герцеговина. Франции — протекторат в Сирии. Английская публика, смаковавшая заранее схватку Биконсфильда с русским медведем, понятия не имела, что до этой схватки все было распределено и решено... И все закончилось двумя фразами: фразой Бисмарка — «Турция осталась европейской державой» и фразой Горчакова: «Сотни тысяч солдат и сотни миллионов рублей — ни к чему».

Поколебав наш престиж внешний, война эта расшатала престиж монархии внутри России.

Террор

Третьим стимулом этой трагедии был террор.

Успехи «нигилизма» — как окрестили тогда, с легкой руки Тургенева[28], наше освободительное движение, — начинают беспокоить царя лишь с 1872 г. Узнав, что гнездо его в Швейцарии, где обучалось много русских студентов, царь, по совету начальника III-го отделения гр[афа] Шувалова, дает приказ о немедленном их возвращении в Россию[29]. Приказ этот подкрепляется угрозой потери русского подданства и запрещения въезда в Россию. Зараза, локализованная самой судьбой вне России, разливается, таким образом, волею начальства, по всей стране.

Прежде всего, она отражается на общественном и народном самочувствии. Все проведенные Александром II реформы, во главе с освобождением крестьян, уже не радуют. Шестидесятые годы с их подъемом отодвинуты в далекое прошлое. Россия с ее обожаемым «царем-освободителем» не прожила и десяти лет, как это обожание потеряла. Потеряла и вкус к реформам. Одна из них, запоздавшая — общая воинская повинность — была обнародована лишь в 1874 г. Казалось бы, реформа не малозначащая в политическом и социальном смысле. Но она вызвала отрицательное отношение не только общества, но и народа. «Я еще понимаю, — записывает царь, — неудовольствие буржуазии и дворянства, но не понимаю неудовольствия крестьян». Отрава нигилизма распространяется со страшной быстротой. Царь записывает: «Это гидра: на месте одной отрезанной головы у нее вырастают две». Анархизмом заражена «даже жандармерия». Совсем неправдоподобной кажется запись царя: «Движение поддерживается одним еврейским банкиром, одновременно ссужающим и правительство». Царь не мог не знать, кто этот банкир, но о судьбе его ни слова[30].

В 1875 г. о революционном движении в России царю докладывают глава III отделения гр[аф] Шувалов и министр юстиции гр[аф] Пален. Шувалов рекомендует суровость, гр[аф] Пален — умеренность. А жандармский генерал Слезкин рекомендует Варфоломеевскую ночь. Между этими тремя мнениями царь в нерешительности. Но отдает секретное распоряжение облегчить выезд за границу части арестованных, принадлежащих к высшему обществу (Перовская, оказывается, была далеко не единственной аристократкой, замешанной в революционном движении[31]). И начинается обратный исход заграницу русских революционных сил.

Но революционное движение не останавливается. Крепнут даже в правительстве влияния, требующие конституции. Царь сердится. «Пока я царствую, — пишет он, — я не позволю никому мне ее навязывать».

Война за освобождение «единоверных славян» вселяет царю надежду на приостановку, если не на полное прекращение революционного движения. Тщетная надежда. С первых же дней войны начались манифестации, а 6 декабря манифестацию на Казанской площади лишь с трудом удалось рассеять[32].

С конца 1878 г. события развертываются. Выстрел Засулич и оправдание ее[33]. Царь записывает, что даже в высшем обществе Засулич сравнивают с Шарлоттой Кордэ. Гр[афиня] Панина восклицает: «Я бы желала иметь такую дочь»[34]. На стенах столицы появляются революционные прокламации. Полиция признает себя «бессильной». Ждут взрыва в Николаеве. Бисмарк присылает царю листовку «Земля и воля», и царь ее читает «с интересом». 3-го декабря царь находит у себя на письменном столе письмо, требующее его отречения.

Безвольного и бестолкового Макова сменяет «кавказский герой» Лорис-Меликов[35]. Так называемая «диктатура сердца». Особое совещание под председательством наследника цесаревича. И в ответ: взрыв в Зимнем дворце[36], бомба в царском кабинете. В Особом совещании стычки наследника с Лорис-Меликовым. Лорис советует царю поместить свои деньги в Англии. Царь отвечает: «Я уже давно решил приобрести имение на юге, чтобы удалиться туда, когда они окажутся сильнее меня. Я заживу там спокойной жизнью помещика и позабочусь о приведении в порядок моих мемуаров».

Но «они» уже сильнее его. Угрожающее царю письмо передает ему сын (от Долгорукой)[37]. А сама она требует «исключительных мер». Царь отвечает: «Я вспоминаю ответ Бестужева на допросе у моего отца: “Воля царя в России, к несчастию, выше закона”...»[38]. По настоянию Лорис-Меликова царь упраздняет III-е отделение и распускает Особое совещание[39]. Из личных средств помогает бегству за границу революционеров «из общества». Признает Лорис-Меликова «российским диктатором». И начинает думать о конституции. На конституции настаивают Юрьевская и вел[икий] кн[язь] Константин[40]. По выражению царя, — вся Россия «минирована террором». Знакомясь с одним из планов покушения на себя, царь приходит в восторг от «его гениальности». Из-за границы пишут о подкопе на Мал[ой] Садовой. (Царь ездил через нее в Михайловский манеж). Мал[ая] Садовая длиной не больше 150 метров и на ней всего 5–10 домов. Ее дважды обыскивают и подкопа не находят. А он был в центре улицы, и его открыли на другой день после убийства царя[41]. «Террористы проникли уже во дворец», — пишет царь. Опубликование проекта Лорис-Меликова царь назначает на 2 марта[42]. Опубликование же конституции — на 23 мая, одновременно с указом о короновании кн. Юрьевской.

1-ое марта, воскресенье, очередной парад (развод) в Михайловском манеже: царь обожает воинскую помпу. Юрьевская просит не ездить. Царь знает, чем ее успокоить: «конституция, коронация!» Юрьевская забывает свои страхи. Царь едет. А через два часа сани полицмейстера Дворжицкого[43] привозят то, что осталось от императора Александра II.

Глава II[a].
Имп[ератор] Александр III

С луны щей не хлебают...
Из письма цесаревича Николая[44]

Царь-супруг

Личность Александра III настолько скульптурна, что исключается возможность крупных ошибок даже при схематическом ее очертании. Прежде всего — внешность царя.

Каким чудом в складной семье Романовых уродился этот обломок? Физическое вырождение династии началось лишь с Николая II. Даже дети уродливого Павла Петровича были на редкость красивы (победила, очевидно, более сильная кровь матери). Трудно сказать, кто из них был представительнее: Александр I или Николай I, Михаил или Константин Павловичи? А семья Николая I: Александр, Константин, Николай Николаевичи? А потомство Александра II: Николай (цесаревич), Владимир, Алексей, Павел — один пригожее другого. Пригожи и дети этих детей — Владимировичи, Михайловичи, Константиновичи, Павловичи. Только Александр III в этом романовском выводке — это утенок среди цыплят — вырос почти уродом.

В юности он вечно спотыкался. Все опрокидывал, был крайне застенчив, нелюдим, антиобщественен.

Его дяди, особенно Константин Николаевич, третировали его, как невоспитанного (этого он не забыл после). С одним лишь старшим братом цесаревичем Николаем у него была нежная дружба[45].

Выхоленный красавец цесаревич, по внешности, — полная противоположность брату, — был исключительным явлением в семье Романовых. При дворе на него молились. А он прильнул сердцем к своему незадачливому брату и всюду, где мог, внедрял к нему симпатию.

[a] Далее зачеркнуто: Последние Романовы.

— У Саши золотое сердце, и он вовсе не глуп, — уверял Николай. — Беда одна — влюбчив...

Неуклюжий гигант, впоследствии образцовый семьянин, был в свое время подлинным Дон-Жуаном. Особенно серьезно было его увлечение красавицей княжной Мещерской, на которой он хотел жениться. Это увлечение сблизило его с кузеном ее, кн[язем] В. П. Мещерским, а сближение это наложило глубокий след на царствование не только его, но и его сына.

Уже будучи мужем бывшей невесты покойного брата, цесаревич Александр продолжал посещать молодого автора «Женщин Петербургского большого света» и нашумевшей «точки»[46]. (Мещерский — точка). В собраниях на Почтамтской ул[ице] (где жил кн[язь] Мещерский), затягивавшихся до поздней ночи, участвовали наставник цесаревича К. П. Победоносцев и друзья его детства — графы Шереметев и Воронцов. На этих литературно-политических радениях Александр III получил свое политическое крещение, давшее характер его царствованию. Радения эти и дружбу с кн[язем] Мещерским прекратил Александр II, по просьбе своей невестки Марии Федоровны, скандализированной, как и весь тогдашний Петербург, предпочтением, которое цесаревич оказывал своему политическому другу перед молодой женой. Оборванная на целых 16 лет, эта дружба возобновилась лишь по вступлению Александра III на престол, когда кн[язь] Мещерский написал царю покаянное письмо, а царь ответил своему бывшему (и будущему) ментору: «Кто старое вспомянет, тому...».

Женитьба на прелестной Дагмаре, о которой ее покойный жених цесаревич Николай писал: «Разве я с моей нечистой жизнью достоин этого ослепительного счастья?..»[47], женитьба эта резко изменила моральный облик Александра III. Трудно было представить себе по внешности более несхожие существа, как этот суровый, шутя гнувший подковы, нелюдимый и необщительный гигант, и крошечная, хрупкая, как фарфор ее родины, всем улыбавшаяся и всех озарявшая взглядом своих прекрасных очей, общительная датчанка. Но гигант подчинился крошке, а крошка полюбила неладного гиганта, как когда-то любила его ладного брата. В истории Романовых, да и всех европейских династий, не было примера столь чистого и прочного брачного союза. Женившись, Александр III стал однолюбом, и все сплетни об его супружеских неверностях лишены малейшего основания. И это тем страннее, что среди его предков однолюбов не было (не исключая и Павла). А отец его на этом поприще стяжал особую известность. Трогательные отношения между супругами ни в чем не меняли основных черт их характеров. Царица обожала танцы и устраивала у себя вечеринки, на которых, ворча и скучая, терпеливо высиживал царь. Рассказывали, что когда царица особенно увлекалась вальсами, царь подзывал капельмейстера, шептал ему на ухо, и музыканты один за другим, прекращая игру, уходили, пока не оставался один тромбон, и спохватившаяся царица, топая ножкой, не прекращала танца. Безмерно снисходительный ко всем женским склонностям своей жены, царь был непреклонен в отстаивании своих мужских прав и обязанностей. К политике он свою жену и близко не подпускал. Во все его царствование не было случая, чтобы он решился на что-нибудь в области управления страной под влиянием жены. Он предоставил ей принять или не принять ко двору жену министра м[ада]м Витте (бывшую м[ада]м Лисаневич)[48], но, вопреки ее антипатии к кн[язю] Мещерско-

му, возобновил свои политические уроки у князя-точки. Да и в интимной жизни доминировал муж, а не жена.

Рассказывали такой случай: гигант любил крошечные комнаты, засиженную мебель, был рабом самых обывательских привычек. Чтобы удалиться от царственного великолепия Зимнего, Петергофского и Царскосельского дворцов, он поселился в скромной резиденции своего прадеда, Павла Петровича. И занял там верхние, самые маленькие и низкие комнаты. Ложем супругов служила старая, чуть ли не со времен Павла не ремонтированная кровать. Вследствие разницы в весе, матрас ее скоро перекосился, и Мария Федоровна с ее воздушностью скатывалась к супругу. Все просьбы ее о перемене матраса не имели успеха. И вот, однажды, в отсутствие мужа, она приказала заменить матрас. Вернувшись, улеглись и, очутившись не на привычной высоте, царь рассвирепел. Как смогли? Гофмаршала! Убрать! Давай старый! Царица плачет, царь бушует. Занимают прежние высоты. Инцидент исчерпан.

Царь-националист

У Александра III были два резко выраженные фобства: юдофобство и немцефобство[49]. Кто внушил ему первое — неизвестно. Во всяком случае, не кн[язь] Мещерский, ратовавший в своем «Гражданине» против погромов, черты оседлости и за еврейскую бедноту. В этом единственном пункте, да еще в вопросе о франко-русском союзе, ментор расходился со своим царственным учеником. Но сломить упрямство Александра III было невозможно. Русское революционное движение он приписывал еврейству. И, хотя погромов не одобрял, но смотрел на них сквозь пальцы. После крушения у ст[анции] Борок[50], чудесно спасшийся, он схватил обломок подгнившей шпалы, и сунув ее под нос оторопевшего тогдашнего министра путей сообщения Посьета[51], проворчал:

— Вот вам ваши жидовские дороги!..

(Сеть южных дорог тогда принадлежала евреям бр[атьям] Поляковым)[52].

Юдофобство Александра III (переданное им сыну) было тем страннее, что он вверил свою жизнь еврею доктору Захарьину и чутко прислушивался к голосу Каткова, связанного дружбой с Поляковыми[53]. При нем не мог иметь места Союз русского народа, как и все, выросшее из юдофобства и черносотенства. Остается предположить, что эта черта, наложившая тень на все его царствование, явилась следствием сгущенного, в противовес царствованию Александра II, национализма.

Этот сверхнационализм, как единственная самобытная опора царствования, лежал в основе и его германофобства.

В пору франко-прусской войны Александр III, тогда еще юный наследник, не называл пруссаков иначе, как «свиньями», предсказывал близкий реванш французов и стал в антагонизм с тогдашним русским правительством и особенно с военным министром Милютиным, опасаясь воинской поддержки немцам. Став царем, он не замедлил изменить внешний вид онемеченных русских войск, удалил от дворца немецких выходцев и повел антинемецкую политику. Отдавая дань уважения своему дяде Вильгельму I, Александр III не выносил Вильгельма II и не мог простить Берлинского трактата Бисмарку. Чтобы не встречаться

с железным канцлером, он ездил в Данию морем, а когда вынужден был проезжать через Берлин, на все ухаживания Бисмарка отвечал суровой холодностью. В Эймсе, куда Вильгельм I послал своего внука поухаживать за русским царем, царь наговорил юному Вильгельму дерзостей[54]. И если Бисмарку не удалось signer en blanc[a] [у] французов, как он об этом мечтал, то лишь благодаря окрику царя: «Руки прочь».

Таким же окриком, подчеркнутым ударом кулака по столу, Александр III остановил и вожделения Англии в Афганистане. К англичанам как к расе он был равнодушен, но не прощал им вмешательства в нашу турецкую войну, в нашу политику вообще. Вот почему, когда Гирс в шхерах, где царь удил рыбу, доложил ему однажды, что Европа в ожидании решения России волнуется, царь, нанизывая червяка на удочку, проворчал:

— Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать[55].

А немного спустя, в один из приездов в Петербург (за обычной подачкой) кн[язя] Черногорского, пил здоровье «своего единственного друга»...

Невысокого был мнения этот русак и о французах. Из Парижа, куда он ездил с отцом с визитом к Наполеону III[56], он писал кн[язю] Мещерскому: «Удивительная раса, — вы ему слово, он вам десять. Наполеон любезен... Евгения[57] красива... Париж — Вавилон... Умоляю государя поскорее уехать»... и т[ак] д[алее][58]...

И, тем не менее, он заключил франко-русский союз, заключил его наперекор своим симпатиям и своей внутренней политике, исключительно с целью утереть нос Бисмарку и Солсбери. И, держа руку под козырек, выслушал гимн с проклятьем самодержавию и призывом к революции[59]. А когда «Гражданин» кн[язя] Мещерского назвал французского посла парикмахером (или чем-то в этом роде), царь утвердил наложенную на него цензурную кару и в записке к своему ментору начертал: «Легче на поворотах!»

Волевой царь

Александр III был, несомненно, волевой и типичный повелитель, и не один Витте в царствование Николая II вздыхал о «лучезарном» прошлом.

Александр III был честен, правдив и ему органически была противна ложь и интрига. (Назначая, напр[имер], государственным контролером известного Тертия Филиппова, сказал, что делает это лишь потому, что против Филиппова была интрига (Половцова))[60]. Ему были дороги интересы России, и ради них он ломал, как подковы, бюрократическую и царедворческую рутину. Назначив, против всех традиций, на место Бунге Вышнеградского, когда его пугали репутацией последнего, отвечал:

— Пусть украдет 10 миллионов и даст России сто...

Когда забастовало путейское ведомство, и жел[езные] дороги представляли собой картину, близкую к теперешней в СССР, царь послал разгромить это ведомство инженерного полковника Вендриха (по указанию кн[язя] Мещерского), дав ему полномочия, которых не имел министр[61]. Когда придворные на него насели с кандидатурой на пост министра путей сообщения таких столпов режима,

[a] Подписать чистый лист (франц.).

как креатура вел[икого] кн[язя] Владимира Половцов, принц Ольденбургский, св[етлейший] князь Имеретинский и другие звезды петербургской аристократии и бюрократии, он призвал к себе надворного советника Витте (опять-таки по указанию кн[язя] Мещерского), только что обвиненного во взяточничестве, и, вручая ему власть, советовал «начхать на врагов». А когда Витте просил его разрешения на брак с м[ада]м Лисаневич, не скрыв, что она еврейка, юдофобский царь сказал:

— Женитесь хоть на козе, только приступайте к делу![62]

И велел Победоносцеву в три дня развести с мужем м[ада]м Лисаневич.

Александр III доверил армию военному министру Ванновскому, не прошедшему Академии Генер[ального] штаба (что было тогда явлением небывалым). Но когда кн[язь] Мещерский стал обличать порядки военного ведомства, и Ванновский просил государя обуздать подрывающего дисциплину журналиста, царь посоветовал своему министру доказать журналисту, что тот неправ.

Александра III к царствованию не готовили. Высшего образования он не получил. Но не он был автором мер против «кухаркиных детей» (как о том теперь пишут)[63]. Да и были ли эти меры? Насколько помнится, официального запрета к доступу в университеты для лиц податного сословия не было — была лишь «политика» Министерства нар[одного] просвещения. Эту политику создал, еще при Александре II, высокообразованный гр[аф] Д. А. Толстой, поборник классицизма[64]. Высшее образование в России было аристократизировано еще тогда, когда гремела слава Менделеева, Ключевского, Пирогова и друг[их]. Александр III не помешал, а помог Каткову в основании в Москве известного Катковского лицея[65]. Он же одобрил проект Витте к основанию в Петербурге знаменитого Политехникума[66]. И он же всячески поощрял московское купечество к основанию всякого рода клиник. Его министр народн[ого] просвещения (Делянов) был самым доступным из министров, и университетских волнений в царствование Александра III не было. Наконец, и вся земская деятельность по народн[ому] просвещению была стеснена не по указаниям, а как следствие грызни между Победоносцевым и гр[афом] Д. Толстым (тогдашним министром вн[утренних] дел). Эта грызня между двумя столпами самодержавия, людьми просвещеннейшими по тому времени, привела к тому, что Толстой, чтобы утопить церковно-приходскую школу, науськивал земства чинить ей всякие препятствия, а Победоносцев науськивал царя против школ земских. Немного спустя, когда Толстой учредил институт земских начальников, Победоносцев, обучавший Александра III гражданскому праву, публично называл затею гр[афа] Толстого «правовым кретинизмом» и величайшей ошибкой самодержавной власти. И если царь в этом вопросе присоединился к мнению Толстого, против огромного большинства членов Госуд[арственного] Совета, списав в своей резолюции очередной дневник кн[язя] Мещерского, причиной тому было не столько его невежество, сколько плохо усвоенная забота о приближении власти к народу.

Реформу земских начальников гр[аф] Толстой поручил разработать симбирскому помещику, бывшему ярко-красному, Пазухину[67]. В проекте этой реформы вначале предполагалось создать агентов исключительно административной, близкой к народу власти — нечто вроде уездных начальников. Присоединение к функциям этой власти — функций судебных, совершилось в последнюю минуту, по совету кн[язя] Мещерского и под влиянием борьбы гр[афа] Толстого с мини-

стром юстиции Манасеиным[68]. Гораздо более странно в этом казусе то, что его допустил либеральный Пазухин, чем то, что склонился к нему мало сведущий в вопросах юриспруденции царь.

Царь-миротворец

Когда еще жил цесаревич Николай, и юный кн[язь] Мещерский старался поднять в нем интерес к России, «лучезарный» юноша отвечал:

— С луны щей не хлебают...

Тот же кн[язь] Мещерский с тем же советом обращался впоследствии к цесаревичу Александру. Но угрюмый юноша только мучительно кряхтел. Познать Россию не дано было ни одному из русских венценосцев. Но у Александра III была почти мужицкая сметка, и он проявлял ее каждый раз, когда приходилось защищать русскую вотчину от иноземных поползновений.

Александр III и впрямь был «миротворец». Но не по рецепту Александра I и Бриана[69]. Он не мечтал о пан-Европе. Решив, что сермяжной безграмотной России не по пути с культурной Европой, он замкнулся в блестящем одиночестве. Неблагодарность «братушек»[70], цинизм Европы, вырвавшей из наших рук плоды победы 1877 г., — жертвы, принесенные Россией для чужого счастья, обиды, нанесенные немецким насилием близким ему датчанам, а главное — чувство собственной силы, опиравшейся на силу 180-милл[ионного] народа[71], внушили ему своеобразную кротость. Так кроток у Толстого Пьер Безухов, так в русской истории были кротки Илья Муромец и Добрыня Никитич.

Миролюбие — не заслуга Александра III, как не заслуга его отвращение к авантюре. Если при нем не было ни черносотенства, ни дворцовой камарильи, то лишь потому, что мозг его работал медленно, что желудок его прекрасно варил, что жена его была маленькой, покорной женкой, что дети его играли в детской, что террористы его не травили, что загадка России была загадкой не только для него, но и для русского гения, что при всех опасностях этой загадки к ней тянулись жадные руки и перед ней трепетали могущества.

И когда подкравшаяся к гиганту болезнь грозила осиротить и страну, и семью, движением могучих плеч гигант пытался сбросить ее. А не осилив, покорно склонился и ушел, столь же тихо, как пришел, решительно ничего и никому не завещая. Смерть Александра III была столь же скромной и застенчивой, как и его жизнь.

И все же, в этой сравнительно короткой жизни и, особенно, в этом коротком царствовании (всего 13 лет) проявилась черта, сыгравшая решающую роль в истории российского царизма и делающая незамысловатую фигуру Александра III до некоторой степени загадочной и, во всяком случае, сугубо исторической. Не столько моральная чистота, правдолюбие и миролюбие отличают этого царя-гиганта от его часто лукавых, воинственных и аморальных предков, а некая измена основному принципу царизма, засаженному в русскую почву Владимиром Мономахом и, казалось, навеки закрепленному там Грозным.

Принцип этот выражен поэтом в словах, вложенных в уста Грозного: «То только царство крепко и велико, где ведает народ, что у него один владыка, как в едином стаде — единый пастырь»...

Когда 1-го марта 1881 г. над Петербургом раздался зловещий взрыв, и полчаса спустя Зимний дворец окружил народ, когда из подъезда этого дворца вышел престарелый внук Суворова[72] с вестью о смерти царя-освободителя, когда от этого подъезда отъехал в слезах новый царь, а вслед за ним отхлынул и мутными потоками разлился по городу удивленный (но не ошеломленный) народ, а к вечеру этот народ устроил по Невскому и Морской нечто, близкое к масленичному гулянию, всматриваясь в мутное петербургское небо, где, по слухам, гуляла зловещая комета (никакой кометы не было), — уже тогда можно было понять, что ни чувства, ни сознания «единого владыки» в русском народе нет. Не было их и в русском правящем аппарате. На торжественном выходе новый царь, обращаясь к этой верхушке русской власти, зарыдал. Рыдали и его приближенные. Но не рыдала необъятная страна, потерявшая «владыку». Старое царствование народ проводил с недоумением, новое встретил с любопытством. К тому, что совершилось и имело совершиться в далеком Петербурге, народ отнесся как к семейной хронике династии, по закону правившей этим народом. Народ любопытствовал. В Петербурге было восшествие на престол, в стране — ожидание милостей и реформ. Le roi est mort — vive le roi![a] Во Франции этим возвещали незыблемость идеи. В России — зыблемость практики. Не «единого владыку» провожала и встречала Россия конца 19-го века, а запутанный во влияниях и настроениях, в случайностях и роковых сплетениях комплекс власти, названный самодержавием.

К приходу Александра III комплекс этот ощущался Россией почти болезненно. Самодержавие как **державность** висело на ниточке. Если в народной толще в этом еще не разбирались, то разбирались в этом слои третьего сословия и вся русская интеллигенция. Трещину между самодержавием и державностью пыталась замазать «диктатура сердца». И не успела.

Если бы Александр III после рыданий над прахом отца возвестил о принятии к исполнению воли покойного, расшатанная двуликостью российская державность была бы, может, восстановлена. И народ ведал бы, что у него «один владыка», — один не в смысле единоличности, а в смысле идейной преемственности. Но Александр III понял царскую власть как личную прерогативу, державность как орудие этой прерогативы, а вверенную ему промыслом страну как вотчину, границы и мирное житье коей он призван охранять. Менее всего этот честный хозяин всероссийской вотчины заботился об идейной преемственности русской власти и более всего — о ее практической сущности.

Державность и приватность

То, что называют реакционностью царствования Александра III-го, выявлялось постепенно, по мере того, как испарялась из этого царствования державность. А державность испарялась не параллельно сгущению деспотизма, в котором обвиняют этого монарха. И Петр, и Александр I были деспотами, не говоря уже о Николае I; но при них не чувствовалось такого падения российской державности, как при последних Романовых. Николай I не вынес геройского паде-

[a] Король умер — да здравствует король! (франц.)

ния Севастополя, а его правнук не прекратил партии в теннис при вести о позоре Цусимы[73]. Кучу ошибок наделали Павел и три его преемника, но царствования их были все же до известной степени державными. И это чувствовал Запад. Обаяние российской державности не могли затушевать вдохновенные, проникнутые ненавистью лекции Мицкевича[74] в первой половине XIX века и псевдонаучное русофобство Каутских и Рорбахов во второй его половине[75]. Несколько жестов Александра III, напоминавших о былой русской державности, приводили в трепет Бисмарков и Солсбери и весь насторожившийся перед восточным колоссом Запад. Но, увы, это были лишь отблески тех молний, что сверкали под стенами Севастополя, на Шипке и у врат Царьграда. Когда русский царь братался с черногорским авантюристом, когда он удил рыбу в финских шхерах, а в Дании упражнялся в цирковой борьбе со своими кузенами, Запад с тревогой на него косился. Но тревога эта исчезла после заключения франко-русского союза. Не потому ли, что этот, казалось бы, серьезнейший акт царствования Александра III сорвал с него ореол державности?!..

Союзом с Францией, т[о] е[сть] Востока с Западом, манили русских царей и Наполеон I, и Наполеон III. Перспективы этого союза тогда, на заре 19-го века, были шире, чем в конце его, — тогда ведь дело шло о мировой гегемонии. Но она не соблазнила ни Александра I, ни Александра II — не соблазнила, кажется, потому, что российская державность, не будучи ни у кого под сомнением, не нуждалась в подтверждении. Франко-русский союз Александра III разубедил Запад в самодовлеющей мощи русской державности. Трепетавший при тосте Александра III за князя Черногорского, Запад остался спокойным при тосте его за Францию. Мало того: в ответ на франко-русский союз Австрия развернула свои планы на Ближнем Востоке, Англия — на Дальнем, а Германия — и тут и там. Ведь только после тостов Кронштадта и Тулона выглянул впервые призрак мировой войны. Франко-русский союз был расценен человечеством не только как признак слабости России, но и как вульгарная денежная сделка[76].

Вопрос этот еще не назрел для истории. Но, кажется, и теперь уже можно сказать, что сила России в ее одиночестве. А это одиночество подсказывалось державностью русских царей.

Если державность в управлении страной идентична идейности и преемственности, знаменуя собой некое сращение воли одного с волей коллектива, некое растворение настоящего в прошлом и будущем, проникновение в историю своей страны и просочение ее философией, то такой державности в Александре III было не только меньше, чем у его отца Александра II, но даже меньше, чем у его деда Николая I.

Александр III был типичным индивидуалистом, не впитывавшим соки своего народа и не воплощавшим собой его истории, а, наоборот, посылавшим соки своей личности возглавлявшемуся им народу, — был царем, делавшим историю России. И это при всей его честности, прямоте и благожелательности. Рисунок этот повторился в его сыне Николае II. Но первые штрихи его наложил Александр III.

Отвергнув психологию своего народа (стремление к свободе), он стал на страже его физиологии — т[о] е[сть] этнографического и географического единства. Александр III ни в каком случае не допустил бы Россию до войны; да при нем никто бы и не решился ее начать. Но этим и ограничивалась державная воля

этого венценосца. Что делать с миром, как использовать капитал русского величия, нажитый мирным трудом, он не знал. Да и знать не хотел. Ибо — «с луны щей не хлебают».

С гораздо большей рельефностью приватность царствования Александра III проявилась в его внутренней политике. Преднамеренной реакционности, как уверяют левые круги России и Европы, в нем не было, — была только инертность доброго, хотя и заблуждавшегося хозяина, был уклон физически сильного и морально уравновешенного семьянина к довольствованию тем, что Бог послал. Лишенный личного честолюбия, в отличие от своего сына, Александр III не был честолюбив и для России.

Православие, самодержавие и народность

В царствование Александра III эти три устоя царизма потерпели, в той или иной степени, значительный сдвиг.

Реформы Александра II православия не коснулись. Фундамент русской гражданственности осторожно (умышленно или нет) обошел церковную ограду. Вслед за гражданственностью обошла эту ограду и русская культура. Об этом возвестили из зала министерства народного просвещения первые бунтари русской церковности — участники религиозно-философских собраний (Розанов, Мережковский и Ко)[77]. На одном из последних собраний этого общества один из его столпов заявил:

— Церковь перестала себя чувствовать госпожой мира. И вступила в борьбу с культурой, несущей положительную концепцию жизни, но уже не религиозную...

Открытие это было сделано при сверхреакционном управлении Россией Сипягиным, под благословением высших иерархов православия (тогда же Розанов прочел свой доклад, высмеивавший «Сладчайшего Иисуса», а Мережковский возвестил эру «оплотнения духа»).

Русская революция началась с церковной ограды. И спасовал перед ней сам Победоносцев — спасовал после того, как сдвинул русскую политику от Лориса к гр[афу] Толстому. Восприняв из рук Победоносцева самодержавие, Александр III потерял православие. От первого звена уваровской формулы остались лишь внешние его атрибуты, с канцелярией в стенах Св[ятейшего] Синода и сонмом чиновников в клобуках и без оных. Православие как «устой» русской государственности было к концу XIX-го века изжито. Да и весь этот век прошел для православия в ряде компромиссов с самодержавием. Кое-как перевалив за схизму Влад[имира] Соловьева, за «паралич» Достоевского, за толстовство и всякого рода церковные бунты, православие стало привеском к самодержавию. Выветренная от церковности, неограниченная власть представляла собой нечто вроде топи, по которой в поисках выхода Александр I бросался от Сперанского к Аракчееву, от Татариновой к Фотию[78]. На эту топь вступил Николай I с дубиной, а Александр II — с реформами.

Александр III не решился ни на дубину, ни на реформы. Понадеявшись на свои сильные плечи, этот гигант захотел протащить на них оба «устоя» русской государственности, решительно ничем, тогда уже, кроме свода законов, не спаян-

ные. А его непосредственной заботой стало самодержавие. Чем же оно оказалось в руках, гнувших подковы?

Рычаг неограниченной власти не был при Александре III укреплен ни на одной прочной точке. Власть лежала возле царя, как его корона и скипетр. Александр III любил домашний уют. К этому домашнему уюту он приладил и самодержавие. Будучи добрым хозяином доставшейся ему бескрайней вотчины, он обходил и объезжал эту вотчину со сворой приближенных и с кремневым ружьем — не решаясь проникнуть вглубь ее. Девиз брата: «с луны щей не хлебают», был и его девизом. Щи он заменил московским калачом. Познание России — русским кафтаном. Самодержавие как идею и историческую фазу он вместил в два слова: «быть по сему».

Один из братьев Поляковых, получив звезду и чин тайного советника[79], восклицал:

— Ах, самодержавие, что это за сила! Европа может сгнить, пока ее парламент раскачается, а у нас — «быть по сему!» Указ в десять строк, и вся деревянная Россия перестроится в каменную, соломенные крыши сменятся железными, и каждая изба потонет в цветнике.

Под самодержавием Поляков подразумевал державность. Но именно ее-то в самодержавии Александра III и не было, ибо, если бы она была, то раньше соломенных крыш следовало бы сменить весь внутренний строй России, вместо цветов насадить гражданственность, а вместе с грамотностью дать продолжение и увенчание реформ Александра II. Александр III стоял перед дилеммой: продолжать дело своего отца, т[о] е[сть] пожертвовать самодержавием ради державности, или пожертвовать державностью ради внешних форм самодержавия? Послушав своих советников, он выбрал второе и, будучи честным, старался пронести эти формы сквозь недоступные ему загадки русского сфинкса.

И, наконец, — народность! Внешность Александра III, его сила и простота давали повод считать его в полном смысле слова царем народным. Репутация эта укрепилась за ним и на Западе. Но в чем же после раскрепощения 120 мил[лионов] рабов, когда открылось необозримое поле для превращения этих рабов в свободных граждан, в чем проявилось народничество этого царя? Мы не склонны здесь нанизывать меры, продиктованные царю дурными советниками. Ошибались и правители Запада. Однако при всех ошибках Людовика XVI, Филиппа Эгалитэ[80], Гогенцоллернов, Габсбургов и других западных владык, их стремление к повышению народного благосостояния и поднятию гражданственности с целью опоры власти на народ было несомненным. Революции на Западе делались не народами, а скорее, вопреки воле народов — третьим сословием. Что сделано при Александре III для укрепления в народе его гражданских и имущественных прав, т[о] е[сть] для создания в нем прочного фундамента царской власти? Если не считать института земских начальников и учреждения Крестьянского банка как орудия борьбы Витте с дворянством — не было сделано решительно ничего[81]. Зато — водочная монополия, отравившая народ, и церковно-приходское обучение, скомпрометировавшее земское, наряду с эксцессами произвола земских начальников, отшвырнула 120 мил[лионов] бывших рабов к временам его рабства. Достаточно прочесть книгу одного из бывших земских начальников — Родионова («Наше преступление»), чтобы осознать, чем стал русский народ, «осенивший себя крестным знамением», под дланью правдолюбивого и трудолюбивого

хозяина русской вотчины[82]. И самые экономические реформы Витте, начавшие в России эру государственного коллективизма, разве они были направлены к поднятию народного благосостояния, а не к оборудованию денежной силой никшего самодержавия?!

У Александра III были: чувство власти, чувство миролюбия и чувство народной стихийной силы. Но эти чувства, не будучи переработаны в горниле сознания во всепоглощающий долг, в основу мировоззрения, в логику бытия, ни к чему его не обязывали. И консервативность, и самобытность этого венценосца были явлениями случайными, не имевшими корней в прошлом и не устремленными в будущее: как ни молод он был в эпоху великих реформ, он не только против них не протестовал, но, вместе с братом своим Николаем, разделял преклонение перед ними. Как ни антипатичны были ему немцы, он сознавал, что без них русскому материальному прогрессу не сдвинуться. Приходится допустить, что и консерватизм, и национализм этого царя были явлениями, не связанными с державностью и народолюбием, а со свойствами личности. Более чем Людовик-Солнце, Александр III мог сказать, да и говорил себе: «Государство — это я»[83].

Глава III.
Император Николай II

Я уверовал в себя...
Из письма Николая II
к кн[язю] Мещерскому в 900-х гг.

Витте о Николае II

Рисунок личности императора Николая II настолько же сложен, насколько прост рисунок личности императора Александра III.

Недруги Николая II-го, типа Витте, благоговея перед памятью Александра III, находили, что его сын — «полная противоположность отцу». Указывали на доминировавшую черту Николая II — коварство. Этому коварству Витте посвящал свои интимные беседы с друзьями и ему отвел целые страницы своих нашумевших «мемуаров».

Вот, напр[имер], как рассказывал он о своей первой незадаче по службе.

— Дело было в Ялте. Я заехал в Ливадию по дороге из Сочи. Никогда еще его величество не был со мной так ласков. Пригласил к завтраку, очаровал. Зная его натуру, я понял, что мне готовят удар в спину. Вернувшись в гостиницу, говорю жене: «Собирайся, возвращаемся в Петербург. Там ждет меня сюрприз». И впрямь, в Петербурге на столе уже ждал меня высочайший указ о расчленении моего ведомства (выделение из Министерства финансов Министерства торговли)[84]. Сделанное в такой форме, без предупреждения меня, это была пощечина. Но, зная нрав его величества, я ему простил[85]...

Корень недоразумения между ним и царем Витте приписывал страсти царя к интригам. По его словам, для Николая II не существовало крупных и малых интриг — в один котел сваливались им дела государственные и личные, отношения к министру и к приятелю. Лишь бы получался укол, встряска, крик удивления или боли. Садизм? Витте не шел так далеко. Он только отмечал, что, если всемогущество давало Александру III вкус к искренности и ощущение покоя, для сына

его оно было стимулом фальши и вечного зуда неудовлетворенности. Про свою первую отставку Витте рассказывал так:

— Зная об интригах против меня придворной камарильи — Плеве, Безобразова и всей банды, орудовавшей на Ялу и в Порт-Артуре[86], — я неоднократно просил государя освободить меня, дать отдохнуть на посту посла в Париже или Берлине. Франция меня особенно притягивала ввиду моих дружеских связей с парижским правительством и моей виллы в Биаррице. Но и в Берлин я бы поехал с удовольствием. Его величество уверял, что это успеется, что я ему нужен, и что заменить меня некем. Шли месяца, и я уже забыл о своем решении. Царь был обворожительно любезен, банда присмирела. Я решил послать на Д[альний] Восток одного из моих сотрудников, самого неяркого, но добросовестного, — председателя Госуд[арственного] банка Плеске. Доложил царю. Тот согласился. В день моего очередного доклада царь телефонирует мне: «Привезите с собой Плеске». У меня что-то дрогнуло, но я сказал себе, что ведь царь никогда Плеске не видал и что это едва ли не самый серый из моих подчиненных. Я кончил свой доклад. Царь разглядывает ногти, дергает ус. И вдруг: «Да, Сергей Юльевич, вы хотели отдохнуть, так вот, я решил назначить вас председателем Комитета министров. Дел там немного... Должность — классом выше»... Смешок и злая молния чарующих глаз. «Позовите ко мне Плеске»[87]...

Витте рассказывал:

— Из всех Романовых страсть к смакованию своим всемогуществом, к обывательской мести и обывательской мелочности была лишь у Николая II. Когда я был уже повержен, он старался причинить мне боль, где мог и как мог. Даже в деле бомбы, которую гр[аф] Буксгевден с Дубровиным и шайкой Союза русского народа заложили ко мне в трубу, даже в этом уже совсем грязном деле, по моим сведениям, не обошлось без царя[88]. Мне доподлинно известно, что он прерывал доклады своих министров, чтобы посудачить с ними об этом деле, и велел Столыпину прекратить следствие, когда оно стукнулось о порог царского дворца...

О причинах, по которым Витте так резко отзывался о Николае II, не пощадив его даже за гробом, мы скажем в главе, посвященной этому временщику. Пока лишь отметим, что правда о последнем из Романовых, как ее высказали гр[аф] Витте и другие суровые судьи этого царя, перевита с неправдой.

Мечты о славе

Николай II благоговел перед памятью отца. Ничем нельзя было, особенно в первое время его царствования, так задобрить его, как разделив это благоговение. Пользовался этим и Витте, и другие. Так, князь Мещерский, в первые месяцы царствования Николая II отстраненный от него либеральными течениями и императрицей Марией Федоровной, приблизился к царю исключительно на почве этого «благоговения». С деликатностью и «воспитанностью», которых не отрицает в Николае II даже Витте, царь бережно устранял все, что могло омрачить память отца: заменив впоследствии ближайших к отцу лиц (Воронцова, Шереметева, Черевина) другими, царь осыпал их милостями. Вряд ли даже решился бы он посягнуть на Витте, если бы к тому не было причин государственных

(дальневосточная политика), и если бы Витте своей грубостью и авторитетом сам его на это не вынудил.

И тем не менее, с первых же дней царствования царь задумал большие дела, шедшие вразрез с политикой его отца. Николай II мечтал о славе. Распорядившись снять со своих портретов генеральские погоны, царь отказался от чина, но не от славы. В этом и было его главное несходство с отцом. И, что страннее всего, жажда славы уживалась в нем о бок с неверием в себя и даже росла по мере того, как убывала в нем вера в свои силы. Этот психологический нонсенс, кажется, единственный в своем роде. Более скромного, застенчивого и сомневавшегося в себе монарха, как Николай II, история не знает. Но не знает она и более падкого до рискованных начинаний.

Прогресс и реакция

Царствование Николая II, как и его прадеда, началось с либеральных веяний, а кончилось реакционными. Чуть ли не с первых дней этого царствования в Царское Село стали ездить два ничего общего между собой не имевших человека: земский статистик Клопов и редактор «Пет[ербургских] ведомостей» кн[язь] Э. Ухтомский. Клопов был лицом, правительству и общественности совершенно неизвестным[89]. Кн[язь] Ухтомский был одним из лиц, сопровождавших царя, тогда еще наследника, в его путешествии на Д[альний] Восток. Путешествие это, как известно, закончилось покушением японского фанатика, после чего наследник был спешно вызван обратно и уже ни в какие путешествия не выпускался[90]. Ближайшими к наследнику лицами были его однополчане: лейб-гусар Волков и конногвардеец кн[язь] Оболенский[91]. Их и выбрал наследник в спутники. В последнюю минуту, по рекомендации Витте и кн[язя] Мещерского, к ним присоединили в качестве литератора кн[язя] Эспера Ухтомского. Проезд через Сибирь дал повод обратить внимание наследника на печальное положение этого пасынка России, а посещение Японии — на пробуждение этой страны под влиянием западного прогресса. Так или иначе, но к возвращению наследника политический горизонт его, атрофированный воспитанием на женской половине дворца, значительно расширился.

Витте, не упускавший случая укрепить свою позицию при дворе, ухватился за двух бывших спутников наследника: кн[язей] Оболенского и Ухтомского. Первого он сделал интимным другом своей семьи, второго — лауреатом будущего царя. С этой целью он передал Ухтомскому издание полуофициальной газеты «Петерб[ургские] ведомости», существовавшей на казенные субсидии, и назначил его председателем Китайского банка. Для Ухтомского, крайне бедствовавшего и едва замеченного в литературных кружках, началась золотая пора: он сразу приобрел и деньги, и влияние. А с воцарением Николая II, толкаемый Витте, стал во главе тогдашних либеральных кружков.

Было время, когда гранки набора «Пет[ербургских] ведомостей» отсылались на просмотр в Царское Село. Царь стал как бы редактором газеты. А в состав своей редакции Ухтомский пригласил известнейших тогдашних столпов радикализма (во главе с Ашешовым)[92]. Была таким образом налажена оригинальная

связь между самодержавием и революцией. Под двуглавым орлом печатались статьи, которых не решались печатать левые газеты. А ближайшие к Александру III лица, во главе с кн[язем] Мещерским, очутились в опале...

Конец этим затеям положил Победоносцев при содействии графов Шереметева и Воронцова и императрицы Марии Федоровны.

Из Царского Села был изгнан Клопов, а из редакции «Пет[ербургских] ведомостей» — революционеры. Ухтомский мгновенно перекрасился в правого, Волков и кн[язь] Оболенский были откомандированы к своим полкам. Витте написал свою нашумевшую книгу против земств. Царь произнес перед делегацией от земств свою речь о «бессмысленных мечтаниях». На смену либеральствовавшему Горемыкину был выдвинут Шереметевым обер-реакционер, близкий родственник кн[язя] Мещерского, Сипягин[93]. А этот последний наладил примирение царя с издателем «Гражданина». Словом, был восстановлен во всей чистоте культ Александра III. Мечты царя о славе эмансипатора России разбились. Но их поспешили заменить другими.

Дальний Восток

Характер Николая II к тому времени уже достаточно выяснился. И к нему приспособились. Стало ясно, что надо ловить момент, ценить день сегодняшний, ибо завтрашний — никому неизвестен. Для тех, кто искал близости к царю, надо было приковать его внимание к объекту, сулящему России счастье, а царю — славу. Соответствующие позиции заняли министры царя, соперничавшие с Витте: ген[ерал] Куропаткин (министр военный) и кн[язь] Лобанов-Ростовский (министр иностранных дел). Они выдвинули проект... завоевания Константинополя. Проект этот зажег воображение царя. Было созвано секретное совещание. Взбешенный Витте растрепал врагов. Проект провалили[94].

Но разбереженное славолюбие царя горело. Витте понял, что победа его в вопросе о Константинополе окажется пирровой, если не удастся зажечь царское воображение другой мечтой. Объект этой мечты он усмотрел на Дальнем Востоке. Подмена Востока ближнего — дальним, была тем легче, что и в вопросе о Константинополе речь шла лишь о незамерзающем порте. В Китае и в Корее таких портов было немало. Выбора их Витте еще не делал. Перестановку центра внимания царя от Ближнего к Дальнему Востоку, он решил начать с постройки китайской железной дороги[95]. В Петербург был вызван всемогущий Ли Хун Чанг[96]. За крупную взятку Витте удалось получить от него разрешение на постройку этой дороги[97]. Но аппетит к славе разгорелся не у одного русского царя — Вильгельм II тоже о ней мечтал.

Приехав в Петербург, кайзер начал с того, что пожаловал Витте цепь Черного Орла и уверил царя, что он, кайзер, гордился бы иметь такого министра. Остальное пошло гладко. Было решено, что Германия занимает Вейхавей, а Россия — Порт-Артур. Эскадра адмирала Дубасова не замедлила занять его[98]. А в Корее не замедлил основаться под маской финансового агента надзирающий за корейским императором чиновник Витте (Кир Алексеев). Началась та погоня за счастьем России и славой ее царя, что окончилась на полях Манчжурии, в водах Цусимы и в Портсмуте.

Безобразов

Власть Витте была в своем зените. Но чем выше она была, тем более врагов рождала. Убийство Сипягина лишило его поддержки гр[афа] Шереметева. А назначение министром внутр[енних] дел Плеве столкнуло с врагом сильным и непримиримым. Судьбе угодно было, чтобы одновременно появился в Царскосельском дворце (на смену разночинцу Клопову) некий мечтатель Безобразов (бывший кавалергард). Выдвинул его боровшийся с Витте глава ведомства торговли и промышленности, вел[икий] кн[язь] Александр Михайлович[99]. Мечты о величии России и собственной славе к тому времени приобрели у царя характер болезни. Безобразову, за спиной которого скрывалась группа великосветских дельцов, ничего не стоило довести эту болезнь до мании. В союзе с Куропаткиным, Алексеевым (наместником на Д[альнем] Востоке) и Плеве он склонил царя на авантюру на Ялу. Но Безобразов был человеком чистым и идейным (политический Рудин). Чего нельзя сказать о других членах его шайки. Этой шайке удалось втянуть царя в авантюру на Ялу и сбросить Витте[100].

Князь В. П. Мещерский

Царствование Николая II делится на две почти равные части. В первой, до революции 1905 года, он искал путей к славе, искал и самого себя; во второй — искал утерянного в первую половину царствования. Соответственно сему, менялись и влияния на царя. Самым длительным из этих влияний было влияние издателя «Гражданина» кн[язя] В. П. Мещерского.

Этот «шептун» двух царствований прошел через историю царизма метеором, силу и значение коего еще не оценили.

Свою роль в царствование Николая II кн[язь] Мещерский начал довольно нерешительно. Юного венценосца он совсем не знал. И венценосец этот не был посвящен в политические уроки, которые издатель «Гражданина» преподавал его отцу, его дяде (цесаревичу Николаю) и молодым отпрыскам царского дома. Будучи наследником, Николай II жил исключительно полковой жизнью (преображенцев, гусар, кавалергардов). Путешествие на Восток только поверхностно приобщило его к вопросам политики. Смертельная болезнь отца и страсть к невесте, Алисе Гессенской, наполнили его глубокой грустью и глубокой радостью. В этих разнородных переживаниях Николая II было не до политики. И потому первые шаги его как самодержца были робкими, почти детскими — в сторону наименьшего сопротивления. А наименьшее сопротивление в ту пору оказывало либеральное окружение царя (Витте, кн[язь] Оболенский, Волков, кн[язь] Ухтомский).

Кн[язь] Мещерский очень тактично дал схлынуть волне поверхностного либерализма и выждал в своем уединении неизбежного момента поворота. Поворот этот готовили граф Шереметев и Воронцов, поддержанные императрицей-матерью, в ту пору получившей исключительное влияние. Вознаграждая себя за долгую политическую пассивность, императрица Мария Федоровна ринулась в политику со всей импульсивностью своего живого темперамента. Способствовала этому полная политическая инертность ее невестки, императрицы Александры Федоровны[101].

Дико застенчивая, по-институтски влюбленная, мещански сентиментальная и уже тогда тронутая крылом сгубившего ее мистицизма, эта немецкая «второго сорта» принцесса (Вильгельм II называл ее Alishen, а русская аристократия — «гессенской мухой») на престоле величайшей империи и в рамке всемогущества спряталась, как улитка, в раковину своего супружеского счастья и обывательского уюта. Как ни мало была политически подготовлена императрица-мать (все 13 лет царствования своего мужа — проплясавшая), она поняла, что безвольем ее влюбленного сына кто-нибудь должен воспользоваться, что Россией кто-либо должен управлять. В ту пору Витте, перешагнув из левого лагеря в правый, вернулся к гр[афу] Шереметеву и кн[язю] Мещерскому, помогших ему сломать шею либеральничавшего Горемыкина[102].

Трио из Шереметева, Воронцова и Витте, возглавленное императрицей-матерью, выдвинуло на пост министра внутр[енних] дел самого известного из великосветских охотников и бонвиванов, дворянина старой марки, гастронома и милягу, егермейстера Дмитрия Сипягина (среди его друзей слывшего под кличкой «Митя Сипягин»). Час кн[язя] Мещерского пробил. Порванные со смертью Александра III нити между редакцией «Гражданина» и царским престолом связал близкий родственник и друг Мещерского, Сипягин. Ментор «отцов» стал ментором и «детей». Возглавлявшееся императрицей-матерью трио стало квартетом. А в квартете этом роль кн[язя] Мещерского, хоть и наименее заметная, стала наиболее существенной.

На долю издателя «Гражданина» выпало воспитать юного царя, создать то, чего не создали в нем ни отец, ни мать, ни его официальный воспитатель ген[ерал] Данилевский[103], — его политическое мировоззрение, его самодержавную волю, — веру в правду, которую ему внушали, и, что важнее всего, — веру в себя. На этом амплуа издатель «Гражданина» специализировался, воспитав или стараясь воспитать в этом направлении целое поколение Романовых.

Его переписка с Александром III и с Николаем II в этом смысле исторична. То, что французы называют cheval de bataille[a] кн[язя] Мещерского, сводилось к приобщению юных венценосцев и кандидатов в венценосцы — к пониманию России. Кажется, в этом была самая положительная сторона уроков ментора: познай и властвуй! Никто из учеников с ним не спорил, но никто ему в этом смысле не подчинялся. «Лучезарный» цесаревич Николай без обиняков ответил: «С луны щей не хлебают». Его брат Александр III вскряхтывал и ворчал: «Успею». А Николаю II этих уроков и вовсе не привелось выслушать.

Вступив на престол еще более «неожиданно», чем его отец, Николай II знал Россию лишь по урокам Победоносцева (гражданск[ое] право) и Витте (политическая экономия) и по своему короткому путешествию на Восток. Кн[язь] Мещерский понял, что начинать политическое воспитание царя с азов, т[о] е[сть] с познания России, уже поздно, и что надо готовить царственного ученика прямо к аттестату зрелости, к нравственному праву управлять 180-миллионным народом. Этим нравственным правом у Николая II, лишенного широкого образования и знания России, могла быть только **вера в себя**, т[о] е[сть] самоуверенность.

Связь кн[язя] Мещерского с Царским Селом стала настолько тесной, что стороны перешли на «ты». Влияние императрицы-матери и дворцовой «камари-

[a] Боевой конь (франц.).

льи» стушевалось. Закадычный друг кн[язя] Мещерского, адмирал Нилов, став флаг-капитаном его величества, разъезжал между Петербургом и Царским Селом, обменивая настуканные на машинке послания кн[язя] Мещерского (у Мещерского был такой почерк, что царь однажды взмолился: «Пожалей меня, разобрать твои каракули я не в силах») — на послания царские, каллиграфически написанные и запечатанные печатью с двуглавым орлом. В одном из таких пакетов в начале 900-х годов появилось письмо с заглавной дважды подчеркнутой фразой: «**Я уверовал в себя!**»[104] А в дальнейшем развивался план управления Россией «в союзе» царя с издателем «Гражданина». Царь писал: «**Не верь сплетням, наш союз крепок и нерушим, и никакое правительство, из кого бы оно не состояло, разрушить его не в силах**»[105].

«Союз» самодержца с подданным был типичен личными чертами «союзников». Мещерский брюзжал и капризничал, а царь истеризировал: «Не могу же я во всем тебя слушаться», — писал он «союзнику»[106]. Мещерский ослаблял нажим. Только лишь в отношении к Витте Мещерский не сдавался. Трижды царь за спиной своего «союзника» подписывал отставку Витте, но, застигнутый «союзником» (которого Витте предупреждал), рвал отставку и подписывал сочиненный Мещерским благодарственный рескрипт[107]. Эта самоотверженная настойчивость Витте не спасла, а «союзу» Мещерского с царем нанесла почти смертельную рану. Но боль этой раны почувствовалась лишь с убийством Сипягина, — когда ошеломленный ментор с разбегу предложил царю кандидатуру Плеве — того самого Плеве, которого он не допускал к власти со времен Александра III.

Плеве

Плеве понял разницу между Александром III и его сыном. И он угадал внутренний процесс, происходивший в венценосце под влиянием уроков кн[язя] Мещерского. Этот процесс, в интересах своей власти, он не задержал, а ускорил. Он всячески поощрял царскую самоуверенность и своеволие. Но эти черты Николая II он развивал не на почве широко понятой идеи самодержавной власти, а на почве узкого, почти шкурного страха. Плеве пугал царя революцией. И, хотя Николай II далеко не был трусом, он под влиянием жены не мог не реагировать на грозную перспективу. Так, в очень короткое время, Плеве занял в Царском Селе позицию, с которой не мог спорить ни Витте, ни кто-либо из других министров. Не ставя явных преград влиянию кн[язя] Мещерского, Плеве стремился локализировать это влияние областью, избранной самим князем — областью народного просвещения. Хотел даже сделать его министром народного просвещения. Разгадав игру своего протеже, Мещерский отказался. И стал развинчивать гайку взвинченной им царской воли. Но было уже поздно. Все усилия его обуздать раздразненный дух царского своеволия оказались тщетными. Безобразов не обучал царя управлять Россией, но он манил его счастьем России и славой его царя. Безобразов и Плеве шли по линии наименьшего сопротивления, по той линии, что расчистил кн[язь] Мещерский, заставив царя **уверовать в себя**. Перспективы кн[язя] Мещерского были отдаленны и туманны; перспективы Безобразова и Плеве — близки и ярки. А когда, после Мукдена и Цусимы[108], Николай II увидел, куда привела его «вера в себя», он шарахнулся от нее.

Время от воинского разгрома в Манчжурии до первых признаков революции было самым тяжким в жизни царя. Он вновь потерял себя и вновь, как в первые дни царствования, стал игрушкой чужих влияний. Он не денонсировал своего «союза» с кн[язем] Мещерским, но ему было стыдно взглянуть в глаза своего «союзника». Не о чем было больше мечтать и с Безобразовым. И вообще, все мечтания в эти смутные дни являлись «бессмысленными». Неумолимая судьба стучала в дверь его дворца и сводила судорогой Россию. Взрыв у Варшавского вокзала[109], разметавший в клочья российского герцога Альбу (Плеве)[110], надорвал последние нити его веры в себя и придушил жажду личной славы. Но осталась еще, хоть и поблекшая, забота о счастье России. Остался и увеличился под влиянием жены и приближенных страх за участь семьи. В эти мучительные месяцы события сменялись с калейдоскопической быстротой. Назначение кн[язя] Мирского, шествие Гапона, назначение Булыгина, власть Трепова, Булыгинская конституция[111] и вся та возня возле власти, что имела целью утихомирить общественное возбуждение и распрямить униженное национальное чувство, бросая царя от конституции к диктатуре, от народоправства к «потерянному документу»[112], эта новая страница русской истории прошла под знаком смены настроений и влияний, не выдвинувших в историческом аспекте никого. И продолжалось это до появления Столыпина.

Столыпин

Эпоха Столыпина в царствование Николая II была не менее выпуклой, чем эпоха Витте и Плеве. Со Столыпиным у Николая II был роман, близко схожий, хотя и не столь длительный и глубокий, как с кн[язем] Мещерским. Но роман со Столыпиным был лишен главной своей прелести — таинственности. Столыпин правил Россией открыто, почти вульгарно, на манер Витте и Плеве. Вежливо, но твердо он отстранил от этого дела царя. Будучи иного калибра и нравственных качеств, чем его предшественник, обаятельный, талантливый и волевой, юный диктатор совершил, однако ж, ту же ошибку, что и его предшественники. Своей волей и своей личностью он заслонил от России волю и личность царя. Этого царь не прощал никому, — не простил даже беззаветно преданному ему Трепову[113]. Сила кн[язя] Мещерского была именно в том, что своей тенью он не заслонял царя, убедив его, что все подсказанные им, Мещерским, мысли и меры суть плоды ума и воли царя.

В медовые месяцы нового романа, как и во все медовые месяцы, объект царской влюбленности, Столыпин, мог обернуть царя вокруг пальца, — судьбы России зависели тогда исключительно от него. И в эти месяцы Николай II, не сторонник политической полигамии, забыл о кн[язе] Мещерском. Но этот последний не забыл о царе. Как только стало ясно, что Столыпин не отменит самодержавия, старый шептун вновь обвил царя искушением веры в себя.

Зверь революции был посажен на цепь. Правда, в укрощенном народном представительстве притаился еще опасный для самодержавия враг. Но он был в пределах достижения. Ни Милюков, ни Гучков не казались тогда страшными. И царь под аккомпанемент «волевых импульсов» Столыпина, обретя то, что было потеряно при Витте, решил управлять Россией, повинуясь «вере в себя».

Убийство Столыпина было в этом смысле для него провиденциальным. И потому, когда г[оспо]жа Столыпина при посещении царем умиравшего мужа произнесла:

— Мой муж, как Сусанин, умирает за Ваше величество, — царь только пожал плечами[114]. Заместителем волевого диктатора стал В. Н. Коковцов.

Гр[аф] Коковцов

Годы премьерства В. Н. Коковцова были для царя и России нужными. В эти годы жизнь в стране и в столице переваливалась, как медведь, с боку на бок, ожидая и страшась надвигавшихся событий.

Государственная дума цеплялась за фикцию своих «конституционных» прав, а правительство графа Коковцова (титул «графа» был дан ему в пику гр[афу] Витте[115]), избегало столыпинских «волевых импульсов». Власть исполнительная подсиживала власть законодательную. Фраза премьера: «Слава Богу, у нас нет парламентаризма»[116], не вызвала в левом секторе Думы и тени того негодования, что вызвала фраза Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, нам — великая Россия»[117]. Все как бы обтерпелись в этих самодержавно-конституционных сумерках. Политический маразм охватил страну, дворец Потемкина[118], дворец Царского Села и даже серый особняк Гродненского пер[еулка] кн[язя] Мещерского. А на фоне этого маразма извивалась цветистая фигура кудесника-плясуна Распутина. Не ревнуя к влиянию кн[язя] Мещерского, гр[аф] Коковцов предоставил ему инициативу в назначении министров, а сам специализировался на проведении в Гос[ударственной] думе бюджетов. Встрепенувшийся опальный гр[аф] Витте плел вокруг Маклакова (министра внутр[енних] дел) и кн[язя] Мещерского новые сети. Распутин целил и распутничал. В Гос[ударственной] думе Пуришкевич пугал министерской «чехардой», а Гучков — войной с Германией. В банках, правлениях и на бирже бушевало грюндерство и росла возможность сказочно быстрой наживы. А в стране, под тонким слоем успокоения и законности, накипал вулкан...

Германия и Россия

В эпоху 11-го и 14-го годов усилия кн[язя] Мещерского были направлены к примирению Николая II с Вильгельмом II. С этой целью он устроил военным агентом в Берлине своего племянника ген[ерала] Шебеко, тактично и умно служившего делу сближения. Свидание в Бьорках было одним из результатов этой политики[119]. Но еще раньше кн[язю] Мещерскому удалось склонить царя принять приглашение кайзера на свадьбу его сестры. Перед отъездом царь пишет «союзнику»: «Еду в Берлин, поработаю для счастья России. По возвращении приму тебя и расскажу подробно»[120]. Берлинским свиданием царь остался очень доволен. Мещерский торжествовал. Сазонов будировал. А события надвигались. Шовинистская группа (Сазонов, Сухомлинов, Гучков, вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич и друг[ие]), — не дремала. В Думу были внесены чрезвычайные военные кредиты. В июле 1914 г. кн[язь] Мещерский, уже тяжко больной, едет

в Петергоф и умоляет царя «ослабить военное напряжение». Царь дает «честное слово», что войны не будет[121]. Обессиленный нервным напряжением, «ментор» схватывает воспаление легких и умирает.

В Германии до сих пор уверены, что смерть эта решила участь войны. А Витте уверял, что войны не было бы, если бы Николай II внял его просьбе назначить его послом в Берлин.

Витте, как всегда, подменивал причины последствиями. Делал он это в вопросе о великой войне, как и в вопросе о войне японской. Несомненно, поводом к последней была авантюра на Ялу. Но причиной было наше внедрение в Китай и Корею. Также и в войне великой, Сербия была лишь поводом, а причина, или вернее, — одна из причин, лежала в Бьорке.

Вильгельм II сказал там Николаю II буквально следующее:

— Я знаю, что ты к войне не готов, — у тебя не в порядке тяжелая артиллерия, жел[езные] дороги и проч[ее]... Но я свято чту заветы предков. Ничего горячее не желаю, как мира с Россией. Даю честное слово Франции не тронуть. А ты знаешь, слово свое я держу... Скрепим же подписью то, что диктуют нам сердца и насущные интересы!...

Скрепили. Но царь почти месяц не вынимал из кармана заветную конвенцию. А когда вынул, получился известный скандал. Правда, что во главе протестантов был вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич и Сазонов. Но правда и то, что к ним присоединился и Витте. Тот самый Витте, что проповедовал союз с Германией...[122]

Те, кто знали Вильгельма, тогда уже уверяли, что пощечины Бьорке кайзер не забудет. Николай II не любил Вильгельма и, уверяли, завидовал ему. Но, кажется, кайзер не нанес ему во все время царствования [ни] малейшего оскорбления. Если и предположить, что Германия не воспользовалась нашей слабостью в японскую войну из политического расчета, то знаки внимания кайзера к царю, доходившие до подобострастия, были для всех очевидны. Тем больнее оказалась пощечина Бьорке. Во всяком случае, психологическую причину ярости Вильгельма против царя в июльские дни 1914 г. надо искать здесь.

Межеумие

Император Николай II вступил на престол в политически межеумочное время, когда две силы, двигавшие русскую жизнь — самоуправление и самодержавие — каждая, опираясь на серьезные фундаменты, надвинулись друг на друга вплотную. Получив первый толчок в сторону самоуправления, царь был отброшен в сторону самодержавия («бессмысленные мечтания»). А потеряв внешние атрибуты самодержавия (акт 17 октября), но не порвав с ним внутренней связи, Николай II повис между этими двумя началами.

Книга Витте (хотя и не им написанная) «О земстве» не преувеличивала несоответствия между самоуправлением и самодержавием[123]. Но она опоздала. Появись она в 70-х годах, покончили бы с самодержавием. Появись она в царствование Александра III, покончили бы с самоуправлением. Но она, как личное орудие Витте в борьбе за власть, совпала с эпохой, когда не было сил задушить самоуправление и не было смелости отказаться от самодержавия.

Межеумием была эпоха Николая II и в этическом смысле. Встрепенулось после смерти Александра III не только русское политическое сознание, но и русская мысль. В литературе, в искусстве и даже в религии началось пробуждение новых сил и течений. Властители дум той эпохи: Горький, Чехов, Андреев, Соллогуб, Мережковский, Брюсов, Блок и др[угие] в поисках новых путей сдвинули русскую этику от гармонии Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского к дисгармонии Бурлюка, Маяковского и всей гаммы импрессионизма и декадентства. Розанов с Тернавцевым подняли бунт духа. «Огарочники»[124] подняли бунт плоти. И забурлили русский дух и русская плоть так, как не бурлили они со времен Татариновой. Если прибавить к этому разбереженную новыми экономическими принципами страсть к наживе (enrichissez-vous)[a], биржевую вакханалию и всяческую спекуляцию, охватившую средние и высшие круги (включая и дворцы), если прибавить сюда авантюризм, вызванный доступностью высших сфер к авантюрам и авантюристам, получится сплошное взбаламученное море идей и фактов, по которому суждено было двигаться без руля и без ветрил царской ладье.

Не менее трудным было для твердой власти и внешнее положение России. Стучать кулаком по столу, удить рыбу под шум европейской свалки, пить за здоровье «единственного друга России», жуликоватого черногорца, — все это и многое другое Запад прощал колоссу Александру III, но и малой доли такой «самобытности» не простил бы он тщедушному его сыну. Франко-русский союз, свернув Россию с ее традиционного пути внешней политики, заставил ее защищаться там, где прежде она могла найти защиту. Александр III передал своему сыну недружелюбие к «свиньям пруссакам». И это недружелюбие не умерил, а подчеркнул брак с германской принцессой. Недружелюбие это, питавшееся еще ревностью к успехам Вильгельма II, до поры до времени сдерживали только Витте и кн[язь] Мещерский. Недолюбливал Николай II и своего дядю Эдуарда за его английское высокомерие. А глодавшая его жажда личной славы (и счастья России), при напряженности европейского равновесия, при отсутствии на западе симпатий к русскому политическому строю и при страхе перед русской агрессивностью, — все это не давало Николаю II ясного представления, куда и как вести русский корабль в области внешних отношений. Не оправдывая авантюры на Ялу и устремления России к загадке Дальнего Востока, следует признать, что ошибки, которые привели Николая II к японской и великой войнам, до некоторой степени оправдываются полученным им наследием.

Трагедия личной жизни

И, наконец, трагедия личной жизни царя. В юности своей Николай II не был Дон-Жуаном, как его отец. Но всем известные его любовные связи вселили опасения за его моральные качества. Эти опасения, к счастью, не оправдались. Николай II оказался таким же однолюбом и прекрасным семьянином, как и его отец. Выбор его сердца пал на скромную, застенчивую немецкую принцессу одного из второстепенных германских дворов. Принцесса эта, получив английское воспитание, сохранила в крови специфический немецкий провинциализм

[a] Обогащайтесь (франц.).

и тягу к мещанскому счастью. Вся она была олицетворением приватности и антиподом державности. В семье простого смертного она была бы отрадой и украшением. Принесла бы она счастье не только терратеристому Пьеру Безухову из «Войны и мира», но и лучшему герою Толстого — возвышенному кн[язю] Болконскому. Вероятно, она принесла бы счастье и любому европейскому конституционному монарху. Но на престоле российского самодержца она оказалась почти вороной в павлиньих перьях. А ее дородность и красота, о бок с тщедушной фигурой мужа, вызывали какие-то смутные предчувствия. Наружное несоответствие было и у четы Александра III с его женой. Но колосс муж о бок с крошечной женой внушали русскому сердцу больше доверия, чем крупная жена о бок с тщедушным мужем.

Однако, крупная жена без памяти влюбилась в тщедушного мужа. Влюбленность эта могла бы дать тему романисту. И она не уменьшалась, а росла с годами. Вся жизнь императрицы Алекс[андры] Федоровны была сплошной любовью к мужу и через его голову к детям. Сплетни о ее «романе» с красавцем ген[ералом] Орловым, с Распутиным, намеки на грязные отношения с Вырубовой[125] — сплошная клевета. Подобной же клеветой распутное петербургское общество окутывало и Николая II. (Предполагаемый его роман с дочерью Пистолькорс)[126]. Супружеская жизнь последнего из Романовых была чиста, как и жизнь его отца. В этом смысле трагический рок его семьи был незаслужен. Два последних поколения династии Романовых распрямили кривую мораль поколений предшествовавших. В частности же, императрица Александра Федоровна искупила грехи своих предшественниц: двух Екатерин, Елисаветы и Анны.

Тем не менее, императрица Александра Федоровна была не опорой, а грузом на русском троне. Ее дикая застенчивость, ее приватность, граничившая с обывательщиной, ее смутные предчувствия, граничившие с манией преследования, ее чужеземность, граничившая с ненавистью ко всему русскому, и самая ее величественная красота, — все это с первых же дней ее миссии как императрицы всея Руси отгородило ее от этой Руси. Ее семейный очаг был выдвинут из уютных и дружеских объятий очага общерусского. На всю жизнь она осталась для России немкой. Ничего подобного не было с другими русскими монархинями иностранного происхождения. Не говоря уже о чудном перевоплощении Екатерины II, такие царицы и великие княгини, как жены Павла Петровича, его детей и внуков, сплошь немки, легко и быстро перевоплощались в русских. Не чувствовали иноземности в очаровательной датчанке «Дагмаре» (Марии Федоровне), смешно ломавшей русскую речь. И чувствовали ее в Александре Федоровне, даже когда она почти чисто говорила по-русски. Для русских чувств Николая II в этом был первый из возложенных на него семейной жизнью крестов. Жена, если и не рассорила его с матерью, то отдалила от нее и от других членов царской семьи. Большой двор при Николае II стал в антагонизм с дворами малыми, что усилило придворные интриги и послужило основаньем к созданию пагубной для русского царизма придворной «камарильи». А борьба Николая II с его родственниками (дядями и кузенами), к которой его склоняла жена, ослабляла его и без того слабую волю и заслоняла зрение от вопросов государственных. Борьба эта вылилась в конце концов в скандальную историю с Распутиным.

Вторым крестом, который возложила на слабые плечи Николая II его горячо любимая и пылко его любившая жена, был вопрос о престолонаследии. Судьбе

угодно было подарить в первую голову царской чете четырех дочерей. Это нередкое в частной жизни явление в жизни венценосцев стало едва ли не проклятием. Почти сплошь предки Николая II рождали сыновей. Все дворы европейские имели наследников (Вильгельм II целых четыре), и только трон российский 10 лет стоял осиротелым. Для настороженной к року, болезненно самолюбивой императрицы Александры Федоровны это явилось трагедией. И вся ее жизнь, не только как жены и матери, но и как императрицы, превратилась в сплошное ожидание, в сплошную болезненно мистическую жажду наследника. На этой почве разыгрался скандал с лионским «доктором» (оказавшимся мясником) Филиппом[127]. На этой же почве разыгрался и другой, более крупный скандал с Распутиным.

Тот рок, что чувствовала на себе красавица Алиса еще в стенах скромного Гессенского дворца, настиг ее среди пышных дворцов Царскосельских. Наследник в конце концов родился, но он принес с собою в мир редкий, даже у простых смертных, недуг — окостенение кровеносных сосудов — прирожденный склероз[128]. Болезнь эта, говорили, — гессенская (династия гессенская не отличалась чистотой нравов). Перед царственной четой явилась новая, самая жгучая забота — сохранить хрупкую жизнь наследника. А перед этой заботой померкли для царскосельских отшельников (во всяком случае, для императрицы) все остальные заботы.

Жизнь царской четы превратилась в сплошной липкий страх. С первым кровотечением у ребенка над ним повисла смерть. Разрыв каждого кровеносного сосуда мог оказаться роковым. А сосуды эти, как тончайший фарфор, лопались от неосторожного движения. Врачи признавали болезнь неизлечимой. Мать и отец потеряли головы, и в этот момент явился Распутин.

Его «выдумали» черногорки — жены вел[иких] князей Николая и Петра Николаевичей. А черногоркам, как говорят, его подсунула гр[афиня] Игнатьева, а ей — сибирский епископ Варнава[129]. Откуда бы Распутин ни был, его появление ознаменовалось «чудом», — он «заговорил» кровь наследника. Так в деревенском быту колдуны «заговаривают» точащуюся кровь у лошадей и коров. «Чудо» признали врачи всего мира. Распутин останавливал кровотечение наследника не только в непосредственной от него близости, но и на расстоянии. (Даже из далекой Сибири). Когда в «чудо» уверовали, уверовали и в святость чудотворца. Остальное — цепь причин и следствий. Цепью этой обвили и задушили династию.

Эпопея Распутина во многом пикантнее эпопеи кн[язя] Мещерского, Безобразова, Столыпина. Но в общей схеме заката царизма она важна не своей пикантностью. На уговоры кн[язя] Мещерского отослать Распутина Николай II ответил:

— Я предпочитаю десять Распутиных одной истерике жены...

Кажется, этим он охарактеризовал драму и свою, и всероссийскую. Неверно, что Россией в последние годы управляла императрица Александра Федоровна. Но, несомненно, что над Россией, судорожно извивавшейся в воинской натуге, висела истерика этой несчастной женщины.

Скромная немка не сделала ничего, чтобы взобраться на высоту всероссийского престола. Не ее вина, что у наследника оказалась «гессенская хворь». И не она вызвала из тьмы сибирской тайги развратного, но могучего кудесника. Ничем не повинна она в ненависти к себе г.г. Родзянок и Гучковых и в грязном навете развратного высшего света. Тем не менее, красивейшая из цариц, вернейшая из жен, нежнейшая из матерей, оказалась чуть ли не Наиной для русского витязя[130].

Сфинкс

Тот элемент приватности в управлении царством, что пришел в русскую историю вместе с Александром III — передался и сыну его. Приватность в отношении к людям, событиям и своей роли в них — вот основная черта этого монарха. По выражению Витте, Николай II был «отлично воспитан». Он не стучал по столу, не третировал своих министров, не демонстрировал своего всемогущества. Но под рукой его, как у искусного хирурга, был всегда ланцет и наркотик, и каждую минуту он был готов к операции. Не будучи злым, он был злопамятен. Не будучи жестоким, он был почти равнодушен к чужому страданию (за исключением страданий своей семьи). Не будучи коварным по мерке Витте, он по-женски забавлялся смятением и потасовками в рядах своего окружения.

— Для меня, — сознавался он, — высшее удовольствие — собрать моих министров и, бросив им кость, столкнуть их лбами. Особенно забавно хрюкает при этом Ермолов...

И он же говорил:

— Мои министры не уходят, а я их увольняю...

Но относилось это не к одним министрам: Николай II увольнял не только от должностей, но и от своей дружбы. Такую операцию под наркозом любезности свершил он над Треповым (не пережившим ее), Клоповым, Ухтомским, Безобразовым, Оболенским, кн[язем] Орловым[131] и др[угими]. Спасся один кн[язь] Мещерский.

Николай II не гнул подков и не удил рыбы, но он был страстным курильщиком и игроком в теннис. (Партии в теннис он не прервал, даже прочтя депешу о Цусимском разгроме). По этому поводу рассказывали, что, гостя вместе с Вильгельмом в Дармштадте, царь подслушал мнение о себе Вильгельма:

— Papirossen rauchen und Tennis spielen ist nicht regieren...[a]

Мнение это, понятно, не порвало, но и не сделало более сердечными отношения монархов. Но оно свидетельствовало, что и Вильгельм II, при всем его преклонении перед волей деда, при всем его ухаживании за русским царем, не находил в нем главного элемента верховной власти — державности...

Воспитанный, деликатный, целомудренный, он и не заметил, как Распутин выдвинул опочивальню его из алькова дворца на вид всего мира. Бравируя общественным мнением в вопросе о Распутине, пропустив мимо ушей угрозу Милюкова («Глупость или предательство?»), он ревниво следил за интригой против него Гучкова.

В 1913 году он с легким сердцем разорвал подписанный в Бьорке договор[132], а в 1917 году, угрожаемый смертью и гибелью семьи, не нарушил неписанного договора с союзниками. Так, переступая с ноги на ногу, то опасаясь истерики жены, то смело глядя в лицо смерти, этот сфинкс XX века брел навстречу своему року. И принял его мужественно.

Бывший воспитатель цесаревича, швейцарец Хильяр[133] рассказывает факт, истории еще не известный, но подтверждающийся современной книгой «Пути к дворцовому перевороту» Мельгунова (если не ошибаюсь)[134].

[a] Курить папиросы и играть в теннис — это не значит управлять (нем.).

Подготовления к дворцовому перевороту, оказывается, были известны Николаю II. И известна была роль, которую в заговоре играл английский посол Бьюкенен[135]. Царь вызвал его к себе и сказал:

— Мне известна роль, которую вы играете в подготовляющемся дворцовом перевороте. Если бы что-либо подобное совершил мой посол при английском короле, я бы немедля отозвал гр[афа] Бенкендорфа и лишил его всех прерогатив его звания.

Бьюкенен помертвел, но имел силы ответить:

— Ваше величество ввели в заблуждение.

— Вы думаете? Ну, так в следующий раз я дам вам доказательства...

Доказательства не замедлили. Вызвав еще раз Бьюкенена, царь процитировал ему протокол заседаний, имевших место в английском посольстве. Бьюкенен молчал. Не подав ему руки, царь удалился.

Известны были царю имена всех заговорщиков с Гучковым во главе и имена великих князей, присоединившихся к заговору[136].

В вышеупомянутой книге об этом говорится подробно. Когда царь выслал в почетную ссылку в Персию вел[икого] кн[язя] Дмитрия Павловича[137], вел[икий] кн[язь] Андрей Владимирович писал ему:

«Не сдавайся, Митя. Мы тебя не выдадим»[138]...

Доказательств подобного рода можно собрать много. Любой монарх «необреченный» защищался бы. Будь на месте Николая II даже царь Федор Иоаннович[139], казнены были бы Милюков, Гучков, царские дяди и кузены. Простое чувство самосохранения, если не забота о России, двигали бы царской волей (или безволием). Но у обреченного Николая II не было не только воли, но и безволия. Как ягненок, он глядел в пасть удава. И даже в последнюю минуту вместо отречения не мог ли бы он окружить себя верными войсками, арестовать думских посланцев и двинуться на мятежный Петроград?!...

Но в судьбе Николая II было кое-что и не от рока. Природа наделила его женственностью. Повинуясь ей, Николай II любил зеркала и зеркалами этими стали близкие ему. В зеркалах своего окружения он искал не своих морщин, а своих чар. И зеркала покорно отражали эти чары. Секрет влияния кн[язя] Мещерского, Безобразова и др[угих] — здесь. Но были и кривые зеркала (Витте). Царь от них отворачивался и их ломал.

За 3 года царствования у него не было «друга», с которым бы он не разошелся. «Дружба» приливала и отливала от его сердца. Это не было, как уверял Витте, «коварство» — это было скорее любопытство. Уже поверженный, он не прочь был гадать о своей судьбе с теми, кто его поверг: кн[язем] Львовым[140] и Керенским. После долгих бесед с последним он уверял, что назначил бы его премьером, если бы знал его раньше...

Мечась со своим поездом между Псковом и Бологим, он загадывал с Ниловым:

— Ну что ж, буду жить в Ливадии, цветы разводить. Вы любите цветы, Константин Дмитриевич?

Он не был королем в калошах и с зонтиком; но не был и монархом в регалиях. На троне величайшей империи Николай II мечтал о дальнейшей своей карьере. Покидая трон, он покидал не только царство, но и неудавшуюся карьеру.

Глава IV[a].
Первое марта. Казнь. Кн[ягиня] Юрьевская. Лорис-Меликов

Серый оттепельный день, настороженный, что-то таящий в себе. На изломе зимы такие дни в Петербурге нередки. С неба — ни дуновения, ни снежинки — пристально уставившаяся на землю муть; а на земле — исполосованный полозьями серый снег, местами как в стекло оправленный. Хмуро поблескивают вдавленные в снег рельсы. Скользко — санки на поворотах заносит. Пересекая рельсы, они скрежещут. Не холодно, но и не тепло.

Улицы кажутся длиннее и шире. Дома, как из бани вышли — мокрые, с пятнами; на иных — как ранняя седина, изморозь. Особенно мокр и красен и опорошен ранней сединой Зимний дворец. Размякли его стройные колонны, статуи, порталы, балюстрады. За блестящими зеркальными стеклами угадывается притаившаяся роскошь зал и покоев. На карнизах, блестя золотом, пытаются не размякнуть двуглавые орлы. Но уже не скрывает своей немощи повисший от безветрия императорский флаг. Стройная громада дворца всматривается в ангела на гранитной колонне, а ангел всматривается в нее. В этот серый день на изломе зимы не разберешь — какую благовесть несет дворцу под орлами смиренный, кроткий ангел.

Тихо. Только полозья шелестят. И вдруг — выстрел. Из Петропавловской пушки стреляют в полдень. А теперь три часа. Второй! Кучера на облучках саней и седоки поворачиваются, оглядываются и, качая головами, продолжают путь. Только несколько человек останавливаются у арки Главного штаба. Из-под этой арки доносится гул. Усиливается. На тротуарах застывает все больше народа. Смотрят друг на друга и на мокрый в пятнах дворец. Гул ближе. С Мойки, с Морской выбегают на площадь прохожие вперемежку с полицейскими, жестикулируют. Кричат. Под аркой два течения — с площади и на площадь. Водоворот. Рассекая его, вырываются парные сани. Лошади несутся вскачь. Кучер весь изогнулся. В санях окровавленная полость. Кто-то в военном пальто, тоже изогнувшись, обнимает кого-то в шинели. Полы шинели откинуты и по ним бежит кровь. Съехавшая на затылок каска с окровавленным плюмажем и бледное, с закатившимися глазами лицо, обрамленное соединенными в одну линию усами и

[a] Далее зачеркнуто заглавие: Из книги «Ныне отпущаеши». Гл[ава] I.

баками. Сани несутся к подъезду. За ними, как за быстроходным судном, взрытый след людей. След все глубже, длинней. Через арку вливается на площадь мутный поток. Еще не опростали окровавленных саней, а уж площадь полна. И сразу тишина сменяется криками. Ожил обмокший дворец. Ожили площади и улицы, его охватившие. Только ангел с гранита не ожил...

Вряд ли кто помнит подробности этого дня. Сколько минут еще жил взорванный Александр II, пришел ли в себя, сказал ли что? Через сколько времени явились во дворец наследник, вел[икие] князья, министры? Что в точности происходило во дворце? Помнят лишь, что в сумерках из главного дворцового подъезда вышел старый генерал в шинели и, всхлипывая, произнес:

— Его величество скончался.

То был кн[язь] Суворов.

Помнят еще, как из того же подъезда вышел в пальто в сопровождении жены заплаканный, бледный новый император, сел в коляску и, окруженный конвоем, быстро отъехал. На него глазели, но его не приветствовали. Никто еще толком ничего не понял.

А вечером на всех проспектах столицы, благодаря воскресному дню, происходили гулянья с обилием семечек. Чего-то ждали, о чем-то судили. Отыскали на небе какую-то комету, которой не было. Театры были закрыты. Но рестораны были полны. У Зимнего и Аничкова дворцов толпы людей разгонялись полицией. На улицах же особого усердия полиции не замечалось. Над властями еще висела ошеломленность. Висела она над всеми. Кто-то где-то сказал, что народ будет бить господ, потому что убили царя-освободителя господа. Но нигде и признака этого не наблюдалось. В Петербурге, в Москве, да и во всей России, кажется, не было попытки так реагировать на злодеяние 1-го марта. Ошеломление, любопытство и ожидание, вот чем встретила Россия народная и интеллигентская 1-ое марта. Личность Александра III была мало кому известна — знал его только небольшой кружок личных друзей. Для всей страны он был сфинксом.

На другой день был в Зимнем дворце выход и восшествие на престол. На выходе император обратился к сановникам с речью, но разрыдался и кончить ее не мог. Рыдали и сановники. Вообще рыдающих во дворце было больше, чем вне. Прощанье народа с покойным императором и похороны его заняли первые после катастрофы дни. В эти же дни полиция открыла подкоп на Мал[ой] Садовой, из сырной лавки Кобызева. Подкоп этот был сделан на случай, если бы император вздумал возвращаться из Михайловского манежа по этой улице. Анархист Кобызев в течение месяца торговал сыром, и полиция в этом самом центральном месте столицы не заметила, как из лавки на улицу велся подкоп, и как выкопанная земля вывозилась в бочках из-под сыра. Охота за императором в этот раз была организована в совершенстве: бомбы и взрывы его ждали решительно на всех возможных путях возвращения в Зимний дворец. Весь первомартовский заговор был полиции известен заранее, и участники его должны были быть вот-вот схвачены. Желябов и Перовская уже были схвачены[141]. Знал ли об этом Лорис? Во всяком случае, он чего-то ждал, потому что уговаривал императора на развод не ехать. Но именно в это воскресенье подходил к государю на ординарца один из великих князей, и царь не хотел его огорчить.

Можно поэтому предположить, что 1-го марта не было бы, если бы: 1) полиция поспешила с арестами, 2) если бы царь не поехал на развод и 3) если бы

после первого взрыва царь не покинул кареты, чтобы подойти к раненым конвойцам, а послушался кучера, кричавшего:

— Садитесь, Ваше величество, довезу!

Все три обстоятельства случайные, и сочетание их представляет собою то, что называют роком. На императора Александра II было произведено до 1-го марта шесть покушений[142], совершенных с большими шансами на успех, чем это последнее. Избежал он их почти чудом. В кругах, близких ко двору, объясняли это чудо так:

— Покуда жива была императрица, она была его ангелом-хранителем.

В кругах этих вину за катастрофу возлагали на двух ближайших к царю лиц: Лориса и кн[ягиню] Юрьевскую.

* * *

День яркий, весенний. По Литейному и Загородному тянутся две телеги. Впереди и сзади войска. Бьют барабаны. Следом — несметная толпа. На телегах, привязанные спинами к лошадям, сидят «цареубийцы». Так написано мелом на досках, привешенных на груди каждого. Их пять — трое на одной телеге, двое на другой. Четыре мужчины, одна женщина. Худенькая, она жмется между двумя мужчинами. Это — Перовская, дочь бывшего министра[143]. Другую женщину, Гесю Гельфман, спасла беременность[144].

Все пятеро бестолково раскачиваются на громыхающих телегах. Бледные лица кажутся обыденными. Выделяется только один с длинной черной бородой. Это — Желябов. Михайлов очень толст, Рысаков (бросивший первую бомбу) совсем мальчик, Кибальчич с лицом уездного учителя. Он спокойнее всех. Желябов, видимо бодрясь, нагибается к толпе и что-то говорит. Но бой барабанов заглушает его слова. У Михайлова, очевидно, затекли руки, он морщится и поводит плечами. Рысаков, как пойманный волчонок, дико оглядывается. А Перовская старается не качаться. Путь длинный. Солнце яркое. Любопытство несметной толпы жадное. Барабанная дробь неустанна. Мерный шаг войск непрерывен.

Семеновский плац. Виселица. Море голов. Веселое посвистывание снующих у Царскосельского вокзала паровозов. Телеги подъехали, осужденных развязали, свели, выстроили на помосте виселицы, каждого у своей веревки. Покуда читают приговор, они потягивают онемевшими руками. Священник подносит крест. Первому Кибальчичу. После нескольких слов он целует, но не крестится. Рядом Михайлов, делает движение, чтобы перекреститься, но спохватывается и быстро целует. Следующий Желябов. Теперь, выпрямившись во весь большой рост, он очень красив. На белом, как снег, лице порхает не то усмешка, не то гримаса. Он вступает с батюшкой в спор. Что-то доказывает. Священник отвечает. Рядом стоящая Перовская, крошечная возле своего возлюбленного, удивленно косится. Спор между Желябовым и священником чуть затягивается. К ним делает шаг комендант. Желябов пожимает плечами с видом:

— Чтобы сделать вам удовольствие — извольте!

С улыбкой целует. Без всяких слов и без малейшей позы целует крест Перовская. А Рысаков что-то шепчет священнику и жадно в него впивается глазами. Священник пожимает плечами и броском подносит ему к губам крест.

У палачей уже черные мешки в руках. Осужденные друг с другом прощаются. В последний раз весеннее солнце целует пять белых лиц. Под его мучительной лаской сощуриваются углубленные мукой глаза, судорогой сводит рты. В последний раз мощный Желябов жмет руку своей миниатюрной подруге. Он улыбается, она величаво серьезна. Не промелькнуло ли перед ней чудо любви, превратившее ее в террористку?... Осужденным завязывают на спине руки. Когда черные саваны уже над головами, в последний раз широко открываются человечьи очи. В последний раз сын народа улыбается кровной аристократке. На помосте пять черных статуй, и они чуть шатаются.

Работа палачей. Начинают с Кибальчича. Саван на шее прорезан. В него продевается петля. Осужденного ведут по лестничке на скамью. Веревку натягивают, подвязывают, скамью из-под ног выбивают. Если узел петли пришелся правильно, т[о] е[сть] на солнечное сплетение, смерть наступает мгновенно. Так умер Кибальчич, без судороги, лишь завертевшись волчком. С грузным Михайловым не повезло. Он дважды срывался, падая с грохотом на помост. От грохота этого шарахались ожидавшие своей очереди. В третий раз его подняли уже полумертвого и с его веревкой связали свободную веревку Гесси Гельфман. Не сразу умер Желябов, и борода его, просунутая в разрез савана, смешно моталась по воздуху. Перовская умерла мгновенно. Но с Рысаковым, до последней минуты ожидавшим помилования, пришлось повозиться. Он не хотел подняться на скамью, а когда его подняли и приладили петлю, не выпускал из-под ног скамьи. Ее выбили только после третьего удара. И умирал он в страшных судорогах. Так, что толпа ахнула, и даже барабаны на минуту перестали бить... Пять трупов сняли, уложили в гробы. Звякнуло оружие, вырвалось из-за тучки на миг спрятавшееся солнце, заиграл веселый марш, и толпа, гогоча, сплевывая семечки, вылилась по столичным стогнам.

* * *

О Лорис-Меликове, его «диктатуре сердца» и его конституции еще толком не выяснили. Лорис был храбрый вояка, хитрый армянин, мстительный и пронырливый. Рекомендовал его Александру II, кажется, Константин Николаевич. Но Лорис заискивал у всех, имевших вес при дворе, — заискивал он и у наследника престола. Задачей Лориса было привлечь на сторону власти общественное мнение, тем, хоть отчасти, предотвратив террористические акты. А свое положение при царе он укреплял близостью к кн[ягине] Долгорукой. После смерти императрицы Лорис всячески способствовал женитьбе царя и убеждал его в возможности коронования кн[ягини] Юрьевской. Оно предполагалось одновременно с дарованием «конституции». Уверяли, что и самая «конституция» даруется для облегчения этого антигосударственного акта. Во всяком случае, в последние дни своей жизни Александр II был всецело поглощен устройством своих семейных дел: свою, довольно бурную, интимную жизнь он кончал глубокой привязанностью к своей морганатической супруге и своим от нее детям. Правой рукой Лориса в его предполагавшейся реформе был некий Юзефович, видный сановник по отделу государственной полиции[145]. Из рассказов его о замыслах Лориса трудно было вывести точное понятие о характере реформы. Но было ясно, что это было далеко не то, на что рассчитывали. Предполагалось нечто вроде Булыгинской Думы, с большей ком-

петенцией и большими правами выборных ее членов[146]. Но не предполагалось ни присяги царя конституции, ни парламентаризма в смысле выбора правительства. Предполагалось нечто по образцу прусской, дуалистическая монархия с сильным аппаратом власти. А Лорис метил себя в русские Бисмарки. Кажется, его и имел в виду кн[язь] Мещерский, когда писал свою нашумевшую сатиру: «Один из наших Бисмарков». Сменивший Лориса гр[аф] Игнатьев (российский Тартарэн) видоизменил проект Лориса, назвав свое сочинение «Земским собором»[147].

Несомненно, 1-ое марта нарушило естественный ход русской истории: без него какая-нибудь да была бы «конституция» и к царствованию Николая II и народоправству Россия подошла бы более подготовленной. Вряд ли, однако, справедливо считать, что поперек этому естественному ходу истории встало царствование Александра III. Царствование это оказалось таким, каким были творившие его люди. Смена Александра II Александром III ни в какой мере не походила на смену Екатерины Павлом или даже Александра I Николаем I. Лорис не был «выгнан», как при Николае II был дважды выгнан Витте: он просто выдохся. Ему нечего было больше предъявить. И он оказался безмерно слабее и волей, и умом своего соперника Победоносцева. Александр III чтил Лориса по воспоминаниям турецкой кампании, где наследником он воевал под его начальством. Новый царь свел Лориса с Победоносцевым, дав им обоим высказаться, выявить свои силы. Победил Победоносцев. И это, кажется, потому, что Лорис был вообще, как государственный деятель, мало одарен, а его «конституция» — не искренней, не цельной и не даровитой. Нечто подобное случилось 25 лет спустя и с Витте.

* * *

Весьма вероятно, что княжна Долгорукая была самая красивая из смолянок. Но, несомненно, она не была самой умной. Такой она осталась, переехав в Зимний дворец, став морганатической женой императора, а потом вдовой, кн[ягиней] Юрьевской. Умственную простоту Юрьевской воспевали и при жизни, и по смерти императора. Но простота эта не мешала ей ревниво блюсти свои интересы. Еще до замужества она завязала крепкие связи с вел[иким] кн[язем] Константином Николаевичем, умнейшим и дельнейшим членом дома Романовых. Этот великий князь был не только идеалистом и либералом, он был еще одним из практичнейших людей века. В качестве генерал-адмирала он обладал связями в деловом мире и России, и Европы. Связи эти ревниво оберегал и развивал министр финансов, великолепный Абаза, тоже либерал. А Абаза был окружен сетью крупнейших в ту пору дельцов России во главе с Гинсбургами, Горвицами, Поляковыми и друг[ими][148]. Эта могущественная группа получила тогда первые жел[езно]дор[ожные] концессии, на которых нажила миллионы. Концессии эти, как прежде откупа, проходили через тесно сплоченную вокруг Абазы финансовую рать, одним плечом опиравшуюся на Зимний дворец, другим на Мраморный[149]. Знал об этом весь Петербург. И если кн[ягиня] Юрьевская не сумела за это время достаточно упрочить свое материальное положение (а, кажется, она именно не сумела), судьба ее здесь не при чем: судьба дала ей в этом смысле возможности, которых ни у кого больше не было.

Заботой ее, несомненно, было продлить жизнь государя, и для этого она готова была подарить России десять конституций. Она ухватилась с этой целью за

Лориса, а Лорис оперся на нее. Но ни умом, ни чутьем она не была близка затевавшемуся великому делу. Если бы в лице ее судьба послала Александру II хотя бы Евгению Монтихо, как Наполеону III, русская конституция осуществилась бы задолго до 1 марта.

У кн[ягини] Юрьевской не было не только ума, но и такта. Считаясь с будущим своим коронованьем, она с первых же дней после свадьбы стала разыгрывать роль императрицы. И главное — дала почувствовать это самой деликатной из членов императорской семьи — супруге цесаревича, Марии Федоровне. Она потребовала от цесаревны официальных реверансов на придворных балах и норовила всюду выступать впереди нее... Когда однажды цесаревна воспротивилась, разгневанный царь бросил ей:

— Не забывайте, что вы моя подданная!

Мария Федоровна больше этого не забывала, но не забыла этой фразы и после смерти императора. Для Юрьевской в Петропавловском соборе во время похорон императора была приготовлена особая ложа, и к горю ее отнеслись с уважением. Но разделить это горе со своим сыновним горем Александр III и его супруга отказались. А новый министр двора Воронцов-Дашков дал понять Юрьевской, что ей надо очистить апартаменты Зимнего дворца, а, пожалуй, и покинуть Россию. Но Юрьевская притворилась не понявшей и приобрела себе великолепный дворец на Шпалерной. В этом дворце она полагала открыть один из малых дворов, соперничая с большим. Но, так как петербургское общество и деловая сфера с Абазой во главе от нее уже отвернулись, а вел[икий] кн[язь] Константин Николаевич переселился в Крым, в Ореанду, Юрьевская, прожив в своем дворце всего пару лет, покинула его и переселилась в Париж и на юг Франции.

Здесь тоже у нее был великолепный дворец и царская роскошь. Здесь она воспитала своих детей от императора Александра II[150]. Но старший сын ее, которого она в душе прочила в наследники престола, умер совсем юным, а дочери неудачно повыходили замуж. Что же касается до огромного состояния, то оно растаяло и от чрезмерных трат (много растратил сын), а главное, от неудачного выбора управляющих делами. Один из них, кажется, еще здравствует в Ницце, владея, кроме больших средств, еще и ценными документами, заполученными им от княгини; между этими документами имеется, говорят, переписка царя с фавориткой и собственноручный дневник Александра II. Его неоднократно пытались достать и опубликовать. Помешали соображения юридические.

Лорис-Меликов и Юрьевская — два спутника заката царя-освободителя. При иных условиях они могли бы закат этот сделать более счастливым и для царя, и для России. В последние дни жизни царь был так размягчен душой, утомлен травлей и поколеблен в своих ранних иллюзиях, что подчинить его волю своей ничего не стоило. В эти именно дни Александр II, услышав, что кто-то его ругает, обронил свою историческую фразу:

— За что? Я, кажется, ему ничего хорошего не сделал!

И слепая привязанность к поздней семье после измен ранней, и «диктатура сердца» после всех знаков людской неблагодарности, — все это свидетельствовало, что в иной обстановке Александр II мог еще задолго до 1 марта даровать России представительный строй, тем удержав ее на краю пропасти. Бомба 1-го марта — не первый ли знак нависшего над Россией рока?!

Глава V[a].
Толстой, Победоносцев, Делянов

От монолита великодержавности Николая I и Александра II (первой половины его царствования) к эпохе распада Александра III и Николая II оторвались три осколка: гр[аф] Д. Толстой, Победоносцев и Делянов.

Они были чужды позднейшему черносотенству, черпая свое мировоззрение не из случайностей данного момента и не из личных интересов, а из усвоенного государственного опыта, связанного с серьезной научной подготовкой. Ими, поэтому, довлеет скорее понятие о консерватизме, чем о реакции.

Гр[аф] Д. Толстой, Победоносцев и Делянов принадлежали к образованнейшим людям эпохи освобождения, и 1-го марта 1881 года застало их почти дряхлыми. Тем не менее, у них хватило сил и энергии, чтобы свалить Лорис-Меликова, опиравшегося на вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича, а снизу — на либеральное русское общество и чиновничество. Этот триумвират с ношей не менее 200 лет на плечах повторил подвиг спартанцев на историческом мосту[151]: преградил путь вливавшейся струе либерализма.

Ошибочно думают, что Александр III уже вступил на престол реакционером; он вообще не был подготовлен к царствованию (подготовляли его брата Николая), и отношения его с отцом, Александром II, ни в какой степени не напоминают отношений царевича Алексея с Петром[152]. Правда, он был учеником Победоносцева, дружил с реакционерами — кн[язем] Мещерским и гр[афом] Воронцовым-Дашковым, но не чуждался и «либералов» того времени, как, например, Абаза, не ссорился со своим дядей Константином и Лорисом. Он был аполитичен.

Прекрасный семьянин, человек прямой, а во многом и рыцарь, если бы отец передал ему корону конституционного монарха (что и случилось бы, проживи Александр II еще только год), он, вероятно, сберег бы основы русского народоправства, не подпустив к себе ни Толстого, ни Победоносцева, ни Плеве. Но бомба 1-го марта, взорвав русскую свободу, взорвала и этого тяжкодума. Из подъезда Зимнего дворца в день 1-го марта этот гигант вышел с заплаканным,

---

[a] Далее зачеркнуто заглавие: Из книги «Ныне отпущаеши». Глава II-ая.

по-детски сморщенным лицом. Экипаж его окружил конвой. Но уже на следующий день он ездил без конвоя. На выходе в день восшествия на престол этот бородач, шутя ломавший подковы, рыдал как малое дитя. Особо нежных чувств к отцу Александр III-й не питал, но истекший кровью с оторванными ногами старик всколыхнул цельную душу сына. Вот чем воспользовался триумвират. Русло русской государственности было повернуто искусственно, и отсюда начался ее распад.

Сил и энергии трех старцев хватило лишь на «подвиг» поворота вспять этого русла. Как только река потекла обратно, все три временщика застыли в своих позах и, по русскому обычаю, рассорились. Курьезное было время. Казалось, все идет как по маслу: церковь пикнуть не смела в тисках Победоносцева, земства поникли под натиском жандармерии и губернаторов, и даже студенты не бунтовали. Но Толстой подсиживал Победоносцева, а Делянов обоих вместе. В русской берлоге жили целых три медведя.

Прежде всего, это были три разных типа, три разные кости. Толстой — барин, Победоносцев — разночинец, Делянов — инородец. Толстой — флегма, Победоносцев — кипяток, Делянов — сатирик. Толстой с внешностью подкупающей, Победоносцев — отталкивающей, Делянов — смехотворной.

У Толстого были два товарища — Дурново и Плеве. Насколько второй был умен и волевой, настолько первый мягок и прост. Его потому и прозвали «милейшим». А Плеве носил кличку «всероссийского полицеймейстера». Будучи порядочным трусом, Толстой его боялся. А история с убийством провокатором Дегаевым (тогдашним Азефом) жандарма Судейкина его совсем перепугала[153]. Большую часть года Толстой жил в деревне, а в Петербурге почти никуда не показывался.

Я служил тогда по ведомству внутренних дел. После одной из командировок я представился ему. На моем докладе по предмету этой командировки он начертал: «Этот щенок далеко пойдет». Судя по такой резолюции, я ожидал увидеть старика с нависшими бровями, тип Мазепы[154]. От письменного стола поднялся небольшой благообразный с седыми бачками чиновник в вицмундире. Породистость, кротость, воспитанность, геморроидальная бледность, слезящиеся светлые глаза, несмелая улыбка.

— Ну вот, очень рад, садитесь!...

Голос, словно виолончель под сурдинкой. По мере моего доклада взор его разгорался, улыбка вздрагивала.

— Насчет церковно-приходских школ подайте доклад Победоносцеву!

— От вашего имени?

— Зачем? От своего.

— Но ведь я служу по вашему ведомству.

— Как хотите. Важно, чтобы он знал, во что обратилось его детище...

По мягким чертам пробежала молния злостной воли. Засверкала сталь слезящегося взора.

Церковно-приходские школы были яблоком раздора двух временщиков. Толстой резко боролся с либерализмом школ земских. Но в борьбе за влияние он предпочитал этот либерализм патриархальности церковного обучения.

* * *

Ведомство боялось Толстого, как огня. Губернаторы трепетали перед заветной дверью, за которой благообразный старичок со слезящимися глазами и полинялым голосом учтиво и ласково приглашал их садиться. Толстой был живой иллюстрацией поговорки о мягкой постели и жестком сне. В эпоху Александра II-го он был министром народного просвещения. И был отцом российского классицизма. Но не ради этических, а исключительно ради политических целей. Аристократизируя русское просвещение, этот вицмундирник, наизусть цитировавший Гомера, Аристотеля, Цицерона, надеялся отмести от просвещения нарождавшуюся русскую демократию. Не Делянов, а Толстой вместе с кн[язем] Мещерским пустили в оборот пугало «кухаркиных детей».

После освободительных реформ Толстой был первым государственником, остановившим естественный ход этих реформ, — он и впрямь поставил к этим реформам «точку», о которой возгласил в своем «Гражданине» юный кн[язь] Мещерский. И он же, еще до Победоносцева, сжал в железных клещах политики русскую церковность.

Будучи министром народного просвещения, Толстой был и обер-прокурором Св[ятейшего] Синода. Созданная Петром для обуздания владык должность обер-прокурора Св[ятейшего] Синода по Табели о рангах была весьма скромной — по шитью на мундире и по пенсии, всего 5-го класса, т[о] е[сть] ниже не только министерской (3-го кл[асса]), но и губернаторской (4-го кл[асса])[155]. Но Петр рассчитывал на личные свойства обер-прокуроров, являющихся докладчиками о делах церковных, т[о] е[сть] звеном между светской и духовной властями. А так как владыки, кроме своих нужд духовных, имели немало нужд светских, как то: назначения, перемещения, содержание, знаки отличия и пр[очие], а эти нужды обслуживались властью светской, то и получалось всемогущество чиновника 5-го класса над высокопреосвященными носителями белых клобуков. Гр[аф] Д. Толстой впервые обнаружил свою стальную длань под бархатом перчатки в учреждении Св[ятейшего] Синода. И владыки затрепетали.

Рассказывали о таком случае. Владыки собрались на одно из важных совещаний. Сидели вокруг стола с красным сукном и ждали обер-прокурора, место которого было за маленьким столом позади владык. Не решались в отсутствие его приступить к совещанию. Обменивались светскими новостями. Разговор как-то свернул на совершенство вставных зубов. Один из митрополитов, хвастаясь своей пластинкой, вынул ее и показал соседу. Тот для сравнения вынул свою. Пластинки пошли по рукам. Члены совещания оказались без зубов. И в эту минуту раздались шаги обер-прокурора. Каждый из владык поспешил засунуть в рот пластинку, которую держал. Когда началось совещание, обнаружилось косноязычье. И было оно так велико, что совещание пришлось прервать.

Толстой имел репутацию самого неумолимого, неуловимого и ленивого министра. Лично он рассматривал лишь дела особой важности и не допускал, чтобы на его письменном столе малейшая записка ночевала: рассмотренные и нерассмотренные, к обеду они сбрасывались на пол и убирались. Вечера Толстой проводил в семье, т[о] е[сть] в обществе сына — Глебушки.

Так его звали в Петербурге и в России. У Толстого были лишь две привязанности: к своему поместью и к своему сыну. Он сам хозяйничал в своем пре-

красном имении Рязанск[ой] губернии. Эту губернию за время его владычества прозвали «лейб-губернией». Из помещиков ее черпался штат губернаторов и вице-губернаторов. Стажем на эти должности служили, главным образом, заслуги хозяйственные. Достаточно было помещику прославиться племенным скотом, породистыми семенами, выписанной из-за границы новой жнейкой, Толстой за ним посылал, и дело кончалось назначением. Однажды, едучи к себе, Толстой загляделся на колючую изгородь встречной усадьбы. Оказалось, имение зарайского предводителя дворянства Булыгина. Владелец его был назначен вице-губернатором, губернатором и т[ак] д[алее], вплоть до поста министра внутренних дел и председателя знаменитой Булыгинской комиссии, стряпавшей булыгинскую Думу[156]. Без колючей изгороди Булыгина не перевернулась бы, пожалуй, страница русской истории.

В своей усадьбе Толстой был столь же доступен, прост и общителен, сколько он был грозен и нелюдим в министерском кабинете. Остановивший своей белой, выхоленной рукой бег великой страны к прогрессу, Толстой, прикасаясь к земле, как Антей, наливался соками доброжелательного творчества. Министерскую усадьбу охраняли отряды полиции, но в нее запросто ездили соседи и ходили толпами мужики для «хозяйственных бесед».

Довольно обычная картина, многими наблюдавшаяся в этой усадьбе: рыжий, толстый детина тащил на спине высохшего старичка. Детина ржет, брыкается, подпрыгивает, а старичок блаженно улыбается и поглаживает бычачий затылок детины. То — Глебушка Толстой балует с папашей. Видели эту картину и помещики, и мужики, и полиция. И всем она нравилась. Глебушка, в косую сажень парень, был простаком, уродом и пьяницей. Но воля его для отца была священна. При желании Глебушка мог бы править страной. Но он был ленив. Лишь однажды Глебушка чуть-чуть не тряхнул судьбами России. Случилось это так.

Угораздило его влюбиться в одну из первых красавиц губернии, девушку высокого интеллекта, дочь богатого местного помещика. Девушка рассмеялась и отказала. Глебушка пожаловался папаше. Папаша сам поехал сватать сына. Отец девушки употребил все усилия, чтобы уговорить дочь. Но та замахала руками.

— Выйти за этого урода, пьяницу, идиота?

— Но ведь это граф Толстой, сын человека, правящего Россией.

— А мне что? Я тоже графиня. А ты ведь не ищешь карьеры.

Дальнейшее записываю со слов управлявшего в ту пору Рязанской губ[ернией] близкого друга Глебушки:

«Еду это я однажды по городу. Из окна гостиницы машет мне Глебушка. Вхожу. Глебушка в полном дезабилье, на столе огромное блюдо раков и штоф водки. Так, мол, и так: езжай сейчас к графам Т. и заяви, если графиня за меня замуж не выйдет, застрелюсь...

Ну, понимаете мое положение — и родственник, и губернатор. А чем бы это для России кончилось? Ведь старик не простил бы. Еду. Уговариваю. Ни за что. Возвращаюсь. Глеб уже голый, второе блюдо раков, вторая бутылка водки. Хватает револьвер. Скачу опять к барышне. На колени падаю. Спасите Россию! Пожертвуйте собой! За Веру, Царя и Отечество! Ну и пр[очее]. Барышня рыдает. Папаша, мамаша... Уговорили... Скачу... Уже третье блюдо раков, третья бутыль, дуло пистолета у виска... Через месяц сыграли свадьбу...»[157].

Историческим делом Толстого был не только классицизм, но и замена мировых судей земскими начальниками. Ссора русского общества с русской властью началась отсюда — во всяком случае, от этой реформы она чрезвычайно обострилась. Самое курьезное, что реформу эту разработал один из самых либеральных симбирских предводителей дворянства Пазухин, имея своим помощником тоже либеральничавшего тогда Стишинского — впоследствии столпа реакции[158].

* * *

Разночинец Победоносцев, хотя и женатый на кровной дворянке (Энгельгардт), не мог простить барства ни Толстому, ни другим титулованным сановникам. Кажется, с ранней юности он высох и обратился в мумию. Никто, по крайней мере, не знал его иным, как запыленным не то библиотекарем, не то архивариусом с огромными очками на вытянутом носу, бритым, прилизанным, с двойным рядом чудовищных, словно восковых зубов, наполнявших весь его рот. Но поверх очков сверкали полные ума, насмешки и непреклонной воли буравящие глазки. В длинном сюртуке и высоком, скрывающем галстук жилете он напоминал пастора; в вицмундире при звездах был импозантным сановником.

Оттертый Юрьевской, Лорисом, вел[иким] кн[язем] Константином Победоносцев не потерял престижа и удельного веса, которые сделали его из чиновника 5-го класса одним из замечательнейших людей века, опорой самодержавия и экспертом российской церковности. В последние годы царствования Александра II Победоносцев стал центром реакции, ее мозгом, — если считать, что гр[аф] Толстой был ее сердцем. Первое марта не означало еще поворота вспять — это не была эпоха, когда Павел сменил Екатерину. Царь еще колебался, воля отца еще реяла над ним. Но вот в историческом заседании Комитета министров под председательством Александра III-го Победоносцев, оскалив свои страшные зубы, мертвой хваткой впился в Лориса[159].

Со времени этой победы, с которой и начался русский распад, за Победоносцевым по пятам гналось четырехстишие:

Победоносцев — для Синода.
Бедоносцев — для народа.
Доносцев — для царя.
Рогоносцев — для себя.

На Литейную в скромный дом обер-прокурора Св[ятейшего] Синода ездили с большим трепетом, чем в Аничков дворец. Но после победы тигр спрятал свои когти. Во всяком случае, временщичество Победоносцева ничем не походило на временщичество, впоследствии Витте — Победоносцев не вмешивался в чужие дела, не интриговал, не лгал, состояния себе не делал, а главное — не хамил. Авторитет первоклассного государственника, ученого и идейного человека ставил его головой выше его коллег в правительстве. Он даже не мстил своему противнику и единственному достойному сопернику — Абазе, оставив его на челе русской экономики и закрывая глаза на его «аферы». (Абазу вышиб другой, такой же, только более юный, аферист Витте)[160].

Победоносцев стоял на страже православия, самодержавия и народности. Но он не шел на поводу у славянофилов — мечтательность вообще была чужда этому сухарю. Когда же, пользуясь видимой его усталостью, знаменитый лгун и краснобай гр[аф] Игнатьев, шедший на поводу у славянофилов, сварганил исподтишка свой Земский собор, тигр с Литейной вновь выпустил когти и одним ударом лапы смел Игнатьева. Чтобы застраховать Россию от дальнейших попыток конституирования, он посадил на место гр[афа] Игнатьева гр[афа] Толстого, лично ему несимпатичного и слегка презираемого.

На этом и кончилось короткое временщичество Победоносцева. Ссора с Толстым из-за церковно-приходских школ была ссорой более личной, чем принципиальной — Победоносцев отлично знал, что Толстой, разгромивший земства, хлопотал не ради престижа земства. Шариком народных школ перекатывались эти два столпа реакции исключительно за отсутствием других тем для спора, при наличности в стране тиши, глади и Божией благодати. При том же самолюбию Победоносцева льстило, что на церковно-приходское просвещение сыпались обильные пожертвования от чающих отличий толстосумов во главе с московским чудодеем и шарлатаном, знаменитым диагностом Захарьиным. За пожертвованный миллион Захарьин получил генеральство и звезду[161]. Воспрепятствовать этому при всем желании Толстой не мог, так как сам лечился у Захарьина и, после Плеве, боялся больше всего Захарьина.

Вторым яблоком раздора между Победоносцевым и Толстым стали земские начальники. Тут уж против окрошки из административно-судебных функций восстало в Победоносцеве его чувство специалиста по праву. При обсуждении этой реформы в Государственном совете Победоносцев назвал ее «невежественной». Когда же Толстой умер и заменил его «милейший» И.Н. Дурново, Победоносцев потерял последний стимул для борьбы. Даже Борки не вывели его из дремоты. Только назначение Витте шелохнуло его: слишком уж косолапы и невежественны были аллюры у этого выскочки. Но под влиянием виттовской лести, а главное, убедившись, что Витте ничего, кроме денег, «Матильды» и карьеры не интересует, старик махнул на него рукой. И так, пергаментной мумией, досидел до октябрьских свобод, когда спохватился, ужаснулся и стал лезть в гроб.

* * *

И, наконец, третий из триумвирата русской реакции — гр[аф] Делянов. Если Победоносцев в этом триумвирате сыграл роль Ильи Муромца, Толстой — Добрыни Никитича, то Делянову выпала доля хитренького, стяжательного лакомки Алеши Поповича.

Где и как начал свою карьеру этот «армяшка», не ведаю. Но был он образован, обходителен, гибок и, вероятно, если не прикидывался — добр. По крайней мере, репутация добряка следовала за ним всюду и особенно ярко сияла над ним в пору его главенства над ведомством императрицы Марии[162]. Делянов решительно всем нравился, всем утирал слезы, у всех вызывал улыбку. Деляновские «bons mots»[a] облетали Петербург, но, при всей их язвительности, врагов ему не

---

[a] Остроты (франц.).

создавали. Был у него единственный враг — тоже «армяшка» Лорис. Но и тут вражду сплела не политика, а экономика: оба они правили домом армянской церкви на Невском, где квартировал Делянов, домом чрезвычайно доходным, и в чем-то не сосчитались. В качестве «врага Лориса» Делянов и попал при диктатуре Победоносцева в министры народного просвещения. Но уже раньше того, милостями двора и связями своей жены, одной из светских львиц Петербурга (кн[ягини] Абамелек-Лазаревой), он получил графство[163].

Для своего ведомства Делянов оказался тем, чем бывает масло для бушующих волн. Прежде всего, в нем решительно ничего не было министерского. Крошечный, пузатенький, с голым, как колено черепом, огромными ушами и носом, вечно расплывающейся улыбкой, Делянов со своим цветным футляром, табакеркой, в туфлях и аксамитном кафтане — так он принимал — походил скорее на старосветского помещика. У него даже не было приемных дней. В подъезд с Невского против Гостиного двора входили с улицы кто хотел и за чем хотел. Такой же старомодный, потертый швейцар на вопрос: Его сиятельство дома? — махал рукой и, снимая пальто, ласково говорил: «Пожалуйте! Куда же им деться! Разве что в клозете...»

Входили без доклада прямо в кабинет. Большею частью старик бывал действительно в уборной (страдал мочевым пузырем) и оттуда, из-за дверей, оклеенных под обои, говорил:

— Садитесь! Я сейчас...

Выходил, жал руку, улыбался, сморкался, нюхал табак, внимательно всматривался и слушал. И только повторял:

— Так... Так...

Анекдотов про него рассказывали бездну. Посетители, очевидно, жестоко его эксплуатировали и обирали. Но Делянов буквально никому не отказывал. Вот факт, коего очевидцем я был сам.

Входил бледный, обтрепанный студент. Дрожит, задыхается.

— Садитесь, голубчик...

— Ваше сиятельство... Ваше сиятельство...

— Исключен?...

— Так точно...

Минутная пауза. Делянов глядит в душу юноши. Ухмыляется. Нюхает табак.

— Небось меня ругал?..

— Т-так точно...

— Старым болваном?..

— Т-т-т...

— Паршивым армяшкой?..

— Ваше...

— Туфлей реакционной?..

Студент на коленях. Делянов хлопотливо поднимает его, усаживает.

— Вот что, милый, ругать меня можете, но избегайте публично... Записочку я вам дам. Только чур...

— Ваше...

— Ну, ну. Денег надо?

Всунув записку и деньги, старик легонько вытолкнул посетителя и скрылся за дверцей под обои...

Такие личные свойства плюс всеобщий упадок настроения создали для Делянова самую благоприятную атмосферу в высшей школе. Усмирять и наказывать ему не приходилось. Когда его преемнику, Сабурову[164], на университетском акте дали пощечину[165], тот воскликнул:

— Вот уж не ожидал!...

Делянов мог бы воскликнуть так с большим основанием, потому что, зажав университетскую свободу, он утирал слезы студентов.

Самой мрачной тучей на его горизонте была ссора Победоносцева с Толстым. При всей своей дипломатичности Делянов не мог в ней не принять, по внешности, стороны последнего; нельзя же было добровольно сдать атрибуты своего ведомства в чужое. Но, затертый между двумя жерновами, он изворачивался. Когда Толстой однажды послал меня к Делянову, чтобы поговорить о школах, старик, гладя меня по руке, уговаривал: Помягче, голубчик, помягче!... Вы во какой молодой... Церковная школа дрянь. Кто же спорит. Но церковь, знаете, церковь... А земство — земство... Выбирать приходится между пьяным попом и анархистом школьным учителем... Нелегко... Ну, как-нибудь. Авось Константин Петрович (Победоносцев) уступит... И Дмитрий Андреевич (Толстой) не разгневается... По-хорошему, молодой друг мой, по-хорошему... Кланяйтесь графу! Голова!... Не Лорису чета...

И, ласково выпроводив меня, старик скрывался за дверью в уборную.

У Делянова был свой крест — жена. Насколько он был прост, доступен и старомоден, настолько она была высокомерна, горда. Покуда внизу у Делянова чередовались нищие студенты и учителя, в салонах графини наверху сменялись графы и князья. Как могла съютиться такая парочка, не ведаю.

Глава VI.
Дурново и Сипягин

В русской государственности периода распада запечатлелись два Дурново — большой и малый; речь здесь идет о Дурново большом (ростом), «милейшем Иване Николаевиче», приявшем бразды управления русской внутренней жизнью из рук задушенного грудной жабой гр[афа] Д. А. Толстого[166].

У Толстого были два товарища министра — Дурново и Плеве, дурак и умница, воск и кремень. Дурново был долго екатеринославским губернатором. В России того времени были губернии-вотчины. Пензенская губерния, напр[имер], стала вотчиной известного А. А. Татищева, о котором Щедрин писал: «Губернатор с фаршированной головой»[167]. Черниговская губерния стала вотчиной известного любителя телесных наказаний Анастасьева[168]. Пермскую губернию отечески пас Лукошков. Тамбовскую — Рокасовский. И т[ак] д[алее]. Губернаторы эти пасли свои стада не столько на основе Свода законов Российской империи и особых для губернаторов инструкций, сколько по разуму, по опыту, убеждениям, а главное — под импульсами отеческого сердца. В суровости, как и в ласковости, «отцы губернии» руководились лишь «пользой дела» и решительно ни перед кем за свои чувства и действия не отвечали. Таким «отцом своей губернии» был около 15 лет подряд «милейший Иван Николаевич», мужчина крупнейшего сложения, внушительной внешности, с историческими, как и у Горемыкина, бакенбардами, отмеченный, кроме всего прочего, двумя счастливыми качествами — изумительным басом (коему впоследствии подражал тоже екатеринославец — Родзянко) и изумительным желудком. Слова Ивана Николаевича сливались в сплошное гудение, что избавляло слушателей от труда в них вникать и их понимать. А когда Иван Николаевич смеялся, дрожал воздух и стены, и волей-неволей смеялись все.

Удивительные баки и желудок на фоне хохлацкого добродушия и изрядного лукавства сделали Дурново в этой богатейшей, тогда еще исключительно дворянской губернии, кумиром. И жилось в ту пору там подлинно недурно. В pendant к губернатору губерния была одарена еще «милейшим» и богатейшим предводителем дворянства Алексеевым и такими дворянами, как Струковы, Родзянки, Иловайские и др[угие][169]. Город Екатеринослав, тогда еще сравнительно небольшой, был полон дворянскими особняками, в коих без конца пировали. В одном

из таких особняков проживал помещик Поль — владелец Кривого Рога[170]. Этот оригинал претендовал создать из Екатеринославской губернии вторую Бельгию. В его Кривом Роге вечно копались инженеры, и Поль вечно нуждался в деньгах. Дурново добродушно хохотал:

— Бросьте, милейший! Прокопаете все состояние...

Поль, маленький, черненький, нервный фанатик и маньяк, топал ножками:

— У меня в Кривом Роге на миллиарды руды и угля... У меня Бельгия. А я не могу добиться ссуды...

— Бросьте, — басил Иван Николаевич. — Идем завтракать.

Иван Николаевич уже был министром, когда Поль, не добившись ссуды, за чечевичную похлебку продал бельгийцам российскую жемчужину и с горя помер.

Но горя в Екатеринославе в ту пору было меньше, чем радости. К губернии этой принадлежали тогда Таганрог и Ростов, — и Боже, что за икру, что за осетров слали в ту пору эти благословенные города власть имущим. Губернаторы и вице-губернаторы плавали в этих деликатесах; присылали им их и когда они покидали губернию. Иван Николаевич Дурново, уже побывавши министром и председателем Комитета министров, не садился за стол без зернистой, которую ему Ростов высылал в особых жестянках.

Вице-губернатором при нем в Екатеринославе был блестящий флигель-адъютант Рокассовский, впоследствии «отец» Тамбовской вотчины. Рокассовский столь же был мастер выпить, сколь Дурново покушать. А пастырь екатеринославского дворянства Алексеев любил и то, и другое. В ту пору строилась Екатерининская жел[езная] дорога. Наживая бешеные деньги, инженеры пропивали их с дворянством. И пир шел горою. Кое-какие недоразумения помещиков с крестьянами усмирялись лаской Ивана Николаевича и розгами Рокасовского. В общем, однако, Екатеринославская губерния славилась своим почитанием начальства. Поэтому после Дурново туда был послан княжить брат Юрьевской, кн[язь] Долгоруков[171]. Beau-frère[a] царя, не довольствуясь хлебом-солью, с которой его встречало население, потребовал, чтобы при объезде им губернии путь его устилался коврами. Режим ласки при нем в значительной степени уступил режиму розог. Но понятно, сумасшедшим сочли бы того, кто бы предсказал, что Дурново и Долгорукова через пару десятков лет сменит в Екатеринославе... батько Махно[172].

Дурново сделали министром за его осанку, баки, бас и ласковость[173]. В эпоху российского распада это был самый глупый, но и самый счастливый из министров. При нем не было ни покушений, ни погромов, ни катастроф (не считая Борок). После толстовского нажима крамола притаилась, а Россия в комок сжалась. Фактическим министром вн[утренних] дел был, понятно, Плеве, управлявший полицией и подсказывавший Дурново все, что требовалось для министерского обихода. Как затишье перед бурей момент этот (80-ые годы) вообще характерен.

Россию точно в теплую жижицу погрузили. Вылезать из нее неохота была ни реакции, ни оппозиции. Либеральным ведь в ту пору почиталось даже «Нов[ое] время», а «Русск[ие] вед[омости]» с «Отечественными записками» стояли на крайнем левом фланге. За «либералов» сходили даже Муравьев — министр

[a] Шурин (франц.).

юстиции и Ванновский — военный. Финансами управлял тишайший и кротчайший Бунге, путями сообщ[ения] — придурковатый адмирал Посьет. Скис после смерти Толстого Победоносцев, а лукавый Делянов соперничал показным добродушием с Дурново. Земские начальники и церковно-приходские школы довершили «умиротворение» России. Безмятежно пороли народ Рокассовские, Анастасьевы, Лукошковы, на Страстном бульваре поучал государственности Катков, а в Гродненском переулке кн[язь] Мещерский. Временщиков не было — под ласковый бас Дурново выровнялись все: и умные, и глупые, деловые и слюнявые. Даже умнейший Муравьев и энергичнейший Ванновский прятали свои когти. И только когда в эту жижицу бухнулся Вышнеградский, а затем Витте, жижица забурлила. Оживала, собственно, одна экономика. Политика еще дремала, что и дало возможность «милейшему» Ивану Николаевичу сочинить единственный исторический документ за всю его государственную деятельность — шпаргалку Николаю II о «бессмысленных мечтаниях»[174]. После этой шпаргалки Дурново, считая свой долг перед отечеством исчерпанным, отдался чревоугодию и при содействии Витте и банкира Ротштейна поправлению своих расстроенных средств. Ему удалось провести в министры путей сообщения своего личного друга и услужливого кредитора, бывшего ростовского дельца Кривошеина[175]. Это была его последняя услуга России. Пристроив за богатых мужей своих двух дочерей[176], поправив дела и выхлопотав себе крупную аренду, этот счастливейший из министров сумел вовремя ретироваться, выпросив себе пост председателя Комитета министров.

* * *

После очень короткого министерства Горемыкина, которому сломил шею Витте, хозяином русской внутренней жизни стал «Митя» Сипягин. По своему интеллекту он был не выше Дурново. По рождению — ланд-лорд. По душе — добрый и честный малый, по воспитанию — человек «порядочный». Карьеру свою, как и Дурново, он сделал в дворянских учреждениях, а потом губернаторствовал. Но у Мити Сипягина была одна из первых в России охот. Что и было его главным козырем в карьере.

При дворе он занимал пост обер-охотника (обер-егермейстер); а будучи московским губернатором, откармливал вел[икого] кн[язя] Сергея и московское дворянство. Чрезвычайно тучный и необыкновенно плешивый (без волос даже на затылке), с какими-то нелепыми заячьими ушами, он производил впечатление человека, с которым вот-вот случится удар. Но карие глаза его светились совсем по-юному, а широкий, рыбий, беззубый рот вечно улыбался. В общем он был симпатичен и казался поднятым из люльки младенцем под увеличительным стеклом.

Насколько помнится, Сипягина сделали сначала главнокомандующим[a] учреждениями императрицы Марии[177]. Он был близкий друг гр[афа] Шереметева, а Шереметев — императрицы Марии Федоровны. Как милое упитанное дитя, Сипягин всех любил, а главное — позволял себя любить. Казалось, у него и забот

[a] Так в рукописи.

других в жизни не было, как — чтобы его любили. О посте министра внутренних дел, во всяком случае, он не мечтал. Его разглагольствованиям о политике, о России нельзя было снисходительно не улыбаться — так мог говорить только ученик младшего класса из Катковского лицея. Но самая его манера говорить, мешая слова в огромном рту, как жито лопатой, вечная улыбка и наивный блеск глаз — чрезвычайно смягчали впечатление дикой реакционности его мыслей. Казалось, он шутил. Даже его политический ментор — кн[язь] Мещерский — считал долгом от времени до времени уклонять «Митю» влево. Митя легко сдавался. Набив рот красным ростбифом, с подвязанной по-детски салфеткой, весь лоснясь, этот лопоухий егермейстер, вечно шутя, решительно со всеми соглашался. Так дошутился он до министерского портфеля.

Даже друзья Сипягина ахнули от страха за него. Только Шереметев и Мещерский, дотащившие этот груз до такой высоты, подбадривали себя:

— Ничего, ничего — выучится. «Митя» неглупый... Умнее, чем кажется.

Ошалев сначала, Сипягин, однако, принял шутку всерьез. Стал меньше есть, перестал охотиться и даже... улыбаться. Но серьезность и величавость не шли к нему — Митя похудел и подурнел. За обедом он уже спорил и даже поучал. Не будучи трусом, как гр[аф] Толстой, он не вмешивался в дела полиции и не берегся. Он... поверил в свою провиденциальность. Он... решил перевоспитать Россию.

С этой целью он сочинил Домострой XX-го века — поучение губернаторам, земствам, всем чинам вплоть до земских начальников и становых[178]. Он был убежден, что все добры и только дурно воспитаны. Попав в орбиту Победоносцева, Муравьева и других «умниц» этой эпохи, вдохновляемый Шереметевым и Мещерским, этот большой ребенок никак не мог найти себя. В Государственном Совете над ним хохотали, в Царском — его ободряли, на Гродненском пер[еулке] (у Мещерского) и на Фонтанке (у Шереметева) начиняли. Митя плелся, кряхтел, спотыкался. Его Домострой перекраивал кн[язь] Мещерский, а Лопухин (начальник полиции) рекомендовал осторожность[179]. В качестве бумажного паяца, которого дергала за веревочки реакция, за которым пряталось делячество (Витте) и по которому стучал псевдо-либерализм тогдашней сановной оппозиции, Сипягин и не ускорил, и не замедлил российского распада, а лишь явился закономерным звеном в цепи, захлестнувшей Россию, — пожалуй, даже звеном из более благородного металла, чем его предшественники и заместители. Сипягин был незлоблив и не мстителен.

Как сейчас помню его за обедом, когда стряслась амфитеатровская история с фельетоном в газете «Россия» об «Обмановых»[180]. Ему только что телефонировал об этом начальник управления по делам печати (кажется, кн[язь] Шаховской), и он только что дал распоряжение об аресте Амфитеатрова и Сазонова, о высылке первого в Нарымский край, второго — в Псков, и о закрытии газеты, где появился амфитеатровский фельетон.

На бедном «Мите» лица не было. Даже ростбиф не разгладил морщин его голого черепа. А заячьи уши побагровели и вздрагивали.

— Я не понимаю... Не постигаю... Как литератор мог унизиться до такого пасквиля... — шлепал его язык в набитом рту. — Ну, либерал, оппозиция... Допускаю... Но чтобы вторгаться в частную жизнь Государя... И так подло... Нет, я был лучшего мнения о нашей печати...

Все молчали, а «Митя» не успокаивался.

— Главное — никто ничего не заметил. Даже Шаховской. И дневной, и ночной редактор читали... Все словно сговорились глаза закрыть... А я сейчас заметил... Грязнейший, возмутительнейший пасквиль... Оскорбление величества... И что всего возмутительнее, — отрицает. Знать не знаю и ведать не ведаю... Писал в нетрезвом виде... Может, что сбрехнул, а намерения не имел...

— Повесить, — решил кто-то.

— Ну, зачем же... Пусть прогуляется по морозу, протрезвится. Черт его ведает. Может, и взаправду нечаянно. Ведь в «Нов[ое] вр[емя]» раньше писал, да и сейчас клянется в монархических чувствах... Как их разберешь, этих писак... Я и говорю — воспитания нет... Ни малейшего джентльменства... Повальное хамство!

Сипягина убил в швейцарской Госуд[арственного] Совета переодетый в адъютантскую форму эсер Балмашев. Явная оплошность полиции. С простреленной печенью и шеей, корчась в агонии на диване швейцара, Сипягин лепетал:

— Как перед Богом зла никому не желал. За что убили?[181]

Глава VII.
Плеве

В центре распада русской государственности стоят два умнейших — хотя и по-разному — государственных деятеля, по-звериному друг друга ненавидевшие — Плеве и Витте. Если Витте сравнивали с Фуше[182], то Плеве можно назвать русским герц[огом] Альба.

Сын бедного шляхтича какого-то белорусского местечка, Плеве проделал всю свою карьеру без виттовских наскоку и нахрапу, исключительно каторжным трудом, изумительной смесью бархатистости и стали, вкрадчивости и цинизма, умением ненавидеть, поймать, подсидеть. Он уступал Победоносцеву в научности, но не уступал Витте в беспринципности. Такой же интриган и карьерист, он был головою выше Витте по инстинкту и навыку государственника и безмерно культурнее своего соперника. И он гораздо дольше ждал своего дня (будучи гораздо старше Витте)[183], накопив в своей холодной душе гораздо больше яду и мести. В среде русской высшей бюрократии Плеве всегда считался кандидатом в министры, но все почему-то были убеждены, что министром он никогда не будет. Как только перебирали возможных кандидатов на освобождавшийся министерский пост, и очередь доходила до Плеве, все хором соглашались:

— Ну, Плеве нельзя...

Почему нельзя?

К осанистому сановнику с бархатным голосом, твердым, красивым профилем и стальными глазами у всех был не то страх, не то отвращение. На российском Олимпе Плеве был тем, чем бывают в свете попадающие туда парвеню. Парвеню считался и Витте. Но его считали еще и вундеркиндом. А для вундеркиндов закон, как известно, не писан.

Как и все юристы той эпохи, Плеве в свое время либеральничал, что не помешало ему стать при гр[афе] Д. Толстом во главе полиции[184]. Ведь либеральничал же на том же посту впоследствии и Дурново, а потом и творец Азефа — Лопухин. Покуда полицейское дело в России руководилось юристами, оно как-то уживалось с либеральными, т[о] е[сть] освободительными чаяниями. Либерализм в России вообще ни к чему не обязывал. В Булыгинской комиссии, стряпавшей Булыгинскую Думу, на крайнем левом фланге, т[о] е[сть] во главе «конститу-

ционистов», сидел Трепов[185]. Несколько дней спустя после своего приказа «патронов не жалей»[186] у него был интимный разговор с товарищем по полку, и суровый диктатор произнес буквально следующее!

— Моя забота — спасти династию. А какими средствами, безразлично. Конституция, так конституция! Но я не остановлюсь и перед поголовным расстрелом.

Если до известной степени о спасении династии заботился и Витте — отождествляя с династией себя, — то для Плеве этой заботы не существовало. Перешагнув к власти через труп презиравшегося им Сипягина, этот российский Альба, смертельно уязвленный в своем самолюбии еще тогда, когда кресло покойного гр[афа] Толстого занял «милейший» и ничтожнейший Ив[ан] Н[иколаевич] Дурново, получавший удар за ударом по своему безграничному самомнению, — этот умнейший из русских государственников, лукавейший из интриганов и, пожалуй, честолюбивейший из выскочек (Витте не в счет), выкрест и перебежчик[187], пасынок класса, эксплуатировавшего его труд и талант, — Плеве только у власти распрямил свои нервы, выпустил долго спрятанные когти и, как собранный в комок тигр, бросился на свою жертву. А жертвой этой была вся Россия.

Для Плеве не существовало ни отечества, ни династии, ни правых, ни левых, не существовало даже ни революции, ни реакции — существовал лишь стальной аппарат власти, наподобие гильотины, кнопка коей была у него под рукой. Под ножом гильотины были все, кто ему мешали, все, кто отравили его лучшие годы и, быть может, чистые намерения. Была ли жестокость этого человека патологической спазмой, подобной спазмам Грозного, Бирона и теперешних владык России? Кажется правдоподобнее, что при иных обстоятельствах Плеве, как и Столыпин, могли бы оказаться иными. Рожденный для власти и основательно к ней подготовленный, хотя и без убеждений, но не оппортунист, хотя и без традиций, но с заменившей их эрудицией, Плеве, призванный вовремя к власти, мог бы повернуть Россию к руслу Лорис-Меликова. Во всяком случае, он лучше Витте и Победоносцева сумел бы демократизировать аппарат русской власти. Булыгинская и даже виттовская конституция была бы дана Плеве с неизмеримо большим талантом, если и не с искренностью. Но его позвали не на брачный пир, а на тризну, не для созидания, а для искоренения — позвали, когда уже загустела кровь в его жилах, когда сосуды сердца закупорил склероз, когда распухла, как у налима, печень, а разгулявшаяся желчь требовала пряных яств и острых сладострастных ощущений. Плеве подошел к власти импотентом. И кровожадность его, кажется, отсюда. Плеве мстил не только тем, кто его таким сделал, но мстил и себе, своей судьбе. К тому же он отлично понимал, почему за него ухватились и чего от него хотят.

В день убийства Сипягина кн[язь] Мещерский написал государю письмо, настаивая на назначении министром внутренних дел Плеве. Через час был царский ответ: «Ты прав, назначаю Плеве и — **старый курс**».

Получив власть из рук того самого Мещерского, который целое десятилетие стоял между ним и этой властью, да еще с окриком о «старом курсе», одряхлевший тигр не стал ни мудрее, ни человечнее. И уж понятно, не исполнился благодарности к тем, кто ему, изголодавшемуся, швырнул власть, как окровавленный, протухший кусок мяса.

Между «бессмысленными мечтаниями» в политике и виттовским авантюризмом в экономике, между дворцовой камарильей сверху, бунтующим обще-

ством и споенным, дичающим народом снизу, — Плеве ясно видел путь гибели России и хорошо знал, что спасения нет. Игра, по его мнению, была проиграна. Но ее можно было затянуть, — досидеть у стола еще пару остающихся для жизни лет. Нанести врагу еще несколько глубоких ран. Сладострастно упиться болью тех, кто причинил боль. Когти тигра, погруженные в теплое тело жертвы, не вытащишь иначе, как разодрав эту жертву. Плеве рвал Россию, потому что слишком глубоко, с размаху запустил в нее свои когти. Приглашенный доигрывать проигранную чужую партию, он старался лишь измучить своего счастливого противника.

* * *

На Гродненском переулке был исторический обед — кн[язь] Мещерский сводил двух тигров. Витте был еще в расцвете лет, Плеве дряхлел. Одна уже внешность соперников давала мало надежды на успех задуманного. Задорный тон, гнусавый тенорок и сиплый смешок, заискивающий и задирающий взгляд вишневых глаз, разухабистые манеры семинариста — в общем, смесь чего-то непосредственного с наносным, какая-то «беспокойная ласковость взгляда», что-то наивное с «себе на уме», хозяйское с приказчичьим, вдохновенное с плоским, добродушное с мстительным, душа нараспашку, подшитая лукавством — таков был Витте. Плеве, чуть согнутый, но еще стройный и статный, с гордым поставом головы, с седыми назад закинутыми кудрями, классически умным лбом, чуть загнутым красивым носом, породистым оскалом под нависшими усами — весь гармоничный, бархатный, спокойный, без наглости самоуверенный, без задору смелый, без шаржу хорошо воспитанный, без всяких признаков вдохновенности, но с печатью несомненной тонкости и умственной эрудиции, без тени наивности и без выжидательности, но и без готовых решений, — победитель, которого не удивила и не утомила победа. Таковы были эти два тигра. О чем ворковали они? Витте доказывал, что он не может создать хороших финансов без хорошей политики. Плеве иронически отвечал, что, благодаря виттовскому гению, русские финансы безмерно лучше русской политики, и что ему, Плеве, остается только догнать на этом пути Витте, т[о] е[сть] проявить если не гений, которым его Бог обидел, то хоть систему, последовательность, каковых русская государственность с некоторых пор лишена.

— Но ведь кроме системы нужен еще план, — горячился Витте.

— А какой же был план у моего предшественника, незабвенного Дмитрия Сергеевича (Сипягина), которым так мудро руководил наш любезный хозяин и с которым так сердечно близки были вы, Сергей Юльевич?

Удар был не в бровь, а в глаз. Витте беспомощно переглянулся с Мещерским.

— Сергею Дмитриевичу[188] не дали осуществить его плана...

— А мне, вы думаете, дадут? Ведь план планом, а жизнь жизнью. Россия тем и отлична от Европы, что у нас жизнь то отстает, то перегоняет планы, почти всегда мешая их осуществлению. Мне вас не учить, Сергей Юльевич. Ваши экономические планы не потому ли и удались, что вы, извините, до известной степени начхали на жизнь?! — лукаво усмехнулся Плеве.

Разговор становился пряным. Ни Витте, ни, тем более, Мещерский не ожидали такого оборота. Витте искал глазами помощи Мещерского, но тот угрюмо молчал.

— Я был бы счастлив, Вячеслав Константинович, если бы вы... ну, просто удостоили меня тем доверием и той сердечностью, которыми я пользовался у вашего предшественника. Это дало бы мне силы для дальнейшей работы на пользу России. Ибо, повторяю, финансы и политика у нас заплетены как нигде. Править страной мы сможем лишь при гармоничном умственном и сердечном единении.

Плеве докончил вкусный десерт (был шедевр повара князя — вафельный пирог с каймаком), отер усы, сверкнул клинками глаз и, берясь за кофе, вкрадчиво, с чуть слышной дрожью сдержанного напряжения, ответил:

— Сергей Юльевич, — вы уже столько лет правите страной **единолично** (это слово он отчеканил), что я, признаться, удивляюсь, для чего вам понадобилось согласование деятельности двух ведомств именно теперь, когда его величеству угодно было вручить внутреннюю политику в мои слабые руки? Ведь до меня были такие **столпы** государственности, как Иван Николаевич (Дурново), Горемыкин, Сипягин. (Слово «столпы» Плеве опять насмешливо отчеканил). Вы не ладили лишь с Иваном Логгиновичем (Горемыкиным). Но вы же его и скушали. Хе-хе! А с другими двумя вы жили в ладу, и плоды вашего сердечного с ними единения, т[о] е[сть] согласования финансов и политики, о котором вы изволите говорить, — плоды эти налицо. Я со стороны любовался вашими талантами и даже, можно сказать, учился... Заочное обучение, как это называют, хе-хе! Но вот результаты. Бедный Дмитрий Сергеевич в гробу, народ пьян и дик, общество бунтует, Россия взъерошена. Если бы было иначе, меня ведь не призвали бы к власти, — меня, старого, немощного, после того, как меня забраковали молодого и сильного...

Плеве опять хихикнул и сверкнул глазами.

— Раз уж такое случилось, рассудку вопреки, наперекор стихиям, значит, от меня требуется что-то другое, более сложное, чем согласование внутренней политики с финансами, сердечного и умственного единения с моим старшим и опытнейшим коллегой... Хе-хе! А что именно требуется от меня, этого я пока еще не знаю. Его величество я видел пока один раз и не получил еще соответствующих указаний, за исключением, впрочем, пароля и лозунга данного момента: «старый курс»! Я понял общий смысл этого пароля, но смею думать, имеются еще детали, истекающие из обстановки, приведшей к данному моменту. Иначе, повторяю, обо мне бы не вспомнили после десятилетнего забвения... Хе-хе! Так вот, в ответ на ваше столь любезное и искреннее предложение сердечного и умственного содружества я и отвечаю: дайте мне ближе ознакомиться с предначертаниями его величества, которым я намерен следовать не за страх, а за совесть...

Не кончив своего любимого вафельного пирога, Витте сидел бледный, ожидая вмешательства Мещерского. Тот, наконец, решился.

— Вы, может быть, и правы, Вячеслав Константинович, — сказал он, — но вы упускаете из виду, что государю надо помочь найти подходящее решение. В этом ведь и есть наша задача. Государю нужны не только исполнители, но и советчики. Лично я получил от государя поручение, что ли, координировать ваши с Сергеем Юльевичем деятельности. Объединять их в тех частях, где политика требует поддержки финансов и наоборот. Вы поймете, что тут нет и тени официальности, а просто пожелание, вытекающее из постоянной заботы государя о благе России.

Вы, надеюсь, не придадите моим словам иного смысла. Государь лишен тех возможностей, которые открыты нам — т[о] е[сть] сердечной дружественной беседы вне рамок официальности. Я надеялся, что вы именно так и поймете мою попытку вызвать обмен мыслей между вами и Сергеем Юльевичем...

Плеве почтительно склонил свою красивую голову. Витте тяжело дышал. У него хрипло вырвалось:

— И я иду навстречу этим справедливым желаниям его величества. Для меня они — высочайшие повеления.

Плеве старался овладеть собой. Рука, которой он мешал кофе, дрожала. Но вот он справился с волнением и заворковал по-прежнему полудружественно, полунасмешливо:

— Покуда таких пожеланий его величество мне прямо не высказал, я не могу их считать высочайшим повелением. Я целиком доверяю милейшему Владимиру Петровичу, облеченному доверием государя, но ведь ответственным лицом являюсь я один. А чтобы принять на себя ответственность, я должен знать точно, что от меня хотят. Дайте сроку! Мы не последний раз видимся... Я только, к слову, хотел бы еще заметить, что, кроме чужого, у меня может быть и должно быть собственное мнение. За эти десять тревожных лет им не интересовались. Так что между нами может оказаться расхождение в самых принципах. Но это, несомненно, сгладится. Дайте оглянуться, разобраться! Россия не берлога, а мы с Сергеем Юльевичем не медведи. В России найдется место и для министров высокоталантливых, как Сергей Юльевич, и для посредственности, как ваш покорный слуга. И, пожалуй, ни финансы не должны у нас зависеть от политики, ни политика от финансов. У каждой своя дорога. Будем же им следовать. А там видно будет... Чудесный у вас повар, Владимир Петрович. Бедняга Сипягин тоже любил покушать...

Это была первая и последняя «дружественная встреча» двух тигров.

* * *

Я потому указываю на попытку кн[язя] Мещерского спарить Витте с Плеве, что, кажется, он один в ту пору понимал, какие последствия для России принесет ссора между ними. Последствия эти почти неизмеримы меркой дней сегодняшних. Россия была в пух разнесена этими двумя взбесившимися, понесшими ее конями. Россия была в их тисках взрыхлена и раскатана, как бараночное тесто. Из организма России был вынут позвоночник. С такой страной можно было делать решительно все, что на ум взбрело: втравить в войну, в революцию, подарить диктатуру или конституцию, возглавить кавалерийским генералом или хлыстом-мужиком. Страной «безграничных возможностей» Россия вышла только из объятий этих двух циников власти, не останавливавшихся ни перед чем, лишь бы эту власть не уступить врагу. Вырывая ее друг у друга, как женщину, Плеве и Витте втаптывали ее в яму государственного непотребства. Каждый из них старался стать **необходимее** другого, и потому каждый **создавал** обстановку, при которой эта необходимость выступала бы рельефнее.

Рельефы политики Плеве сводились к тому, чтобы поколебать необходимость в Витте. Для власти Витте нужна была дружба с Японией, для власти

Плеве — война с ней[189]. Для власти Витте нужна была антидворянская экономика (Крестьянский банк), покорность рабочих и промышленников; для власти Плеве нужно было упрочение дворянства (которое он презирал), и нужен был бунт рабочих против хозяев (зубатовщина)[190]. Витте создавал еврейские банки, а Плеве — еврейские погромы[191]. Достаточно было одному сказать — «стрижено», чтобы другой подхватил — «брито». Между «стрижено» и «брито» страна, клокотавшая внутренним вулканом, обобранная в пользу Мендельсонов и Ротшильдов (германский торговый договор)[192] и сжатая за горло застенком Плеве, докатилась до попа Гапона[193].

Подойдя к власти, Плеве изжил уже в себе реформатора. От прежнего таланта государственника к этому моменту в Плеве остались лишь стальная воля и огромный опыт плюс призвание полицейского. Он и стал всероссийским Держимордой, пинком ноги отбросив маниловщину Сипягина, ноздревщину и хлестаковщину Витте и обломовщину «милейшего» Дурново. С небывалым еще до него цинизмом он объявил всю страну — врагом власти. Позднее Столыпин формулировал такую же политику лозунгом: «сначала успокоение, потом реформы». Но Плеве был искреннее Столыпина: он не обещал никаких реформ, он вообще в эти годы уже не лгал и даже не интриговал. Он открыто боролся с Россией, как палач с обреченным на смерть, открыто заказал себе бронированную карету и открыто устраивал погромы. Чувствуя всеми порами своего государственного чутья надвигающуюся катастрофу, он, как Ленин и Дзержинский, считал все средства для борьбы с нею пригодными. Могучий аппарат власти он использовал, как не снилось ни Аракчееву, ни гр[афу] Толстому, использовал так, как используют ее теперешние хозяева России.

Вот один из образчиков такого искусства Плеве. Между сонмом провокаторов и шпионов, которыми он просочил революционную среду, был некий Зубатов — личность чрезвычайно серая и бездарная, но ловкая и решительная[194]. Как и большинство агентов департамента полиции, Зубатов принадлежал сначала к революционерам. Отлично понимая, что без клапана насыщенный революцией котел рабочей России взорвет, Плеве решил прорубить этот клапан. Революцию политическую он решил направить в русло социальное. Раньше Витте он сообразил, что политическая революция в России неизбежно должна перелиться в социальную. И потому надо искусственно вызвать вторую, чтобы миновать первую. В план этого он посвятил вел[икого] кн[язя] Сергея, тогдашнего московского генерал-губернатора. Каша заварилась. Сначала московские, потом петербургские рабочие устроили шумные демонстрации, объектом коих были хозяева фабрик и заводов, и требования социалистические. Был выдвинут даже лозунг о социализации производства. Полиция отнеслась к демонстрациям снисходительно, а вел[икий] кн[язь] Сергей даже принимал рабочих и поддакивал им. Можно себе представить, как заволновался муравейник капиталистов, что сталось с податной инспекцией — щупальцами Витте, с биржевыми комитетами и биржами. Рябушинскими, Морозовыми, Крестовниковыми и всей виттевской цитаделью овладела паника. Витте помчался к государю. Но там ему дали понять, что на страже спокойствия страны стоит не он, а Плеве. Бог знает, чем бы это кончилось, если бы Плеве чем-то не обидел Зубатова, а тот не перекинулся в лагерь Витте, раскрыв ему всю секретную организацию забастовок.

На Олимпе началась драка, скандал переходил в публику. Но в это время убили вел[икого] кн[язя] Сергея, двор испугался, и Плеве проиграл. Отправив в ссылку Зубатова, он напряг последние силы и вместе с Безобразовым свалил Витте[195]. Вслед за Витте должен был пасть и ненавистный ему кн[язь] Мещерский. Но в миг наивысшего торжества подкатывается бомба Сазонова[196], рвет броню министерской кареты, выворачивает мозги и кишки российского Альбы. Мне случилось видеть то, что осталось от Плеве: лужу крови, обрывки вицмундира и нетронутый министерский портфель. Среди докладов в этом портфеле были документы, компрометировавшие Витте и Мещерского[197].

А за несколько дней до взрыва, в Царском, подвозя в своей карете до вокзала одного из членов Госуд[арственного] совета (Платонова)[198], Плеве говорил ему:

— Ну, Павел Степанович, поздравьте меня. Вчера посадил на цепь последнюю революционную ячейку. Роль жандарма кончается. Пора подумать о чем-нибудь другом... Я ведь тоже когда-то о реформах мечтал. Да вот — опоздали со мной. Увидим еще... Отдохнуть бы только...

* * *

Та группа лиц, что вовлекла государя в авантюру на Ялу — Безобразов, Абаза, Вонлярлярский, Матюнин, Алексеев и Куропаткин — без содействия Плеве цели своей не достигла бы[199]. Как ни тяготился уже государь влиянием Витте, это влияние, поддержанное влиянием кн[язя] Мещерского и робким, но явным оттолкновением от внешних осложнений тогдашнего министра иностранных дел гр[афа] Ламздорфа, эти три влияния, несомненно, победили бы влияния Безобразова с Ко. Положив свой авторитет на чашу весов тогдашнего настроения Николая II, Плеве склонил их в сторону решительных и пагубных действий.

Перед Плеве были три задачи: удар по Витте, удар по Мещерскому и отвлечение общественного внимания от внутренних к внешним делам. После своего поражения в деле Зубатова у Плеве не было выгодной позиции для борьбы с Витте: книга этого последнего «О земстве» отрезывала у Плеве путь к нападению на Витте с фронта политического. К тому же в ожидании атаки именно с этого фронта Витте напряг все силы, чтобы в его ведомстве заглохли или притаились посеянные им семена вольнодумства. Он сократил деятельность Крестьянского банка, расширил операции банка Дворянского, приструнил и рабочих, и хозяев, и на всех путях к казенному сундуку поставил препоны, широко открыв этот путь лишь для сильных мира сего. С особой настойчивостью прильнул он к вел[иким] князьям Владимиру и Михаилу, к Воронцову-Дашкову, Половцову и друг[им] вельможам. Достать его из-за их спин было нелегко. Оставалось создавать враждебные Витте события и покровительствовать его врагам. Еще труднее для Плеве было справиться с безответственным шептуном кн[язем] Мещерским. Чтобы локализовать враждебное ему влияние Мещерского и сократить его безответственность, Плеве уговорил государя предложить издателю «Гражданина» пост министра народного просвещения. Но Мещерский его раскусил и отказался. Надо было, значит, создать и тут события, которые бы залегли препоной между царем и его ментором. И, наконец, внутреннее положение России. Мы уже говорили, что Плеве не делал себе на этот счет иллюзий: перед царем и его при-

ближенными он еще позволял себе мечтать об успокоении и реформах. Но были 2–3 человека в его окружении, перед которыми он не скрывался. Один из них, нуждаясь в Витте (по перезалогу имения), ухаживал за ним и откровенничал. Витте так формулировал эти откровенности:

— Карты Плеве по внутренней политике биты. Россия минирована. Тюрьмы набиты. Нарымский край перенаселен. Остаются еврейские погромы. Для этой цели в департаменте полиции работает типографский станок с провокационными призывами. Мы на вулкане. Остается одно — война. Плеве ведет к ней. С ним — наместник Алексеев и Куропаткин. Оба карьеристы, а Алексеев — вор. Безобразов — дурак, но честный. Он уже на заднем плане. Впереди — акулы. И — Вильгельм. Он один еще мог бы сдержать ход событий. Но ему не расчет. Он льстит царю и гарантирует спокойствие на западной границе. Вильгельм знает силу Японии. И я знаю. Но Вильгельм молчит, а меня не слушают...

В эти дни 1903 года на Фонтанку к Плеве ездил весь Петербург, а на Мойку к Витте только банкиры и дельцы. Но Плеве был мрачнее ночи и, выходя на прогулку по Фонтанке между сонмом охранников, своей бледностью и блеском стальных глаз пугал. Свой трагический конец он предвидел. В свою бронированную карету не верил. Мог бы обойтись без личных докладов царю, сносясь по телефону. Из своего дворца на Фонтанке мог устроить форт Шамброн[200]. Когда-то, в 1863 г[оду], охотились так на «вешателя» Муравьева. Тот отсиделся. Мог отсидеться и Плеве. Но его точили злость и страх. Он не мог перенести мысли, что, покуда он в заточении, Витте с Мещерским и все враги его на свободе ломают ему шею. Опасность покушения бледнела перед этой. Лопухин (директор Департамента полиции) докладывал, что изловили последних революционеров. Азеф ручался в этом. А в руках были два секретных доклада о Витте и Мещерском. По телефону их не передашь. Кони у министра внутренних дел добрые. Кучер надежный. Карета стальная. До Варшавского вокзала по Фонтанке — рукой подать. Только вот зачем выскочили на Измайловский пр[оспект], а не подъехали к вокзалу сзади. Всего каких-нибудь тысяча шагов, но на этом клочке улицы трактир, и в нем распивает чай чуйка. Чуйка вперил взор в окно. И когда пара вороных влетела орлами на проспект, чуйка сорвался и коршуном сблизился с каретой. Взмах, взрыв, кони с кучером и козлами делают прыжок, а на месте кареты, министра — лужа крови, внутренности, обломки[201].

Глава VIII.
Тертий Филиппов

Когда корабль тонет, совершенно разные люди ведут себя совершенно одинаково. Все обломки и весь мусор царской России последнего сорокалетия при пестроте индивидуальной, при разнице в очертаниях схожи друг с другом по своему отношению к власти, по своему самочувствию у кормила правления. Накануне назначения и на утро отставки они — люди, часто весьма симпатичные, честные, одушевленные; у власти — живые трупы, двойники и двойняшки. Как гигантский жернов, как страшная болезнь, власть нагоняла на них столбняк, превращавший индивидуумов в деревяшки. Много и часто думая над этим явлением, лишавшим меня друзей, когда они подымались к власти, я решил, что на российском Олимпе самый воздух заражен каким-то микробом, и что микроб этот, быть может, поднялся из питерских болот, два столетия культивировался в студне славянского безволья, пока не приобрел к концу 19 века свои смертоносные свойства.

Типичные признаки отравления этим микробом я наблюдал и у Тертия Филиппова. Сын ржевского аптекаря, зауряд-чиновник Государственного контроля, Тертий (как его все звали) был известен в Петербурге как остряк, знаток русского искусства, церковного пения и попутно церковных вопросов. Никто и никогда не мог понять, почему же он не служит в Синоде и что было у него общего с цифрами? Он и сам этого не знал. Он прилип к большому бюрократическому делу, как ракушка к днищу корабля, и механическим усердием семинариста распух в большого чиновника.

Усердие Тертия отличил еще создатель Государственного контроля Татаринов[202]. Кажется, он и выдвинул его в начальники своей канцелярии, а Сольский сделал своим товарищем. На этом и сам Тертий, и весь бюрократический Петербург считали его карьеру конченной: лица такого происхождения в ту пору еще не достигали высших ступеней власти. Да Тертию она была не по годам и не по плечу. Надев на седьмом десятке лет белые штаны, он весь отдался своему любимому занятию: церковному пению и церковным вопросам. Недурной знаток русской литературы, он принадлежал к кружку Погодина, дружил с Островским, Полонским, Майковым, Самариным, Самойловым, вообще, варился в соку рус-

ского таланта. Обладая изумительной памятью, он наизусть читал почти всего Пушкина, Мицкевича, Тютчева, был кладезем всякого рода «бон мо»[a], анекдотов, происшествий, — словом, в приятельском кружке был остроумен, занимателен, незаменим.

Всегда розовый, жизнерадостный, аккуратно расчесанный, он был противоположностью пергаментного Победоносцева, которого ненавидел.

Я помню интимные вечера в одном доме, где локоть к локтю сидели Тертий, Апухтин (поэт) и Петр Чайковский. Это было такое сплетение лирики с сатирой, серьезности с анекдотом, что голова кружилась. Помню, в детстве, встречу Тертия с Достоевским, — как Тертий острил, а Достоевский злобно молчал.

Кроме пения и литературы, Тертий был еще специалистом по бильярду и по винту. На бильярде он обыгрывал маркеров, а в винте у него были лишь два соперника: Витте и Сущов. Когда они сходились за зеленым столиком, за зрелище это можно было деньги платить. В этом розовом семинаристе было пропасть талантов, кроме одного — таланта власти. И вот он попал к ней.

Пост государственного контролера был самым ничтожным по диапазону творчества и самым сильным по диапазону разрушения (критика). Государственный контролер не ведал ничем и ведал всем. Его глаза и уши или, вернее, — его щупальца, были запущены во все ведомства. И всем он мог наделать кучу пакостей. Но особенно чувствительны к этим щупальцам были ведомства финансов и путей сообщения. А с установлением контроля фактического, т[о] е[сть] контроля не после, а во время производства расходов, ведомство это приобрело силу тормоза, останавливающего государственную машину[203].

На посту Государственного контролера приобрел свою известность гр[аф] Сольский — вельможа калибра Абазы. Он далеко не использовал довлевшей ему власти[b]. Но его уважали, побаивались, и всякого рода «панамы»[204], хотя при нем и раскрывались, огласки не получали. Чуть-чуть не разразился скандал с Анненковым (строителем Закаспийской дороги)[205], и то по усердию Тертия. Но Сольский его замял и огромные бреши в казне, учиненные этим не признававшим над собой контроля генералом, кое-как замазали.

Совсем особая эра началась при Тертии. На пост госуд[арственного] контролера метил друг вел[икого] кн[язя] Владимира Александровича — Половцов. Этому богачу, выстроившему для своих проездок верхом собственный манеж и проигрывавшему миллионы русского золота в Монте-Карло (там его чуть не убил и ограбил Гурко), не доставало только власти.

Вот этот каприз Половцова и подарил России Тертия. Александр III-й не выносил интриг и недолюбливал меценатов. На просьбу брата он сначала склонился, и Половцов уже принимал поздравления. Но кн[язь] Мещерский, друг Тертия, осведомил государя о половцовском триумфе, и Тертий был спешно вызван в Аничков. Там государь ему сказал:

— Против вас интрига, и потому я вас назначаю госуд[арственным] контролером[206].

Половцов тотчас же укатил в Монте-Карло, а Тертий переехал из 5-го этажа Подьяческой в особняк на Мойке. На первом министерском рауте, показывая

---

[a] Острот (франц.).
[b] Так в рукописи.

друзьям свои апартаменты, он, подсмеиваясь не то над собой, не то над апартаментами, говорил:

— И этого всего хотели меня лишить...

Заказав себе новый сюртук, а жене — новое платье, Тертий из певчего и балагура превратился в олимпийца.

* * *

Превращение это лишило Петербург оригинального, сочного и красочного собеседника-всезнайки, винтеров — классического игрока, меня — партнера на бильярде; зато прибавило на Олимпе одним богом больше, едва ли не самым надутым и злостным. Ржевский мещанин во дворянстве повторил историю мольеровского героя. Скорпионы своей власти он направил на отмщение и сладострастные укусы. Как и Плеве, Тертий-министр вспомнил все унижения своей тернистой карьеры, всю российскую горечь пасынка власти. У Плеве была виселица, у Тертия — контрольный клещ. Он вонзал его всюду, куда влекла его личная месть или потребность упиться чужой болью.

Окружив себя злостными ищейками, поднявшимися, как и он, из мещанства, Тертий направлял эту стаю голодных гончих всюду, где подымался пульс жизни, где оживали омертвелые ткани, где личная инициатива и талант могли сулить обогащение. А так как эпоха его властвования совпала с материальным российским расцветом — постройкой дорог, заводов, эмансипацией капитала, — контрольным гончим было где разгуляться. «Начеты» так и сыпались на ведомства. Работа тормозилась, инициатива падала. Возведя на должность генерал-контролера железнодорожной отчетности крошечного, но самого злого контрольного пса, некоего Маликова[207], он почти остановил постройку железных дорог. Бесчисленные скорпионы терзали постройку портов, элеваторов, шоссе, очистку рек. И только военно-морское ведомство под флагом обороны страны кое-как отбивалось от этих скорпионов. Тертий, кажется, сам был честен, но его свора гончих в силу постоянного трения о чужие миллионы, под постоянным соблазном схватить или выпустить, задушить или дать жить, кончила тем, чем и все на Руси — развратилась. Контролеры стали брать взятки. И началась свистопляска, победителями из которой вышли одни банкиры с их папой — Витте.

Отношения двух обитателей Мойки — Тертия и Витте, были своеобразны. Оба они друг друга боялись, и оба друг друга подсиживали. Так же играли они и в винт. Я помню эти схватки за зеленым столом. Разберут, бывало, карты, сложат их и уж больше не заглядывают. Тертий вопьется глазами в Витте, Витте в Тертия; у одного во взгляде лукавая насмешка, у другого (Витте) — петуший наскок.

— Шлем в пиках! В трефах! Без козырей.

Взгляды, как два клинка, скрестились, сверкают. Тертий почти шепчет. Витте сипит. Отовсюду сбегаются поглазеть на дуэль гигантов. Секундная пауза. И вот — большой без козырей! Игра за Витте. Розыгрыш бесподобен. Но плетью обуха не перешибешь. Витте без трех... Тертий подсидел... В делах государства Тертий не раз подсиживал озорного Витте; но загрызть его не мог и не решался.

Матильда Ивановна Витте не пропускала журфиксов Марии Ивановны (супруги Тертия); а купленное Тертием на «выгодных условиях» Гогенлоевское имение требовало постоянных ссуд.

Вот почему при Тертии на Мойке было спокойно. Тертий не препятствовал не только «реформам» Витте (а он единственный мог их замедлить), но и «делам» мадам Витте. Свистопляска строительства и грюндерства, озолотившая родных и близких Витте, при Тертии еще сгустилась. Особенным треском ознаменовалось железнодорожное строительство мужа сестры мадам Витте, некоего Быховца[208]. В дни ухаживания Витте за мадам Лисаневич, на которой он женился, Быховец был ничтожным техником на шоссейном участке гор[ода] Новгорода. Он не был даже инженером, и скудное жалованье свое пополнял, как и все, «доходами». Женитьба Витте отверзла чете Быховцов врата рая. Шоссейному технику вручили сразу постройку железной дороги. Быховец ничего не смыслил в постройке, но твердо усвоил нормы строительных доходов (от 5–10 процентов с подряда). Построив так первую маленькую дорогу и возведенный без экзамена в звание инженера путей сообщения, Быховец получил стомиллионную постройку Пермь-Котласской жел[езной] дороги (при Кривошеине). Один из подрядчиков этой дороги, инж[енер] Бак, нажил там такие миллионы, что отхватил часть их на издание кадетской газеты «Речь»[209]. На аншлаге ее так и продолжало стоять до заката ее: «Основана Баком». Когда же Быховцу робко замечали, что процент в пользу начальства немного высок, он заботливо отвечал:

— Вы же знаете, с кем я должен делиться...

Дорогу построили отвратительно, но Быховец переселился на Миллионную, завел автомобили, детей воспитывал в Лицее. Тертий, как и весь Петербург, это знал, подшучивал, острил, но начетов на Быховца не делал.

И, живя на Мойке вверх, плыл по течению вниз, в хоромы Витте.

* * *

Не то было с другими министрами, особенно теми, чьи жены манкировали журфиксами на Мойке. Тертий скушал не одного из них. С особенным смаком проглотил он министра путей сообщения Кривошеина. Этому министру он не мог простить его светскости, богатства и министерского дворца на Фонтанке.

Кривошеин взобрался на Олимп после Тертия, никакого стажа не прошел, но развел такую пышность, перед которой побледнели рауты и журфиксы Тертия. К тому же Мария Петровна (супруга Кривошеина) манкировала Марию Ивановну — супругу Тертия. И начался бой, завершившийся скандалом и ломкой костей Кривошеина[210].

Дряхлея и просачиваясь ядом злости, Тертий, как тарантул, бросался решительно на всех, даже на своих благодетелей. Так, он едва не перегрыз горло сотворившему его кн[язю] Мещерскому и пытался задушить «милейшего Дурново».

Не давал ему спокойно властвовать и Победоносцев. Ревность к нему возгорелась у Тертия еще когда он был подручным Сольского, пел на клиросе и считал себя первым в России церковником. Еще с тех пор Тертий шушукался с епископами и митрополитами, оппонировавшими обер-прокурору. Был он сто-

ронником патриархата и, во всяком случае, церковной эмансипации от Синода. В церковной иерархии у него было много друзей.

Про Тертия ходил такой анекдот: исповедуется юная грешница. Так, мол, и так — согрешила.

— С кем? — любопытствует исповедующий.

— С Тертием Ивановичем...

— Ну, с ним можно...

На посту обер-прокурора Синода Тертий, быть может, поднялся бы до истинного творчества, создал бы если не «живую», то полуживую церковь. Весь его внешний облик вместе с внешним благочестием свидетельствовали о том. Как государственник Тертий не достоин был развязать ремня обуви Победоносцеву, но как живая, яркая личность оставлял его за флагом.

У Тертия был типичный, ему одному свойственный, шелестящий смешок, которым он сопровождал свои эпиграммы, анекдоты и эпитафии. Смешок этот казался мне добродушным, покуда Тертий не попал на Олимп. Там он превратился в змеиное шипение.

Тертий-министр двигался, как икона — нес себя, как священный сосуд. У него, как и у гр[афа] Д. Толстого, был сын, в которого он также был влюблен, — находил в нем гений Суворова, Наполеона. Подрастя, сын предпочел карьеру дельца лаврам Наполеона[211].

Супруга Тертия — доброе, простое существо — на старости лет открыла в себе гений вышивания. Дочери тоже, кажется, на чем-то воссияли[212]. Словом, у гробового входа этот аптекарский ученик познал себя не только рожденным для власти, но и родившим потомство, отмеченное перстом Божьим. У него не было мании величия патологической, как впоследствии у Протопопова (страдал он лишь от обжорства), но была мания величия психологическая. Умер он, многое взбудоражив, отравив, разрушив и решительно ничего не создав.

С ним умер обломок не только старой русской власти, но и старого русского остроумия, ценитель и поощритель таланта.

Глава IX.
Кривошеин, Хилков, Рухлов

Эта троица, сменяясь, с лишком 20 лет правила российским транспортом. Исторической роли не сыграла, но чрезвычайно выпукло отразила черты упадочной эпохи.

Как показатель культурного подъема страны и экономического ее развития, пути сообщения всюду являются одним из существеннейших факторов управления, привлекая к себе творчество и инициативу. В России эта отрасль народного труда была почти вырвана из круга творчества, почти разобщена с другими отраслями, отданная в кормежку «зеленому канту». Господа инженеры путей сообщения еще со времен гр[афа] Бобринского[213] образовали как бы кагал, непроницаемый для простых смертных. Путейцы, или, как их после кукуевской катастрофы[214] назвали, «кукуевцы», стали полновластными хозяевами не только техники транспорта, но и экономики его. В их компетенцию отнесены были не только рельсы, вагоны, паровозы, но и решение вопросов — куда проводить дороги, что и как по ним возить? Концессионная система, сблизив их с денежными тузами (Поляковы, Половцовы, Кокоревы, Мамонтовы), создала мощный хищнический аппарат государства в государстве, презиравший всяческие правовые нормы и захлестнувший нервную систему страны. Путейцы выдвинули своих богов — Кербедза, Салова, Печковского — и эти боги, хотя и без министерских портфелей, являлись фактическими владыками ведомства. После крушения у Борок Александр III пытался путейскую стену проломить. На зазнавшихся путейцев был выпущен злой бульдог — пресловутый ген[ерал] Вендрих. Царь сам им руководил и облек его неслыханной властью. Бульдог загрыз немало путейских тузов, расшвырял ведомство, многих свел с ума, но... круг путейцев сомкнулся, и окровавленный пес едва из него выскочил. Защемленное между вонючей Фонтанкой и ароматными кущами Юсуповского сада, пропитанное миазмами давивших на него справа — Александровского рынка (толкучки), слева — соседней ночлежки, путейское ведомство гнило. Тогда вот на него выпустили Витте, — гораздо более умного и наглого, чем Вендрих.

Но Витте пролетел по ведомству метеором, а заменил его ничтожный делец Кривошеин. И начался тот тягучий, в течение двух десятков лет, распад живого органа страны, который теперь доконали большевики.

Кривошеин был ростовским Кречинским[215]. Он там и предводительствовал, и председательствовал и, вообще, в этом хлебном крае делал дела.

В счастливое воеводство над Екатеринославской вотчиной «милейшего» Дурново Кривошеин снабжал воеводу деньгами и икрой. Свои запутанные дела он поправил женитьбой на Струковой. Отяжелевший от достатка, но жадный до власти, перевалил в Петербург. И здесь в роскоши, на широком досуге стал, поучая всех уму-разуму, ждать случая. «Милейший» Дурново — тогдашний министр внутренних дел — хоть и должник Кривошеина, не торопился с ним рассчитаться: уж очень неказиста была репутация у его кредитора. Кривошеин приластился к кн[язю] Мещерскому, Витте, Тертию. Он был шармером, обладал житейским опытом, умом. Его обеды и рауты вскоре прогремели. О Кривошеине заговорили. Но Дурново все упрямился и, чтобы отделаться от назойливых просьб, предложил ему пост — всероссийского ветеринара. Кривошеин поморщился, но принял. Однако по пути к Главному ветеринарному управлению его перехватили и сделали министром пут[ей] сообщения. Оказывается, Витте, покидая это ведомство и боясь иметь своим заместителем бульдога ген[ерала] Вендриха, указал государю на Кривошеина. Так ростовский Кречинский попал во всероссийского перевозчика.

На Фонтанке, в резиденции министра путей сообщения, Кривошеин испытал то же перерождение, что и Тертий на Мойке — облекся в тогу вседержителя. Но богатство и родство подбросили его еще выше Тертия. Маленький человек с пушистыми усами и вкрадчивыми движениями обходил ампиристые залы Юсуповского дворца, как дорвавшийся до курятника кот. И начал править. Путейцы поначалу струсили. Прикинулись дурачками, ахали над мудростью пенкоснимателя. Но вскоре все вошло в норму. Салов с Печковским поняли, с кем имели дело. Несколько новых назначений из лиц, нужных Кривошеину, и несколько новых жел[езных] дорог, спроектированных к усладе Кривошеина и близких к «сферам» вельмож, показались путейцам не слишком дорогой платой за отвоевание опрокинутых Витте их державных прав. Путейцы наладили для «реформатора» новый орган управления — водяную и шоссейную инспекцию — и допустили на пост главы инспектора друга министра, лизоблюда и забубенную головушку, Бухарина[216]. Когда у Кривошеина спрашивали, что общего у Бухарина с водами, он, лукаво ухмыляясь, отвечал:

— Бухарин — член речного яхт-клуба... Заведует там яствами и питиями...

В отплату за эту любезность путейцы потребовали от Кривошеина смещения с поста главного инспектора жел[езных] дорог ненавистного им Вендриха. И на пост этот, к великому путейскому удовольствию, по протекции импер[атрицы] Марии Федоровны был назначен добрейший, деликатнейший кн[язь] Хилков[217].

Собственно говоря, этим кривошеиновские реформы министерства и исчерпались. Ведомством овладели его старые хозяева, а Кривошеин, наладив свою церемониальную часть и основав в доме министерства «собственную» церковь, стал «объезжать Россию». Помпа этих объездов и стоимость их, превзойдя все бывшее до сих пор, обратили внимание двора. С другой стороны, шармер, нач-

хав на своих покровителей: Дурново, Мещерского, Витте и Тертия, стал вести «собственную политику». Его супруга в подражание Матильде Ивановне Витте устроила у себя «малый двор». И вот, покуда Юсуповский дворец надувался, норовя перерасти дворцы других министров и даже великих князей, над ним собралась гроза. И разразилась она, когда ни ростовскому Кречинскому, ни его домочадцам об этом не снилось. В день кривошеинского тезоименитства и освящения новой церкви, в пышном зале дворца появилась скромная фигурка Танеева (управляющего канцелярией государя)[218]. Убежденный, что этот царский посланец привез ему царское поздравление, Кривошеин бросился к нему.

На крепкое и почтительное пожатие Танеев ответил:

— Его величество изволили повелеть вам подать в отставку...

Кривошеину сломал шею Тертий Филиппов. Но он был лишь оружием в руках Витте. Шармер уже не нужен был временщику. Опасный Вендрих был уничтожен, путейцы склонились под десницей Витте, а близкий к Матильде муж ее сестры, Быховец, уже был возведен Кривошеиным в ранг путейца и уже строил прибыльные для семьи м-н Витте, но убыточные для государства железные дороги. Мавр сделал свое дело. При том же он обнаглел. И вот Витте ткнул нос Тертия в путейскую «панаму».

Одна из казенных железных дорог, оказывается, купила у деверя Кривошеина, Струкова, рощу. Сделка была подписана в министерском доме. И, хотя покупка эта для железной дороги была выгодна, Тертий сделал царю такой доклад, что Кривошеину не дали даже отпраздновать своих именин. С него сняли придворное звание. Судившая впоследствии Кривошеина специальная высшая комиссия поставила ему в вину еще поставку из его имения дров на железную дорогу и проведение новой железной дороги через мест[ечко] Шклов, принадлежавшее Кривошеину. Но потом оказалось, что контракт на дрова был заключен до назначения Кривошеина министром, и дорога настаивала на его выгодности, а новой железной дороге тоже выгодно было идти на Шклов. Кривошеина частично реабилитировали, но поста не вернули.

Став вновь хлебосолом и болтуном, Кривошеин кончил свои дни в особняке Васильевского острова, не переставая жаловаться на несправедливость судьбы и надеяться на возрождение...

* * *

Его преемник кн[язь] Хилков относится тоже к разряду министров фуксовых. Когда-то блестящий офицер и аристократ, он, прокутившись, укатил в Америку и там стал кочегаром на паровозе. Дослужился до машиниста[219]. Отпустил американскую бородку, приобрел американскую складку. Складка эта дала ему в России кличку «американца» и сделала карьеру. В России он дослужился до начальника тяги. В турецкую кампанию очутился в Болгарии, и там Каульбарс назначил его болгарским министром путей сообщения[220]. Но счастье продолжалось недолго, и Хилков вновь очутился в России без средств и места.

Где-то, когда-то он понравился императрице Марии Федоровне. По настоянию ее Витте дал ему маленькое место, а Кривошеин большое[221]. Но удельный вес Хилкова от этого не прибавился: он всем угождал, со всеми соглашался, отлично

владел языками и специализировался на ухажерстве. О делах с Хилковым серьезно и не говорили — теребя свою американскую бородку, он блаженно улыбался и подписывал все, что ему подсовывали. Попасть в министры он и не мечтал. А попав, испугался и спрятался под крылышко императрицы и столпов ведомства. При Хилкове, собственно, министра и не было: ведали ведомством путейцы, которых муштровал Витте. Как покорное дитя, Хилков сосал двух мамок: Витте и Тертия. Первый давал ему деньги, второй гарантировал от начетов. И для ведомства настали блестящие расплюевские дни[222], и длились они целых десять лет.

Описать, что происходило в эти десять лет в тайниках ведомства, доступно лишь романисту. Вся муть столиц и страны осела в железнодорожных правлениях, захватила в свои лапы поставки и подряды. Благоволение к Хилкову Витте и Тертия при покровительстве императрицы Марии Федоровны обеспечивало полную безопасность министерским шакалам, лисицам и хорькам. А сердечная слабость «князеньки» ко всякой смазливой мордочке создала при нем фаворитов и фавориток. Этот живчик-американец, здоровавшийся за руку с кондукторами и машинистами, скандировавший по-французски как парижанин и жевавший язык по-английски, проявил по женскому делу темперамент, которому позавидовал бы и Витте, и Плеве, и все коты российского Олимпа. Фаворитки — жены подчиненных, менялись при нем часто, но мужей покинутых фавориток добрейший князь не только не увольнял, а повышал. Весь Петербург наблюдал за карьерой этих счастливцев, которых «князенька» из ничтожества подымал на первые иерархические ступеньки. Так сделался начальником главнейшей в России железной дороги, придворным и почти вельможей скромный смотритель кондукторской бригады В... Так из секретарей поднимались до директоров департаментов. Слабость «князеньки» была всем известна, и все видели ее плачевные для дела результаты. Гомерические пиры путейцев, сплетавшиеся с гомерическими хищениями, тоже у всех были на виду. Но «князенька» был так добр, императрица Мария Федоровна так к нему благоволила, а родственнику м[ада]м Витте Быховцу так хорошо жилось на амплуа первого русского железнодорожного строителя, что в конце концов и в Царском Селе, и в Государственном совете на него махнули рукой. Доходы железных дорог катастрофически падали, расходы чудовищно росли, на постройках свила постоянное гнездо «панама», взяточничеством, как паутиной, опутались все карнизы ведомства, а из укромных углов его выглядывала уголовщина. Не скончайся вовремя переутомившийся от любви «князенька», разразилось бы что-нибудь даже для России гомерическое. Но мертвым сраму не имати. Путейскую уголовщину приказано было задушить. Только два-три самых острых шила выперли наружу: виновные были судимы и осуждены (знаменитые нератовское и палтовское дела). И вот, развращенное, разленившееся ведомство, с 100-милл[ионным] дефицитом, с путейскими «традициями» и хилковской практикой, в разгар японской войны попало в руки «банщика» Рухлова.

* * *

«Банщиком» прозвал его Витте. Рухлов, действительно, был красен, важен и по-банному расчесывал свои деревянные волосы. Рухлов был из вологодских мужичков: говорил на «о», отличался необыкновенным трудолюбием и еще

большим лукавством. Начало его карьеры во мраке[223]. Кверху толкнул его великий князь Александр Михайлович, в бытность свою главой ведомства торговли и промышленности. Вологодский мужичонка прилип к его врагам: Безобразову, Абазе, великому князю Александру Михайловичу. Когда Витте пал, Рухлов проник в Государственный совет. И понемногу его имя стало провиденциальным. Для путейского ведомства вновь настала эпоха, когда искали кулака, чтобы образумить и кое-как спасти его. Остановились на Рухлове. Но Рухлов перед Витте был пигмеем, а ведомство за 12 лет хилковского управления безмерно опустилось и развратилось.

На месте Тертия в контроле сидел суровый генерал Лобко, финансами же ведал Коковцов, у которого не было в путейском ведомстве своего Быховца. Дни Аранжуэца прошли[224]. «Банщик» всей своей вологодской тяжестью нажал на ведомство. Всем усердием выскочки повернул руль. Всю свою меднолобость противопоставил здравому смыслу. Задачей Рухлова — первой и единственной — было сокращение расходов и увеличение доходов. Он буквально слизал все запасы дорог, обстриг их рассчитанное на завтрашний день хозяйство. При Рухлове почти прекратились долгосрочные заказы, а цены на рельсы, скрепления, вагоны, паровозы были сбиты до смешного. В результате — бесконечные крушения, хроническая голодовка дорог в запасах и трест всех русских заводов, противопоставивших рухловскому усердию — стачку. На железных дорогах, на заводах и в финансировавших их банках поднялась паника. Разорялись подрядчики, упекали на каторгу стрелочников. А «банщик» давил, пока не выдавил весь железнодорожный дефицит и не дал казне «прибыль». Лобко и Коковцов поздравили коллегу, а дороги — стали...

Если подсчитать убытки для страны от рухловской «экономии» (все задержанные заказы пришлось потом раздать по двойным и тройным ценам), они превзойдут убытки от хилковской расточительности. А ведомство, бросаемое от борта к борту, не обладая упругостью бильярдного шара, было вконец расхлябано. Спасла его лишь смерть «банщика»[225].

Кроме сберегателя, Рухлов был еще националистом из паствы Меньшикова и Балашева[226]. Национализм насаждал он и в ведомстве. Все инославные и инородные элементы были из него устранены. Лучшие инженеры — начальники и строители дорог, если в жилах их текла не истинно русская кровь, были беспощадно удалены. В ведомстве восцарствовал некий проходимец Лавров, взятый Рухловым из Союза русского народа для «наблюдения» над инженерами[227]. Самая мрачная реакция, изуверство и тупая хозяйственность — таковы черты этого «банщика» — подыгрывавшего под господ.

Глава X.
Столыпин[228]

Жил был старый генерал-адъютант Столыпин, заведовавший дворцовой частью в Москве — один из последних могикан рыцарской и царской России — человек исключительной порядочности, мужества, но... весьма посредственного интеллекта[229]. Про эту последнюю его черту ходило множество анекдотов. По капризу судьбы у него оказались весьма неглупые сыновья: «Саша» и «Петя» Столыпины. Первый сделал карьеру в «Нов[ом] времени»[230], второй — в Западном крае. Там он купил (в Ковенской губ[ернии]) чье-то польское имение и, понравившись виленскому генерал-губернатору, попал в ковенские предводители дворянства по назначению. Стал добрым хозяином латифундии и добрым коллегой своих соседей, польских дворян. И умерял, насколько мог, суровую десницу ген[ерал]-губернатора Троцкого. Все это имело место всего за несколько лет до 1905 г. Женатый на Нейдгардт, Столыпин имел «протекцию»[231]. Его выдвигал в губернаторы Штюрмер, тогда — директор Департамента общих дел при Плеве[232]. Но Плеве долго не соглашался.

— Что вы лезете с этим... (следовал нелестный эпитет).

Наконец, Штюрмеру удалось вырвать для своего протеже Саратовскую губ[ернию]. Тут административный талант и личное мужество Столыпина развернулись. Случился где-то бунт. Столыпин его усмирил без розог и стрельбы. Об этом поставили в известность двор. И, кажется, на кандидатуре Столыпина в министерство Горемыкина настоял сам Николай II. Дальнейшему своему укреплению Столыпин обязан, кроме думских успехов, бомбе Аптекарского острова[233].

Исключительное мужество, им здесь проявленное, и выпавшее на его долю исключительное испытание потянули к нему сердца даже его врагов. А смерть Трепова уничтожила последнее средостение между ним и государем. К 1907 г. Столыпин стал уже **всесильным** — гораздо более всесильным, чем когда-то Плеве и Витте. И одного его слова было бы достаточно, чтобы «потерянный документ» 17 октября отыскать, расшифровать и осуществить, т[о] е[сть] дать России **полную** конституцию, т[о] е[сть] **спасти** ее. Но этого он не сделал. Почему?

В первые же лихорадочные дни 1-ой Государственной Думы, когда в стенах Потемкинского дворца бился пульс страны, когда Аладьины и Аничкины[234], не

говоря уже о Петрункевичах и Милюковых, заслонили собой серенькое министерство Горемыкина, и все, что способно было в России любить, влюбилось в «избранников народа», жужжавшая, как улей, публика преддумского зала, тогда еще с иголочки блестевшего, заглядывалась на одну из красных скамеек, где скромно сидел молодой красивый брюнет, беседуя с кадетским депутатом. И впервые зашелестело в публике имя «Столыпин». Пригожесть и молодость нового министра внутренних дел, и то обстоятельство, что он так просто смешался с публикой и так мило беседовал с депутатом, в кредит, расположило к нему.

В тот день было одно из сенсационных думских заседаний, когда выступил с разоблачениями погромной деятельности департамента полиции известный князь Урусов, давший кличку Трепову — «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждениям»[235].

Урусов был сам членом правительства, обвинения его были обоснованы, выкрутиться из такого положения было нелегко. Горемыкин струсил и выслал на трибуну Столыпина.

Перед дрожавшей от бешенства залой, перед «Думой народного гнева» появился элегантный молодой человек и без конфуза, но и без задора, со знающей себе цену скромностью, голосом и дикцией заправского оратора, заговорил.

Эта первая думская речь Столыпина доказала силу слова. Прежде чем понять, что говорит Столыпин, Дума заслушалась, как он говорит[236]. Справа налево прошла как бы электрическая струя. Насторожились одинаково и Марков с Пуришкевичем, и Милюков, и Аладьин, и Нечитайло с Неписайловым, вплоть до «кавказских обезьян» — крайней левой[237]. У всех было удивление, у многих насмешка и зависть, но злости — ни у кого. Столыпин сказал одну из самых незначительных своих речей; но она произвела наибольшее впечатление — своей искренностью, теплотой и простотой. После косноязычья Витте, после серой бездарности Горемыкина новый талант правительственного Цицерона прямо ошеломил[238]. Просто не допускали на стороне власти таланта, искренности. А встретившись с ними — осели. Словом, дебюту Столыпина мог бы позавидовать сам Шаляпин[239]. И всем стало ясно, что отныне к именам думских сирен прибавится еще одно имя, еще один парламентарий «Божьей милостью» — Столыпин.

* * *

Этот третий и последний временщик эпохи всероссийского распада, как и его предшественники Плеве и Витте, воплотил в себе два лика русского двойника: творца и разрушителя, взмаха ввысь и стлания по земле, государственной дальнозоркости и упрямой слепоты. В лице Столыпина милостивый русский Бог послал, казалось, последнюю нить спасения падавшему храму русской государственности. Кровь его не была отравлена желчью, как у Плеве, и похотью к власти, как у Витте. Он не был ни палачом, ни Калиостро. Наследственность дала ему благородный инстинкт и мужество, а счастливая звезда — талант. Скромная же доля помещика, предводителя и губернатора дали ему раннее знание народа и сноровку администратора. Казалось, впервые у власти стал патриот типа Пожарского, отблеск, хотя и слабый, Сперанского, Ланского[240].

Но к появлению Столыпина двор и реакция уже оправились от страха: маленький Дурново добился того, чего не удалось большому Витте — подавить революцию. Дурново сумел убедить и царя, и реакционную Россию, что «реформу» вырвали насильем, и что Россию можно было успокоить иначе. Столыпин очутился между этим сложившимся уже убеждением, с одной стороны, и «Думой народного гнева», а по терминологии двора — «проклятой колодой», — с другой. Его первые успехи в Думе не изменили отношения к ней двора, а лишь укрепили положение Столыпина как «ловкого малого». В дальнейшем ему приходилось считаться с Треповым, успокоившимся за судьбу династии, а потому вернувшимся в ряды слепой реакции[241]. Чтобы сохранить расположение двора и не рассориться с Треповым, Столыпину пришлось продолжать политику Дурново. Растлевающее влияние дворцовой камарильи, во всяком случае, сыграло огромную роль в духовном перерождении этого «провиденциального» человека. И тут, как в драме Витте, толчок дала женщина. Супруга Столыпина ни в чем не походила на «Матильду» Витте — за ней было и безупречное прошлое, и высокое происхождение. Но ее чрезмерное честолюбие, высокомерие и сухость при огромном влиянии на мужа очень быстро превратили скромного «губернатора» в государственного сноба. М[ада]м Столыпина устроила у себя «маленький двор», соперничавший с другими дворами, а чтобы выдержать это соперничество, пришлось какой бы то ни было ценой обеспечить милость двора большого. Так началось падение Столыпина — последний этап на пути падения режима.

Этому процессу с огромной, до сих пор непостижимой готовностью помогла и русская общественность. Затянули петлю на шее Столыпина две общественные группы — дружественная и враждебная ему: октябристы и кадеты. Выражаясь конкретнее — Гучков и Милюков.

По натуре Столыпин не был ни оппортунистом, ни реакционером. Далеко не известно еще, чем бы кончился нажим на него двора и реакции, если бы столыпинскую большую и прямую душу не обвил змей гучковского соблазна. Без Гучкова Столыпин, вернее всего, сломил бы себе шею в первый же месяц власти — и это потому, что между Думой и двором, между прогрессом и реакцией он повис в воздухе. Гучков подставил под него свою спину. Из двуполого октябризма Гучков возвел фундамент для небывалой еще политики «потерянного документа», самодержавной конституции, свободы без свобод, гражданственности в тисках полевой юстиции, «волевых импульсов» и нажимов, опереточных государственных переворотов и задушившей Думу «вермишели», словом, оппортунистического непотребства. Самый ясный из российских властителей, самый прямой и невинный душой, уперся в тупик.

Загнало его туда, однако, не одно распутство октябризма, но и «целомудрие» кадетизма. Сервилизм октябристов только подчеркивал подсидку и улюлюканье кадет.

Газета «Речь» специализировалась на столыпинофобии. Не было дня, чтобы в ней не метались громы против всех начинаний Столыпина, а в Думе Родичев истерично кричал о «столыпинском галстуке»[242]. Правоверная догма российского либерализма противоставлялась столь неуклюже и оскорбительно гучковско-столыпинскому оппортунизму, что даже деятель с меньшим самолюбием, чем Столыпин, был бы загнан этой травлей в лагерь врагов либерализма. Под на-

тиском кадет и под воркование октябристов Столыпин отступал и окапывался. Пока не очутился на мысе голого самодержавия.

Раздвоившиеся в изгнании кадеты не скрывают, что Столыпин был не прочь разделить власть с Милюковым. Не выяснен лишь эпизод таинственной трапезы у Донона Милюкова с гр[афом] Игнатьевым, и роли, которую должен был играть Столыпин в милюковско-игнатьевской комбинации[243]. Так или иначе, но перед июньским государственным переворотом[244] Столыпин сделал многое, если не все, чтобы связать разорванные не им нити русских общественности и государственности. И если после аптекарских бомб и выборгской буффонады[245], после явных и тайных шушуканий с кадетской оппозицией, после травли оппозиционной печати, под льстивое потворствование лисы октябризма, под гучковский шепот «все дозволено», при улыбках Царского Села и под аплодисменты реакционной знати и нововременской меньшиковской музы, если в этой обстановке «рыцарь» власти переродился в деспота и дело русской свободы перенес в ограду российского застенка, винить его за это, кажется, несправедливо.

Типичная черта распада русской государственности (да и общественности) не в том ли, что каждый осколок этого многогранного сосуда является и причиной, и следствием катастрофы, субъектом и объектом ее, и что каждый в своем падении сверкает молниями подчас ослепительных возможностей: возможностей блага и счастья России. Сверкали этими возможностями и три старших осколка российского безвременья — Толстой, Победоносцев и Делянов, и три младших — Плеве, Витте и Столыпин. На любой почве, только не на русской последнего сорокалетия, эти люди могли бы стать гордостью страны. У нас же даже их положительные качества (талант, патриотизм, трудолюбие) только ускоряли падение страны.

На Столыпине этот рок России отразился особенно ярко. Он подошел к власти без груза прошлого, без нахрапа и интриги, в сиянии почти детской и политической чистоты — юным, обаятельным, смелым. Его вынесла волна злого российского волнения, как буря выбрасывает перламутровую раковину с таящейся в ней жемчужиной. Но раскрыть эту раковину так и не удалось. В пламени и в грязи политической свалки и дворцовых интриг раковина плотно замкнулась, а то, что из нее просочилось, было продуктом распада. Но окончательно убить замкнувшийся государственный талант Столыпина не удалось: он вспыхивал яркими, хотя и короткими молниями. Даже вторая, социалистическая Дума ахнула и зажмурилась от одной из таких молний, когда не в бровь, а в глаз с неведомой еще смелостью и простотой ей было брошено: «Вам нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия»[246]. Такими же яркими молниями были аграрная реформа, рабочее законодательство, подъем воинской мощи, борьба с реакцией, а рядом — мелкие уколы, месть, насилие и кумовство. Осерчав, напр[имер], на меня за мои статьи в «С.-Петербургских ведомостях», этот «рыцарь» власти задумал меня уморить голодом, для чего и внес в Думу закон об уничтожении «Петербургских» и «Московских ведомостей», установленных сводом российских законов. Неугодных ему чиновников Столыпин увольнял беспощадно, а на высшие посты насажал своих родственников. Замуровавшись в Елагинском дворце, он установил там почти царский церемониал и проникнуть к нему было труднее, чем к царю. Его расправа с Дурново и Треповым, роспуск на три дня Думы и Государственного Совета[247], смехотворная «частная» газета «Россия»

и назначения никому не известных саратовцев, все это и множество мелочей, о которых говорить не хочется, бесследно стирало молниеносные проявления его гения. Кроме Гучкова ведь им управляли еще две роковые личности: Крыжановский (автор нового выборного закона) и знаменитый выкрест Гурлянд[248]. Вращаясь в этом созвездии под гнетом снобизма, Столыпин умудрился рассориться даже с таким уравновешенным консерватором, своим коллегой, как Коковцов. Так же, как Горемыкин в свое время оказался левее Витте, так и Коковцов очутился ошую Столыпина.

* * *

Автор злостных «Мемуаров», мучительно завидовавший Столыпину, обозвал его «всероссийским губернатором» и «штык-юнкером». Витте не отличался остроумием. В любой стране Столыпин, воспитанный на парламентаризме, оказался бы блестящим премьером типа Бриана и Кайо[249]. Но, попав между двух враждующих стихий — Думой и двором, сплюснутый между ними, задерганный, зацуканный справа и слева, осмеянный кадетами и обольщенный октябристами, этот зародыш российского Питта[250] не имел времени ни вникнуть в таинственную суть процесса русской болезни, ни облечься в доспехи истинного государственного деятеля. Цицерон остался только Цицероном. Столыпин стал не столько «штык-юнкером», сколько Заратустрой российского безвременья.

Как и Плеве, Столыпин у порога насильственной смерти был убежден, что крамола на цепи. Разудалый Курлов[251] между оргиями разврата и оргиями палачества усердно копировал Плеве. Охрана Столыпина была усеяна Азефами и Дегаевыми. Падая под пулей агента охраны[252], Столыпин перекрестил рядом стоявшего царя. В этом смиренном жесте — позднее сознание ошибки его короткого властвования. В Столыпине умирающем вспыхнул последним пламенем Столыпин живой и юный и... чистый. Этот последний столыпинский жест — что песнь умирающего лебедя. Ни Витте, ни Плеве, ни даже Сипягин на него не были способны. Витте из могилы вылил на царя ушат помоев. Столыпин, умирая, его благословил — вот две мерки душ, два типа властителей! Витте прошел по русской жизни судорожной гримасой, Столыпин начал звучным аккордом Рудина и кончил стоном Бориса Годунова.

Глава XI.
Курлов

Длинная зала, два ряда юношей с заспанными лицами и наскоро приглаженными вихрами, черные курточки, плотно облегающие гибкие станы, синие, обхватывающие мускулистые ноги, «рейтузы», сапоги со шпорами — в две живые нити выстроенные две сотни стройных и пригожих юнкеров и обходящий их вахмистр. Строгим взором карих глаз он впивается в лица товарищей, избегающих его взгляда. Тусклый свет электрических лампочек, мутный петербургский рассвет. У дверей дежурный офицер в походной форме, блестя золотом эполет, ладанки и портупеи. Сборный зал Николаевского кавалерийского училища. Утренний обход юнкеров. Перекличка.

* * *

Николаевское кавалерийское училище — прежняя Школа гвардейских подпрапорщиков, а еще прежде — Дворянский полк (или что-то в этом роде), после Пажеского корпуса — самое шикарное военное заведение России[253]. Юнкера-николаевцы считали себя даже шикарнее пажей. Эти два заведения поставляли для царской России гвардейский офицерский корпус, из которого выпекались командиры полков, дивизий, корпусов, округов, а по гражданской части — губернаторы, послы и даже министры. (Графы Игнатьевы, Лорис-Меликов, Гурко, кн[язь] Мирский, Остен-Сакен, Орловы, Безобразов, Бенкендорф и многие другие, вошедшие в историю царской России, были питомцами этих заведений). В обществе, а особенно в среде университетской, «привилегированные» заведения не пользовались доброй славой. «Юнкера» в России считались неучами. Между стройными юношами, затянутыми в блестящие мундирчики, сверкавшими золочеными касками под белыми султанами, бодро шагавшими по панелям Невского и Морской и вытягивавшимися перед офицерами, и остальной русской учащейся молодежью, в небрежных тужурках, почти всегда взлохмаченных, неопрятных и развихлянных, — между этими двумя пластами «детей» была пропасть. И эта пропасть по мере охвата жизни все углубля-

лась. Те две России, которые к обеим русским революциям явно обозначились, были, до известной степени, Россией «юнкеров» и Россией штатских (их называли «ютрюками»).

Но мнение штатской России о России военной было не совсем справедливо. В николаевские времена и впрямь русские военные заведения (корпуса) по уровню образования были ниже гражданских (гимназий). Но уже Милютин с переименованием корпусов в военные гимназии сравнял их учебные программы[254]. А впоследствии Ванновский эти программы поднял настолько, что воспитанники военных гимназий на конкурсах в гражданские институты шли впереди реалистов. И очень многие из них попадали в университеты. Программы военных училищ были, очевидно, ниже программ гражданских институтов и университетов. Но учебная часть стояла в них настолько высоко, что воспитанники их легко попадали в военные академии. Во всяком случае, из этих училищ выпускались не «неучи», а люди со средним кругозором, дававшим, по мере их дарований, возможность применить его на всех поприщах жизни и расширить путем образования специального.

В школе гвардейских подпрапорщиков воспитывался Лермонтов (там свято чтили его память, и была «Лермонтовская комната»). Из «юнкеров» вылупились такие писатели, как Куприн, Гарин, Светлов, Бежецкий и друг[ие]. Нравы юнкерских училищ живописал Куприн[255]. В Николаевском кавалерийском училище нравы эти были еще более сгущены, чем в московском Александровском[256], деление на «зверей» и «господ офицеров» еще более подчеркнуто, и специфически военная выправка еще более рельефна, но, кажется, интеллекта юношей эта атмосфера не душила, и люди выходили из этого «привилегированного» заведения такими, какими лепили их личные качества и дарования. Даровитые «юнкера» становились полезными деятелями земств, городов и министерств. Во всяком случае, не «юнкера» сгубили Россию. Наша государственность и гражданственность загнили, кажется, со штатского, а не с военного конца: с недисциплинированных, физически и морально взлохмаченных «ученых», а не «неучей», до последней минуты и последней капли юной крови защищавших обанкротившихся «ученых».

* * *

Попасть в вахмистры Николаевского кавалерийского училища было нелегко: надо было быть лучшим и по строю, и по учебе. А эти две стороны воинского воспитания были почти всегда в антагонизме. Над строем властвовал командир эскадрона, над учебой — инспектор. Первый не преклонялся перед учебой, второй — перед строем. А во времена Курлова (1878–80 г.) командиром эскадрона школы был известный Клюки фон Клюгенау, любимец вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича и лучший ездок русской кавалерии. Юнкеров он муштровал жестоко. Когда «зверя» (новичка), подстегивая бичом, гоняли на неоседланной лошади, пытку эту могла превозмочь лишь особая склонность.

Курлов был идеальным ездоком и писанным умником. Учился на круглые 12, сидел на коне как картинка, был любимцем и командира эскадрона, и инспектора. Но не товарищей. Его боялись, ему не верили. Уже тогда, на заре карьеры,

взгляд его был из стали, а складка рта презрительная. Уже тогда в нем чувствовали охранника.

Курлов вышел в гвардию, но, прослужив в строю два года, перешел в Военно-юридическую академию, блестяще кончил ее, переименовался в гражданский чин и стал прокурором суда в Ярославле. Быстро и там выдвинулся, был переведен в Москву и оттуда попал в вице-губернаторы. Государственная карьера Курлова началась отсюда[257].

* * *

По своему удельному весу, знаниям, а главное — характеру (стальной воле), Курлов имел такое же право на пост министра, как и Столыпин. И на нем, пожалуй, еще больше, чем на Столыпине, лежала печать «провиденциальности». Если Столыпин чудом спасся от бомбы Аптекарского острова, то Курлов еще большим чудом спасся от бомбы, брошенной в него в упор в Минске. Там он губернаторствовал, порол и вешал. Скатившись по рукаву, бомба, без взрыва, упала к его ногам. Но было это при кн[язе] Мирском, искавшем «доверия». Курлова тогда не оценили[258]. Настоящую цену ему дал лишь маленький Дурново, прозревший в Курлове своего преемника. Он перевел Курлова в Киев, один из самых опасных русских революционных центров, и облек полнотой власти. И здесь будущий российский Фуше показал себя вовсю. До Киева он был волевым умницей, одним из тех, кого режим выдвинул для борьбы с революцией. В Киеве, подобно Столыпину в Саратове, Курлов приобрел патент на спасителя отечества. Но в Киеве еще он развернул свои страсти и свой темперамент. Киев сделал из государственника — сатрапа. Курлов этим не стеснялся, он знал себе цену. Курлов понял, что без него, как в свое время без сластолюбца Дурново, режиму не обойтись. Курлов не поджигал, как его предшественник, иностранных посольств, но его дебоши в столице галушек и хорошеньких украинок стали почти легендарными. В Петербурге эти дебоши еще усилились, но киевские предания их сохранили более ярко. И когда при Скоропадском[259] Киев вновь распоясался, а паштетные клубы, кабаре и дома свиданий шли в ногу с карательными экспедициями и борьбой с петлюровцами, времена Курлова в этой матери городов русских живо вспомнились. Скоропадский был ведь тоже питомцем «привилегированной» школы, был строен и пригож, отлично ездил верхом, лихо пил и тоже считал себя «провиденциальным». Киев Курлова и Киев Скоропадского были двумя сапогами из той же пары.

* * *

Начав свою службу отечеству вахмистром, Курлов кончил ее шефом жандармов и главой полиции. Курлов был и умнее, и одареннее Столыпина; но воля к власти в нем не уступала воле Витте и Плеве. В эпоху Александра III из него выработался бы крупный государственный деятель. Но на пути его развития оказались препоны внешние и внутренние: извне — борьба самодержавия с народовластием, изнутри — темперамент. Будучи свидетелем расправы с революцией

Дурново и расправы с Гос[ударственной] думой Столыпина, Курлов усвоил себе тогдашний лозунг волевых людей: все дозволено. И этот лозунг подчеркивался в нем сознанием своего интеллектуального превосходства. Курлов имел все данные, чтобы стать членом кабинета Столыпина, а не его подручным. Неудовлетворенное в намеченных рамках честолюбие повернуло его на путь сластолюбия. Курлов стал типичным русским гулякой. В зените власти он творил дебоши, удивлявшие даже тогдашних Распутиных. Укромные кабинеты Кюба, Донона, Контана, виллы Родэ были свидетелями почти навуходоносоровских пиршеств. Об них все знали, но тронуть российского Фуше боялись. Боялся Курлова даже бесстрашный Столыпин. На министерских заседаниях, обсуждавших полицейские меры империи, голос Курлова заглушал голос Столыпина. Премьеру приходилось его осаживать. Особенно крупной вышла размолвка между ними при обсуждении мер по охране государя при поездке его на полтавские торжества. Курлов взял тогда такой тон, что Столыпин вспылил:

— Не забывайте, что хозяин здесь я.

Освирепел и Курлов:

— В таком случае я не отвечаю за безопасность особы его величества...

— Особу его величества охранит Бог...

— И вашей особы...

— О моей особе не заботьтесь, покуда вопрос не разрешен о безопасности государя...

Об этом диалоге вспомнили после убийства Столыпина. И он, между прочим, послужил в известных кругах к уверенности, что Столыпина убил Курлов[260]. Очевидное преувеличение. Но в ту роковую царскую поездку иные из полицейских мер вызывают до сих пор удивление.

У Курлова, напр[имер], был в Киеве свой маленький Азеф. Ни умом, ни влиянием в подпольных кругах он и близко не подходил к Азефу подлинному. Убийца Столыпина Богров был одним из киевских молодых людей хорошего общества, сыном состоятельных родителей[261]. Бог весть, как и почему он запутался в сетях террористов. На следствии это не выяснилось. А главное — не выяснилось, что толкнуло его к службе в охранке. За эту службу он, человек состоятельный, получал гроши, а рисковал шкурой. Уж одно это вынуждало отнестись к его услугам, особенно после опыта с Дегаевым, Азефом и другими провокаторами, с особой осторожностью. Курлова предостерегал начальник киевского охранного отделения. Но Богров перед приездом государя в Киев выдал нескольких террористов, у которых при обыске нашли бомбы[262]. Это якобы укрепило веру Курлова в Богрова. И он велел ему присутствовать на всех торжествах в честь государя.

После убийства Столыпина выяснилось, что Богров стоял непосредственно за государем при посещении тем Купеческого сада.

— Вы имели намерение совершить покушение на государя? — спросили его на следствии.

— Имел.

— Отчего вы его не совершили?

— Испугался. Кругом был народ.

— А в театре?

— Из театра я должен был бежать. К тому все было приготовлено.

И действительно, как оказалось, в театре должно было потухнуть электричество после выстрела. Помешала этому какая-то случайность. Во всяком случае, в театре были у Богрова сообщники[263]...

Богрова вешали на Лысой горе в том фраке и белом галстуке, в котором его схватили. При казни присутствовали члены Союза русского народа с Пуришкевичем во главе. Этот последний умудрился даже обратиться к Богрову с вопросом:

— Неприятно умирать?

— Тысячу котлет больше или меньше — не все ли равно, — ответил Богров.

* * *

Что Курлов метил на пост Столыпина и даже уверен был его получить, ясно. (Без вмешательства кн[язя] Мещерского, хлопотавшего за Маклакова, он бы его и получил). Что в меру своего интеллекта и по своей служебной карьере он имел на это право, тоже ясно. И не оставляет сомнения, что исчезновение Столыпина было ему на руку. Историку русского лихолетья остается лишь решить, в какой мере глубокий след оставил на теле русской государственности этот волевой умница, еще более, чем Трепов — «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению»? Другими словами, в какой мере Курлов приблизил фатальный час нашей общей расплаты?...

После увольнения Курлова обнаружились особенно ярко его некрасивые денежные дела. Между его многочисленными кредиторами оказалась известная в Петербурге миллионерша Полубояринова[264], деятельный член Союза русского народа, друг Распутина, Бадмаева и других столпов реакции. Скандальные отношения Курлова с этой дамой были, кажется, предметом любопытства комиссии Муравьева при Временном правительстве[265] и одной из причин его ареста[266]. Каким чудом Курлов спасся от большевиков, не знаю. И не знаю, кто помог ему издать свои мемуары, пикантные, но лживые[267]. Курлов умер в Берлине.

Глава XII.
Штюрмер

После Столыпина управляли страной ряд ничтожеств: Маклаков в Царском представлял для наследника «тигру»; Хвостов организовал убийство Илиодора[268]. Калейдоскопически сменяясь, они были под неусыпным надзором Распутина. Для расползшейся по швам России достаточно было милюковской речи в Думе, чтобы повиснуть над пропастью[269]. Но нужно было еще последнее дуновение, чтобы свалиться туда. И это дуновение изошло от самых крошечных пигмеев русской государственности: Штюрмера и Протопопова.

Первого я знал хорошо. Незлобливый и корректный, он был губернатором в Ярославле, а потом директором Департамента общих дел[270]. Но основная его карьера была придворная, где он дошел до высоких ступеней обер-церемониймейстера. Департамент общих дел Министерства внутренних дел был важнейшей частью этого министерства, сосредоточивая в себе весь его огромный личный состав. Все губернаторы, вице-губернаторы и т[ак] д[алее] назначались этим департаментом, вернее — представлялись к назначению. Поэтому весь колорит министерства в значительной степени зависел от директора этого департамента. Штюрмер занимал этот пост при Сипягине и Плеве и, насколько мог, старался проводить если не умниц, то людей порядочных. Его упорной настойчивости был обязан карьерой Столыпин. Но интерес жизни Штюрмера вращался возле двора, драматической сцены и имения. Что влекло Штюрмера к сцене — не знаю; но он был в Дирекции императорских театров persona grata и неизменно присутствовал на всех генеральных репетициях. У него был, несомненно, художественный вкус и большая начитанность. К имению же своему, где-то на севере России[271], Штюрмер был почти столько же привязан, как гр[аф] Толстой к своему. И привязанность эта сыграла, как и у Толстого, некоторую роль в истории России.

Штюрмер, усердно посещавший «среды» кн[язя] Мещерского, был долгое время его кандидатом в министры. Сипягин и Плеве вырвали у него победу почти у столба. Жизнерадостный и уравновешенный, верный слуга самодержавия и корректный царедворец, он подходил к типу «милейшего» Дурново. Он и занял бы его кресло, если бы не полоса возобновившегося террора. Не будучи госу-

дарственным мужем, он еще менее был боевым министром. Этот ражий детина с манерами лэндлорда был создан для традиции двора и для мирного обихода. Честолюбия и в нем было много; но после бурного периода русской жизни начала XX-го века, после смерти Плеве и кн[язя] Мещерского, он счел свою песню спетой. В одной из наших бесед перед началом войны он мне искренно сознался, что постарел, осел и бросил всякие мечтания о карьере. У него была весьма светская супруга и неудачливый сын, и оба причиняли ему весьма много хлопот[272]. Власть упала ему в руки в момент, когда он менее всего ее ожидал, когда, разбитый болезнями и заботами, он уж приблизился к могиле.

* * *

Змеем-искусителем его явился Манасевич-Мануйлов, близкий к «Нов[ому] вр[емени]» и Распутину[273]. В одну из несчастнейших минут своей жизни он сошелся с Распутиным в уютной, заставленной фарфором гостиной Манасевича-Мануйлова. В этот вечер решилась судьба и последних дней русской государственности, и последних дней Штюрмера. Впоследствии он мне рассказывал, что сам не понимает, как все случилось, и чем околдовал его «старец». Не желая власти, боясь ее и сознавая себя бессильным снести ее бремя, он все-таки возложил его на себя. Старинные фарфоровые куклы, уставлявшие все стены мануйловской квартиры, должны были с любопытством глядеть, как один старец околдовывал другого и как маклерствовал между ними жизнерадостный нововременец. И только этим куклам, которых впоследствии раскрали большевики, да трем покойным уже участникам совещания известно, на каких условиях Распутин дал, а Штюрмер принял власть[274]. Меня тогда в Петербурге не было, и я увидел Штюрмера уже полгода спустя после его назначения.

Передо мной был дряхлый старик с потухшим взором когда-то стальных глаз, трясущийся телесно и душевно. Он уловил мое изумление и горько, тоскливо улыбнулся. Был час полночный, и никто не мешал нашей задушевной беседе в министерском особняке на Фонтанке.

— Что же будет, Борис Владимирович, — резюмировал я нашу затянувшуюся беседу. — Вы воюете на два фронта: с Германией и с Россией. Мыслима ли победа при этих условиях? И хватит ли Ваших сил?

Штюрмер поник сединами.

— Да, да, на два фронта. Это верно. Я иду в ногу с Милюковым, Гучковым и Бурцевым в деле обеспечения нашей победы над Германией. Ради этого я даже выпустил на свободу Бурцева, хотя и знаю, что, если у него в одном кармане бомба против Гогенцоллернов, то в другом — против Романовых[275].

— Бурцев для вас менее опасен, чем Милюков.

— Знаю, знаю. Но в деле обеспечения победы мы с Милюковым солидарны.

— Между тем партия кадет, насколько мне известно, обвиняет вас в склонности... к сепаратному миру. И не только вас, но и Царское Село. Над мятущимся Петербургом, очевидно, витает какое-то роковое недоразумение. Антидинастическое настроение, заваренное Гучковым и поддерживаемое Милюковым, опирается на германофильство Александры Федоровны (Распутин тож), коих агентом, якобы, состоите именно вы[276]. На эту тему я наслышался такого, от чего волосы шевелятся.

Одни, во имя победы, готовят революцию, другие, тоже во имя победы — углубляют самодержавие... Или я окончательно оглупел, или, извините, вы... недостаточно зорко всматриваетесь в нарастающие вокруг вас события. Вы — самодержавник, а Милюков — революционер, вы выступаете bras dessus — bras dessous[a]. Но Милюков считает вас ... предателем, а вы его — бунтовщиком. Как в известном анекдоте, где два купца в Бологом уселись в один вагон, причем один ехал в Москву, другой в Питер, и оба дивились такому «фокусу» — так и вы с Милюковым в одном и том же вагоне едете и к самодержавию, и к революции. Но на этот раз это уж не анекдот. Не представляется ли вам, что один из вас должен покинуть вагон? Или, выражаясь грубо, — один из вас выкинет другого? Я ведь говорю не премьеру, политику коего не разделяю, а Борису Владимировичу, которого привык уважать...

Штюрмер слушал, вытирая лоб платком. Ему было тяжко. И я уж пожалел о своей откровенности.

— Что же вы хотите сказать? Что я должен сделать?

— Победа и самодержавие — два конца качели. Кто хочет победы, должен отказаться от самодержавия. И наоборот. Обезоружить клевету на Вас и на Царское, вырвать инициативу действия из рук Гучкова и Милюкова вы можете лишь одним...

— Чем?

— Даруйте России искреннюю, полную конституцию...

Старик вздрогнул, побагровел.

— Вы знаете меня 25 лет. Менял я когда мои убеждения? Пока я жив и у власти, я не уступлю ни йоты...

— Тогда уступите в воинственности! Ищите путей к миру. Не сепаратному, а общему...

Штюрмер встал, прошелся, морщась от болей.

— Вот что, мой друг! Запомните это! Дни мои сочтены. Говорю с вами, как со старым другом. Без свидетелей... Если есть в России человек, алчущий победы над Вильгельмом, ненавидящий его всеми фибрами и который не пойдет **ни на какие** компромиссы, то этот человек сидит в Царском — Николай II. И его супруга... Об ней Бог знает, что говорят. А она не выносит Вильгельма, оскорблявшего ее в детстве — и ее и ее брата, герцога[277]. Как могут они работать на Вильгельма? А Распутин в дело войны вовсе не мешается и сам уговорил государя принять главное командование для обеспечения победы[278]. Клянусь всемогущим Богом!

И он широко перекрестился.

— Но это не все — продолжал он, — если бы война была делом личных счетов двух монархов, я бы, может, старался ее прекратить. Но эта война, как и война 12-го года — дело народное. **Народ** поддерживает войну. И потому — отступления нет.

— Помилосердствуйте, Борис Владимирович. Когда же народ высказывался за войну? Когда его спрашивали об этом? И разве возможно узнать мнение 150 милл[ионов] безграмотных, бесправных, споенных масс?

Штюрмер горячился.

— Я говорю о том народе, который мне близок. В моем Бежецком уезде мужики за полную победу...

---

[a] Руки вверх — руки вниз (франц.).

— Допустим, хотя и весь Бежецкий уезд спросить нельзя. Но ведь калужанину нет дела до тверичанина, а в Казани, Саратове, в Сибири не считаются с калужанами...

— Возможно, но война начата, и она должна принести нам победу.

— Это ведь и Бурцев говорит. Но он не скрывает, что Россия воюет не с Германией, а с кайзером, с прусской реакцией. И Милюков того же мнения. Всей русской оппозиции война нужна как таран против самодержавия. А вам она нужна как опора самодержавия. Ведь не можете же вы не сознать, что любой ее конец есть и конец самодержавию: если рушится Германия, рухнет его единственная опора, а рухнет Россия, что останется от династии?

Старик глядел на меня почти с ненавистью.

— Ну да, да, я, может, и думаю об этом. Но что вы хотите? Le vin est tiré — il faut le boir[a]. Не я начал эту войну. Но я не могу идти в этом вопросе против государя, против страны. Моя задача — помочь победе. А главное — охранить самодержавие. Вы знаете мои убеждения. Каким был, таким и умру. Я не государственный человек. Теперь это мне ясно. Если бы еще 10 лет назад меня призвали. Тогда еще кое-что оставалось. Теперь — я разбит нравственно и физически. Но я пяди не уступлю. Пяди...

— А если... если Милюков убедит Россию, что самодержавие мешает победе?

— Пусть! Жду этого. Жду самого ужасного. Ведь мне же известны клеветы на меня и на императрицу. Одно время я решил их всех арестовать. Раздумал. Пусть свершится воля Божия. Россией теперь управлять нельзя. Ни Плеве, ни Витте ничего бы не поделали. А мне куда же... Несемся куда-то. С орбиты сорвались. А победить Германию может лишь самодержавная Россия... В этом убедятся, когда рухнет оно, когда рухнет все. Потому что конец самодержавию есть конец России. Меня не будет, а вы вспомните. Ну, Бог с вами! Устал. Ах, если бы хоть десяток лет с плеч!...

Государь пожертвовал Штюрмером после речи Милюкова, направленной через голову Штюрмера в императрицу. И эта речь, а главное, что ударили за нее по Штюрмеру, а не по Милюкову, свидетельствовала, что революция в России уже началась. Да этого и не скрывали. Стахович[279], проездом через Стокгольм, не мне одному говорил о **готовом** дворцовом заговоре: тогда еще мечтали ограничиться устранением Николая с Александрой Федоровной. Заговором руководили Гучков, ген[ерал] Поливанов[280] и Бьюкенен. Привести его в исполнение должны были: Орлов[281], Белосельский[282], Николай Николаевич — почти вся дворцовая камарилья, за исключением Нилова, Путятина и Дрентельна[283].

* * *

Сидя в Трубецком бастионе Петропавловки о бок с Протопоповым, Сухомлиновым, Вырубовой, Штюрмер покорно ждал конца. На бесконечные допросы следственной комиссии Муравьева он большею частью молчал. Осмотр всех его бумаг, равно как и бумаг бывшего царя и царицы, не дали и намека на то, что Милюков назвал «предательством». Тем не менее, старика мучили — мучи-

[a] Вино открыто — его нужно пить (франц.).

ли физически. Ему не дали даже матраца, не допускали пищи из дому. Страдая острым воспалением мочевого пузыря, он требовал введения катэдра. Ему прислали грязного фельдшера с грязным катэдром. Произвели заражение крови. Отправили в больницу «Крестов» — отправили ночью, тайком, потому что караул крепости решил «изменника» не выпускать. В «Крестах» его хотел заколоть караульный. Тогда, при 40-град[усной] температуре, после долгих хлопот, его позволили перевезти в частную лечебницу. Но старик уже агонизировал. Тем не менее, Керенский распорядился у изголовья умирающего приставить солдат с ружьями. Так и скончался он между штыками, быть может, бежецких мужиков, на которых опирал свою власть[284].

Когда еще он был в крепости, Керенскому вздумалось произвести смотр арестованных. Он велел их всех выстроить в коридоре, каждого перед дверью своей камеры. И вот они стояли, дрожа, в арестантских халатах, опираясь на косяки — вчерашние властители, сегодня — арестанты: Голицын[285], Штюрмер, Протопопов, Сухомлинов и друг[ие]. Керенский в френче обошел фронт, стал посередине коридора:

— Вам известно, господа, что перед вами генерал-прокурор... Да-с! Генерал-прокурор... А вы — мои заключенные. Ко мне доходят жалобы на строгости... А вы разве были мягки? Испытайте то, что заставляли испытывать других!... Впрочем, законные просьбы я прикажу удовлетворить... Какие у вас просьбы к генерал-прокурору?... Говорите смело!...

— Часы бы возвратили, — робко произнес кн[язь] Голицын. — Без часов жутко...

— Часы бьют в крепости. И даже с курантом... Каждые четверть часа слышите ваше излюбленное «Коль славен»...

— Катэдр — простонал Штюрмер.

— Катэдр? Что это? Комендант...

Подскочил комендант и почтительно зашептал на ухо генерал-прокурора.

— Гм! Катэдр можно! — прикажите ему катэдр доставить... Больше ничего?... Прощайте! И помните, что власть генерал-прокурора находится в твердых руках...[286]

Глава XIII.
Протопопов

У Протопопова были пушистые усы, мягкие манеры, вкрадчивый голос шармера. Душой он был фигляр и кулак, внешностью — пролаза и кокетка. Само собою разумеется — октябрист и наперсник Гучкова, коему сумел оказать какие-то услуги. В Гос[ударственную] думу он попал по новому закону от Симбирской губ[ернии][287]. Будучи воспитанником Николаевского кавалерийского училища, в молодости проделал офицерский стаж в конногренадерах, однокашником и собутыльником Курлова[288]. Состояния у него не было. Но в губернии имел большие суконные фабрики его дядя ген[ерал] Селиванов, и эти фабрики путем каких-то махинаций достались Протопопову[289]. Он запродал их бельгийцам, схватил крупный куш, но, придравшись к каким-то формальностям, фабрик не сдал. Началось громкое дело о мошенничестве. Протопопову удалось его замять. О подвигах его гремела вся бельгийская печать, и номера газет с описанием протопоповской сделки сохранились и поднесь. Менее громкие, но такого же характера, дела отмечают и его дальнейшую карьеру земца и избранника дворянства. Протопопов на Волге был тем, чем когда-то Кривошеин, злосчастный министр путей сообщения, на Дону: беззастенчивым стяжателем. По капризу судьбы они и наружностью походили. Словом, юность этого последнего министра внутренних дел протекла в офицерских кутежах, а зрелость ознаменовалась сомнительными аферами.

* * *

Аферистом Протопопов продолжал быть и в Государственной думе. У известного сотрудника «Биржевки» Азры (Стембо) была конспиративная квартира, куда собиралась столичная деловая муть. Одним из завсегдатаев ее был Протопопов. Когда же по приказу Гучкова его избрали вице-председателем Государственной думы[290], обороты квартиры Азры удесятерились. Протопопов стал звеном между идейной и материальной Россией, между политикой и наживательством. К Протопопову потянулись банки и акционерные общества. Предшественником его на этом пути был сам А. И. Гучков: вождя октябристов под-

кармливал банкир Утин. Но Гучков, кажется, не «проводил» в Думе чужих дел, довольствуясь положенной ему кормежкой. А Протопопов, набивший руку еще в Брюсселе, открыл двери Таврического дворца для шакалов наживы. И Дума не поморщилась... Руководимая подбоченившейся глупостью Родзянки и ласковой вкрадчивостью Протопопова, Дума... ковала победу и революцию...

В ту пору заваривалась новая газета, впоследствии прозванная «банковской» — «Русская воля». Инициаторами этого предприятия были: редактор «Бирж[евых] ведомостей» Гаккебуш (Горелов) и тот же Азра. За спинами их стояли — Сытин и Проппер, не успевавшие поделить русского читателя между «Русским словом» и «Биржевыми ведомостями». Комбинация состояла в том, чтобы под флагом новой газеты создать в Петрограде филиал «Русского слова», слив его с петроградским изданием «Биржевых ведомостей». Комбинация эта оказалась настолько сложной, а творцы ее настолько продувными, что из нее в последний момент выскользнули и Сытин, и Проппер. Остался лишь костяк дела — финансировавшие банки и флаг общественности — Протопопов. Этот последний был привлечен к комбинации Азрой. И вот под флагом избранника Гос[ударственной] думы и на банковские деньги создается новый могущественный орган общественного мнения, по заданию — умеренно-оппозиционного[291].

Предприятие наделало шуму. Прежде чем появиться, новая газета была облита помоями. И появилась она совсем иначе, чем была задумана. Флаг общественности с нее был сорван с назначением Протопопова министром вн[утренних] дел. Из инициаторов дела остался лишь один беспардонный, поднадувший Проппера, Горелов. И остались на растерзание банковские миллионы.

Объезжая с парламентариями Европу, Протопопов наткнулся в Италии на Амфитеатрова. Автор «Обмановых» и издатель «Красного знамени»[292], разумеется, вернуться в царскую Россию, да еще в качестве руководителя общественного мнения, не мечтал. Признаки прогрессивного паралича у Протопопова сказались еще в его поездку по Европе. Одним из таких признаков было, несомненно, привлечение Амфитеатрова к «банковской» газете. Расхлебывать эту кашу пришлось не Протопопову, а банкам.

Амфитеатров, под защитою Деп[артамен]та полиции, вернулся в Россию с Запада, покинув ее, по требованию того же деп[артамен]та, с Востока (из Нарымского края)[293]. Увенчанная паралитиком Россия монархическая встречала своего блудного сына почти так же торжественно, как впоследствии Россия революционная встречала своего будущего вождя — Ленина. Банки затрещали. Но против воли министра вн[утренних] дел идти не посмели. Банковские миллионы заплясали между Гореловым и Амфитеатровым — двумя медведями в берлоге новой газеты. Покуда Горелов бегал к Протопопову с заднего крыльца, Амфитеатров с парадного ломал Протопопову шею. С головокружительной быстротой таяли банковские миллионы, но еще быстрее таял режим. Протопоповская газета, финансированная учреждениями и строем, которые эта газета взрывала — один из последних пузырей на вздувшейся туше этого режима. Когда Протопопов уже выл по-собачьи в каземате Петропавловки, а банкиры, сбривая усы и брови, хватая свои миллионы, разбегались как тараканы, газета, съедая последние банковские деньги, отвергла предложение Милюкова о признании царевича Алексея наследником русского престола и первая из всех русских органов провозгласила в России республику...

* * *

Протопоповская звезда воссияла каким-то пламенем рассудку вопреки, наперекор стихиям — зажигаясь тем ярче, чем больше сгущалась тьма в омраченном уже интеллекте этого паралитика. Одновременно с выбором его в роль звена между идейностью и наживой, с возведением этого рвача и афериста в сан суперарбитра русского общественного мнения, над этой жалкой фигуркой молодящегося шармера зареяли крылышки провиденциальности. О Протопопове заговорили, как когда-то, в конце прошлого столетия, о Витте. Злой колдун, усыпивший российский Олимп, набросал узор последних шагов России к пропасти, и в центре этого узора обронил клякс — Протопопова; и скрестил на нем все пути великой страны, бившейся в судорогах самосохранения.

Возвращаясь из поездки по Европе парламентариев[294], в стокгольмском Royal Hôtel Протопопов, притирая свои старческие морщины какой-то косметикой, говорил:

— Вы думаете, легко мне было возить это дикое стадо по культурным странам? Исправлять их gaff'ы[a], замазывать глупости? Один Милюков чего мне стоил! Устал! Не хотите ли вытереться? Чудесное средство...

Сумасшедший возил по Европе русский мозг, мошенник дирижировал перед Европой русской совестью. И молчала святая Русь, и не заперли парламентарии своего вожака в сумасшедший дом, не засадили в тюрьму. В Петропавловке выл Протопопов-министр. Но если бы капризному року угодно было посадить в свое время на место Протопопова — Гучкова или Родзянку, выли бы в каземате эти последние, а измывался бы над ними Протопопов.

* * *

О протопоповской кандидатуре в министры шептались еще перед поездкой парламентариев. Проект этот возник почти одновременно с проектом «банковской газеты». Но тогда и Протопопов, и его сподвижники мечтали лишь о портфеле министра торговли и промышленности. И в думских кругах эту кандидатуру сильно поддерживали[295]. Банки же были от нее в восторге. В Стокгольме Протопопов определенно говорил, что портфель этот он примет, не оставляя высшего руководительства «банковской газетой». Но события росли головокружительно.

В Стокгольме имела место беседа Протопопова с немцем Варбургом. О ней прогремели витии. Подкладка же этого казуса гораздо проще. За одной из стокгольмских трапез Протопопов, кокетничавший с хорошенькой женой одного из своих приятелей, По́ляка, молвил:

— Что делается в Европе, мне подлинно известно. А вот у немцев... Тут их бездна... Хорошо бы с кем-нибудь поболтать...

Поляк ответил:

— Хотите я вас познакомлю с Варбургом? Большая шишка. Сейчас он здесь.

— Варбург, так Варбург!.. Жарьте...!

[a] Промах, оплошность (франц.).

Их свели в отельном номере Поляка. Беседа длилась всего четверть часа. Варбург сказал что-то очень смутное. Протопопов кокетничал. Прямо после этой беседы Протопопов с нашим посланником в Стокгольме г[осподином] Неклюдовым поехали на вокзал. Во время пятиминутного переезда Протопопов поделился с Неклюдовым результатами свидания. Неклюдов, шокированный поступком Протопопова, деликатно заметил:

— Ради этого вам незачем было терять времени. Варбург сказал лишь то, что мне давно известно[296].

И все. Но Протопопов разболтал в Петрограде о «новом предложении Германии». Парламентарии, приревновавшие своего коллегу к росшему вокруг него шуму — освирепели. Струсив, Протопопов свалил все на Неклюдова. Был уличен во лжи и высечен. Казалось бы, этого было достаточно, чтобы похоронить безумца. Но... пожар послужил к украшению. Игравшему с Россией черту Протопопов был необходим как последнее слово русского фарса. И вот, после грязи, «банковской газеты», после хлестаковской поездки по Европе и ноздревского свидания с Варбургом, завравшийся и зарвавшийся делец и народный избранник, перескакивая через иерархические и всякие иные ступеньки, взмахивает на верхушку лестницы Якова[297] — становится хозяином России.

А случилось это так.

У Протопопова, кроме журналиста Азры, был еще другой наперстник — бурятский врач, великий шарлатан и вор — Бадмаев. Эпоха его подвигов на поле русской государственности относится к царствованию Александра III. Тогда разом объявились несколько врачей-шарлатанов, пытавшихся завлечь в свои сети высокопоставленных сифилитиков, подагриков и про[чих]. Между ними видные места заняли — бар[он] Вревский и Бадмаев. Вревский лечил невской водой[298]. Бадмаев — бурятским зельем. Зелье действовало сильнее воды, и Бадмаев переплюнул Вревского. К нему потянулся весь изможденный излишествами импотентный хлам Олимпа. Никто не ведал состава бадмаевских снадобий. Но все атаки на знахаря официальной русской медицины были отбиты пациентами ловкого бурята. Бадмаева даже призывали к ложу умиравшего Александра III. Бурят ответил: «Поздно»[299]. И продолжал «творить чудеса» над теми, кто к нему не опаздывал.

Незаметно имя Бадмаева стало примешиваться к политике: сначала специально азиатской, потом общей. Стало известно, что через Бадмаева ведется китайская авантюра, имевшая целью отторжение под русский скипетр Тибета[300]. В этой авантюре вначале принимали деятельное участие Витте и кн[язь] Ухтомский, впоследствии обличавшие Бадмаева. Но бурят успел вырвать у казны большие суммы и, став миллионером, повел «свою политику»[301]. Политика эта, разумеется, была сугубо авантюристской и реакционной. Она переплеталась с политикой других авантюристов, появлявшихся и исчезавших. Но, выступая на авансцену, Бадмаев подыгрывал всем, за кем был успех. Подыгрывал он в свое время и Ухтомскому, и Клопову, и Мещерскому, и Витте, и Плеве[302]. Когда же взошла звезда Распутина, Бадмаев стал его тенью. Замурованный на своей великолепной даче-дворце на Поклонной горе (в Лесном), Бадмаев, как сказочный Черномор, невидимкой выезжал и въезжал в нее, появляясь в решительные минуты всюду, где пахло жареным.

Одним из важнейших пациентов этого жулика был Протопопов: бадмаевское зелье давало ему силы продолжать развратную жизнь[303]. По всей вероятности, бурят помогал в этом смысле и Распутину. Так или иначе, эти три распутника в один прекрасный день объединились. Триумвират усердно клеймили Азра с кн[язем] Андрониковым[304]. И вот «старец» благословил Протопопова на власть. На всю полноту власти...

Царь был в Ставке, царица с Вырубовой — в сфере влияния Распутина. Протопопов метался между Поклонной горой и логовищами Распутина, Андроникова, Стембо (Азры). Петроград, затаив дыхание, ждал. Но даже ко всему привыкшие люди не верили в протопоповскую кандидатуру. Наконец, Вырубовой была получена из Царского телеграмма: «Не торговля, а внутренности». Судьба России была решена.

* * *

В прогрессивном параличе мания величия чаще всего следует за манией уничижения. У Протопопова болезнь развивалась в обратном порядке. Охватившая его еще в Государственной думе мания величия достигла апогея на посту министра внутренних дел. Жандармский мундир — только одна из шалостей этого безумца. В раззолоченных чертогах на Фонтанке творилось нечто такое, до чего не додумался сам Плеве. Царь — на фронте, царица — в трансах, Гос[ударственная] дума и общество — в спазматическом затишье перед бурей, — Россию жевали обезумевший министр и распоясавшийся хлыст. Убийство Распутина не ослабило, а усилило Протопопова: он убедил царицу, что труп «старца» не гниет, что от него идет благоухание и проч[ее]. Против надвигавшейся революции, о которой кричали уже дворники, он принял «меры», но, в конечном счете, он в нее не верил. Упиваясь властью, он галлюцинировал. Затягиваясь в жандармский мундир и натираясь косметиками, он весело жал руки Гучкова, Милюкова, Керенского. А когда эти руки свалили трон, он даже не искал спасения. Он спрятался на Поклонной горе; но он мог, проехав еще четверть часа, перевалить через финляндскую границу. Чувство опасности, по-видимому, еще не было ему доступно, — доминировала над всем потребность рисовки. Не она ли погнала этого несчастного в Думу, отрапортовать Керенскому: «Ваше превосходительство, имею честь явиться — бывший министр внутренних дел...» И только в Трубецком бастионе Петропавловки, после пинков и голодовки наступает перелом: мания величия сменяется манией преследования. Протопопов забивается под кровать, по-собачьи воет и лает. Не разгадав, в чем дело, крепостной врач считал его симулянтом[305].

А Временное правительство возилось с ним, как со здоровым. Только сторожа-солдаты, которых он ежеминутно звал к окошечку своей двери, делясь с ними своими страхами и галлюцинациями, раскусили протопоповский орешек. Его перевезли, наконец, в сумасшедшее отделение Николаевского госпиталя. Там он раздавал еще газетчикам интервью. Но пришли большевики, и мышеловка захлопнулась. На последнюю расправу Протопопова вытащили из больничной церкви, где он спрятался за алтарь, — вытащили, как зверя на убой. Шармер выл и кусался. И пристрелили его, как беглого пса[306]...

* * *

Протопопов — плевок в лицо великой страны и народа. Протопопов — фокус, в который уперлась ложь Плеве и Витте, фанфаронада Милюкова и Гучкова, шулерство власти и кокетство общественности, — сгусток всей российской скверны, фальшивый аккорд из взятых вразброд нот. Протопопов — баланс кредита и дебета последнего сорокалетия русской государственности и общественности, приставленная к ней точка. Когда-то о «точке» к реформам мечтал кн[язь] Мещерский. Ну, вот ее и поставили. Хоть и мелкий жулик, Протопопов органически связан с такими крупными палачами России, как Аракчеев, Булгарин, Плеве. Хоть и выпоротый конокрад, Распутин органически связан с вельможами и конюхами. Надо лишь дивиться нашему удивлению перед этими двумя яркими надписями на стенах, в которых мы пировали. Протопопов и Распутин — наше «мене, фекел»...[307], двоеточие, открывшее страницу блудодейства черни, после блудодейства интеллигенции.

Мы осуждали двор за Распутина, мы боролись с Протопоповым. Так иные эскулапы борются с галлюцинациями свихнувшегося мозга, осуждают холерную бациллу. Скрежеща от зависти, в пафосе гражданского негодования, Милюковы и Гучковы грозили Царскому. А в Царском дивились:

— Вы же требовали парламентаризма... Я и вручил власть парламентарию...

От Радищева к Распутину, от Лориса к Протопопову — такова голгофа российской державности.

Глава XIV.

Витте[308]

Восход[a]

После 1-го марта 1881 г. страницы русской истории поворачивались довольно быстро. Одной из таких страниц был всеподданнейший доклад министра финансов, проф[ессора] Бунге о том, что «ресурсы Российской империи истощены». (О Бунге Мещерский писал, что он «ест суп из куриных перьев»).

Честнейший и ученейший человек, до моральных и умственных высот коего и не мечтали дотянуться его преемники Вышнеградский и Витте, Бунге исповедовал свой взгляд на Россию, и взгляд этот в ту пору разделяли многие. Россия для этих людей была страной патриархально-земледельческой, дворянско-крестьянской, материальные ресурсы коей ограничивались добыванием. Люди эти были убежденными сторонниками самодержавия на славянофильский лад («вы наши — мы ваши»), и всякий уклон с этого пути считали авантюрой не только экономической, но и политической. Кажется, именно политика и стояла в ту пору поперек экономики. Так было, по крайней мере, при Лорис-Меликове и Абазе. Но казна, истощенная турецкой войной, народное хозяйство, расстроенное обесценением продуктов земледелия (рожь продавалась по 50 к. за пуд, овес — 60 к.), и финансы — расшатанные махинациями с рублем на берлинской бирже, — сделали к 90-м годам экономическую тревогу весьма острой. Нечего и говорить, что Бунге не решился бы на свое скандальное признание, не имея за собой поддержки в сферах придворных, бюрократических и дворянских. Хоть и смутно, я помню то время, когда в гостиных и в обществах (Вольно-экономическом[309] и друг[их]) сталкивались два резко противоположные мнения: о русском богатстве и русской нищете. Как и всегда и во всем у нас, обе стороны, повторяя: «стрижено» — «брито», были красноречиво убедительны и правы. И обе стороны упускали из виду, что с экономикой органически связана политика. Во всяком случае,

[a] Далее зачеркнуто заглавие: Глава. Россия и Витте.

в ту пору временного успокоения, под железной дланью Александра III, когда гр[аф] Д. Толстой готовил реформу о земских начальниках, гр[аф] Делянов принимал с улицы провинившихся студентов, а Победоносцев оспаривал у земств народное образование — в ту золотую для самодержавия пору о политике думали мало: о будущем вообще не загадывали. Был, впрочем, пресловутый Шарапов, на всех перекрестках кричавший, что перестройка России земледельческой в промышленную — начало конца самодержавия[310]. Но даже кн[язь] Мещерский и Катков считали опасения Шарапова преувеличенными. А Витте просто и недорого его купил...[311]

В эту пору (конца 90-х годов[312]) в петербургском деловом мире особенным весом пользовался Вышнеградский. Попович по происхождению, по специальности — инженер-технолог, он быстро овладел зазевавшимися от отсутствия конкуренции делами и дельцами, сгрудившимися вокруг архаических банков, с разжиревшими их руководителями. Исключительной энергии, дерзости и двужильности, этот попович вытеснил из Общества юго-западных железных дорог[313] (после «Главного общества» самого могучего) — многолетнее влияние там толстяка Сущова, а из банков — влияние Утиных, Полежаевых[314], Кокоревых и друг[их]. Вскоре без Вышнеградского не обходилось ни одно большое русское дело. Он целиком прибрал к рукам доходное общество петербургских водопроводов, киевские трамваи и проч. Весь Петербург, да и вся Россия, кричали, что Вышнеградский «вор»; а он, равнодушный к общественному мнению, обламывал одно дело за другим и высмеивал Бунге. Лозунгом Вышнеградского было: «Россия не приступала к использованию своих ресурсов». Попав с этим лозунгом к кн[язю] Мещерскому, седовласый, растрепанный, бритый, большеротый, вислоухий, с манерами целовальника, голосом протодиакона и смехом сатира, Иван Алексеевич Вышнеградский стал кумиром издателя «Гражданина». Кн[язь] Мещерский свел его с «милейшим» Иваном Николаевичем Дурново (тогдашним министром внутренних дел), и оба они решили на смену забастовавшего теоретика Бунге выставить «практика» Вышнеградского. О политике тут не было и речи, — «суп из куриных перьев» предполагалось сменить густой похлебкой девственных российских ресурсов. Так начался при самодержавнейшем из царей тот НЭП, продолжение коего Россия узрела при коммунистическом Ленине и ждет теперь от Сталина. Уверенный в крепости своего режима, волевой царь протянул длань к Вышнеградскому, как многие крупные помещики той эпохи, разорявшиеся от бесхозяйственности, брали на службу одиозных им представителей 3-го сословия, которым руки не протягивали, но платили большие жалованья. А когда Воронцовы и Шереметевы осведомили царя о репутации Вышнеградского, царь только усмехнулся:

— Пусть уворует 10 миллионов и даст России сто...

Назначение Вышнеградского было первым нарушением вековых традиций укомплектования российского правящего аппарата (фавориты Екатерины, Анны и Елисаветы не в счет)[315]. Большевики кичатся своей смелостью в этой области. Но в ту пору посадить на кресло Абазы, Рейтерна и сонма сановников, коих портреты украшали приемную министра финансов, поповича и «темного дельца», без намека на «связи» и без служебного стажа, было немногим менее смело, чем назначение на министерские посты фармацевта Бриллианта (Сокольникова)[316], писаря Ворошилова[317] и друг[их]. Предтеча Витте — Вышнеградский — сломил

не только традицию бюрократическую, но и норму этическую. Много было у кормила правления царской России людей невысокого ума и небезупречной нравственности (писал об этом еще Валуев[318]), но не было еще случая столь откровенного игнорирования с высоты престола того, что называли «гласом народа». Страница русской истории в этом смысле была перевернута довольно резко.

Из Аничкова дворца вновь назначенный министр приехал прямо на Караванную к кн[язю] Мещерскому. И, низко склонившись в дверях, пробасил:

— Из кабинета его величества мой первый визит в кабинет вашего сиятельства...

* * *

На одной из «сред» кн[язя] Мещерского, густо усеянной сановниками и чающими движения воды, я возлежал в маленькой гостиной на моей любимой турецкой тахте, вслушиваясь издали в гул торжествующих и заискивающих голосов. Хозяин предоставлял полную свободу гостям и часто не мог толком назвать их фамилии. Был он тогда в зените своего влияния, хотя им не кичился, принимая, со свойственной ему неуклюжей грубоватостью, всех, кто к нему льнул. А льнули к нему, после назначения Вышнеградского, массы. Сидя в центре собрания, где каждый примащивался как мог и умел, Мещерский, по обыкновению, больше говорил, чем слушал, и говорил, как всегда, на злобу дня. Злобой же дня было обретение нового кудесника финансов. Увлеченный своей победой, ментор дома Романовых безапелляционно решал проблемы, в которых мало смыслил. Возражающих почти не было. От времени до времени только пытался в чем-то усомниться заика Сазонов, специализировавшийся на народном хозяйстве, единомышленник ненавистного Мещерскому Шарапова[319]. В ту пору этот Сазонов играл в четыре руки — у Мещерского и у Шарапова. Спустя 6 лет он доигрался до редакторства известной газеты «Россия», закрытой за амфитеатровский фельетон о семье «Обмановых». А еще через 6 лет пригрел старца Распутина.

Под гул голосов из соседней комнаты я начинал дремать. Но дверь распахнулась и в гостиную вошел огромными шагами огромный человек в длиннополом сюртуке. Из-под одной его штанины нагло болталась белая тесемка. Я уставился на эту тесемку.

— Витте, — раздался надо мной сочный тенорок.

Ко мне протянулась большая рука, но я, как загнипотизированный, смотрел на тесемку.

— Не можете встать?

— Извините... Тесемка...

Витте оборвал тесемку, и я, наконец, встал и отрекомендовался.

Витте тоже зарылся в тахту, и мы обменялись первыми фразами.

— Иван Алексеевич здесь?

— Кажется, сегодня нет.

— Кто же там?

— Все те же почти: Филиппов, Ермолов, Плеве, Стишинский. Много новых...

— Пишете?

— Стараюсь.

— Где служите?

— У путейцев...

— У Гюббенета?

Витте рассыпался[a] сиплым смешком.

— Я ему салазки загну... И всему вашему ведомству... Гермафродиты какие-то...

В лице со сломанным носом, высоким челом, вишневыми глазами и влажным ротиком было что-то детски задорное. И лицо это вовсе не подходило к репутации Витте — циника и нахала. Я с места был им пленен. Мы дружески болтали.

— Ну, идем, — встал Витте. — Представьте меня князю и сановникам. А то я трушу...

Он лукаво ухмылялся.

Мы прошли в кабинет, и Витте тотчас стал центром общего внимания. Мещерский к нему отнесся почти с отеческой нежностью; сановники куксились, и прочая братия, разинув рты, жадно в него всматривалась, ловила его приказчичий говорок, внимали его дерзким речам. Витте говорил о разнузданности путейцев, об оторванности Петербурга от России, о глупости и тупости тех, кто не верил в Россию, о Новом Завете русской экономики, которую только такой царь, как Александр III, и такой министр, как Вышнеградский, могли подарить погрязшей в рутине стране. Говорил он много и хорошо, чуть в нос, с сипотцой, с неуклюжими местами, но с чарующей убежденностью и юным задором. А вишневые глаза его чуть насмешливо обводили нахохленных сановников, часто останавливаясь с вопросом на мне. В этом смешливом вопросе я читал:

— Здорово?

В моем ответном взгляде он, вероятно, читал одобрение. Прощаясь, крепко сжал мне руку:

— Заходите! В департамент.

Когда сановники разошлись, мы обменялись с Мещерским мнением о Витте. Оказалось, старик влюбился в него, как и я.

— Его надо сделать министром, — изрек он.

— С этой неуклюжестью, говорком?

— В этом его прелесть...

Витте унес мою ильковую шинель вместо своей. (Моя была без хвостов, его с хвостами). Наутро я ему ее вернул. Мы опять дружески поболтали, и он пошутил, что этот обмен шубами знаменует наши будущие хорошие отношения.

Департамент жел[езно]дорожн[ных] дел, который вручил ему Вышнеградский, помещался в двух этажах над рестораном Кюба на Большой Морской[320]. Это был и географический, и кутежный центр Петербурга. Покуда Витте управлял этим департаментом, он затмевал собой все остальные правительственные учреждения. А среди финансовых и железнодорожных тузов, подъезжавших к дому на углу Кирпичного переулка, трудно было различить, кто собирался покутить у Кюба, а кто — пошептаться с Витте. Шептался с ним в ту пору весь Петербург, да, почитай, и вся Россия. Уж очень много аппетитов разжег его сиплый

[a] Далее зачеркнуто: расхохотался.

говорок. Во всяком случае, с первых же шагов его государственной карьеры Витте стал для одних — желанным, для других одиозным.

* * *

Департамент железнодорожных дел был яблоком раздора между ведомствами путейским и финансовым. В 70-х и 80-х годах прошлого столетия департамент этот, регулируя интересы сельского хозяйства и промышленности, играл крупную роль. Концессионная система постройки русских железных дорог создала очаги такого финансового могущества, с которыми могли спорить только прежние очаги откупов. В безбрежной стране землеробов, где в центре, на малоземелье, сгрудилось почти все коренное великорусское население (при 1–½ дес[ятинном] наделе), и на периферийях лежали втуне беспредельные степи (Новороссия, Заволжье, Закавказье, Каспий и т[ак] д[алее]), в стране без шоссейных и даже грунтовых дорог, с примитивным водным транспортом (гужом) и без всякого признака зернохранилищ (элеваторов), право постройки и эксплуатации жел[езно]дорожных путей, в корне изменяющих не только экономику, но и самый быт населения, это право в гораздо большей степени, чем прежнее право водочных откупов, составляло могучую привилегию немногих лиц и групп. Правом этим прежде всего воспользовались евреи. Тотчас по освобождении крестьян выдвинулись могучие еврейские группы бр[атьев] Поляковых, Варшавских, Горвицей, Гинцбургов и друг[их], которым были даны концессии на постройку главнейших центральных жел[езно]дорожных путей (Киево-Воронежской, Сызрано-Вяземской и друг[их]). Вслед за ними явились русские группы Кокоревых, Губониных, Мамонтовых. И, наконец, известный польский инженер, строитель Николаевского моста в Петербурге, Кербедз, совместно с бар[оном] Пенфельдом, выстроил дороги закавказские и прикавказские. Одновременно петербургские и московские дельцы (Сущов и К°), при содействии «Общества пароходства и торговли» знаменитого адмирала Чихачева, построили дороги Юго-Западные, а французы выстроили дороги С[анкт]-Пет[ербургскую], Варшавскую и Нижегородскую[321]. Я могу ошибаться в сроках и наименованиях, но дело не в этом. Дело в том, что все выстроенные концессионным путем дороги строились главным образом на иностранный акционерный капитал, при гарантированном казной облигационном. Отношение акционерных капиталов к облигационным было приблизительно как 1 к 20, на 1 миллион частного акционерного капитала (риска) приходилось около 20 миллионов денег казенных. (На дороге Восточно-Китайской, Персидской и даже старой Виндаво-Рыбинской соотношение это оказалось еще более для казны невыгодным). Почти все выстроенные таким «концессионным» путем дороги объединились в группы и общества, со своими уставами и привилегиями, делавшими их государством в государстве. Автор этих строк был одно время «правительственным директором», т[о] е[сть] оком казны в одной из таких групп — Привисленской, принадлежавшей варшавскому банкиру Кроненбергу. Отсюда и кое-какие мои сведения по данному вопросу. А сведения эти сводятся к тому, что русское жел[езно]дорожное хозяйство 70-х, 80-х и 90-х годов создало в стране «имена» (Поляковы, Кокоревы, Штейнгели и друг[ие]), рычаги могучих финансовых сил, оазисы денежного могущества (Главное обще-

ство, Общество Юго-Западных, Восточных, Северо-Западных и друг[их] дорог), путаницу экономических интересов (тарифы), полную зависимость казны от частных вожделений (гарантии) и бесправие и нищету масс, о бок с избытком прав и средств незначительных групп. Такие железнодорожные тузы, как Половцов (Гл[авное] о[бщест]во), Сущов и Вышнеградский (Юго-Западное), Поляковы (Сызр[ано]-Вяземская), Скальковские (Моск[овско]-Казанская) и друг[ие], получали сотни тысяч гарантированного жалованья, плюс тантьемы[322] и барыши биржевой игры на своих акциях (при определении дивидендов), а стрелочники и дорожные сторожа, в руках коих была жизнь миллионов пассажиров — по 8–10 руб. в месяц. Ко всему этому надо прибавить огромные приплаты казны по гарантиям не только при эксплуатации, но и при постройке жел[езных] дорог.

Я не претендую на исчерпывающую полноту этой картины: покойный Изнар[323] и здравствующий В. Н. Коковцов нарисовали бы ее, несомненно, с большей компетенцией. Мне лишь хочется подвести фундамент той исключительной силы, что Витте приобрел на первых же шагах своей государственной карьеры в качестве директора департамента железнодорожных дел.

Как я сказал, департамент этот был яблоком раздора двух ведомств. И не мудрено — в нем сосредоточена была душа железных дорог, их денежная часть, а главное — их огромное влияние на развитие местной и всегосударственной экономики. Для чего же и строятся железные дороги, как не для обслуживания ее! Насыпь, рельсы и паровозы лишь скорлупа орешка, зерно коего — стр[оительные] капиталы и тарифы. Департамент железнодорожных дел был регулятором по постройке и эксплуатации железных дорог, т[о] е[сть] **душой** путейского ведомства. Вне его ведомство обращалось в простую техническую контору. Вот в эту контору и обратил Витте могучее когда-то ведомство адм[инистрации] Посьета и Салова. Положим, адмирал Посьет, честнейшая и благороднейшая личность, был в нем тем, что во Франции называли chapeau de Grévy[a, 324], т[о] е[сть] ширмой, за которой всесильный Салов с сонмом «кукуевцев» (так прозвали путейцев после прогремевшей кукуевской катастрофы) распоряжались судьбой миллионов. После катастрофы у ст[анции] Борки, где царская семья спаслась лишь чудом, Александр III, обходя разрушенный железнодорожный путь, поднял кусок сгнившей шпалы, сунул его под нос Посьету и произнес:

— Вот вам ваши жидовские дороги...

(Сызрано-Вяземская дорога принадлежала Поляковым). Это не повлияло на участь Поляковых, но повлияло на участь Посьета и путейского ведомства: Посьета заменили Гюббенетом, а под шумок этой перемены Вышнеградскому ничего не стоило «оттяпать» от путейцев их душу.

Бывший начальник Юго-Западных железных дорог и подчиненный Вышнеградского, Витте был вызван для ведения этой душой. А вместе с ней — всей гаммой финансовых и экономических интересов, связанных с железными дорогами. Других материальных интересов в России тогда еще не было: ни банковское, ни индустриальное оживление тогда еще не начиналось. Вот почему к зданию на Большой Морской, где помещались первый по гастрономии ресторан и первое по карманным заботам правительственное учреждение, потянулись со всех концов представители пробудившейся от спячки деловой России.

---

[a] Шляпа Греви (франц).

* * *

Мне придется остановиться на ходком и нудном слове — тарифы. Все мы знаем, что такое тарифы; но мало кто из нас задумывался над вопросом, какую огромную (по мнению многих — роковую) роль сыграли они в судьбах нашего отечества. Железнодорожные тарифы — это новая география России, оружие в борьбе с самым страшным русским врагом — пространством. И это оружие было первым, которое судьба дала в руки своему новому избраннику, Витте, для осуществления его целей. Ниже мы увидим, каковы были эти цели. Для характеристики же этого могучего оружия скажем, что если на закате карьеры судьба вручила Витте хирургические щипцы для добытия русской свободы, то на заре ее она дала ему ножницы для закрепления русской неволи. Ибо тарифами, как они были применены, Витте создал в России новое крепостное право.

Заключалось оно в том, что народ потерял свой нормальный вековой эквивалент труда и был прикреплен к тяглу государственных, вне его лежавших, от него не зависевших, ему непостижимых целей. Потеряла смысл основная аксиома быта, по которой все ближнее, сподручное, оценивается выше дальнего, несподручного. Потеряла смысл и другая аксиома — что все более ценное должно давать больший доход, чем менее ценное. Потеряла смысл и третья аксиома, что более населенные местности составляют предмет больших забот государства, чем менее населенные. В руках Витте все эти аксиомы перевернулись вверх тормашками. Своими дифференциальными тарифами он сдавил густо населенный, с дорогими землями и дорого налаженным хозяйством центр России на экономическое дно и притянул к экономической поверхности малонаселенный, мало еще ценный российский бордюр. Получилось нечто похожее на узелок со сдавленной середкой и вытянутыми в руке, несущей его, концами.

Схема дифференциальных тарифов заключалась в том, что чем расстояние больше, тем стоимость провоза по нем дешевле (если не абсолютно, то относительно). При известных условиях за пуд груза, перевозимого к балтийским и черноморским портам из ближайших к ним мест, взималось дороже, чем из дальнейших. Весь русский населенный центр оказался таким образом отодвинутым от рынков сбыта, а ненаселенные окраины — придвинутыми. И отсюда — первый удар по индивидуальному хозяйству. Я был помещиком Рязанской губ[ернии] и хозяйничал на землях средней стоимости в 200 руб. дес[ятина]. Стоимость рабочих рук и % на капитал делали мне себестоимость ржи — 80 к., овса — 1 р., пшеницы — 1 р. 20 к., Мой приятель хозяйничал на Оренбургских степях, купленных от 40 к. до 3 руб. за десятину и, при машинном труде и огромных запашках, пуд ржи обходился ему в 30 коп., овса в 50 коп., пшеницы — в 70 коп. И этот груз перевозился к портам **дешевле**, чем мой. А потому, когда в портах цена на рожь устанавливалась в 60 коп., на овес в 80 коп., а на пшеницу в 1 руб., то он хорошо зарабатывал, а я в лоск разорялся. Вот что случилось с земледельческой Россией по введении виттевских дифференциальных тарифов.

Катавасия эта целыми годами служила в экономическом обществе, в земствах и в разных специальных собраниях темой для идиотского спора: что выгоднее для России — высокие или низкие цены на хлеб? А в публике, наряду с разорением мелкого дворянского землевладения, она развила бешеную земельную спекуляцию, предшествовавшую биржевой.

Целью Витте, как всякий поймет, была разработка втуне лежавших русских окраин. Цель эта в свое время создала ему ореол. Но была и другая цель, менее показная: поддержание русской золотой валюты и сосредоточение в руках казны доходов от железных дорог (коллективизация). Валюта была блестяще поддержана. Но по головам голодавшего русского центра неслись к Риге, Либаве, к Одессе поезда с сибирским маслом, яйцами, птицей, мясом, а великоросс, провожая их, только облизывался в заботе — как и куда выпустить куренка? Русским сахаром откармливала Англия своих свиней, на вывоз сахара в Персию, Турцию, на Балканы давались вывозные премии, а великоросс пил чай вприглядку. В Берлине в дни привоза русского мороженого мяса и птицы немцы обжирались ими до отвалу; а великоросс ел мясо лишь по двунадесятым праздникам. Коллективизация же русского железнодорожного хозяйства, дав бюджету могучее подспорье, осушила каналы внутреннего денежного обращения, убила частную инициативу и дала толчок к образованию оторванного от производительного труда 3-го сословия. (Чему, в огромной степени, помогла и винная монополия).

Витте — министр

Дни восхода звезды Витте во всем отличны от дней ее заката. Стройный, сильный, почти красивый в своей некрасивости, почти обаятельный в своем «цинизме», витязь пробужденных русских сил, как загадочная красавица, кружил головы обещаниями и, как опытная кокетка, обрывал слишком сильные натиски. В бюрократической тине тех дней Витте сверкал, как брошенный в кучу пепла самоцветный камень. Давно уже прошли дни Валуева, Лориса, озарявших сумерки бюрократии. Даже Победоносцев, последним усилием своей воли загрызший в 1881 г. «конституцию», скис. С правящего Олимпа, как с лунного небосклона, падали на серую гладь русской жизни две яркие полосы: бюрократии и аристократии. Как в лунную ночь, было тихо, загадочно, чуть жутко. Но вот рядом с лунным диском блеснула яркая звезда, и от нее побежала по серой российской глади третья полоса — плутократии. И воззрились на нее — одни с жадностью, другие с отвращением, одни с радостью, другие со страхом.

Из ресторана Кюба в кабинет Витте и из кабинета Витте в ресторан Кюба началось течение деловой русской мысли и деловых русских людей. Эти два этажа служили явным опровержением тезиса Бунге, что «ресурсы российской империи истощены». И в них была погребена профессорская щепетильность Бунге. Из всех углов необъятной страны устремились на Большую Морскую задушенные рутиной здоровые практические мысли, но с ними и раздразненные аппетиты.

Покуда в Киеве безвестный студент готовил для Витте проект новых тарифных ставок, перекроивших материальную жизнь страны, за роскошными пиршествами у Кюба братья Скальковские, Рафаловичи, Ротштейны — имя им легион — впивались в живую ткань русского достатка.

Те несколько месяцев, что над Кюба властвовал Витте, были месяцами незнакомой еще столице и стране деловой лихорадки и чудовищных сплетен. Витте был в ту пору для Петербурга и для России тем, чем четверть века спустя стал Распутин, — объектом всеобщего внимания и нескончаемых разговоров. С Витте норовили познакомиться, на Витте звали, за тенью Витте, как перекати-

поле, вился ком бесчисленных проектов, темных и ясных дел и такого напряжения, таких аппетитов, такой дерзости, о которых не знали и на Западе. Витте был в фокусе того русского делячества, что спорадически охватывало страну в пору Губонина, Кокорева, бр[атьев] Поляковых, — того крупного мошенничества, что началось у нас с Юханцева, мат[ушки] Митрофании и запечатлелось в литературе Сухово-Кобылиным в типе Кречинского[325]. Витте был в той сверкающей пене лозунга «enrichissez-vous», что с приходом к власти Вышнеградского начала покрывать патриархально-земледельческую страну. Пена эта завихрилась бешеным грюндерством при Коковцове и Барке, перевалила за великую войну, за революцию, окатила брызгами Ленина и разбилась о красноармейские штыки.

На Большой Морской открывалась новая страница не только русской материальной, но и идейной жизни, ибо Витте, кроме лозунга «enrichissez-vous», нес еще с собой кучу других лозунгов, до времени скрытых, но все более и более предчувствуемых. Опираясь на реакционеров (Дурново, Мещерский), благоговея перед ликом царя-миротворца, Витте свой орлиный взор вперял в туманную русскую даль, и те, кто умели и хотели читать в нем уже тогда, в сумерках реакции и в бенгальском освещении делячества, разобрали очертания 17-го октября. «Дорогу Любиму Торцову»[326] — говорила вся внешность этого неуклюжего разночинца. Но за ней чуялось что-то более важное для России, чем делячество.

* * *

Весь Петербург и вся Россия следили за титанической борьбой между ведомствами финансов и путей сообщения. Финансы представлял собой Витте, пути сообщений выдвинули двух способнейших инженеров — Изнара и Пеньковского и бойкого секретаря министерства — Спасовского. Эта тройка лихо неслась по тарифным дебрям, пытаясь опередить воз Витте. Полем схваток был Тарифный комитет — междуведомственное учреждение, где заседали сановные представители разных ведомств. В Петербурге только и говорили, что о скандальных встречах Витте с путейской тройкой.

— С таким нахалом мы отказываемся заседать, — обрывали Витте путейцы, собирая свои портфели.

— С такими идиотами и я не могу работать, — отвечал Витте.

Сановные члены воздевали к небу руки, и заседание закрывалось.

Тарифы спали, зато бешено свивалась интрига. Столица поделилась на виттистов и антивиттистов. К первым принадлежали дельцы во главе с братьями Скальковскими, ко вторым — почти весь бюрократический и аристократический Петербург. Имя Витте стало синонимом всякого непотребства. А когда Скальковский познакомил его с пользовавшейся громкой известностью среди петербургской золотой молодежи Матильдой Лисаневич, и Витте, с места влюбившийся в нее, решил на ней жениться, негодованию матрон и Катонов не было предела[a]. В Петербурге образовалась Лига защиты добрых нравов. Лига эта

[a] У покровителя Витте, адмирала Чихачева, было с полдюжины дочерей. Одну из них он прочил за Витте.

послала Александру III донос, обличавший Витте во взяточничестве. В карьере Витте открылась самая интересная страница.

На Малой Морской в роскошном особняке проживал известный всему Петербургу А. А. Татищев. Это про него Щедрин писал: «губернатор с фаршированной головой». Глупый, но добрый, один из последних могикан старорусского барства, Татищев устроил у себя политические четверги. На этих четвергах «дворянин Павлов»[327] разжигал монархические страсти, а юный Стахович читал реферат «о свободе совести». Не разбираясь ни в том, ни в другом, хозяин всех одобрял и кормил чудесными пирожками. Татищевские четверги посещал и Витте, привлекая к себе и правых, и левых.

На один из таких четвергов будущий диктатор явился бледным, но с особо гордо поднятым челом и сверкающим задором взглядом.

— Господа, счастливо оставаться. В отставку выхожу...

Переполох. И «дворянин Павлов», и революционер Стахович, и главное — милейший хозяин, для которого Витте являлся приманкой, осадили модного сановника.

— Что? Почему? Зачем?

— Обвинен во взяточничестве. Утин (директор Учетно-ссудного банка) предложил место председателя... 200 тысяч оклада. Тантьема... Свои дела поправлю.

Цифра 200.000 произвела ошеломляющее впечатление.

— Ну, если двести... — протянул Татищев.

Но гости уже отхлынули от опального сановника. И он, поблескивая глазами, мерил кабинет своими огромными шагами. А один из тех, кто все знал, загадочно улыбаясь, вполголоса говорил ему:

— Департамент вы бросите, это верно. А к Утину не попадете... Не про него писано.

Витте загадочно улыбался.

— Не смущайте душу!

* * *

Путейское ведомство переживало тяжкие дни. На железных дорогах свирепствовал полковник Вендрих. Сочинил его, как и Вышнеградского, кн[язь] Мещерский. Аккуратный, честный немец, военный инженер, Вендрих довел до сведения издателя «Гражданина» о вопиющих непорядках транспорта. На южных железных дорогах случилась очередная «пробка». Застряли без движения тысячи вагонов с хлебом, углем, рудой. Остановились заводы, срывалась хлебная кампания. Но Юпитеры на Фонтанке (в Министерстве путей сообщения) не волновались: отдавая рутинные приказания, считали себя вне досягаемости. И вдруг гром с ясного неба. В очередном письме к царю Мещерский познакомил его с Вендрихом. А т[ак] к[ак] дело было после крушения у ст[анции] Борок[328], и царь относился к путейскому ведомству с крайним недоверием, Вендрих был

— Если бы этот брак состоялся, — говорили провидцы, — жизнь Витте сложилась бы иначе. Ну, и история России (прим. автора).

вызван в Аничков дворец, там понравился и получил командировку, о которой путейцы и по днесь не забыли. Эпоха эта перешла в историю под кличкой «Вендрихиада». С правами и полномочиями, превышавшими министерские, Вендрих, не объявившись даже в Министерство, бросился в омут транспорта. И началось. Гюббенет, тогдашний министр путей сообщения, заболел, Салов куда-то исчез. А в управление железных дорог посыпались депеши: «отстраняю, увольняю, предаю суду!». Самоубийства, сумасшествия, стон и скрежет! Как разъяренный тигр, миролюбивый немец метался по железным дорогам, выталкивая «пробку». «Пробка» была, наконец, пробита, но с ней и ведомство. Добивал его в Тарифном комитете Витте.

Гюббенет скончался. Управлял ведомством Евреинов[329]. Тузы ведомства примолкли. Зажатое между Вендрихом и Витте, ведомство стонало. Нужен был какой-то решительный шаг. Нужен был новый министр. Его вот и искали. Приманкой был чудный Юсуповский дворец — резиденция министра, лучшая среди подобных.

Среди конкурентов впереди шел принц Ольденбургский, в ту пору кандидат на многие высшие посты. За ним — друг вел[икого] кн[язя] Владимира Александровича — магнат Половцов. За ним — популярный св[етлейший] князь Имеретинский. За ним еще несколько вечных кандидатов в министры. И, наконец, знатные путейцы: Салов, Кербедз и друг[ие]. Эта погоня за постом министра путей сообщения приняла тогда почти гомерические размеры. В нее замешались придворные сферы, высшая аристократия, бюрократия и продолжалась она около месяца. Путейское ведомство стало самым модным. На одном из семейных обедов государь сказал:

— У всех свои кандидаты, только о моем не справляются. Впрочем, вряд ли я сумею его провести, — Ванновский (министр военный) не хочет произвести его в генералы.

Речь шла о Вендрихе, за которого хлопотал кн[язь] Мещерский[330]. Но у Мещерского был и другой кандидат — Витте. Тот самый Витте, на которого только что поступил к царю донос и просьба об отставке коего лежала на царском столе.

И вот, в один из дней, когда в Министерстве путей сообщения занимались гаданьем о будущем владыке ведомства (ничем другим тогда там не занимались) и росла уверенность в назначении принца Ольденбургского, в крайнем случае — Имеретинского, — обе кандидатуры для ведомства весьма приятные — я, в качестве одного из чиновников ведомства, принял участие в гадании. Ставили кандидатам баллы. Когда очередь дошла до меня, я залепил всем кандидатам по двойке.

— Так кто же? — воззрились на меня товарищи.

Взяв карандаш, я четко вывел: «Витте — 5+».

От меня, как от чумы, шарахнулись.

* * *

В ясный мартовский день на Фонтанке к подъезду Министерства путей сообщения тянулась вереница экипажей. Из открытой коляски тяжело сошел, поддерживаемый двумя рослыми швейцарами, Витте. Вошел в широко распах-

нувшиеся перед ним двери, скинул на руки швейцаров бобровую шинель, бросил в воздух подхваченную кем-то мерлушковую шапку и предстал в скромном путейском вицмундире с серебряными пуговицами и с единственным орденом Анны на шее. Оглянулся. Обширная швейцарская, почтительно замершие бравые швейцары и прямо перед входной дверью широкая лестница, разветвляющаяся на первой площадке. На ступенях лестницы, в почтительных позах, в расшитых мундирах, лентах и звездах — у начала лестницы чины 3-го и 4-го классов, чем выше, тем моложе. На первой ступеньке — согнув старые спины, охваченные красными и синими лентами, склонив обрамленные сединами головы, в позе покаяния и покорности — всемогущий инженер Салов, начальник казенных железных дорог генерал Петров, начальник водяных и шоссейных путей — Фаддеев и товарищ министра Евреинов.

Коллежский советник Витте с его скромной Анной взглядом вишневых глаз скользит по стенам швейцарской, в которую входил мелким чиновником, по лестнице, по рядам сановников. На щеках его играет румянец, на влажных губах — усмешка, орлиный лоб вскинут.

К новому главе ведомства робко подходит управлявший министерством, тот самый, что всего несколько дней назад грозил уволить меня «за распространение позорящих министерство слухов» (о назначении Витте).

Это восхождение Витте между шпалерами вчерашних врагов, торжество оклеветанного над клеветниками, взлет коллежского над тайными советниками, ниспровержение всех бюрократических традиций, пощечина общественному мнению и кругам, куда доступа Витте не было, — минута эта, вероятно, до смерти не изгладилась из памяти триумфатора, как и тех, кому случилось быть свидетелем его триумфа.

В министерском зале стоял новый министр, косноязычно, но с необыкновенной ясностью и силой произносивший свою первую речь.

Как стадо овец перед забравшимся в овчарню волком, подчиненные жались от него к противоположной стене. Министр кончил, скрылся в свой кабинет. И тотчас, один за другим, вызвали к нему лихую тройку, с которой он воевал в Тарифном комитете. Все трое получили отставку. За ними, как бараны на бойне, упираясь, крестясь, входили в страшную дверь другие. На искаженных лицах читалась их судьба.

Зайдя к Витте после общего приема, я воскликнул:

— Сергей Юльевич, кабинет ваш залит кровью...

— Что поделаешь. Государь приказал очистить Авгиевы конюшни.

— Без жалости?...

Не отвечая, он мерил кабинет своими характерными шагами. Глаза его уже потухли, чело морщилось новыми мыслями.

— Вот что: в железнодорожном деле у меня комар носа не подточит... А вот шоссейно-водяное — загадка. Знаю лишь, что там царствует произвол и взятка... Загнивший омут... Поезжайте и осветите его! Дайте материал, чтобы можно было из пушки пальнуть. Но не по воробьям... Я доложил уже о вас государю...

— Смилуйтесь! Ведь вы меня на смертоубийство посылаете.

— Знаю... Но у меня никого нет.

— Куда же ехать?

— Куда хотите. Составьте сами маршрут... В вашем распоряжении пароход, поезд... Ну, словом, действуйте. А мне некогда. Прощайте![331]

— Но... вы будете милостивы?

Витте взглянул на меня с слегка презрительной усмешкой. Глаза его сверкнули.

— Я разворочу осиное гнездо...

Через четыре месяца я возвратился с Днепра, а Витте — с Волги. Он вызвался ехать туда «на холеру». Это было дело министра внутренних дел. Но Дурново струсил. Для Витте же это был жест. И он решился на него так же быстро, как на все, когда нужно было. Например: тотчас же после его назначения в Петербург приехала иностранная делегация железнодорожников. Явилась к нему. Витте не знал ни одного иностранного языка[332]. Беседовали через переводчика. Через неделю он устроил для гостей блестящий раут с ужином. И за ужином произнес речь... по-французски.

Во дворце кн[язя] Юсупова были чудные комнаты и старинная мебель empire. Витте ничего в ней не понимал и велел две комнаты — кабинет и спальню — очистить от нее. Застав его в огромном кабинете с вульгарными турецкими коврами и диванами, я удивленно оглядывался.

— А где же empire?

— Черт с ним. От него холодом веет...

Схватился за живот.

— Да я, кажется, того... Заразился.

Схватка прошла, и лицо его просветлело.

— Ну, доклад вы мне подадите после... А теперь хочу вас удивить: прежде всего — женюсь. Затем — меня прочат в министры финансов...

Лукавая усмешка кривила его мокрый рот.

— На Лисаневич?

— Само собою...

— Государь разрешил?

— Его величество сказал: женитесь хоть на козе...

— А развод?

— Приказано в три дня покончить...

Чтобы не показать всего скорбного удивления, я перешел к другой теме.

— Разве Вышнеградский уходит?

— Его уходят...

Он опять схватился за живот.

— Положительно, я заразился...

Когда прошла и эта схватка, на мой вопрос:

— А что же будет с путями сообщения? — он заговорил как бы сам с собой:

— В России тот пан, у кого в руках финансы. Этого до сих пор не понимали. Даже Вышнеградский. Но я их научу. Пути сообщения? И они будут в моей власти... Как и все. Кроме министра финансов, в России есть еще только власть министра внутренних дел. Я бы не отказался и от нее. Но это еще рано. Надо дать в руки власти аппарат денег... С деньгами я прекращу любое революционное движение. Этого тоже не понимают. Тюрьмы, виселицы — ерунда. Тех, кто делает революцию в России, нашего разночинца — надо купить. И я куплю его. У меня целый план. И я его проведу, хотя бы все лопнуло кругом.

Беседа наша затянулась, и я ретировался только после третьей схватки у Витте.

По моему докладу были преданы суду два начальника округа и сонм служащих. Был раскассирован Могилевский округ путей сообщения[333]. Витте выстрелил не по воробьям. Но сделал он это par acquit de conscience[a]. Путейское ведомство его больше не интересовало. Тотчас по назначении министром путей сообщения он написал Вышнеградскому сухое требование о возвращении в путейское ведомство тарифного департамента. А ответил уже сам себе в качестве министра финансов, — разумеется, решительным отказом.

Апофеоз

С назначением Витте министром финансов Петербург уже перестал чему-либо удивляться: Петербург, да и вся Россия перестраивалась. Этого не поймут сейчас: этого поворота великой страны, всех ее авторитетов и кумиров, не только ее утробы, но и мозга, не только ее физиологии, но и психологии, — от одного горизонта к другому, от одних лозунгов к другим. Безмерно круче и чувствительнее оказался этот поворот при большевиках; но первые несколько градусов в этом движении диска 1/6 части света, в этой европеизации и американизации России, сделаны были именно тогда.

До Витте русская жизнь, как загустевшая смола, как запруженный ручей, двигалась в берегах все тех же вопросов политики, экономики и этики: затронули их сто лет назад и встряхнули в 60-х годах. Были лишь два фактора материального и морального бытия страны — дворянство и народ, за власть и против власти, поверхность и подполье. Русский гений отобразил эту двусторонность в бессмертных образах, а русская действительность потрясла страну в трагических выступлениях подполья. Так называемая реакция и прогресс замерли друг против друга в бессильном ожидании, почти в маразме. И вот между ними выдвинулось третье, чуждое и родственное обеим началам — материализация. Жила ею Россия и раньше; но начало это было атрофировано рутиной. В материальном отношении Россия была близка к Замоскворечью Островского. Жестокие были нравы не только в духовной, но и в материальной России. Витте их взбаламутил. И он указал, что есть еще куда двигаться застоявшемуся гению страны, что, кроме прогресса и реакции, кроме дворянства и крестьянства, кроме поверхности и подполья, есть еще стимулы, какими можно жить, какие можно растить, наполняя их энергией, инициативой и жаждой проявиться, что-то завоевать и перед чем-то распрямиться. Историку безразлично, что было подоплекой этих усилий реформатора — властолюбие, оппортунизм или даже цинизм — титул реформатора принадлежит тому, кто двигает жизнью. А Витте в первые годы его власти ею двигал, и двигал с такой силой, что страна едва могла поспеть за ним, прийти в себя, приспособиться. Витте нарушил мертвый покой России.

Я вижу перед собой Россию Витте, как некую карту в красках и тенях, как некий экран, на котором стремительно бежит фильм русской истории. Карти-

[a] Для очистки совести (франц.).

ны его чередуются без явной связи, но с тем же настроением и той же силой, невидимо толкающей Россию к ее року; а в центре этой силы и этого рока я вижу, без маски или под маской, торжествующего или скрежещущего, грозящего или поджимающего хвост, сжимающего кулаки или осеняющего себя крестным знамением, хохочущего или плачущего, но всегда лукаво-простодушного, всегда себе на уме, героя фильма — Витте. Из этих проносящихся передо мной бессвязных картин я постараюсь извлечь их внутреннюю связь, разобрать по сортам ту кучу исторического посева, что сделал Витте за 13 лет своего господствования над страной, — сделал, как будто без всякой определенной цели, то с грубым порывом Любима Торцова, то с благородной возвышенностью Сперанского, то с раболепной услужливостью Фамусова, то с гримасой мстительной злобы Булгарина.

Как и следовало ожидать, и согласно с намеченным, еще в бытность Витте министром путей сообщения, планом, он занялся, прежде всего, подведением материального фундамента под здание императорской (своей) власти — скоплением денежной силы, распыленной тогдашней, дореформенной (эпохи Абазы, Рейтерна, Бунге) русской экономики, наращением того кулака, что должен был грозить и внутрь и извне, придавая власти министра финансов атрибуты голого диктаторства[334]. Этот кулак можно назвать государственным коллективным — во имя торжества самодержавия.

В той или другой форме, с исчерпывающей полнотой или обрывками, «вожди» типа Жореса и Витте служили, одни — Марксу, другие — самодержцу. И когда я слушал во французской палате депутатов пламенные речи социалиста Геда, у меня звенело в ушах косноязычие Витте. Гед требовал коллективизации не только железных дорог и копей, но и фабрик и заводов. Витте ограничивался, пока, коллективизацией железных дорог, установлением государственных регалий и золотой валюты.

Но оба с исчерпывающей полнотой настаивали на осушении денежных каналов страны, путем закачивания золота в бассейн верховной власти (самодержавной или революционной), и на парализовании частной инициативы (а то и частной собственности) в пользу оживления инициативы государственной. Не помню, что удалось провести в ту пору из планов Жореса и Геда во Франции, во всяком случае, сравнительно меньше, чем из планов Витте в России.

В один прекрасный день Витте сказал мне:

— На днях совершится событие, о котором до сих пор знаем лишь я и государь. Взорвется бомба... Выкуп в казну железных дорог Главного общества: Николаевской, Варшавской и Нижегородской[335].

Поистине — бомба! Главное общество было могущественнейшее русское учреждение, управлявшееся могущественнейшим русским вельможей Половцовым, вкупе с сильнейшими банкирами и финансистами, русскими и заграничными. В Управлении этом, в качестве крупнейших акционеров, участвовали великие князья во главе с всемогущим при Александре III Константином Николаевичем. Главное общество было своего рода святыней русской экономики, коснуться которой не посмел даже не церемонившийся ни с чем Вышнеградский. Концессия его была продолжительной, и нарушить ее, по закону, мог только Государственный совет с высочайшего одобрения. Нарушение этой концессии затрагивало крупные интересы не только в России, но и за границей, ссудившей

Обществу крупные облигационные займы. Тот, кто был заранее осведомлен о нарушении концессии, мог нажить на биржах России и Европы большие деньги. Не знаю, успел ли кто? Но один из петербургских банкиров в день обнародования выкупа сказал мне:

— Если бы вы мне сказали об этом за 24 часа раньше, мы бы заработали с вами миллион.

В типографии «Правительственного вестника» высочайший указ о выкупе печатался глубокой ночью, под охраной полиции. Половцов, банкиры и великие князья узнали о нем за утренним кофе. Эта первая бомба Витте взорвалась с артистической точностью, посеяв в России и за границей панику. За ней последовали и другие. За Главным обществом было выкуплено таким же упрощенным способом (по высочайшему повелению) и Общество Юго-Западных железных дорог, управлявшееся всемогущим Сущовым[336]. Удар был настолько силен, что его ненадолго пережил известный всей России толстяк Сущов. А вслед за Юго-Западными дорогами стали падать в казну, как спелые плоды, второстепенные железные пути, и совершенно прекратилось частное железнодорожное строительство.

Одна только эта мера, проведенная в строгой конспирации и с нарушением если не законов, то обычаев (самодержавная воля была в ту пору законом), — одна эта мера дала в руки власти огромную денежную силу, осушив внутренние денежные каналы страны. Сила эта не ограничилась единовременным сдвигом ресурсов от периферий к центру государства: она давала в руки власти насос для постоянного выкачивания соков страны. Насос этот был — железнодорожные тарифы. Став хозяином железных дорог, Витте сделался бесконтрольным хозяином и их тарифов. Перекраивая их по своему усмотрению, он перекраивал географию страны, а с ней полностью и ее экономику.

Витте облепила стая великосветских спекулянтов. Я близко знал одного из них, члена Государственного совета Охотникова. Дружа с Витте, он успел променять свои тамбовские латифундии на уфимские, продав через Крестьянский банк первые по 200 руб. за десятину, а купив вторые по 3 рубля, с тем, чтобы вскоре, через тот же Крестьянский банк, продать их по 30–50 руб. Огромное имение министра двора гр[афа] Воронцова-Дашкова в Самарской губ[ернии] Витте купил для крестьян за 8 миллионов рублей, а имению этому, до Витте, была цена максимум один миллион[337]. Ту же операцию он проделал с огромными имениями в той же губернии своего зятя Нарышкина[338].

* * *

Апофеозом материальной эмансипации России и апофеозом реформаторства Витте был конец царствования Александра III. В эти несколько лет Витте совершил все для перевода России с рельс страны добывающей на рельсы страны обрабатывающей и для сосредоточения в руках власти стимулов к развитию новой русской материальной жизни. Выкуп железных дорог, тарифы, монополия винная, вслед за которой должна была последовать табачная, сахарная и даже хлебная, Дворянский и Крестьянский банки, фабричная и податная инспекция, новый банковский устав, делавший все частные банки и кредитные

учреждения филиалами банка государственного и агентами кредитной канцелярии, новые схемы податей, новые правила земского и городского хозяйств, ставившие их в зависимость от общегосударственного и, в конце концов — золотая валюта — вот реформы Витте[339]. Одной последней хватило бы на век любого реформатора.

Никто из предшественников Витте — Абаза, Рейтерн, Бунге — не решались на замену бумажного рубля золотым[340]. В России той поры была куча противников этой реформы, так называемых биметаллистов, и они доказывали, что бумажно-серебряное обращение и есть именно то, что нужно для страны добывающей, и что сила России именно в возможности печатать для нужд страны денег, сколько требуется. А если падение русского бумажного рубля сопровождалось подъемами цен на хлеб, то ведь это только, по их мнению, для России и требовалось.

На колебаниях бумажного рубля наживались все европейские биржи во главе с берлинской. Состояния Мендельсонов, Блейхредеров, частью и Ротшильдов, английских и американских миллиардеров, были тесно связаны с этими колебаниями. В Берлине, в Париже и Лондоне сплошь и рядом выбрасывались на рынок сотни миллионов руб., которых в действительности ни у кого не было, или покупались миллионы, которых никто не продавал. Бунге только кряхтел от этих фиктивных сделок, шатавших бумажный рубль от поднебесья в преисподнюю, Витте ринулся на борьбу со спекуляцией. При первой же фиктивной продаже в Берлине рублей он через своих секретных агентов выступил их покупателем и больно наказал бланкистов. После нескольких таких опытов спекуляция с рублем прекратилась, и тогда, почти так же скрытно и внезапно, как во Франции Пуанкаре, Витте объявил подлинную цену золотого рубля, т[о] е[сть] совершил девальвацию его, закрепившую фактическую цену бумажного рубля, вдвое низшую, чем то было обозначено на кредитных билетах[341]. Реформа эта, совершенная директором кредитной канцелярии Министерства финансов гениальным Малишевским, составила купол здания виттовских реформ. Она вторично прорубила из России окно в Европу и дала в руки русской власти рычаг почти неограниченной денежной силы в виде займов, гарантированных русскими железными дорогами и всей зарождавшейся русской индустрией.

Как бы ни судить творца всех этих реформ, какая бы тень и муть ни скопилась вокруг налаженных им огромных колес российской экономики, эти колеса мог решиться поставить только человек с огромной волей и верой в неисчерпаемость русских ресурсов. Но для того, чтобы эти колеса двигались, нужно было плавное и ровное течение жизни, а не шквалы, засухи и паводки, — нужен был мир внешний и внутренний. Любая война и любое внутреннее смятение нарушали налаженную гармонию. Вторая половина управления Витте жизнью России, с воцарения Николая II, имела до некоторой степени своим объектом обеспечение этой гармонии. Но она имела еще своим объектом и упрочение расшатанной безответственными влияниями на монарха власти диктатора. И, кажется, вторая забота возобладала над первой. Витте-реформатор склонился перед Витте-куртизаном.

Насаждение промышленности[a]

На престол вступил молодой человек в ореоле любви к женщине, ставшей его женой, — своей первой и последней любви, омраченной в ту пору грустью о своем безвременно погибшем отце. Хоть и суровый, деспотичный в семье, Александр III умел заслужить ее любовь, граничащую с обожанием. Николай II вступил на престол в чаду любви к невесте и в тумане грусти по отцу. Политически он был невинен. Ни к кому не питал слабости и ни против кого не имел зуба. Проявленное им в первые месяцы царствования свободолюбие было не столько политическим, сколько этическим — потребностью юного влюбленного и любимого расправить крылья, связанные при отце[342]. Но верность памяти отца удерживала его от всякого шага, который можно было бы истолковать как неуважение этой памяти. Николай II не тронул никого из близких к отцу: все министры остались на своих местах[343]. Никакого нерасположения к Витте у него не было, напротив, он его высоко ценил. От самого Витте зависело эту оценку и чувства юного царя к себе сохранить и даже усилить. Но он их не сохранил, он их потерял.

К царствованию Николая II Витте подошел в заслуженном ореоле реформатора и в столь же заслуженном терновом венце почти всеобщего недоброжелательства. В сфере бюрократической это недоброжелательство (скорее, ненависть) питалось не столько сутью управления всемогущего министра, сколько приемами его. Как при начале своей государственной карьеры в борьбе с путейским ведомством, так и в зените ее в борьбе с другими ведомствами Витте проявил максимум бестактности и несдержанности. С особенной силой эти спутники таланта Витте проявились в борьбе с Государственным советом.

Это государственное учреждение, состоявшее из высших сановников империи и старейших членов императорской фамилии, берегло вековые традиции и прерогативы, которые не решался нарушить даже деспотизм Николая I и Александра III. Между бывшими министрами и лицами, оказавшими государству исторические услуги, в Государственном совете заседало немало людей выдающегося ума, образования и даже талантов. Имена их были известны России и Европе, когда Витте еще начинал свою железнодорожную карьеру. Назвать Государственный совет той эпохи «кунсткамерой», как то делал Витте, нельзя: на многих креслах, правда, дремали ветхие старики, но на иных судорожно выпрямлялись люди, как, напр[имер], Победоносцев, Абаза, Шидловский[344], с которыми Витте, без поддержки царя, бороться было не под силу.

В это вот учреждение, в котором председательствовал старейший член императорской семьи[345], куда съезжались в мундирах и регалиях, и которое корректировало решения высших инстанций империи — Правительствующего Сената и Святейшего Синода — Витте вошел, как слон в посудную лавку. Его молодость, неуклюжесть, приказчичий говорок, его репутация, а главное, непревзойденный апломб, который всюду квалифицировался как наглость (хамство), создали ему в этом учреждении оппозицию, даже в вопросах, где он мог рассчитывать на общее сочувствие. В Петербурге рассказывали, что после самых ярких выступлений министра финансов старейшие члены ареопага падали в обморок. И потому,

[a] Далее зачеркнуто: Витте.

когда этих старичков, да и великих князей, надо было пощадить, Витте посылал вместо себя в Государственный совет своего товарища, едва ли не специально на сей предмет приглашенного, В. Н. Коковцова, полную противоположность Витте в смысле культурности и обходительности.

Если ни ему, ни Коковцову не удавалось склонить в свою пользу Государственный совет, Витте испрашивал у царя высочайшее позволение, являлся с ним в ареопаг и в патетическую минуту выкладывал. Ненависть высшей бюрократии к временщику зиждилась именно на этой «манере» его в игре (англичане называют ее unfair play[a]). До Витте только один министр и всего один лишь раз отважился на этот прием — гр[аф] Д. Толстой, когда он защищал в Государственном совете свою реформу о земских начальниках, не одобренную большинством Совета[346]. Прием с высочайшими повелениями Витте сделал своей системой, фактически аннулировав тем законодательную роль Государственного совета.

Ненависть русского дворянства к Витте зиждилась на мерах, принятых им к переходу помещичьих земель в руки крестьянства. Хотя эти меры (Крестьянский банк) и спасали от разорения наиболее задолженное дворянство, но их антидворянская тенденция и всеми признанный уклон Витте в сторону третьего сословия (податная и фабричная инспекции) поставили его под обстрел крупного, влиятельного дворянства. Эпоха та в общем была курьезной: рукой своих министров внутренних дел (гр[аф] Толстой и Дурново) царь укреплял дворянство, рукой же министра финансов расшатывал его[347]. Земские начальники и рядом с ними податные и фабричные инспектора — один из крупнейших анахронизмов предреволюционной России.

К этим двум антивиттовским течениям присоединилось и могущественное третье — ненависть высшей аристократии и двора. Роль здесь сыграла, как и во всей карьере Витте, его женитьба. Что бы ни говорили о «грязном» прошлом Витте (в смысле интимной его жизни)[348], настоящее этой жизни было наружно, по крайней мере, чистым: Витте и был, и умер влюбленным в свою жену. Но эта влюбленность обошлась и ему, и России недешево.

Супруга министра финансов оказалась весьма честолюбивой. Ее мечтой стало пользоваться привилегиями своего положения. Но поперек им стало ее прошлое. Никакими мерами в царствование Александра III это прошлое не удалось затушевать: императрица Мария Федоровна категорически заявила, что мадам Витте порога ее дворца не переступит. И в этом вопросе даже железная воля ее супруга оказалась бессильной: жену министра финансов она игнорировала. И потому даже на большие придворные балы, куда приглашали любую жену действительного статского советника, жену министра не приглашали. Примеру большого двора следовали и малые, а с ними и вся аристократия. Двери придворных и высших кругов Петербурга были перед очаровательной министершей наглухо закрыты.

Бушевавший в душе честолюбивой женщины ад испепелил в душе влюбленного супруга все остальные чувства. К царствованию Николая II Витте подошел не только в ореоле «гениального» реформатора, но и в терновом венце супруга насмерть униженной и оскорбленной женщины.

---

[a] Нечестная игра (англ.).

* * *

Витте недаром до конца своих дней благоговел перед памятью Александра III — этот гигант не только его создал, но и охранял. И охранял не только от зависти и злости его соперников, но и от того мелкого и лживого, что было в натуре Витте и что чувственная страсть распустила в ядовитое растение, заслонившее от него Россию. Когда Александр III сказал ему: «Женитесь хоть на козе», оба они понимали, что эта «коза» — слабость в жизни сильного человека, лишай на могучем стволе, уступка темпераменту.

А запрет, наложенный целомудренной царицей на общение двора с этой женщиной, в ту пору и не оскорблял, и не стеснял Витте. Он знал, что делал, когда повез к венцу м[ада]м Лисаневич, легкомысленную зазнобу золотой молодежи поднял до ранга супруги министра. Витте той эпохи, да и его супруга, не были в обиде на царственную чету и не пытались изменить свой судьбы: он зарылся в свое творчество, она — мечтая о реванше, спрятала, до поры до времени, свои когти. Как ни чванлива была министерша, она понимала, что для успеха ее планов надо дать мужу укрепиться. И потому, пока жил Александр III, Далила не стригла своего Самсона[349]. К этой операции она приступила с воцарения Николая II. Она сделала прыжок, когда хозяином страны стал влюбленный молодожен, когда рядом с царем появилась женщина, для которой были чужды традиции и принципы предшественников. Всем известно, как быстро испортились отношения между двумя императрицами. Для м[ада]м Витте настали те дни, о которых она и ее старшая сестра и ментор, м[ада]м Хотимская[350], мечтали — дни разлада и развала на российском Олимпе. Пользуясь ими, Далила повернула своего обстриженного Самсона спиной к России и лицом к дворам и аристократии, облекла неуклюжую и неопрятную фигуру Любима Торцова в смокинг и редингот сноба, из его огромных костлявых рук в свои, крошечные и мягкие, вырвала судьбы великой страны. Со смерти Александра III и до мая 1906 г. Россией правила очаровательная м[ада]м Витте.

Правление это, целиком сконденсированное на упрочении власти мужа, на извлечении для себя наибольших выгод и на реванше за минувшие унижения, было правлением беспринципного оппортунизма и разложения всех здоровых сил страны. Не было уже речи о реформах. Не было даже речи о режиме. Вправо или влево кренился государственный корабль, в широкую глубь или на подводные рифы направлялся, хозяевам шикарного особняка («белый дом») на Каменноостровском было важно, чтобы в этот особняк не проникали parvenus[a], чтобы на приемах министерши преобладала титулованная знать, а на обедах — великие князья. Чтобы повар Витте был лучше повара Половцова и вел[икого] кн[язя] Владимира Александровича, чтобы м[адемуазе]ль Витте, рожденная от безвестного врача Лисаневича, обрела мужа среди родовой знати[351], чтобы не м[ада]м Витте стучала в двери этой аристократии, а аристократия стучала в ее двери.

Соответственно этим целям, министр финансов стал чем-то вроде главноуправляющего разорявшихся великих князей и магнатов (вел[икого] кн[язя] Михаила Николаевича с детьми, Владимира Александровича с детьми, Ольденбургских, Лейхтенбергских, Воронцовых-Дашковых, Нарышкиных и т[ак]

[a] Выскочки (франц.).

д[алее]), скупая в казну их имения, выдавая ссуды, сочиняя и проводя уставы, строя к их имениям железные дороги, словом — за счет государства ублажая ту силу, что властвовала в большом и малом дворах.

Россия, понятно, от этого не беднела — Витте был достаточно умен, чтобы примирить интересы частные и общие. Но правящий слой ее постепенно развращался и чрезвычайно запутывались нити влияний на царя. С тех пор, как м[ада]м Витте перепрыгнула порог двора и стала центром великосветского внимания, Николая II так сильно дергали то вправо, то влево, так окрутили нитями, завязывавшимися в «белом доме» на Каменноостровском и в министерском доме на Мойке, что трижды изготовленный и лежавший на царском столе указ об отставке Витте чудом превращался в благодарственный рескрипт. И только предтече Распутина — Безобразову — в союзе с Плеве удалось неожиданным наскоком сзади свалить временщика. Длительностью своей власти при Николае II Витте обязан исключительно ловкости рук своей супруги, вдохновлявшейся умницей ее сестрой м[ада]м Хотимской.

Но ловкость рук м[ада]м Витте не ограничивалась дворами и знатью, — она в той же мере простерлась и в сторону плутократии. С заднего крыльца и без доклада входили в министерские апартаменты банкиры и дельцы, — входили не к министру, а к министерше. Великих князей сменяли братья Рафаловичи, Ротштейны, Каменки, — повелители банков, хозяева биржи. Свою власть Витте укреплял не только связями, но и финансовой политикой, под лозунгом: «enrichissez-vous!».

Сигналом к тому послужила смерть Александра III. Биржи встретили ее общим подъемом (превратившимся в свистопляску). Началась эпоха грюндерства.

Из Парижа, Брюсселя, Берлина нагрянула в Петербург куча дельцов, часто сомнительного прошлого, с наглыми предложениями. Когда их спрашивали, есть ли у них деньги, они отвечали: «Будут, когда мы получим концессии». И они получали эти концессии, если находили ход в гостиную мадам Витте. А ход этот вел либо через близкие м[ада]м Витте банки (Русский для внешней торговли, Международный, Азовско-Донской), либо через представителей аристократии, завсегдатаев этой гостиной.

Банкиры

Прежде чем перейти ко второй, пореформенной эпохе властвования над Россией Витте, хотелось бы хоть поверхностно зафиксировать след, оставленный на русской жизни его молниеносными материалистическими реформами. След этот ярче всего обозначался в местах людского скопления — в столицах, фабричных и торговых центрах. И он весь отобразился в явлении, до Витте чуждом России, — на спекуляции деньгами и ценностями, на поднятии со дна жизни к поверхности ее лиц и учреждений, руководивших этой спекуляцией. Я имею в виду банки.

В нищей, полуголодной стране трепался весь обмотанный роскошью, весь просоченный жадностью, сотканный из бездушия и эгоизма, банковский сгусток. Отделившись от отощавшего российского тела, сгусток этот попирал расступавшуюся перед ним толпу. Апогея цинизма он достиг в разгар великой во-

йны, вспухнув до гомерических размеров при Керенском, чтобы лопнуть у ног Ленина.

Русские банки времен Витте из объектов истории стали субъектами ее. Они оперировали почти целиком на средства Государственного банка. Администрация этих банков при фикции выборности была по существу чиновниками Министерства финансов. А так как биржу составляли именно они, то ясно, что и биржа, с ее взмахами вверх и вниз, с ее аппаратом обогащения и разорения была филиалом Министерства финансов.

Чтобы сделать банки гибче и услужливее, Витте выписал для руководства ими немецких и австрийских банковских служащих и создал банковские уставы, делавшие эти учреждения пешками в руках его кредитной канцелярии.

Одним из первых вызванных Витте иностранных банкиров был знаменитый Ротштейн, имя которого одно время конкурировало с именем самого Витте. Ротштейн был вызван Витте из берлинского Deutsche Bank для управления петербургским Международным банком. Уродливой внешности, нагло грубый в обращении, он был гением банковского дела. И он мгновенно влюбился в Витте, став его ближайшим сотрудником по насаждению русской промышленности. Но одновременно он влюбился и... в Россию. И влюбился так, что рассорился с Витте, вернее, с м[ада]м Витте. Русская мощь и безграничность русских ресурсов произвели на берлинского еврея столь ошеломляющее впечатление, что вопреки расчетам министра финансов, он повел собственную политику. За свой страх и риск он основал бездну русских предприятий (золотопромышленных, марганцевых, нефтяных и пр[очих]), разорился и умер[352]. Единственный из своры тогдашних банкиров он был в стороне от биржевых манипуляций этой своры и мечтал о будущем России. Но выученики и заместители его, г[оспода] Вышнеградские, Шайкевичи, плыли уже в фарватере «белого дома».

Почти вся русская индустрия и добрая часть торговли при Витте были в сфере посредственного и непосредственного влияния банков. Все, что насаждал Витте (а он насадил около трех четвертей всех русских фабрик и заводов), насаждалось через посредство банков. Схема была простая. К Витте обращались русские или заграничные предприниматели. Вносили устав. Дело обделывалось «посредниками». Уставы, прошения, гарантии, — все это были формальности предрешенного дела. Но когда кончали с формальностями, Витте обыкновенно ставил условием, чтобы дело финансировалось тем или иным, более или менее ему угодным банком. Это значило, чтобы данный банк выпустил в публику данные акции и внес в Государственный банк часть обусловленного акционерного капитала. Само собою разумеется, что выбор этого банка был заранее предрешен — первую свою мзду «посредники» получали с этого банка. И банк этот раньше официальных шагов успевал условиться с людьми Витте. Словом, дело делалось в двух плоскостях: официальной и приватной. В большинстве случаев авансы получались тогда, когда и устав еще не был написан. В крупных же размерах дележка начиналась по выпуске акций. Министр финансов устанавливал не только номинальную, но и выпускную цену акций. Собака зарыта была в последней. Если, например, сторублевую акцию запускали на биржу по 125 руб., то с одного маха зарабатывалась одна четверть акционерного капитала (т[о] е[сть] миллионы). Но выпускная цена была лишь фикцией: новые акции, еще до появления их на бирже, вздувались и проникали в публику по двойной и тройной

ценам. Миллионные барыши помножались на два, на три, на десять. Акции, напр[имер], пресловутого Золотопромышленного общества, впоследствии перекрещенные в Ленские («Лена Захаровна»), акции Парвиайнен, Табачные, Салотопа, Лесные и др., доставались публике чуть ли не по удесятеренным ценам. Это был заработок банков — **законный**. Это была премия банкиров. Из нее выплачивались маклерские «посредникам», проводившим дело чиновникам, поездки, кутежи и расходы по делу. Второй, высший сорт участников, получал не деньгами, а акциями. Делалось это младенчески просто. Банкир Рафалович (или другой) приезжал, напр[имер], к м[ада]м Х. или другой сановной даме, и предлагал им подписаться на известное количество выпускаемых акций по номинальной цене. Так как денег на это не требовалось, дамы обыкновенно не давали себя долго упрашивать. А по выпуску акций им присылался счет с нулем в дебете и солидной цифрой в кредите. Третьей квитанцией дележа являлись сами банкиры. По уставу банка и по присяге каждый банкир должен был работать лишь на пользу своего банка. В эпоху Витте все уставы, законы и присяги были отменены. Ни один банкир не брался за дело, пока не были оговорены сначала его личные прибыли, а затем уже банковские. Банкир, как и знатные дамы, тоже записывал на себя акции по номинальной цене. И только остаток от этого дележа оставался за банком, как банковская прибыль (весьма нередко превращавшаяся в убыток).

* * *

В банковском искусстве, как известно, особенно посчастливилось еврейству. Здесь евреи достигли такого совершенства, как итальянцы в живописи. Человечество уже свыклось, что почти все мировое банковское дело находится в руках евреев. Но в России эпохи Витте наблюдалось явление, довольно исключительное: с банкирами-евреями успешно соревновали банкиры-русские. Не только соревновали, но иногда и побеждали. В смысле широты размаха, банковской выдумки и смелости Ротштейна повторили не его еврейские, а русские выученики. Не повторили они его лишь в смысле темперамента, веры в Россию и личной незаинтересованности.

Первым номером из этих ротштейновских выучеников по таланту и удельному весу следует назвать покойного Вышнеградского[353].

Сын своего знаменитого отца, Вышнеградский унаследовал от папаши удивительную деловую сметку, талант организатора и умение извлекать выгоды из обстоятельств. Но Бог его обидел недвижностью и трудоспособностью. Насколько отец был «жила», настолько сын сибаритничал. Как и Фридрих Великий в молодости, Вышнеградский больше любил свой музыкальный инструмент (виолончель), чем карандаш банкира. Коллеги уверяли, что его надо было запереть и снять сапоги, чтобы заставить работать. Но когда этот толстый рыжий господин брался, наконец, за дело, он его обламывал шутя. Без Вышнеградского не обходилось ни одно широкое привлечение в Россию иностранного капитала. К руководимому им Международному банку тяготели крупнейшие русские предприятия, сливки бюрократии и центральная политическая мысль. Вот почему, когда созрел план о протопоповской «банковской» газете, во главе этого дела, объединившего несколько банков, поставили Международный банк. Вышнеградский

умел лавировать не только между разными политическими течениями, между бюрократией и общественностью, но и между ярым грюндерством своих коллег и старой банковской традицией учета векселей. Под рукой этого ленивого полубарина, полукупца банк ни в ком не убивал надежд быстрого обогащения, но и не разжигал этих надежд. Так, clopin-clopant[a], дотащил он свое бремя до первой и второй революции, приветствуя и Протопопова, и Керенского, и Ленина. От своего сибаритского dolce far niente[b] Вышнеградский очухался только когда в его банк ввели красных солдат. Потосковал, подумал и в качестве кочегара шведского парохода перебрался в Стокгольм и Париж, где с честью для русского имени стал банкиром французским.

Из выучеников Ротштейна выдвинулся после Вышнеградского Шайкевич. Он и захватил в свои руки, пользуясь ленью Вышнеградского, управление делами банка. Культурный, обходительный, но далеко не делец, Шайкевич умел принять, поговорить и угодить высокой клиентеле великолепного здания на Невском — первого из возникших при Витте шикарных банковских дворцов. Построил его со свойственным ему размахом Ротштейн. Шикарное помещение притянуло и шикарную клиентелу. То были по преимуществу высокой марки бюрократы-сановники — Международный банк считался лейб-банком. Ротштейн, создавший множество предприятий, порядочно запутал его дела. Активы этих предприятий по смерти его оценили в 1 рубль. Но банк продолжал считаться первоклассным. Впоследствии все забракованные ротштейновские предприятия (Ленские, Никополь-Мариупольские, Марганцевые, Тульские и др[угих] г[ородов]) процветали, и к ним Вышнеградский успешно прибавил заводы Коломенские и Сормовские. Но грюндерством, в собственном смысле этого слова, Международный банк не занимался, тем выгодно отличаясь от своих коллег. Представительствуя его в разных банковских комбинациях, Шайкевич сторонился от комбинаций сомнительных. Попался он только в последнее перед революцией время на комбинации с банковской газетой («Русская воля»). Комбинация была скорее политического, чем спекулятивного типа. Мысль об этом последнем до большевиков детище русской квази-общественности завязла где-то между Государственной думой, где хороводил Протопопов, и «Биржевкой», где хороводил Гаккебуш (Горелов). Автор этих строк тоже принимал участие в зарождении этого детища, но, к счастью для него, в последнюю минуту Протопопов, возивший по Европе парламентариев, зацепился в Италии за Амфитеатрова и привез его с собой. Газета вышла под эгидой Амфитеатрова и Гаккебуша, немедленно рассорившихся[354]. А Шайкевич в роли арбитра истратил на газету в несколько месяцев свыше полумиллиона, закрыл ее. Это и было самым печальным из его банковских дел.

Были у Ротштейна и другие, второстепенные выученики (Давыдов, Кац и проч.), впоследствии основавшие второстепенные банки (Частный, Промышленный и проч.)[355]. Но они не внесли ничего нового в историю русского банковского дела, лишь сгущая атмосферу жестокой спекуляции и примазываясь, как цирковой рыжий, к той или иной группе ссорившихся и мирившихся банков. Такие второстепенные, с подмоченной репутацией банки были и в провинции,

[a] Кое-как (франц.).
[b] Сладкое ничегонеделание (итал.).

а в Москве среди них блистали банк Соединенный, Рябушинских, Московский международный[356]. Но историю русского банковского дела, каким его создал Витте, творили всего несколько банкиров, осевших в Петрограде. И имена их достойны перейти в потомство.

* * *

Первым, по давности и по типичности, был знаменитый хозяин Учетно-ссудного банка Утин[357]. Когда-то он был большой птицей в судебном ведомстве, чуть ли не обер-прокурором Сената. Что его побудило переменить Фемиду на Мамону, не ведаю. Познакомился я с ним, когда он был уже большой финансовой шишкой и пытался впрячь в свою колесницу восходящего Витте. Маленького роста, юркий, вислоухий, толстогубый, с лисьим выражением удлиненного между баками лица, этот старичок вечно кипел юным задором. Витте ему не удалось заполучить, как и не удалось стать лейб-банкиром. Ни Ротштейна, ни Вышнеградского, ни Путилова, ни даже Каменки он не затмил. И крупных козырей в индустриально-грюндерской игре той эпохи его банк не захватил. В делячестве Утину было далеко до его младших коллег. Но в интригах, в связях с крупной бюрократией и представителями общественности он преуспел. И он был первым из банкиров, примкнувших к общественному движению 1885 г.[358] Утин мечтал стать связью между общественностью и плутократией, просочить дело наживы идейностью, держась одной рукой за власть, другой за оппозицию. Но опоздал и там, и здесь. У Витте был уже свой лейббанк, пришедший на смену Международного — Русский для внешней торговли. И были сменившие Ротштейна свои лейб-банкиры — бр[атья] Рафаловичи. Правильнее говоря, это были лейб-банкиры г[оспо]жи Витте, но от этого их положение на Мойке было еще прочнее[359]. А у оппозиции, т[о] е[сть] у кадет, предупредил Утина хозяин Азовско-Донского банка Каменка. Обе протянутые руки Утина к власти и к обществу повисли в воздухе. И тогда он ухватился ими обеими за Гучкова. В ту счастливую для Александра Ивановича Гучкова пору он олицетворял собою и власть, и общество — опору Столыпина и хозяина Государственной думы. Утин целиком просочился октябризмом. Посадив ошую себя в патронировавшихся им предприятиях вождя октябристов, он, в пылу борьбы за власть (ведшуюся между октябристами и кадетами), растерял и свою банковскую клиентелу, и дела, в ту пору сыпавшиеся как из рога изобилия. Дела эти подхватили его юные коллеги. А Учетно-ссудный банк до самой Февральской революции и до получения Гучковым министерского портфеля остался при одном страховом обществе «Россия»[360]. Так сошел на нет этот первый банкир, экс-сановник, сочетавший ранг тайного с коммерции советником, типичный оппортунист в политике и экономике, но недостаточно талантливый ни в той, ни в другой.

Типом, близким к Утину, был и другой банкир, Тимирязев. Служебная карьера его была еще более яркой, чем Утина. Витте посадил его своим агентом в Берлине. И было это в пору, когда Берлин играл огромную роль в карьере Витте. Тимирязев, вошедший в милость к Вильгельму, оказал Витте немалые услуги, — об одной из них я расскажу ниже. В награду Витте взял его в свой

«конституционный» кабинет министром торговли. Но, в противоположность Дурново, Тимирязев оказался слишком конституционным. Из кабинета его удалили и посадили членом правления Брянского общества. А оттуда — председателем правления Русского банка. Этот высокий, худой, благообразный старичок с той же лисьей, как и Утин, но более культурной, более сановной физиономией, в противоположность Утину, не шумливый, не экспансивный, а с вечной улыбкой себе на уме, — был всему Петербургу известен как милейший Василий Иванович. Он был тоже оппортунистом и тоже мечтал объединить служение отчизне и Мамоне. При восхождении звезды Столыпина он оглядывался с презрением на опального Витте, подыгрывал премьеру; при падении же этой звезды подыгрывал кадетам. А став банкиром, пытался идти в ногу с Рафаловичами, Путиловым, Вышнеградским и Каменкой. Но как делец был ступенью ниже Утина. Получая 200 тысяч содержания, он лишь поправлял свои дела, но, кажется, однако, их не поправил. Пытался примазаться к большевикам. Но не успел и в забвении скончался[361].

Более счастливым в этом смысле оказался тоже экс-сановник, коллега Тимирязева по Русскому банку Давыдов. Этот красавец мужчина, высокий, стройный, чернобровый, попал какими-то судьбами в директоры Кредитной канцелярии при Витте. А это значило — в поводыря банков и банкиров. Каким чудом после гениального, но несуразного Малишевского, творца золотой валюты, оказался в его кресле красавец Давыдов, бойкий, но решительно ничем не выделявшийся — тайна Витте, или г[оспо]жи Витте. Но в кресле этом Давыдов сидел долго, вплоть до перевоплощения своего в банкиры. А перевоплощение это случилось донельзя просто. Директор Кредитной канцелярии вызвал к себе директоров Русского для внешней торговли банка, и результатом их конфиденциальных переговоров явился написанный Давыдовым контракт с самим собой, делавший его директором-распорядителем сего банка, с окладом в 200 тысяч рублей плюс тантьемы. Вкупе с Тимирязевым Давыдов несомненно украсил головку модного за границей банка на Большой Морской, но делячеством, как и Тимирязев, не отличался. Поправил ли он свои дела, не знаю, но после революции сумел превратить часть своего состояния в картины и переправить их в Швецию. Кажется, он с честью управляет ныне каким-то французским банком.

Позднее других возникшим банком был Азовско-Донской. Хозяин его Каменка служил когда-то в Таганроге у бр[атьев] Поляковых. По общему мнению, это был один из талантливейших финансистов своего времени и одним из чистейших в банковском смысле. Выстроенный им на Большой Морской банк по стилю и убранству соперничал с Международным. Полная противоположность покойному Ротштейну, этот благообразный, не экспансивный еврей замкнулся в рамках строго банковских операций, втянув в орбиту своего банка лишь несколько весьма солидных, не грюндерских дел. Каменка стал банкиром кадет, — но несколько на иной лад, чем Утин октябристов. По крайней мере, кадетам он мест не раздавал и их влиянием на дела банка не пользовался. Каменка и в эмиграции остался авторитетом в русских банковских делах[362].

Из банкиров экс-сановников можно еще назвать председателя правления Сибирского банка Груба. Банк этот долгое время управлялся маленьким юрким еврейчиком по фамилии Соловейчик. Кажется, пост этот Соловейчик унасле-

довал от своего отца, основателя банка. Не знаю, что в нем было сибирского, но банк, приютившийся на Невском, между Международным и Азиатским, представлял собою тип одного из наиболее посещавшихся спекулятивной публикой и был центром «афер». В Сибирском банке была вечная толчея и маленькая биржа. К Соловейчику тянулось все, что после открытия банковской эры Витте искало дел и наживы. Это не была публика Международного, Азиатского, Русского, Азовского банков — это был второй сорт дельцов, порой затмевавший сорт первый. И Соловейчик, как Утин и Каменка, пытался связать экономику с политикой, и нарвался на Горького (финансируя его газету в 1905 г.). Впоследствии ему едва удалось отмыться от «Буревестника»; но банк до самой преждевременной смерти Соловейчика торговал бойко. Специализировался он на делах, которые, по тем или другим причинам, отвергали другие банки. Однако по смерти Соловейчика и приглашении на пост председателя бывшего директора Персидского банка, Груба, человека высокой честности и порядочности, характер дел Сибирского банка резко изменился. Если бы не революция, банк этот под эгидой Груба, несомненно, выдвинулся бы на первые места.

Были еще банки: Юнкера, Вавельберга и банкирские конторы, обламывавшие крупные дела. Особой известности достигла контора Захария Жданова[363], специализировавшаяся на спекуляции акциями Ленского золотопромышленного общества, ходившими на бирже под кличкой «Лена Захаровна». Сам Жданов был темного происхождения, и дела его неоднократно служили материалом исследования прокурорского надзора. Что не мешало ему сделать большие миллионы и играть на бирже крупную роль. Из небольших контор в крупные банки превратились Юнкер, Нелькен, Вавельберг. И все это вращалось в золотой пыли, ворочая миллионами, зажигая публику огнем спекуляции и наживы. Были и отдельные лица, по своему значению игравшие роль банков. Самой крупной и яркой из них был известный всему Петербургу Манус[364].

Лет 30 тому назад в Петрограде появилась книга «Преступный Петербург». Одна из глав этой книги посвящена Манусу[365]. Свою деловую карьеру этот господин, без признаков образования и воспитания, начал с весовщика на Царскосельской ж[елезной] д[ороге], а кончил директором многих заводов, страховых и транспортных обществ, обладателем состояния в 60 милл[ионов] золотых рублей и штатским генералом. Мануса знал весь деловой Петербург. Без Мануса не обходилось ни одно темное банковское дело, ни одна эмиссия, ни одна «комбинация». Манус знал «тайны» всех банков, читал сквозь их показную бухгалтерию. Он их шантажировал в печати, на общих собраниях, в министерствах. Этот хам с манерами кабацкого вышибалы ставил свои условия: или — или. Ни перед чем не останавливаясь, оглушительным гвалтом затушевывая собственную свою роль, он заявлял, — почти всегда талантливо и точно — «ошибки» своих жертв. А так как в этих «ошибках» погрязла почти вся русская экономика времен Витте, портфель Мануса был всегда полон пикантными досье. Довольствуясь сначала относительно скромными подачками, когда русские банки лишь вступили на путь уголовной ответственности — Манус, в эпоху Витте и Коковцова, когда Путиловы и Давыдовы достигли зенита своего могущества, соответственно повысил свою таксу. Налаживалось все это чрезвычайно просто.

У Мануса была своя агентура — ему своевременно доносили о всяком банковском покушении на русскую казну или обывательский карман. Манус создал

аппарат банковского шпионажа. И барыши этого предприятия превысили все его расчеты. В психологический момент этот целовальник, обритый под американца, одетый под джентльмена, весь в драгоценных кольцах и булавках, подкатывал к банку на Невском или Морской. Приезд его был всегда «событием» — от швейцара до директора банка все подтягивалось, трепетало. Прерывали очередные дела, выходили навстречу. Наглец разваливался в кресле, дверь на ключ и... начиналось. Взяток Манус давно уже не брал — он «участвовал в деле». В ту пору ведь все крупные банки участвовали во всех крупных делах: смотря по своим оборотам, каждый банк отламывал соответствующий кусочек «дела». Банки, напр[имер], Путилова, Давыдова, Вышнеградского брали 10% с прибыли, Утину, Кону, Соловейчику доставалось 5–6% и т[ак] д[алее]. Считая свою шпионскую организацию и свою «фирму» равноценной крупному банку, Манус требовал себе соответствующей доли. Торговались, соглашались. Писался контракт и, когда дело обварганивалось, Манус клал в карман пару миллионов. К дню революции он владел контрольными пакетами двух банков и десятка промышленных предприятий — между иными — на 40 милл[ионов] акциями Александровского сахарного завода.

На первых шагах своей шантажной карьеры Манус как-то пристроился к «Гражданину» кн[язя] Мещерского, где делал свои ошеломляющие разоблачения. Меня о нем осведомили, и я убедил Мещерского с ним расстаться[366]. Я не видел с тех пор Мануса 15 лет, и нас снова свели, когда он уже был миллионером. Мы сидели в «Аквариуме» и пили шампанское. Манус сверкал бриллиантами, мне было не по себе.

— Вот, вы презрели мной, — говорил он, — послушались мерзавцев Ротштейнов и К°, а я их в кулаке держал. Не бросили бы Мануса, были бы сами теперь миллионером... Хотите, я вам расскажу историю моих первых миллионов? Перед каждым новым делом банки сговариваются и каждый назначает себе % участия. Когда я проник в их махинации, я предъявил свои требования. Ахнули. Не согласились. Сначала пустяк, дальше больше. Банки, сановники и... Манус. На равных правах. Первый расчет между нами произошел за этим столом. Сидели, сосали шампанское. Я взял карандаш и стал на скатерти счет вести. «Что это вы пишете», — спрашивают. — «А вот увидите». Подвел итог — 10.547.000. Встал. «Вот, господа, что вы мне должны. Для ровного счета скинем тысячи. А 10 миллионов пожалуйте. 10 минут на размышление». Ушел. А когда вернулся, мой счет оказался зачеркнутым и на нем написано «Abgemacht»[a]! Так завелись мои первые миллионы... держались бы Мануса, и у вас были бы...

Как раз в то время, как Керенский переехал в Зимний дворец, Манус переехал в свой роскошный особняк на Сергиевской; а когда Керенский улегся в постель Романовых, Манус улегся в приобретенную им за 40 тыс[яч] зол[отых] рублей постель Бурбонов.

Как и Керенский, Манус не верил в силу большевиков. На борьбу с ними не дал копейки. Когда же большевики потребовали за его шкуру миллион, Манус, обругав их, предложил 100 тысяч. Его избили. Он помешался. И в доме сумасшедших был пристрелен[367].

[a] Решено (нем.).

* * *

Но самыми крупными единицами в банковском мире по таланту и удаче были Путилов — хозяин Русско-Азиатского банка и Рубинштейн — хозяин Русско-Французского и «Юнкербанка».

Азиатский банк возник из старого Северного, основанного Яковом Поляковым[368]. Этот старший из братьев Поляковых был прекраснейшей личностью, играл крупную роль на юге, но деловитостью уступал своему брату и племяннику и не был никаким банкиром. Был в свое время и еще один такой незадачливый банкир, тоже прекраснейшая личность, друг Поляковых и Гинсбургов — Варшавский. Запутавшись в делах, он повесился, хотя мог бы отлично спастись. В деле Варшавского были крупные деньги Шебеко, будущего главы полиции. Варшавский накинул на себя петлю только тогда, когда ценой разорения возвратил Шебеко его вклад. Вообще эти два старика-еврея, Варшавский и Поляков, искупали грехи своих сородичей. Но в банкирах не удержались.

Путилов делал блестящую карьеру в Министерстве финансов. Лучшего стилиста, говорили, в ведомстве не было. Он был директором общей канцелярии министра и даже, кажется, товарищем министра. Молодой, трудолюбивый, на редкость сметливый, он был бы, несомненно, преемником Витте, но... его тянул золотой омут. Перед ним мелькала карьера Вышнеградского, Ротштейна, Рафаловичей и самого Витте. Чувствуя себя не менее, если не более одаренным, чем они, Путилов захотел роли первого российского банкира. Витте и весь банковский мир за ним эту роль признали. А роль эта была во многом равна роли министра финансов.

Зерном Азиатского банка была Восточно-Китайская жел[езная] дорога, правление коей было сначала в Международном банке у Ротштейна, а со смертью его перешло, вместе с Путиловым, в банк Азиатский. Устав этого банка давал ему широчайшие и исключительные права для кредитных и торговых операций на Дальнем Востоке, т. е. предоставил ему всю нашу дальневосточную экономику. Капиталы и связи этого банка с Западом и Востоком сделали его крупнейшим русским кредитным учреждением, а Путилова — крупнейшим распорядителем российского достатка. И продолжалось это почти 15 лет, т[о] е[сть] до апреля 1917 г., когда Алексей Иванович, изменив свою внешность, бежал из Петрограда в Шанхай[369].

Касаясь банковской стороны нэпа Витте, историк не обойдет двух имен — берлинского еврея Ротштейна и русского из русских Путилова. Талантами они были вровень с Витте. Все трое верили в неисчерпаемую материальную мощь России, но каждый по-своему к ней подходил и ее эксплуатировал. Если Витте копнул ее ради упрочения своей и царской власти, если Ротштейн прилепился к ней, как художник к картине, как увлеченный любовник, то у Путилова, кажется, не было ни того, ни другого стимула, — он был чистокровным дельцом, первоклассным виртуозом на инструменте делячества. В Путилове гармонично сочетались банкир, промышленник и администратор. Если Витте тянула стихия власти, Ротштейна — строительство, то Путилова, кажется, тянула только стихия денег. Это не была вульгарная жадность — жил он скромно — это была врожденная ему потребность свой талант, труд, всю Россию, весь мир обращать в золото. Будучи директором десятков зависевших от Азиатского банка учреж-

дений и предприятий, он не успевал распечатывать присылавшихся ему пакетов с деньгами, — пакеты эти забивали ящики его письменного стола. Его жалованья и тантьемы, уверяли, достигали миллиона в год. А он все налаживал новые дела, устраивал правления, назначал директоров и карандаш его на клочке бумаги выводил миллионы, становившиеся реальными. Куда несся этот виртуоз денег? Однажды, уже после революции, я зашел спросить его об этом. Маленький кабинет Путилова был визави Аничкова дворца.

— Куда?

Он всматривался в погасшие окна дворца и в зажегшиеся фонари Невского.

— Вот трамвайные столбы, — видите? Ну, так вот куда! Все будем на них висеть, на ком крахмальный воротник.

В разбег своего делячества Путилов снисходил до Мануса и даже, кажется, до Захария Жданова. Но когда судьба великой войны повернулась к нам спиной, в Путилове вспыхнул русский человек, и он первый наладил производство снарядов и пушек Путиловского завода до размеров, о которых не мечтали за границей[370]. Что не помешало ему при Временном правительстве броситься снова в омут грюндерства с разными Саломасами, Маслотопами и проч[ими]. Путилов не внял моему совету сорганизовать 100 миллионов русских для отражения 50 миллионов германских. Он покинул корабль, которым командовал. Судить это будет история. Но, кажется, в этой ошибке его главную роль играло отсутствие веры в коллег и в эволюцию и наличность веры в большевиков и в революцию:

— Все будем висеть...

Не знаю, чем занимается теперь Путилов в Париже, но думаю, что он скучает и по делам, и по России. Без того и другого я этого банкира-виртуоза представить себе не могу.

Чрезвычайно талантлив, но совсем другого склада, был известный банкир Дмитрий Львович Рубинштейн. О нем и возле него было еще больше шуму, чем о Путилове и возле Путилова. Русско-Французский банк был лилипутом по сравнению с Азиатским, но для Рубинштейна он был лишь вывеской. Центр и размах его дел был несравненно шире и глубже. Рубинштейн владел лучшими домами в Москве и Петербурге, имениями, заводами и колоссальными пакетами банковских акций. Человек обязательный, добрый, но чрез меру темпераментный и несдержанный, он нажил себе массу врагов. Его заклятым врагом был, между прочим, Манус. А перед самой революцией с ним случился грандиозный скандал, в котором, как в омуте, отразился весь тогдашний бюрократически бандитский и банковско-авантюрный быт.

Я имею в виду нашумевшее батюшинско-рубинштейновское дело, могущее служить темой для бульварного романа или сенсационного фильма. Дело это, доставшееся в наследство от старого режима Временному правительству, известно мне лишь в общих чертах. Не сомневаюсь, что со временем оно станет известным и в деталях. Героями этого скандала были ген[ерал] Батюшин, занимавший вплоть до революции пост, который после революции перешел к полковнику Никитину (обер-контрразведчика)[371], жандармский полковник Резанов, состоявший при Батюшине присяжный поверенный Логвинский и пресловутый Ванечка Мануйлов[372]. За кулисами называли имена Штюрмера, сына его, а впоследствии и Распутина. В дело был замешан начальник Северо-Западного фронта Рузский и начальник контрразведки этого фронта Злобин.

Рубинштейн был в апогее своей деловой славы и денежных успехов. Он только что приобрел контрольный пакет банка Юнкера и ворочал, таким образом, двумя банками, имея значительные доли и в других, больших банках, как Сибирский, Азиатский, Промышленный. После Путилова он был самым видным и заинтересованным банковским деятелем в Петрограде. Квартира его на Марсовом поле и дача на островах всегда были полны сановников и деловых людей. Рубинштейн, и особенно его жена, славились своей тороватостью, не в пример другим банкирам, много тратившим на кокоток и кутежи и почти ничего на приемы и помощь нуждающимся. Г[оспо]жа Рубинштейн широко благотворила, а во время войны отдала себя в распоряжение императрицы Александры Федоровны. И вот в этой семье, жившей на виду у столицы и России, случается нижеследующее.

У Рубинштейна на даче был парадный обед и раут — чествовали, кажется, Протопопова и Родзянко и еще кого-то. Ели, пили, плясали — дым коромыслом. Разъехались поздно. А... спустя ½ часа — жандармы, солдаты, шпики. Ванечка Мануйлов, Резанов. Обыск. В чем дело? Обвиняетесь в сношениях с неприятелем. Кто обвиняет? Комиссия ген[ерала] Батюшина[373]. В чем? Ездили в Стокгольм, возили образцы пуль нового калибра. Как же я их возил и кому? Возили в виде брелока на часах. А кому — ясно — немцам. С ума сошли... Взбесились...

Темпераментный банкир, притом страдавший диабетом, мечется по комнате. С супругой начинается истерика. К ней подсаживается Ванечка Мануйлов, гладит по руке, шепчет:

— Не волнуйтесь! Пришлите мне для Штюрмера миллион и все уладится[374].

Так начавшееся «дело» тянулось около года. С миллиона были большие сбавки. Вместо миллиона требовали перепродать за полцены пакет акций Юнкера. Помирились бы и на учете векселей сына Штюрмера, на 300 тыс[яч]. Но супруга Рубинштейна уперлась. Банкира допрашивают, Батюшин мечет громы. Следствие ведут Резанов и Логвинский. К пулям примешивают «документы» германского происхождения. Из тюрьмы Петроградской банкира тянут в тюрьму Псковскую — ближе к фронту. У банкира чудовищно растет % сахара. Супруга теряет половину своего веса. Петроград и вся Россия — злостно гудят. Все знают, что у Рубинштейна сотня миллионов, — значит, пожадничал, погнался за сто первым. Распять его![375]

Но Рубинштейны крепятся. Не терпится лишь Ванечке Мануйлову.

— Пришлите хоть 50 тысяч, — говорит он на последнем свидании г[оспо]же Рубинштейн. — Иначе арестуем...

Та идет к сыну министра юстиции, тот к отцу, но министр не желает мешаться «в грязное дело». Советует обратиться к какому-то генералу. Генерал предлагает дать 50 тысяч, записав №№ билетов. Посылают. Ванечка тщательно пересчитывает, засовывает в карман, спешит в клуб, где ведет крупную игру. Сходит с лестницы. В швейцарской засада. Пожалуйста наверх! Обыск. Пачка 500 сотенных переходит к жандарму.

— От Рубинштейна получили?

— Да!

— За что?

— Хотел испытать...

— А деньги куда несли?

— В батюшинскую комиссию...

Но Ванечку посадили на цепочку. И началось дело[376]. Батюшин с Резановым и Логвинским клянутся, что все было нарочно подстроено. В Псковской тюрьме над Рубинштейном усиливают надзор — лишают супругов свиданий. Процент сахара растет. Г[оспо]жа Рубинштейн бросается к начальнику фронта Рузскому. Тот слушает недоверчиво. Отсылает к своему начальнику контрразведки, ген[ералу] Злобину. Злобин уже обо всем уведомлен. И он огорошивает истерзанную женщину фразой:

— Благодаря шайке воров, негодяев, шантажистов и предателей Россия гигантскими шагами идет к неминуемой гибели...

Это первый луч света. Но развинтить гайку, завинченную Батюшиным с К°, не так-то легко. Рубинштейну ведь приходится доказывать, как всегда в таких делах, что он не верблюд. И много еще сахару выработали в Псковской тюрьме его разбитые нервы, прежде чем он был освобожден и реабилитирован по суду[377].

Ванечку судили и присудили[378]. Революционеры выпустили его из тюрьмы вместе со всеми уголовными. Но он благоразумно явился к начальству и дал себя вновь засадить. Чем и сократил намного срок отсидки. Менее благоприятна была участь Батюшина с К°, дела коих были подробно исследованы комиссией Муравьева. Не знаю, каким путем удалось им выскользнуть из рук большевиков: знаю, что Батюшин околачивается где-то в Сербии, а Резанов в Париже. Логвинский попал в Крым к Врангелю и был там повешен.

Вот какая неприятность стряслась с богатым и тороватым банкиром, от рук которого попользовалась немалая толика дельцов всех рангов и калибров. Потеряв свою сотню миллионов, этот темпераментный банкир не скис в изгнании, как его коллеги, а работает, создавая вновь платформу для своего сравнительного благополучия. И, кажется, как в добрые старые дни, возле него кормятся[379].

Советские финансы, как известно, поставил на ноги мстительный Кутлер[380]. Но он не банкир. Большевики зарились на Каменку, Путилова и Рубинштейна. Не выгорело. Зато к СССР примазался шведский банкир-коммунист (по вывеске), известный в Стокгольме Ашберг[381]. Ему удалось связаться с директором Госбанка, Шейнманом, и они вместе соорудили в Москве первый после революции частный банк. Какие дела это сверхкапиталистическое учреждение обламывало в сверхпролетарском государстве, история умалчивает. Но кто-то шепнул большевикам о неприличии их затеи, и банк закрыли, т[о] е[сть] акции его у Ашберга купили. Кажется, только этого и нужно было предприимчивому банкиру-коммунисту. Он покинул социалистическое отечество с большими миллионами, которые проживает в Версале[382]. Такова разница доли банкиров русских и шведских.

«Выгнали»

Первые семь-восемь лет владычества Витте были годами несомненного его триумфа. Покончив с коренными экономическими реформами, — с индустриализацией, с укреплением русской денежной системы, переведя российскую экономику с рельс страны возделывающей на рельсы страны обрабатывающей, перекроив русскую географию, подчеркнув сословную рознь между дворянством и

крестьянством и вдохнув жизнь в инертное для него третье сословие, опираясь на банкиров не только русских, но и мировых (Мендельсон, Блейхредер, Ротшильды, Рокфеллер и др.), заложив прочный фундамент своему личному крупному состоянию, завязав прочные связи с русскими малыми дворами и русской высшей аристократией, выдав дочь своей жены за одного из русских аристократов — из разночинца шагнув в вельможи, из нищего — в Крезы, из управляющего железной дорогой — во всемогущего диктатора, Витте, казалось бы, мог почить на лаврах. Но...

Властолюбию и честолюбию временщика, подогреваемым его супругой, не было пределов. Как в «Золотой рыбке», Витте захотел, чтобы прислуживала ему за столом эта самая рыбка. Первые его столкновения с императором Николаем II начались на этой почве.

Во время одного из его докладов в Царском Селе, когда он, со свойственной ему авторитетностью и грубостью, требовал подписи царя на одном из указов, шедших вразрез с мнением большинства Гос[ударственного] совета, царь поднялся, подошел к окну и, слушая своего министра, барабанил по стеклу. На губах его бродила загадочная улыбка, глаза весело искрились. И вот от окна раздались «деликатные» слова, прогремевшие над временщиком, как гром в ясный день.

— Сергей Юльевич, вы и впрямь считаете меня за мальчика.

Витте помертвел. Именно это выражение употребил он в одной из бесед с Вильгельмом, в одну из своих заграничных поездок. Поняв, откуда надвигается гроза (Вильгельм, в ту пору недовольный мерами Витте в экономическом содружестве России и Германии, хотел его свалить), Витте решился на опасный, но радикальный шаг.

Нашим финансовым агентом в Берлине был в ту пору Тимирязев — впоследствии министр и банкир. Тимирязев был обласкан Вильгельмом и подробно информировал Витте о настроениях берлинского двора. Собственно, в этом и состояла его главная роль. Шифрованной телеграммой Витте вызвал Тимирязева, привез в автомобиле в свой дом и запер на ключ в одной из отдаленных его комнат (кажется, в кладовой). И началась работа. При закрытых от всех дверях, при свече Витте диктовал своему подчиненному доклад самому себе. В этом подложном документе Тимирязев распространялся о ненависти Вильгельма к временщику, слишком яро защищавшему интересы России, и доносил, что, по сведениям Вильгельма, положение временщика непрочно — он надоел царю. Все это было уснащено указаниями на надежды германской индустрии на лучшие условия предстоявшего торгового договора, якобы невыгодного Германии в тех рамках, кои проектировал Витте. Доклад был составлен с мастерством, присущим Тимирязеву, датирован задним числом и помечен Берлином. Обед и завтрак Витте сам приносил в кладовку, сам отвез своего сообщника на вокзал, усадил, расцеловал и обещал в будущем министерский пост.

Посланный к царю доклад возымел ожидаемое действие. С надписью: «Охота Вам, Сергей Юльевич, верить всяким сплетням? Работайте на пользу России», — он был возвращен Витте, положение коего вновь упрочилось. Но предупрежденный временщик решил связать своего повелителя узами, более прочными, чем экономика. Витте решил перенести свое влияние на внешнюю и внутреннюю политику России.

В области той и другой существовали пути, уже проторенные: мечта царя о возвеличении России и пробужденный кн[язем] Мещерским в царе культ реакционной политики Александра III.

В эпоху безобразовщины и авантюры на Ялу Витте клялся, что не он причастен к этой авантюре. Добрая часть его «воспоминаний» посвящена оправданию себя в этом тяжком грехе русской государственности, явившемся началом конца России. Витте сваливает на чужие головы преступление русской дальневосточной политики. Но первый камень этой политики был заложен им. Подкупом Ли Хун Чанга он добился от Китая разрешения на постройку Восточной Китайской жел[езной] дороги, а сам был подкуплен Вильгельмом (цепь ордена Черного Орла). Но Вильгельм заплатил Витте за разрешение занять Вэйхайвей (в обмен на занятие Порт-Артура) гораздо дороже: знаменитая его фраза царю: «Я бы гордился иметь среди моих министров Витте» — на несколько лет укрепила положение временщика[383]. Витте подлинно не причастен к авантюре на Ялу; но первый камень русских вожделений в Корее, имевших объектом порт Чемульпо, заложен все-таки им[384]. Те два миллиона, что впоследствии имп[ератор] Николай II истратил из своей шкатулки на авантюру на Ялу, ничтожны по сравнению с суммами, истраченными Витте в Корее. И гораздо раньше Безобразова Витте бередил воображение царя торжеством России на Дальнем Востоке. Подкуп Ли Хун Чанга и подкуп корейского императора — таковы были пути Витте к этому торжеству[385]. Витте и впрямь не хотел строить Южно-Манчжурской жел[езной] дороги к Порт-Артуру. Но когда Япония раскрыла игру России в Корее и потребовала ухода ее оттуда, Витте не только охотно выстроил эту дорогу, но, одним залпом, и новый город Дальний, безмерно более ценный для японцев, чем Порт-Артур. А Япония, зная, кому достанутся и эти два города, и тысячеверстная Южно-Манчжурская ж[елезная] д[орога], потирала руки[386].

* * *

Развертывался роковой для России ковер японской войны. Нагруженный иконами Куропаткин уехал к театру войны, Плеве искоренял крамолу, Россия застыла в горестном недоумении, Европа, подсмеиваясь, потирала руки, потирал их, с внешними признаками огорчения, и Витте...

После того, как государь трижды собирался его уволить и трижды заменял указ об отставке благодарственным рескриптом, уверенный в своей крепости Витте решил перейти в наступление.

Кроме кн[язя] Мещерского, у него был и еще покровитель — кн[язь] Оболенский («Котик»), — личность обаятельная, из семьи обедневшей, но связанной родственными узами с высшей аристократией[387]. Красавец «Котик», блестящий конногвардеец, пал к ногам м[ада]м Витте, когда она еще была м[ада]м Лисаневич. О романе этом знал весь Петербург. Ежегодные поездки трио за границу сопровождались всегда теми же лаконическими извещениями иностранных газет: «В Х. прибыл гр[аф] Витте с супругой и кн[язем] Оболенским».

«Котик» очаровал и царскую семью. Назначенный флигель-адъютантом, он стал как бы членом этой семьи. Императрица и вел[икие] княжны жить без него не могли. По рукам ходили фотографии «Котика», окруженного царской семьей.

Словом, интимно более близкого к Царскому Селу человека, чем кн[язь] Оболенский, не было. И эта интимность была кристаллически чистой.

«Котик» был далек от всякой политики и на царя никакого влияния не имел. Витте он не поддерживал прямо. Но косвенно и он был его опорой, ибо секрет полишинеля был известен и в Царском. «Котик» упросил царицу нарушить запрет, наложенный императрицей-матерью, и дать доступ ко двору опальной министерше. И он же своим личным обаянием боролся с партией придворных антивиттистов. А когда партия эта стала особенно наседать, и Плеве с Безобразовым уже почти торжествовали победу, Витте свел «Котика» с кн[язем] Мещерск[им] и в руки этих двух князей сложил свою судьбу.

Император Николай II вообще не признавал, что кто-нибудь из им назначенных может уйти по своему желанию. Эту черту его все знали; но Витте, кажется, запамятовал. После непринятой отставки Витте вернулся сияющим, с непоколебимой верой в свою звезду. И, приняв удрученно официальную мину, повторял:

— Его величество не желает меня отпустить...

Но после Ляояна или Мукдена[388] он был экстренно вызван к царю в Петергоф с просьбой привезти с собой управляющего Государственным банком Плеске. В этот день я был в Царском. Звонок телефона. Витте говорил из Петергофа.

— Выезжайте немедля, встретьте на Варшавском вокзале.

Витте вышел из своего вагона вместе с Плеске. У Плеске был вид сконфуженный, у Витте — крайне возбужденный. Отойдя в сторону, он ударил себя по колену и сделал вульгарный жест, каким выражают насильственное удаление.

— Выгнали...[389]

Больше он говорить не мог. Но в автомобиле, по дороге на свою каменноостровскую дачу, он сипло, почти по-мужицки ругался. Подъезжая к даче, однако, взял себя в руки.

— Ну, что ж... Председатель Комитета министров — тоже птица... Классом выше... Шитья на мундире больше... Мерзавцы!

С этим застывшем на его мокром рте словом он пошел к жене, а я — в его крошечный кабинет. Через четверть часа он вернулся значительно успокоенный.

— Ну, вот... Свершилось... Но, как всегда, удар в спину... Его величество верен себе... Огладит и вонзит нож... Так будет и с Россией... Со всеми... С Безобразовым, с Плеве... Я знаю, что этого мерзавца убьют. Но если этого не случится, его, как и меня, выгонят...

Я старался направить его мысли в другую сторону.

— Но почему же назначили Плеске? Божья коровка...

— Такая им и нужна...

— И в такое время...

— Что им время, что им история, что им Россия? Выигрышная партия в теннис вознаграждает за Ляоян и Мукден. Камарилье нужны все новые люди, чтобы их возвеличивать и свергать, обделывая свои делишки. Уж если они сломали шею Оболенскому...

— Как? И он?

— Назначен начальником Кабинета его величества. Почетная отставка, как и моя...[390]

После лихорадочной прогулки по кабинету он продолжал:

— Хотите знать, чего мне стоит этот человек?

Сорвал вицмундир, рванул рубашку и показал тело, покрытое крупными, в пятак, черными пятнами...

— Вот, что со мной сделал его величество...

* * *

После убийства Плеве и неудачных попыток Витте наследовать своему врагу на посту министра внутренних дел[a] я как-то заглянул на Каменный остров. Витте доживал лето на своей министерской даче. Я застал его садящимся на жирного коня. На нем была форма шефа пограничной стражи (сохраненная за ним): мундир с генеральскими погонами, рейтузы в обтяжку, ботфорты. В этой форме я его видел впервые. И впервые я видел его столь сияющим. Даже после первого назначения своего министром и после всех своих побед над супостатами вишневые глаза его так не сияли, а влажный ротик так не улыбался. Затянутый в форму, он казался располневшим. Неуклюжая фигура его и длинные «коровьи» ноги в маскарадном костюме были несколько смешны. Но всадник, видимо, наслаждался собой, и буцефал, слегка согнувшись под его тяжестью, был доволен. Собрав поводья и приняв позу, глядя на меня сверху вниз, он заговорил своим сиплым говорком:

— Ну что? Прав я был? Возмездие следует по пятам за каждым из нас... Я рад назначению Мирского...[391] Мы — приятели... Но Мещерский сыграл двойную роль... И это ему не простится...

— В чем же?

— За Штюрмера хлопотал. А меня уверял... Ну, это прошлое... Я рад, что меня минула сия чаша. Мирского мне жаль. Он слишком порядочный человек. И не волевой... Разве такой нужен его величеству с камарильей? Увидите...

Он пришпорил коня.

Чаша

Для Витте настали дни успокоения. Война клонилась к трагической ее развязке, сердце царя было временно свободно, неспособность кн[язя] Мирского к длительной власти и к умиротворению страны была для него очевидной, а престиж Витте вновь нарастал. Престиж этот чувствовал на себе и безвольный кн[язь] Мирский, и царь. А в сферах, в обществе и в стране все громче вновь раздавалось имя бывшего временщика, и росла уверенность, что песня его не спета.

В обстановке повального почти маразма, рассеять который не мог ни Мирский с возвещенным «доверием», ни Суворин с возвещенной «весной», надвинулась гапоновщина. Как и зубатовщина, она была делом Департамента полиции.

О Гапоне и его влиянии на рабочих — воробьи с крыш кричали. О Гапоне писали в газетах и толковали в министерских кабинетах. И если над Гапоном не было видного покровительства великих князей и власти, таинственные корни гапоновщины явно упирались в Охранное отделение.

[a] Так в тексте.

Кн[язь] Мирский мог этого не знать; но Витте, с его тонким чутьем и агентурой, знал несомненно. С Гапоном, как впоследствии с Распутиным, особенно возился пресловутый Ванечка Манасевич-Мануйлов, — в ту пору, после проведенного им дела с расстрелом эскадрой Рождественского рыбачьих судов под видом японских миноносцев, — бывший в почете и у власти, и в редакции «Нового времени», где появлялись за подписью «Маска» его бойкие статьи[392]. При Гапоне Ванечка Мануйлов был в роли менеджера: возил его в редакции газет и в министерские приемные, сблизил Гапона с Тимирязевым и с Витте. Тимирязев, сыгравший в отношении Гапона роль Плеве в отношении Зубатова, поощрил развитие влияния ловкого попа на бунтовавших рабочих; а Витте притворился уверовавшим, что под сенью иконы и царского портрета рабочие явятся в руках Гапона и власти покорными овечками.

Быть может, шествие рабочих за справедливостью к царю и не было задумано в «белом доме» на Каменноостровском. Но Витте о нем знал и в предстоявшей свалке умыл руки — сомнения нет. И в роли председателя Комитета министров, и в качестве друга кн[язя] Мирского Витте мог до этой свалки не допустить. Одного его доклада царю было бы для этого достаточно. А влияние его на Тимирязева было таково, что о новой зубатовщине не могло бы быть и речи, если бы того не пожелал Витте. Но он рванулся к Царскому Селу, когда шествие Гапона уже двигалось от Нарвской заставы, а рабочие Выборгской и Петербургской сторон удерживались разобранными на Неве мостами и залпами войск.

В эти трагические для монарха, для Мирского и для истории России минуты, когда люди расстреливались под сенью икон и царских портретов, когда эскадроны конной гвардии и кавалергардов на Невском и Морской свинцом и саблями сметали мирно гулявшую воскресную публику, — в эти минуты бывший и будущий диктатор, меряя огромными шагами свой кабинет, бледный, бормотал:

— Я говорил, я предупреждал...

А во влажном взоре его был тот же пугливый и торжествующий огонек, как и впоследствии, после появления Манифеста 17 октября, когда он грозил расстрелом манифестировавшей, тоже под сенью икон и царских портретов, толпе.

* * *

Время после отставки кн[язя] Мирского и назначения Булыгина, когда наконец назрел вопрос о «реформе» и стряпалась булыгинская Дума[393], прошло для Витте оживленно. В эти дни он то вел переговоры с общественными деятелями, стремившимися в «белый дом» в предчувствии его грядущей роли, то с всемогущим в ту пору Треповым. Отношения Витте с этим последним, весьма натянутые в пору влияния Безобразова, теперь стали тесными. Для Витте Трепов стал тем рупором в Царское Село, каким прежде были кн[язь] Мещерский и Оболенский. Не решаясь лично выступать с взглядами, которые бы противоречили его прежним взглядам (реакционным), Витте толкал в направлении к конституции недалекого в политическом смысле, но рыцарски преданного монарху Трепова.

Чтобы понять затруднительность положения Витте той эпохи, нужно вспомнить, что первым и едва ли не самым убедительным, после Победоносцева, глашатаем антиконституционного направления был он сам. По его заказу молодой

профессор Демидовского лицея в Ярославле написал нашумевшую записку «О земстве»[394]. Записка доказывала, что выборные учреждения являются преддверием к конституции, и что потому расширение их прав есть расширение пути к конституции. Спрятавшись за этим тезисом, Витте не выявлял себя антиконституционалистом, но давал понять: кто расширяет права самоуправления, тот ведет к конституции.

Всколыхнувшая русскую общественность эта макиавеллическая записка стоила портфеля врагу Витте Горемыкину, собиравшемуся расширить права самоуправления. Витте же поспешил загладить ее впечатление рядом демократических реформ по своему ведомству. Податная инспекция, как противовес земским начальникам, расширение деятельности Крестьянского банка в противовес Дворянскому, страхование рабочих и всяческое покровительство третьему элементу, нашедшему приют в многочисленных учреждениях финансового ведомства, — все эти частичные либеральные реформы затушевали в свое время реакционность Витте.

Но враги его не дремали, и нужна была осторожность. Кроме Трепова, в роли политического рупора Витте выбрал еще среди высшего петербургского общества рупор этический — известного Мишу Стаховича (при Временном правительстве финляндского ген[ерал]-губернатора). С этим великосветским болтуном Витте вырабатывал закон о свободе религиозной совести. Итак, выдвигая вперед то Трепова, то Стаховича, перешептываясь в своем кабинете то с консерваторами, то с либералами, опальный сановник, переступая с правой ноги на левую, подкрадывался к власти.

* * *

Японская война подходила к своему позорному концу. На поле сражения Линевич накапливал кулак против японцев, и в недалеком тылу — в Петербурге, в Париже, в Берлине, не говоря уже о Лондоне, накапливали кулак за японцев. Без всякого фигового листа Европа, не исключая и союзной нам Франции, была на стороне Японии[395]. Восхищенная беспримерным, воскрешавшим древность, самопожертвованием этого народа, его героизмом, его культурной и технической готовностью к борьбе с великаном, завороженная этим поединком Давида с Голиафом, Европа не скрывала ни своего восхищения Давидом, ни своего разочарования в Голиафе. Впервые со времен Батыя непобедимая Россия была побеждена (Севастополь не в счет). Впервые после подвигов Суворова, Гурко и Скобелева русская рать была сломлена. Тот почти суеверный страх перед русской воинской мощью, что навеял своей личностью и своим «миролюбием» Александр III, был сдунут, как предрассветная пелена. Того и Куроки сорвали с России маску «непобедимости»[396], а Куропаткин с русскими министрами обнажили ее почти дореформенную некультурность.

— Мы их иконами — они нас шимозами!

Эта драгомировская концепция русско-японской драмы стала символом не только враждебной правительству России, но и сочувствующей нам Европы. Ее повторяли не только в кабинете Вильгельма II, но и в кабинете нашего «друга» французского министра Дальkассе. Престиж России как великой дер-

жавы рухнул. Вся она, с ее прошлым и будущим, была à la merci[a] Германии. Церемониальным маршем гвардейский корпус пруссаков мог перемахнуть из Берлина в Питер. Даже победа шведов при Нарве не ставила нас в столь критическое положение. Если бы Вильгельму той эпохи шепнули: возврати Франции Эльзас и Лотарингию, Дании — Шлезвиг и компенсируйся за счет балтийских провинций, Польши и Литвы, — Европе был бы обеспечен мир, но Россия укоротилась бы на десяток тысяч квадр[атных] миль и отступила к временам допетровским.

Все это лучше кого бы то ни было знал Витте. Часами, меряя свой кабинет, он это доказывал, воздевая очи к небу, широко крестясь, вздыхая и... лукаво подсмеиваясь. Не забыть этого смешка.

— Но тогда нужно продолжать войну. До последнего солдата, — говорил я, — у Линевича ведь миллионная армия.

— Эх, вы! Дети! Одно спасение — мир! Покуда Вильгельм не очухался от рыцарских чувств. Вильгельм — трус. Я знаю про него такое, что когда узнают все, как бомба взорвется... Заходите ужотко. Расскажу...

Но рассказать не пришлось. Когда в следующий раз я приехал за обещанной тайной Вильгельма, Витте был у своего друга, министра иностранных дел Ламздорфа. Вернулся таким же сияющим, каким я видел его садящимся на коня после убийства Плеве.

— Ну, друг мой, рассказывать некогда. Когда вернусь из Портсмута...

Я видел перед собой вновь Витте-орла, Витте-победителя. Много старее, чем десять лет тому назад, когда он всходил между склонившимися спинами своих врагов по лестнице Министерства путей сообщения, но с тем же огнем в глазах, с той же вздрагивающей усмешкой, высокоподнятым облысевшим челом, медленной, но уверенной поступью дорвавшегося до своей цели силача. Меряя свой крошечный дачный кабинетик и, словно скользя взглядом по согнутым спинам врагов, он бросал отрывочно:

— Все сделали, чтобы меня оттереть... Муравьева подсунули...[397] Его величество корчился, брыкался... И вот — пришел в Каноссу[398]... Пришел... Теперь увидим... Надо спасать Россию. Расхлебывать кашу Безобразова и Плеве...

— На вас взвалили крест русского позора.

— Позора? Это еще не сказано... Я не позволю опозорить Россию...

— Но ведь вы сами говорили...

— Ну да! Не будет победных фанфаров, не Сан-Стефано[399]. Скорее Тильзит[400]. Но без Наполеона... У нас армия цела... Ни одна пядь нашей территории не занята...

— Тогда не лучше ли продолжать?

В глазах Витте сверкнул злой огонек.

— Я же вам говорил: армия разлагается. С востока двигается к нам революция. А на Западе хмурится Вильгельм, дрожит Франция и потирает руки Англия... Эх, да что вы понимаете...

— А потом? После мира?

— Это — как его величеству будет угодно... Если и Дума, то не булыгинская... Ну, прощайте. Жду Трепова...

[a] В зависимости от (франц.).

* * *

С начала октября 1905 года в «сферах» происходила ожесточенная борьба, результаты которой предвидеть было трудно. По возвращении Витте из Портсмута борьба эта приняла характер свалки. Царь был поставлен между двумя почти равными силами, толкавшими его в противоположные стороны: на челе одной стоял Трепов, впоследствии поддержанный вел[иким] кн[язем] Николаем Николаевичем и императрицей-матерью, другая сила сплотилась из ближайших к особе царя лиц, обладавших всеми его симпатиями и полным доверием: кн[язя] Орлова, Нилова, Дрентельна, гр[афа] Шереметева и др[угих]. Избранником первой силы был гр[аф] Витте, избранником второй — гр[аф] Игнатьев; первая сила толкала к конституции, вторая — к диктатуре. И так как обе силы были почти равны, то царь не склонялся ни туда, ни сюда, т[о] е[сть], вернее — склонялся то туда, то сюда, в зависимости от крупных и мелких событий и от настроений.

События же складывались явно в пользу первой из сил. Революция в стране вздымалась и ширилась. Каждый день приносил новые доказательства сорвавшегося с рельсов поезда государственной власти. Была под сомнением даже личная безопасность царской семьи, остававшейся ради этой безопасности в Петергофе. Предвиделась возможность отъезда ее. Император Вильгельм уже предоставил в распоряжение царя свой балтийский флот, а министр двора бар[он] Фредерикс держал наготове у Петергофского дворца моторные лодки, сокрушаясь лишь об одном, что многочисленность царской семьи может затруднить отъезд. Адвокат Хрусталев-Носарь уже организовал Совет рабочих и солдатских депутатов[401], а в университете, на педагогических курсах, в Медицинской академии и даже в консерватории открыто происходили митинги, на которых ораторы требовали ареста царской семьи. Эту эпоху впоследствии метко описал В. Розанов в своей книжке «Когда начальство ушло»[402].

Начальство и впрямь ушло, — ушло даже радикальнее, чем 12 лет спустя, когда безумный Протопопов и оголтелый петроградский градоначальник, расставляя по крышам пулеметы, что-то кому-то запрещали[403]. В октябрьские дни 1905 года решительно ничего никому не запрещалось. И если Трепов издавал приказы: «Патронов не жалей!», тот же Трепов строжайше запретил стрелять. В провинции жгли усадьбы, и губернаторы ходили во главе революционных процессий с красными тряпками. Россия походила на большую семью, собравшуюся в далекую поездку, с уложенными чемоданами, одетыми по-дорожному членами ее, присевшую на эти чемоданы и подоконники в ожидании извозчиков.

А в душе царя происходила мучительная драма. Вряд ли есть сомнение, что Николай II глубоко любил Россию и всеми силами стремился к ее благу. Но это благо ему рисовали в двух диаметрально противоположных направлениях. Конституция или диктатура? По всей вероятности, царь не верил в целительные свойства ни той, ни другой. Несколько лет назад он так же мучительно подходил к вопросу о судьбе России на Д[альнем] Востоке и **сам предсказывал** гибельные последствия от «авантюры», куда его влекли. И, тем не менее, он дал себя втянуть в эту авантюру. Так и теперь: инстинкт подсказывал ему, а близкие люди подтверждали опасность резкого вступления России на конституционный путь. И, тем не менее, он дал себя туда увлечь.

Витте как личность и даже как государственный деятель был ему одиозен. Отставку ему он дал после того, как убедился в его неискренности, интриганстве, ненасытном властолюбии, — в том вреде, который он принес России. Ничто не могло уже изменить его отношения к Витте. И, тем не менее, он послал его в Портсмут, возвел в графы и отдавал в его руки судьбы страны. Эта личная трагедия души Николая II сплелась с трагедией России. Если бы в эту пору Россия дала тип государственного деятеля, близкий к Муссолини, вместо конституции она получила бы диктатуру. Но слезливый, мясистый «добряк» гр[аф] Игнатьев[404] не нашел в себе и подобия властного диктатора. Правящая Россия той эпохи была голым полем. Безлюдье ее душило. И только эти две фигуры — эти два графа — представляли собой подобие чего-то, что могло быть сочтено за спасителей отечества.

Реформа 17 октября была отравлена еще до ее зарождения, отравлена в материнском чреве — ненавистью и недоверием царя к тому, кому он ее вручил.

Когда царь вызывал к себе Витте, в соседней с кабинетом туалетной сидели близкие к царю лица, жадно ловя каждое слово секретных совещаний. После ухода Витте они говорили царю:

— Витте хочет свергнуть монархию... Витте хочет сесть президентом республики... В лучшем случае он хочет сам дать России конституцию, отодвинув Вас в тень...

Тогда-то и родилась мысль о манифесте, о котором Витте и не заикался. У царя на столе лежал его доклад (о котором ниже), и этот доклад, по плану Витте, должен был послужить основой реформы. Дарованию конституции должна была предшествовать длительная законодательная подготовка. При всей своей тяге к власти, Витте внутренне струсил ее. Он готовился семь раз отмерить ту свободу, что можно было отпустить России, притом обеспечив себе симпатию и помощь либерального общества. В душе деспота было мало влечения к истинной свободе. Для Витте свобода России была лишь ступенью к власти и маслом, которым поливают разбушевавшиеся волны.

Через несколько месяцев в роли творца конституции он это и доказал. Но пока ему не было отступления — он должен был сыграть роль ярого конституциониста. Он должен был воспитывать в царе конституционного монарха и рисовать опасности отступления. Он должен был распропагандировать своего повелителя. Проводя часы в обществе царя и царицы, он вкладывал в свои косноязычные речи такие силу и убедительность, каких не проявлял перед сонмом своих врагов в Государственном совете и других учреждениях. Впоследствии, рассказывая об этих часах, он сознавался, что не верил в успех. А однажды, после возвращения из Петергофа, измученный, обмякший, с потухшим взором он уронил хриплой скороговоркой:

— Молитесь, чтобы меня минула сия чаша...

Но чаша была уже над ним.

17-ое октября

В один из осенних вечеров Витте спешно меня вызвал.

— Вот что, голубчик, нужно написать две записки. Одну — строго секретную, для государя, другую — для публики...

Витте ходил с видимым волнением и обжигал меня испытующими не то ласковыми, не то недоверчивыми взглядами. Я замер.

— У вас иногда выходит...

— О чем же, Сергей Юльевич?

— О конституции...

Слово это сорвалось у Витте впервые. Я вздрогнул.

— У государя панический страх к этому слову. Отчасти наследственный, отчасти внушенный. Нужно его побороть и научно, и исторически. Когда конь боится куста, его обводят вокруг него. Задача первой записки в этом. Я дам вам материал. А уж вы сами найдите подходящий стиль. Вам иногда удается. Забудьте, кому назначена записка. Пишите так, словно перед вами аудитория врагов конституции, которую нужно побороть и логикой, и пылким словом. Слово — великая вещь. Записка строго секретная...

Витте сверлил меня испытующим взглядом. Я робел.

— Не осилю...

— А вторая — для России, для всего мира. С нее все и начнется. Тут уже нужен не напор, а сдержка. Вы отлично знаете, какие русские круги требуют конституции. Вы и сами к ним принадлежите. О конституции лепечет «Нов[ое] вр[емя]» и даже «Гражданин». Но ведь конституция конституции рознь. И это глубочайший, не только государственный, но и всенародный переворот, с которого и государственная, и народная жизнь начинаются заново. От самодержавия к народовластию дистанция не меньшего размера, чем от анархии к монархии. Это всюду так, а в России — сугубо. Поверить Милюкову и Долгорукому[405], — тяп-ляп и карап. Самодержец может требовать, чтобы при встрече с ним люди выскакивали в грязь из экипажей и делали реверанс, но он не может требовать, чтобы к известному сроку люди выучились управлять собой. Управлять собой потруднее, чем другими. Одним словом, конституцию надо подготовить не только в законах, но и в быте, в правах. Дело государя — согласиться на конституцию, дело его правительства — подготовить и провести ее. Таков должен быть смысл записки. Она будет опубликована вместе с указом об учреждении Совета министров и должности его председателя, т[о] е[сть] премьера. И моим назначением на эту должность.

Я не ручаюсь за дословную точность приведенной беседы, но я ручаюсь за точность ее смысла. Я ручаюсь еще, что в ту пору, т[о] е[сть] о наложении щипцов на младенца русской свободы[a]. И что Витте, а, пожалуй, и Николай II, ждали и верили в его естественное гармоничное рождение. Хотелось бы еще удостоверить, что Витте той эпохи распрямился в рост подлинного Сперанского. Ниже мы увидим, когда и куда все это испарилось.

Я вышел из «белого дома» подавленный, но и окрыленный, — подавленный тяжестью возложенной на меня задачи и окрыленный гением моего вдохновителя. Два дня я вставал из-за письменного стола лишь затем, чтобы лететь к Витте и видеть его злостное разочарование:

— Не то, совсем не то!... Вы слишком стараетесь... Проще... Ваши статьи куда лучше.

---

[a] Так в тексте.

Я размяк. Решил сложить оружие. Набросал последний проект. Отвез. Кривя заранее неодобрением рот, Витте читал его, и рот расширялся в улыбку, а глаза поверх бумаги ласково-лукаво на меня уставились.

— Вот это то! Спасибо!

Доклад был опубликован вместе с Манифестом 17-го октября, а секретная записка, извлеченная большевиками из архива Николая II, была ими опубликована несколько лет тому назад[406].

* * *

События, сделавшие из смелого Сперанского загнанного сановника, а из русской конституции — «потерянный документ», случилось в последовавшие три недели. Россию с ее низами и верхами, царскую резиденцию, русское правительство и русскую интеллигенцию объяла тьма египетская. Розанов запечатлел эту эпоху в своей брошюре: «Когда начальство ушло». Кумиры падали и вырастали вплоть до момента, когда о бок с Витте очутился Хрусталев-Носарь, а в банках, министерствах и правлениях стал хозяйничать Союз союзов[407]. Все металось, бурлило, чего-то требовало, в чем-то отказывало. Трепов велел «патронов не жалеть», но каждый вечер где-нибудь устраивались митинги, на которых ораторы требовали низложения царя, ареста Трепова, созыва Учредительного собрания. Митинги не разгонялись, ораторов не арестовывали. В ожидании отставки Булыгин забастовал, а Трепов повторял:

— Конституцию, что хотите, лишь бы спасти династию!

Вильгельм прислал к Кронштадту пару своих миноносцев, а Фредерикс жаловался Витте:

— Досадно, что у государя столько дочерей. Посадка такой семьи в спешном порядке затруднительна.

Витте продолжал ездить в Петергоф сначала по железной дороге, а после железнодорожной забастовки на пароходе. Но приезжал он оттуда каждый раз все более удрученным.

— При каждой моей беседе с государем, — рассказывал он, — присутствует императрица. И она загадочно молчит. А за дверью, неплотно закрытой, сидят, я знаю, Орлов, Дрентельн и даже сам Игнатьев. Государь любезен, записка, кажется, его убедила, но при слове «конституция» императрица вздрагивает. Если бы не Трепов, если бы не страх за семью, все рухнуло бы.

У Витте продолжались переговоры с общественными деятелями. В один из вечеров он сказал мне:

— Пусть спасает Россию Игнатьев!...

А несколько дней спустя:

— С общественностью я распростился[408]. Кабинет будет из чиновников... Не одобряете? Но выхода нет. Люди не хотят мне помочь. Власть к обществу, а общество от власти... Мужик к телке, а телка от мужика... Им подай Учредительное собрание, присягу!... Даже во Франции этого поначалу не было... Но... Будь, что будет! Гвардия еще наша. Если преображенцы скиксовали, то семеновцы, с Мином[409], пойдут за царя в огонь и воду...

— А рабочие, Союз союзов?

— Справимся...
— Из кого же составлен ваш кабинет?
— Моих бывших сотрудников Шипова, Кутлера и друг[их]...
— Широкой публике они не известны.
— Широкой публике и Милюковы с Гучковыми не известны.
— А министр внутренних дел?
— Дурново.
Я шарахнулся.
— Скандальный...
Витте освирепел.
— Дурново знает прекрасно полицейское дело, и он за еврейское равноправие... А еврейский вопрос — самый острый.
— Но ведь имеется резолюция Александра III...[410]
— То было время. А теперь другое. Я докладывал его величеству. И Трепов за него.
— Дурново будет вводить конституцию?..
— Вводить конституцию буду я. На его обязанности будет подавить революцию...

* * *

В обществе Дурново называли «Квазимодо». Он был широко известен своим любострастьем и скандалом с испанским послом Кампосаграде, в покоях коего он, пользуясь пожаром, сделал выемку писем своей любовницы. Тогда это вызвало крупнейший дипломатический инцидент. А Александр III на докладе министра иностранных дел поставил резолюцию: «Выгнать и впредь никуда не принимать!». Но талантов и воли «Квазимодо» никто не отрицал.

Весть об образовании кабинета из чиновников вызвала в оппозиционных кругах самое тяжкое впечатление. Разрыв Витте с этими кругами произошел именно на этой почве. Но Витте уже закусил удила. Родильные щипцы уже крепко были зажаты в его руках. Так или иначе, но младенца русской свободы он решил вырвать.

Последние до появления Манифеста 17-го октября дни были почти кошмарными. В эти дни прибыл в Петербург из своего имения в товарном вагоне вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич. Он имел бурное свидание с представителем бастовавших рабочих и с Витте. Явившись в Петергоф к царю, заявил, что застрелится у его ног, если царь не согласится на конституцию[411]. Последние усилия напрягал гр[аф] Игнатьев с камарильей. Заговорили вдруг о Горемыкине[412]. В Гродненском переулке у кн[язя] Мещерского и в Эртелевом у Суворина ставки делали на Витте. Но уверенности ни в ком и ни в чем не было. Страна была без власти, а жизнь — без руля и ветрил.

* * *

Как громом огорошил манифест. Я поскакал к Витте. По дороге задержали манифестации. У паперти Казанского собора — лес красных знамен. Грандиозный митинг с поношением царя и требованием Учредительного собрания. В грязи имя Витте. Ни полиции, ни войск! От Николаевского вокзала медленно двигаются флаги белые, впереди — царский портрет. У входа на Казанскую площадь — столкновение. С одной стороны «Марсельеза», с другой — гимн. Царский портрет изорван, растоптан. От Певческого моста скачут казаки. Ударили в тыл красным, прорвали их, врезались в белых. Крики, стоны, бегство. Каменноостровский оцеплен войсками. С трудом прорываюсь. «Белый дом» осажден. Войска уже стреляли.

Застаю Витте бледным, с потухшим взором, с собранным в гримасу обиды ротиком. По обычаю шагает.

— Где вы пропадали?

— Что случилось?

— Вот как ваш народ и ваше общество отвечают на царскую милость... Только что ушли представители вашего общества. Впереди — Проппер[413]. Представляете себе — Проппер в роли трибуна, революционера!.. Всем мне обязанное ничтожное насекомое... В бороду мне вцепился: гоните, говорит, Трепова, откройте тюрьмы, уведите из столицы войска! Каково? Гнать Трепова. А у него в руках все нити! Открыть тюрьмы анархистам и террористам! Вывести войска, чтобы нас с вами, да и всех ваших газетчиков, растерзали... С газетчиков и начнут. Спятили... Позади всех стоял представитель «Нов[ого] вр[емени]» и не протестовал. А рядом с Проппером — представитель кадет! И ни слова признательности!

Брызгая слюной, Витте мерял кабинет. Но и я потерял равновесие.

— Что это за манифест? Разве о нем была речь? Ни единым словом о нем вы не заикнулись. Кто автор?

Явился градоначальник[414], с ним какие-то генералы и штатские, в вицмундирах.

— Ну, что? — спросил Витте.

— Рабочие оттеснены, ваше сиятельство, мосты разведены.

— Войска?

— Наготове...

— А похороны Баумана?[415]

— Состоятся, но без процессии.

— Садитесь там, с ним, — указал Витте на меня, — и составьте обращение к населению! Я подпишу, и сейчас же расклеить по городу! Я им покажу свободу!

Витте провел нас в маленький кабинет, а сам остался с генералами и штатскими (то были отставленные и новые министры). Я начал писать приказ. Заметив мою нервность, градоначальник чуть улыбнулся.

— Вряд ли вам удастся. Нужно спокойствие! Сделанную ошибку нельзя исправлять другой...

Я вгляделся в генерала и успокоился.

— Что это за Бауман?

— Террорист. Убит третьего дня в перестрелке. На сегодня готовились грандиозные похороны...

Плохо ли, хорошо ли, приказ петербургскому населению мы изготовили. Градоначальник уехал. Я остался. У Витте кончилось совещание, и он меня позвал в кабинет.

— Садитесь. И молчите!

Сам он ходил и говорил как бы сам с собой.

— Меня осудят, но я не виноват... За эти три дня все вверх дном перевернулось... На конституцию решились по настоянию Николая Николаевича. «Но ведь ее даст Витте, — говорила камарилья. — Витте расчищает себе путь к президентству Российской республики». И царь, особенно царица, поверили... Поверили...

Витте воздел руки к небу.

— «Свободу, говорят, должны дать вы, государь, личным манифестом. Как Александр II дал свободу крестьянам... В исторические моменты царь непосредственно обращается к подданным»... Уговорили. Послали за Горемыкиным. «Пишите, говорят, манифест о конституции!». Без Горемыкина разве можно? Золотое перо. К тому же либерал... Иван Логгинович и накатал. Такое, что если бы его манифест появился, от старых законов лоскутьев не осталось бы[416]. А здесь сидел бы Хрусталев-Носарь...

Я собирался возражать.

— Молчите!.. Третьего дня явился Фредерикс. Ласковый такой. Так, мол, и так. «Государь желает связать с реформой свое имя, ну и ответственность с вас снять». Сует горемыкинское творение. Я ахнул... «Вы, говорю, ошиблись адресом. С этим манифестом вам следует поехать к автору его... Горемыкинскую конституцию пусть Горемыкин и вводит»... Опешил милый человек. «Государь, говорит, верит только Вам. На Вас указывает вся Россия» и проч[ее], и проч[ее]... «Доложите, говорю, его величеству, что я могу принять ответственность только за то, что сам делаю»... «Ну, тогда, может, Вы сами составите манифест?» — «Не знаю. Не думал об этом... Да и зачем он? Между мной и государем до сего дня не было о нем речи». — «Но я же Вам объяснил, — государь желает связать с этим актом свое имя»... Мы порешили, что старик переговорит с государем и даст мне знать. А вчера утром он телефонировал, что государь ждет меня с **моим** манифестом... Я взял с собой на пароход Оболенского (по прозвищу «балаболка») и Вуича (директора канцелярии премьера)[417]. Они вдвоем составили проект манифеста. Весьма коряво и опасно. Пришлось все переделать. Задержали ход парохода. Приехали к полудню. Дали перестучать на машинке. Наскоро позавтракали. В кабинете его величества была императрица и вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич. Царь и царица были очень бледны, но вел[икий] князь бодр и решителен... Прочтя манифест, государь передал его императрице. Та только сжала губы и чуть двинула плечом. Передали вел[икому] князю. Тот одобрил. Несколько минут мучительного молчания. «Решайся, Ника!» — сказал великий князь. Императрица вздрогнула. Государь уставился на нее. Та отвернулась и вновь дернула плечом. Государь широко перекрестился, взял перо... Императрица сделала движение и замерла... Подписал. Прощаясь, рука императрицы была, как лед, холодна, и она живо отдернула ее от меня. Государь дергал себя за ус. Великий князь крепко пожал мою руку... Назад мы гнали пароход. Приехали к четырем. Отдали печатать... Вот как было, — закончил Витте[418].

— Ну, а как будет?

— Видели? Так и будет... Кашу придется расхлебывать мне.

* * *

Переменив улыбавшийся «белый дом» на мрачную запасную половину Зимнего дворца[419], Витте переменил и свой внешний, и свой внутренний облик. Я никогда не видел его более усталым, угрюмым, осунувшимся, как в дни его «всемогущества». Он брюзжал и нюнил. Глаза его слезились, ротик собирался в гримасу обиды, ничего не осталось от орлиного постава головы. Перегруженный приемами и докладами, он мерил свой неуютный, длинный кабинет прежними шагами, подолгу останавливаясь у окна с видом на Неву, забывая о посетителе, теряя нить разговора. Темой его была вечная жалоба: одной рукой он должен сдерживать «конституционный пыл» сановников, другой — защищать конституцию от «мерзавца и предателя» Дурново. Позже законы писали старые сановники. В реформаторскую кухню были собраны все известные повара и поварята российской бюрократии, люди бесспорного ума и таланта, — все, что осталось от петровских коллегий, от учреждений ряда царей и эпох, — мозг правящей России. Веками они умело дирижировали оркестром самодержавия, правили колесницей, запряженной раком, щукой и лебедем. В роли прослойки между престолом и народом они умудрились сохранить веру (или делали вид) в любовь народа к престолу, соблюдая уваровскую формулу: «Православие, самодержавие и народность». Русскую конституцию стряпали фанатики абсолютизма. Плоть от плоти, кость от кости Валуева, Абазы, Дмитрия Толстого, Делянова — первых актеров 70-х и 80-х годов — они тогда специализировались на излечении России от зуда великих реформ, на примирении прогресса с «точкой» кн[язя] Мещерского. Целых 25 лет Россия, благодаря их талантам, жила закуской к «реформе». И вот потребовали «реформу», потребовали блюдо, не приготовив для него ни провизии, ни посуды, не пригласив со стороны ни одного специалиста. Государственной мудрости обучал своих коллег тот самый «неуч» Витте, которого, давно ли, в Государственном совете 90-х годов обучали этой мудрости они.

Покуда Витте законодательствовал, власть из его рук вырвал Дурново. Покуда премьер насаждал теорию народовластия, его подчиненный укреплял практику самодержавия: «Квазимодо» примкнул к группе кн[язя] Орлова и гр[афа] Игнатьева. Идя по линии наименьшего сопротивления, он убедил государя, а главное — императрицу, что революция уже изжита и что вообще у страха были глаза велики. Само собой разумеется, он кивал на Витте.

— Женатый на «жидовке» Витте — вот кто создал революцию.

(До сих пор еще не замерла легенда, что Плеве, в день своей гибели, вез царю доклад, изобличавший Витте в сношениях с иностранными революционерами, и что этот доклад попал в руки Дурново, почему Витте и **вынужден** был пригласить его себе в сотрудники).

Старый, почти десятилетний одиум, побежденный страхом, ожил. Отталкновение от Витте стародворянской и придворной России вспыхнуло с новой, еще не бывалой силой. Скончался в **опале**, уверяли, с горя «рыцарь» династии и друг Витте Трепов[420]. Любимец императрицы «Котик» Оболенский («друг» Матильды Ивановны) был отодвинут из интимной обстановки Царского Села. В Гродненском пер[еулке] кн[язь] Мещерский, уже опомнившийся от летних и осенних ужасов, уверял царя, что «конституция» — один из бесчисленных при-

весок (брелоков) самодержавия (Бог дал, Бог и взял). Воронцовы и прочая знать, после «иллюминаций» их усадеб вдыхавшие полной грудью власть становых, исправников и казаков, пели осанну «волевому Дурново» и предавали анафеме безвольного графа «Полусахалинского». В один прекрасный день Витте сунул мне какую-то бумагу:

— Любуйтесь!

— Что это?

— Мой доклад о Белостокском погроме[421].

Наверху его синим карандашом и каллиграфическим почерком, с двумя вопросительными знаками, было выведено:

«А мне-то какое дело??»[422].

— Читайте еще, — сунул мне Витте другую бумагу. — Ответ Дурново на мое требование восстановить на местах законность.

В письме этом Дурново категорически отказывал в повиновении Витте, указывая, что Россия в «когтях третьего элемента, созданного и взлелеянного реформами вашего сиятельства»[423].

— Вы, надеюсь, его уволите? — сбрехнул я.

— Если он раньше меня не уволит...

На приемах у премьера появлялись и исчезали местные деятели, — губернаторы, предводители дворянства и председатели губернских земских управ[а]. Спрашивали — в каком режиме пребывает страна — конституционном или самодержавном? Смотря по настроению, премьер то обрывал их, то ласкал. Ответ его сводился к схеме: старая песня на новый лад; новое вино в старых мехах. Озадаченные люди шли к Дурново и выходили от него осененными.

Пресса? Понадобилось бы много страниц, чтобы напомнить о фокусах-покусах русской прессы той эпохи. Началось, как помнят, с того, что после неудавшегося наскока Проппера на «бороду Витте» пресса решила обратиться к стране с манифестом. Манифест этот стряпался в залах редакции «Нов[ого] вр[емени]». Но старик Суворин заперся в своем кабинете и начальником связи между ним и заговорщиками был его сын, Михаил[424]. Спорили всю ночь, но к утру сговорились и поклялись Ганнибаловой клятвой манифест напечатать. Клялся и Суворин. В типографии «Нов[ого] вр[емени]» манифест уже был набран. Но вдруг звонок из кабинета Суворина:

— Разобрать.

Оказывается, на заре Витте телефонировал старику:

— Напечатаете, закрою газету!

Через три месяца Суворин отомстил Витте: он написал в своем «Маленьком письме»: «Вопрос, кто кого раньше арестует — Витте Носаря или Носарь Витте?»[425].

Обещанная в Манифесте 17-го октября свобода слова осуществлялась пока лишь свободой открывать новые газеты. Витте и мне предложил открыть газету под кличкой «Свобода слова» или «Слово свободы». Но меня предвосхитили кадеты, съютившиеся под знаменем Проппера. Этот бойкий, ходивший и «ку Плеве и ку Витте» газетчик предоставил кадетам честь и место о бок со своими «Биржевыми ведомостями» («Биржевкой»). Но после трех месяцев кадетское

[а] Бывал часто и Манасевич-Мануйлов (прим. автора).

«Свободное слово» замолкло: супруга Проппера решила, что 200 тысяч рублей, выброшенных на кадетскую затею, достаточно[426]. В ту же пору открылась и закрылась, при ближайшем участии поэта Минского и при содействии автора этих строк, горьковская «Новая жизнь»[427], где Горький впервые на деньги Сибирского банка познакомил Россию с идеями Буревестника[a].

* * *

Утихомирившаяся под железной дланью «Квазимодо», жизнь фабрик и заводов вновь забурлила. В самый разгар реформаторских трудов Витте забастовали рабочие заводов Путиловских и друг[их]. Вновь надвигался октябрьский кошмар. Дурново готовил войска, а Витте телеграмму. Бунтующим рабочим он писал: «Братцы рабочие, опомнитесь!»[428]. Я застал премьера чуть ли не в слезах.

— Что случилось?

— Сорвали мою телеграмму, оплевали, растоптали...

— По конституции они ведь вправе бастовать.

— У нас нет конституции, — рассвирепел Витте. — Вы все путаете.

— Что же у нас?

— Для блага России его величество даровал реформу. Для блага же ее может и отнять ее...

(После ухода от власти он формулировал новый строй несколько иначе:

— Я насадил на булавку мотылек! Сотня Столыпиных, Гучковых и Марковых[429] не снимут его. Его величество может сделать первым министром Дубровина[430], но Думу отменить не может...).

Витте готовился к выборам. В исходе их он видел спасение России и свое. Но к выборам готовились и враги его, реакционеры. Трюком их явилась аграрная реформа. Проект ее зародился среди тульских самодержавников. Его составил тульский предводитель дворянства гр[аф] Бобринский[431]. Экспроприировать дворянские земли предполагалось за весьма приличный выкуп. В сущности, это была разновидность операций Крестьянского банка. Так ее понял Витте. Приняв проект Бобринского из рук государя, Витте передал его своему министру земледелия Кутлеру. Тот его видоизменил. Вот этот окрещенный впоследствии «кутлеровским» проект земельной экспроприации и разорвался в «сферах», как бомба. Кутлеровскую аграрную реформу провалили те самые круги, что подали о ней мысль[432]. (Самое курьезное, что и без революции, судя по масштабу деятельности Крестьянского банка, все дворянские земли к 1930 г. перешли бы к крестьянам). Пожертвовав Кутлером, Витте уцелел[b]. Но, со своей стороны, заколодил проект земельной экспроприации проф[ессора] Мигулина и Трепова. Этот проект рекомендовал ему тоже государь. Витте ответил:

— Землю народу могут дать лишь народные избранники.

[a] Открылась тогда еще при «Прав[ительственном] вестнике», для полемики с кадетами, газета Витте «Русское государство», названная «бутербродной», опорой ее был автор этих строк (прим. автора).

[b] Кутлер отомстил созданием большевистского червонца (прим. автора).

Так злой рок вырвал у царской власти последний козырь в ее борьбе с революцией. А чтобы судить, насколько козырь был еще силен, насколько крестьянство в массе готово еще было поддержать и царя, и даже помещиков, упомянем, что крестьянство, напр[имер], Симбирской губ[ернии], пославшее в 1-ую Госуд[арственную] думу вождя трудовиков «бунтаря» Аладьина, наряду с ним послало туда и шесть правых дворян...

* * *

После того, как «братцы рабочие» оплевали его телеграмму, как скандал с кутлеровской реформой расколол его кабинет, как Дурново перестал ездить на заседание Совета министров, пользуясь личным докладом в Царском, после всех уколов Суворина, Мещерского и даже Проппера, после пренебрежительного отказа разделить с ним власть Милюкова и даже Гучкова, Витте скис. Смахивая слезу и крестясь, он повторял:

— Народ ждет.

А когда первые результаты выборов указали, **какой** народ шел в первую Государственную Думу, он смолк и стал укладывать чемоданы. Прощаясь с товарищами по кабинету, он их благодарил. А Дурново сказал следующее:

— Вас, Петр Николаевич, я не благодарю. Потому что нашим уходом мы целиком обязаны Вам. Ваше поведение по отношению ко мне и коллегам не могу иначе квалифицировать, как предательство. Если нам, с огромными усилиями, удалось довести Россию до осуществления великой реформы, случилось это помимо Вас и вопреки Вам. Нас рассудит история. Но воспоминание о моем с Вами сотрудничестве будет печальнейшим из всех моих воспоминаний. Прощайте!

Дурново только пожал плечами. Сто тысяч руб[лей], подаренные ему государем, компенсировали его за обиду.

Витте поспешил вернуться в свой «белый дом». Я посетил его в день переезда. Огромный письменный стол, цвета которого я никогда не видел, до того он был всегда завален бумагами, был чист. Точно газон засеяли посреди комнаты. Только крошечное белое пятно на одном из краев его, и перед этим пятном старчески согбенная фигура. То — томик Шопенгауэра, а чтец — опальный Витте. Он тяжело поднялся.

— Вы один меня не покинули...

Зеленевший стол, за которым решалась участь России, молчал, как молчит зелень на свежей насыпи могилы. Не помню, о чем мы говорили. Но помню сорвавшееся с губ Витте несколько раз:

— Горемыкин... Горемыкин... Открывает Государственную думу — Горемыкин[433].

* * *

На эпохе рождения русской конституции подробно останавливается в своих «Мемуарах» и гр[аф] Витте. Вот, напр[имер], как Витте описывает возникновение Манифеста 17-го октября: «Один из редакторов манифеста, почтеннейший

кн[язь] А. Д. Оболенский (“балаболка”), как я **после рассудил**, был в состоянии **неврастении** (курсив везде мой). Он все время твердил мне, что манифест необходим, а через несколько дней после 17-го октября пришел ко мне с заявлением, что его сочувствие и **толкание** (?!) к манифесту было одним из величайших грехов его жизни. Теперь он, по-видимому, уравновесился и смотрит на вещи более здорово. Сам по себе он, по-видимому, человек благородный и талантливый, но устойчивым равновесием Бог его “мало наградил”».

(Этот «неустойчивый» автор манифеста вошел в кабинет гр[афа] Витте в качестве обер-прокурора Св[ятейшего] Синода).

Витте продолжает: «И когда за моей спиной начали фабриковать манифесты, то, вопреки моему желанию, был спешно составлен манифест Оболенского. Несомненно, что по крайней спешности и забаламученности манифест явился не в совсем определенной редакции, а главное — неожиданно. Пришлось все вырабатывать спешно, при полном шатании мысли»...

И наконец: «Действительно, Манифест 17-го октября в редакции, на которой я настаивал, отрезает вчера от сегодня, прошедшее от будущего. Можно и должно было не спешить с этой исторической операцией, сделав ее более осторожно, более антисептически, но операция эта, по моему убеждению, раньше или позже была необходима, как прогресс бытья... Поэтому хоть я и не советовал издавать манифеста, тем не менее, слава Богу, что он совершился (!!). Лучше было отрезать, хоть и не совсем ровно и поспешно, чем пилить тупой кривою пилой (!!), находящейся в руках **ничтожного** и потому бесчувственного (!!) оператора, тело русского народа...»[434].

При всем косноязычии этих записей — Витте и на бумаге был столь же косноязычен, как на словах, — явствует, что величайший акт в жизни России и Витте был составлен человеком «неустойчивого равновесия», при «крайней спешности и взбаламученности» и «при полном шатании мысли».

Таково признание Витте. И, тем не менее, он считает, что русскую свободу лучше было отрезать «хоть и не совсем (?) ровно и поспешно, чем пилить тупой кривой (?) пилой, находящейся в руках ничтожного и потому бесчувственного (?) оператора». Ничтожный и бесчувственный оператор, очевидно — император Николай II.

Когда Витте агонизировал, меня спросили, какую эпитафию я бы поставил на его надгробной плите. Я усмехнулся и брякнул: «17-ое октября». Но меня приняли всерьез: на черном мраморе виттевской могилы в Александро-Невской лавре горит золотая надпись: «17-ое октября».

Закат

Родись Витте американцем — он стал бы миллиардером; в диких прериях собрал бы неисчислимые стада; в Калифорнии открыл бы золотую жилу; среди индейцев — стал бы вождем; среди разбойников — атаманом. И это не потому, что голова его была полна проектов, что сердце кипело мужеством, что хотелось подвига, — в голове его был часовой механизм организатора, овечье сердце вспухало от страха и жажды земных благ, мстительности и интриганства, а хотелось ему только первоисточника всех наслаждений — власти. Вот именно этот подход

к власти, как к тучному коровьему вымени, и делал его у власти дикарем. Не он один в эпоху распада дорвался фуксом[435] ко власти: до поста государственного контролера достукался «певчий» Тертий Филиппов, министром путей сообщения был «банщик» Рухлов, а раньше — «жулик» Кривошеин. Целая свора лакеев, прожектеров, фигляров, вплоть до паралитика Протопопова, ворвалась в те дни на русский Олимп. Но только Витте, просидевший на нем целых 13 лет, от первого до последнего дня, все также коробил и шокировал своих коллег. Не нелепой своей внешностью, не грубыми манерами, а какой-то своей домашностью в государственном деле, сан-фасонством и, простите за выражение — каким-то похабством своих приемов. Точно он был вечно расстегнут там, где полагалось быть застегнутым, точно он являлся в дезабилье[436], принося с собой что-то альковное, пряно-виттовское, вкладывая его в дело государственное и общественное. Вот эта сгущенная виттовская индивидуальность, эта гнетшая всех и каждого виттовская субъективность, этот «запах» Витте в любом его начинании, эта лепка им государева дела по способу дела частного, эта простоватость и как бы даже придурковатость в приемах, требовавших отточенности и преемственности, этот лихой наскок деревенского парня и даже самая его косноязычность (как презрение к форме) — все специфически виттовское, что составляло его оригинальность и силу, было в то же время и его одиумом. Дикарем он ворвался на российский Олимп и дикарем его покинул.

* * *

В стране дремучих лесов, тьмы бесправия и кастовой общественности, в обстановке патриархального добывающего труда, с 90% сельскохозяйственного населения, где о бок с царем властвовал его превосходительство урожай, в одно десятилетие взрастили дерево, потребовавшее для своего роста в **свободной** Европе сотни лет, взрастили, притом на чужие деньги, чужим опытом и умом и без какого-либо правового или бытового фундамента. Никто, понятно, тогда об «опыте» Ленина, составляющем естественное продолжение опыта Витте, не думал. Но уже тогда видно было, как народ, отрываясь от земли к фабрикам и заводам, вне просвещения, гражданственности и заботливого ухода за его телом и душой, развращался, спивался, сходил на нет. Если интеллигента-нигилиста создала политика Николая I, то простолюдина-хулигана создала экономика Витте. Тот «сброд», который, по сознанию большевиков, перевернул кверху дном Россию и взметнул их к власти, родился, вырос и окреп при Витте. Все три русских революции проделали четыре миллиона теплично взрощенных, безграмотных, бесправных и споенных рабочих. Витте это понял только в 1905 году, когда в ужасе от содеянного лепетал: «Народ идет». Ибо тогда уже он знал, что народ пошлет в Думу не Хорей и Калинычей, а фабрично-заводской «сброд», за которого предстательствовала вся оппозиционная интеллигенция, у которого были агитационные деньги и приобретенная на митингах развязность[437]. Оправдываясь, Витте всем повторял, что политическую революцию в России захлестнула социалистическая. Но была ли бы она мыслима, если бы истраченные на искусственное насаждение промышленности и поддержание курса рубля, не говоря уже об авантюрных затеях в Маньчжурии и Персии, миллиарды были истрачены

на народное просвещение, на интенсирование сельскохозяйственного труда, на **принудительный** выкуп помещичьей земли и на планомерную, постепенную индустриализацию **некоторых** лишь районов России, при соответствующей реформе рабочего законодательства?! Ведь неспроста же в эпоху виттовских «реформ» почти не было террористических покушений. По заграничным сведениям, по нелегальной литературе тогда уже выяснилось, какие надежды русская революция возлагает на Витте. Я далек от мысли, что Витте сознательно вел Россию к пропасти. Я даже готов допустить, что в его не уравновешенном опытом и внутренней дисциплиной миросозерцании он ковал счастье России, — ковал тяжелым молотом и дубиной, как великий Петр и безумный Ленин.

Если верить Витте, за 13 лет своего диктаторства над великой страной он не совершил ни **единой** ошибки, — ничего, в чем бы он мог каяться. Так он заявляет из-за гроба. Все скверное, что приключилось с Россией за это время, шло мимо него и вопреки ему. За современниками и сподвижниками он не признавал не только творчества, но даже трудоспособности. В лучшем случае это были «высокопочтенные» бездарности и ничтожества. Великому реформатору пришлось творить в атмосфере злой воли, разнузданных инстинктов, меднолобия, корыстолюбия, разврата.

Но покуда правая рука его творила, левая разрушала. Между Витте «обожавшим» и Витте сплевывающим, между Витте, обескровившим страну, и Витте — пробудившим ее от спячки, между Витте-патриотом и Витте-интернационалистом, фантазером и реалистом, народоненавистником и народолюбцем, между Витте гениальным и бездарным, большим и малым, летающим и ползающим, разницы нет. Тот же Калиостро делал политику правую и левую, цесарскую и бунтарскую, жонглировал убеждениями и правдой, гипнотизировал, насиловал, ласкал и истязал.

Величайший из «двойников» русской доли, Витте, как русалка, защекотал Россию. Сфинкс России интеллигентской, он явился предтечей сфинкса мужицкого — Распутина. И оба эти сфинкса были глашатаями третьего — сфинкса большевизма.

* * *

Если власть — гипноз, Витте был гипнотизером. Заставить себя слушаться, заставить на себя за совесть работать, этим он владел с совершенством. Возле него был улей. Пчелы-работницы улетали и прилетали, собирая цвет русской жизни, перерабатывая его в мед; клеили клеточки, в которых должна была затеплиться новая жизнь. Как царица этого улья, Витте был обложен сотами чужого творчества, имея лишь одну задачу, владея лишь одним талантом — обсеменения. В этом вульгарном, лишенном всяческих элементов поэзии, прозаике был какой-то гигантский семенник. Одного прикосновения к Витте было достаточно, чтобы напрягались нервы и мысль, чтобы начинал работу аппарат творчества. Обладая редким среди русских даром слушать, Витте своим крупным мозгом, своей дерзкой волей, своим нахрапом впитывался в души работавших на него, высасывая до дна все их содержимое, выжимая их, как лимоны. А выжав... бросал. И это без малейшей неловкости, сентиментальности, с простотой и наивностью ребенка,

отрывающего у мухи крылышки. Все это знали и все давали ему выжимать себя, давали свои крылышки — такова была сила притяжения этого колдуна. Возле Витте поэтому курился сплошной подвиг жертвенности, — люди шли к нему, как на Голгофу, с покорной и даже восторженной улыбкой: возьми и убей! И Витте брал и убивал. Защищая свою царицу и собранные для нее соты, пчелы жалили и умирали. И шли за ней сплошной массой, когда царица меняла место. И завивали для нее новый улей, и вновь на нее работали, чтобы за нее умереть...

Вот сухой согбенный старец — поляк Малишевский. Давно ли он был молод и строен? Гениальный математик, он сложил свой гений к ногам Витте еще в Киеве, помогая ему управлять Юго-Западными ж[елезными] дорогами. В Петербурге он занял пост директора кредитной канцелярии — позвоночника ведомства финансов. Банки, акционерные общества, денежное обращение, заграничные займы — всем этим ведает кредитная канцелярия. Фанатик долга, виртуоз дифференциалов и интегралов, скромный, тихий и честный, Малишевский нес на своих плечах весь шквал денежных реформ Витте, всю кутерьму затеянного «насаждения промышленности» и грюндерства. Не Малишевский виновен в одиуме виттовской свистопляски: как технику, ему лишь задавалось заданье. Сложнейшие выкладки, конверсии, золотая валюта, уставы банков и акц[ионерных] обществ, условия займов и проч[ее] — все это творил для блеска Витте тусклый Малишевский, переименованный своими коллегами в Умалишевского. Витте так заездил гениального математика, что его гений толкнулся о сумасшествие...[438]

Опорами виттовской храмины были еще: Ковалевский, Максимов, Романов, Путилов, Плеске. Только один из них — Путилов, — сумев вовремя вырваться из тисков Витте, сделал блестящую банковскую карьеру, красуясь и поднесь на финансовом небосклоне Парижа. Остальные все были заезжены. Особенным блеском между ними отличался В. И. Ковалевский, управляющий русской торговлей и промышленностью. Только впоследствии, когда из деп[артамен]та Ковалевского было образовано особое Министерство торговли и промышленности, поняли, какое бремя нес на себе этот человек и как трудно было найти ему заместителя[439]. Но и Ковалевский, как и Малишевский, был лишь гениальным техником своего дела, строя для Витте мост к славе. Этот мост он выстроил, а сам завял, скис, попав в сети авантюристки Шабельской (матери убийцы Набокова)[440], с которой у него был скандальный процесс — Максимов был тоже наперсником Витте еще с Киева. Его гений специализировался на тарифах. Все громкие виттовские реформы в области жел[езных] дорог и вся нашумевшая его тарифная политика — детище Максимова. Этот маленький, скромненький человек с язвительной усмешкой, совершенно затушеванный огромной фигурой Витте, был в действительности хозяином всего железнодорожного дела в России: выкупал в казну дороги, строил новые, кроил тарифами, как ножницами, географию России, словом — манипулировал самыми насущными интересами страны и судьбой таких мастодонтов, как Половцовы, Сущов, Поляковы, Кокорев, Мамонтов, бар[он] Штейнгель и друг[ие]. Само собою разумеется — манипулировал по директивам Витте. Выжатый и брошенный, он кончил мелким гешефтмахерством... Романов — скромный, верный пес Витте, в роли директора канцелярий, согласовал с законами дикие выходки и беззакония временщика. А Плеске — управляющий Государственным банком, лежал на сундуке, куда Малишевский, Ковалевский, Максимов

сгоняли золотые реки, приотворяя этот сундук по сигналу Витте. От лежания на сундуке он схватил саркому и умер.

Я называю лишь главных сподвижников временщика, выстроивших здание его славы и живот свой положивших на этом неблагодарном деле. Трудились же над этим зданием тысячи каменщиков, плотников, столяров, имена коих никогда не узнает история. Эта армия, этот улей дали Витте имя, могущество и миллионы. Ни одному из них он не посвятил теплого слова в своих мемуарах, ни звуком не обмолвился, кто сочинял его реформы, доклады, целые книги. Улей складывал соты к ногам царицы. В сотах было все, что нужно было для жизни и счастья России. И вина не улья, если из сотов этих Витте выбрал лишь то, что нужно было для чревоугодничества, претворяя мед в деготь. В этом колдуне запрятана была трехэтажная мельница: в ее первом этаже засыпано было отборное, ядреное зерно, стянутое волшебством колдуна с самых тучных нив всего света. Тут надпись: «Русский гений». Зерно подымалось во второй этаж — с колбами, ретортами, микроскопами, астрономическими и иными инструментами, картами, диаграммами, библиотекой и целой системой жерновов. Тут колдун делал свои «опыты», пропуская зерно через всевозможные жернова и препараты, сортируя, шлифуя, скребя и моя. С этого этажа Витте управлял Россией. И на нем сияла надпись: «Вера в Россию». Но вот зерно поступало в третий «интимный» этаж, с кабинетом и спальней колдуна, таинственными закутками, завешанными окнами, с приложенными к ним подзорными трубами, пулеметами — с орудиями пыток и наслаждений. Здесь — бесчисленные вальцы для тонкого перемола зерна. И к каждому из них тянется один из нервов и мускулов колдуна. Каждый из них мелет не столько муку, сколько мысли и чувства колдуна — его интимную жизнь. И все они приводятся в движение маховым колесом, над которым горит надпись: «Все дозволено»! В этом этаже Витте жил и писал свои «мемуары». Из этого этажа великая страна получала снедь, пропущенную через тончайшие извивы души и чрева колдуна.

* * *

Витте не умел сойти с исторической сцены с достоинством, как его предшественники: Сперанский, Лорис-Меликов и даже Победоносцев. Творец «конституции» не без злорадства наблюдал, как его творение загнивало. В его душе повторилась драма, когда в японскую войну он и скорбел о русском позоре, и радовался ему.

Закат диктатора прошел в зловещем отблеске страха и злости. Особую ненависть Витте питал к Столыпину.

— Я жду обыска... — говорил он. — Они знают, какими документами я обладаю. Но они не знают, что документы эти давно переправлены в надежное место, в Биарриц... Чтобы вырвать их у меня, они готовы на все. Его величество прислал ко мне Фредерикса в Париж с предложением не возвращаться... Я ему ответил, что Витте могут арестовать, убить, но в эмигранта не превратят... Мои «воспоминания» будут напечатаны. Но не ранее 40 лет после моей смерти... И во всяком случае, когда ни одного из лиц, о которых я пишу, не останется в живых... Я так распорядился, взял клятву с жены. (Мы знаем, как графиня Витте сдержала эту клятву)[441].

Годы столыпинской власти были, должно быть, самыми тяжкими в жизни Витте, более тяжкими, чем годы власти Плеве. За эти годы он не только постарел, но и одряхлел. Но с убийством Столыпина воспрянул. И в последний раз, как пламя догорающей свечи, как лебединая песня, завилась в «белом доме» на Каменноостровском интрига властолюбца.

Разразившаяся война застал Витте в Наугейме, откуда ему удалось проскользнуть в день объявления ее в Биарриц. Откуда он мне писал в Швейцарию: «Случилось самое худшее, что можно было ожидать для России, Германии и всего мира. Всю свою жизнь я посвятил, чтобы избежать этой катастрофы. Не удалось. Если бы его величество назначил меня послом в Берлин, как обещал, этого не случилось бы. Я бы уцепился за штаны кайзера, но до войны не допустил бы. Но Сазонов назначил Свербеева. Это насекомое... Хуже не могли выбрать... Вильгельм отказался его принимать... Целые месяцы после назначения Свербеев не мог добиться аудиенции у кайзера. Это же наказание Божье... Я болен, едва двигаюсь. Но, мертвого или живого, меня привезут в Россию...»

А в «белом доме» я увидел тень былого Витте. И уже никакого злорадства, никакого торжества не было в слезящихся, когда-то «орлиных» глазах. Едва двигаясь по кабинету, он косился на полку, где стоял портрет Вильгельма.

(Портрет этот был перевернут спиной наружу).

Раз или два Витте пригласили на какие-то заседания какого-то воинского комитета; раз или два царь видел его по вопросу постановки памятника Александру III (Витте был председателем комитета по сооружению памятника)... И все.

О Витте вспомнили лишь когда его огромное мертвое тело вытянулось на низкой лежанке в белой атласной гостиной «белого дома». На панихиду съехался весь Петербург. И все равнодушно взирали на поверженного смертью, но давно уже умершего для России гиганта с маленьким сморщенным личиком, потерявшим всякое выражение от сомкнутых век.

Так на сморщенном катастрофой лике России сомкнулась слава этого человека. Ни злости, ни интриги не было на лице мертвого Витте.

Глава XV[a].
Кн[язь] Мещерский

О кн[язе] Мещерском Амфитеатров сказал:

— Само собою разумеется, мы знаем, что Мещерский не дурак. Но мы обязаны считать его дураком...

Другой писатель либерального лагеря, когда «Гражданин» однажды был запрещен, вздыхал:

— А знаете, без «Гражданина» скучно. Он нас безмерно злит. Но без него — что покойник в доме...

Старик Суворин в одном из своих ядовитых «Маленьких писем» писал: «Мещерский злит своим ханжеством, фарисейством, каким-то неглиже в решении общественных вопросов, каким-то противным менторством. Этот господин взял своей задачей становиться против течения, специализироваться на том, чтобы хлестать кнутом в лицо общественного мнения...» (цитирую по памяти).

О Мещерском была написана литература. А сам он написал больше Вольтера и Руссо, вместе взятых. После Достоевского только Амфитеатрова да Немировича-Данченко можно назвать плодовитыми. Но Мещерский их перещеголял: в день он отмахивал по пол-печатного листа. Свой «Гражданин» он наполнял почти единолично. Писал, как и Меньшиков, без поправок, но Меньшиков выводил бисер, а Мещерский каракули. Во всей России было лишь два наборщика, их разбиравшие. Один из царей, с которым он переписывался, не выдержав, взмолился: «Да пишите же разборчивее! Не могу же я целый день Ваши каракули расшифровывать»...

Сын обедневшего аристократа, внук Карамзина[442], близкий родственник целой плеяде именитых членов [...][b] [...]а[c], друг и советчик Александра III и Николая II, Мещерский ухватился за свой кнут еще при Александре II. В ту пору либерализм (как впоследствии черносотенство) был хорошим тоном и, пожалуй, — ступенью к карьере. От Милютина до Лориса тогда ведь росла волна осво-

[a] Выше строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».
[b] Далее в рукописи оставлено пустое место.
[c] Часть слова утрачена.

бодительного движения. И приобщались к ней не только элементы общественные, как Краевский, Стасюлевич, Михайловский, но и власть в лице вел[икого] кн[язя] Константина Николаевича, великолепного Абазы, военного министра Милютина и друг[их]. Да и сам Освободитель кокетничал [с] либерализмом. В ту пору роль Пуришкевича и Маркова играли делавшие карьеру Валуев, Тимашев. И даже Катков (не говоря уже о перекрасившемся Тихомирове) отдал дань общему увлечению. И вот в эти стихийно-либеральные дни выскочил со своим бичом титулованный юноша. Хлещет и вопит: «К реформам надо поставить точку». Его так и назвали: «Мещерский — точка». Однако разглядывали еще без злости, больше с любопытством. Было ясно, что юноша бьет лбом о стену во имя идеи. Как всякая идея, идея Мещерского нашла своих последователей. Во главе их стоял обаятельный наследник престола Николай Александрович, старший брат Александра III.

Переписка Мещерского с покойным наследником полна исторического и психологического интереса[443]. Мещерский, напр[имер], уговаривал юношу окунуться в русскую действительность, а царственный юноша отвечал: «С луны щей не хлебают»...

За наследником тянулись другие. Мещерский становится центром какого-то не то реакционного, не то литературного кружка, во всяком случае — оппозиционного тогдашней власти. Вокруг него: Победоносцев, кн[язь] Воронцов, Львов, гр[афы] Шереметев, Виельгорский и другие. Петербург засуетился. Министр внутренних дел Валуев прикусил язык. Имя Мещерского произносилось во дворцах. Все было хорошо, пока не умер Николай Александрович. Дружбу с Мещерским он завещал брату. И брат добросовестно стал ездить на конспирационные собрания в Почтамтскую, а полиция целые ночи дежурила, ожидая высочайшего разъезда. Но Александр был молодожен, и юной супруге его, Марии Федоровне, полицейское терпение было чуждо. Она побежала к царю, расплакалась, передала городские сплетни. С конспирацией покончили. И юный оппозиционер так же быстро скатился с Олимпа, как и взобрался на него.

Эту первую свою неудачу он перенес стоически, скопив лишь злобу против навредивших ему кругов большого петербургского света. С этого перепутья карьера этого человека могла пойти в сторону либо служебных и светских успехов, либо — лабиринта общественности. Брось юный князь свое обличительство, пристройся он ко двору и власти, на месте Лориса или Толстого, вероятно, сидел бы он. По тому времени он был блестяще образован и обладал удивительным пером. Но Мещерский предпочел отплатить не понявшему его свету и надутой власти. Он пишет два своих капитальных романа: «Женщины петербургского света» и «Один из наших Бисмарков» — блестящую картину светских нравов и злейшую сатиру на власть. Это его лучшие и, пожалуй, единственные в художественном смысле произведения. Они заслуживают ему довольно громкое имя, но навсегда отрезывают от круга, к которому он принадлежал, и от официальных атрибутов власти. Бросив свой жребий, Мещерский переходит Рубикон, отделявший тогда «свет» от общества — становится писателем. И притом — оппозиционным.

* * *

Связывать имя Мещерского с оппозицией на первый взгляд странно. Тот Мещерский, которого кляла Россия, в ее понятии был злейшим реакционером, подыгрывал к власти, а если кому оппонировал, то лишь обществу в его стремлении к свободе. Теперь, когда мы уже **не обязаны** считать его ни дураком, ни мерзавцем, да будет дозволено сказать о человеке, сыгравшем свою (и немалую) роль в российском распаде, несколько правдивых слов.

Не было в русской журналистике большего бунтовщика, как этот пожиратель субсидий. Впрочем, субсидии пошли позднее. На арену публицистики Мещерский выступил бедным, как церковная мышь — как Суворин. Один, замызганный учитель, за подписью «Незнакомца» писал свои блестящие обличительные фельетоны в коршевских «С[анкт]-Петербургских ведомостях»[444], другой — элегантный кузен Демидова Сан-Донато, на пожертвованные тем гроши, основал свой обличительный «Гражданин»[445]. Суворин хлестал плутократию, Мещерский — аристократию. Суворин богател, Мещерский — беднел. Не обогатила его и целая серия романов, которые он пек как блины. Романист он был «сентиментально-обличительный», по отзыву Суворина. Но даже этот вечный его подсиживатель не отрицал за Мещерским знания нравов большого света и таланта ядовитой сатиры. Однако не беллетристика и не сатира заслужили ему ненависть общества. Его возненавидели за бич. Ему не прощали влияния на двух реакционных царей. Всеобщему остракизму была предана его карьера «шептуна».

Только в России были мыслимы такие карьеры. Делали их и Катков, и Тихомиров, и Грингмут, и Марков с Пуришкевичем. Но карьера Мещерского затмевает подобные ей. Почти полвека непрерывного хлестания общества и власти и в то же время близости к источнику власти, борьба то на стороне угнетаемых, то на стороне угнетателей, разговор с публикой и шептание с царями, менторство без признания прав на таковое, управление страной без портфеля, аудитория без слушателей, крупнейшие исторические сдвиги без ответственности, удача без награды и ошибки без наказания, — почти полвека такой сгущенной двусторонней работы, такого кипения в двух совершенно разных котлах, сломили бы Вольтера, Бисмарка, Питта. Мещерский дожил до глубокой старости и умер, выпустив очередной номер «Гражданина» и сделав очередной визит царю, умер, бранясь с обществом и наставляя царя. Противопоставление элементов общества и власти — таков был лейтмотив всей его общественно-политической и секретно-государственной деятельности. И, кажется, здесь его главная вина перед Россией.

Вышел он, однако, на публицистическую арену иным. Была пора, когда сам Достоевский загляделся на смелого обличителя и сам впрягся в это занятие. Целый год он редактировал «Гражданина» и здесь начал печатать свой «Дневник писателя»[446]. Майков, Полонский, Тютчев, Леонтьев — плеяда светил 70-х и 80-х годов шла в ногу с юным консерватором. Консервативный «Гражданин» в ту пору был как бы противовесом отзвонившего уже «Колокола» и звонившего еще «Голоса»[447]. Все, кто не кланялись Краевскому, Стасюлевичу и Михайловскому, шли на поклон к Каткову и Мещерскому. Стоя между ними, Суворин поливал ядом и тех, и других. Но в Мещерском той поры еще признавали общественную

силу — злящую, колючую, но силу. Сила эта пала с получением Мещерским первой субсидии.

Было лето 1883 г., Александр III короновался в Москве. После десятилетнего разрыва Мещерский пишет ему поздравительное письмо и получает из Петровского дворца ласковый ответ. Письмо царя кончалось фразой: «Итак, милый князь, кто старое помянет, тому...». Письмо это решило участь «оппозиционера», а может, и России. Как раз в то время, когда Суворин, купив у Лихачева «Новое время»[448], пошел резвым пейсом по течению, Мещерский, создав на казенные деньги ежедневный «Гражданин», пошел столь же резво против течения. И хотя с тех пор хлестал он общество непрерывно и больнее прежнего, но общество уже не чувствовало его ударов — оно выплюнуло его. Консерватизм Мещерского из общественного стал официозным. Его самые горячие, порой справедливые призывы встречались насмешкой. Талант Мещерского не угасал до его смерти, угасла лишь его личность. Несколькими десятками тысяч казенных рублей был вычеркнут из общественного обихода здоровый, необходимый для равновесия консерватизм. Вряд ли это поняла власть; но тот, что продал старшинство за чечевичную похлебку, кажется, это понял. И свою душевную муку топил во хмелю властвования.

* * *

То было его первое пришествие к кормилу правления. Покуда жил гр[аф] Д. Толстой и орудовал Победоносцев, влияние Мещерского сказывалось лишь косвенно — он лишь подпевал этим слонам. Но вот настали дни «милейшего» Дурново, и Мещерский стал хозяином положения. Назначение Витте, Тертия Филиппова, Кривошеина (первого), Плеве, Зенгера, Маклакова, Хвостова, Барка, Штюрмера и многих других сановников той эпохи — дело его рук[449]. Его «литературные среды», собиравшие прежде литературный Петербург, превратились теперь в политические. И к нему еще более, чем к ген[ералу] Богдановичу[450], ездили на поклон. И возле него курилась лесть, подхалимство, авантюризм. И борьба с либерализмом выродилась в травлю неугодных лиц. А священный огонь трибуна был задушен пеплом сплетни, доноса, лицеприятий.

Александр III был все же цельной личностью. И управлять им было нелегко. Да и Мещерский в ту пору еще дышал атмосферой Достоевского, Леонтьева. Став из консерватора реакционером, Мещерский не управлял событиями той эпохи, а скорее сам шел в хвосте их. Угрюмый молчун — царь, читавший лишь «Кронштадтский вестник»[451] и «Гражданин», искал в бойком пере Мещерского литературного отражения нот, отзвучавших в их общей юности. При Александре III Мещерский лишь испробовал диапазон влияния, которое можно было безответственно оказать на русскую власть.

Во всю ширь это влияние он развернул лишь при Николае II.

Типичность юного царя сказалась, прежде всего, по отношению к самому Мещерскому. Сын Александра III, как известно, не был «подготовлен» к царствованию. Не был «подготовлен», положим, и отец его, — подготовляли покойного его брата Николая Александровича. Но в Александре III преобладала кровь

мужского начала династии Романовых — Петра и Николая I, а в сыне его — кровь женского начала — Павла и Александра I. Занятый по горло непривычным ему делом — управления страной, тяжелодум и однолюб Александр III оставил своего сына на попечение жены, взяв ему для проформы бесцветного воспитателя Данилевского[452]. Последний был ничтожеством, а датчанка Мария Федоровна — женщина обаятельная, честная, но на престоле провинциалка. Боясь как огня своего мужа, она распрямлялась перед сыном. И вот, у великана-отца, подгребшего под себя огромную страну (Александр III гнул подковы), рос сын — сравнительно пигмей, тоже боявшийся как огня своего отца, — рос, можно сказать, на женской половине Аничковского и Гатчинского дворцов, пропитанной пересудами и капризами. Николай II был в мать. А императрица ненавидела кн[язя] Мещерского. И потому, вступив на престол, он просил князя не беспокоиться помогать ему царствовать[453].

Первые месяцы нового царствования, вплоть до «бессмысленных мечтаний», прошли, как известно, под знаком либерализма[454]. Переписывался с монархом тогда не кн[язь] Мещерский, а кн[язь] Ухтомский, приютивший в своих «С[анкт]-Петербургских ведомостях» гнездо радикалов с Ашешовым во главе, и известный земский статист, психопат Клопов. Для издателя «Гражданина» настали черные дни.

Но кн[язь] Мещерский лечился тем, чем ушибся. Став жертвою царского каприза, он ждал каприза в свою пользу. И дождался.

* * *

Влияние Марии Федоровны падало по мере роста влияния Александры Федоровны. А эта последняя ничего против князя не имела. На кресло министра внутренних дел взобрался, при помощи гр[афа] Шереметева, родственник князя — «Митя» Сипягин[455]. Либерализм Николая II уже выветрился. И все больше овладевала им жажда величия. И все чаще вспоминался ему гнувший подковы отец. Второе пришествие Мещерского, подстерегавшего свой час, случилось, когда на месте «бессмысленных мечтаний» надо было вышить осмысленную действительность. Влияние на историю России Мещерский оказал, кажется, именно в это пришествие. Дело не в назначениях, которые он вырвал у царя, — дело в самой сущности его влияния. При Александре III оно было лишь направлявшим, при Николае II воспитывавшим. На хляби капризов Мещерский пытался создать твердь самодержавия. К болезни воли Николая II Мещерский применил метод знахарей, пользующих импотентов — метод искусственного возбуждения, душевного комфортатива. Совершенно тот же метод применяла к своему мужу в последние годы его царствования и Александра Федоровна (см. ее письма). Мещерский и императрица вспрыскивали в вены Николая II тот же мускус. Поражают даже одинаковые их выражения: «Покажи, что ты царь, самодержец, согни, сокруши, раздави». (Письма императрицы). Мещерский, понятно, делал это талантливее императрицы, и ему принадлежит пальма первенства на этом пути. Результаты, однако, получались те же: взмыленная воля направлялась сплошь и рядом против тех, кто ее взмыливал.

Однажды, в припадке злобы, Витте мне сказал:

— Мещерский вздрючивает волю царя. Это — самое большое его преступление. И это кончится катастрофой...

Не нужно, однако, было быть Витте, чтобы прозреть в будущее. Взвинченная царская воля стала обращаться против тех, кто ее взвинчивал. После назначения Плеве царь пишет Мещерскому: «Теперь я могу спать спокойно, имея такого друга, как ты». А немного спустя: «Я, наконец, уверовал в себя... Мы заключили с тобой оборонительный и наступательный союз». Но, когда Мещерский предостерегал его от безобразовской авантюры на Ялу, царь обрывает его: «Не могу же я исполнять все твои советы и желания... Я — царь»[456]... Дозы мускуса, как известно, надо увеличивать. Если бы Мещерский следовал этому закону и санкционировал безобразовщину и распутинщину, влияние его, пожалуй, стало бы неограниченным. Но в этом старом шептуне проснулся «оппозиционер», а, может, и просто патриот. Против Безобразова, а впоследствии и против Распутина, он резко встал на дыбы. И... сломал себе шею.

Последним его «насилием» над волей царя было заступничество за Витте. Этот ненавистный царю временщик, не поднимавший, а угнетавший дух монарха, был обречен. Плеве с Безобразовым уже настояли на его отставке. Она уже лежала на царском столе. Витте взмолился в Гродненском переулке, и старый князь ринулся в опасную борьбу. Он победил — победой Пирра. Позорная отставка была заменена милостивым рескриптом[457]. Мещерский сломил Плеве, но сломил и царево сердце. Николай уже не простил ему этого «насилия». Витте он все-таки выгнал, а Мещерский из шептунов интимных попал в шептуны почетные. Настала эра Распутина.

* * *

Третье и последнее пришествие Мещерского совпало с зенитом распутинского бесчинства, года за два до великой войны. (Звеном нового сближения его с Царским был на этот раз адмирал Нилов, флаг-капитан царя). Это последнее пришествие одряхлевшего шептуна принесло ему больше горя, чем радости, России же подарило таких министров, как Маклаков, уготовивший путь для Штюрмера, Хвостова и Протопопова. Пожиная плоды своих трудов, Мещерский в это пришествие уже не допингировал, а сдерживал царя, миря его с создавшейся внутренней и внешней обстановкой. Осторожно донося до могилы хрупкий сосуд своей жизни, он ощущал эту хрупкость и в самодержавном режиме. Только бы не споткнуться, только бы о что-нибудь не удариться, — таков был его лозунг для себя и для России. Но перед ним были два порога, о которые могли споткнуться и он, и царь, и Россия: Распутин и война. Не вступая со «старцем» в открытую борьбу, он всячески отжимает от него царя. В вопросе же войны стремительно становится поперек ее. Недаром же в Германии верят, что войны не было бы, если бы жил Мещерский.

Ее, кажется, и впрямь бы не было, проживи старик еще хоть год. Войну, как известно, накликали — в правительстве — Сухомлиновы, в Думе — Гучковы, в печати — «Новое время» и частью «Русское слово». Война еще, пожалуй, нужна была социалистам бурцевского толка и циммервальдовским большевикам[458]. Те мотивы, что руководили Плеве в 1903 г., теперь отсутствовали. Авантюр, влек-

ших к войне, тоже не было. Была общая возбужденность, ожидание перемен, и было доносившееся из Европы предчувствие катастрофы. Это предчувствие особенно воспринял уже шагавший в гроб царехранитель. Все его «дневники» последних до войны лет и все письма к царю были полны предостережениями и мольбами. Он готов был вынести серию Распутиных и сотню Дум, чтобы избавить Россию от одной войны. Как пламя догоравшей свечи, как песнь лебедя, он трепетал последними блестками таланта, последними взмахами темперамента, убеждая царя в необходимости мира.

В июле 1914 г., когда уже веяло грозой, он бросился в Петергоф. После двухчасовой аудиенции он вышел из дворца весь мокрый (была тропическая жара), но сияющий.

— Войны не будет, государь дал мне честное слово...

Это было его последнее торжество. Поездка стоила ему простуды, простуда — жизни. Он умер в день объявления Сербии австрийского ультиматума[459]. Судьба пощадила этого много нагрешившего, но и много настрадавшегося типичного двойника российского распада — до революции и большевиков он не дожил.

* * *

Историческая роль кн[язя] Мещерского начинается с 1883 г. и продолжается с перерывами почти до 1914 г., т[о] е[сть] более четверти века. Очевидно, не все события этой эпохи должны быть отнесены к его влиянию, но главнейшие из них, так или иначе, не обошлись без этого влияния. Возобновив свои дружеские отношения с Александром III после его коронации, он идет сначала в фарватере двух сильнейших министров той эпохи, гр[афа] Д. Толстого и гр[афа] Делянова, не говоря уже о Победоносцеве. Вместе с этим трио он укрепляет царя в его воззрениях на режим, на роль русского дворянства, русской школы и православной церковности, не одобряя, впрочем, эксцессов Победоносцева в отношении к иноверцам. Но в споре Победоносцева с Деляновым и насаждении церковно-приходских школ становится на сторону первого. Главной заботой его делается сохранение экономически таявшего дворянства и его влияния на народную жизнь. В этих видах он вдохновляет гр[афа] Толстого на его проект о земских начальниках, и только благодаря его энергичной поддержке эта непопулярная даже для того времени мера одобряется государем вопреки мнению подавляющего большинства Гос[ударственного] совета. Покончив с этим, он, после смерти гр[афа] Толстого, убежденного классика, обрушивается на классицизм и всячески содействует утверждению образования профессионального. После университетских беспорядков он способствует назначению министром народного просвещения сначала ген[ерала] Ванновского, засим Зенгера. Предложенный ему самому пост министра народного просвещения он отклоняет. Вообще, до назначения Витте, мировоззрение его довольно цельно и вполне гармонирует с мировоззрением императора Александра III. Только во взглядах на внешнюю политику царь и его ментор расходятся. Такой же миролюбец, как и царь, ментор полагает в основу этого миролюбия Германию, а царь, как известно, положил в основу его Францию. Но тут Мещерскому не удалось победить влияния им-

ператрицы Марии Федоровны и датского двора: оттолкновение Александра III после Берлинского трактата от Бисмарка непоборимо[460]. Для Александра III пруссаки все еще остаются «свиньями», для Мещерского же они — опора русского самодержавия. Но и здесь, под влиянием своего ментора, царь значительно смягчил свою германофобию и не препятствовал Витте, при введении им винной монополии, сделать крупные льготы балтийскому дворянству. (Дворянство это коллективно Мещерского за это благодарило). Франкофильство Александра III, вытекающее из его германофобства, Мещерский сдерживал в пределах, весьма ощутимых в Париже. Об этом знали и Ганато, и Карно[461], все время не без тревоги оглядывавшиеся на Петербург. А когда, однажды, в своем «Гражданине» Мещерский обозвал французского посла в Петербурге (Луи[462]) парикмахером или чем-то в этом роде, царь ограничился лаконической запиской к нему: «Легче на поворотах!».

Эта стройность мировоззрения Мещерского была нарушена сначала Витте, потом Плеве. С первых же неуклюжих своих шагов на государственном поприще Витте произвел на Мещерского ошеломляющее впечатление. Ни один из сотворенных им в свое время министров и государственных деятелей этого впечатления на него не производили. Сам воспитанный, культурный и образованный, Мещерский пасовал перед невоспитанностью, малокультурностью и малообразованностью своего протеже. С Вышнеградским, Филипповым, Плеве, Дурново, не говоря уже о Штюрмере, Маклакове, Зенгере, Ванновском, Барке и десятке других, им вылепленных сановников, Мещерский не терял своего менторского тона и морально похлопывал их по плечу. Перед Витте он как-то робел. Играла в этом роль частью деловая зависимость его от министра финансов, хотя свои субсидии (грошовые) он получал лично от царей. Большую, однако, роль играла деловая зависимость от Витте друзей Мещерского, за которых он вечно хлопотал. Но главный феномен виттовского влияния на него был нахрап этого сановного хулигана, умение внедрить в Мещерского веру в свою провиденциальность. Эта вера перевернула в менторе двух царств его коренные мировоззрения на роль дворянства, на русскую материальную жизнь и на самое самодержавие. Мещерский одобрил все меры Витте к ослаблению дворянства, к внедрению в русское хозяйство спекулятивного элемента, коллективизации государственных ресурсов и, что главное, к ограничению самодержавия. Мещерский перемог 17-ое октября. И если Витте, лично одиозный Николаю II, трижды в 1902–1903 гг. назначенный к увольнению[463], каждый раз удерживался на своем посту и вместо отставки получал благодарственные рескрипты, Мещерский достигал этого ценою своей близости к царю. А когда после отставки в 1903 г[оду] г[оспо]жа Витте приехала к Мещерскому и в слезах умоляла его выхлопотать денежную помощь мужу, Мещерский, отлично знавший блестящее положение финансов Витте, все-таки исхлопотал для него 100 тысяч рублей[464].

В одном только, не насилуя себя, Мещерский сходился с Витте — во взглядах на иностранную политику. Мир и союз с Германией — таково было убеждение обоих, что не помешало Витте в хвосте у вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича восстать против соглашения царя с Вильгельмом в Бьорке.

Мещерский, понятно, сделал все, чтобы акт 17-го октября стал «потерянным документом». Победа Дурново над Витте в дни второго пришествия Витте к власти — в 1905–1906 г[одах] — дело рук Мещерского. А когда Коковцов объявил в

Госуд[арственной] думе: «У нас, слава Богу, нет парламентаризма», Мещерский перед ним склонился, хотя этот государственный деятель никогда не был его фаворитом. На его назначении премьером, после убийства Столыпина, настоял Мещерский. Но через несколько лет тот же Мещерский сломил Коковцову шею, чтобы посадить на его место своего фаворита Барка.

Сухомлинов, Сазонов, Гучков и вся шовинистская Россия были его врагами в большей мере, чем Россия либеральная, Россия Милюкова и Набокова. И это потому, что, по его убеждению, только война, а не болтовня, могла погубить Россию. А предчувствие этой гибели, дар его как провидца красной нитью проходит через всю его публицистику. В ней было много личного и лишнего, но много и ценного для русской истории последних двух царствований. В этом смысле «дневники» Мещерского, если не в художественном, то в социально-политическом смысле можно поставить о бок с «дневниками» Достоевского.

* * *

О Мещерском, как о Витте и о Столыпине, последнее слово скажет история. Современникам же, не имевшим причин его ненавидеть, было ясно одно: что человек этот был весь вымощен добрыми намерениями, осуществить кои не позволяли ему и страсти, и люди. Мещерский был тем, что французы называют: mauvais advocat d'une bonne cause[a], если под bonne cause подразумевать искренность его убеждений. Он догорел тем, чем загорелся — верой в величие и счастье России под скипетром самодержавия. Либералом он не был никогда. Это, быть может, не плюс, но, пожалуй, и не минус. Как шептун, он, пожалуй, принес России больше вреда, чем пользы: на нем всегда были путы лицеприятия. Он безмерно больше выиграл бы в союзе с общественностью против власти, чем в заговоре с властью против общественности: в оппозиции он, пожалуй, дорос бы до Герцена и, во всяком случае, перерос бы Милюкова. Тут была наследственная хворь, экстаз, почти истерия. Ничего, кроме мук, цари ему не дали: став дейст[вительным] статским советником в 30 лет, он им умер в 75. Зато он дал царям весь свой талант и разостлал им под ноги свою репутацию человека и успех писателя.

Не будучи «либералом», Мещерский исповедовал кучу либеральных догм: веротерпимость, самодеятельность, миролюбие и проч[ее]. В двух вопросах либералы могли его считать своим: еврейском и в вопросе просвещения. Ему принадлежит крылатое слово: «лейб-еврей». Противник черты оседлости, он боролся лишь с еврейской плутократией. Он писал: «Каждый раз, когда порог министра финансов переступает еврейский банкир, я спрашиваю себя, какую еще часть России отломили!». И тут же требовал свободы для еврейской бедноты. Апологет розог, он противопоставлял их виселицам и расстрелам. Мечтал очистить университеты от «кухаркиных сыновей», чтобы сделать высшую науку ароматом жизни, и настаивал на всеобщем образовании. Поставил к реформам «точку», но требовал самодеятельности и децентрализации. Защищал поляков, немцев, финляндцев, татар. Был ярым сторонником свободы совести и вероисповеданий, рассорившись на этой почве с Победоносцевым. В этом недис-

[a] Плохой защитник хорошего дела (франц.).

циплинированном мировоззрении и в расшатанном сантиментами сердце была куча противоречий, которые его не удивляли. Слуга царя, он, как никто, порочил царских министров и даже царскую политику. Ванновский, Бунге, Муравьев, Ламздорф — целая плеяда министров — вечно на него жаловались царям, и его «Гражданин» неоднократно подвергался цензурным карам. Об Мещерского, как горох о стену, ударялись все бранные эпитеты российского лексикона. Даже у друзей он слыл за «enfant terrible», резкого, часто неделикатного «путаника». Европа, в особенности Германия, за союз с коей он ратовал всю жизнь, ценила его несравненно выше, чем Россия. Этот свирепый на вид, губастый урод с осанкой лорда и манерами бесцеремонного крепостника, таил в себе впечатлительность институтки и сердце Коломбины[465].

Глава XVI.
Распутин[466]

Если представить себе режим последнего сорокалетия царской России в виде пирамиды, то мужик Распутин уселся на шпице ее. Не с ним, однако, проник мужик в этот режим: под личиной купца, «самородка», писателя, художника, политического деятеля и даже министра мужик втерся в храм русской общественности и государственности давно. Начиная с Ломоносова и Кольцова, мужик пер на пирамиду русского аристократизма (плотского и духовного)[467]. И было время — целая эпоха, когда духовный аристократизм интеллигенции лип к мужику. Самое благоухающее из наших политических течений — славянофильство, разве не подразумевало в своей борьбе с средостением — чудесную амальгаму мужика с аристократом, объятие первого из дворян (царя) с последним из мужиков? И вся освободительная наша страда, все жертвы и муки нашей интеллигенции от Герцена и Огарева до... Бурцева и Аладьина — не во имя ли мужика (народа)?! Наконец, сам Ленин с Троцким — не ради ли мужика совершили свой опасный «опыт»?! Все цари и все министры России трудились (или делали вид, что трудятся) на мужика; а Витте даже во сне кричал: «Народ идет». И каким почетом, какой лаской окружили мужика в Государственной думе! И как за спиной его прятались вожди интеллигенции!

Но вот пришел Распутин — самый мужланистый из мужиков, сконденсировавший в себе все мужицкие шероховатости, пороки, но и всю мужицкую красочность: безграмотность, лукавство, чревоугодство и любострастье, но вместе с ними и сметку, мудрость земли, почти сверхъестественную проницательность, почти волшебный дар внушения, — и этот мужик, только потому, что пролез он на верхушку пирамиды не через Думу, как его собратья: Аникины, Онипки[468], Нечитайлы и Неписайлы, что ходил он под ручку не с Милюковым и Гучковым, а с царем и с царицей, что пил он не сивуху, а мадеру, что развратничал не с уличными девками, а со светскими дамами, что не стал пушечным мясом в руках делателей революции — этот самый подлинный и, пожалуй, самый удивительный, смелый, талантливый, но и распутный из мужиков, подвергся остракизму всей русской интеллигенции, той самой, что мечтала о мужике, работала на мужика и в лице своих избранников (Сологуба, Бальмонта, Арцыбашева, Кузмина, Камен-

ского и друг[их]) благословляла всяческий разврат, гирляндами из роз увивала помойные ямы. О Ломоносове, Кокореве, Губонине, Морозовых, Мамонтовых и других мужиках прошлого мы могли забыть. Но вот — Горький! Вот Аладьин, Аникин! Поэт Клюев! Сам, наконец, Александр Иванович Гучков! Маг и волшебник Рябушинский! Министр Рухлов! Художник севера — Андреев! Разве же все это не сермяжники, попавшие к нам путем самого элементарного подбора — торговли, таланта, выучки, высидки или поверхностной обтески?! Мог же отец Распутина отдать его в школу, мог же Распутин пройти через университет, быть писателем, художником. Стяжал ли бы он тогда всероссийский одиум? И даже таков, каким он был, попади он в одну из Дум, — Распутин-**депутат**, Распутин — сосед по креслу Милюкова, был ли бы этот Распутин России так противен?

Неспроста задаю я эти вопросы: тут более, чем любопытство. Тут для историка весьма нелегкая задача — проникнуть в распадавшуюся душу нашей общественности, найти ключ к ее дьявольским противоречиям. Неужели же миллионы неглупых и не злых людей возненавидели Распутина только за то, что его не избрали в депутаты, что он не якшался с кадетами, что он был безграмотен и предпочитал дам света дамам полусвета? Или обидно было, что Россией правит мужик? Тот самый, о котором мечтали народники и славянофилы, которого **звали** к власти и Милюков, и Витте и которого посадил-таки, наконец, на президентский стул **Ленин** (Калинина...[469])?!

Я видел Распутина только раз в жизни. Он жил тогда у одного моего приятеля и подавал его гостям пальто[470]. Дав ему рубль на чай, я, понятно, не предвидел его будущего; но его глаза и тогда меня поразили. Впрочем, дело не в глазах и даже не во внутренней (дьявольской?) силе, которую за ним не отрицают. Дело не в Распутине даже — дело в нас. Как могло случиться, что наша интеллигенция, столько стремившаяся к народу, к **опрощению**, не воспользовалась этим единственным, самым **чудесным** случаем, когда на ступеньки трона вскочил подлинный мужик — не опошленный поверхностной шлифовкой, без морозовских манишек, без косоворотки Горького, без лайковых перчаток Аладьина и кошачьей округленности Гучкова — мужик en toute lettre[a], с запахом, перегаром, краснобайством, житейской мудростью и презрением к аристократии? Ведь учился же Толстой у Сютаева — еще более мужланистого, чем Распутин[471]. Ведь мужик Сытин пас стадо талантов в «Русском слове».

Предвижу все, что мне ответят наши обанкротившиеся Катоны. И сам я немало упражнялся на распутинской спине. Ругать Распутина было модой: мы обязаны были его ругать, ибо через его голову ругали ненавистную нам власть. Но теперь, когда ее нет — не время ли пересмотреть дело о Распутине?

Повторяю, меня гораздо более интересует русская интеллигенция, чем мужик Распутин. И я глубоко убежден, что тип Распутина далеко не единичный в русском народе, как не единичны были тургеневские Хорь и Калиныч и толстовский Каратаев. Век пара и электричества, приобщивший Россию к материалистическому прогрессу Запада, произвел сдвиги не только в верхних слоях России, но и в самой толще ее, пожалуй, до самого дна. На верхах этот век нивелировал российскую индивидуальность, остриг нашу интеллигенцию под гребенку европейского либерализма и мещанского достатка — омещанил русский дух. Послед-

[a] В полном смысле слова (франц.).

ний из могикан подлинного русского аристократизма духа был Герцен. Прямо от него наша интеллигенция соскочила к хамству Михайловского, к нигилизму и максимализму Стасюлевичей, Гершуни и иже с ними. Тот же сдвиг от аристократизма (духа) к хамству произошел и в народе — мужик тоже охамился. Но, не имея под собой салазок материального прогресса и хотя бы поверхностного просвещения, мужик катился вниз, цепляясь за бугры, за корни своей веры и предрассудков, своей чудесной силы и подлой слабости, своих добродетелей и пороков. Мужик катился в пропасть, обливаясь кровью, пока интеллигенция обливалась словами и слезами. В этом трагическом падении народа сдвинулись со своих мест и столкнулись, прежде всего, два корня мужичьего существования — мистицизм и эротизм, сила духа и слабость плоти, подвиг и падение. Вокруг коллизии этих двух начал бытия русского народа завилась ведь муза и Гоголя, и Толстого, и Достоевского, и Горького. А сейчас на этих струнах бряцают модные советские поэты. Но к началу эпохи российского распада коллизия из одной души и плоти, после многих попыток обрести равновесие («царствие Божие на земле»), после самосжигателей, сютаевцев, духоборов и многих других сект и толков, уперлась, наконец, в хлыстовство. Произошло это в то самое время, когда интеллигенция тоже в поисках царства небесного на земле, после неудачных попыток опрощения и всяческого сектантства, успокоилась, наконец, на огарочничестве в области плоти, на иудаизме Розанова и атеизме еп[ископа] Антонина[472] в области духа. Сдвиги шли, как видим, параллельно, но ни народ не участвовал в сдвигах интеллигенции, ни интеллигенция в сдвигах народа — оба полушария русского шара жили словно на разных планетах. И потому, когда с планеты народа появился Распутин, планета интеллигенции приняла его как обитателя Марса. И разом зачеркнула на нем все, чему прежде преклонялась.

* * *

В явлении Распутина это и есть самое интересное — **непризнание** в нем подлинного народа, непризнание наших ошибок и грехов в судьбе этого народа. Так являются на свет исторические злодеи или герои, которых, как и нас, принимали акушерки, кормили няньки, которые ничем не отличались от других, пока не стали — Торквемадами, Наполеонами, Борджиями, Малютами, Лениными, Дзержинскими. Сын своего народа, плод сделанной нами прививки, сумма множества вовремя не учтенных слагаемых, — Распутин столь же закономерен, как и Ленин. Народ — зверь, народ — вор, народ — плут, народ — пьяница и распутник, — такова одна сторона медали. А на другой — народ — вещун, народ — плясун, народ — бессребреник, — не были ли все эти черты отпечатаны в сибирском пришельце — Распутине?! Не Сибирь ли с Заволжьем, давшие России и Ермака, и Стеньку, и Пугачева, должны были дать и Распутина?! Не должен ли он был быть и конокрадом, и хлыстом?! Падким на вино и женщину, плясуном и вещуном — оракулом и Пифией?! Измените **что-нибудь** в этом рисунке, и Распутина — нет. Приблизьте его хоть чуточку к культуре — выйдет аладьинская пошлятина. Дайте в руки лиру — получится горьковский подручный. Своего Наполеона Франция узнала в артиллерийском капитане. А подлинного пришельца из народа наша интеллигенция не узнала в благообразном мужике-плясуне,

хотя судьба и наградила его очами, сквозь которые глядела на Россию вся скорбь народа, вся слабость и все могущество его, вся загадка страшного сфинкса. Как в отпрыске русского барства, искаженном карьеризмом и компромиссами — в Столыпине Россия не признала своего Пожарского, так в отпрыске народа, искаженного бесправием, тьмой, водкой — в Распутине, Россия не признала своего Минина. Я далек от апологии этих двух лиц, — я лишь предполагаю, что при ином к ним отношении они дали бы иное.

* * *

Историку распутинщины придется считаться с двумя факторами: личностью Распутина и его влиянием на ход государственных дел. О том и о другом написаны тома. Явление Распутина дало уже немало заработать романистам и моралистам. О Распутине врали, врут и будут врать. Мой беглый очерк не имеет целью исправить эту ложь, а лишь вырвать явление Распутина из сонма скабрезных анекдотов русского безвременья, куда наши Катоны его втиснули, чтобы дать ему место в ряду закономерных, строго преемственных психологически неизбежных этапов на пути России к пропасти.

Когда говорят о распутинском распутстве, я не могу не улыбаться над нравственной чистотой Витте, Плеве, Протопопова и целого сонма наших общественников. Со времени Петра и Екатерины русский разврат стал специфичностью, вроде русской закуски. Свидригайловы, Передоновы и Санины[473] не переводились у нас при всех режимах: оперившись при Керенском, они зареяли орлами при Ленине. Даже здесь, на чужбине, в тисках нужды и унижений, мы умудряемся перещеголять на этом поле европейских Дюпуи. Распутину не прощали, но простили Михайловскому, Соллогубу, Арцыбашеву, Розанову — целой галерее женолюбцев. А между тем, Распутин лишь брал то, что ему лезло в руки. Наша развратная аристократия ждала лишь случая, чтобы обнажиться. То, что в свое время проделывали с ней итальянские тенора, проделал и Распутин. Я бы даже сказал, что не Распутин ее, а она его развратила. Но, в конце концов, не все ли равно России: жил или не жил этот мужик с Вырубовой или с другой светской дамой? Задолго до пришествия Распутина в Александро-Невской лавре прогремел своими оргиями знаменитый епископ Антонин. А любовные похождения отца Восторгова! А скандальная хроника иных из наших монастырей! Трудно поверить, чтобы именно эта черта личности Распутина составила одиум его имени: этот мужик не был распутнее наших интеллигентов. Что же, однако: корыстолюбие? Если бы Распутин был корыстолюбив, миллионы Александры Федоровны перешли бы в его карманы. Свистни он, и банки, отвалившие 4 миллиона на «банковскую газету» Протопопова, отвалили бы вдвое, втрое больше тому, кто создал Протопопова. Однажды к Распутину обратились зубные врачи евреи (диплом зубного врача давал евреям право жительства). Правительство хотело искоренить злоупотребления с этими дипломами. Собрали соответствующую сумму. Распутин спас зубодеров и получил... соболью шапку. Деньги прилипли к посредникам[474]. Этой собольей шапкой он очень гордился, и в ней нашли его труп. А разве пожалели бы миллионов немцы, чтобы через него добиться сепаратного мира?! Разве не было попыток этого рода?! Но самые ярые враги Рас-

путина — великий князь Николай Николаевич, кн[язь] Орлов, Джунковский[475], Самарин, Юсупов — тени подобного рода обвинений к нему не предъявляли. И здесь, значит, не лежит ось ненависти к нему.

* * *

Политика?

Распутин ничего в ней не смыслил. Действительно, Распутиным овладела реакционная клика. Отчего же, однако, именно эта клика его и убила? Отчего его не взорвали анархисты, а уничтожил Пуришкевич с Юсуповым и один из вел[иких] князей? Над этим тоже не задумывались. А между тем, ключ к разгадке распутинской тайны, кажется, здесь. Подготовила убийство Распутина российская демократия, совершила его аристократия. Подлинный русский мужик у власти оказался неприемлемым ни для первой, ни для второй. Со времени великой распри между этими двумя слоями, — распри, приведшей страну к пропасти, — был только один предмет, на котором они сошлись: ненависть к Распутину. Черносотенный Пуришкевич здесь опирался на радикала Маклакова, и обратно. Распни его, — кричали и справа, и слева! Распни забравшегося в наши домены мужика! Логически продолжая этот страстный вопль русской интеллигенции, следовало бы сказать: распни народ! Но народ успел раньше распять интеллигенцию. Очевидно, не из мести за Распутина. Но отчего же убийцы Распутина не встретили сочувствия в народе? Отчего их не пощадила революция? Отчего Юсуповы и Маклаковы не сидят одесную и ошую другого русского мужика у власти — Калинина?

На краю пропасти Россией овладела вавилоновщина. «Грязную личность», Распутина, привлекли к трону те самые слои, которые потом его уничтожили (Распутина создал двор вел[икого] кн[язя] Петра Николаевича, гр[афа] Игнатьева и даже Столыпин)... А подготовили его гибель потомки народников. Если убийство Распутина только лишний анекдот в процессе гниения нашей аристократии, то ненависть к нему нашей демократии — одна из загадочных страниц ее истории.

К Распутину тянулись светские дамы. Но отчего к нему не потянулись члены Думы? Отчего не заразили его своей верой кадеты, социалисты, как он заразил своей верой царский двор? Отчего свободолюбивая и народолюбивая Россия не омыла этого мужика от всяческой скверны, — от лжи, разврата, от всего, чем отметил его подлинный русский народ?

И отчего не использовали избранники этого народа его таинственную бесспорную силу, тоже заимствованную им у народа? Вместо сеансов в кабаках и банях, отчего не устроили публичные диспуты, где бы Распутин познал нашу демократию и она его, где бы они спарились для блага России?

В годы войны, когда, казалось, средостение между царем и народом пало, и все ожило национальным подъемом, Распутин, отдавши дань этому подъему, явивший все признаки народного энтузиазма, с радостью предпочел бы Гучкова и Милюкова — Вырубовой и гр[афине] Игнатьевой. А сила его в Царском в ту пору была так велика, что Распутин мог с такой же легкостью сделать премьером Милюкова, как и Штюрмера, укрепить парламентаризм, как он его разрушил.

Убеждают в этом не только письма Александры Федоровны к Николаю II, но и откровения кн[язя] Юсупова и г[осподина] Маклакова[476].

Ключ к спасению России и к установлению в ней демократического строя был, оказывается, в руках Распутина. Но наша демократия до сих пор предпочитает Распутину — Калинина. Мужик ленинский не возбуждает в ней такого отвращения, как мужик царский. Не потому ли, что на Калинине город уже стер подлинные метки народа, те метки, что отвращали от Распутина: разгул, силу проникновения и притяжения?!

На краю бездны перед русской интеллигенцией встал в образе Распутина подлинный лик того народа, ради которого она столько выстрадала и который все-таки она принесла в жертву своей схоластике, своему самолюбию и себялюбию. Лик этот, как тавро, был выжжен на Распутине. И потому от него шарахнулись. Распутин явился к нам, как страшный Вий в сказке Гоголя — явился после того, как наполнился гадами храм нашей общественности и государственности.

Глава XVII.
Ген[ерал] Богданович и кн[язь] Андронников

Между крупными обломками упадочной России терлись обломки мелкие, хотя и не влиявшие непосредственно на процесс распада, но способствовавшие ему всеми своими специфическими свойствами: интриганов, пролаз, развратников и стяжателей. Исполняя роль циркового «рыжего», они носили фалды избранников судьбы, устилали своими распластанными телами их триумфальный путь, делали вокруг них благоприятствующий шум, пели осанну, несли для них черную работу. В благоприятные моменты, пользуясь всеобщей растерянностью, они «создавали» новых кумиров, разбивая старых. Иногда и сами проскальзывали к верхам, цепляясь за второстепенные выступы, надуваясь из всех сил, чтобы не отстать от крупных обломков, и в этом усилии лопаясь, как героиня крыловской басни. Такими мелкими обломками и следующим за ними мусором усеян путь к Голгофе России. И, если влекли ее туда глыбы крупные, то историческая роль этого мусора, застилавшего зрение, набивавшего легкие и мешавшего ориентироваться в минуты отрезвления, как то было при Лорисе, Мирском, Столыпине, остановиться, избрать другой путь, — роль этого мусора в истории русского распада немалая.

«Рыжие» водились не только на Олимпе, но и на Земле. Пылью их было покрыто не только зерцало государственности, но и жезл общественности. Фалды носили не только у Плеве, Витте, Столыпина, но и у Гучкова, Милюкова, Горького. Российское холопство, красной нитью отметившее историю русского государства от Батыя до Бьюкенена, в эпоху распада вспухло до размеров перепоясавшей страну широкой шлеи. От парадных лестниц дворцов до частных лестниц министров, вождей, банкиров, писателей и великих «знаменитостей» русское холопье усеяло все выступы и щели нашей жизни, сделав ее похожей на почернелую кузницу, на засиженное мухами зеркало провинциального заезжего дома. Холопье это стлалось одинаково низко перед банкиром Утиным и писателем Андреевым, перед митрополитом и футуристом, перед модной актрисой и совершившей покушение анархисткой. Любой успех, любая известность подымали у нас пыль холопства. Слои ее еще со времен татар лежали готовыми подняться, заплясать и осесть при любом сдвиге. Эпоха распада

подняла разом эту пыль, охамив и охолопив Россию. В министерствах, как и во дворцах, в банках и редакциях нельзя было протискаться сквозь толщу холопьей челяди. При каждой смене кумиров происходило передвижение этой толщи, подобное передвижению саранчи, и все, что попадалось на пути этого сдвига: репутации, мысли, чувства, а часто и физическое существование, беспощадно уничтожалось.

Когда саранча двигалась от падавшего к выраставшему, от одного министра к другому, от Льва Толстого к Чехову, Горькому, Андрееву, от Набокова с Петрункевичем к Аладьину с Аникиным, от суворинского «Нового времени» к альбертовской «России», от Савиной к Комиссаржевской, от Бальмонта и Блока к Маяковскому, — на пути этого шествия оставалась пустыня критики и творчества. Оплевать либо пресмыкаться — вот два полюса жизни русской холопьей пыли. И потому она безудержно носилась между оплеванием и пресмыканьем, стирая следы живых всходов обновления. И потому все, что не хотело холопствовать и не могло повелевать, было у нас растоптано, оклеветано и в лучшем случае — замолчано. Между обломками и мусором завядала каждая, робко просившаяся к небу, былинка. Пустыня русской жизни, ведшая к страшному обрыву, лохматилась серыми гранями живописных развалин, утопавших в безнадежно однообразном разнообразии, в едком, как ржавчина, и упорном, как смерть, мусоре.

Помню две фигуры из этого мусора, одну — начала эпохи распада, другую — конца ее: известного ген[ерала] Богдановича и не менее известного кн[язя] Андроникова.

Ровесник Победоносцева, гр[афа] Толстого и Делянова, Богданович перевалил вместе с ними в качестве их фактотума — из эпохи реформ. В молодости он был чем-то в морском ведомстве, что-то связывало его с Черноморским флотом и «героем» Весты ген[ералом] Барановым[477]. В точности никто этого не знал, но при каждом торжественном для флота случае он в пышной телеграмме поздравлял «героев Синопа» и подписывался «черноморец». Более досягаемая для современников Богдановича эпоха его общественно-государственной деятельности относится к 70-м годам прошлого столетия, когда он, будучи чьим-то адъютантом, открыл кампанию за постройку сибирской железной дороги[478]. Если не ошибаюсь, действовал он тогда от имени группы французских концессионеров. В этом деле он проявил не менее энергии и таланта, чем впоследствии Кази в агитации за постройку Мурманского порта[479]. Вообще, ни энергией, ни талантами Бог этого живчика не обидел: в 80 лет слепой и почти парализованный, он метался и кипел, как и в юности, прилипая ко всему, что носило отпечаток силы, и привлекая к себе, на Морскую, большие и малые винты расхлябанной государственной машины.

Богданович был тонкой шельмой — высокой пробы ловцом в мутной воде, развратнейшим из сластолюбцев той эпохи, лицемернейшим из лицемеров, талантливейшим стилистом высокоторжественной литературы и неисчерпаемым выдумщиком средств и способов проникновения в государственный сундук. Когда я с ним познакомился, он был уже генералом, с обрамленной седыми локонами лысиной, с пышными белыми бакенами и сохранившими юношеский блеск черными, сверкавшими умом и похотью глазами. Эти, столь нагрешившие глаза Бог у него вскоре отнял; но и слепой, Богданович продолжал упорно фиксиро-

вать и гипнотизировать, каким-то верхним чутьем отличая привлекательных женщин от непривлекательных, нужных людей от ненужных. В изыскании путей и средств к сближению с привлекательной женщиной и нужным человеком он был неисчерпаем. Женолюбство было его самой выпуклой чертой. И если, подобно Распутину, он не хватал каждую приходившую к нему с просьбой женщину, как хищник добычу, а делал между ними отбор и тонко их обхаживал, в конце концов, кончалось тем же, чем и у Распутина. И влияние на женщин он имел почти распутинское. Женившись на девушке из общества и не бедной, он привлек к себе в дом ее двух сестер, обобрал их и сделал женами второго сорта[480]. А эти женщины до могилы его обожали и служили ему не только в делах материальных, но и любовных: сводили с ним понравившихся ему дам. На этот счет про Богдановича в Петербурге ходили легенды. Но правда, кажется, шла впереди легенд.

Вот, напр[имер], Богданович в Казанском соборе. Сторожа бегут впереди «генерала», расталкивая молящихся, с остервенением вытирают тряпками иконы, к которым его превосходительство имеет обыкновение прикладываться. В соборе шепот общего почтения. Генерала ведет к чудотворной иконе лакей в генеральской ливрее. Перед иконой уже молится хорошенькая молодая женщина. Генерал падает на колени рядом с ней. Возводит очи к небу, опускает их на даму. После нескольких таких взмахов, широко крестится и громко молится. Но громкая, почти на весь собор молитва, прерывается земными поклонами и паузами. Генерал кладет поклоны враз с молящейся и шепчет ей. Вместе взятые, обращения к Божьей Матери и к незнакомке получают такую редакцию:

— Пресвятая, пречистая Матерь Бога нашего... Любовь моя, красота... Со слезами умиления и кротости к стопам Твоим припадаю... За один поцелуй все отдам... Заступись и помилуй и очисти от скверны... Квартира в четыре комнаты и полное содержание... И в селения Сына Твоего допусти мя многогрешного... Карета три раза в неделю...

Генерала проводили с тем же почетом, как и вводили. А накрепко вытертое стекло икон блестело ему вслед не то лаской, не то насмешкой. Однажды Богданович заманил в одну из его поездок по России молодую чету. Кормил, поил. При одной из остановок, когда муж поехал осматривать какой-то город, сделал гнусное предложение жене. Та рассказала мужу. А муж отправил в Петербург телеграмму: «Генерал внезапно сошел с ума». Телеграмма эта взбудоражила не только трех генеральских жен, но и Россию. Богдановича вернули с докторами. А жена его — полетела к молодой женщине.

— Ну что вам стоит... Он же скоро умрет... Доброе дело сделаете... Патриотическое...

Вторая слабость генерала была к деньгам. Он зарабатывал решительно на всем: на протекции, сводничестве, приветственной телеграмме, газетной статье и проч[ем]. Богданович брови не подымал без оплаты. А так как слава о его всемогуществе была широкая, деньги к нему плыли. У него был открытый стол. Считалось обязательным позавтракать у Богдановича для каждого приезжавшего в Питер губернатора и генерал-губернатора, посла, знатного иностранца и именитого купца-миллионера. На завтраки приглашались министры, банкиры, писатели, и вот за знакомство с ними Богданович и брал. Проведение разных дел было

второй статьей доходов этого ловкача. И, наконец — субсидии. Богданович проявлял прямо виртуозную изобретательность в путях к казенному сундуку. Он вечно что-то издавал: какие-то душеспасительные и укреплявшие самодержавие брошюры, наставления и поучения[481]. Когда его касса истощалась, он садился на диван и, потирая лоб, диктовал одной из своих жен. Тема выбиралась подходящая случаю: какой-либо юбилей, тезоименитство, а то и просто имя святого из святцев. Речь лилась свободно, красочно, округленно. В два-три присеста брошюра была готова, относилась к подлежащему министру, и касса Богдановича наполнялась.

Более определенной статьей его доходов была издававшаяся им «кафедра Исаакиевского собора». Богатое купечество прихода Исаакия во главе со Смуровым избрало его старостой этого собора. Доходы Исаакия, после Казанского собора, были самыми крупными. Став их хозяином, Богданович путем издания высасывал из прихожан все, что мог. А когда и этого не хватало, ездил к Победоносцеву и пользовался синодской копейкой. В общем, через его дырявые карманы проходили огромные суммы, которыми, однако, едва покрывались его завтраки, любовные похождения и подарки. Предпринимая для насаждения благочестия и укрепления самодержавия объезд России, этот коммивояжер режима обкладывал себя образами, брошюрами и пачками новеньких трехрублевок. У него были дежурные образа, сопровождавшие его в поездках. Сидя в генеральской тужурке в своем салоне-вагоне, он поминутно трогал эти образа, словно играл на клавишах и целовал пальцы. В этом была его молитва. Так молился он, разговаривая, сочиняя, ведя атаку на избранную женщину. О проезде его давались телеграммы, и на станциях к нему являлось станционное начальство, жандармы. Начальство он одарял брошюрами и образками, жандармов — трехрублевками. Останавливался в виде особого благоволения у богатых купцов, архиереев и митрополитов. А газеты с «Нов[ым] вр[еменем]» во главе оповещали Европу о «проезде ген[ерала] Богдановича...»

Влияния на политику он не имел. Но он был атрибутом ее, каким-то официозным к ней привеском. Он был ее лауреатом, карикатурой Державина. Его оды в прозе вызывали смех; но рядом с тяжеловесной публицистикой Каткова, Грингмута и Маркова они играли роль как бы легкого entremet[a]. Всерьез его не принимали, но с ним считались. Его дом был чем-то вроде дома свиданий для сильных мира сего, и за его завтраками встречались ссорившиеся министры, публицисты, прихвостни всех видов и рангов. В одном углу его гостиной митрополит благословлял еврея-банкира, в другом — Меньшиков поучал губернатора, в третьем — старик Суворин спорил с кн[язем] Мещерским. И не было сплетни, которая бы не пролетала через эту гостиную, прежде чем влететь во дворцы и министерские кабинеты.

На одной из своих таинственных конспираций с французским посольством он споткнулся, и Александр III велел с него снять мундир. Но при Николае II он вновь оперился, переименовался в тайные советники и дожил до распутинских дней. Повесу сына своего он устроил вице-губернатором. Его убили[482]. На смену Богдановичу подрастали авантюристы молодые и несколько иной марки. Блестящим и последним прототипом их был кн[язь] Андроников[483].

---

[a] Блюдо перед десертом (франц.).

* * *

Лет 30 тому назад, несколько раньше Распутина, появился на петербургском горизонте молодой упитанный блондин с изысканной речью и манерами, вкрадчивый и лоснящийся, как жирный породистый кот. О прошлом его молчали. Брешь к «сферам» пробил ему двор принцессы Ольденбургской. Что он там делал, тоже не знали. При любом из малых дворов и при влиятельных аристократах в ту пору были фактотумы-лизоблюды, выполнявшие таинственные и, разумеется, мало чистоплотные поручения — род факторов или посыльных. На обязанности их было прославлять своих патронов, носить к ним городские сплетни, шпионить, ссорить и мирить, а иногда — создавать конъюнктуру для проведения через своих патронов выгодных дел. Фактотумами этими были облеплены министерства и банки, где они без всякого определенного дела, в силу своих связей, получали чины, ордена, жалованья и тантьемы. Особенно сгустилось полчище фактотумов при Витте, умевшем мастерски играть на этом сложном инструменте. На Мойке была их главная квартира. А патронессой их была супруга временщика.

Так как нити всех петербургских интересов сходились у государственного сундука и туда же тянулись все «дворы» и гостиные, сила и ловкость фактотумов измерялась их вхожестью к Витте или, вернее, — м[ада]м Витте. До Андроникова прославился на этом скользком поприще некий гр[аф] Бенкендорф (Митя Бенкендорф) — фактотум двора Марии Павловны (жены вел[икого] кн[язя] Владимира). Этот изящный лизоблюд, исполнявший во дворце роль шута, а в городе — друга великой княгини, был главным звеном для сближения м[ада]м Витте с петербургской знатью. За что и был взыскан местами директора разных банков и обществ, обеспечивших ему беспечальное житье жуира, коллекционера и любителя не вполне естественных развлечений[484].

При всемогущей обер-гофмейстерине Нарышкиной фактотумом был какой-то мещанин Румянцев, которому она выхлопотала дворянство и даже установила преемственность его рода от Румянцева эпохи Екатерины. При графине Келлер[485] (которую великий князь Николай Николаевич собирался повесить) фактотумом был известный в Петербурге делец-адвокат. И т[ак] д[алее]. Но прославил, возвел до степени искусства, поднял на ступень государственно-общественного явления культ лизоблюда-фактотума лишь князь Андроников, типичнейший из прохвостов-авантюристов эпохи распада.

Само собой разумеется, на широкое поле авантюризма он мог пробраться лишь через кабинет Витте и гостиную м[ада]м Витте[486]. Но, в отличие от своих предшественников, он, почтительно сгибаясь и предлагая свои услуги, не хлебнул из миски, которая на Мойке всегда стояла полной для такого рода забегающих с воли псов. Изысканно, но твердо, он поблагодарил и деловито вышел: его долг — предупредить, его забота — оберегать, его награда — счастье России. Пришел раз, пришел другой, всегда с «ценным товаром», всегда скромно, деловито, изысканно и... от миски отказался. По наведенным справкам оказался действительно «другом» принцессы, вхожим во дворцы и министерства, прочно поселившимся в скромном номере гостиницы «Бельвю», что на Морской. Не прошло и месяца, как временщик уже подходил к телефону на вызов Андроникова и отрывался от ночных трудов для приема «князя». И вот, Петербург заплясал под андрониковскую дудку.

Что это была за дудка? На чем Андроников наживал? Куда он метил? И вообще — что это была за личность? Сказать затрудняюсь. Кажется, он никого не ограбил, ни одного «громкого дела» (мелочи не в счет) не провел, никаких хлебных мест не занимал. А весь город говорил о его влиянии и об его авантюризме. Не было ни одного назначения и ни одного падения, возле которого бы не мелькал изящный жакет круглолицего, жизнерадостного, слегка сюсюкающего, но мастерски владевшего «языками», загадочно-ясного блондина. Со времени падения Витте на Мойке переменились три министра, и ко всем он был «вхож», всех предупреждал, учил, берег. Совершенно та же картина и в Министерстве внутренних дел, торговли, военном, морском, Св[ятейшем] Синоде, — Андроников всюду был «свой», предупреждал, оберегал. В интервалах между министерствами и дворцами он объезжал влиятельных своих конкурентов по ремеслу, не брезгая даже Ванечкой Мануйловым. Так заправский антикварий объезжает лавки своих конкурентов, высматривая, не попало ли к ним случайно то, чему место в его лавке. Я присутствовал иногда при этих встречах и любовался виртуозностью, с которой вор у вора дубинку крал...

Со всеми вкрадчивый, любезный, Андроников резко менялся лишь с людьми обреченными. Кажется, тут он страдал физически: его от них тошнило. Весь полный жизни, он не выносил трупного запаха. Когда падал гр[аф] Коковцов и всходила звезда Барка, а Андроников это прозевал, я позвонил ему, чтобы подразнить. Но Андроников, почуяв опасность, на вопрос, давно ли он видал Коковцова, подумав, мрачно ответил:

— Я по кладбищам не езжу...

Что Андроников наживал на своем ремесле и что он лишь ждал момента для крупной ставки — было ясно. Ставку он пытался поставить через Сухомлинова, в Бухаре, основав там какое-то заграничное общество[487]. Когда Сухомлинов пал, а Барк еще трусил, Андроников всеми своими железами присосался к Распутину, играя при нем ту же роль, что теперь при безграмотных комиссарах играют наши матерые дипломаты и спецы. Распутин его сблизил с императрицей (что и видно из писем Александры Федоровны к мужу)[488]. Накануне кровавой драмы во дворце кн[язя] Юсупова, Андроников, чуя трупный запах, умолял «старца» не ездить. Не случись вообще всероссийской катастрофы, блондинистый князь давно бы уже пожал богатую жатву своего умелого и терпеливого посева. Но вместо нее он пожал большевистскую пулю[489]. Справедливость, однако, требует установить, что в этом комке российского мусора, как и в Кречинском, был не только аппетит, но и талант. Если Богданович был шакалом, то Андроников был черно-бурой лисичкой: подлинным художником своего дела.

Глава XVIII.
Милюков

В каждой стране и у каждого народа были эпохи сдвигов, когда народ и общество выходили на новые пути творчества под новыми лозунгами. И эти эпохи почти всюду выдвигали «вождей», за которыми шли народы и общества. Длинен был бы перечень таких эпох и «вождей» за последние 1 ½ века от Великой французской революции или от эмансипации Сев[еро]-Американских Соединенных Штатов. В каждой стране и в каждом народе, подвергшимся таким историческим сдвигам, революции сменялись эволюциями и одни «вожди» уступали место другим. Но всюду и везде смена революции и эволюции и соответствовавшая им смена «вождей» не затушевывали изначальной, давшей толчок движению идеи и не рвали преемственности между действиями этих «вождей». А самые идеи, как бы они ни видоизменялись согласно требованиям века и насущным потребностям народов, оставались в своей сердцевине теми же.

Такими идеями, как всем известно, были в прошлом — идея гражданской свободы и национального единства, — свободы, как антитезы абсолютизма, и единства, как антитезы космополитизма. Свобода — чувство индивидуальное, национализм — коллективное! Но оба эти чувства, как бы их ни разобщали, по каким бы разным путям и какими бы разными средствами они ни осуществлялись, в корнях своих неразрывны. И только тогда народно-общественные сдвиги приводят к благотворным результатам, только тогда они выводят народы из междоусобий и хаоса, когда связь эта, в народных недрах и в сознании вождей, не нарушается. В последнее время к этим двум основным идеям, сдвинувшим человечество от средних к новым векам, присоединилась третья — идея социальная. Как бы с ней ни бороться, ее нельзя не признать логически вытекающей из двух первых и органически с ними связанной (как дух связан с плотью). Первые две идеи (идеи матери) создали политику и этику, третья — экономику. Уже больше полутораста лет мир живет и движется этими тремя идеями.

Иллюстрировать эту истину — дело историка. Но хотелось бы запечатлеть примеры наиболее наглядные, из жизни народов наиболее, исторически, ярких: французов, немцев, англичан и итальянцев. Вспыхнувшая из идеи политической свободы Великая французская революция не зажгла ли тотчас же идею нацио-

нальную?! А вспыхнувшая из идеи национальной революция в Италии, не зажгла ли тотчас же идею свободы?! То, что было пренебрежено в 40-х годах политической революцией в Германии, не было ли дополнено и исправлено национальной революцией в 70-х годах?! А национальный и политический идеалы Англии не нашли ли равнодействующую в ее разнородных правительствах?!

Соответственно этому ходу истории в Западной Европе (почти то же повторилось и в Америке), не повторились ли в Тьере и Гамбетте — Мирабо и Лафайет?! В Муссолини — Гарибальди и Мадзини?! В Гитлере — Либкнехт (отец)? В Болдвине и Ллойд Джордже — Солсбери и Гладстон?! Если прибавить к этим сдвигам и сменам лиц то, что дал третий фактор развития человечества — социализм (в лице Маркса, Макдональда, Жореса и друг[их]), получится современная политико-экономическая схема Западной Европы, запутанная узлами великой войны. Но, как бы она ни была запутана, события остаются в ней исторически закономерными, а люди (вожди) политически и этически правомерными. С ними можно бороться, их можно отрицать; но то, что мы называем европейской «неразберихой», является продуктом исторической логики, а современные нам европейские «вожди» типа Муссолини, Гитлера, Эррио, Макдональда, как бы они ни ошибались — вождями по историческому праву. То же ли случилось на востоке Европы, в нашей многострадальной России?

* * *

С тех пор, как первый проект русской конституции при Анне Иоанновне провалился[490], проекты эти бороздили воздушный океан российского политического мышления. Иные из них — в крови, как проект декабристов, иные в изгнании — как мечта Герцена и Огарева, иные в сумасшествии, как «выстрел» Чаадаева, иные в болтовне, как «диктатура сердца» и «доверие» Лорис-Меликова и Мирского. Кровь, мечтания и болтовня сопутствовали всюду русской либеральной мысли. Но уже с начала 19-го века она стала органической частью русского политического развития, как противовес мысли консервативной, как умственный процесс вдыхания и выдыхания.

Сто лет тому назад Чаадаев простонал: «Обделенные, созданные нашими государями и нашим климатом, мы только **в силу покорности** стали великим народом... Всюду в нашей истории мы видим влияние власти, климата, почвы и нигде действия общественности...»[491].

Этот стон первого нашего западника явился и впрямь «выстрелом в глухую ночь по самодержавию». Выстрел этот раздался в России, но произвела его Европа.

От Чаадаева до Милюкова — дистанция огромного размера. На этой дистанции ярко горели огни Герцена и Огарева. Но Герцен, как известно, проклял «мещанский Запад» и не поощрил польского восстания. А его последователи прокляли «аристократический» Восток и поощрили финляндскую смуту. И явилось на свет что-то среднее между мещанством и аристократией — демократия, и что-то среднее между нацией и сбродом — интернационал.

Плохо понятое «философическое письмо» Чаадаева и дурно усвоенное западничество Герцена создали плеяду «освободителей» 60-х годов в политике и Добро-

любовых, Чернышевских, Белинских в этике. На смену же этому второму поколению русских революционеров, как бы истощенному и николаевским погромом, и александровскими реформами, пришло поколение третье, худосочное в творчестве, но злостное и ретивое в разрушении, поколение Михайловских, Стасюлевичей, Арсеньевых, Милюковых. Лишенные и таланта, и аристократизма мысли своих предтеч, оторванные от низов и не приставшие к верхам, они всю силу своего протеста черпали в западном либерализме. И проглядели восточный нигилизм.

Самым ярким представителем и последним могиканом этого третьего поколения русской либеральной мысли является Павел Николаевич Милюков, — последним потому, что совершенно неповторима та политическая, социальная и этическая обстановка, при которой только и мог расцвесть политический авторитет «вождя» демократии. Обстановка эта: поколебленное в основе самодержавие, безвольная, себялюбивая, трусливая власть и хаотическая, корыстолюбивая общественность. Эти три явления неповторимы. Их нигде, кроме России, не было. И в России-то они объявились лишь к началу XX-го века, после виттовских реформ, взрыхливших русскую экономику, и после суворинского «чего изволите», взрыхлившего русскую этику. Без Витте и Суворина не было бы и Милюкова.

Как политический «вождь», Милюков родился с его органом, «Речью»[492]. Либеральная печать существовала в России и до «Речи». А органы ее, как «Русск[ие] ведомости», «Вестник Европы», «Отечественные записки»[493] и другие, пользовались даже уважением. Уважение это зиждилось на явном для всех факте материальной и личной заинтересованности основателей и руководителей сих органов. Были они нищи плотью, но богаты духом. Первый шаг в сторону от этих принципов русского либерализма сделал в своем «Голосе» Краевский. Второй и более решительный — Милюков в своей «Речи».

В самом начале XX-го века, в зените власти Витте и материального преуспеяния «Нов[ого] вр[емени]», некий Быховец, женатый на сестре мадам Витте, строил Пермь-Котласскую жел[езную] дорогу. О строительстве этом не забыли в России до сих пор. Чуть ли не стомиллионная постройка вверена была заурядному технику шоссейного отдела Министерства путей сообщения, без диплома и права строительства, вопреки всем законам и обычаям ведомства, вопреки протестам Государственного контроля и высших технических учреждений страны. Это был coup de main[a] всесильного тогда министра финансов, вернее — его супруги. Постройка этой дороги была сплошным скандалом в путейских и контрольных сферах. Но путейцами правил тогда кулантный[494] «князенька» Хилков, а контролем — висевший на хвосте у Витте — Тертий Филиппов. Правой рукой у Быховца был заправский путеец Бак. Этому Баку Быховец сдал с подряда, по высоким ценам, все земляные работы, на десятки миллионов. Как водится (или как водилось), Бак выплачивал строителю дороги известный процент с подрядной суммы (от 2 до 10). Отсюда миллионы м[ада]м Витте, Быховца и... Бака.

В России той эпохи об этом воробьи с крыш кричали. О происхождении баковских миллионов не мог не знать и Павел Николаевич Милюков. И, тем не менее...

На появившейся газете «Речь», рядом с именем издателя ее П. Н. Милюкова, появилось имя «основателя Бака». Либеральные круги России ахнули. Но

---

[a] Решительные и неожиданные действия (франц.).

на Мойке у Витте и в Эртелевом пер[еулке] у Суворина потирали руки. Бак — значит Быховец, а Быховец — значит Витте. Оппозиционный орган, издаваемый (хоть и косвенно) на средства русской казны — разве это не то же «Нов[ое] вр[емя]», поддерживаемое казенными объявлениями?!

После революции 1905 г. Павел Николаевич, с группой своих единомышленников, перешел под знамя издателя «Биржевки». А когда мадам Проппер, не менее практичная, чем мадам Витте, после затраченных 200 тысяч рублей забастовала, Милюков перенес флаг главнокомандующего русской либеральной мыслью на эскадренный броненосец Азовско-Донского банка. И хотя имя хозяина этого банка, Каменки, не зачеркнуло имени Бака, все знали, что «Речь» издается на банковские деньги. В этом смысле она была предтечей протопоповской «Русской воли», которую так жестоко заклеймила «Речь». (В эпоху конструирования партии кадет Павел Николаевич заимствовал еще средства некоего политического младенца, кн[язя] Бебутова, хотя и не строившего железной дороги, но обобравшего, ради кадет, свою жену)[495].

Все это, понятно, не преступление. Из банковских касс, из мошны Морозова и иных русских миллионеров русская революционная мысль питалась до и после Милюкова: на банковские деньги оперился, между прочим, наш «буревестник» Горький. Чистота риз русского либерализма вообще канула в лету. Но ни Горький, ни Проппер, ни Амфитеатров не упрекали своих конкурентов и коллег в этом «грехе» русского либерализма. А П. Н. Милюков это делал и делает. В свое время он тянул к ответу за этот грех «Нов[ое] вр[емя]», «Петерб[ургские] ведомости», «Гражданин», а сейчас, в изгнании, упражняется на опорочении своих зарубежных коллег.

Павел Николаевич, несомненно, идеен. Вряд ли, однако, настолько же идеен, насколько учен. Ученость его неоспорима. Если бы Павел Николаевич довольствовался ею, обогащая русское общество познанием нашего великого прошлого и делая из него выводы для будущего, имя его перешло бы в историю рядом с именами лучших русских людей. Но Павлу Николаевичу этого стажа мало: он привесил к нему стаж политика и эмансипатора земли русской. Он потянулся к знамени «вождя». Решил властвовать не только над душами, но и над мускулами, не только эволюционировать, но и революционировать. И получился тот сумбур, который сверг не только царя и режим, но и самого Милюкова.

Ничего нового в идейности П. Н. Милюкова нет, не было и быть не могло. Заимствованная от Чаадаева, Герцена, Михайловского, Стасюлевича, не говоря уже о деятелях 60-х годов — идейность эта была и есть универсально шаблонной. Она одинакова на всем земном шаре, от английского парламента до последователей Ганди и китайского гоминдана[496]. На берегах Темзы, Сены, Шпрее, Тибра, Ганга, Миссисипи и Желтой реки гражданская свобода одна и та же. Быть либералом в России не было замысловатее, чем быть либералом в Азии, Африке, не говоря уже о Европе. Подвиг наших Чаадаевых и Герценов не в том, что они ее **выдумали**, а в том, что они ее умно и **талантливо** сочетали с нашим прошлым и будущим, стараясь поменьше ломать и побольше создавать. Точно также вводили гражданственность Гарибальди и Мадзини в Италии, Кошут в Венгрии, Гамбетта во Франции, Костюшко в Польше и т[ак] д[алее]. На судьбе Китая, Испании и нашей собственной мы видим, что получается, когда политическая эмансипация сопровождается **ломкой** национальных устоев. А на судьбе Японии, Италии, не

говоря уже об Англии, мы любуемся расцветом гражданской свободы, засаженной на старой, лишь взрыхленной, почве национального единства.

Но для П. Н. Милюкова не существовало ни примеров Востока и Запада, ни скорбных ошибок Герцена. Павел Николаевич забыл о «выстреле в глухую ночь», — выстрелить ему захотелось самому, и не только выстрелить, но и создать «глухую ночь», которой, на самом деле, после освободительных реформ в России не было.

Еще раньше московских съездов, в своей газете «Речь» Павел Николаевич давал понять, что либерализм — это он (l'Etat — c'est moi)[a]; что гражданской свободы до него не было и быть не могло, и что установить ее в России без него, Милюкова, немыслимо. На съездах же, где совершилось подобие схизмы Никейского собора[497], разделились не идеи, а личности, — ибо в ту пору уже не идеи создавали личности, как в 60-х годах, а личности, для своего выявления, отрывали клочки давно существовавших идей, наматывая их, как паруса, на мачты своих честолюбий. На московских съездах разделились два себялюбивых властолюбца — Милюков и Гучков — разодрав, для личных целей, единую идею российского прогресса. И на обоих полотнищах ее зарисовали узор политики личной, устремлений данного момента, забронированного от прошлого и слепого для будущего. Кажется, на реках вавилонских нашего раскаяния все, кроме П. Н. Милюкова и Гучкова, в этом уже сознались.

Грех (или преступление) Милюкова «идейного» заключается прежде всего в том, что он создал партию, т[о] е[сть] течение в океане русской освободительной мысли, изолировав это течение от вод океана чужим катехизисом (Кизеветтера)[498] и своим властолюбием.

Милюков **экспроприировал** русское освободительное движение, присвоив себе подвиги и декабристов, и шестидесятников. Отлучил от огня и воды всякую мысль, если она не была специфически кадетской. Создал в политике касты браминов и париев. В храме российской эмансипации, с алтарями в честь Герцена и Огарева, впускал лишь **свою** паству: не принадлежащим к ней предоставлялось тесниться за изгородью этого храма. Кто не с нами, тот против нас! Лозунг этот создал у нас впервые П. Н. Милюков; а этот лозунг оторвал от берегов русской общественности целые глыбы. Что и положило начало распаду этой общественности.

От берегов русской свободы, захваченной в единоличное пользование кадет, оторвались прежде всего сгустки обывательщины, запечатленные музой Чехова — нудняки и слабняки, дяди Вани, Астровы, Ивановы, весталки и вакханки медвежьих углов, вздыхающие по Европе и Москве, вырубившие вместе с вишневыми садами свое прошлое и будущее — 9/10 российской интеллигенции, осевшей, как соли в запущенном организме подагрика, в запущенной провинциальной и поместной жизни. В этом разношерстном стаде одушевленных прекрасными намерениями, но неспособных к борьбе за жизнь слизняков («через 200 лет Россия будет неузнаваемой»), бродили одиночками и стаями зубры, гиены и шакалы, с воем об отжившем приказном строе и с хищным рычанием над чуемой уже добычей российской падали (Дубровины и Грингмуты, Ленины и Троцкие). Цитадель кадетизма, монополизировавшего русскую свободу, была для них наглухо закрыта. Ритуал кизеветтеровского катехизиса и милюков-

[a] Государство — это я (франц.).

ского правоверия охранялся пушками кадетской нетерпимости. Из огромного инертного тела русской общественности партийными насосами было выкачено в карликовый организм кадетизма врожденное нам свободолюбие; политическое самосознание пробуждавшейся страны было выжато, как лимон, в сосуд милюковского властолюбия. А недожатую оболочку русских надежд кадеты с презрением вышвырнули. Ее-то и подхватил Гучков, чтобы передать, вместе со своей личной местью, сначала Керенскому, а потом Ленину с Троцким.

* * *

О том, что милюковская «идейность» не заключала в себе ничего нового, что не было бы пережито и выстрадано страной (за многое, что стояло в кизеветтеровском катехизисе, ратовали русские консервативные элементы), и что «идейность» эта, кроме властолюбия (наподобие теперешней «идейности» партии коммунистической), решительно никакого raison d'etre[a] не имела, говорить и поздно, и лишне. Павел Николаевич Милюков ведь не забыл свои посещения «белого дома» Витте и таинственные обеды с гр[афом] в отдельных кабинетах Донона. Плохого и в этом нет: власти добивались и Муссолини, и Пилсудский, и сонм политиков всех стран. В «идейности» П. Н. Милюкова плохо лишь то, что борьбу за власть он вел «негодными средствами».

Негодность их и в стратегии, и в тактике. Эта последняя у П. Н. Милюкова сводилась и сводится к системе уколов, оскорблений, извращений, подсидки, а главное — возбуждении против своих политических врагов массовой ненависти. Макиавеллизма как тонкости политической борьбы Павел Николаевич не проявил; но макиавеллизмом как беззастенчивостью и жестокостью пользовался широко. Выпустив на трибуну Гос[ударственной] думы экспансивного Родичева, чтобы возвестить о «столыпинских галстуках», и корректного Набокова, чтобы унизить перед властью законодательной власть исполнительную[499], — Милюков подготовил почву, на которой впоследствии он требовал неповиновения власти (после роспуска 1–ой Думы), ездил на спинах «левых ослов», сначала осудил, а потом благословил великую войну, сначала пригрел, а потом оплевал Протопопова, сначала оплевал, а потом пригрел Бурцева, и подал сигнал к всероссийскому бунту (клеветой на монарха). Но и не это даже, по существу, криминальное (в дни войны) поведение общественного деятеля следует ему поставить в главный минус: есть минус для всякого «идейного» политика еще толще — бестактность. А этот минус, как свидетельствует всемирная история, не прощается.

Бестактный «вождь» — что мокрый огонь, что сухая вода. Бестактность исключает вождизм, как материнство — невинность. Кто-то сказал, что есть нечто худшее всех преступлений власти — ее глупость. Милюков упрекал в ней власть монарха, а острослов Влас Дорошевич — власть кадетского вождя. Вылетевшая из уст Дорошевича крылатая кличка — «Бог бестактности», сопровождая П. Н. Милюкова в изгнании, не отвяжется от него до гробовой доски.

Трагедия «вождя», избежавшего большевистской «стенки» и пуль Шабельского (в Берлине), избежавшего нищеты и одинокости (после разрыва с едино-

[a] Смысл существования (франц.).

утробными кадетами) — здесь: в его хронической неизлечимой бестактности. Об этом недуге Павла Николаевича писал не один Дорошевич. Вот, напр[имер], как описал ее один из старых журналистов, и притом **еврей**. Я подчеркиваю слово «еврей» вот почему.

Узурпировав дело русской политической свободы (о которой мечтало 9/10 России), Павел Николаевич прихватил с ней и все связанные с этой свободой вопросы. Между ними и вопрос еврейский.

Антисемитизма в России, как когда-то в Испании, Польше, Голландии, не было. Подлинных антисемитов в России была горсточка, и выявилась эта горсточка лишь как протест участию евреев в революционном движении («черная сотня»). О «черте оседлости» нет ничего в основных русских законах[500]. Ни Петр, ни Екатерина не были антисемитами. «Черта оседлости» создалась административным распоряжением, как и законодательства антиземское, антигородское, антиучебное («кухаркины дети») и многое, явившееся следствием временной реакции после злоупотреблений освободительными реформами. На «черте оседлости» настояли либералы, а не реакционеры той эпохи. А боролись с ней, при Александре III, — реакционеры (Катков, Мещерский). Притворившись запамятов[ав]шим это, П. Н. Милюков поднял стяг защиты русских евреев. Мировому еврейству Павел Николаевич дал понять, что защищает евреев в России он один. В антисемиты он произвел не только Пуришкевича с Марковым, но и Николая II со Столыпиным. А после убийства Иоллоса развил такую энергию в защите евреев, так нашумел и надерзил правым кругам, что рядом с «черной сотней» вызвал образование группы сверхнационалистов (Балашева)[501]. Роль паладина еврейства Павел Николаевич перенес и за рубеж, продолжая и здесь от кого-то и от чего-то защищать племя Израиля. И хотя еврейству в эмиграции живется не в пример лучше, чем не еврейству, П. Н. Милюков из своего здешнего органа сделал нечто вроде еврейской синагоги или цитадели.

Так вот, как один из старейших журналистов еврейского происхождения (Гольдштейн)[502] характеризовал один из моментов вождистской деятельности П. Н. Милюкова в эмиграции. Момент относится к 1922 г. и поездке Павла Николаевича в Америку, для переговоров с Гардингом. Объектом переговоров было положение правительства Меркулова на Дальнем Востоке[503].

«Да, мы здесь, в Париже, волнуемся, все волнуемся, — писал старый журналист. — Не эмигранты только, но и высшие французские круги. И я не знаю, быть может, падение кабинета Бриана находится в связи с пребыванием Павла Николаевича в Соедин[енных] Штатах... Во всяком случае, это уже совсем достоверно — призванье Мильераном к власти Пуанкаре произошло при содействии Павла Николаевича и его двух влиятельнейших органов печати — “Последних новостей” в Париже и “Голоса России” в Берлине[504]. Вам, не посвященным в изготовление современных политических комбинаций, это, может быть, покажется странным? Но я могу секретно сообщить, что из Вашингтона, во время последней конференции в Каннах, шли оживленные телеграфные послания к П. Я. Рыссу[505], который троекратно был вызываем к г[осподину] Мильерану. Я узнал, кроме того, что президент Гардинг разошелся с П. Н. Милюковым в вопросе о положении правительства Меркулова на Дальнем Востоке. Президент говорил о содействии антибольшевикам, а П. Н. отстаивал принцип полного невмешательства. Размолвка между обоими государственными людьми оказалась весьма глубокой. П. Н. Милюков

пригрозил Гардингу, что он, Павел Николаевич, — перекинется от республиканцев к демократам. Когда же Гардинг сказал ему:

— Я этому никогда не поверю! —

Милюков вскричал:

— Мне, мой милый президент, перекидываться очень легко. Перекидывался я в Киеве и в Ростове к немцам, потом к англичанам, потом к французам. Перекидывался к Деникину, и от Деникина, был за армию, за интервенцию, за Врангеля. Потом был против интервенции, против армии и против Врангеля.

Но Гардинг не верил.

Тогда П. Н. Милюков сел в автомобиль и поехал к Вудро Вильсону. Телеграммы об этом посещении и о предстоящих совещаниях Милюкова с членами Североамериканского Конгресса полетели в Европу. Их напечатали две распространеннейшие европейские газеты — "Последние новости" в Париже и "Голос России" в Берлине. Франк полетел. Марка провалилась...»

И т[ак] д[алее]. Политический портрет Милюкова в этом шарже не искажен.

От первых таинственных посещений «белого дома» (Витте), где «вождь» предлагал заменить династию Романовых — Долгорукими, до визита к вел[икому] кн[язю] Михаилу Александровичу, где он предлагал ему российский престол, от проповеди пацифизма до требования завоевания Константинополя, — на протяжении 12 лет в пределах России и 15 лет вне ее, политические гаффы «вождя» сменялись гаффами[a]. Первое заседание 1-ой Гос[ударственной] Думы, где кадеты, хозяева этой Думы, вместо слова признательности монарху, предъявили ему грубый ультиматум[506]; политический союз с трудовиками, явившимися разрушить устои государства; думская фронда Столыпина; выборгский съезд, выборгское воззвание; агитация в Париже против займа[507]; ослабевавшая атака верховной власти, вызвавшая объединение реакционных элементов; использование «левых ослов»; попустительство гучковской интриге против личности монарха; раздувание после революции шовинизма; улыбки и угрозы, союзы и разрывы; в Лондоне — оппозиция его величества, а в Петербурге — оппозиция его величеству; в министерском кабинете — кулак против Германии, а в Киеве и в Ростове — протянутая ей рука; в Берлине дружба с Гессеном, а в Париже — ссора с ним; в Берлине ссора с эсерами, а в Париже — дружба с ними — разве перечесть все зигзаги милюковского вождизма?! Монархист и республиканец, эволюционист и революционер, пацифист и шовинист, германофил и германофоб, японофил и японофоб, поборник «единой и неделимой», подписавший отделения Польши, Финляндии и лимитропов[508]; антиукраинец, трапезовавший со Скоропадским; разрушитель собственной партии; европеец и византиец, — сколько еще фасов в этом политическом феномене, ведшем Россию к пропасти, и даже на дне ее не перестающий твердить: стрижено — брито! После феноменов эпохи тушинского вора и Александра I, кажется, на Руси такого еще не было. И рядом с ним, в роли второго «вождя» российского лихолетья, злой рок России поставил тип совсем «из другой оперы», совсем из другого теста — тип Алекс[андра] Ивановича Гучкова.

[a] Так в тексте.

Глава XIX.
Гучков

В архиве Министерства финансов по отделу пограничной стражи имеется дело «о прапорщике Гучкове». Историк русской революции должен будет его перелистать. Я видел эту синюю папку на столе у Витте. Тогда предполагался кабинет общественных деятелей. Витте освежал свою память о Гучкове.

— Вот коллективное ходатайство служащих на Восточно-Манчжурской дороге об удалении прапорщика охраны этой дороги, купеческого сына Гучкова. Десять лет тому назад я вынужден был Гучкова удалить[509]; теперь мне приходится его пригласить... От бретера и насильника до министра у нас — один шаг...

Как и у Милюкова, у Гучкова далеко впереди России стояло собственное «я». Оно и было центром его политического кредо. И даже, пожалуй, гучковское самодовление превосходило милюковское, — потому что, рядом с Милюковым, Гучков — неуч. Его стремление к господству вытекало не столько из умственного, сколько из физического превосходства (храбрость) и основной черты российского купечества: ндраву моему не препятствуй!

На московские съезды Гучков попал «героем», прямо из Африки. В Африке он дрался за свободу буров. В Москве — за неволю поляков[510]. Если бы Сибирь еще не была покорена, он, вероятно, устремился бы по стопам Ермака; но к началу XX-го века Россия была в зените своего географического единства, и влюбленному в себя купчику не оставалось ничего другого, как принять участие в ее развале.

Путей к этому было два: интернационализация и национализация страны. Эти два начала (центробежность и центростремительность), с Петра Великого, кое-как в России уживались. Волна за волной накатывали на твердый берег русской государственности: то западничество, то византийство, то космополитизм, то квасной патриотизм. Даже в течение одного и того же царствования, как при Александре I и II, эти течения сменялись, не угрожая основам государства. Параллельно с ними менялись течения политической свободы и утеснения, тоже не грозя государственным устоям. Аракчеев со Сперанским, как впоследствии Лорис-Меликов с Победоносцевым, уживались в том же доме русской государственности. Эти смены основных течений политики России, этот ритм русского

самосознания, что процесс вдыхания и выдыхания, не только не мешал России богатеть и укрепляться, но даже способствовал тому. В известные исторические моменты и у русской власти, и у русского общества напрягались именно те мускулы государственного бытия, которые вводили в государственно-общественную жизнь страны и народа то или иное начало: освободительное или реакционное, интернациональное или национальное. У русской власти и у русского общества жив был еще инстинкт **государственности**: при Петре I он подсказал интернационализацию, при Александре I — национализацию, в 60-х годах — либерализм, в 80-х — консерватизм.

Московские съезды, нагнав на берега русской государственности войну освободительную, этим одним еще не являлись бы истоками русской революции и не подрыли бы эти берега. Подрыв был сделан не идеями, а людьми.

* * *

Октябристов прозвали кадетами 2-го сорта. Так оно и было. Октябризм — вода, налитая в спитый уже чай, щи, сваренные на вываренном мясе. В России великое изобилие всякого рода питательных отбросов. Русские мусорщики делались богачами. Духовных отбросов в России всегда было больше, чем физических, — порой даже нельзя было разобрать, где кончается яство и начинается отброс. Со стола русской духовной трапезы безоглядно швырялись и объедки, и цельные куски. Сметка московского купчика это прекрасно раскусила. Роль политического мусорщика сулила Гучкову блага не менее пышные, чем роль политического гастронома Милюкову. В залежах российской обывательщины, что отмел от алтаря русской свободы кадетизм, было столько же маниловщины, сколько и ноздревщины, — были наивные Коробочки и кряжистые Плюшкины. Астровы и дяди Вани октябризма стоили Кизеветтеров и Винаверов кадетизма, — если не качеством, то количеством они могли дотянуть колесницу «вождя» до министерского кресла. И у них, — этих захудалых помещиков и чиновников русской провинции, — было великое преимущество над присяжными поверенными, фармацевтами и дантистами столицы, — они были подлинно русскими. Политический мусорщик, Гучков, это сообразил — и провозгласил тезис: **национального единства**.

Гучкову не было дела до поляков, как не было дела до буров. Но он дрался за свободу буров и готов был драться за неволю поляков. Попав с корабля на бал — из Родезии на московские съезды — оборотистый купчик мигом сообразил, какие горизонты открывает смелому авантюристу милюковская слепота и самовлюбленность. На Ленских золотых промыслах иностранцы с выгодой промывают отработанные уже пески. Расточительность кадетов в деле русской свободы далеко превзошла расточительность ленских хищников. Вся политическая Россия была завалена стремлением к лучшей жизни («в Москву, в Москву!»), которое кадеты, как не пригнанное к кизеветтеровскому катехизису, с презрением отшвырнули. Оборотистый купчик это учел. Зарылся в отбросы. И, не брезгуя решительно ничем, что попадалось среди здоровых чаяний (а попадались там и гниль затхлой реакции, и смердяковщина, и безоглядное делячество Чичиковых, и бескрайнее жульничество Кречинских), — все это перемалывая на

потребу своему «ндраву», повел это стадо вздыхавших каждый о своем благополучии нудняков, слизняков и мошенников, параллельно с милюковской ратью фармацевтов и дантистов — повел прямехонько к обрыву, за которым реяли уже тени Керенских, Лениных и Троцких.

Я так долго боролся с тлетворным влиянием на русское свободолюбие кадетизма, что ныне, на развалинах загубленной родины, у меня нет ни злобы, ни мести. Я готов признать долю искренности за нашими лжеосвободителями, их трудолюбие и проч[ее]; готов согласиться, что их ошибки и преступления в значительной мере усугублялись ошибками и преступлениями власти, с которой они боролись. Но историк российского лихолетья не обойдет мимо преступлений, корнями своими вросших в души властителей русских дум той эпохи. Преступлений этих немало; ограничимся перечислением лишь главных.

Децентрализация русской власти была в программе не только либералов, но и консерваторов, — об ней не уставал взывать кн[язь] Мещерский. Это был вопрос государственный, мало или почти вовсе не связанный с режимом. (Черта еврейской оседлости была установлена при «либеральном» режиме Александра II). В вопросах русских окраин и инородческом Победоносцев далеко не сходился с Катковым, и оба они оспаривались таким ярым сторонником самодержавия, как гр[аф] Витте. Вопросы эти, как самые острые для пестротканной русской государственности, опиравшейся на центр, но поддерживавшейся широкой бахромой окраин — вопросы эти искренние русские патриоты должны были решать с особой осторожностью, с величайшим политическим тактом и даже гением. И, прежде всего, вопросы эти должны были быть занесены за скобки и российского прогресса, и русского национализма. Понял это даже такой неглубокий политик, как Александр III. Одевшись в косоворотку (в пику Германии), он не признавал «истинно русских людей», не задирал окраин и, пропев «Марсельезу», стукнув кулаком по Кушке, осадил, как муть, весь русский шовинизм. Национализм как специя к блюду русской государственности и как опора самодержавия возник лишь при Николае II. А смесь его с октябризмом дала специю, названную «истинно русской».

Отбросив заботу о русской государственности, оба властителя тогдашних дум, Милюков и Гучков, шагали к власти через волчьи ямы и капканы, расставленные для этой государственности революционерами справа и слева. Кадеты подтягивали себе на помощь трудовиков и социалистов, октябристы — националистов и «зубров». Внутренняя борьба во всех четырех Думах была борьбою не за народное благо, не за крепость русской государственности, а за благо личное, **за власть**. А так как во всех четырех Думах были лишь два основных противника — Милюков и Гучков (Пуришкевич и Чхеидзе сплошь и рядом голосовали вместе), то и весь короткий период российского парламентаризма свелся к этому единоборству. Формулируя главное преступление кадет и октябристов, я бы сказал, что, в погоне за власть, кадеты заболотили русскую политическую мысль **слева**, октябристы — **справа**. Без Милюкова не было бы Керенского с Чхеидзе, как без Гучкова не было бы Маркова с Балашевым.

Ложной и бездарной **стратегии** обеих групп с их вождями соответствовала и их ложная, бездарная **тактика**. И она определилась их отношением к Столыпину, как к самому видному центру тогдашней государственной власти.

В лице молодого «штык-юнкера» (по выражению Витте) Столыпина судьба послала русской государственности и общественности последний якорь спасения. Столыпин не был умен, но был талантлив. И он не был бюрократом. И не был, как Витте, гр[аф] Толстой и Дурново, трусом. Столыпин был сырым материалом, из которого русская общественность могла вылепить подходящего для данной эпохи государственного мужа. Если бы Милюков не встал перед Столыпиным в позу непримиримого врага, а Гучков — нестерпимого лакея, история России была бы иной. Было несколько дней, первых после назначения Столыпина, когда, казалось, судьба сжалилась над Россией: гр[аф] Игнатьев угощал у Донона кадетского вождя, и уже был готов список кабинета общественных деятелей[511]. Но взрыв на Аптекарском острове его разметал[512].

Злейший враг России не мог бы продиктовать иного политического узора, как тот, что разостлался после этого взрыва. Две общественные силы (других, легальных, в ту пору не было) — обе во имя **свободы**, встали по отношению к власти в диаметрально противоположные позы, взаимно друг друга парализуя. Милюков высунул Столыпину язык, Гучков — разостлал перед ним спину. Милюков оппонировал **всякой** мере власти, Гучков расписался даже под полевыми судами. Кадетизм дразнил общество «столыпинским галстуком», октябризм пел гимн столыпинскому гению. В стране, добивавшейся, после полувека борьбы, признаков гражданской свободы, две волны отметали эту свободу, одна — к насилию революционному, другая — к насилию реакционному. Орган Милюкова «Речь» специализировался на перебранке с органом Столыпина «Россия». А из-за московских прилавков улюлюкал, разжигая гражданский пожар, орган Гучкова «Голос Москвы». Вся русская политическая жизнь этих важнейших в эмансипации России лет превратилась в мышиную возню политических карьеристов, сводившуюся к распре Бобчинского и Добчинского. В результате ее нежные ростки русской свободы обмотались «думской вермишелью», а наглая распоясанность Пуришкевичей и Марковых, Чхеидзе и Алексинских взрастила голенастый стебель российского бунта.

Разодрав завесу русской свободы в начале борьбы, соперники наскоро заметали ее в конце. Милюков делал революцию в стенах парламента, Гучков — на улицах. Милюков свергал режим, Гучков — Николая II. Честолюбие ученого и честолюбие авантюриста заплелись в повязку, наглухо закрывшую их политический горизонт. И Милюков, и Гучков знали, чем грозил русский бунт в разгар великой войны. Но кадетизм катился по инерции, развитой еще в пору Столыпина, а октябризм развил эту инерцию в самые последние дни. Октябристов тащил к бунту один лишь Гучков, — тащил из личной мести.

В свое время и Мирабо мстил Людовику XVI. Но ползучий укус московского купчика мало схож с ястребиным налетом французского маркиза. Февральская революция была решена в июле 1916 года, после приема в Царском членов Государственной думы, когда Николай II, обходя представлявшихся, рассеянно спросил Гучкова:

— Вы от какой губернии?[a, 513]

[a] Факт этот ныне Гучков отрицает. Но свидетелями его являются живые еще коллеги Гучкова по 4-ой Госуд[арственной] Думе (прим. автора).

Вчерашнего председателя Государственной думы качнуло[514]. Свергнуть дерзкого монарха решено было тотчас по возобновлении сессии Государственной думы. С этим решением приезжал в Стокгольм Стахович. И осенью 1916 г. воробьи с крыш кричали в России и на Западе о грядущем «дворцовом перевороте». Таковы **основные** преступления кадет и октябристов. Нужно ли перечислять серию побочных?

* * *

Русское освободительное движение длилось сто лет. Начавшись при Сперанском, через головы декабристов и шестидесятников, оно докатилось до кадет и октябристов. Подвижников на этом тернистом пути была бездна: ни один народ не записал на свои скрижали такого количества политических мучеников. Начиная со Сперанского, через Пестеля, Герцена, Огарева, Чернышевского, вплоть до Достоевского, Тургенева, Плещеева и даже Стасюлевича и Арсеньева, не говоря уже о Пушкине и Льве Толстом, — синодик русских выдающихся людей, душу свою положивших за русский прогресс, — бесконечен. Во главе его стоял великий Петр. За ним тянутся Петры малые, Иваны и Сидоры, отдавшие свою кровь в темницах Шлиссельбурга, Петропавловки, в сибирской тайге, среди архангельских льдов — все за ту же русскую свободу. Жертвенность русского освободительного движения безмерна. Другого такого примера человечество не знает. Я не говорю о жертвах Каракозова, Желябова, Балмашева, Сазонова, — жертвы эти зачеркиваются преступлениями. Но разве среди петрашевцев, толстовцев и других освободительных течений России не было тысяч принесенных жертв без единой капли пролитой чужой крови?!

История русского освободительного движения ждет еще своего Нестора. И, когда он появится, из-под пера его брызнет правда ослепительной красоты, — правда о русском свободолюбии, — об Аврааме, возведшем на костер сына своего Исаака[515]. Перед этой правдой человечество еще склонится. Но, думается, правда эта не коснется ни Милюкова, ни Гучкова.

В лицах, сопутствовавших величайшей в мире катастрофе — гибели моей родины, — я ищу не только черт сближающих, но и оправдывающих. Ибо ведь все мы наш век доживаем и могли бы, словами Богрова (убийцы Столыпина) перед виселицей, сказать: «Тысяча котлет больше или меньше, — не все ли равно!» Но я пишу не для тех, кто измеряет земное существование количеством поглощенных котлет, — я пытаюсь стучать к людской совести. Быть может, и даже наверно, скорбь о потерянном, боль личных обид и разочарований во мне еще слишком сильны для такого объективного труда. Не хотелось бы, однако, подражать «мемуарам» Витте. Живой, я говорю в лицо живым. И это особенно относится к настоящей главе моего труда, где я пытаюсь очертить роль в распаде России двух главных его участников: Милюкова и Гучкова.

Личность Александра Ивановича Гучкова, с угла зрения этики и политики, безмерно тусклее, банальнее и пошлее личности Павла Николаевича Милюкова.

К плюсам А. И. Гучкова относили его личное мужество. Качество это считали духовным. Но, в последнее время, наука откопала какую-то железу, где,

якобы, оно скопляется, и при уходе за которой, все люди были бы храбры. Другими словами, наука доказывает, что храбрость есть физическое здоровье, а трусость — болезнь. (Гучков — здоров, Милюков — болен). Если это так, то и гучковская храбрость будет развенчана. Но, гораздо раньше ученых, развенчали эту храбрость былые коллеги Гучкова по службе на Дальнем Востоке. Свидетели ее еще живы. И они вспоминают эпизоды, когда юный прапорщик охраны Кит[айской] Вост[очной] ж[елезной] дороги выбрасывал вещи служащих этой дороги из приглянувшихся ему квартир и плетью усмирял недовольных. Гучковское своеволие квалифицировалось тогда как хулиганство. Но ведь и хулиганство не исключает храбрости. У буров, да и в Петербурге, Александр Иванович ее, несомненно, проявил. Его дуэль с Мясоедовым (впоследствии повешенном) смаковалась «Нов[ым] вр[еменем]» и «Гол[осом] Москвы». Тогда А. И. Гучков выступил на защиту Б. А. Суворина, которого Мясоедов, за клевету в печати, публично избил. Об этой дуэли рассказывал с думской трибуны сам Александр Иванович:

— Он, Мясоедов, целил мне в лоб и промахнулся, а я целил ему в сердце и «промазал»...[516]

Словечко «промазал» свидетельствует, что в дуэльных делах Александр Иванович был не новичком и, во всяком случае, более компетентным, чем в делах общественных. Но у А. И. Гучкова была и другая дуэль, в которой он не «промазал», — дуэль с императором всероссийским.

Близкий к Николаю II адмирал Нилов[517], сопутствовавший царю в его метаниях по жел[езной] дороге до приезда думских посланцев, рассказывал, что для императора больнее всего в эти трагические минуты был приезд именно Гучкова, т[о] е[сть] торжество над ним его личного врага. Из этого шекспировского конфликта император вышел с честью: свое отречение он написал до приезда делегатов и составил его с величавым тактом. Поединка с Гучковым Николай II не принял. И вернулся Александр Иванович в Гос[ударственную] думу далеко не с лицом победителя. Но вознаградил себя за псковскую неудачу министерским креслом и приказом № 1–ый[518].

Едва ли не самое сумбурное и по-российски беспардонное в «бескровной» Февральской революции и в созданной ею власти — это встреча на верхушке ее Милюкова с Гучковым. Если представить себе эту революцию в образе разудалого русского молодца, то слышится его первая после победы фраза:

— Ндраву моему не препятствуй!

Фраза эта в духе всей натуры Гучкова. Но как мог присоединиться к ней Милюков, как повторил ее Керенский?

Власть Временного правительства очутилась в руках столыпинского прихвостня, столыпинского сокрушителя и идейного террориста. Какими бы политическими выкрутасами этот факт не замазывать, не свихнувшийся мозг его не переварит. Каким образом правоверный кадет — Милюков и правоверный социалист — Керенский, могли стерпеть возле себя вдохновителя полевых судов, подручного банкира Утина, фактотума А. С. Суворина и регента газеты «Чего изволите», — этого они до сих пор не пояснили.

* * *

Возвращаясь к тому, с чего я эту главу начал, хотелось бы указать, что российские сдвиги, подразумевая под ними наши эволюции и революции, имели мало общего со сдвигами на Западе. Идеи — политическая и национальная — у нас всегда были в разладе — начиная от Чаадаева и Герцена, кончая Милюковым и Гучковым. Наши сдвиги были исключительно политическими, и ни один из них не был органически связан с нашим национальным самосознанием. Все они не укрепляли, а ослабляли наше национальное чувство, и это вследствие нашего политического дальтонизма. В политике мы не различали зеленого цвета, а лишь красный. Я далек от мысли, что кадеты **заведомо** разрушали русскую государственность в период от 1905 до 1917 гг.; но что они все для этого сделали, кажется, бесспорно. Один уже возглас Милюкова в разгаре войны, обращенный к монарху и ко всему человечеству, «глупость или предательство», — разве не удар по коренным национальным устоям?! А «дворцовый переворот»? И разве было бы так легко большевикам овладеть 1/6 частью земного шара, если бы в этой гигантской империи не было в корне подрыто национальное чувство?! Что же другое, как не это чувство, спасло и спасает от большевизма остальное человечество? Не оттого ли так легко было победить у нас большевистской экономике, что у нас выцвела этика и запуталась среди трех сосен (кадетизма, октябризма и социализма) политика?! После 10 лет стряпни исключительно политической, перед загадкой великой войны и под страхом потери влияния, Милюков ухватился за стряпню националистическую. Но так как здоровый национализм вообще чужд его душевному складу сухого ученого, то и расходное национальное чувство, потребное для данного момента, Милюкову пришлось, по выражению Витте, «вздрючить». И получился тот империализм, шовинизм, что вынудил его, даже после свержения императора, повторять императорские лозунги («война до победного конца»). Милюков до сих пор убежден, что свалила его с министерского кресла «германская интрига»[519]. А, по моим сведениям, главная надежда немцев, пославших Ленина, опиралась именно на милюковский империализм. Чем яростнее он был, тем больше шансов на успех, по мнению немцев, имел ленинский интернационализм.

В противность Милюкову, Гучков, делавший при царе карьеру на национализме, когда царя потребовалось свергнуть, ударился в политику. Но так как в политике он был младенцем, и самая политика в его руках была лишь орудием мести, то и гучковская революция оказалась шаблонным бунтом. Милюков «вздрючил» свое национальное чувство, Гучков — политическое. Два импотента в понимании того, что составляло смысл и секрет бытия России — гармония ее политического и национального начал, — отдали страну во власть начала третьего — разбойного материализма и интернационализма.

Глава XX.
Суворин

Пятый час утра. Рабочий кабинет Суворина. Сквозь тяжелые, малинового бархата, гардины пробивается мутный петербургский рассвет. У заваленного письменного стола, спиной к нему, кутаясь в шелк дорогого халата, застыл волосатый и бородатый старик. Лик патриарха, поза мецената, голос раскормленного дьячка. Старик вспоминает. Вспоминает он всегда в этот ночной час, на переломе дня и ночи, в предутренней тишине, предсказывающей грядущие шумы. Ибо только в этот час огромный суворинский дом в Эртелевом пер[еулке] — гнездо расплодившейся, когда-то нищей, а ныне богатой, когда-то бессильной, а ныне могучей семьи, — только в этот час перелома дня и ночи патриарх этой семьи, хозяин самой распространенной, влиятельной и богатой русской газеты, участвующей в управлении великой страной, безответственный, но всесильный, — только в этот час отдыха и правителей, и правимых, сильных и слабых, проскользнувший со дна русской жизни к верхам ее, талант, безобидная личинка, превратившаяся в скорпиона, захудалый учителишка — в первого русского издателя и журналиста — любит вспоминать об этом чудесном превращении, смаковать его и бесшумно, нутром, смеяться над этим чудом. У Лермонтова: «По небу полуночи ангел летел»[520]... Если летел он над Эртелевым пер[еулком], то душу, которую он нес, здесь перехватили, ангельскую кротость вытравив внешней злостью. Вот о чем к закату ночи любит Суворин вспоминать.

— Переезд на ялике с Васильевского острова стоил в ту пору 45 коп[еек]. А ездить приходилось ежедневно. Для моего бюджета это было много. Но когда на Невском, на набережной, на Морской я встречал на дорогих рысаках всемогущих олимпийцев, которых не сегодня-завтра насмерть ужалит мое перо, представляя их бессильное бешенство — всемогущим ощущал себя я, бедный учитель, ездящий на ялике, и ничтожными казались мне эти банкиры и сановники, ездящие на рысаках... О, жалить, насмерть жалить!... Единственная награда таланта, единственное право и наслаждение его... Молодость, бедность... И все такое... Если бы еще раз!...

Голова патриарха с паучьим жалом падает на грудь.

Бьет пять. Замирает музыка английских часов. С дубового резного потолка чинно светят дорогие люстры. Со стен, оклеенных под кожу, глядят дорогие

картины. Мраморная Психея, стыдливо закрывая классическую грудь, показывает в зеркале классическую спину. У огромного, во всю стену, зеркального окна рассвет побеждает ночь. Строгие шкафы сверкают дорогими переплетами, мягко блестит лак красного дерева, чередуясь с золотом рам, искрится бронза дорогих безделушек, манят раскрытые объятия сафьяновых кресел, — все в этом пышном кабинете дышит барством, покоем. Только заваленный письменный стол странным диссонансом свидетельствует о труде.

Когда трудится этот старец с патриархальной русской сединой, любящий ночные беседы? Когда наслаждается завоеванным кладом уюта, роскоши, красоты? В этом кабинете люди сменяют людей, не умолкает сочный голос старика, не перестают сверкать злые, умные, как два гвоздя, вбитые в огромный череп, глазки, и небольшой влажный рот-жало, то вбирается, то выбрасывается; то копит яд, то изливает его. Чего, чего не наговорено и не написано в этом дорогом кабинете! Сколько яду отсюда вылито! Сколько горя, слез, бешенства и лукавства сюда занесено! История великой страны, летопись дарованья и пошлостей великого народа — бурной и мутной рекой протекали через этот кабинет.

— Эка невидаль хороший фельетон написать, — говаривал Суворин, обидчиво вбирая свое жало. — Выпью десять чашек крепкого кофею, выкурю десяток сигар и напишу...

Говорилось это обыкновенно около 1 часу дня, когда старик после бессонной ночи вставал и небрежно, хотя и жадно, просматривал груду свежих газет. Его гвозди-глазки имели свойство не видеть газетной пошлости и впиваться лишь в даровитое. Талант он ощущал издалека. На талантливую статью он налетал, как ястреб на пташку, и мгновенно взвивался с ней и пожирал ее. И таков был навык у этого человека, таков нюх, что в час-два он обламывал работу, на которую простому смертному надо было дни.

* * *

Если талант — огонь, то Суворин был в полном смысле слова огнепоклонник. В центре его бурной, полной трагизма и комизма, взвивавшейся, как ракета на черном небосклоне и как ракета лопнувшей, жизни — был талант. Ничего он не любил и не уважал, кроме таланта. И ничего, кроме таланта, не боялся. Стяжатель, властолюбец и сластолюбец, он воздвиг лишь один алтарь и лишь одному Богу молился — дарованию.

— Важно не то, что написано, а — как написано...

Может быть, это одна из причин, почему к его газете прилип ярлык: «чего изволите». Во всяком случае, эта газета была довольно верным зеркалом России и декаданса, и, бесспорно, самой талантливой. И все тени русского таланта легли на нее. А теней этих, как известно, немало. Если талант почти везде — самодовлеющ, беспринципен, в значительной степени анормален и аморален, то талант русский, выросший на специфической почве российского быта, сгустил на себе эти тени.

Талант Суворина был изъеден российской хворью. И потому он собрал вокруг себя такие же больные таланты. И в мрачном доме на Эртелевом, в лого-

вище самого злого и талантливого русского издателя, варился в соку жестоких российских нравов яркий русский талант.

Еще будучи «незнакомцем», Суворин сьютил плеяду, создавшую успех «Нов[ого] вр[емени]»: Буренина, Ге[521], Жителя[522], Сергея Атаву[523] и друг[их]. Впоследствии к ним примкнули Амфитеатров, Сигма[524] и, наконец, Розанов, Меньшиков. Наиболее типичным и талантливым был последний. Между Сувориным и Меньшиковым была постоянная ссора: оба презирали друг друга и оба преклонялись друг перед другом. Скрипя зубами, издатель гнул выю перед сотрудником. Меньшиков вогнал «Нов[ое] вр[емя]» в самую мрачную реакцию и человеконенавистничество. Но автоматическая способность меньшиковского таланта, необычная его гибкость заворожили старика: после каждого разрыва между ними старик брал свою палку и скакал в Царское Село, где жил Меньшиков, унижался, просил прощения. А Меньшиков каждый раз повышал построчные.

С другими он был проще. Васеньке Розанову он, например, говорил:

— Вы, Василий Васильевич, оболгали и Иисуса, и рыб (Розанов настаивал на рыбьем сладострастьи). Вы — путаник и сладострастник. И все такое... А фельетон ваш пойдет... Хоть я ничего в нем и не пойму...

К Юрочке Беляеву[525] — театральному критику, забравшему аванс за 5 лет, старик чувствовал особую слабость:

— Денег? Не дам... пропьете... Вы вообще пьяница... И все такое... А фельетон пишите... И позлее...

И швырял ему чек на 500 руб.

Газета варилась ночью, под суворинским кабинетом. Снизу вверх и обратно метали гранки. Старик всем говорил, что не занимается газетой, не читает ее. Но ни одной строки не проходило без его санкции. Иные статьи его 5–6 раз летали между этажами, между редакцией и типографией: старик прикидывал и не решался. В критические моменты, когда воз увязал, старик брал палку и в халате, часов в 5 утра, спускался в редакцию. И начиналось:

— Ты, Мишка (старший сын Суворина, официальный редактор «Нов[ого] вр[емени]»)[526], осел... Стоеросовый... Вы, Розанов — юродивый... Вы, Егоров — пьяница... Чего вы мне суете эту жвачку? Не надоело? Бездарность, пошлость, гниль. Пошли вон!...

Палка гуляла по воздуху, «таланты» разбегались, а маленький сын великого отца оправдывался:

— Ты вечно ругаешься, папа. Чем я виноват? Ты сам велел, а теперь я осел... Так нельзя... Я уйду...Огород копать...

* * *

О Суворине можно написать тома. Его два полушария — лик материальный и моральный — были в вечном разладе, и здесь была трагедия его жизни.

Материальный успех Суворина начался с созданием «Нов[ого] вр[емени]». Но газета эта была основана не им, а Лихачевым, как и другая русская преуспевшая газета «Русск[ое] слово» была основана не Сытиным. Оба эти крупнейшие русские газетные издателя преуспели по-разному и разный вес приобрели в русских государственности и общественности, но оба торговли печатным словом.

В руках Лихачева «Нов[ое] вр[емя]» успеха не имело. Успех начался с момента, когда перекочевали в него ядовитые фельетоны «Незнакомца» (псевдоним Суворина) из коршевских «Пет[ербургских] вед[омостей]». Их читал весь Петербург. С Васильевского острова Суворин перебрался в шикарную квартиру на Итальянской. Ему удалось отделаться от Лихачева и привлечь в газету таких же нищих, как он, талантливых сотрудников.

В ту пору на крайнем левом фланге русской печати был «Голос» Краевского и [«Русское слово», на крайне правом —] «Гражданин» с «Моск[овскими] ведом[остями]» Мещерского и Каткова. Суворин врезался между этими двумя полюсами, ядом своего таланта поливая тот и другой. Успех превзошел ожидания. Петербург и Россия захлебнулись суворинским ядом. (Каткова он называл «московской просвирней», Мещерского — «мышиным жеребчиком», Краевского — «Коробочкой»). Не проходило дня, чтобы в «Нов[ом] вр[емени]» не издевались над правой и левой Россией, взращивая семена оппортунизма. Октябризм только официально создал Гучков, подлинным основателем его был Суворин. И он первый пожал обильную от него жатву. Аудиторией «Нов[ого] вр[емени]» стала вся российская бюрократия и плутократия и та часть всероссийского дворянства и мещанства, которая искала ссуд, дел, наживы и вообще чаяла движения воды. В Эртелевом пер[еулке] был воздвигнут суворинский дворец и собственная типография. А тираж газеты перевалил за 50 тыс., чего в ту пору в России еще не бывало. («Голос» имел тиража 10 тысяч, «Русское слово» — 15 тысяч, «Гражданин» и «Моск[овские] вед[омости]» — по нескольку тысяч). Тут и началась трагедия Суворина. И эта трагедия, при росшем богатстве и именно вследствие его роста, не выпускала его из своих когтей до смерти.

Силу и значение «Нов[ого] вр[емени]» понимали все русские правители, но ближе и лучше всех понял ее Витте. Между Сувориным и Витте установился роман. Презирая друг друга, они жить друг без друга не могли. Друг друга боялись и друг другом восхищались. Витте ухаживал и за другими газетами («Гражд[анин]», «Рус[ское] слово», «Биржевыми вед[омостями]» и проч.). Мещерскому он давал субсидии, Сытину налаживал издательство, Пропперу варганил биржевые аферы. Но только с Сувориным он сошелся вплотную. Ни афер, ни помощи в издательстве Суворину не надо было — в этой материальной самостоятельности и была сила Суворина. Но объявления...

Материальный расчет Суворина был в том, чтобы все расходы по изданию покрывать объявлениями, а доход с тиража иметь как чистую прибыль. Витте это знал. И вот, в один прекрасный день предложил старику печатать у него все объявления по Дворянскому, Крестьянскому и Государственному банкам, в общем, на 300–500 тысяч рублей в год. Предложил он это не как взятку, а как обязанность казны печатать свои объявления в самой распространенной газете. Суворин принял. И тогда вот денежная мечта его осуществилась — издание газеты покрылось объявлениями. Покрылось настолько, что старик сумел дать «покойников» в приданое своей дочери. (Объявления о покойниках печатались в России исключительно в «Нов[ом] вр[емени]»). Чистый же доход газеты поднялся до 1 мил[лиона] в год. А когда Суворин наладил свое книжное дело, захватив все железнодорожные киоски, то доход его, перевалив за 1 миллион, к смерти старика достиг 2 миллионов в год[527].

* * *

Материальная трагедия Суворина была в борьбе его скупости с расточительностью. Борьбой этой не замедлили воспользоваться. Главным его сотрудником по материальной части оказался некий Снессарев[528]. Этого неопрятного дельца знал весь Петербург. Снессарев был одновременно и деятелем петербургской городской думы. В этом учреждении был тоже омут, и он отражался в «Нов[ом] вр[емени]», как хотел того Снессарев. А хотел он так, как ему платили. Мздоимство Снессарева стало притчей во языцех. Суворин был скандализирован, но вырваться из снессаревских лап не мог. И случилось следующее.

В дом на Эртелевом пер[еулке] попал новый квартирант, муж суворинской внучки[529]. Этого очаровательного юношу старик как-то спас. Ибо был он террористом. Но в суворинском гнезде быстро обуржуазился и прильнул к суворинским миллионам. Старик рад был приблизить к себе человека «с того берега» и вырваться из лап Снессарева, но Снессарев был иного мнения. Шантажируя старика разоблачением нововременских тайн, он попал на компромисс с очаровательным юношей. И началась свистопляска, приблизившая старика к могиле.

Два медведя в суворинской берлоге стали раздирать богатую суворинскую холстину. Деловой Петербург загудел вокруг изумительных проектов «финансирования» суворинского предприятия. В банках и на бирже только об этом и говорили. Загудели и обитатели дома в Эртелевом — сыновья, дочери, кузены, внуки, внучки. Беспечальному житью наступил конец. Чьи-то чужие капиталы стали просачиваться в богатейшее дело. В один прекрасный день кто-то наложил запрещение на «покойников». Такое же запрещение грозило и остальным объявлениям. Где деньги? Караул! Очаровательный внук и отвратительный Снессарев надрывались в приискании новых капиталов, в придумывании новых феерических комбинаций. Старик занедужил.

Тогда вот, как deus ex machina[a], явился Александр Иванович Гучков. Будучи извергнут из 4-й Гос[ударственной] думы[530], реорганизовав октябризм и посадив на свое место Родзянку, всероссийский Гитлер занялся «личными делами». Делами этими, под крылышком Утина, он и раньше занимался. Но, схоронив Столыпина и поклявшись низвергнуть Николая II, Александр Иванович решил обрести более прочную опору для основания своего разрушительного рычага. Такой опорой во всех смыслах было «Нов[ое] вр[емя]». Проникнув в суворинское гнездо, Александр Иванович разогнал обоих финансовых «директоров», приструнил расточительных суворинских сыновей и при посредстве Алексея Ивановича (Путилова) «финансировал» предприятие. В один прекрасный день «Нов[ое] вр[емя]» оказалось «на паях», а старик Суворин — приказчиком своего дела, коего хозяином стал Гучков[531]. Так и осталось до смерти старика. (Перед самой революцией паи «Нов[ого] вр[емени]» от Путилова перешли к Д. Л. Рубинштейну).

Я помню Суворина в дни гучковского владычества, — помню его шагающим и спотыкающимся между кочками Каменного острова, жестикулирующим и что-то шепчущим про себя. Если в эти дни он еще и не вполне походил на короля Лира, то был к нему близок. Старик распределил в уме, кому из многочислен-

[a] Бог из машины (лат.).

ного потомства и сколько записать паев. Задача не из легких. Ибо, кроме денег, надо было разделить и «идейность» предприятия. Из потомства Суворина талантлив был один младший сын. Но он был кутилой[532]. Старший сын был «стоеросовым»[533]. Второй — красным[534]. Оставался очаровательный внук. Но он был юн и завяз на комбинациях. Суворин умер, не разрешив этой проблемы. «Идейностью» «Нов[ого] вр[емени]» вплоть до революции заведовал Гучков. «Дворцовый переворот» стряпался между хоромами Бьюкенена на набережной и хоромами Сувориных на Эртелевом пер[еулке]...

* * *

Вровень с вещественной трагедией Суворина шла и невещественная. Дело в том, что у хозяина «Нов[ого] вр[емени]» и впрямь была «идея», но она оказалась диаметрально противоположной его практике. Суворин был красным. Типичным российским бунтовщиком. Чуть-чуть не Верховенским[535]. И в нем было много от другого героя Достоевского — Ивана Карамазова. Если бы не успех «Нов[ого] вр[емени]», Суворин оказался бы одним из крупнейших «бесов» русской жизни. И влияние его по ту сторону легальной русской жизни было бы не меньшим, если не большим, чем по сю сторону.

Был он талантопоклонником, но в тайниках души был и нигилистом. Карамазовский тезис: «если нет Бога, я — бог», был и его тезисом. Вряд ли он это точно формулировал, ибо вопросами бытия не задавался. В нем не было ни малейшей философской мысли и ни малейшего искательства. Есть ли, нет ли — это его не волновало. Относилось это и к Богу, и к черту, к царю и к цареубийце, к жизни здешней и нездешней. Но в жизни здешней его заворожила сила. А силу он видел не только в деньгах, но и в таланте. И даже больше в таланте.

Суворин искренно боготворил корифеев русского таланта. Выше всех богов для него были Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой. Не ради чванства создал он славу Чехова, готов был плестись и в хвосте Горького. Суворинский театр (Малый)[536] стоил ему бешеных денег; обкрадывали его на каждом шагу. Он кряхтел, ругался, плевался, но мошны не зажимал, — хозяйничал в этой мошне, как и в его доме, как и в его душе, талант. Но, по мнению Суворина, русский талант переметнул справа налево, переметнул туда, где давно, с дней его рождения в мужицкой семье на р. Битюге (Воронежской губ.), с первых шагов его в роли сельского учителя была его душа.

Суворин это осознал в эпоху высшего успеха «Нов[ого] вр[емени]», успеха, созданного не приближением, а удалением от берегов родного Битюга и от свободы родных степей. Чем более его плоть погружалась в хлябь «чего изволите», тем бурнее рвалась из нее душа. Трагедия начиналась с утра, когда, разбирая газеты, он жадно впитывал в себя мысли левые и с отвращением морщился над мыслями правыми. Он пристально вглядывался в «тот берег», жадно ища там признаков бунта. А если признаки эти случайно проявлялись на «сем берегу» (в «Гражд[анине]» Мещерского, в газете Грингмута, Маркова, Пуришкевича), — он и им аплодировал. Бунт заряжал его на целый длинный день, когда он переваливался с боку на бок, как медведь, в своей роскошной берлоге, принимая людей таланта и тупиц, министров и поднадзорных, блудословя, подзадоривая, прово-

цируя, выпытывая, собирая и выпуская свое паучье жало, то хихикая, то по мужицки бранясь, балансируя между враньем и правдой, между жадностью и расточительностью, между паучьей злостью и нараспашку добротой. И так до поздней ночи, до утра. Стряпая очередной № талантливой лжи «Нов[ого] вр[емени]», он, как вор, с этой стряпней прятался.

Трагедия настигла его и в семье. Микроб бунта по наследству передался лишь его второму сыну. Неумный и неталантливый, он, участвуя в составлении газеты, стал тянуть за ее левую вожжу. Для выправления крена старик тянул за правую. Начались стычки, тем более для старика чувствительные, что душой он был всецело с бунтовщиком. Однажды глубокой ночью, когда сын, вопреки его распоряжению, поставил в набор какую-то бунтарскую статью Розанова, старик в халате перешел улицу, забрался в типографию и разбросал набор розановской статьи. Сын рассвирепел и поднял на отца палку. Так, с поднятой палкой, он гнался за удиравшим через улицу отцом. А на утро порвал с «Нов[ым] вр[еменем]». И основал свою газету «Русь»[537]. Газета эта, ярко левая, громила «Нов[ое] вр[емя]». Но деньги на издание ее давал старик. И смаковал ее статьи.

Очаровательный юноша, которого он женил на своей внучке, был из нелегальных. Когда его приговорили в казни (или к ссылке), он обратился за спасением к Суворину. Некоторое время старик находился под его влиянием. Но юноша предпочел суворинские миллионы суворинскому бунту. После «скандала» с сыном и разочарования с внуком старик старался заглушить драму своей души возней с деньгами. Но даже в самые острые моменты этой возни, завязая в болоте, разведенном Гучковым и Снессаревым, в длинные бессонные ночи он мечтал о нищей, но привольной жизни на «том берегу» российской юдоли. Самый сервильный орган русской мысли питался самым типичным русским бунтарем.

* * *

Была историческая ночь. На Эртелевом собрались представители всех газет и обменялись Аннибаловой клятвой[538]: напечатать знаменитый манифест печати в 1905 г. К старику бегал сын, старик ломался. Но клятву дал. Ночью звонил Витте, и манифест в «Нов[ом] вр[емени]» не появился[539]. Это была самая мрачная страница из жизни Суворина. И этого он не простил Витте: последний удар в падавшего льва был нанесен из Эртелева.

Суворин был типичный русский двойник. По натуре он ближе к Ленину, чем к Герцену, по таланту — ближе к последнему. Не перешагни он с ялика на рысаков, с Васильевского на Эртелев, в Суворине Россия обрела бы, вероятно, ярого революционера, может, и большевика.

— Ах, если бы я был с ними, — говорил он, поникая своей патриаршей головой.

И, кажется, только в эти минуты он был искренен, знал, чего хотел. Но на его таланте и на его искренности висела гиря Эртелева — эти 5 этажей, заселенных семейной саранчой, пожиравшей и его талант, и его средства: бездарное, бесшабашное, пьяное потомство гениального мужика с Битюга.

Когда говорили о Боге, Суворин лукаво ухмылялся:

— Есть ли, нет ли — не знаю. А к заутрене езжу на всякий случай...

Когда говорили о царе, он бесился:

— Собственно говоря, зачем нам царь? Одни безобразия от него. И от его бездарных министров... И от прогнившей бюрократии... И все такое. Но, черт его знает, — как же без царя? А министры все же образованные... И чиновники лучше разночинцев... Россия без них развалится...

Утерший немало слез и устранивший немало нужды, с замашками барина, этот «мужик» был скопидомом: его заставали отвинчивавшим лампочки, чтобы даром не жгли электричество. Подняв на беспримерную высоту плату за журнальный труд и безжалостно эксплуатируемый, он бесился из-за лишней бутылки содовой, выпитой в редакции. И любимым, укромным занятием его было считать гроши, заработанные им за пьесы[540]. Это были **его** деньги, а в редакции в это время раскрадывали и растрачивали сотни тысяч.

Суворин с его «Нов[ым] вр[еменем]» — эпоха. Много зла натворил старик. Но русский талант имел в нем рыцаря. И величие, слава России, по-своему понятые, обслуживались не за страх, а за совесть его злым талантом и раздвоенным сердцем.

Глава XXI[a].
Сытин

Газетное издательство в последние 25 лет царского режима держалось на трех китах: Суворине, Сытине и Проппере. О последних двух можно говорить лишь как о типичных захватчиках органов общественного мнения, лишенных какого-либо ценза, почти безграмотных и, тем не менее, долгие годы игравших роль «хозяев» в предприятиях, где орудовали люди таланта, высшего образования, представители и вожди политических течений: «Русск[ое] слово» и «Бирж[евые] вед[омости]» принадлежали людям, едва умевшим сложить фразу и во всякое время готовым променять издательство на кафе-шантан. В ряде хаотических явлений, приведших Россию к распаду, кажется, это не было последним.

Лет 60 тому назад в Москве у книжного ларя на Никольской хлопотал босоногий мальчонок — Сытин. Востроглазый и востроносый, он начал с чайника (таскал из трактира кипяток) и вскоре стал главным приказчиком. В ту пору, да и до последнего времени, сеятелями просвещения в народе были офени (книгоноши). Их была целая армия и центром их сборищ были Москва и Нижний. Офени играли в книжном деле роль откупщиков в винном: каждый работал в своем районе. Товар они покупали тоже у своих продавцов. Офеня был главным и лучшим покупателем на русском книжном рынке. И потому ладить с офеней значило в этом деле преуспеть. Свой успех на жизненном пиру Сытин начал с успеха среди офень: никто лучше его не умел «уважить» покупателя, никто дольше его не сгибал спины в поисках за ходкой книжонкой, никто не расписывал так витиевато ее содержания.

— Золотое было времячко, — рассказывал Сытин уже миллионер. — Работал и мозгом, и спиной... Я им про книжку, а они мне про народ... Вот и познал. С душой народа беседовал... Вся моя мудрость оттелева... Ни газеты, ни типографии, ни миллионов не было бы без народу... И служу ему, как умею...

Всего за год до большевиков Сытин праздновал свой издательский юбилей, праздновал его в роскошном особняке на Тверской, среди сонма почтительно склоненных старейшин купеческой и сановной Москвы. С приветом приезжал

[a] Далее зачеркнуто: Из книги «Ныне отпущаеши».

сам градоначальник; прислал телеграмму царь. К этому юбилею материальное могущество Сытина выражалось: в громаднейшей типографии на Пятницкой, одной из самых больших в Европе (в ней работает теперь большевистское госиздательство); в самой распространенной (с миллионным тиражом) газете «Русское слово», в самом большом по количеству выпускавшихся книг русском издательстве с огромными складами и магазинами во всех центрах России. Сытин снабжал стомиллионный русский народ народными изданиями, рисунками, календарями. Царь знал, что делал, поздравляя властителя народных дум и «хозяина» плеяды талантов, во главе с Дорошевичем и Горьким...

Про Сытина Витте говорил:

— Торгует общественным мнением...

Но Сытин был выше этого отзыва. С лукавством, жадностью и жестокостью замоскворецкого кота он соединял Бог весть откуда прихваченную чуткость русского интеллигента, смелость пионера и задор крупного игрока. Как и у его конкурента — Суворина, у этого почти безграмотного мужика была страсть к талантам. Он тоже по-своему, по-мужицки был огнепоклонником. И даже, пожалуй, более искренним, чем Суворин, ибо в нем не было зависти к таланту. А как он его вылавливал, распознавал, — это уж почти сказка. Сытин оценивал талант почти как Перлов чай — на нюх и на ощупь. Ему вовсе не нужно было чужое мнение, создавшаяся уже слава, — он подбирался к таланту на цыпочках, когда у того еще не было славы, когда талант был еще тих и скромен, и, подкравшись, ласкал его, покуда за грош не покупал.

Если бы Сытина разбудить ночью:

— Иван Дмитриевич, в Сольвычегодске талант объявился...

Сытин оделся бы и с первым поездом укатил в Сольвычегодск. И там душил бы «талант» до тех пор, пока не соскреб бы его в платочек, как ежа, и не привез в Москву.

* * *

Их разновидности импонировали этому самородку: министр и талант. Перед тем и другим он гнулся и трепетал. Но министров он не любил, а талант обожал. Между властью и Сытиным установились отношения, не похожие на отношения с властью Суворина и Проппера: перед Сувориным власть откровенно приседала, Проппера откровенно презирала; а с Сытиным не знала, как быть. Наезжая в Петербург, а он наезжал туда все чаще — Сытин обязательно являлся к какому-нибудь министру или по меньшей мере сановнику. И происходило следующее: министр или сановник, когда ему докладывали о визите хозяина «Русск[ого] слова», подтягивался. После «Нового времени» самым грозным бичом для бюрократии было «Русское слово». А не было сановника, у которого с этой газетой не было бы старого счета или видов на будущее. Сытина принимали не в очередь. Но вот он являлся с бесчисленными поклонами, ужимками, дрожанием челюстей и нечленораздельной речью:

— Ваше превос... Ваше высокопревос... Ваше сиятель...

Перед этим зрелищем сановник сначала недоумевал, потом, убедившись, что Сытин не ломает комедь, а подлинно трусит, становился нагл:

— Что это у вас, почтеннейший, печатается в газете?...

— Ваше высоко... Ваше сият... Верите ли, ничего не могу поделать с энтой оравой... Они меня в гроб вгонят... Ей-ей!... Возьмите их от меня... Таланты эти... Бог с ними...

Получив, что нужно, Сытин выходил пятясь, кланяясь, захлебываясь, но за дверью мгновенно выпрямлялся и бормотал:

— Ишь, скотина... Ажно в пот вогнал...

А соответствующему сотруднику давал приказ:

— Жарь его в хвост и в гриву... Больше 30-ти тысяч штрафов уж мне он стоит... Жарь еще на 3 тысячи... Я те покажу Сытина...

Привязавшись к таланту, как к «товару», овеянный его радужными крыльями, зажженный его огнем, в постоянной борьбе с ним как купец, и в постоянной погоне за ним как спортсмен, — этот первый по оборотам в России издатель, не умевший написать грамотного письма, взмахнул от прилавка к Олимпу, связав их единым, сытинским объятием. От офень он перескочил прямо к Горькому, Чехову, Андрееву, Куприну, Бунину, Мережковскому, Дорошевичу и проч. Гнул перед ними и спину, и душу, как перед офеней, чтобы так же, как офеней, овладеть ими и заставить на себя работать. И работал русский талант на Сытина, как работал он на Суворина и Проппера, а раньше на Краевского, Каткова, Пастухова, Липскерова и других откупщиков русского дарования...

Сходство Сытина с Сувориным — этих двух мужиков разной культуры — шло глубже. Сытин был тоже типичным российским двойником, вечно метавшимся между двумя полюсами и двумя правдами. Для него не существовала (или очень поверхностно существовала) политика; но у него было специфически российское «нутро», тянувшее его в две противоположные стороны. Его манил идеал святости, но его тянул и грех. Его мысль реяла в великих зданьях человечности и общественности, а купеческий инстинкт тянул к прилавку. Его взмах был широк, а прикосновение узко и мелочно. Щедрый на громкие затеи, он с глазу на глаз выжимал гроши, был подлинно кулаком в отношениях с закабаленными себе «талантами». И у него был свой Меньшиков, которого он ненавидел и боялся — Влас Дорошевич. Только перед Дорошевичем, да еще перед Горьким, раскрывалась его мошна. Других сотрудников, создавших успех «Русского слова», не исключая Немировича-Данченко, которому газета была больше всех обязана (как военному корреспонденту)[541], он безжалостно теснил.

* * *

Сытин смолоду готовил себя в монастырь. Носил вериги, власяницу, ночами простаивал в кремлевских святынях, лоб расшибал в поклонах.

— Не был я никогда счастливее, — умилялся он за стаканом вина, — как в холодной тьме Василия Блаженного на ночном бдении, когда спина и кости ныли от молитвы... Золотое было времячко...

Но бдения сменялись дикими кутежами, и в московском трактире Сытина знали так же хорошо, как и у Василия Блаженного.

Насколько можно было понять этого «мужика» в английской паре, говорившего о высоких материях словами, заимствованными у подручных «талантов»,

этого торговца оптом российским вдохновением, радикала и даже социалиста, пропахшего лампадным маслом, замоскворецкого самодержавника и бунтаря Страстного монастыря (в Замоскворечье было все его торговое дело, у Страстного — газетное), «оппозиционера», обивавшего министерские пороги, приказчика, сьютившего вокруг себя мозг и вдохновение страны, — насколько можно было понять извилистую, перламутровую речь этого Кокорева в издательстве, — его золотым временем и впрямь были бедность и безвестность. Петербургский Васильевский остров и московское Замоскворечье дали России два крупнейших типа насадителей русской общественности и поощрителей русского таланта. И эти два типа тащили страну к пропасти, вместе с министрами и вождями.

* * *

У Сытина были две мечты: все бросить и все удесятерить.

— Отдам все детям и уйду, — говорил он одним.

А другим:

— Построю образцовую всероссийскую школу, создам всероссийский музей учебных пособий, скуплю издательства Маркса, Сысоева и других, войду в дело Суворина, открою отделения «Русского слова» в Петербурге, Киеве, Харькове, заберу все киоски, всех писателей сожму в кулак, весь русский талант заставлю на себя работать... Увидит Россия подлинного Сытина...

Так прыгал он от смирения к гордыне, и никто не знал, когда он искренен.

— Сытин — угорь. Его не поймаешь. С ним дела сделать нельзя. Слово для него воробей... Он хитрее нас всех... Да и жуликоват... — отзывались о нем банкиры и дельцы.

Сытин это знал и ухмылялся.

— Верно. Если надоть, всякое честное слово нарушу... Всякого жулика объеду... Это они верно...

Тем не менее, Сытин кипел в делах. Обманывал и был обманываем. Возле него свора комиссионеров переплелась с сотрудниками. Покупка бумажных фабрик, лесов, издательств вытеснила заботы о «Русском слове». Со скрежетом зубовным, со сжатыми кулаками он жаловался всем на Дорошевича.

— Этот мерзавец...

— Зачем же вы его держите?

— Держу?... Я держу? Да берите вы его со всеми потрохами. Разорил он меня... Газета под ножом висит...

На самом же деле ни Сытин без Дорошевича, ни Дорошевич без Сытина жить не могли. Когда однажды они взаправду разошлись, и Дорошевич стал писать контракт с Проппером (писал он его ровно месяц), Сытин потерял сон и аппетит. В конце концов, Проппер оказался поддужным, а контракт был возобновлен с Сытиным. Последний пункт этого удивительного контракта гласил: «По истечении пяти лет, буде Дорошевич не пожелает редактировать “Русское слово”, Сытин обязывается уплачивать ему пожизненно по 24 тысячи в год, а Дорошевич обязуется не принимать участия ни в одном печатном издании».

— Зачем вы это сделали, — спрашивали Сытина, — министры не получают такой пенсии.

— Министров Рябушинский и Проппер не пригласят в газету. А Власа пригласят... От конкурентов откупился...

Свое «Русское слово» Сытин непрестанно продавал. Начал с 25 тысяч (до японской войны), а кончил миллионами. Когда петербургские банкиры давали ему 2 с половиной милл[иона], он требовал три. Давали три, он требовал четыре. И т[ак] д[алее].

— Зачем вы это делаете? — спрашивали его.

— А как же иначе я цену своему делу узнаю?..

В конце концов, накануне революции газета была запродана. Об этой сделке гремела вся Москва. «Русское слово» было запродано известному руководителю стахеевского дела — Батолину[542]. А Батолин в деловом отношении много очков мог дать вперед Сытину. (Батолин тоже начал свою карьеру с «чайника»). До сих пор не ясно, кто кого тогда надул? Сытин жаловался на Батолина, Батолин на Сытина. Но что на этот раз для Сытина коса нашла на камень, и что старый лис был побежден молодым, сомнений нет.

Оставшись при своей гигантской замоскворецкой типографии, Сытин кончает свою карьеру в роли приказчика большевиков. Нашел ли он у них свой покой или еще мечтает о веригах и власянице?

Глава XXII[a].
Проппер

Как личность Проппер был настолько же мелок, насколько крупна была его роль как издателя. Между матерыми российскими издателями — Сувориным и Сытиным, — впитавшими в себя всю слабость, но и всю мощь русского племени, этот щупленький венгерский еврейчик, явившийся к нам за пропитанием и в течение 25 лет не выучившийся даже говорить по-русски, представлял собой один из бесчисленных анахронизмов русского быта в пору его крушения.

Газетчиков в царской России последнего периода было немало: в Петербурге властвовали Худяков, Владимиров, Марков, в Москве — Пастухов, Липскеров, в Киеве — издатель «Киевской мысли»[543], в Харькове — Иозефович, в Одессе — Сибиряков и т[ак] д[алее]. Русская мысль и русский талант были всегда предметом грубейшего торга и эксплуатации. Не избегли этой участи ни Достоевский, ни Некрасов. Но столь циничного гешефта, какой учинил с русской мыслью Проппер, еще не было и вряд ли когда в России будет.

Проппер застал в России нормальные цены на газеты: газетный номер продавался за пятачок. Ему пришло в голову свести газетное дело к массовому производству, вроде механической обуви, пуговиц, бумажных воротничков. Он создал тип ежедневной газеты трехрублевой. А так как до него самая дешевая русская газета стоила 9 руб[лей], победа его была обеспечена. Провинциальное издание «Биржевых ведомостей» в количестве нескольких сотен тысяч экземпляров залило всю разночинную, ремесленно-буржуазно-безграмотную Россию. Аудитория эта, до которой никак не мог добраться не только Суворин, но и Сытин, стала армией Проппера. Это она произвела революцию 1905 года, и она же была пушечным мясом для революции мартовской и октябрьской. Бывшие читатели «Биржевки» ныне являются читателями «Правды» и «Известий». А бывшие главные сотрудники ее (беллетрист Ясинский, профессора Гредескул и Адрианов, журналисты Бонди, Ольдор и друг[ие]) составляют интеллектуальный фонд советского строя[544].

---

[a] Предыдущая строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».

* * *

Проппер начал свое дело (в 80-х годах) тихонько и скромненько. Обедал он в трактире «Малоярославце» за полтинник, был худ и низкопоклонен. Его затмевал Ясинский, с наружностью Бога Саваофа и славой Марлинского[545]. Щупленький венгерец прятался за широкими плечами русского богатыря, наводнившего газету жидкой беллетристикой и скверными рисунками. Тем не менее, иллюстрированное приложение к «Бирж[евым] ведомостям» откололо часть публики от «Нивы» и «Иллюстрации»[546]. С каждым номером Проппер и Ясинский подбавляли к своему детищу гражданской скорби, подкрадываясь, как лис к курятнику, к бунтующей русской душе. Цензура, вначале не замечавшая венгерского выходца, зашевелилась. Но патриархальная осанка, борода и шевелюра Ясинского покрывали прорехи газеты. А у Проппера вырастало брюшко и росла наглость.

В один прекрасный день Ясинский был им выброшен, а из Москвы был выписан известный там пират бульварной прессы, даровитый и забубенный Гаккебуш (в войну перелицевавшийся в Горелова). Одновременно, специально для Петербурга, появилась «Биржевка» вечерняя, под эгидой другого газетного пирата — Бонди. «Биржевка» столичная и «Биржевка» провинциальная охватили объятием спрута всю разночинную, безбожную и беспочвенную Россию. Лавируя между бунтом и оппозицией, она впитала в себя всю политическую и этическую русскую муть. Нововременский Юрочка Беляев был не только талантливым фельетонистом, но и талантливым карикатуристом. Одна из самых удачных его карикатур, помещенная в «Новом времени», изображала собой надутого Проппера с подписью под ней: «Я прежде ходил ку Плеве, а теперь хожу ку Витте».

В этой карикатуре — весь духовный облик «венгерца» и весь секрет его удач. А удачи его были, пожалуй, крупнее суворинских и сытинских.

* * *

В удачах этих было 3 периода. Проппер ходил «ку Плеве», когда его литературный лупанарий[547] надо было оберегать от налетов цензуры. Проппер ходил «ку Витте», когда надо было разбогатеть. Была пора бешеного грюндерства. «Биржевка» стала мощным орудием всяческой спекуляции, — продавала и покупала все, что для такой спекуляции требовалось, т[о] е[сть] фальшивые сведения. Рекламируя Витте оглушительным гвалтом своих газет, Проппер получал от министра финансов сведения верные. Игра была беспроигрышная. К 1905 г[оду], т[о] е[сть] к первой революции, нищий «венгерец» стал миллионером, — переехал в роскошный особняк на Английской набережной, собирал у себя сливки плутократии и артистического мира, давал роскошные обеды и балы. Не боясь уже ни Плеве, ни Витте, он перестал «ку ним» ходить. А чтобы затушевать репутацию своих «молодцов» — привлек к газете несколько громких имен, между прочим — Петра Бернардовича Струве.

Предоставив Струве расправляться с марксизмом, Гаккебушу и Бонди — с банками и «разбойниками пера», Проппер взял на себя дипломатию. Он стал ходить «ку послам», занялся мировой политикой. Оценив это, с Проппером во-

шел в сношения сам Сазонов. И выхлопотал ему первый орден. «Биржевка» стала чем-то вроде французской «Temps». Тогда на Проппере повисли знаки отличия европейских и азиатских стран. Вскоре венгерец был увешан ими, как иконостас. А в его роскошном кабинете на Английской набережной послы сменялись посланниками и при закрытых дверях решались судьбы Европы, Азии, пожалуй, и Америки. Усердная помощница и мозг своего мужа, Флора Мартыновна Проппер (польская еврейка) собирала в это время в своем роскошном будуаре прославленных артистов оперы и Михайловского театра и золотую молодежь, среди которой хмельной адмирал Скрыдлов, опальный владыка Черноморского флота, острил над правительством[548]. Лукулловские обеды[549] сменялись раутами с музыкой и пением знаменитостей. Но на них не показывали «чистой» публике сотрудников «Биржевки». Исключение составляли единицы. И между ними был знаменитый Влас Дорошевич. С ним у Проппера вышла первая в его карьере неувязка.

Повелевавший «Русск[им] словом» Дорошевич расщипался с Сытиным. Очевидно, из-за денег. А Проппер, мучительно завидовавший Сытину, надеялся подхватить главную сытинскую силу. Между Проппером и Дорошевичем шли долгие переговоры, писался длинный контракт. Интересы Дорошевича представлял знаменитый адвокат Гольдштейн, Проппера — Пассовер. В контракте было чуть ли не 80 пунктов. Дорошевичу назначалось 80 тысяч годового содержания и все онеры[550]. Договорились. Был дан на Английской наб[ережной] парадный обед. Проппер произнес речь о всемирном значении «Биржевых ведомостей» и о судьбах мира, которыми отныне будет править он, Проппер, в компании с Дорошевичем. И все лопнуло. Дать восторжествовать Пропперу Сытин органически не мог. Все пропперовские условия он принял и подбавил свои. Дорошевич, которому только этого и надо было, заявил Пропперу, что забыл еще один пункт договора. — Какой? — Что Проппер ни при каких обстоятельствах не имеет права остановить выход газеты.

— А если вы напишете: долой самодержавие!

— Даже и тогда, — ответил грубо Влас.

Проппер, или, вернее, его супруга, поняли игру Власа и попрощались со своей мечтой. Так закончился второй этап на триумфальном пути Проппера.

* * *

Третий начался с днями первой революции. Тут уже надо было ходить не «ку Плеве» и не «ку Витте», а «ку Хрусталеву». И он пошел.

Было историческое утро 18 октября 1905 г[ода]. Витте вызвал к себе представителей столичной печати — сговориться о введении русской конституции. В белом зале «белого дома» на Каменноостровском рядом с огромным Витте стоял крошечный Проппер. Другие «представители» печати жались к стенкам.

— Итак, господа, — говорил творец конституции, — давайте работать вместе. Я на вас рассчитываю.

Молчание.

Но вот Проппер становится на цыпочки перед Витте.

— Прежде чем вместе работать, мы ставим свои условия: 1) немедленная отставка Трепова, 2) немедленный вывод из Петербурга войск...

Глядя сверху вниз на говорившего, Витте побагровел.

— Кто «мы»?

— Выразители общественного мнения.

— Вы? Вы выразитель общественного мнения?..

Когда журналисты ушли, Витте сорвал с себя галстук.

— Проппер мне в бороду вцепился... Эта мразь... За все благодеяния[551]...

«Исторический» день 18-го октября был испорчен для Витте, пожалуй, больше наглой выходкой Проппера, чем революционными выступлениями в городе. И уже до смерти творец русской конституции не забыл, как Проппер «вцепился ему в бороду».

Но для Проппера отступления уже не было. Венгерец стал во главе революционной русской прессы. Подписывал революционные манифесты. А чтобы окончательно связать себя с революцией, предложил свой карман группе кадет. Под знаменем «Биржевки» и на средства ее стала выходить новая революционная кадетская газета[552]. И только после того, как она скушала 200 тысяч руб[лей], Флоре Мартыновне Проппер удалось от кадет отделаться и газету закрыть.

* * *

Само собой разумеется, «венгерец» не упустил случая сыграть крикливую роль и в великой войне. С 1914 г[ода] в России не было более воинственного патриота, как Проппер. Даже суворинское «Вечернее время», устроившее немецкий погром, склонилось перед усердием «венгерца»[553]. Для «Биржевки» вновь наступили золотые дни. Пользуясь ими и следуя примеру Сытина и Суворина, Проппер под истерический шумок успел наладить самую выгодную из своих афер: свое издательское предприятие финансировать, или, вернее, ликвидировать. Но, как и Суворину с Сытиным, ему не удалось пожать плодов этой аферы. Пришли большевики и слизнули пропперовские миллионы, как суворинские и сытинские.

Финансирование «Биржевки» вначале предполагалось сделать так: акции «Биржевки» должны были взять банки, финансировавшие пропперовскую газету. И предполагалось как-то вплести в эту комбинацию и Сытина с его «Русским словом». Сложная комбинация эта была выдумана людьми Проппера. На нее уже соглашался и Сытин. Но дело сорвал Горький. Тогда люди Проппера, обманув его, перекинулись к Протопопову, и выросла «Русская воля». «Венгерец» предал анафеме «каторжника» Гаккебуша и обделал дело с кем-то другим.

В дни Февральской революции, стараясь перегнать своего конкурента «Русскую волю», он требовал «республики» и стлался перед Керенским. Но октябрьский переворот проглядел. Из большевистских объятий выскочил, в чем стоял. Роскошный особняк, огромная типография, семья — все попало в руки большевиков. По примеру Сытина он не прочь был бы обслуживать и их. Но, имея уже на своей службе одного «венгерца» — Бела Куна, большевики не погнались за вторым.

Глава XXIII[a].
Меньшиков

Когда-то я получил анонимное письмо: «Хорошо-то вы поете, Баян, но где сядете? Мы читаем ваши статьи, написанные, должно быть, в красивом кабинете, среди сытости и довольствия. Статьи, широко оплоченные... И в нашем списке виновных перед народом ваше имя — не последнее. Вы, господа свободолюбивые литераторы, столько же виновны перед Россией, как и палачи Плеве и Столыпин...»

Я сотрудничал в «Нов[ом] вр[емени] в 1906 году. И в ту пору, между двумя столпами этой газеты, Меньшиковым и Столыпиным[554], возгорелся на страницах газеты спор. Это не был спор между реакцией и прогрессом, — это был спор между двумя китами, на которых держалась газета.

Не помню, из-за чего между этими китами возгорелся спор, но так как оба они были мне не по душе, и вообще, по вечерам в редакции, среди малосимпатичных мне людей я злился, то, сжав зубы, я написал статью, в которой больно укусил и Меньшикова, и Столыпина. Подписал псевдонимом.

К полуночи статью набрали, а к 1 часу ночи из этажа, где жил старик Суворин, телефонируют:

— Кто автор статьи?

К 2-м часам новый телефон:

— Статья не пойдет...

К 3-м звонят:

— Статья идет...

К 4-м:

— Статья не идет...

Собираюсь домой, рву корректуру. Из-за спины лукавый шепот Ванечки Мануйлова:

— Не торопитесь...

Было еще два звона: «идет», «не идет», после чего я удалился.

Статья была напечатана, но с подзаголовком: «Письмо в редакцию».

[a] Предыдущая строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».

На следующую ночь старик Суворин говорил мне:

— Как вы хотите, батенька, чтобы я печатал против Меньшикова? Каждый раз это мне обходится лишний пятачок на строчку... Жаден уж он больно...

В воспоминаниях известного общ[ественного] деятеля Тейтеля есть страница о его знакомстве с Меньшиковым:

«Это было в 80, 84, 85-х годах, — пишет он. — Меньшиков носил тогда форму мичмана, был большим поклонником Л. Н. Толстого. Интересовался “мужиком”. С литературных вечеров Гайдебурова мы с Меньшиковым вместе возвращались, так как жили в одном районе. Шли пешком и всю дорогу беседовали. Любил он расспрашивать о бытовых крестьянских делах. Об евреях он отзывался очень корректно, ничего антисемитического в его суждениях не было. Напротив, он интересовался деятельностью евреев в Самаре и признавал пользу последних в торгово-промышленной области. Меньшиков любил больше слушать, чем говорить, а говорил он тихо, медленно и метко. Мы расстались с ним, когда он ушел, после смерти Гайдебурова, из “Недели” к Суворину в “Новое время”. Сделал он быстрый скачок вправо. Стал проводником самых человеконенавистнических идей. Все еврейское, как хорошее, так и худое (впрочем, хорошего он, кажется, за евреями ничего не признавал), он беспощадно осуждал и, можно сказать, на его фельетонах воспиталось много специфических общественных деятелей.

Не виделся я с ним в течение чуть ли не 10 лет. В 1902 г[оду], будучи в Петербурге, я зашел к А. Ф. Кони. При мне пришел туда Меньшиков. Я еле-еле его узнал. Вместо мичманской тужурки на нем был длинный, довольно поношенный сюртук. Он облысел. А. Ф. хотел нас познакомить, но мы оба сказали: «Мы знакомы». Обратившись к Меньшикову, я сказал: “Как вы изменились, Мих[аил] Осип[ович]! Какая перемена с тех пор, как я вас видел в редакции «Недели»”!

Я имел в виду исключительно перемену его наружности. Меньшиков, должно быть, понял иначе, счел, что я намекаю на перемену его образа мыслей и на сотрудничество его в “Новом времени”. Он что-то пробормотал в ответ и тут же удалился»[555].

* * *

После Герцена и Михайловского самым исключительным явлением нашей художественной публицистики был Меньшиков. Теперь, когда революционная пуля просверлила этот большой мозг[556], когда могильная плита выдавила все «одиозности» этого редкого дарования, о Меньшикове можно говорить спокойно.

По внешности — головастик, по типу — тихоня, по душевным качествам — «Иудушка», Меньшиков взошел на российский Олимп скромно, никого не толкая. Как все русские дарования, он начал с протеста, но не крикливого, а лирического. В этом смысле он был убедительнее Михайловского, теплее и сочнее Герцена. Но Меньшиков делится на два полушария: левое и правое, — на Меньшикова «Недели» и Меньшикова «Нов[ого] вр[емени]». В «Неделе» (еженедельном журнале Гайдебурова) им зачитывались женщины, в «Нов[ом] вр[емени]» — сановники. Меньшиков был Тургеневым нашей журналистики и Булгариным публицистики: женщин он чаровал стилем, сановников — логикой. Никто лучше его не умел задрапировать яркими лоскутьями убогую и одиозную суть, дока-

зать, что дважды два — пять. Глядя на этого маленького человека с большой головой, не то семинариста, не то подьячего, встречаясь с его тяжелым, из-под очков, взглядом, слушая его сонную речь и улавливая апатичную усмешку, нельзя было и подумать, что имеешь дело с чародеем, проникающим с одинаковой легкостью в лабиринт политических условностей и в святая святых абсолютных истин. Автор никчемных «Писем к ближним» был в то же время и автором единственной в своем роде, по ароматности, книги «О любви» и единственного в своем роде, по глубине анализа, трактата «О скупости» (апология скупости).

Европе более известны наши балерины, чем публицисты. А между тем, с точки зрения эстетизма, о бок с нашими поэтами и беллетристами следовало бы поместить и кое-кого из наших журналистов. Потому что иная публицистика художественностью своей подымается до поэзии и бичует, как сатира. И Герцен с Михайловским порой затмевают Тургенева с Щедриным.

Художественная публицистика сделала русскую газету и русский журнал самыми интересными в мире. Уступая прессе Запада в области техники и информации, злободневности и универсальности, пресса царской России, хотя и в тенетах цензуры, хоть и под спудом нашей сравнительной некультурности и аморальности, переросла своего старшего брата разнообразием, глубиной и красотой содержания. Наши самые свежие, а подчас и глубокие, мысли попадали сплошь и рядом не в книгу, а в газету, — книги расходились у нас туго, а газеты бойко. Статьи и фельетоны оплачивались у нас выше рассказов и романов.

В погоне за талантами Суворин и Сытин (и в хвосте у них — Проппер) сделали из своих газет сеть, в которую улавливались не только публицисты, но и художники, мыслители. В газетной сети тесно прижались друг к другу русская критика, философия, поэзия и сатира. Под сенью газетного материального достатка выработался тип исключительно русского художественного фельетона, на Западе почти неизвестного. Отцом такого фельетона был Суворин, писавший в «Пет[ербургских] вед[омостях]» Корша под псевдонимом «Незнакомец». Его переросли впоследствии Сергей Атава, Буренин, Амфитеатров, Сыромятников, Розанов, Дорошевич, а выше всех — Меньшиков.

* * *

В Меньшикове Россия обрела литературного Калиостро, — явление почти феноменальное по технике и по дару душевного перевоплощения. Этот чародей был всегда искренен и всегда лгал: всякую ложь он претворял в правду и всякую правду обагрял ложью. Его душа представляла нечто вроде мельничного закрома, куда можно было засыпать решительно все, что угодно, — злаки и щебень — и все это перемалывалось с одинаковой точностью и тонкостью.

Меньшиков цвел в «Неделе», а плодами покрывался в «Нов[ом] вр[емени]». И плод его был столь же горек, сколь сладок был цвет. Катков был в юности ярым либералом, а его сподвижник Тихомиров участвовал в цареубийстве. Достоевский прямо с каторги сел на редакторское кресло «Гражданина» кн[язя] Мещерского[557]. После Булгарина и Сенковского[558] — эквилибристика русской мысли никого уже у нас не удивляла. Однако Меньшиков удивил. И зажег такую злость, таким ядом наполнил сердца, какого русское общество еще не знало. Чем

убедительнее и чем талантливее он писал, тем более злил и оскорблял. Именно осквернение заложенной в нем искры Божией ему и не могли простить. Свой удивительный дар творчества он перемастерил на дар разрушения, из оливковой ветви состряпал нож гильотины. И три раза в неделю, на лобном месте Эртелева пер[еулка], меньшиковская гильотина отсекала народные чаяния, народный пафос и общественную мораль. В роли палача русской свободы Меньшиков презирал и свой талант, и человечество.

* * *

Если в Тихомирове чувствовали ренегата, а в Булгарине — просто мерзавца, то в Меньшикове Россия почувствовала автомата, машину, с которой борьба невозможна. Машина зачаровала и презиравшего ее Суворина, и напуганных ею министров. Головастик Эртелева пер[еулка] стал чем-то вроде злого колдуна Черномора, насылавшего то зрелище роскошных садов, то мертвящий кошмар. В приемной «Нов[ого] вр[емени]» висел огромный ящик с надписью: «Корреспонденция М. О. Меньшикова». В этом ящике Пандоры стекалось, кроме проклятий и слез, все, что сподручные палача готовили своему шефу для очередной экзекуции. Палач приходил — маленький, тихонький, скромненький — крошечная рука опускалась в ящик, и хищные когти, зажимая жертву, несли ее на плаху. Перед грудой специально для него заготовленных листков Меньшиков садился с лицом начетчика над покойником. И машина заводилась. Ни колебания, ни паузы. Бисерным почерком выводились строчки, до одной буквы соответствовавшие строкам печатным — так было условлено с метранпажем. Каждая строка была — монета. Но она же была — кровь и слезы. Меньшиковский мозг вырезывал эти монеты из живого тела своего отечества, из плоти всего человечества, нарезая их ни одной меньше, ни одной больше того, сколько ему позволяли.

А позволяли ему много: по 350 строк три раза в неделю и «письмо к ближним» в 700 стр[ок]. Машина меньшиковского мозга была оборудована в размере алчности меньшиковского сердца. Претворяя кровь и слезы в золото, она действовала без запинки. За большой стол садился маленький человек, и от большой головы ток передавался в маленькую руку.

Машина работала.

Только крошечная жилка билась на виске алхимика. Только поскрипывало перо. Подсекаемые ножом гильотины, бесшумно падали побеги всего яркого и святого.

* * *

Меньшиков жил в Царском. Мукой его было — расход на извозчика, на жел[езную] дор[огу], на трамвай. Зарабатывая неслыханный для журналиста гонорар — около 50 тыс[яч] руб[лей] в год — Меньшиков упорно копил. Если бы не было банков, Меньшиков прятал бы свои червонцы в погреб. Меньшиков варился в соку литературного распутства. И остался трудолюбивым, трезвым аскетом. Коллеги по перу от него шарахались, а он их не замечал. Меньшиков-палач шел

к плахе, точно на плаху — по виду приговоренный. Он был равнодушен и к славе, и к позору. Там, где Суворин гнулся, там Меньшиков держал себя независимо. Его не тянули ни дворцы, ни почести. Его тянуло лишь золото. Меньшиков был классическим скупцом. Цинизм, с которым он афишировал скупость, превзошел цинизм его коллег, афишировавших расточительность. В Меньшикове сплелись единым объятием Малюта и Плюшкин. Свою огромную мозговую силу Меньшиков наладил в Монетный двор и в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Если бы можно было сделать больше денег в лагере революционном или крайне реакционном, Меньшиков писал бы там. В первом случае Россия не слышала бы о жидо-масонах; во втором Меньшикову удалось бы смастерить всероссийский погром. На ход русской истории повлияло то обстоятельство, что Суворин мог платить больше Каменки в «Речи» и Дубровина, — что машина меньшиковского мозгового аппарата была запродана «Нов[ому] вр[емени]».

Но даже в этом заведении Меньшикова презирали. Словно скованные арестанты, газета и ее столп душили друг друга. Из своего застенка его главный палач выходил изможденным, с гримасой отвращения. И торопился домой. Жил он во дворе маленькой дачи, в крошечной квартирке. Но у дверей его вечно стоял охранявший его городовой, а в кабинетике вечно благоухали цветы и пели канарейки. Этот литературный Робеспьер после золота обожал больше всего розы и птиц. Под охраной городового и под птичье щебетанье в больном, хотя и гениальном, мозгу роились кровожадные образы.

Судьбе угодно было, чтобы Россию возвели на плаху не только ее бездарности, но и таланты, не только распутники, но и Катоны. Меньшикова расстреляли 3–4 юных еврейчика[559]. Не сопротивляясь и не удивляясь, эта грозная сила распадающейся России дала себя прикончить, как овца на бойне. Не потому ли, что раньше пули Меньшикова просверлило сознание причиненного им зла?!

Глава XXIV[a].
Дорошевич[560]

Когда стало известно, что Дорошевич признал советский строй и что на поддержание его существования собирают милостыню, я вспомнил редакторский кабинет на Страстном бульваре, откуда разносился внушительный бас владыки «Русск[ого] слова», а мимо на цыпочках бегали приструненные сотрудники. Я вспомнил еще роскошный петроградский кабинет «Власа» с ампирами, редкими картинами и чудесной библиотекой. И представление о Дорошевиче — «боярине», эпикурейце, до мозга пропитанном державностью и властностью, в такой мере расходилось с образом Власа голодающего, разбитого параличом и склоняющего выю под большевистским сапогом, что жуть брала. Громадность постигшей Россию катастрофы ощущалась тогда вовсю.

В общественность Дорошевич ворвался, как Витте в государственность — косолапым, неладно скроенным, но крепко сшитым Любимом Торцовым. Темного происхождения, сомнительного образования и еще более сомнительного воспитания, этот басистый обломок, красивый своей уродливостью, всплыл из специфической московской толщи, где в первую очередь требуется луженый желудок и крепкая башка для яств и питий, а затем добродушно-злой смешок для развлечения и растяжимая мораль для обихода. Нигде в мире, кроме Москвы, ее не было. Гранили ее — Московский трактир с Тестовым, «Московский листок» и театр Корша[561]. В этом треугольнике накопилось столько российской бесшабашности, физической и моральной удали и столько русского, черноземного дарования, что никакие школы и академии с этим вольным пастбищем спорить не могли.

Не один Дорошевич сорвался с этого пастбища: одновременно и рядом с ним пасся там и другой журналист — Амфитеатров — тоже мужчина большой, удалый, в противоположность Власу говоривший тенорком. Между ними была вечная ссора. Судьба, кажется, не без участия властей, убрала их — одного на север, к Суворину, другого на юг — в «Одесский листок»[562]. Громкая журнальная карьера обоих начинается лишь отсюда. Свой оригинальный сатирический талант и титул «короля фельетонистов» Дорошевич выявил и заслужил лишь в Одессе.

---

[a] Предыдущая строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».

* * *

«Король фельетонистов!» — У этого большого, бритого, носатого и губастого, гудящего октавой человека в осанке было и впрямь что-то королевское. В пору зачатья его литературной карьеры, в листках Москвы и Одессы, Дорошевич, может, не имел ни этой осанки, ни этого баса; даже наверно не имел. Но Дорошевич второго периода, Дорошевич альбертовской «России» и сытинского «Русского слова», всей Великой, Малой и Белой Руси известный, Влас Михайлович, нажил себе и брюшко, и осанку, и тон. Из китов прошлого он, пожалуй, наиболее китообразен и в прямом (по размерам), и в образном смысле.

Дорошевич — эпоха; Дорошевич — российское изобретение. Эпоха — потому, что ни до него, ни после него так не писали и не будут писать; а российское изобретение — потому, что нигде в мире нет и не может быть явления Дорошевича. Он — глава школы, новатор, творец фокуса, короновавшего его королевской короной. Он — гениальный изобретатель, блестяще дисконтировавший патент своего изобретения. В этом смысле он выше и Меньшикова, и Михайловского, и своего ворога — Амфитеатрова.

Был золотой век, когда в Москве ничего не читали, кроме Дорошевича и Амфитеатрова. Было золотое времечко, когда Дорошевича с Амфитеатровым принимали в «Стрельне» с тем же почетом, как Рябушинского с Мамонтовым. И сколько там было выпито... В Москве и при большевиках эрмитажные и стрельненские трактиры не забыли двух «первейших» русских журналистов и выпивателей...

* * *

Дорошевич — преемник Щедрина. Но ученик во многом перерос учителя. Специализировавшись на фельетоне, где надо бить короткими ударами и без промаха, Дорошевич, как и Меньшиков — убийца; но он убивал то, что уже было осуждено обществом, приводил в исполнение общественный приговор. И понятно, вместе с обществом часто ошибался, — убивал невинных. Между Дорошевичем и Меньшиковым, кроме всего прочего, еще и та разница, что первый настолько же гонялся за общественным мнением, настолько же гладил по шерсти, насколько второй нагло над ним глумился и гладил против шерсти. Когда Дорошевич соперничал с Амфитеатровым в альбертовской «России», случились студенческие беспорядки. Я помню один из фельетонов Дорошевича по этому поводу, начинавшийся так:

«Господа студенты! Ваш пост — самый высший в государстве...» и т[ак] д[алее].

Этот кит плыл по течению. Ни одно антиправительственное движение не находило в нем осуждения; но в душе, не будучи храброго десятка, он глубоко прятал почти религиозное преклонение перед российской великодержавностью. Оттого лира Дорошевича умолкла после революции — умолкла навсегда.

* * *

Ума неглубокого и неуравновешенного, Дорошевич отточил заложенный в нем дар наблюдательности в бесподобную бритву — сатиру. А по мере жизненных успехов нажил почти подлинную барственность. Влас Страстного бульвара и Каменноостровского пр[оспекта] ничего общего не имел с Власом Московского трактира: к началу XX-го века, после катастрофы с альбертовской «Россией» и приглашения в «Русское слово», Дорошевич перевоплотился не только внешне, но и литературно. Бесшабашный остряк стал моралистом. Сохранив до конца дней своих единственный в своем роде дорошевический стиль, владыка «Русского слова» в своих литературных приемах и темах поднялся до высот почти государственных. Далеко не Михайловский и не Меньшиков, Дорошевич, однако, пытался делать политику и в кривом зеркале своей сатиры отражал государственность. Но у него не хватало для этого ни убеждения, ни удельного веса. Владыка самой распространенной в России газеты, Дорошевич мочками своими все еще упирался в место между трактиром Тестова, «Московским листком» и Коршем...

Муза Дорошевича — от мира сего. Антилирик, антимистик и антифилософ, этот циник — бытописатель, безжалостный насмешник и парадоксист, был чужд небожителям, как и они ему. В руках его был не скальпель, а резец. Дорошевич не внедрялся, а гравировал. Вся жизнь для него была лишь тонким слоем меди клише. Но на этом слое он работал мастерски, хоть и однообразно. Кормом для его оригинального таланта было — все смешное, пошлое и подлое в человечестве. Приблизительно тем же кормили свой гений Гоголь, Щедрин и даже Чехов. Но те — творцы — лепили, а Дорошевич — палач — лишь резал. В этом смысле его, пожалуй, можно назвать литературным Дейблером[563] России. Каждый раз, когда русская жизнь раскрывала новое преступление и общество выносило новый смертный приговор, являлся весь в черном, в цилиндре и перчатках Дейблер — Дорошевич, клал приговоренного на гильотину, нажимал кнопку и показывал публике отрезанную голову.

— Правосудие свершилось...

И равнодушный, корректный, отходил, чтобы явиться на следующий зов.

Сколько таких голов отрезал жестокий талант Власа! Со сколькими репутациями покончил он одним словечком!

* * *

У Дорошевича явилось множество подражателей. Но до него не дорос никто. Я имею в виду технику. Дорошевич писал пунктиром. И зарисованные так его силуэты врезывались в память неизгладимо. У Дорошевича был литературный трюк — абзацы. Обычное перо напишет:

«Было прекрасное майское утро, воздух был напоен ароматом и наполнен ревом осла»...

Из под пера Дорошевича это вышло бы приблизительно так:

«Было прекрасное майское —

Утро.

Воздух был напоен
Ароматами. И наполнен
Ревом
Осла...»

Прочтешь — кажется, пустяк. А попробуешь сам сделать — не выйдет. Короткие абзацы весьма выгодны при построчной плате. Быть может, и Дорошевич выработал свой стиль, гоняясь в юности за строкой. Но за строкой гонялся и Меньшиков. А абзацы ему не давались.

Дело, понятно, сложнее. Дорошевич **вонзал** в читателя свои образы, Меньшиков ими **обволакивал**. Кроме техники, нужна была огромная наблюдательность и исключительное дарование — в одном слове запечатлеть мысль. Эти слова облетали страну, делались крылатыми. И убивали людей, как пули. У Дорошевича попадались фразы, стоившие целых щедринских сатир. Он, например, писал:

«Околоточный надзиратель получает 30 рублей жалованья,
А за квартиру платит 31 рубль.
Откуда околоточный берет этот —
Рубль?»

Крылатый термин, адресованный Милюкову, «Бог бестактности», — принадлежит тоже Дорошевичу. И много еще разрывных пуль отлила сатира этого осанистого, на вид столь добродушного Власа Михайловича.

Всю жизнь, возясь с политикой, Дорошевич был аполитичен. Раздваиваясь на журналиста и редактора, на художника и ремесленника, на талантопоклонника и стяжателя, он изнашивался в этой внутренней борьбе, с трудом сохраняя внешнее равновесие. Служа Сытину, он презирал его; обслуживая людское стадо, он внезапно поворачивался, чтобы стегнуть его. Как и вся остальная либеральная Россия, он рыл яму режиму. Но он любовался тем, что было еще в этом режиме крепкого. Он был заворожен российской державностью. Любил вспоминать, как мальчиком встречал в Москве Александра II, сливаясь с энтузиазмом народа, со звоном колоколов, с торжественными звуками гимна... Он ездил в Москву на Пасхальную ночь, радовался, когда его фельетоны читали во дворцах. И однажды, вызванный для «частной беседы» Столыпиным, он долго смаковал «мощь» этого государственного деятеля, столь ревниво оберегавшего российскую державность. Это не помешало ему утопить на выборах в 4-ую Думу столыпинского ставленника — Гучкова.

* * *

После державной России для Дорошевича (второго периода) существовало лишь державное «Русское слово». Журналист и редактор в нем сочетались в редкой гармонии. Кажется даже, что в нем было больше от редактора, чем от журналиста. Только содружество таких двух сил, как Сытин и Дорошевич, могло обеспечить газете сумасшедший успех. (В 1904 г[оду] она расходилась в 30 тыс[яч] экземпляров, а в 1916 — около миллиона).

У Страстного монастыря была вотчина Дорошевича, и царствовал он в ней неограниченно. Надо было видеть его в редакторском кабинете, среди вымуш-

трованных сотрудников, надо было проникнуться атмосферой тамошней державности, чтобы понять секрет могущества «Русского слова».

Каждый день, к часу, Дорошевич собирал свое стадо, — для обмена мнениями, как он говорил. Но «обмен» кончался тем, что Влас гудел и задавал «уроки».

— Вы о чем будете писать?... Чепуха! А вы напишите вот о чем... А вы съездите туда-то... А вы дайте интервью... А вы телеграфируйте...

«Русское слово» бросало в корзины на 200 тыс[яч] рублей в год одних неиспользованных телеграмм. Не было такого медвежьего угла в России, где бы ни сидел корреспондент этой газеты. Информационную часть ее Дорошевич довел до уровня лучших американских и английских газет. И, просиживая ночи в редакции, гудя, пыхтя и разнося, он вечно был недоволен. Но приносили гранки талантливой статьи, и он все забывал.

За Дорошевичем гналась вся русская печать. Кажется, только «Русские ведомости» и «Речь» не предлагали ему владычества. Особенно усердно гнался за ним Проппер. Почти догнал. Два месяца писали контракт, был дан парадный обед на Английской набережной в парадном особняке Проппера, пили за здоровье Власа Михайловича, «владыки» «Биржевки»; но тот выскользнул... А в Москве тенью за ним следил Рябушинский. Но Сытин надбавлял, и «Влас» оставался. В последние годы по заработку Дорошевич шел первым н[оме]ром в России.

Осанкой — барин, вкусами — сибарит и меценат, духовным складом — человек старой веры, кряж, насмешник, бритва, этот отпрыск купеческой Москвы без высшего образования и без всякой поддержки сумел уместиться на трон, хотя и фельетонный, стать коллекционером редких книг и первым русским редактором американской складки. Дорошевич не оставил имени ни в политике, ни в литературе; история России творилась без него. Но в русской журналистике ему отведено крупное место. Как и Суворин, он поднял цену русскому таланту и поднял значение русской повременной печати. Не будучи большим человеком, он был большим художником и большой, земной любовью любил большую Россию. Вынужденное отречение от нее было трагедией Дорошевича. И она его убила.

Глава XXV[a].
Амфитеатров

После Дорошевича самым популярным журналистом в конце прошлого и начале нынешнего века был Амфитеатров. Его тоже знала вся Москва, а потом и Петербург. Сын протодиакона Архангельского собора, Амфитеатров получил высшее образование, обладал хорошим голосом и долгое время колебался в выборе между артистической и литературной карьерами. В эмиграционном безвременье этот старый кит русской журналистики поведал нам, почему и как он сделался сначала оперным певцом, а потом журналистом. Добрую часть своих воспоминаний он посвятил своему коллеге по перу и собутыльнику по кутежам, Дорошевичу. Но своего портрета, как одного из главных деятелей российского распада, не дал. Место такому портрету было бы, во всяком случае, не рядом с портретом Дорошевича, а скорее — Меньшикова.

Будучи сам крупного сложения, Амфитеатров любил все крупное: квартиру, фельетон, роман, попойку. В pendant[b] к меньшиковскому трактату о скупости Амфитеатров мог бы написать апологию расточительности: на Руси не было писателя (не исключая и Пушкина), который бы извлек из своего пера столько золота, как Амфитеатров. Пожалуй, и не было писателя, который бы столько извел чернил и бумаги. (На амфитеатровском пальце имелся подлинный мозоль от пера). А об амфитеатровских получках из издательских касс, равно как и о размахе амфитеатровской жизни, ходили легенды. Жизнь эта со временем послужит темой для забавных фельетонов, подобных тем, которые Амфитеатров посвятил в изгнании своим покойным друзьям и коллегам.

Но об Амфитеатрове будут рассказывать не одни анекдоты. Его эпохе и его дарованию будут посвящены серьезные исследования. И тогда обнаружится вся многогранность русского таланта, расцветшего под «гнетом полицейского режима». И увидят тогда, как трудно было спасти страну, где общественным мнением руководили такие мастера пера, как Меньшиков, Дорошевич, Амфитеатров, т[о] е[сть] где дарования то одуряли ядовитым ароматом, то хлестали безжалостной сатирой, то окриком лихача спугивали все скромное и святое.

---

[a] Предыдущая строка зачеркнута: «Ныне отпущаеши».

[b] Дополнение (франц.)

* * *

Амфитеатров был литературным лихачом. На козлах своей газеты он правил кровным рысаком, и на нем был армяк с фальшивой спиной и грудью, и висел он на цветных вожжах. «Пади», «Берегись!» — звучало из каждой его статьи, заметки, пародии, романа. Колоссально начитанный, с изумительной памятью и литературной техникой, этот лихач вез своего читателя по проспектам и переулкам русской жизни с такой быстротой и с таким громом, что читатель едва отличал проспект от переулка, ничего не слышал, кроме копыт рысака и окриков кучера. Амфитеатров обвивал читателя вервием, сплетенным из слов, отшибал у читателя способность проникать в идею, соглашаться или спорить. Амфитеатров вез от места до места, а довезя, требовал платы и ретировался. Оставшись один, читатель с оторопью оглядывался. И часто рядил скромного Ваньку везти его обратно. Так от московской бульварной прессы Амфитеатров подкатил к подъезду реакционного «Нов[ого] вр[емени]», чтобы, выбросив туда читателя-реакционера, подкатить с читателем-радикалом к подъезду радикальной «России», осадить у суворинской «Руси», рвануть к «Красному знамени», осадить к «Утру России», рвануть к «Русской воле», осадить к «Казачьему вестнику» и т[ак] д[алее]. На всех этих «концах» амфитеатровский рысак отбивал ту же дробь слов, амфитеатровская грудь пыжилась, спина круглилась, вожжи рвали руки. В реакции и в прогрессе, в монархии и в республике, в «жидоедстве» и «жидомасонстве», в покорности и в бунте Амфитеатров был одинаково речист, убедителен и... сероват. Его сатира — без аромата, это критика — без углубленности. С колоссальной палитрой в руках этот мастер слова писал не картины, а декорации. Будучи в силах один заполнить весь номер газеты, то есть отмахать передовицу, фельетон, критику и проч[ее], этот литературный универсал не был в силах выжать у читателя слезу или взрыв смеха, разбудить уснувшую мысль, затеплить в душе угасшую лампаду. Не выпустив из-под пера ничего бездарного, он не создал и ничего особо даровитого — ничего, что бы врезалось в душу. Как талант, Амфитеатров никогда не был юным, наивным, свежим — это не был «жестокий талант» Белинского, но и не колючая сатира Дорошевича и не певучая гармония Меньшикова.

* * *

На большую дорогу журналистики Амфитеатров вышел лишь в «Нов[ом] вр[емени]». До этого, т[о] е[сть] лучшие годы своей жизни, он об руку с Дорошевичем бродил по проселкам журналистики, где редакция чередовалась с кабаком и где уличный скандал превозносился над мировым событием.

Нововременские столпы дряхлели, старик Суворин чуял приближение конкурентов. Окинув взором русскую журналистику, он остановился на блестящих дарованиях Амфитеатрова и Дорошевича. Но Дорошевич был неуч, а Амфитеатров энциклопедист. И вот за подписью «Old Gentlemen» появились в «Нов[ом] вр[емени]» длиннейшие фельетоны, полные технического блеска, лихаческого задора, всезнания и самовлюбленности. Не было лишь в них скромности и подлинного джентльменства. Чтобы не дать зарваться лихому фельетонисту,

Суворин поставил к нему в пару Сыромятникова (Сигму). Талантом послабее, эрудицией тусклее, Сигма имел то преимущество перед Амфитеатровым, что был фруктом не провинциальным, а столичным — отпрыском даровитой и даже блестящей в ту пору петербургской бюрократии. Появляясь одновременно по воскресеньям, Амфитеатров и Сигма, как два кровных коня, соперничали в парадоксальности и стилистическом блеске. Газета «чего изволите» тогда еще не была удушливо реакционной. Каждое воскресенье эта «пара гнедых» являлась к старику Суворину — за одобрением. Но старик на одобрение был скуп, а чтобы позлить Амфитеатрова, похваливал Сигму. И наоборот.

* * *

В «Нов[ом] вр[емени]» Амфитеатров выдержал экзамен на большого журналиста. Общение с Сувориным, соперничество с Сыромятниковым, а главное — конфуз перед державной столицей, где его в ресторанах не чествовали и где купечество не играло никакой роли, значительно отшлифовали амфитеатровское лихачество. Поза московского кучера с надутой грудью и выпяченным задом уступила место позе английского возницы, хлопающего бичом. Но Суворин ненавидел и это хлопанье. В конце концов, он выработал из Амфитеатрова фельетониста, не оскорблявшего ни вкусов, ни убеждений сановников. Но даже в лучшую свою пору Амфитеатров не пользовался обаянием Меньшикова. И потому, когда он заикнулся о переходе в альбертовскую «Россию», Суворин, имевший полную возможность удержать его за собой, не сделал этого. Но еще раньше «России» Амфитеатров попытался устроиться в «Руси» — органе отколовшегося от старика его старшего сына Алексея, — и не добился этого. Для либеральной «Руси» московский «Джентльмен» был слишком реакционен.

* * *

Вторую половину своей петербургской карьеры Амфитеатров сделал в альбертовской «России»[564]. Альберт не был русским Нордклифом[565], а лишь смышленым инженером. Женат он был на дочери знаменитого московского головы — Алексеева, брата основателя Художественного театра — Станиславского[566]. Подражая брату, Алексеев задумал произвести переворот в журналистике. Дав своему шурину на это средства, он посоветовал ему оборудовать новый орган обоими московскими знаменитостями — Амфитеатровым и Дорошевичем, поведя скачку по дорожке оппозиционности. Альберт так и сделал: обзаведясь официальным редактором, известным в Петербурге реакционером, заикой Сазоновым, он вручил вожжи газеты Амфитеатрову и Дорошевичу. Газета вышла под парусами радикализма с обскурантом на руле.

Амальгама эта привела газету к гибели. Но на первых порах успех «России» был головокружительный. А история этой первой крупной оппозиционной газеты была историей грызни Дорошевича с Амфитеатровым.

Эти два медведя в одной берлоге соперничали за первенство, и почвой их соперничества была оппозиционность. А так как страна в ту пору гнулась

под дланью сверхреакционера Сипягина, и цензурой управлял неумолимый кн[язь] Шаховской, искусство медведей сводилось к тому, чтобы революционные мысли обволакивать приемлемыми для цензуры словами. Пальму первенства на этой стезе одерживала заразительная сатира Дорошевича. Амфитеатров бесился и, чтобы перещеголять Дорошевича, в пьяном угаре, подсунул свой нашумевший фельетон «Обмановы». Фельетон читали и редактор газеты, и весь Петербург — читали и не разгадали. Разгадал лишь маленький чиновник цензуры. И пошла писать!

Амфитеатрова схватили еще не протрезвившимся. За шубой и за деньгами жена его побежала к Суворину, которого Амфитеатров со столбцов «России» обливал помоями. Снабженный шубой и деньгами из Эртелева пер[еулка], революционер в обществе двух жандармов покатил в Нарымский край. Но, перевалив через Урал и протрезвев, дал жандармам клятву, что Обмановы — не Романовы. Кажется, ему поверили. Однако до места довезли. В Нарыме к Амфитеатрову явились с поклоном местные революционеры. Он их выгнал. Об этом узнали в Петербурге и окончательно решили, что Обмановы не Романовы. Заискивавший перед оппозиционной прессой директор Департамента полиции Лопухин исхлопотал перевод Амфитеатрова в Вологду. Из Вологды полетели в разные газеты весьма благонамеренные фельетоны раскаявшегося грешника. Амфитеатрову разрешили вернуться в столицу и вскоре выпустили за границу.

* * *

На этом кончилась эпоха амфитеатровской легальной литературы. В Париже началась нелегальщина. На берегах Сены автор «Обмановых» поклялся, что Обмановы — Романовы. И написал к ним продолжение. Не примкнув ни к одной из подпольных тогдашних партий, он объявил себя сверхреволюционером. И приступил к изданию «Красного знамени». На этот журнал была собрана годовая подписка, но вышли лишь два первых н[оме]ра с призывом к цареубийству. Под нажимом парижской полиции Амфитеатров бежал в Италию. И там, у лазоревых вод Средиземного моря, окруженный детьми, няньками, кухарками, горничными и приживалками, зажил широкой жизнью барина-революционера. К нему, как когда-то к Герцену, ездили на поклон. Были в ту пору две революционные Мекки: Капри Горького и Амальфи Амфитеатрова. Творец «Обмановых» из всех сил тянулся, чтобы перерасти творца «Буревестника». Но к Горькому деньги плыли, а от Амфитеатрова уплывали. И вскоре многие русские монархические издания, не исключая и «Нов[ое] вр[емя]», получили предложения услуг «Революционера». Особенно старался Амфитеатров попасть в руководимое Дорошевичем «Русское слово», но ему пришлось довольствоваться газетой Рябушинского «Утро России».

Этот третий период амфитеатровской музы был самым печальным: корреспонденции его были тусклы, фельетоны бесцветны. К нему еще ездили кланяться, откушать русских щей, бараний бок с кашей и выпить очищенной. Но уже было ясно, что русскую революцию от амфитеатровской гибкости поташнивало.

* * *

Амфитеатрова спасла протопоповская «Русская воля». В поездке с парламентариями по Европе Протопопов заехал к Амфитеатрову и, выслушав его клятвы, что Обмановы — не Романовы, пригласил его быть мозгом создавшейся на средства банков монархической газеты. Окруженный домочадцами и слугами, Амфитеатров двинулся с Запада на Восток. В Петрограде притворились, что о «Красном знамени» не слыхали. Амфитеатрову предложили особняк и автомобиль. Ставший уже министром вн[утренних] дел, Протопопов благословил его иконой. Но так как Гучков с Ко в то время открыто стряпали революцию, Амфитеатров, поклявшись, что Обмановы — Романовы, резвым пейсом повел газету банкиров к революции. И в один прекрасный день банкиры прочли в заголовке своей газеты: «Да здравствует Российская республика!» (Керенский с Чхеидзе довольствовались еще тогда монархией). Банкиры швырнули Амфитеатрову крупное отступное и на его место посадили Леонида Андреева. Продолжая свой лишний трон с особняком и автомобилем[a], Амфитеатров еще раз поклялся, что Обмановы — не Романовы, и стал издавать патриотически-шовинистский «Казачий вестник». На этом повороте его захватили большевики. Они уже не поверили, что Обмановы — Романовы, и, дав маститому фельетонисту поголодать, выпустили его за границу. А испив на Западе чашу забвения и пренебрежения, Амфитеатров вернулся к лазури Средиземного моря. Там он оплакивает царскую Россию и сажает фасоль.

Как и у Меньшикова, у Амфитеатрова был талант аморальный. Но Меньшиков плыл против течения, Амфитеатров же по течению, первый — навстречу просверлившей его мозг пуле, второй — навстречу большевистской милости. Эти два таланта обняли Россию объятием спрута.

[a] Так в тексте.

Глава XXVI[a].

Розанов[567]

После обломков русской власти и общественности следует коснуться и обломков русского гения. Ибо ведь и этот пышный цветок на голенастом стебле русского быта приложил свою руку к процессу нашего распада.

Два сокровища, как два клада у пушкинского Кочубея, были у нас: наш несравненный язык и наш несравнимый талант. Кому еще Бог отсыпал в такой мере этих сокровищ? Данте, Шекспир, Гете, Сервантес! Облечены ли они были, как наши Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, миссией и мощью отобразить весь гений своего народа, всю святость и весь грех его, и эту ношу на виду и на пользу всего человечества пронести к престолу всевышнего, как Кочубей нес к этому престолу свой третий клад? У Кочубея он был: «святая месть». У русского гения — святое прощение. «Ныне отпущаеши» — такова сердцевина русского гения — таковой она **должна** быть.

Достоевский сказал Мельхиору Вогюэ: «В нас, кроме русского гения, есть гении всех народов, — поэтому мы можем вас понять, а вы нас понять не можете»... Но ведь понять, значит простить. Если гений — осколок божества, то сущность его не может быть ничем иным, кроме любви. Об этом ведь и думал Достоевский в своей знаменитой речи на пушкинском празднестве в Москве. Это повторил он и французскому писателю, — о ноше, о долге любви, которыми оделен, не в пример другим, русский гений. А между тем, сам он был злюкой. Вогюэ называет его «соединением медведя с ежом». Такими соединениями запестрел с середины прошлого века весь пышный ковер нашего гения, с преобладанием в отдельных случаях то медведя, то ежа.

Как и общественность, и власть, гений заразился общим нам недугом — злостностью. Наш талант стал «жестоким». Вслед за Белинским большим пошли Белинские малые: плеяда одареннейших поэтов, беллетристов, философов и журналистов, вырастивших на своих дарованиях осиные жала. Уже к первой нашей революции эти жала искусали тело русского быта. А ко второй тело это представляло сплошной волдырь. Таким оно остается и по днесь, по ту и по сю стороны русского шлагбаума.

[a] Предыдущая строка зачеркнута Из книги: «Ныне отпущаеши».

Потеряв любовь, наш гений потерял и свою вселенскость. Мы еще утешаем себя: нация, давшая Герцена, Пушкина, Гоголя, не погибнет. Мы даем здесь некоторые образы правопреемников Герцена (Меньшикова, Дорошевича, Амфитеатрова) и образы виднейших правопреемников Пушкина и Гоголя. Не разновидность и силу их таланта мы имеем в виду, а лишь общую им черту: отсутствие любви. Ибо только эта хворь русского гения способствовала распаду России. Одушевленные лучшими намерениями, сверкавшие чарами своих дарований, тянувшиеся, как цветы к солнцу, к истине, наши богоискатели и правдоискатели, властители наших дум, заглядевшись на самих себя и злостно друг с другом столкнувшись, не нашли ни Бога, ни правды, а потеряли Россию.

* * *

Про Дорошевича говорили — «Влас», про Розанова — «Васенька». О бок с осанистым, гудящим боярином «Власом», вихрастый, сюсюкающий «Васенька» казался приказной крысой. У Розанова эта приказность отталкивала еще больше, чем у Меньшикова: Меньшиков сглаживал ее угрюмостью, Розанов подчеркивал гаерством. «Ванечка» Мануйлов, «Васенька» Розанов и «Юрка» Беляев — были тремя веньяминчиками газеты Эртелева пер[еулка] («Нов[ое] вр[емя]»). Философ, гуляка и пройдоха в поздние ночные часы поднимались из подвалов редакции в роскошный бельэтаж Суворина и там тешили скучавшего старика, один — глубокомыслием, другой — шантажной ловкостью, третий — пьяным враньем. Всем трем до зарезу нужны были деньги и все трое под утро их добывали.

Про Розанова Суворин как-то писал: «У нас лишь два философа — Соловьев и Розанов (не считая Сковороды); но Соловьев уже переспел, а Розанов не доспел»... У барствовавшего Суворина была слабость к заискивавшему Розанову: оттого ли, что Суворин ничего в розановской философии не понимал, или оттого, что Розанов был типичным разночинцем, напоминавшем «великого Достоевского». Бесконечные философские беседы с Розановым старик прерывал неизменным рефреном: «Вы все врете, Василий Васильевич»... Розанов хихикал, а старик вбирал и выпускал паучье жало и любовно поблескивал змеиными глазками. Нововременские киты ущемляли это учреждение между безднами глубокомыслия и легкомыслия, между похотью Фавна и беспутством Вакха. Поругивая то и другое, Суворин тянулся к тому и другому. Розанов обольщал его не только своим бездонным глубокомыслием, но и своим безбрежным сладострастием. В этом сюсюкающем приказном, до геройства дерзком мыслями и трусливым до подхалимства плотью, сочетались слон и насекомое. Своими слоновыми мыслями Розанов импонировал, своими жучьими чувствами — бесил. Про Розанова в левой печати писали, что он «выходит на улицу в нижнем белье и даже без белья»...

* * *

Явление Розанова заслуживает не фельетона, а книги. Под внешностью шута билась в вечном трепете извилистая, ущемленная между пропастями душа, достойная анализа Достоевского. Под вихрами неопрятной головы покоился мозг,

достойный бессмертия. Но от розановской души остался чад, а от розановского гения — если уже не истлевшие, то скоро имеющие истлеть, бессвязные, порой безумные, устремления. Не в одной России на закате 19-го века вспыхивали, что ржавые зарницы, такие полубезумные гении. В европейской обстановке Розанов дал бы русскую разновидность маркиза Сада и Спинозы. Оголенные, дразнящие проблемы пола и духа, культ фаллоса и чадородия, причудливая, туманящая смесь языческого с божественным, Аполлона с Моисеем, — вот что, пока, осталось от розановского гения.

* * *

Типичнейший российский интеллигент, Розанов, как и Суворин, начал свою карьеру бедным учителем. Литературную известность дала ему книга «Сумерки просвещения»[568]. Книгой этой Розанов вонзил нож в самое больное место царского режима — в царскую школу, где лепили российских верноподданных. Книга эта революционнее многого, что писал о России Герцен и Чернышевский. Естественное русло развития розановского гения после такого начала должно было устремиться в сторону революции, где плескались в ту пору муза Михайловского, Стасюлевича, Скабичевского. Из Розанова мог бы выработаться русский Вольтер. Но судьбе угодно было загнать этого опасного подкапывателя под российские устои в стан охранителей и эксплуататоров этих устоев. С ним случилось то же, что и с Меньшиковым — оба попали в золотые нововременские сети, оба продали свое старшинство за чечевичную похлебку.

Огромный розановский интеллект шел на буксире никчемной розановской оболочки и мелкой, трусливой душонки. «Люблю теплый навозец» — восклицал он в минуту распоясанной откровенности. Объятый вечной похотью и в соку российской обывательщины, Розанов-человек барахтался в этом навозе, покуда Розанов-мыслитель решал надзвездные проблемы бытия. Никто не любил так темных щелей российской обывательщины с запахом кухни и детской, жидким чаем на блюдечке и жирным поцелуем на вечно ищущих губах, никто так наивно-цинично не сознавался в своих животных слабостях, не демонстрировал их и не освещал, возводя акт размножения в высшее духовное задание человечества. Выбегая на улицу в нижнем белье, он тащил за собой полуодетыми свою жену и детей. В одной из таких своих экскурсий Розанов восклицает: «В дни, следующие за удовлетворением моей половой любви к жене, чувствую себя божественно: не кровь, а молоко в жилах...»

Жена краснела, а муж облизывался. На закате дней Розанов написал книгу (заглавия не помню), где изложены сокровеннейшие помыслы и ощущения этого насекомого с мозгом Сократа[569]. По смелости и глубине книга эта гениальна. Но она непристойна даже для дома свиданий. А Розанов воспитывал на ней своих детей...

Три грани, о которые бились маленькая душа и крупный ум этого человека, были: пол, религия и политика. В корню этой тройки был пол, этика и политика скакали в пристяжках. Но пристяжные так резво навозили, что коренник едва за ними поспевал. Розанов-Свидригайлов то и дело кутался в тогу Савонаролы и Пожарского. И оскорблял. После кн[язя] Мещерского и Меньшикова никого так злостно не терзала наша левая, да и правая печать, как Розанова.

* * *

Для русской либеральной мысли розановский одиум был в его политических взглядах. Для мысли религиозной — в его чувственном иудаизме. Но и политика, и религия лишь омывали изрезанные, хаотичные берега его существа, не касаясь загадочной глуби материка.

До сотрудничества в «Нов[ом] вр[емени]» и до основания «Религиозно-философского общества» Розанов вовсе не проявлял ни своих политических, ни религиозных взглядов. Как всякий русский разночинец-интеллигент, он был в оппозиции самодержавному правительству и официальной православной церкви. В качестве истолкователя гения Достоевского и его продолжателя Розанов не забывал ссылки великого писателя и его тезиса: «Церковь в параличе». Но Розанов был трус и обожал «теплый навозец» русского быта. Навозец этот для него был в столовой, спальне и детской. Только пройдя через них и получив в них полное удовлетворение, Розанов становился философом и антицерковником. За спиной своей он должен был чувствовать жирную кулебяку, жирную жену, шумливых детей и светящую лампадами божницу. Самые глубокие и смелые мысли Розанов ронял, отирая свой мокрый рот, прижимаясь к жене и детям.

В цитадели Эртелева пер[еулка] Розанов раздобрел и осмелел. Переселившись из Мещанской на Шпалерную, обзаведясь стильной гостиной и красного дерева кабинетом, этот интеллигент-пролетарий почувствовал себя буржуем-капиталистом. А ласка всемогущего Суворина, бесшабашная удаль эртелевского редакционного быта и возможность за стенами нововременской цитадели решительно все говорить и писать, дав развитие низменным инстинктам этого бурсака, перенесли розановское хулиганство извне вовнутрь его. Ароматные, хотя и резко оппозиционные мысли его до вступления в «Нов[ое] вр[емя]» были последними. С конца прошлого века Розанов все смелее и злее углубляется в скабрезно-лукавое философствование. Венцом этой философии стали его два творения: политическое — «Когда начальство ушло» и религиозное — «Сладчайший Иисус». Политическую идею Розанов продал за кучку «теплого навозца». Христианскую — за торжество своей распоясанности. В первом случае ему нужно было одеть и обуть семью; во втором — насолить церковности.

* * *

Розанов был философом Божией милостью, — но философом не абстракции, а субстанции. Розановский ум, шутя, одолевал философские Монбланы Декарта, Карлейля, Конта, Канта и Фихте. «Критику чистого разума» он цитировал, как роман. По философской эрудиции в России не было ему равного. (Страхов, Данилевский, Соловьев превосходили Розанова цельностью мировоззрения, философским планом, но не эрудицией). Такие «умники» из розановских современников, как Мережковский, Гиппиус, Лев Шестов, Бердяев и друг[ие], трепетали перед «Васенькой»: хихикая и сюсюкая, этот жук бил слонов.

Но вот, покуражившись на верхах, жук оседал к низам, на свой «навозец», с Олимпа прыгал в спальную и детскую. И тогда его брали голыми руками: тогда любой осел лягал правопреемника Достоевского и Соловьева...

* * *

На жизнь с ее загадками и глубинами Розанов глядел сквозь экстаз пола, но не глазами развратника. В этом и было заблуждение врагов Розанова. Он и впрямь поклонялся культу фаллоса, но не как помпеец, а как иудей. Розановское сладострастие целиком устремлялось к чадородию. Этот жук был чадородцем Божьей милостью. Он не прочь был бы даже метать икру[a]. Обожествив пол, Розанов приник к нему с вожделенной молитвой. В одном из своих сочинений он писал: «Опустите на дно брачного завитка икону, и мерзкое станет святым». Плотская любовь была для него подлинной молитвой. Хлыстовщина? Быть может. Но эта хлыстовщина сидела у него не только в нервах, в коже, но и в мозгу. Он был вечным рыцарем плоти. Он был вечным врагом аскетизма. Красивый самец говорил ему больше, чем св[ятой] Антоний[570], древний храм с альковами для брачующихся ему был дороже базилики св[ятого] Петра.

— Девство должно отдаваться у подножия алтаря, а не в спальном вагоне, — говорил он. — Истинное целомудрие приобретается только под венчальной фатой... Целомудренны женщины, а не девушки... Разврат внесли в мир девственники и аскеты.

Целые тома розановской «навозной» философии посвящены этим дразнящим темам. Темы эти воспринимались не так, как хотел Розанов, а так, как хотели «огарочники» и вся развинченная, сластолюбивая молодежь 900-х годов. Сексуальная философия Розанова уготовляла путь теперешней сексуальной большевизации; его религиозная философия — теперешнему безверию. **А между тем, если читать Розанова умом и сердцем, а не нервами, многое, за что его казнили, может быть ему прощено и даже от него воспринято. Розановская философия плоти и духа сводилась к тому, чтобы сблизить, а не разъединить эти два элемента жизни, чтобы одухотворить плоть, чтобы низменное поднять до религиозного.** Но нервные последователи Розанова устремились к плоти, перешагнув через дух — к фаллосу, опрокинув Вифлеем. И не икону заложили они в «брачный завиток», а бутылку шампанского и парижскую модель.

Огромное влияние на тогдашнюю молодежь возымели и розановские выступления в «Религиозно-философском обществе». Общество это он основал вместе с Мережковским, Гиппиус, Карташевым, Тарнавцевым, еп[ископом] Антонином и друг[ими].

С первых же заседаний общества обнаружились два его непримиримых полюса, две ипостаси, два интеллекта, вокруг которых завилась тогдашняя духовно-революционная мысль: иудаизм и эллинизм, философия Востока и Запада. На этих двух осях вертелся злой спор тех дней, — спор, по существу своему революционный, хотя в нем принимали участие высшие иереи той эпохи, и на нем была пломба архиреакционного правительства Сипягина. Спор этот, между прочим, положил начало известности епископа Антонина, тогда еще скромного, но уже злостного архимандрита Александро-Невской лавры, в келье которого бурные диспуты сменялись еще более бурными дебошами. «Васенька» был неизменным участником и этих диспутов, и этих дебошей, вполне подчинив своему влиянию

[a] Розанов утверждал, что живородящие рыбы были сладострастнее насекомых (прим. автора).

бурный темперамент и исключительную ученость будущего главы живой церкви. Эта церковь, как и половая мораль современной России, — дело рук тщедушного сюсюкающего Розанова.

* * *

В области духовно-нравственной «Религиозно-философское общество» сыграло почти ту же роль, как впоследствии Государственная дума в области политической — роль не примиряющую, а разделяющую. Истоки духовной русской революции — на Чернышевой площади Петрограда, в здании бывшего Министерства народного просвещения. Доклад Розанова «Сладчайший Иисус» произвел на русское общество той эпохи впечатление милюковского «Глупость или предательство?» Основы христианства и православия были поколеблены именно тогда. На Чернышевой площади, под сенью высших иереев церкви и под охраной самодержавия, Христос был если не распят вторично, то еще раз оплеван и осмеян. Нововременский сотрудник вознес над Голгофой и над христианским смирением торжествующий альков и самодовление.

Разорвавшаяся бомба не произвела бы большего впечатления, чем доклад о «сладчайшем Иисусе». Как сейчас вижу дьявольский смешок на мокром рту Розанова и его лукавый, косой взгляд на шарахнувшихся, уцепившихся за кресты иереев. Вижу искривленное гримасой бледное лицо Мережковского, тонкую улыбку Гиппиус и застывшую в ужасном ожидании аудиторию.

— Христос — варенье. Христианство — спитой чай. Все вместе — чай с вареньем... Религия импотентов... Прав «великий инквизитор» — в наши дни Христа посадили бы на цепь: за лукавство, провокаторство, бунт и проповедь бесплодия...

Таковы главные тезисы этого трактата. Между двумя столпами религиозно-философского общества — Розановым и Мережковским — начался тогда спор об оплотении духа и одухотворении плоти, об аскетизме и чадородии, о Моисее и Аполлоне, об эротизме освященном и эротизме освящающем, словом — та духовно-плотская абракадабра, что разрешалась потом в поэзии футуризмом Маяковских и Брюсовых, в прозе эротизмом Соллогубов и Арцыбашевых и почти всеобщим свальным грехом.

Заканчивая на этом наш весьма поверхностный очерк (скорее — профиль) одного из крупнейших интеллектов XX-го века, ставшего, благодаря обстановке, где он работал, дурному пониманию его современниками и отсутствию всепрощающей любви, одной из причин духовно-плотского распада России, мы надеемся, что наступят дни, когда философия Розанова будет лучше понята и воспринята, и что в таком случае она еще сыграет роль в духовном русском возрождении. В политике...[a]

[a] Далее текст завершения главы утрачен.

Глава XXVII[a].

Мережковский — Гиппиус[571]

Главу эту я печатаю не без трепета. Мережковского с Гиппиус я знал и чтил с юных лет. Оба они, вкупе с Розановым, мне импонировали и все трое по-своему влияли на мой духовный склад. В хвосте их я открывал «Религиозно-философское общество» и с глубоким вниманием, не шедшим вровень с пониманием, выслушивал и истины, и ереси этого первого русского конгресса религиозной совести. В церковных вопросах я был и остался невеждой, почти таким же невеждой был и остался в вопросах философии; но совесть моя в ту пору была еще чуткой, и жива была жажда знания.

Большое впечатление оставили на мне и литературные произведения четы Мережковских. Я чутко вслушивался и зорко всматривался во впечатления, оставлявшиеся этими произведениями и на других. Об этом и хочется поговорить — о влиянии на духовную и плотскую жизнь тогдашней русской молодежи музы четы Мережковских.

Розанова уже нет, Мережковские, к счастью, здравствуют. Никто не скажет, чем стал бы в изгнании Розанов. Но мы видим, чем стал в изгнании Мережковский. Как и Толстой, Мережковский отрекся от многого, что составило его славу, отошел от мистики пола к мистике духа, погрузился в тайну Христа. Теперешний Мережковский далек от заворожившей его в юности — загадки пола, возмутился бы над осмеянием «Сладчайшего Иисуса». Теперь он приник к пыли стези, по которой ступала Христова нога. Мой трепет перед **теперешним** Мережковским здесь. Но мой долг не забыть Мережковского **прошлого**. Ибо не теперешний, а прошлый Мережковский участвовал своим гением в распаде моей родины. Думаю, что это сознает он сам и об этом скорбит.

[a] Предыдущая строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».

* * *

Доклады Мережковского о вере и духе встречаются эмиграцией с не меньшим интересом, чем доклады Милюкова о демократии и пятилетке. И если последний возглавляет (вернее, тщится возглавлять) на чужбине нашу политику, первого справедливо поставить во главе нашей этики. Мережковский со своей спутницей — Гиппиус, не устает будить в нас ущемленный материей дух.

Вот как описывает свои переживания перед выступлением Мережковского один известный писатель:

«Нет в душе моей веры, которою так богат и так должен быть счастлив среди несчастья своего Мережковский; но, далекий, я так бесконечно близок этому человеку, глубокому и таинственному философу, его сверлящему, пронизывающему взглядом прошедшее и будущее уму, его тревожной и пылающей совести, его пророчествам о приближающейся гибели и проповеди Царствия Божия».

«Он так нежно дорог мне тем, что чужд он огромному большинству людей, среди которых суждено ему жить, что не знают и не понимают его».

«Тот маленький физический человек, в оболочку которого заключен огромный дух Мережковского, живет в Париже в двух шагах от меня; часто я вижу, как он проходит близлежащими улицами, среди толпы, не знающей, что остался еще среди нас один из библейских пророков, последний, и — как **все** пророки — неузнанный! И поздоровавшись с ним, я смотрю ему потом вслед, чтобы запомнить его, его большие экстатические глаза, и мне слышится его взволнованная экстатическая речь».

«Я знаю, что Мережковский будет говорить сегодня, что Христос был, воистину был, я буду его слушать, буду сливаться с ним, лишенный способности верить в той плоскости, вернее, в той глубинности, в которой верит он. Я буду скорбно и, может быть, кощунственно верить, что Христос был, да весь вышел. Что никаким пророкам не дано уже вернуть его; что Болдвины и Макдональды не услышат Мережковского, а услышали бы, так иронической улыбкой не удостоили бы...»...

* * *

Чета Мережковский — Гиппиус, да еще покойный Розанов, — наиболее крупное умственное явление эпохи всероссийского распада. После Герцена и Боборыкина, Мережковский с Гиппиус наиболее тесно сблизили Россию с Европой в области таланта, став чем-то вроде sujets mixtes[a] между двумя культурами.

Мережковский в такой же мере человек Запада, как Розанов — Востока; в такой же мере европеец, как Розанов — азиат; в такой же мере эллин, как Розанов иудей. После Герцена Мережковский, пожалуй, наиболее блестящее явление европеизированной России. И на нем, рядом с блеском Европы, ее тени. Счастливо проскользнув между народничеством и славянофильством, между либерализмом 80-х годов и реакцией 90-х, Мережковский выплыл навстречу XX веку в оригинальной ладье, сколоченной из трех эпох: древней, средней и новой. На

[a] Соединительное звено (франц.).

носу этой ладьи гордо высится обожествленный Аполлон, на корме скромно протягивает объятия очеловеченный Христос, а на мачте, обращенные к Христу и Аполлону, раздираемые двумя правдами, тянущиеся к небу, но прикованные к земле, стянутые кольцом единой эволюции человеческого гения и сердца, связующие Рим, Царьград и Москву: Юлиан Отступник, Микеланджело и великий Петр. Сработанная на Западе и украшенная на Востоке, ладья эта — вся из ажура и мозаики. И цветные паруса ее, что крылья жар-птицы. И руль — весь кованный, в самоцветных камнях. И весла — что сверкающие поплавки золотой рыбки. Ничего подобного ни на Западе, ни на Востоке не видели: этой дерзости славянской мечты, этой мозаичности и ажурности романской прозы, этой вдохновенной парадоксальности богоискательства.

Мистицизм целого и реализм частей, целомудрие целей и некоторая неразборчивость средств, жар устремлений и холод достижений, в пышной кроне цветка — вера, а в сухом стебле — сомнение, творчество в компиляции, отчаяние в надежде, нелюбовь в любви, — вот что нес навстречу «Грядущему Хаму» эллинизированный христианин, европеизированный россиянин. А рядом с ним плыли ладьи менее значительные и заманчивые, но более цельные и глубже сидевшие — ладьи Розанова, Чехова, Горького, Л. Андреева, Блока, Бальмонта, — флотилия «искателей жемчуга», классиков, модернистов и кубистов, то добродушных китов, то прожорливых акул, разинувших пасти на мелкую российскую рыбешку — **ловцов** душ, расшатавших у нас и наивную веру, и здоровую любовь. В этой флотилии, плывшей навстречу Ленину, ладья Мережковского была наиболее пышной, но и наименее поворотливой.

Если Горькому удалось посеять безверие, а Розанову — иудаизм, то Мережковскому с его неохристианством не повезло. Его «оплотнение духа» было принято «огарочниками» столь же прямолинейно, как и розановское «одухотворение плоти»: в том и другом случае налегли на плоть и оставили до лучших времен дух. В «Религиозно-философском обществе», где красноречие и умственный блеск Мережковского парили над тяжелодумием иереев и косноязычием Розанова, его эллинизм и европеизм привели лишь к расшатанию устоев и православия, и церковности. Общество поделилось на агентов Синода (Скворцов[572], Тернавцев) и агентов Израиля (Минский, Розанов, еп[ископ] Антонин). Неохристианство очутилось между двух стульев. Между двумя же стульями очутилась надушенная духовным экстазом, дразнящая, но не насыщающая, манящая, но не мирящая, плотская мораль четы Мережковских. В этом смысле чета эта сыграла для русской молодежи эпохи начала XX-го века, в ее самых знойных и скрытых исканиях, роль, близкую к роли Ведекинда в Германии. Я имею в виду тех, кто духовно не имел сил воспрянуть до высот, где парила эта чета, а стлался, как хвост гигантского змея, по земле.

* * *

История человеческого развития всюду одинакова: политика, экономика и этика всюду свиваются тем же узором. Под гнетом одного из этих факторов расцветает другой. Меркнет материальная сторона жизни, освещается духовная, и наоборот. Так было в древней Греции и Риме, так было при папах, Людовиках,

Гогенцоллернах и Романовых. Пламя Руссо загорелось под спудом «абсолютизма»; Кант с «Критикой разума» уходил из одних ворот Кенигсберга, покуда Наполеон входил в другие; без папского угнетения был ли бы итальянский ренессанс; без палки Николая I был ли бы Герцен, Пушкин, Гоголь?! И даже пламя христианства охватило ли бы пожаром мир без нероновских факелов?! Дух, что пар в котле, требует мощных стенок и нагнетания.

После Николая I в России стенки эти и гнет ослабели. Эпоха Александра II в смысле духовного самовозгорания была у нас мутной; духовная суть освободительных реформ накопилась предыдущей эпохой. Либерализм Милютиных, Ростовцевых и Лорис-Меликовых почти исключительно оперировал над политикой и экономикой. Эпоха эта родила мощную публицистику и беллетристику, положивших основание для философского решения глубоких внутренних проблем. Художественный гений лишь копил для этой задачи материал. Использован же он был под гнетом эпохи Александра III и Николая II-го.

Гнет этот сконденсировал прежде всего умственную мощь России: никогда у нас не было столько «умниц», как в 90-х и в 900-х годах. Началось с анализа художественных сокровищ предыдущей эпохи; кончилось синтезом духовно-плотских проблем. Прежде чем плюнуть в лик «сладчайшего Иисуса», Розанов поклонился «великому инквизитору», прежде чем развить теорию «человекобога», Мережковский расшатал фундамент богочеловека. Было счастливое время, когда все мы в расцвете сил и лет, высоко взметнув над удушением политики, полными легкими вбирали эфир этики. В двух маленьких (100-рублевых) квартирах (у Спасо-Преображения и на Шпалерной), то у Мережковского, то у Розанова слетались «банды» богоискателей. Перед этими «революционерами» пасовали даже царившие тогда Плеве и Витте. Все, что впоследствии выдвинулось в вопросах религиозных и моральных, все это значилось в орбите этих двух аполитичных в ту пору мыслителей. Мережковский и Розанов были двумя пастырями стада, мечтавшего о земном рае и попавшего в лапы Ленина. Епископы и министры трепетно прислушивались к спору Казбека с Шат-горою — к спору апостола плоти (Розанова) с апостолом духа (Мережковским). Не всем было под силу взлетать на выси, где они трепали друг друга, или падать в бездны, где мирились, но все дышали эфиром надземности и надполитичности, отрываясь от дрязг будней, от серости и скуки той эпохи. Когда-то ведь и Камиль Демулен с Дантоном и Робеспьером начинали с дружеских идейных споров.

Парнас 90-х годов разогнало политиканство 900-х. Но покуда Розанов не увяз в тине Эртелева пер[еулка] («Новое время»), а Мережковский, подхлестнутый славой Горького, не стал оспаривать у него роль общественного ментора, покуда Антонин не попал в епископы, Карташев в министры, а Стахович в генерал-губернаторы[573], победа русской этики над политикой была полная.

Во Франции были гуманисты, в России проблемисты (другой клички движению 900-х годов не подберешь). Розанов — не Вольтер, а Мережковский — не Руссо. Но их усилиями всколыхнулся застоявшийся пруд русской этики. Ибо, хотя они ничего не решили, а многое запутали, но Россию Победоносцева, кн[язя] Мещерского, Суворина, Витте и Сипягина они сорвали с мертвой точки к величайшим и опаснейшим бурям трех революций и благодушие русского быта сменили злостностью.

* * *

Говорить о Мережковском, не упомянув о его литературной спутнице — Гиппиус, нельзя.

В содружестве Мережковского с Гиппиус роль синтеза играет последняя, анализа — первый. Мережковский — гениальный компилятор. Его компиляция настолько близка к творчеству, что читатель, особенно заграничный, ею обманут. Не потому ли Мережковского больше читают в Европе, чем в России! Его трилогия — перл компиляции — заворожила, например, итальянцев не менее, чем босяки Горького. Зато «жестокий талант» Гиппиус владел и долго будет владеть мятущимися русскими душами.

И Гиппиус — мужской ум. В искусстве она то, чем в науке была София Ковалевская. Если парижская Академия наук замерла перед феноменом Ковалевской, парижская Академия искусств должна замереть перед феноменом Гиппиус. Феномен этот — в необыкновенной гармоничности поэтического и прозаического элементов ее дарования, в синтезе, рождающемся одновременно с анализом, в творчестве, висящем на критике. В Гиппиус Белинский сочетался с Тургеневым. Эта нежная блондинка (в прошлом), одевавшаяся как невеста к венцу, в своих маленьких руках держала скальпель и «Зеленую палочку», одним вскрывала, другой сращивала. Двумя строчками Гиппиус и убивала, и оживляла. И такова была сила воли этого хрупкого создания, что все вокруг нее кипело и бурлило. Дерзаю думать, что не только Философова, примостившегося к чете Мережковских, не только Николая Оцупа, вошедшего недавно в орбиту Гиппиус, но и самого Мережковского без Гиппиус не было бы.

Чету Мережковских, как и Розанова, ждет историограф. В беглом очерке можно лишь говорить **по поводу** их. Русский ум и сердце они оторвали от серости русских будней, но не насытили их, а главное — не смягчили.

В Европе — плеяда блестящих философов, поэтов и беллетристов! Но в Европе не было и не будет наших Герцена, Меньшикова, Розанова, Мережковского и подавно — Гиппиус — того специфического русского гения, что обладает крыльями для взлета, поплавками для ныряния и когтями для взрывания. (Эти когти нас и сгубили). Интеллект Европы весь в переборках, в специальностях. Интеллект русский — что потревоженный спиритами дух, проходящий через все двери и стены, болидом падающий с неба, ракетой взрывающийся к небу, в огне не сгорающий, в воде не тонущий — обо всем думающий, всем страдающий, все творящий и все разрушающий. Розанов, Мережковский, Гиппиус — типичные сгустки такого интеллекта.

Пятилетка может воздвигнуть кучи камня и стали, но ни крупицы гения. Когда проснувшийся русский гений вырвет Россию из объятий камня и стали, Мережковский прочтет нам лекцию о том, что Христос не только **был**, но и **есть**, и что гений есть любовь.

Глава XXVIII[a].
Чехов — Горький

Судьбы народов еще более удивительны, чем судьбы отдельных лиц. Те полосы, которые в жизни отдельных лиц называют полосами счастья и несчастья («не бывать бы счастью, да несчастье помогло», «пришла беда — отворяй ворота»), в жизни народов проявляются эпохами народного подъема и упадка. Россия, даже под дланью Аракчеева и Николая I, пережила расцвет своих творческих сил; а при свободолюбивых Лорис-Меликове, Витте и Керенском — их упадок. Русский гений, взвившись ракетой Пушкина, рассыпался звездами, осветившими потемки русского быта. Звезды эти померкли с Тютчевым, Майковым, Полонским, Гончаровым. На короткий промежуток страна погрузилась во мрак. Пока не вспыхнули разом с противоположных краев горизонта два причудливых бенгальских пламени — зеленое и красное — залив все, что расстилалось между ними, — бледностью смерти и кровью вакханалии. То было пламя Чехова и Горького — певца нудняков и певца босяков — Ивана плачущего и Ивана смеющегося русской литературы. Слившись, эти два пламени покрыли страну саваном серого разложения.

* * *

Корни чеховского дарования вросли в эпоху Гоголя и Щедрина, — Антоша Чехонте начал с очаровательных юмористических миниатюр. Они искрились самоцветными камнями. Внук украинского мужика пронизал добродушным гомерическим смехом российскую обывательщину. Чехов на заре — божьей милостью юморист, какого, после Гоголя, у нас еще не было. Российскому распаду понадобилось сделать из него певца русских слез. Под свою милостивую опеку взял полуголодного Антошу Чехонте всемогущий Суворин, осыпал комплиментами и деньгами. К стыду русского общества нужно сознаться, что без Эртелева пер[еулка], без протекции «Нов[ого] вр[емени]», Чехова, как вехи на пути

[a] Предыдущая строка зачеркнута: Из книги «Ныне отпущаеши».

художественного развития России, как основателя целой литературной школы и вдохновителя художественного московского театра, не было бы. Антоша Чехонте — заурядный врач и сотрудник «Осколков» — буквально голодал. Если бы в ту пору русское свободолюбие в лице Арсеньевых, Михайловых[574] и Стасюлевичей его поддержало, чеховское дарование, может быть, и не соскользнуло бы со здорового, освежающего юмора. В Эртелевом переулке Чехову нечего было делать. Суворинская щедрость его гнела. Чехов поник духом и плотью. Под влиянием физического и морального недуга Чехов надломился. И залил Россию беспомощным нытьем.

* * *

Было то в конце царствования Александра III. Над великой страной повисла туча — все притихло, все чего-то ждали. Ниву русского творчества орошали тогда в «Русском вестнике» — Маркевичи, в «Отечественных записках» — Боборыкины. Глухо отзывалась муза Мамина-Сибиряка и робко звенел надорванный болезнью мощный талант Всеволода Гаршина. И вот, из этого удушливого затишья прорвался стон всероссийского нытика «дяди Вани», заглушенный пьяным отчаянием доктора Астрова, диким воплем «Чайки» и полубезумным метанием проф[ессора] Иванова. Российская интеллигенция шарахнулась. Несомненная реальность русского быта, сведенная Чеховым в уродливую гримасу безволья, беспринципности и оголтелого пессимизма, сдобренная дешевеньким развратом и разгулом, ударила по натянутым нервам. Чеховскую реальность встретили сначала бурным протестом. Но когда груда российских слизняков рванулась «в Москву, в Москву», когда «застучали топоры» вишневого сада и раздвинулась завеса над «Палатой № 6-ой», русская интеллигенция поняла, что из чеховской реальности ей не выскочить. К России было приставлено кривое зеркало. Русский гений оказался спеленатым физической и моральной хворью. И так заразительна была эта хворь, что на ней пышно расцвело искусство «художников», и сотни молодых русских дарований заныли и захныкали по-чеховски. Победоносцевы в политике, Чеховы — в этике, Розановы и Мережковские — в религии, философии и морали — этим широким путем, устланным то насильем, то пассивностью, соблазнительным умствованием и дразнящей святостью, этим путем русская интеллигенция шла навстречу соллогубовскому Передонову, арцыбашевскому Санину, «огарочникам», кубистам[575], квадратистам, поэзии Маяковских, Брюсовых и им подобных. И в самый этот момент сдвига основ семейного и общественного быта прозвучал на другом конце русской «реальности» голос другого художника, певца босячества — Горького.

Судьбе угодно было сплести над Россией объятия именно этих двух художников, столь различных и по темпераменту, и по душевности, и по устремлению, и столь схожих по лжи, что таилась в глубине правды их дарований. Если Чехов был лжецом русского пессимизма, то Горький был лжецом русского оптимизма. Если Чехов заворожил миражом русской мудрости и слякотности, то Горький ослепил фантасмагорией русской бодрости. Противопоставив Челкаша «дяде Ване», Мальву — «трем сестрам», и заглушив топоры «Вишневого сада» шумом «Буревестника», Горький рванул Россию к другому полюсу русской лжи: к по-

эзии внегосударственности и внегражданственности (анархизму), к свержению всего того, что создало Россию чеховскую, и к обоготворению всего, что предсказывало Россию ленинскую. На «прямую», приведшую нас к столбу большевизма, мы вышли расхлябанными музой Чехова и взвинченными музой Горького.

* * *

Помню 1905 г[од]. Горького тогда только что привезли с Капри, привезли как злостный таран. И сейчас к нему прилипли, как ракушки к корабельному днищу, всякого рода искатели, сбившиеся с религиозных, художественных и сексуальных путей на единый путь — политической злости. Манифест 17-го октября сделал грандиозную просеку в дремучем лесу русских проблем. К просеке этой устремилось из лесных недр все сущее: и зверь, и звереныш, и насекомое, и гад. На просеке очутился и Горький, тогда еще весь в лучах «Мальвы», «Фомы Гордеева» и «Челкаша». Можно себе представить, как оседлала его эта лесная рать после объявления свобод. Словно премированная красавица, Горький стал предметом вожделения всех толков. Тянулись к нему руки из надполья и из подполья, из Эртелева пер[еулка] и от Страстного монастыря, от Хрусталева-Носаря и от Трепова, от Совета рабочих депутатов и из Департамента полиции. Моднее Горького в ту пору на Руси не было никого. Пасовал перед ним сам Витте, а главное — пасовали все литературно-религиозно-философские, эстетические и эротические течения. Горькому в ту пору ничего не стоило повернуть русскую общественность в сторону революции или эволюции, к разрушению или творчеству. Но кто такой был сам Горький?

На острове Капри паломничали люди всякого толка: Сытины и Савинковы, большевики и меньшевики. Не знаю, о чем беседовал Горький с автором «Коня бледного», но о беседах его с хозяином «Русск[ого] слова» мне доподлинно известно. Сытин мечтал тогда о всероссийской газете и всероссийском издательстве. Ненасытный владыка Дорошевичей очень мечтал скушать все провинциальные органы печати и все орудия книгопечатания — мечтал о духовной власти над русской мыслью и над народной душой. На шпице этой грандиозной пирамиды, где Власу Дорошевичу не было места, он и хотел посадить Горького — «совесть России».

Об этом своем проекте он говорил так:

— Удивительно развился Максим на Капри. Историю, географию и все такое превзошел. Образовал себя за первый сорт. Я с ним задумал такое дело, такое дело... Оно вознесет его над всеми... И прибыль хорошую даст...

В 1905 г[оду] Россия чествовала в Горьком и впрямь свою «совесть». И были все основания полагать, что «совесть» эта, если и не вполне буржуазная, то и далеко не антибуржуазная. В искренность апологии босячества никто не верил: горьковских босяков считали поэтической выдумкой мощного таланта, чем-то вроде героев Жюль Верна или пришельцев с Марса Уэльса. Однако горьковскую музу готовы были счесть за «совесть России».

Но вот чем проявила себя с места эта «совесть». В пышной свите Горького был и поэт-мыслитель Минский. Минский обратился ко мне с просьбой исхлопотать разрешение на новую газету — вполне буржуазную, в которой бы приняла

участие вся наша тогдашняя группа, с Розановым и Мережковским, при участии и Горького. Разрешение это я, несмотря на все трудности, исхлопотал. Появилась «Наша жизнь». Редактором ее стал Горький. И с первых же н[оме]ров перед ошеломленной Россией выступил не Горький-поэт, а Горький-публицист, — настолько же слабый в журналистике, насколько был силен в беллетристике — а главное: Горький-социалист.

Курица высидела утенка.

Утенка высидела она и еще раз, уже в революцию 1917 г[ода], когда на издание новой газеты («Наша жизнь» давно лопнула) дал Горькому средства Сибирский банк. Этих утят было тогда трое: газета Амфитеатрова — «Русская воля» (Международного банка), газета Кугеля «Дни» (банка Лесина) и газета Горького. Первые три социалистических органа в России основались на деньги русских банков. Больнее всего ударила по нервам (и карманам) русской буржуазии газета Горького: ни Амфитеатрову, ни Кугелю не верили. А Горький был «совестью», и эта «совесть» призывала... к экспроприации.

* * *

Враги Горького упрекают его в неискренности. Сдается, Горький **всякий** искренен: и Горький — буржуй, и Горький — меньшевик, и Горький — большевик. Горький слишком творец, чтобы быть политиканом, слишком синтетичен, чтобы быть аналитичным. А главное — слишком неуверен в правде жизни. Злая русская судьба вытащила этого чудесного романтика из самых подонков российской реальности — со «Дна». Чехов тоже просочился от низов русской жизни, но Чехов был интеллигентом, был образован и не поэтизировал прозы; Горький таскал помои, пек кренделя и... пылал почти средневековым романтизмом. Горький воспринял романтически не только помои русской жизни — романтически воспринял он и революцию, и социализм, и большевизм. Сравнивая Ленина с Петром, Горький не лгал — он жаждал для русской жизни Петра[576]. Он верил в то, во что хотел верить. Как Барон, в его пьесе «На дне», Горький выдумывал, искренно веруя в свою выдумку. И вот, в то время как Чехов охватил русский быт объятием нудной реальности, Горький, с другой стороны, охватил его объятием романтичной мечты. В то время как у Чехова люди образованные, с положением, не находили цели жизни и применения своих сил, у Горького босяки жили всеми фибрами, мирились со своей долей и готовы были учить науке жизни высшие слои русского общества. А главное — злости. Эта двойная ложь была одной из сил, толкавших Россию к пропасти.

* * *

Что Горький не трибун, это он сам знает. Что он не большевик, в этом уверены даже его враги. Родись Горький в иной среде, получи он своевременно образование, из него выработался бы Тургенев XX-го века — романтик не русской лжи, а русской правды. Но даже среди этой лжи, то в фимиаме лести, то в чаду злостной клеветы, когда Горький конвульсивно распрямлялся и давал волю сво-

ей музе, когда после крикливой и фальшивой публицистики он отдавался напору родной ему беллетристики, Горький мгновенно почти приобретал магическую власть над русскими умами и душами. (Ибо власти этой и жаждало русское общество). Так было после неудач его в первой революции и повторилось после неудач октября. Почти десять лет Горький прожил светлой, буржуйной жизнью большого русского писателя. На Кронверкский проспект ездили, как и на Капри, — но уже почти сплошь эволюционеры. Кто видел Горького в ту пору чисто выбритым, ершиком подстриженным, в свободной английской ткани, таким светлым, тихим, гладким, спокойно задумчивым и ровно ласковым со всеми, — не узнавал в нем кудластого мастерового, отрицавшего крахмальное белье и европейский покрой. А главное — отрицавшего буржуазную культуру. В ту пору Горький весь светился этой культурой. И тихая речь его струилась, как бальзам, а синие глаза по-детски ширились.

— Для России нужнее всего культура, — говорил он тихо, но убедительно, — Россию надо тащить в Европу. Боже, как мы отстали. Чем больше учишься, тем яснее это видишь. Чем больше любишь Россию, тем больнее это чувствуешь. Политику сейчас надо бросить — нас закупорили. Одна щель — знание, культура. Этой передышкой надо воспользоваться, чтобы допрыгнуть до Европы. Капитализм? Пусть его! Капитализм — средство, культура — цель. Капитализм надо использовать. Деньги — сила. Зачем же нам от нее отказываться? Промышленность, банки, все, что создает ценности, надо беречь. Они перебросят нам дощечку от дикости к культуре. Ох, как мы еще далеки от идеалов социализма...

Сытина тащили в 1916 г[оду] в «Русскую волю». Он торговался с Протопоповым, с банками. И бегал за благословением к Горькому.

— Писать в банковской газете я не буду — говорил Горький. — Но вам я советую идти. На банковские деньги вы создадите культурный орган и осветите Россию. Деньги без запаха, а банки — могучий орган культуры...

Таков был Горький накануне Февральской революции.

* * *

Как и революция 1905 г[ода], революция 1917 г[ода] перекинула Горького из пухового ложа романтика-певца на тернистое ложе публициста-трибуна. И, во сколько раз события 1917 г[ода] были крупнее и чреватее последствиями событий 1905 г[ода], во столько раз оказались крупнее и чреватее последствиями и ошибки Горького. Имя Горького перейдет к потомству с двумя фасами: творца и разрушителя, романтика и... палача, идеалиста и... стяжателя. В русской литературе (да и в европейской) не было еще имени, вокруг которого скопилось бы столько восторгов и порицания, поклонения и презрения. В этом смысле Горький перерос даже Меньшикова. И не нам, понятно, выносить справедливый приговор над этой крупной личностью российского распада. Но мы хотели бы разобраться в фактах.

Как и в 1905 г[оду], в 1917 г[оду] Горький явился во главе газеты. Как и тогда, газета эта была основана на средства буржуазии, и все ждали от нее защиты если не капиталистического строя, то хоть буржуазной культуры. Газета шла под флагом меньшевиков, при ближайшем участии пораженцев: Мартова и Сухано-

ва. Очевидно, газета не шла в ногу с банкирами и шовинистами типа Каменки и Милюкова. Но она и не шла в ногу с большевиками. От общества той эпохи зависело сделать Горького своим или его потерять. Керенскому, Бурцеву и Милюкову предстоял выбор: или с Горьким к миру и защите России от большевиков, или против Горького к риску отдать Россию большевикам? Они выбрали последнее. Пацифистов меньш[ев]иков подвергли ожесточенной травле. Горького собирались арестовать. Он закусил удила. Уже в мае и в июне в газете его появились первые статьи об экспроприации и национализации. Банкиры падали в обморок, правительство скрежетало, общество теряло художника.

В эту предбольшевистскую эру, после июньского выступления Ленина[577], когда керенщина металась между Малахитовыми залами, манежами и театральными сценами, а допингированный фронт судорожно наступал и панически отступал, Горький, как «совесть России», мог приблизить или отдалить роковой октябрь. Но буржуазия уже поставила на нем крест. Горького загоняли в большевизм. Накануне октябрьских дней обычно кроткие глаза его метали пламя, лицо осунулось, пожелтело, и доктор Манухин, лечивший его туберкулез, тревожно качал головой[578].

Всем известно, в какую резкую оппозицию к Ленину встал Горький с первых дней большевистского непотребства и каким апологетом его он сделался впоследствии. Но мало кому известно, сколько жизней Горький спас[579]. Быть беспристрастными судьями происшедшей в Горьком метаморфозе мы пока не можем: слишком сложна драма, захватившая и Горького, и Россию. Политическим вождем он никогда не был, но как бытописец-художник мог увлечься чужим водительством. Талант художника мог склониться перед талантом диктатора. Разве Пушкин, Гоголь и даже сам Герцен не склонились в свое время перед диктатором иного сорта?! И разве только подлость диктовала Державину оды Екатерине?! Оды Горького Ленину продиктованы целой гаммой нот, из которых выросла муза Горького. Ведь основной лейтмотив этой музы — опоэтизирование всяческой непосредственности, всяческой смелой и яркой личности. Воспев Челкаша, — не его ли размах в историческом размере и на государственном фоне узрел он в Ленине?! Талант, что любовь, отвергает порой праведников, чтобы склониться перед разбойниками. Об этом пела еще своему Пикколо — Периколла[580].

Чехов и Горький — два алмаза в короне русского художественного дарования. В иной стране и при иных обстоятельствах они сияли бы для блага родины. В теснине великого российского распада, как под инструментом бездарного шлифовщика, они потерял свою природную грань. Безвременье их скосило, — одного к русскому стону, другого — к русскому окрику, одного — к безграничной апатии, другого — к безграничному озорству, одного — к непротивлению, другого — к бунту. В клещах этих двух чудесных дарований завязла душа русского общества. И голыми руками ее схватил большевизм.

Глава XXIX.
Бурцев

В маленьком человеке с наружностью уездного почтмейстера, рядом с небольшим талантом и больной, мятущейся русской душой, темперамент неистового Роланда[581]. Как и почему Бурцев стал революционером, этого, кажется, и он сам толком не расскажет. О Бурцеве в России заговорили, как об издателе закордонного журнала «Былое»[582]. Журнал был революционным, но далеко не столь непримиримым, как «Освобождение» Струве[583], не говоря уже об амфитеатровском «Красном знамени». Бурцев специализировался на борьбе с царской охранкой. Особенно прославило его изобличение Азефа[584]. В деле Азефа Бурцев столкнулся с сотрудником Плеве, директором департамента полиции Лопухиным, и свалил его[585]. Маленький и скромненький человек стал с тех пор грозой русских провокаторов. Подпольная Россия признала в нем революционного Шерлока Холмса. Фаланга русских террористов, заплетенная дьявольским узором с русской охранкой, трепетала, развертывая бурцевское «Былое».

Изобличая предателей революции, скромный и тихий Бурцев все больше себя завинчивал, все плотнее кутался в тогу революционера. Пока, сам того не замечая, из доктринера эсера [не] превратился в пылающего местью бомбиста. Читая его пламенные призывы к насилию, и в голову не могло придти, что исходят они от честного и чистого, мухи не обидевшего человека, готового на всяческую помощь ближнему. Если бы Бурцев не покинул легальной жизни и остался чужд политике, из него мог бы выработаться второй доктор Гааз, — добрый ангел заключенных. Но судьбе угодно было даже эту божью коровку распалить тигриной ненавистью к режиму. Не трибун, не журналист милостью Божьей, Бурцев взметнул на всероссийскую и всемирную трибуну, заварил возле себя дело ненависти, обмакнул ядом слабое, почти детское перо. На личности и на судьбе Бурцева, пожалуй, еще яснее, чем на личности и на судьбе Меньшикова, Дорошевича, Амфитеатрова, обнаружилось, насколько немилостив был Рок к России царской и милостив к России большевистской.

* * *

С началом войны Бурцев добровольно вернулся в Россию. Это был жест патриота, порыв русской искусственно взвинченной, но в основе доброй, души. Правительство Маклакова ответило на него арестом и высылкой[586]. Ничто не могло более рекламировать Бурцева. Из маленького он стал вдруг большим; из обличителя предателей революции стал обличителем предателей Отечества. Если бы Бурцев был похитрее, можно было бы подумать, что он спровоцировал правительство для своей карьеры. Ибо карьера маленького человека, т[о] е[сть] его роль в русской революции, началась с его высылки в Нарымский край. Он не поехал туда, как Амфитеатров, в пьяном угаре, каясь в своих прегрешениях и клянясь верностью престолу, — он поехал туда мучеником и патриотом, кляня режим и взывая к спасению России. И когда, вскоре, испуганная царская власть, в лице Штюрмера, вернула из ссылки этого революционного Пожарского, Бурцев забегал по Петербургу, хлопая себя по карману.

— Что у вас там? — спрашивали его.

— Бомбы... Для русской власти, не умеющей вести войны.

Прослышав про эти бомбы, Штюрмер как-то вызвал его к себе.

— Научите, Владимир Львович, как лучше и скорее одолеть немцев!

— Единственное средство для этого, Владимир Борисович, дать России свободу.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что и Штюрмер, и Бурцев едут в одном вагоне; но один к самодержавию, другой к революции. Штюрмер оставил на свободе Бурцева, как элемент, годный к достижению полной победы над немцами. В этой победе он видел единственную панацею от надвигающейся революции.

Но Бурцев, весь отдавшись националистическому шовинизму, сквозь пылающую печь его шел напрямик к революции. Вся милитаристическая энергия этого маленького революционера в ту пору была направлена к тому, чтобы доказать полную несостоятельность монархического строя в борьбе за национальную честь. И вот на этой почве социалист Бурцев вплотную сошелся с буржуазными Милюковым и Гучковым и стал персоной grata во дворце английского посла Бьюкенена[587]. Октябристы и кадеты, под сенью Бьюкенена, готовили дворцовый переворот; под той же сенью Бурцев стряпал республику.

* * *

Роль Бурцева в февральском перевороте тускла. Его опередили тогда и Гучков, и Милюков, а главное — его коллега по партии — Керенский. Будучи отличным агитатором, Бурцев был никаким оратором. Из уважения к его прежней деятельности по революционному сыску ему дали на растерзание Департамент полиции. Бурцев с головой погрузился в охранный омут царизма. Он бы и по сю пору барахтался в нем, если бы удержалось Временное правительство. У Керенского была мысль сделать из Бурцева российского Фуше[588]. По всей вероятности, он стал бы прекрасным министром полиции. Но, зарвавшись в шовинизм, уже не мог удержаться на мирном строительстве. Подуськиваемый Бьюкененом и ре-

акционерами из «Нов[ого] вр[емени]», «Биржевки» и «Веч[ернего] вр[емени]», Бурцев очень скоро почувствовал себя центром воинствующей России, требовавшей продолжения войны до победного конца.

Вавилонское столпотворение в России в ту пору шло полным ходом. Переворот 27 февраля был сделан **монархистами,** во имя **продолжения войны**; но переворот углубили **республиканцы**, во имя **окончания войны**. Первое обращение Совета солд[атских] и рабоч[их] депутатов к человечеству («всем, всем, всем») говорило о прекращении начатой царем войны[589]. Керенский был делегатом этого Совета во Временном правительстве. Но, в роли премьера, он откололся от Совета и стал под сень Бьюкенена. Россия левая той эпохи требовала мира, правая — победы. Милюков (министр иностр[анных] дел) переметнулся слева направо, заявил, что Россия не положит оружия до завоевания Галиции и Константинополя. Одевшись во френч, Керенский допингировал истеричными речами, угрозами и посулами колебавшийся фронт. А с балкона дома Кшесинской, на улицах и площадях Петрограда и со столбцов большевистской прессы рать Ленина, Троцкого, Мартова и левых эсеров приглашала разнузданную солдатскую толпу бросать оружие.

Всем известно, чем кончилась эта свистопляска. Роль Бурцева в ней была исключительно крикливой и фальшивой. Став оплотом войны до полной победы, Бурцев бросил Департамент полиции, обзавелся газетой[590] и стал бить в набат. Успеху большевиков помогало Вр[еменное] правительство. Но едва ли не больше еще помогало им наше буржуазно-либеральное общество. Забыв, кому и чем оно было обязано головокружительным успехом революции, оно задумало ослабевший в воинском напряжении народный организм сделать орудием шовинизма и империализма. В то время как большевики устремились по линии наименьшего сопротивления (к миру), радикалы и примкнувшие к ним правые социалисты карабкались по линии наибольшего сопротивления (к войне). И впереди их, цепляясь за фалды Милюкова и Керенского, несся закусивший удила Бурцев. Не потому ли, когда случилось неизбежное, Ленин с Троцким так бережно отнеслись к судьбе попавшего в Петропавловские казематы революционного Шерлока?!

Роль Бурцева в российском распаде оценит справедливая история. Наши потомки узнают, как, наряду с прогнившими и бесчестными элементами российской общественности, Россию тянули к пропасти люди со здоровой душой, бескорыстные и идейные. Вне сомнения, Бурцев окажется в числе последних. В своей знаменитой речи, открывшей первую страницу российской революции, Милюков, обращаясь к власти, вопрошал: «Глупость или предательство?». Россия тогда решила, что ее предали. Обращая этот же вопрос к русскому обществу, придется склониться к гипотезе первой: в руки большевиков Россию, кажется, отдала российская глупость. Рыцарем и паладином ее оказался Бурцев.

* * *

Страшнейший враг нашего исторического роста, наша политическая наивность, перевалил вместе с эмиграцией на чужбину. И, уже 15 лет, путает языки вавилонского строительства новой России. Вся заграничная деятельность Бур-

цева, столь блестяще начатая и столь печально кончившаяся, свидетельствует, что даже честная наивность может причинить святому делу вреда больше, чем предательство.

Перемахнув из Петропавловки на Монмартр, огнедышащий Бурцев не потушил в себе вулкана ненависти к немцам, а лишь зажег в себе и другой вулкан — ненависти к большевикам. Над маленьким старичком нашего безвременья нагнулся его ангел-хранитель. Добрые феи, не смогшие спасти Россию в России, попытались сделать это из Франции. Бурцев стал во главе «Общего дела»[591]. К нему поплыли реки золота, потянулись уцелевшие русские таланты и всеобщие симпатии. Не было еще русского дела вне России, столь обеспеченного материально и столь мощного духовно: «Общее дело» с места ринулось к успеху. Бурцев сразу занял в эмиграции патриарший пост. И тотчас же в нем заиграл неистовый Роланд. Война уже прекратилась, и народы готовились к исторической ошибке Версаля. Клемансо и Фош вколачивали в гроб европейский мир. К этим двум великанам, спасшим от разгрома Францию, примкнул маленький человечек, не сумевший спасти своей родины. Страницы «Общего дела» были политы ненавистью к немцам. Кайзер уже давно сполз с трона, распотрошенная Германия, возглавленная седельным мастером, уже давно управлялась социалистами, а певец народовластья и социалист Бурцев продолжал сгонять камнем с ее окровавленного лба муху единовластья.

Бурцев повел свое «Общее дело» в хвосте националистического листка сен[атора] Орвэ («La Victoire»). Бурцев стал неистовать в немцефобии. Бурцев стал подмастерьем мастерской, сколачивавшей посудину Версальского мира. Теперь, когда сама Франция разбивает эту рассчитанную на вечную вражду и человеконенавистничество посудину, ошибка Бурцева, коему судьба вручила стяг борьбы с большевизмом, выплывает во всей своей удручающей наготе. Ошибка эта, в первую очередь, расколола эмиграцию на два лагеря: франкофилов и немцефилов. К нашей внутренней розни и партийному взаимоистреблению прибавился еще стимул разъединения: с кем идти России? И в то время как русские патриоты в Берлине радовались успехам большевиков в Польше, Бурцев, подзадоренный Клемансо и Фошем, стал у «колючей польской проволоки» и рукоплескал оторванию Польшей от России исконных русских земель. Неистовый Роланд переметнулся с Монмартра в Крым, требуя от Врангеля спасти Польшу ударом большевикам в тыл. Мы знаем, чего стоил России этот удар и чем отблагодарили нас поляки. В своем неистовом разбеге Бурцев искал и расположения румын ценою Бессарабии. За спиной у французского сенатора Орва, расшвыривая остатки русского золота, направленные к нему Врангелем, этот скромнейший и чистейший старичок, ютившийся в одной комнатке и не успевавший за суетой менять белья, готов был отхватить пол-России, лишь бы притащить к суду Гинденбурга и Людендорфа. Бурцев опомнился, когда уже было поздно, — когда Германия уже была на пути к Рапалло: с полным правом охранитель германского народовластья может сказать, что первая опора большевизма в Европе — Раппальский договор[592], — дело рук не только Орвэ, но и его, Бурцева. Вот почему, когда двери Германии под его назойливым стуком, наконец, перед ним раскрылись, и «примирительные» статьи Бурцева появились даже в немецкой прессе, их встретили насмешливым: «Опоздали!»

* * *

Спутав дело русское с немецким и французским, Бурцев пропустил между пальцами все три дела. После Европы и русская эмиграция вскоре раскусила политическую эквилибристику кашевара «Общего дела». И, незаметно, оно стало личным делом Бурцева с прилипшим к нему комком стяжательной эмиграции. В котле «Общего дела», поначалу, варились самые яркие дарования русской мысли. Бунин, Куприн, Карташов, Мережковский, Яблоновский — уравновешивали визгливую суетню Бурцева. Изголодавшаяся духовно эмиграция жадно впивала родное талантливое слово, закрывая уши от бурцевского визга. Но вскоре в котел этот попали специи, вроде Мирского[593], Ветлугина[a] и друг[их], давшие месиву особый вкус. Все реже в газете стали появляться корифеи русской литературы и все чаще — прятавшиеся под псевдонимами бездарные и наглые молодцы. В их руки попала не только редакция газеты, но и ее контора — т[о] е[сть] обширные богатства. Бурцеву не на что было купить себе пары носок, а газета платила fix'ы восьмидесяти постоянным сотрудникам. Сквозь сито «Общ[его] дела» прошли миллионы Врангеля и Бахметева[594]. Круглые состояния в этом «деле» составили лица, о которых никогда не узнает история. А газета, как кровный надорванный конь, в один прекрасный день стала.

Огнедышащий старичок ныне ютится в Париже, в мансарде. Он не унес с собой из «Общего дела» ни одного гроша. Но он раздавил это «дело», как прежде раздавил дело русской свободы. Крым, Кронштадт и Париж — вот три этапа нашего безоглядного падения в борьбе с большевиками. После глубоких обрывов Колчака и Деникина эти три ступени, хоть и сравнительно мелкие, свели нас на дно пропасти. Маленький человек, сделавший свою карьеру на политическом сыске, погиб на политическом творчестве. Имя Бурцева не возбуждает ни злобы, ни горечи; стыдно лишь, что великая страна хоть пару минут была во власти капризного пигмея.

---

[a] Мирский стал столпом «Последних новостей», а Ветлугин — нью-йоркской большевистской газеты [«Русский голос» — *И. Л.*] (прим. автора).

Глава XXX.
Великая война

Вряд ли кто будет спорить, что последней ступенью к великому российскому распаду была великая война. О причинах ее, вернее, о поводах, — ибо насчет причин, т[о] е[сть] первопричин, кажется, уже не спорят, — о поводах, толкнувших человечество в эту бойню, до сих пор еще далеки от согласия[a]. Союзники настаивают на вине Вильгельма. Германия — на вине союзников. Вряд ли когда-нибудь даже историк Милюков разрешит этот великий спор.

Чтобы покончить с первопричиной бойни, напомним забытые кое-кем факты. В 1914 году в Германии вышел последний довоенный статистический сборник знаменитого германского статистика и экономиста Гельфериха[595]. В сборнике этом имеются цифры, вероятно, тоже многими забытые. А именно, в части сборника, касающейся промышленного расцвета Германии за последнюю до войны четверть века, указано, что торговый баланс Германии за это время догнал и перегнал баланс Англии, — с 5 миллиардов вырос до 25 миллиардов. Уже во время самой войны шведский экономист Стефанс, останавливаясь на этих цифрах и сопоставляя их с цифрами экономического развития Англии, доказывал, что великая война была необходима лишь одной из принявших в ней участие держав, а именно — Англии. Стефанс утверждал, что, при дальнейшем мирном развитии Германии и Англии, роли их в мировой экономике радикально изменились бы, т[о] е[сть] что через четверть века Германия станет на 20 миллиардов впереди Англии, как четверть века назад Англия стояла на 20 миллиардов впереди Германии. Для Стефанса и всех экономистов мира уже тогда не было сомнения, где первопричина великой войны. А когда стало известно, что тогдашний английский премьер, Грей, целую неделю держал мир в сомнении, примет ли Англия участие в этой войне, и на мольбы Пуанкаре высказать откровенно единомыслие Англии с союзниками и тем охладить воинственный пыл Вильгельма, отвечал двусмысленным ни да, ни нет, даже упорные германофобы перестали настаивать на предании Вильгельма суду. А самые последние сведения из Германии уже без всякого сомнения удостоверяют факт, что Вильгельм не объявил бы войны, если бы не был **уверен** в нейтралитете Ан-

[a] Так в тексте рукописи.

глии. Словом, первопричина великой войны лежит, кажется, столь же далеко от Франции и России, как и от Германии. Но повод?

У России не было и тени тех соображений, какие были у Англии. Как ни мало были осведомлены наши шовинисты о русск[ой] экономике и зависимости ее от Германии (я помню их удивление, когда при начале военных действий оказалось, что 80% самых ходких товаров, которыми торговали в России, начиная от иголок и пуговиц и кончая аптекарскими товарами, были германского происхождения), они все же кое-что слышали о русско-германских торговых договорах, которыми Витте манипулировал в целях упрочения своей власти и которые делали Германию нашей союзницей экономической, вопреки всяким тройственным и двойственным союзам политическим. Прыть наших шовинистов была далека от экономики. Но она не была близка и политике. Несомненно, в стране и в Госуд[арственной] Думе были «левые ослы» и «кавказские обезьяны», для которых мощь монархической Германии была одиозной, как опора мощи монархической России. Керенские, Чхеидзе и Бурцевы недолюбливали немецких юнкеров. Но они отлично знали, что Германия управляется не только юнкерами, но и социалистами, и что немецкие Каутские, Шейдеманы, Либкнехты и Розы Люксембург безмерно большего удельного веса, чем наши «левые ослы». И они были бы удовлетворены, если бы русский политический режим приблизился к германскому. Что не помешало им, когда война началась, кричать, что война ведется за «освобождение человечества от политического гнета реакционной Германии». Бурцев ведь и вернулся в Россию, т[о] е[сть] в ссылку, на том основании, что эта война — крестовый поход против германской реакции (война России Милюкова и Гучкова — против Германии Каутского и Либкнехта). Но Бурцевых ведь была горсточка. А Милюков встретил войну протестом (шовинистом он стал впоследствии)[596]. И даже трубный глас Родзянко звучал не политическими, а рационалистическими нотами. Политическая антигерманская накипь образовалась у нас к концу войны. Россия правительственная, общественная и народная дралась с Германией не за политические лозунги. Не за гробом Господним, понимаемым как политическая свобода, рвались союзники в Германию. Мы знаем, зачем рвалась туда Англия. Почти за тем же ринулась и Америка. Франция защищалась. Италия, Румыния делали аферу. Но Россия? Что нужно было России от Германии? Ни территории, ни денег, ни афер. Родзянки и Милюковы, да и Чхеидзе, отлично знали, что если в Гос[ударственной] думе заведутся Каутские и вся германская культурная оппозиция, будет крышка не только Штюрмерам с Протопоповыми, но и им — кадетам, октябристам и «кавказским обезьянам». Мечты о Галиции и проливах завязли на зубах Бурцевых и Милюковых лишь в конце войны. (О проливах в начале войны говорила правая, а не левая Россия). Агрессивность левой России росла параллельно русской слабости. И, во всяком случае, воевали мы не за крест на куполе св[ятой] Софии. За что же?

* * *

Довоенные годы были особенно тусклы и бездарны. Уставшие в бесплодной борьбе власть и общественность дали друг другу передышку. Золотые дни Столыпина прошли. Царь уже им тяготился. Почувствовав это, и дворцовая камари-

лья, и реакция с Марковым, Пуришкевичем и Дубровиным все сильнее наседали на временщика. В Государственной думе и, особенно, в Государственном совете его критиковали все громче. И даже Гучков, распрямив спину, норовил переметнуть к «Прогрессивному блоку»[597]. А в недрах правительства зрела оппозиция Коковцова и, особенно, главы полиции Курлова. Оба эти неодинакового калибра госуд[арственные] деятели метили на столыпинское кресло. Но кресло это еще прочно привязывала к премьеру его аграрная реформа («отруба»). Собственно говоря, на этой одной нитке Столыпин и висел. Убийство его, как будто, развязало руки и царю, и оппозиции. Но маразм внутренней жизни России продолжался и усилился. Только в «белом доме» у Витте и в Гродненском пер[еулке] у Мещерского плелись новые интриги, связанные с ожившими после смерти Столыпина надеждами. Да «старец», оставшийся теперь единственной опорой повисшего в воздухе трона, целил, плясал и распутничал.

Скисли и кадеты, и октябристы. Скисла и оппозиционная печать: специализировавшаяся на столыпиноедстве милюковская «Речь» уныло брела между опостылевшими всем лозунгами, питаясь думской «вермишелью». А в Думе, кроме фабрики этой «вермишели», хоть шаром покати. «Кавказских обезьян» приструнил Пуришкевич. Националисты с Балашевым путались между октябристами и зубрами. А заменивший Столыпина Коковцов поливал эти развалины былого оживления ушатами бюджетного красноречия. В моде были только два ведомства: иностранных дел и военное, и два министра: Сазонов и Сухомлинов. Мода эта шла из Франции. Там не унимался Извольский. Нанесенную России Эренталем пощечину (Босния и Герцеговина) почувствовали сильнее в Париже, чем в Петербурге[598]. Шовинизм австрийского наследника и военные меры Вильгельма, особенно после срыва «Бьорке»[599], взволновали больше Францию, чем Россию. Из Парижа шли к нам требования усиления воинской мощи, приезжали и учили нас французские военные эксперты. Генерал и генеральша Сухомлиновы с полковником Мясоедовым[600] действовали. Действовал и шурин Столыпина, Сазонов, опираясь на своего товарища, Нератова. О деятельности Сазонова и Нератова рассказывает в своих «воспоминаниях» А. В. Неклюдов[601]. Книга любопытная. А деятельность Сухомлинова раскрыл впоследствии суд над ним[602].

Освободившись от столыпинского ига, царь переживал редкие дни душевного спокойствия. (Иго Мещерского уже не было игом, а иго Распутина он возложил на царицу). Коковцов был столь же кулантен и гибок, сколь резки и непокладисты были Витте и Столыпин. Маклаков, на докладах, лазил для забавы наследника под стол и изображал пантеру. Родзянко трубил о преданности законопослушной Думы. Никаких авантюр и сюрпризов! Царь посвятил себя военному делу. Но этому же делу посвятил себя и ненавистный ему Гучков. Почему ненавистный? Думаю, что гучковоманию вселила в царя лакейская роль Александра Ивановича при Столыпине и невыгодное впечатление, произведенное Гучковым в Царском, в бытность его председателем Госуд[арственной] думы. Он тогда обещал «посчитаться» с безответственными влияниями. А эти влияния были самым чувствительным местом царя. Факт тот, что и царь, и Гучков ухватились с разных сторон и в разных побуждениях за русскую воинскую мощь. Царские побуждения были ясны: 1) После порвания подписанного им в Бьорке соглашения с Вильгельмом, царь, как это в жизни всегда бывает, пуще невзлюбил обиженного им, а невзлюбив, испугался вильгельмовской мести. 2) Его душил распутинский

скандал и 3) В военных заботах не было ничего реакционного, и здесь он шел в ногу с народным представительством. Не менее ясны и побуждения Гучкова. Карьера его со смертью Столыпина была кончена. Октябризм, как политическая догма, догнивал. На шпице национализма уместился уже Балашев[603]. Оставался незанятым лишь шпиц шовинизма, сиречь патриотизма. Александр Иванович и поспешил на него вскарабкаться. И встретился там с царем.

* * *

Узор мировой и русской предвоенной политики чрезвычайно сложен, — распутать его историку будет нелегко. Что касается России, пока можно установить лишь следующие тезисы: 1) Россия этой войны не желала. 2) Не желал ее тоже и боялся царь. 3) Не желало ее в подавляющем большинстве и русское народное представительство. 4) Не желало ее в подавляющем большинстве и русское правительство. (О подпольной России, на руку которой была **всякая** война, а тем паче с Германией, говорить не стоит). Оттолкновение России от войны, а особенно с могущественной Германией, после недавно перенесенного поражения ее сравнительно ничтожной Японией, — было органическим и бесспорным. И тем не менее...

В первую голову тех сил, что победили это оттолкновение, было влияние Франции и Англии: первой — открытое, второй — скрытое. В весьма понятном страхе за свою участь Франция действовала со свойственным ей темпераментом, заразив русскую власть, а частью и общество, и своим страхом, и своим воинским азартом. Франция (а, скрытно, и Англия) действовали сразу в трех направлениях: на государя, в лице вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича, на русское правительство в лице Сазонова и Сухомлинова и на Гос[ударственную] думу в лице Гучкова. Трудно сказать, какое из этих влияний было сильнее, но, кажется, одно без другого успеха не имело бы. Во всяком случае, и это главное — без шовинизма (патриотизма?) Гос[ударственной] думы, развитого напором Гучкова и польского коло[604], войны, кажется, не было бы[605]. Вероятно, не было бы ее и без усердия Сазонова с Сухомлиновым. Сазонова подогревал из Парижа Извольский, а Сухомлинова — его грызня с Поливановым и Гучковым.

Александр Иванович сумел назначить себя председателем думской воинской комиссии[606]. Комиссия эта вызывала для объяснения военного министра. Там и произошла схватка между Сухомлиновым и Гучковым. Подогреваемый и своим усердием, и разоблачениями Поливанова непорядков военного министерства (а особенно ролью в делах этого министерства известного Мясоедова), Гучков вцепился в Сухомлинова мертвой хваткой. Чтобы спастись, Сухомлинов решил, как говорят, переплюнуть Гучкова (в воинском усердии). И заявил, что к войне Россия **готова**. Оставалось лишь позаботиться о тяжелой артиллерии, самом слабом месте русской воинской силы. С одобрения и даже по настоянию государя Сухомлинов внес в Гос[ударственную] думу кредиты на перевооружение русской армии. Государственная дума, впервые единодушная с царем, была наэлектризована. Россия почувствовала возможность войны. А Германия — ее неизбежность.

Кажется, это было первой ступенью к катастрофе. Второй можно назвать «неприятность», постигшую Гучкова на приеме государем членов Госуд[арственной]

думы. Прием этот был летом, перед роспуском Думы на каникулы. Царь был в духе и, обходя ряды депутатов, почти с каждым беседовал. Дошел до Гучкова, нахмурился и буркнул:

— Вы от какой губернии?

И, не дождавшись ответа, удалился.

Приняв во внимание, что Гучков был подручным Столыпина, председателем Гос[ударственной] думы и председателем воинской комиссии, такое поведение государя было явно демонстративно. Гучкова шатнуло, коллеги его ахнули. Поведение государя можно было объяснить интригами Сухомлинова. Но на Александра Ивановича оно оставило неизгладимый след. Если оно и не сыграло решающей роли в вопросе о войне, оно сыграло решающую роль в участи монарха. (Дворцовый переворот).

Третьей и последней ступенью был запутавшийся между Петроградом и Берлином клубок с началом мобилизации. В обеих столицах действовали силы, жаждавшие войны (в Германии — окружение кронпринца). До сих пор не выяснен эпизод с объявлением в газете кронпринца о германской мобилизации. Эта газета была конфискована и уничтожена. Но она существовала несколько часов, достаточных для того, чтобы наше берлинское посольство протелеграфировало о ее содержании в Петроград. Как уверяют, телеграмма эта была передана Петрограду с молниеносной быстротой, а последовавшая телеграмма с опровержением, из-за порчи телеграфа, была задержана на два часа. В эти вот два часа был дан приказ о мобилизации армии русской. Наш начальник Гл[авного] штаба, Янушкевич[607], молниеносно этот приказ исполнил. А когда, после берлинского опровержения, государь пожелал отменить его, у ген[ерала] Янушкевича **испортился** телефон[608]. Таким образом, войне мир как бы обязан испортившемуся телеграфу в Берлине и испортившемуся телефону в Петрограде.

Так это или не так, но историк этих дней вряд ли упустит из виду несомненный факт, что даже эти погрешности телеграфа и телефона не сыграли бы решающей роли, если бы добрая фея шепнула на ухо Николаю II, что война эта сгубит и Россию, и его самого. Но доброй феи не оказалось: кн[язь] Мещерский, которому царь дал слово не воевать, только что умер, Витте был далеко, далеко была и противница войны императрица-мать, а «старец», хоть и противник войны, испугавшись ответственности, стушевался[609]. Зато Сухомлинов и вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич (оба претендовавшие на пост главнокомандующего) были близко, усердствовал Сазонов, а Гучков с Поливановым, «Нов[ое] вр[емя]» с «Русск[им] словом», чаявшие наживы биржевые акулы и вся муть российского делячества отравляли общественное мнение ядом шовинизма. Так было и в японскую, и в турецкую войны, — ибо так и быть должно было для Рока, ведшего Россию к пропасти.

* * *

Россия тех дней поделилась на две или, вернее, на три: воинствующая, миролюбивая и равнодушная. Суворин с Проппером и Дорошевичем и мелкой газетной сошкой трубили в воинские трубы, кн[язь] Мещерский (перед смертью) с Милюковым («Речь») отмежевывались от сербов (шовинистской «Вече» стала лишь

на другой день по объявлении войны, под угрозой закрытия), крайние правые и левые думские элементы, в противоположных целях (укрепления и свержения самодержавия), потирали руки, а Россия мужицкая, провинциальная, захолустная по-прежнему, по всегдашнему, тупо молчала. Нечего и говорить, что если бы в ту пору была сделана о войне всероссийская анкета, подавляющая часть населения начхала бы на сербов. Но вопрос жизни и смерти России решала кучка людей, метавшихся между Мойкой (резиденцией Сухомлинова и Сазонова), биржей и Петергофом. Может быть, то же происходило и в Берлине, и в Вене, и во всем «культурном» мире. Но в Петербурге об этом не думали. Четырехлетний маразм там внезапно сменился лихорадкой. Депутаты и члены Гос[ударственного] Совета возвращались в столицу. На бирже бурно скрещивались течения оптимистов и пессимистов[610]. Осведомляемый Гучковым Утин поджал хвост. Осведомляемый Мещерским Манус задрал нос. Зычным окриком в здании у Мытнинского моста: «Покупаю все, что продается» — он сводил с ума Путилова, Шайкевича, Каменку. В дворцах, министерствах, ресторанах, в бельэтажах и в скромных квартирах перед загадкой, купить или продать, перестали спать. Столица России превратилась в игорный вертеп. А судьба России, как и в дни Витте, решалась на Мойке: между миролюбием Коковцова и воинственностью Сухомлинова с Сазоновым. В золотой пыли биржевой вакханалии и во мгле маркизовой лужи едва различался облик безвольного царя и загадочного «старца».

* * *

В один из таких дней Мещерский был вызван в Петергоф. Этого вызова он трепетно ждал. Возвратился он к вечеру, изможденный, но сияющий (эта поездка стоила ему жизни).

— Войны не будет, государь мне дал **честное** слово...

На другой же день, прикупив еще порядочную партию бумаг, я поскакал за границу. Направился в переполненный русскими Гомбург. Там, в санатории Паризера, устроилась часть веселящегося Петербурга. Милейший Саша Плещеев, талантливейшая Рощина-Инсарова, даровитейший брат мин[ист]ра вн[утренних] дел Маклаков[611], банкиры, писатели. Все это не столько лечилось, сколько паясничало. Я пристал к Рощиной с моей новой пьесой.

— Не до пьесы, голубчик. Пьем воду, берем ванны и веселимся. Душка Маклаков воет пантерой не хуже брата. И вообще, Гомбург стал Россией...

Но Витте, бывший тоже в Гомбурге, хмурился:

— Пир во время чумы...

А Манус мне телеграфировал: «Купил для вас 300 Баку, 10 Нобеля. Будет новый выпуск акций».

Став русским, Гомбург не перестал быть по-немецки опрятным и зеленым. Парки, отели и люди томились в жаре; а к вечеру мы собирались в казино, и там гремел чудный оркестр, раскатывался русский смех, рычала пантера и шелестел флирт. Но, так как пьесой моей Рощина не интересовалась, а жары я не переношу, я с моей подругой, немкой, сорвались в Энгодин. В Сен-Морице был снег и скука. Спустились в Монтре и основались в санатории Ко. На утро меня ошарашили два известия: об австрийском ультиматуме и о смерти Мещерского. На-

чались дни агонии. За объединенным столом мы имели соседом поверенного в делах французского посольства в Берлине. Бесконечные гадания о мире и войне. Споры, новости. В один из дивных закатов на Леманском озере я подошел к окну и ахнул.

— Excellence[a], взгляните, кровь!

Он взглянул, усмехнулся.

— Épattant![b] Но, пока я здесь, можете спать покойно...

В тот день мы разошлись рано, а когда проснулись, война уже была объявлена. (Французский поверенный в делах ускакал ночью). Накануне я был в банке за деньгами по аккредитиву. Предлагали золото. Я взял бумажки. А сегодня размен был прекращен. И никаких переводов. Мы спустились в дешевый пансион в Монтре. И начались мытарства по возвращению на родину.

Были два пути: северный и южный — через Берген и Константинополь. Горсть русских, сбежавшихся со всех сторон в Швейцарию, в обычной панике, без денег, без руля и без ветрил, шарахалась между Женевой, Лозанной и Монтре. Север или юг? Где немецкие подводные лодки? А главное — откуда деньги добыть? За рубль еще давали 2 франка. Но рублей не было. А в ломбарде не ссужали больше 50 франков под любую вещь (даже жемчужное ожерелье). Осажденный русским стадом, наш женевский консул одурел. Даже Саша Плещеев перестал улыбаться. Полуголодные, мы занялись политикой; большинством голосов решили, что, при настоящих условиях воинской техники и мирового коммерческого обмена, война больше двух месяцев, максимум трех, продолжаться не может. Как-нибудь переждем.

В Монтре застряли без денег дочери Сытина. Сытин был в банках персона грата. Я телеграфировал в Азиатский банк Путилову. Ждем. Сократили паек. Вдруг телеграмма: «Получите банк Женевы 4.000 франков». Тайком от друзей по несчастью, поскакали в Женеву и, не веря глазам, получили 4.000 франков золотом. Что, как? Оказалось, — завалявшаяся с прошлого столетия сумма на счету Азиатского банка. В Петербурге ее раскопали.

В это же время пришло письмо из Биаррица, от Витте: «Никто, кроме меня, не знает силы Германии. Война погубит и нас, и их. Я здесь не останусь. Мертвого или живого меня доставят в Россию. Выезжаю через Константинополь и Одессу на «Мессажери Маритим». Выезжайте! Встретимся в Константинополе!»

Но встретиться нам не пришлось — Витте опередил меня. В Константинополе я побывал на Селамлике, узрел необычайно толстого султана и необычайно молодого и красивого Энвера[612]. Подслушал его разговор с немецким генералом.

— В чем же дело? — нетерпеливо вопрошал господин в круглой соломенной шляпе и потертом пиджаке. — За чем задержка?

Энвер держал под козырек.

— Все готово, Ваше превосходительство. Ждем последних из Берлина инструкций.

— Они посланы...

— Ваше превосходительство, можете быть уверены, что ни его величество, ни, тем более я, своего решения не изменим...

Но вмешательство Турции запоздало.

[a] Ваше превосходительство (франц.).

[b] Потрясающе (франц.).

Пугливо озираясь на турецких жандармов, русское стадо нагрузило французский пароход и двинулось в Одессу. Я же с подругой сели на другой пароход и направились в Констанцу: везти немецкую подданную в Россию без специального разрешения я не решился. Устроив ее в Бухаресте, помчался в Одессу. Зашел к градоначальнику.

— Мы с женщинами не воюем, — галантно заявил бравый шталмейстер.

Моя подруга приехала, мы поселились в гостинице «Лондон» и провели несколько приятных дней. Беспрепятственно двинулись в Петербург. От русского рыцарства, особенно после рассказов о зверствах немцев над русскими, моя подруга была в восторге. Вскоре, однако, восторг этот сменился паникой. За немецкими погромами в Москве последовал погром петербургский[613]. Науськанная «Нов[ым] вр[еменем]» толпа разгромила великолепное германское посольство с уродливыми тевтонами на крыше. Мы жили по соседству и видели, как этих тевтонов стаскивали на веревках и топили в Мойке. Моя немка разревелась.

— Bruts[a], — сорвалось у нее.

— А у вас?

— Если война в том, чтобы ломать мебель и топить статуи, это ужасно... Ужасно...

— À la guerre comme à la guerre![b]

Это была наша первая, вызванная войной, размолвка.

Только месяца через два после начала войны было отдано распоряжение о высылке из России всех германско-подданных. Для нашего романа настал трагический час. Маклаков дал отсрочку для выезда моей подруги. Но выехать, в конце концов, надо было. Я проводил ее до Торнео. Ночь в этом угрюмом финляндском городишке мы провели в слезах. Утром засияло северное солнце. Я получил от местного жандарма разрешение проехать на сутки в Швецию; в крошечных санках под волчьим мехом мы двинулись через сверкающую льдами речку к кокетливо раскинувшейся на том берегу ее шведской Рапоранде. Солнце, мороз, румяные и заиндевевшие красавцы шведские солдаты в светлых шубах, любезная таможня, прекрасный поезд со спальными вагонами, все это изменило наше настроение. Усадив подругу, я сбросил с себя тяжесть разлуки. Ее милая улыбка, белокурый локон и задорный блеск черных глаз не имели ничего общего с трагедией. Я вернулся в Петербург полный светлых надежд. Занялся делами. И получил письмо из Стокгольма:

«На родине приняли меня за русскую шпионку и выслали. Я основалась здесь. Киплю бешенством против моих сородичей, но счастлива, что это даст нам возможность видеться. Судя по тому, что я видела и слышала в Германии, война не кончится так скоро, как мы думали. Они там с ума посходили. Требуют полного уничтожения врага. Я немка, но я обожаю Россию, вероятно, потому, что обожаю тебя. Швеция к нам благосклонна. Здесь мне легче будет дожидаться конца этой ужасной войны. Приезжай, и я дам тебе счастье... Шведы на редкость красивы. И я... в их вкусе. Торопись!!!»

Так начался мой пилигримаж в Стокгольм, давший мне короткое счастье и долгую муку. За время войны я был в Стокгольме семь раз. Пока не очутился в вонючем каземате Петропавловки.

[a] Выродки (нем.).

[b] На войне как на войне (франц.).

Глава XXXI.
Стокгольм

Уже к концу 1914 года жизнь в Стокгольме, да и во всей Скандинавии, забурлила. А к 1915 году вся страна была схвачена пароксизмом. Легкость наживы вскружила головы самых уравновешенных людей. Крегера[614] еще не было, но были сотни и тысячи крегеровских предтеч. Богатства вырастали, как снежные сугробы. В несколько месяцев акции предприятий, так или иначе связанных с войной (металлургия, предметы питания, транспорт), вздулись в 3–10 раз. Самые ходкие в Швеции акции, Грегенсберг, схожие с нашими Путиловскими и Брянскими, с 250 кр[он] поднялись до 1.000 кр[он] и выше. Ничего подобного не было у нас даже в дни Витте.

Стокгольм наполнился банкирскими и иными конторами, где день и ночь шелестели изящные шведские банкноты и звенело шведское золото. На моих глазах совершались сделки феерические. Мой приятель М.[a], до войны незаметный лодзинский скорняк (этот М. сыграл немаловажную роль в моем аресте), в первые же два года войны стал крупным миллионером[615]. (Один из немногих, он сохранил свои миллионы по днесь, деля свой досуг между Берлином, Парижем и Ниццей). Свой первый миллион он нажил в несколько дней. Война застала его в Берлине. Пришлось удирать. Лодзь не тянула. Добрая фея шепнула: «Сальварсан». М. направился к оптовому торговцу аптекарскими товарами. По двойной цене заторговал крупную партию хинина, аспирина, сальварсана, с доставкой в Стокгольм, наложенным платежом. Поскакал в Стокгольм, с вокзала прямо в русское посольство. Так, мол, и так. Имею крупную партию аптекарских товаров. А в России ведь их нет. Военный и морской агенты с грустью согласились. Почем? Цена была назначена тройная против покупной. Дороговато! Заплатите дороже. Агенты это знали и потребовали годичного контракта. М. снесся с Берлином. Согласны. Плата в валюте... Не знаю, сколько М. нажил на этой первой сделке, но по истечении года Россия платила за аптекарский товар в 5–10 раз дороже. Сухомлинов с Сазоновым, стряпая войну, не справились в Министерстве торговли, много ли Россия готовит собственных аптекарских и иных товаров.

[a] Фамилию его знает г[осподин] Неклюдов (прим. автора).

Мой приятель М., оказывается, эту статистику изучил еще в Лодзи и в течение войны снабжал наше отечество закупленными в Германии товарами. Наш военный агент, милейший малый типа городничего, уверял меня:

— Если М. поедет в Россию, арестуем в Торнео.

— Но ведь вы без него не обойдетесь.

— Все равно арестуем... Шпион.

М. понадобился, взамен шведского автомобиля, германский мерседес. Телеграфировал в Берлин. Ответили:

«За колбасу».

Abgemacht![a] Закупил в Швеции и Дании горы колбасы, отправил и получил новенький мерседес. Покатал на нем своих друзей, угостил чудным обедом. Катался и кушал с другими наш суровый военный агент. Но в Петербург сообщил: «Немцев кормит М.» И с тех пор имя его стало в Петербурге синонимом измены. Много крови испортил мне этот М. Но с ним связаны и мои светлые стокгольмские воспоминания.

Лихорадка наживы зажгла в Скандинавии и лихорадку веселья. А веселье, как всюду и везде, разбудило чувственность. А чувственность подняла цену женщины. Жизнь в Стокгольме и частью в Копенгагене в дни Великой войны сравнивали с жизнью древнего Рима. Не было там пиршеств Нерона с возлежанием и дождем из роз, не было арбитров элегантности типа Петрония, но в цветах и шампанском утопали изысканные обеды и ужины, а Петрония заменял наш соотечественник, милейший и толстейший Шубин-Поздеев, друг Милюкова и вел[иких] князей, завсегдатай балета и экс-любовник самых красивых петербургских монденок[616].

Само собой разумеется, веселье, еда и питье, а главное — женщины, были «нейтральными». На всю Европу, пожалуй, и Америку, прогремели «нейтральные» притоны Стокгольма: Hasselbuken, Opera Chel, Royal Hôtel. В эти годы они далеко оставили за собой наших Кюба, Донона, Эрмитаж, Тестова, пожалуй, с Café de Paris. В притонах этих, с первоклассной французской кухней и удивительными погребами, «друзья» и «враги» отдыхали от забот и интриг: лукавый жизнелюбец Люциус (посол германский) пировал о бок с суровым пуританином Хольмом (послом британским); богатейший представитель Соед[иненных] Штатов (сын свиного короля) насмешливо поглядывал на убогого посланника Турции. Понятно, «друзья» и «враги» пировали не за одним столом и не подымали бокалов друг за друга. Но бокалы тех и других, сплошь и рядом, подымались за тех же прекрасных дам, что украшали своим присутствием столы то «друзей», то «врагов», одинаково любезные, вызывающие, дурманящие. Сильнее таких блюд и старых вин дразнила нервы пирующих эта двуликость стокгольмского Бахуса и Эроса, это скольжение между Сциллой и Харибдой, между схватившимися насмерть врагами. А возможность побывать, не покидая Стокгольма, в Берлине, не покидая Копенгагена — в Париже (насколько Швеция шла в орбите Германии, настолько Дания — в орбите союзников), надышаться, не выходя из ресторана, симпатиями и антипатиями, справить победный пир либо тризну, опьяниться чужими слезами, наболтать, насплетничать, наклеветать, а главное — насладиться красивейшими «нейтральными» женщинами, — все это одуряло.

[a] Решено (нем.).

Эстетичности стокгольмского «пира во время чумы» способствовала шведская женщина. В России довольно хорошо знали шведскую лошадь (шведку) и очень мало шведскую женщину. Зачитывались Кнутом Гамсуном, Стриндбергом и даже Сельмой Лагерлеф, не говоря об Ибсене. Усваивали себе одну какую-нибудь черту их героинь — чувственность из «Пана», целомудренность из «Виктории», загадочность из «Норы». От Стриндберга веяло женофобией, от Кнута — женолюбием. Цорн рисовал обильное тело шведок, другие художники — обильную шевелюру. Но шведки (именно шведки, а не датчанки, копирующие парижанку) в целом, со всей ее поэзией и прозой, целомудрием и чувственностью, а главное, с ее ненасытной жаждой жизни, мы не знали, да и не знаем. А между тем, ключ к разгадке сфинкса Крегера — здесь. Если в Швеции водятся самые красивые мужчины, там же и самые обаятельные женщины. Швед дерзок в делах, шведка — в любви. Ни одна страна, кроме Швеции, не родила и не родит Крегера. Ибо дерзость Крегеров питается очарованием Грет Гарбо[617], — обвеянных воздухом озер и водопадов, гор и лесов этой волшебной страны, — смелых и женственных, поэтичных и тератеристых, белокурых, волооких шведок.

Всякая жизнь познается по ее экстазу, ибо только экстаз вмещает в себе все духовные и физические силы, в доступной им гармонии. Экстаз Швеции я почувствовал, сойдя в первый же раз со шведского поезда в Стокгольме, в 30-градусный мороз, дрожа под ильковой шубой и видя на улице мужчин и женщин в легких осенних пальто, прямых, стройных, румяных, улыбающихся. Ощутил я этот экстаз на парадных обедах и ужинах, с древневаряжским радушием, лившимися, как водопады, приветственными речами мужчин и щекочущим воркованием женщин, ледяным пуншем и пылающими взглядами, до утра танцами и до отказа весельем. Ощутил я его и в знойное лето на шведских пляжах, где принцы пляшут с пастушками, а любовь и ласки, как водяные лилии в воде, рассыпаны на песке и на мураве, и ничего, кроме радости бытия, не царит среди беспечных, по-нашему «бесстыжих» людей. Я побывал на заваленных заказами закоптелых заводах Швеции, в живописных шведских селах, где крестьянские дома уставлены «музейной» мебелью и утварью, а хозяева выступают как принцы и принцессы; в старинных баронских усадьбах, ни дать ни взять усадьбах нашей Хохландии; подымался наперерез всей Швеции через 97 шлюзов из Стокгольма в Гетеборг; спускался по морю на родину Гамлета. Всюду и везде, на суше и на воде, радость бытия, труд и радушие. Покуда во всей остальной Европе сгущалась печаль, на крайнем севере ее росла радость. В Скандинавии как бы распрямлялась кривая мироздания. Как ездят теперь любители алкоголя из Америки в Европу, так, в годы войны, ездили в Скандинавию любители пиров. Пировала вся эта чудесная страна, пировал и я.

* * *

Шведы считают себя немцами 1-го сорта. Но они преклоняются перед немцами 2-го сорта — германцами. Успехи этих последних на поприще наук, искусств и техники (особенно техники) заворожили шведов уже с середины прошлого века, повернув их симпатии от Франции Наполеона к Германии Бисмарка. Шведская династия по крови — французская, но по духу немецкая. Германофильство шве-

дов усилилось браком их нынешнего короля с сестрой Вильгельма[618]. А русофобство их, начавшись при Александре I, было усугублено Александром II и достигло кульминационного пункта при Александре III. Яблоком раздора между Швецией и Россией, как известно, являлись Аландские острова[619]. Наша внешняя политика при Николае II не сделала ничего, чтобы эту остроту отношений сгладить. А неудачный брак шведского принца с нашей великой княжной (Марией Павловной) и ее чуточку скандальное в Стокгольме поведение, завершившееся скандальным разводом, тоже не послужил к искоренению шведского русофобства[620].

Вот почему Великая война встряхнула Швецию не только материально, но и морально. В высших шведских кругах и в армии сразу образовалась тяга к немцам. И тяга эта в окружении королевы-немки была так сильна, что составила серьезную угрозу выступления Швеции на стороне германцев. Спасло Швецию почти чудо — разум далеко не гениального короля.

Король этот любит Ривьеру и обожает теннис. (В этом его единственное сходство с Николаем II). В прошлом году в ниццкой прессе появился фотографический снимок шведского короля в момент, когда он, с разинутым ртом и наклоном всего своего гигантского туловища, ждет мячика. Кто видел этот разинутый рот и позу заядлого теннисиста, не поверит, что 17 лет назад в его руках была не ракетка, а шансы мировой войны. Армия Швеции образцовая, и удар ее нам в тыл наделал бы немало бед. Осенившему шведского короля, прекрасного семьянина и гражданина, разуму много способствовал наш вновь назначенный в Швецию посланник А. В. Неклюдов, сменивший «скандального» ухажера Савинского[621].

Роль А. В. Неклюдова в Швеции была не из легких; но он вышел из нее с честью. Об этих тревожных первых днях войны, когда на волоске висела судьба Швеции, рассказано в его «Воспоминаниях», вышедших на французском языке с предисловием Ганото[622]. В «Воспоминаниях» этих имеется кое-что и по вопросу, больному для меня, — о сепаратном с Германией мире. Надо полагать, что г[осподин] Неклюдов был осведомлен по этому вопросу больше, чем оклеветавший меня Никитин и даже сам Милюков. И уж во всяком случае, как ближайший свидетель моей деятельности в Стокгольме, он был осведомлен о моих «кознях».

При всем своем такте, однако, А. В. Неклюдову не удалось изменить наследственные симпатии и антипатии шведов. С начала и до конца войны Швеция, в известных кругах ее, осталась германофильской. И хотя поведение шведов и их правительства в годы войны было по отношению к России безукоризненным, особенно в вопросе о перевозке раненых (шведы с одинаковым состраданием встречали скрещивавшиеся у них поезда в ранеными из России и в Россию) и облегчения участи русских возвращенцев, — несмотря на это, германскому послу в Стокгольме жилось не в примере вольготнее, чем русскому: во всех правительственных шведских учреждениях Люциус чувствовал себя как дома. Равным образом и шведское общество, особенно высшее, будучи сплошь на стороне Германии, проявляло к русским и радушие, и такт. На званых обедах, напр[имер], где я присутствовал, шведы надевали русские ордена и ни одним словом не оскорбляли моего национального чувства.

Проведенные в Стокгольме во время Великой войны дни относятся к самым светлым в моей жизни. Благодаря радушию шведов, заразительному темпу общего веселья и моим материальным удачам, жилось широко и привольно. Я имел

миссию от двух русских металлургических заводов, Путиловского и Сормовского, в администрации коих принимал косвенное участие, приобрести нужную для военных надобностей шведскую сталь. Сталь эту рвали обе воюющие стороны. Мне посчастливилось законтрактовать порядочное ее количество, и хотя поставка, по вине Англии, далеко не была доведена до конца, но с первых же транспортов я нажил крупные суммы. А беспроигрышная игра на бирже эти суммы увеличила. Словом, в дни, когда моя родина заливалась кровью, я вел в Стокгольме широкое и беспечальное житье. Тут чувствительное место моей совести. Само собою разумеется, журналисту с некоторым удельным весом и человеку, близкому к правящим сферам, не пристало быть комиссионером и биржевым игроком. Но в вихре той жизни осознать это было трудно. В той лихорадке делячества и наживы, что обуяла тогда Швецию, раздумывать об этике было некогда. Помню, когда мне принесли первые 100 тысячекроновых бумажек (моей комиссии), и я их пересчитал, касание добротной шведской бумаги и яркость чудесно подобранных красок порядочно меня взволновали. От природы я скорее расточителен и денег ради денег никогда не собирал. Но зараза тех дней была могучей. На шведских поставках я должен был заработать более миллиона крон. Но случилось то, чего уж я никак не мог предвидеть: у России не оказалось на расплату денег. В ту пору Россия сделала заем у Англии, — наша, мол, кровь, ваши деньги. Но этот шейлоковский торг англичан не удовлетворил. Кроме крови, они потребовали еще залог. Через Стокгольм проезжал мой тогдашний шеф и прежний коллега, — министр финансов — Барк. При свидании со мной он жаловался:

— Вот до чего дошло: наши союзники нам не верят. Министр финансов везет с собой в Лондон русское золото...[623]

Г. Барк ныне персона грата в Англии и вряд ли сохранил в памяти тогдашние свои жалобы[624]. Но факт займа под залог нашего золота неискореним. Тогда это меня только покоробило. Но вскоре и по карману ударило.

Дело в том, что англичане не ограничились залогом, — они потребовали, чтобы занятые деньги остались у них и чтобы за наши заграничные заказы расплачивался Лондон. Барк и на это согласился. И в один прекрасный день для деловых людей исчезла Россия и на месте ее оказалась Англия. А в Англии была черная доска. И на ней вписаны были страны, неугодные Англии. На первом среди них месте была Швеция. За ней шли Испания, Голландия. Всем русским заграничным заказам был сделан учет, и они были распределены по степени английских симпатий и антипатий. Получилось следующее.

Мои первые две партии стали для Путилова проскочили. Третья партия для Сормова была погружена на пароход и мне представили коносаменты. Платите! Телеграфирую. Ответ: «Платежи производит Лондон. Снеситесь!» Сношусь. Лондон молчит. Посылаю туда нарочного. Привозит ответ: «Заказы в Швеции стоят на последнем месте. Англичанам дела нет до контрактов. Надо было заказывать в других странах». Контракт был порван. Мою сталь купили втридорога французы. Если бы я был более деловит и не так занят пирами, я бы сделал то, что на моем месте сделал бы всякий: заложил бы мою сталь в банк и уплатил заводу (цена на сталь тогда уже утроилась). Примеров моей неделовитости я бы мог привести немало. Не один миллион в ту пору проплыл мимо моего носа, — проплыли и «немецкие миллионы». Хотя получить их было труднее, чем миллионы шведские. И вот почему.

* * *

В начале войны немцы, может, и заблуждались. Гессенский брат царицы, может, и рассчитывал на протекцию сестры[625]. Были, вероятно, расчеты и на Распутина, может, и на Штюрмера. Такие немцы, как Люциус в Стокгольме, гр[аф] Ранцау в Копенгагене, сделали, вероятно, все от них зависящее, чтобы из фронта союзников исключить Россию. Миллионы тут роли не играли, — за сепаратный с Россией мир Германия заплатила бы сотни миллионов. И никакого Баяна, если бы это было достижимо, ей не понадобилось бы. Но... это было **недостижимо**, и физиологически, и психологически. «Воспоминания» г[осподина] Неклюдова частью это поясняют. Я постараюсь их дополнить.

Не «глупость» и не «предательство» (диагноз Милюкова) хозяйничали в царских чертогах той поры, а... ненависть. Чтобы осознать это, надо немного отодвинуться назад. Хоть и историк, Милюков мало знаком с психологией момента. Передо мной одно из писем Александра III, тогда еще наследника, из Биернеборга, в год франко-прусской войны. Вот фраза этого письма:

«Я надеюсь и уверен, что французы возьмут вскоре реванш над **свиньями** пруссаками»[626].

Для Александра III пруссаки остались «свиньями» до последнего издыхания. Нужно ли прибавлять, что таковыми они были и для императрицы Марии Федоровны, датчанки, в этом **единственном** политическом вопросе имевшей на своего супруга влияние. История царствования Александра III есть история германофобии русской власти. Ей и только ей французы обязаны франко-русским союзом. И только в этом вопросе резко расходились ментор и его выученик, — Александр III и кн[язь] Мещерский. Брак Николая II с немецкой принцессой был возможен лишь потому, что Алиса («гессенская муха») была и по крови, и по воспитанию более англичанка, чем немка. Эту скромную принцессу (как и весь Гессенский двор) Вильгельм держал в черном теле. Императрица Александра Федоровна, как и ее belle mère[a] Мария Федоровна, Вильгельма **не выносили**. Этого, кажется, г[осподин] Милюков не знал.

Вряд ли он знал и о множестве фактов из царствования Николая II, свидетельствующих об **органической** антипатии этого царя к своему могущественному соседу. Оттолкновение его от Витте и даже от Мещерского корнями своими цепляется за эту непоборимую антипатию. Ее не сгладило, а усугубило «рыцарство» Вильгельма в японскую войну и окончательно вколотило «изнасилованье» Николая II Вильгельмом в Бьорке. Психика безвольного царя металась между страхом столкновения с Германией и оттолкновения от ее владыки. Давая Мещерскому «честное слово» не воевать, царь повиновался первому, давая себя надуть Янушевскому и Сухомлинову, поверив Сазонову (которого за нос водил Нератов), царь поплыл по линии наименьшего сопротивления — т[о] е[сть] своего личного чувства. Могли не знать это Милюковы, но **не могли** не знать об этом немцы.

Факт, не опровержимый никакой клеветой, заключается в том, что **до революции** сепаратный мир был **неосуществим**: физиологически, потому что до него не допустили бы союзники, не спускавшие глаз с Царского Села, и психологиче-

[a] Свекровь (франц.).

ски, потому что такой мир шел вразрез с унаследованной и благоприобретенной царем антипатией к Вильгельму. Были, очевидно, попытки к такому миру, и одна из них запечатлена в дневнике покойной императрицы Марии Федоровны, фотографический экземпляр с которого имеется у проживающего в Берлине русского журналиста Сукенникова[627]. Ко времени, к которому относятся милюковские размышления о моей «работе» в Стокгольме, **никаких** надежд у немцев на сепаратный мир с Николаем II не было, **не могло быть**. На этом я настаиваю и думаю, это подтвердит здравствующий, к счастью, наш бывший в Швеции посланник, А. В. Неклюдов[628]. Остается, значит, моя ценность как журналиста. По этому поводу я сознаюсь в поступке, до сих пор мало кому известном. В Стокгольме я виделся с виднейшим германским пацифистом, главой германского центра и верным слугой римского папы, Эрцбергером[629]. Случилось это так.

Моя подруга и невеста, немка, стремилась всей душой к окончанию войны. В стремлении этом я следовал за ней и как ее возлюбленный, и как убежденный пацифист, верный заветам людей, сформировавших мое политическое credo. Наши отношения подвергались все бóльшему испытанию. Наши дни начинались всегда с той же сцены. Мы просыпались, и она хваталась за шведскую газету (я по-шведски не читал). Читала:

— 30 тысяч взятых в плен, 10 орудий, столько-то пулеметов... Рен[н]е[н]кампф[630] отступил, окружен...

Голос ее дрожал от радости. Я начинал похрапывать. Или в другой день:

— Брусилов наступает[631], 50 тысяч пленных австрийцев, две тяжелые батареи...

Она швыряла газету, а я вскакивал и подхватывал ее.

Однажды она повела меня в немецкий клуб, и я увидел там последний портрет Вильгельма, изможденного, с опущенными усами. Я достал этот портрет, написал в «Р[усское] сл[ово]» статью: «Лик Каина» и вместе с портретом положил в конверт для отправки. Отправил. Статья появилась, а портрет нет. В Москве я спрашиваю Дорошевича — почему?

— Вы бы ваши чувства лучше скрывали, — пробасил мне Влас, отворачиваясь.

— В чем дело?

— Под портретом была подпись: «Lieber Keiser!»

Оказывается, она успела ее написать до отправки письма.

Однажды она говорит мне, задыхаясь:

— Приехал Эрцбергер.

— Ну так что ж?

— Вам необходимо свидеться.

— Ты не понимаешь, что говоришь.

— Мы приглашены к обеду к Гуревичам[a, 632]. Ты ничего не знаешь. Встреча случайная...

Уговорила. Отправились. Дом был ярко германофильский, хозяева милейшие, мы часто их посещали. Эрцбергер оказался еще молодым человеком, с бритым, круглым лицом и по-детски светлыми глазами. Изысканно любезен. Нас усадили за обедом рядышком, и мы обменялись воспоминаниями о добрых русско-германских довоенных отношениях. После обеда нас оставили вдвоем

[a] Варшавский коммерсант Гуревич, весьма почтенный и уважаемый, имел подругой тоже германско-подданную (прим. автора).

пить кофе и ликеры в уютной гостиной. И между нами произошел приблизительно такой разговор:

— Мне хорошо известны ваши убеждения, — вкрадчиво и ласково, как няня ребенку, говорил глава немецких пацифистов, — может быть, и вы кое-что знаете обо мне. Enfin, et avant tout[a] (мы говорили по-французски), я бы хотел установить тезис, что мы оба жаждем мирного сожительства наших двух народов, как к тому обязывают их насущные интересы и сама история. Справедлив ли этот тезис?

— Кажется.

— Благодарю вас. Я путешествую не для удовольствия. И я выражаю не свое лишь мнение. Моими устами гласит преобладающее в германском обществе и правительстве, пока еще смутное, но с каждым днем все более крепнущее, убеждение.

— В чем?

— В необходимости мира с Россией.

— Сепаратного?

По-видимому, я нахмурился, ибо мой собеседник покраснел и живо подхватил:

— Будьте уверены, я уважаю ваши чувства. Я имею в виду всеобщее окончание этой пагубной войны.

— Чего же лучше!

— И если для этого я считаю необходимым постучаться, прежде всего, в дверь России, то только потому, что Россия стоит в центре наших противников и что, по нашему мнению, решение проблемы войны и мира в руках России.

— Я не совсем вас понимаю.

— Без участия России война продолжаться не может.

Кажется, я опять нахмурился.

— Значит, сепаратный?

— Да нет же. Мир общий, но по знаку России.

— Как же вы представляете себе этот знак?

— Германия предложит условия мира России. Обязавшись, по ее требованию и указанию, разработать условия мира на всех фронтах.

— Это сложно и встретит отпор союзников. Во всяком случае, ни я, ни, тем более, наше официальное представительство, беседовать с вами на эту тему не можем. Если я поддерживаю с вами этот разговор, то лишь как журналист, которого все интересует.

— Понимаю, понимаю. Я ведь тоже журналист. Я и приехал сюда с целью посоветоваться с людьми одинаковых со мной взглядов, — как приступить к осуществлению наших пламенных пожеланий?

— Мне сдается, говорить вам надо, прежде всего, на вашей родине.

— То есть?

— Из публичных выступлений вашего правительства, не говоря уже о прессе, особого миролюбия Германия до сих пор не проявляла. Надо, прежде всего, изменить тон вашего канцлера. А он, насколько я знаю, находится под влиянием ваших шовинистов.

[a] Итак, и прежде всего (франц.).

— Верно, верно. И эта война, и продолжительность ее, и ее эксцессы, дело рук наших шовинистов. Они еще могущественны, но уже не всемогущи. Колеблются и Гинденбург с Людендорфом. Возле императора тоже растет влияние пацифистов. Словом, я с вами говорю с ведома Бетмана-Гольвега.

— Но я-то при чем здесь?

— О вашем существовании канцлер не знает; но ему известно, что я постараюсь свидеться с лицами, имеющими некоторый вес в русском общественном мнении, а главное, не шовинистами.

— Я вам очень благодарен за доверие и искренность. Но мне кажется, что, раньше каких-либо конкретных шагов, нужно, чтобы Россия и ее союзники узнали о переменившихся в германском правительстве настроениях. Нужно публичное, в этом смысле, выступление главы вашего правительства.

— Вы думаете, оно произведет в России впечатление?

— Надеюсь.

Мы замолчали, Эрцбергер усиленно соображал.

— Вот что. Я завтра возвращаюсь в Берлин. И, надеюсь, уверен даже, что, не позже как в конце недели, Бетман-Гольвег произнесет в рейхстаге мирную речь.

Я немножко струсил.

— Еще раз повторяю, что я никакой роли в правительстве не играю, а, как журналист, имею лишь свой круг читателей. И притом, моя газета, без серьезных причин, своего направления не изменит.

— Это само собой. Но я думаю, если канцлер произнесет мирную речь, в общих чертах, а я изложу в печати, здешней или датской, приемлемые для Германии условия мира с Россией...

— Не только с Россией.

— Само собой! Мира всеобщего... То вы не откажетесь поднять этот вопрос в прессе?

— Полагаю, что на мирную речь канцлера отзовется и без меня вся русская пресса. Тогда, понятно, прозвучит и мой голос.

— Понимаю, понимаю. Мы так и сделаем. Канцлер произнесет речь, т[о] е[сть] даст тон, а я подхвачу ее в прессе...

На этом мы расстались. Моя подруга наскочила на меня, сверкая глазами.

— Договорились?

— Мир подписан, все ликуют...

Возвратились мы домой полные надежд. В конце недели Бетман и впрямь произнес речь, но... не мирную, а резко воинственную. Как оказалось, дело испортил я[633].

В Стокгольме в дни войны жило немало высланных из России германских подданных, между которыми преобладал контингент деловых людей: бывших директоров русских банков, правлений, руководителей заводов, инженеров и проч[их]. Многие из них родились в России, обрусели и все свои интересы связали с процветанием России. Но подданства не изменили. (Немцы вообще не меняют подданства.) Попав в Стокгольм, они составили своеобразную русскую колонию немцев, с раздвоенной русско-немецкой психикой: желающих и боящихся победы Германии. Понемногу они растворились в подлинно немецкой и шведско-немецкой среде и среди них, параллельно настроениям германским, сгустились полюсы шовинизма и пацифизма. Один из таких русских

немцев-пацифистов был моим коллегой по банковскому правлению, и мы с ним в Стокгольме продолжали дружить. С ним я и поделился моей беседой с Эрцбергером и моими надеждами. Но он, к удивлению моему, реагировал не так, как я ожидал.

— Мы все здесь знаем, что Эрцбергер готов продать Германию за чечевичную похлебку.

Я опешил.

— Что вы подразумеваете под чечевичной похлебкой?

— Сомневаюсь, чтобы Бетман решился на такую речь.

— Почему?

— Потому что на него имеются влияния более сильные и совсем иные.

Мы сухо расстались. Мой друг, как я узнал потом, разболтал о моей встрече с Эрцбергером одному из воинственных немцев, а тот поскакал в Берлин, поднял на ноги шовинистские круги и, вместо приближения к миру, мы от него удалились. Но Эрцбергер выполнил свое обещание и послал в датскую газету проект приемлемого для Германии мира с Россией, с пунктом о мире, по требованию России, на всех фронтах. Моя подруга его перевела с датского на немецкий и сунула этот клочок бумаги в 40 строк, в момент моего отъезда в Россию, в мой чемодан.

— Зачем? — спросил я.

— На всякий случай...

Таково происхождение «документа Германского генерального штаба на 18 страницах, с денежными промессами», о котором возгласил бывший охранник Никитин на страницах милюковской газеты. Ниже, в главе «Мое дело», читатель найдет подробности об использовании мной сего «документа», — подробности, в свое время проверенные освободившей меня судебной властью. Но так как дело теперь идет не об юридической, а об этической стороне моих поступков, то приходится скользнуть и по этике моего свидания с Эрцбергером.

Свидания и разговоры с «врагом» имели место и до, и после меня: до меня Протопопов виделся с Варбургом, а после — Милюков с Мумом[634]. О свидании с Варбургом я упомянул в главе «Протопопов». Подробности же свидания Милюкова с германским послом на Украине — Мумом, мне не известны. Допускаю, однако, что это свидание с «врагом» менее преступно, чем мое. А главное, что экс-министр, не в пример журналисту, имел право через этику перешагнуть. «Дела» о Милюкове никто не начинал и не начнет. И это потому, что, переступая через этику, экс-министр имел в виду политику — благо России. Но ведь и я имел в виду то же благо. Как и сейчас, я тогда полагал, что России нужнее всего мир и что Германия была самой нужной для русского духовного и материального прогресса частью западной Европы. Сменив германофильство на германофобство и перейдя от миролюбия к шовинизму, вождь демократии и ученый, обязанный немало немецкой науке, не может, однако, отрицать, что «неуч» Баян, в меру своих сил и удельного веса, работал, не меняя своих убеждений, в направлении понимаемых им исторических задач России. Другое дело — бескорыстно ли? На этот вопрос дала ответ компетентная судебная власть.

Выше я указал, что вплоть до свержения императора Николая II **никакие** усилия, даже оплаченные сотнями миллионов германских денег, сепаратного

мира не добились бы. Немцы это знали столь же хорошо, как и я, и деньги вручили Ленину лишь **после** революции. Ибо самой крупной силой в России была тогда сила революции. Ленин, с их точки зрения и для их целей, стоил миллионов. Но Баян? Потерявший «связи», антиреволюционер, недурной журналист, но подчиненный, а не **руководящий**? За какие же услуги оплачивать его? Мне лестна оценка Милюковым моего влияния. Но, право же, немцы в этом случае были рассудительнее его. Оплатить, да еще крупно, мое миролюбие, — на это в Германии глупцов не нашлось бы, даже если бы я свое миролюбие пустил с торгов.

Глава XXXII.
«Большой человек»[635]

Пятый час утра. В кабинете Суворина.

— Вы правы, голубчик. А может, и не правы. Витте — большой человек. Но вопрос — государственный ли? Одного таланта, голубчик, мало. Талантов у нас пропасть. И Сперанский был талантлив. Ну, и Аракчеев. Разве без таланта он сгреб бы Сперанского, да и самого Александра? Что нужнее было тогда России — кто его знает. Да и сейчас. Россия, это, того, — загадка. Где верх, где низ?.. Правая, левая?.. Само собою разумеется, для таланта больше простора влево... Оттого вся левая печать у нас талантливее правой...

— Разве «Новое время» не талантливо?

— Я его не читаю...

— Ну, а Меньшиков, Столыпин, Розанов...

— Были бы во сто раз талантливее, кабы полевели...

— За чем же дело стало?

— Витте может левее, потому что государство не газета. Есть куда податься. А газета — парус. Не так повернешь — крушение.

— Кто же у вас его держит, если вы...

— Господь Бог... Либо дьявол...

Старик прохаживается, лукаво блестят его глазки, а хоботок свертывается и развертывается.

— Да, Витте! — размышляет он. — Талант. А на кой он, ежели России не туда нужно?

— Куда же?

— Кто его знает... Ваш Мещерский разве...

Это укол мне.

— Мещерский талантлив.

— И вы, батенька, талант. Талантом Россия спасается. А в общем — раком ползем... Вы, по-моему, хорошо разобрались в Витте. Правильно ли, не знаю. А занятно. Пьесу напишите. Так и озаглавьте: «Большой человек».

— Кто ее поставит?

— Я.

— Придется с Витте рассориться.

— Зачем? Пишите так, чтобы не ссориться. Тип дайте. Вы верно схватили его. Хотя и я не хуже написал бы. Да лень.

— Всерьез поставите?

— Если талантливо...

— Сколько времени даете?

— Ну, месяц, два...

— Пьесы годами пишут.

— И проваливают...

Был шестой час. Мы простились.

Эртелев переулок умывался в мути петербургского рассвета. У подъезда стояли лихачи. Ванечка Мануйлов и Юрка Беляев садились на одного из них.

— Задержали же вы старика.

— А что?

— С версткой опоздали.

— Да ведь старик не читает...

— Держи карман. Строчки без себя не выпустит.

— А Михаил?

Оба рассмеялись.

— Пошел! К «Медведю»!

* * *

Пьесу я написал в Киеве. Почему именно в Киеве, не помню. Но помню, что пьесой я обязан исключительно моей тогдашней очередной подруге — Наташе[636]. Мечта, которую она лелеяла — иметь от меня ребенка — осуществилась: она была беременна, и от этого еще неудержимее стремилась к осуществлению второй мечты — увенчать мою главу, а следовательно, и свою — лаврами. Она сильно подурнела и стала жертвой сопровождающих беременность причуд. Маскировала их вздернутой чувственностью. Ласки ее стали много бешенее тех, которыми она, под крики: «Ребенка, ребенка!», сводила меня с ума. Удовлетворив свое чадолюбие, всей силой воли и темперамента она устремилась к славолюбию. Я должен был совершить литературное чудо — в месяц написать пятиактную пьесу. А в помощь мне был дан ее темперамент. Мускус сладострастия должен был вздернуть на дыбы мой сомнительный драматический талант.

Этого месяца не забыть. Днем мы никуда не выходили — под сдавленные крики: «пиши», я бросался от письменного стола к неубранной постели и к письменному столу обратно. Пищу нам приносили в номер, как зверям в клетку. Горничная с укором косилась на взлохмаченную постель, коридорный — на невыметенную комнату. Только когда спускалась ночь, мы, пошатываясь, как преступники, выползали в Коммерческий сад и, прокрадываясь сквозь толпу, садились над днепровским обрывом. Волшебный вид, влажная прохлада, звуки прекрасной музыки, — меня все это отрезвляло. Мы молчали. О чем думала она — не знаю. Но я в эти часы пробуждался от кошмара, и во мне крепло сознание уродливости моего любовного и творческого экстаза. Я глубоко вздыхал, а она тревожно на меня озиралась.

— Идем.

Я покорно вставал, мы опять прокрадывались сквозь толпу и проскальзывали мимо неодобрительно косившегося на нас гостиничного швейцара. И опять:

— Пиши!..

К 5-му акту пьеса мне опротивела. Не знал, как ее кончить. Зубами скрипел. Она же, читая из-за моего плеча и сплевывая набегавшую слюну, от чего меня тошнило, — сипло говорила:

— Хорошо!

Когда я поставил последнюю точку, она рванулась.

— Теперь идем!

Мы в полчаса собрались и упорхнули. В купе вагона я, наконец, дал волю злости.

— К какому черту я везу эту ерунду? На позор...

— Молчи! Целуй!

Но целовать я уже больше был не в силах.

— Отстань!

— Дурак!

* * *

Мы только что поселились в нововыстроенном доме на Каменноостровском, в прелестной квартирке 5-го этажа. Бросив свою семью в старой и мрачной квартире, я, по требованию подруги, завел шикарную новую. Лучшая комната в ней была назначена под «детскую». Наташа резко изменилась: она еще плевалась, но ласк от меня больше не требовала. Устроила мне постель в кабинете, не интересовалась моими литературными работами, а сама углубилась в шитье пеленок. Точно отдыхала от чего-то тяжкого, но необходимого, через что надо было перешагнуть. Отдыхал и я. А когда на теле моем появились огненные фурункулы — след нервного переутомления — и я слег, она почти не ухаживала за мной. Только изредка, надавливая без жалости нарывы, когда я кричал от боли, презрительно морщилась:

— Баба!..

Сама она была к боли почти нечувствительна (как все истерички).

Приехал Суворин. Взобрался на 5-ый этаж, опираясь на клюку, и тяжело опустился в кресло у кровати. Глаза зло сверкали, губки сложились в зловещий хоботок.

— Ну и пьесу же вы накатали...

Нарывы впились в меня, сердце нырнуло куда-то.

— А что?

Я оглянулся на Наташу, но ее уже в комнате не было.

— Кончать пьесу без женщины... Черт знает, что такое.

— Я говорил, — шептали мои губы.

— Витте — туда-сюда. Но остальное... Вы, батенька, женщин не знаете, хоть и плаваете в любви... Женщина!.. Я тоже написал плохую пьесу. Но у меня есть женщина... А у вас — манекен какой-то. Гермафродит. Пьесу вашу картошкой забросают.

Я обозлился.

— Да ведь вы мне дали заданье... Я не большую женщину, а большого мужчину рисовал... Остальное — аксессуары.

— Публике пьесу подай, а не аксессуары. Второй акт хорош. И банкир хорош, и Скальковский... Это его вы вывели... Ну, и великий князь, чиновники. Этот мир вы знаете. А в общем пьеса г...ая.

Старик встал, стукнул об пол клюкой, ухмыльнулся.

— Не ставьте, — прохрипел я.

— Напротив! Ставлю. Уже дал Арбатову...

Когда он ушел, вошла Наташа. На губах ее бродила злая усмешка.

— Струсил?

— Чего?

— Картошки.

— Радость не велика.

— Твой Суворин сам г..., а пьеса будет иметь огромный успех. И для первого представления ты мне купишь модель у Florand — синяя с брюссельскими кружевами. Я уже приторговала. 350 рублей.

Пьеса должна была пройти через драматическую цензуру. Цензор встретил меня значительной улыбкой.

— Трудненько пропустить вашу пьесу.

— Почему?

— Кто же не узнает в вашем герое Сергея Юльевича?

— Узнавать не возбраняется. Доказательства?

— Жена вашего героя берет взятки и у нее любовник...

— Значит, это м[ада]м Витте?

— Сами ответьте.

— А если она не будет брать взяток и у нее не будет любовника?

— Переделайте, увидим[637].

Я отрезал у моей героини любовника и взятки, тем сделав ее облик еще более тусклым. Суворин выругался.

— Что же у вас от нее осталось? Только и было, что любовник. У кого нет любовника? И кто не берет взяток?

Наташа была в ярости. Но голубая модель с кружевами ее успокоила. Начались репетиции.

Режиссер суворинского театра, Арбатов, был талантлив, но горький пьяница. В театре этом царили нравы, близкие к нравам редакции «Нового времени». Как и там, здесь были «лихачи» типа Меньшикова, Беляева, Розанова и мелкая сошка, стлавшаяся у ног лихачей. Как и там, и даже больше, чем там, здесь самодержавно властвовал старик, стуча палкой, непристойно ругаясь, делая вид, что ни во что не вмешивается, а на самом деле диктаторствуя. Как и там, он здесь гарпагонствовал и давал себя обкрадывать.

Лихачествовал в ту пору на суворинской сцене юный Глаголин. Он и рванул к себе роль «большого человека», только что перед тем сыграв роль Иоанны д'Арк[638]. Прежде чем приступить к репетициям, Арбатов собрал суворинскую драматическую школу и прочел пьесу.

— Читал я им монотонно и предупредил, кому скучно, может уходить. Часа три читал. Перед последним актом еще раз предложил, кому скучно, уходить. Никто не двинулся. А посему — за успех ручаюсь, — заявил он.

— Приятно. Но Глаголин? Иоанна д'Арк и... Витте.

— Вывезем.

И вывезли. На первом спектакле был момент всеобщего недоумения. Запахло картошкой. Но к пятому акту актеры загримировались Победоносцевым, Сольским и другими известными сановниками. А когда появился царский посланец, загримированный великим князем Владимиром Александровичем, и произнес шаблонную газетную статью о патриотизме, долге и прочем, мне устроили овацию.

Суворин ухмылялся.

— Я же говорил, пьеса хорошая...

Распуская шлейф из брюссельских кружев, торжествовала и Наташа.

— А что, трусишка!

В Малый театр бросился «весь Петербург». Первые ряды занимались сановниками. Из-за занавеса я подслушал их диалоги.

— Говорят — миллион.

— А мне говорили двести тысяч.

— Эдакая реклама!

— И это в момент падения...

Меня вызвал Витте.

— Вы написали на меня пьесу.

— Кажется, я вас не умалил.

— Но Матильду Ивановну.

— Чем?

— У вас стоит, что она темного происхождения. Она дочь известного учителя английского языка Нурока[639].

— Вот это и доказывает, что я не имел в виду вашей супруги.

— Вы. Но публика.

— Что же мне делать?

— Напишите в «Новом времени», что ваш герой не я.

— Сергей Юльевич, если есть еще человек, не отождествляющий вас с моим героем, после такой заметки его не будет.

— Все равно пишите!

Я написал, и народ повалил «смотреть Витте»... А Витте угостил меня... чаем с вареньем.

* * *

Моя пьеса пронеслась по России метеором. Та зима была выдающейся по новинкам. Ставили «Синюю птицу» Метерлинка, «Дни нашей жизни» Андреева, «Вожди» Сумбатова. Но, по сборам и по шумихе, «Большой человек» шел впереди. После 40 полных сборов в Петербурге труппа Малого театра взбунтовалась, требуя новых ролей. Пьесу развалили, а Суворина обокрали. Для путешествия по России образовалась труппа Линской-Неметти. Роль «Большого человека» поручили красавцу Баратову[640]. А Баратов, чтобы не было сомнений, кого он изображает, наклеивал себе знаменитый виттевскийнос.

В Москве сняли непосещавшийся Новый театр: там был прежде хлебный амбар и гуляли крысы, а из боковых лож не видно было сцены. Так как труппа

сколотилась со всех концов России, то пьесу ставили заново. Но была лишь одна репетиция.

— Вывезем, — хрипел пьяный Арбатов.

На первом представлении из ложи, где гуляли крысы, кричали: «Ничего не видно, ничего не слышно!» Антракт между 3-м и 4-м актами продолжался час — для будуара жены премьера не привезли мебели. Я метался по коридору.

— Господин автор, — кричала публика, — нельзя ли поскорей.

— Мебели нет...

— Жарьте без!

Сцену у мадам Витте сыграли на табуретах и без обоев. Последний акт начался, когда пробило час. Но нос Витте, плешь Победоносцева и баки великого князя Владимира сделали свое дело. Мне закатили овацию.

Ошарашенная московская пресса не то хвалила, не то ругала. А Замоскворечье повалило.

После восьми показанных в Москве спектаклей Неметти телеграфировала: «Остаемся в Москве».

В Киев, Харьков и Одессу опоздали на 2–3 месяца. Из Одессы мне телеграфировали: «Одесская городская дума просит автора “Большого человека” пожаловать на 15-ое представленье».

Предстояли процессы с театрами.

Из Тифлиса Баратова провожали всем городом и несколько грузовиков прилипли к труппе. К осени доползли до Ялты. Было еще жарко. Труппа начала купаться. Сыграли 25 рядовых спектаклей. Полный сбор давал 900 рублей. А труппа мне стоила 1500 рублей. От общения с оголтевшей труппой актеров Неметти потеряла душевное равновесие. Ее отправили в сумасшедший дом, а мне представили счет убытков...

Дни моего триумфа омрачились не только душевным расстройством Неметти, но и таким же почти недугом Наташи. Она уже родила. Верная своим причудам, она решила заменить кормилицу — козой, дабы не испортить наше чадо (по ее убеждению — совершенное) «людскими несовершенствами». Но козу некому было осмотреть, и она оказалась больной. Я же занят был больше моим триумфом, чем ребенком и козой. Но «пожинать лавры» моя подруга, бешено ревнивая, не отпускала меня одного, — следовала за мной по пятам. После одной из поездок мы застали нашу прелестную девочку больной. Наспех взяли кормилицу. Но ребенок уже не брал груди. Оказались язвы во рту. Умерла с голоду. И, умирая, взглянула на меня взглядом глубокой укоризны. Не забыть этого взгляда. Наташа была уверена, что козу отравила моя жена. С трупом ребенка выбежала на улицу, кричала, жаловалась, не давала схоронить. Мой «Большой человек» был сплетен воедино с крошечным созданием, умершим от голоду, покуда мы, его творцы, обжирались и опивались. Мою пьесу писал еще во чреве наш ребенок. Мы не говорили об этом с Наташей, но мы это чувствовали. И когда она, длинными ночами, в нанятом мною изолированном помещении, чтобы люди не слышали, выла воем волчицы по растерзанном волчонке, извивалась в непревзойденной муке самки, потерявшей детеныша, я впервые понял всю фальшь и нашего союза, и наших триумфов. В гробике лежала восковая куколка чудесной красоты — плод нашей любви. В гробике лежала и восковая куколка нашей славы. Я ночь просидел над ней и не мог по-

верить в смерть. Но когда ее опускали в могилку, я почувствовал, что опускали с ней мою вздыбленную похоть и мою «вздрюченную» гордыню.

* * *

Еще в Киеве меня бросало в жар: куда я лезу? Мне ли распутывать загадки власти? С какого права я эксплуатирую случайную близость к Витте? Касаюсь самого чувствительного места из жизни великой страны? Выношу на подмостки исторический спор русской власти с народом? Что я такое? Ни знаний, ни нравственной чистоты, ни таланта, равного этой задаче, у меня нет, — одна лишь самоуверенность, подстегнутая шалой девчонкой, прихотью беременности. Перевитая трусостью дерзость, подогретая карьеризмом чувственность — вот авторы произведения, являющегося как бы (!!) на смену «Ревизора» и «Горе от ума». Говорил я себе все это в тайниках души, но внешне торжествовал. Когда в театрах и на улице меня сопровождал шепот: «Большой человек», когда всероссийская анкета о лучшей пьесе сезона присудила пальму первенства мне, когда красивые актрисы падали в мои объятья, а лучшие актеры выпрашивали у меня роли, когда покойный Южин (Сумбатов) написал мне: «Малый театр и вся Россия ждет вашей следующей пьесы», я затыкал глотку моей души фразой, которой успокаивала мои сомнения Наташа:

— Ты трус. Хороший скакун, но без хлыста приза не возьмешь...

Подгоняемый этим хлыстом, я и скакал от приза к призу.

После первого представления «Большого человека» в Киевском театре тамошний критик, известный ругатель, Ярцев, написал в «Киевской мысли»:

«Пьеса написана по заказу, чиновничьим языком, без малейшей художественной правды, и пользуется успехом скандала».

В бешенстве я что-то написал ему и получил ответ:

«Еже писах — писах».

— Зависть, — успокаивала меня Наташа.

И я успокоился.

На «Большом человеке» я и впрямь мог заработать миллион (не от Витте). Но сделал все, чтобы его не заработать. Меня снедало — корыстолюбие. Кроме Линской-Неметти на мою пьесу зарились и другие антрепренеры. Объехать с ней Россию проектировало пять трупп. От меня потребовали запрета играть пьесу на провинциальных сценах. Я запретил и этим потерял доход от свыше 200 провинциальных театров. А труппы, за исключением московского Малого театра, разладились. «Большого человека» в 3/4 России не играли. Подобную же глупость, и тоже от жадности, я сотворил и со следующей моей пьесой — «После брани», успех которой обеспечивало уже одно мое имя. Петербургским актерам я выругал (в письме) московских, а московским — петербургских. В результате обе труппы пьесу развалили, назвав ее «После дряни».

Директор театров, Теляковский, говорил мне:

— Да вы спятили, батенька. Ругали бы после 40-го представления. А то в самый разгар успеха...

Словом, я сделал все, чтоб материальный успех моей удачи свести к нулю.

Остался, однако, успех моральный.

* * *

Как бы строго ни судили меня как художника, как бы усердно ни вычеркивали из списка драматургов, мой стаж публициста от этого только выиграл. Перенося публицистику на подмостки, я открывал эру художественной публицистики. Так уверял я себя, забыв, что до меня безмерно лучше сделал это Герцен. Спрос на публицистику в то время был велик. В Петербурге гремел Меньшиков, в Москве Дорошевич, в Киеве Яблоновский. Немало было талантливых журналистов, — один Суворин чего стоил, — но художников на всю Россию было с десяток. Заслуженно или нет, после «Большого человека» причислили к ним и меня. Дорошевич меня позвал в «Русское слово», Суворин — в «Новое время», Проппер — в «Биржевые ведомости», Худяков — в «Петербургскую газету». Были и другие предложения, которых я принять не мог. Но эти четыре принял.

Столыпин в «Новом времени» (я его чем-то задел) писал, что я «хамелеон». Мои друзья шутили, что я полемизирую сам с собой. Влас Дорошевич басил:

— Принесут газеты, развернешь — тут Баян, там Рогдай, тут Рославлев, там Полесский, — никакие маски скрыть ваше перо не могут. Как успеваете?.. И какую кучу денег загребаете!

Деньги я и впрямь загребал. В каждый свой приезд в Петербург хозяин «Русского слова», Сытин, пытался меня объехать на кривой, но каждый раз это ему дорого обходилось. Я зарвался. Дорошевичу он платил 4 тысячи в месяц, себе я потребовал 3 тысячи. Суворин тоже предложил мне поначалу двугривенный за строчку, а потом 1 тысячу рублей месячных. Проппер, никому не плативший больше 6 копеек за строчку, вынужден был поднять мою плату до полтинника. Худяков до 75 копеек и т. д. Больше 5 тысяч в месяц я зарабатывал пером и почти столько же в акционерных обществах. И все это меня не удовлетворяло.

* * *

При всех моих слабостях, ошибках и даже проступках, я вынужден протестовать против приписывавшейся мне эластичности убеждений. Это вовсе не заслуга — это моя моральная неприспособленность. Убеждения мои, как и у всех, менялись. Но, кажется, положительных политических убеждений у меня никогда не было — были лишь отрицательные. Это, мол, плохо, а что лучше — не знаю. Перо мое воротит от сознательной лжи — и не столько по принципу, сколько по структуре. Я не умею **убедительно** врать. Сознательная ложь меня воодушевить не может, а без воодушевления я писать не могу. Мое дарование, если оно есть, надо «вздрючить» (выражение Витте). Наташа отлично знала, что я не подделываюсь к Витте, приписывая ему рыцарство власти, но она видела, что без этого меня не вдохновишь, и она подстегнула мой романтизм. Я — раб кончика пера. **Так** определял меня Дорошевич.

— Черт вас знает, чего вы наворотили, — говорил он мне не раз. — Да разве это можно?

— Бросьте в корзину.

— Давайте переделаем.

Из-за пары строчек, из-за десятка слов мы часами сидели. И все же, за мои статьи «Русское слово» заплатило немало штрафов.

— В монетку вы мне обходитесь, — кряхтел Сытин.

— Гоните!

— Продолжайте!

Как это ни странно, мои «революционные» статьи в «Русском слове» нисколько не противоречили моим «реакционным» статьям в «Новом времени». Там я умудрялся полемизировать с Меньшиковым.

— Что вы со мной творите? — жаловался Суворин. — Ругать Меньшикова. Разве я могу без него?

— Не печатайте!

— Статья талантливая. Но вы Меньшикова мне не замените... Он уже телефонировал. Придется тащиться к нему в Царское. Упрашивать. И двугривенный прибавить. Вот чего вы мне стоите.

— Гоните меня.

— Ну, ну... Обойдется.

Из «Нового времени» я сам себя выгнал. Дело было так. Прочтя мою пьесу «После брани», Суворин заявил:

— Пьеса черносотенная.

А в цензуре решили:

— Пьеса революционная.

Пьесу послали в Царское, и решение мне было объявлено министром двора.

— К постановке разрешается.

К Суворину я уже не обращался и отдал пьесу дирекции Александринского театра. Очень заинтересовалась ею Савина. Ставил режиссер Долинов, играли лучшие силы труппы. Начался шум: «Пьеса на Гучкова». Места на первое представление были закуплены барышниками.

Генеральная репетиция явилась событием. Присутствовали министры двора, внутренних дел. Как и «Большой человек», пьеса в художественном отношении многого не стоила, но отдельные места удались. Сцена с совещанием маленькой Думы произвела, благодаря дивной игре Варламова[641], фурор. А на первом представлении, когда, после первого нудного акта, я был в полуобморочном состоянии, меня вытолкнули на сцену, и я долго не мог сообразить, скандал это или овация. В великокняжеской ложе хохотали так, что я сам расхохотался.

После спектакля я отправился в редакцию «Нового времени» править очередную статью. Кончил, собрался уходить. Из-за плеча Ванька Мануйлов протягивает гранки:

— Полюбуйтесь!

Читаю.

«Новая пьеса г. К[олышко] написана суконным языком и лишена действия. Автора вызывали “баритоны” сверху...» и т[ак] д[алее].

Иду к Михаилу Суворину.

— Критиковать можете. Но ругать, да еще своего же сотрудника...

— Мы ценим вас, как публициста...

— Извольте вычеркнуть о «баритонах»!

— Редакция одобрена отцом.

— Прощайте!

— Отдали бы пьесу нам, все бы обошлось.

Статью я унес с собой, но она все же появилась. И это была моя последняя статья в «Новом времени».

«Большой человек» был для меня порогом, через который я перешагнул от сотрудничества в газетах «разных направлений» к участию в органе, самом распространенном в России и, пожалуй, самом уважаемом.

Глава [XXXIII][a].
Исповедь

Я возымел смелость зарисовать некоторых участников всероссийского распада. Читатель вправе спросить — кто же обличитель? Кто этот носитель звучного псевдонима, — друг Витте, Мещерского, Штюрмера, Протопопова, Мануса, первая скрипка больших русских газет, автор нашумевших пьес, член правлений банков и промышленных обществ, поставщик шведской стали, любовник германской Мата Хари, собеседник Эрцбергера, пацифист, выскользнувший из лап охранки, но не смывший еще с себя подозрений? Кто эта «жертва» клеветы, чье литературное имя, измятое под копытами людского стада, распалось как навоз? Кто дал ему право звать к покаянию, когда каяться в первую голову должен он сам?

Будучи помоложе, я бы на эти вопросы только высунул язык, как карамазовский черт с насморком (в него ведь переродился лермонтовский демон). Иные прекрасные дамы, к ножкам коих я склонялся, зарываясь пальчиками в мои тогда густые кудри, лепетали:

— В вас есть что-то демоническое...

И обрывали, сжимая зубки:

— Черт!

Вот именно! Смолоду во мне засел черт. В благообразном мужском облике жила женская сумятная душа, с петушиным хохлом и павлиньим хвостом, — хохол от поляка-отца, хвост от венгерки-матери. Но задорный папаша, герой двух войн, не передал мне мужества, а воспитанная на немецкий лад мамаша — не передала порядка в жизни. Младший в людной семье, я растил в себе сердце славянского Вертера[642], ум пореформенного Чацкого, а главное, — плоть Карамазова. Вот эту плоть, — мою госпожу и мою рабу, — я протащил за собой (или, вернее — она меня за собой протащила) через всю длинную жизнь. Вот что она, эта карамазовская плоть, проделала с моим папашей.

---

[a] В рукописи глава «Исповедь» не имеет порядкового номера, однако по своему содержанию она соответствует главе XXXIII. В оглавлении воспоминаний И. И. Колышко под номером XXXIII обозначена глава под заглавием «Pro domo sua», текст которой отсутствует в рукописи.

Была венгерская кампания. Лихой улан командовал уланами. Зарылся в Трансильванию. Взял приступом какой-то город. Навстречу с ключами вышел бургомистр. Улан хотел его повесить, но решил сначала попировать.

— Чтобы к вечеру в ратуше был бал и чтобы на нем были все девицы города от 15-ти лет...

Бал был дан, и первым на него явился бургомистр со своей 15-тилетней красавицей дочерью. То была моя мамаша. (Папаша даже среди мужчин слыл уродом). Собрав своих офицеров, лихой улан отдал приказ:

— К этой девице не подходить!

А бургомистру:

— Ваша дочь мне нравится, и я прошу ее руки. Возражений не предвижу... Свадьба послезавтра...

Свадьбу сыграли. Воспитанная в монастыре девушка не смела поднять глаз на жениха. А когда подняла на мужа, упала в обморок. Следующую, после брачной, ночь муж провел уже за игрой в карты и выпивкой. А наутро увел полк к дальнейшим «победам». За женой прислал своего адъютанта лишь через год, по окончании войны... «Семейная жизнь». Беспутный «пан полковник», как спичка вспыхивавший от слова противоречия, поводырь и гордость панов-соседей, хлебосол, добряк, игрок, и трепетавшая от взгляда мужа монастырская воспитанница, экономная, опрятная, бессловесная. Муж кутил, жена рожала. Полтора десятка лет такой «семейной жизни» дали обильный приплод и разорение...

Польское восстание! Улан не восставал. Но, опоясанный саблей, увенчанный Георгиями, встречал, угощал и провожал мятежные банды. Донесли, схватили. Повесить! В ногах у Муравьева мать вымолила пощаду. Ссылка, принудительная продажа имения! С кучей детей и горсточкой денег мать поселилась в Вильне. Меня с братом отдали в кадетский корпус. Возвратившийся из ссылки отец решил, что я, его любимец (меня одного он не сек), должен продолжать семейную уланскую традицию. На последние крохи меня отправили в Николаевское кавалерийское училище — школу гвардейских подпрапорщиков. А через два года я стал уланом его величества. За недостатком средств перешел на гражданскую службу, переменив три министерства, пока не попал в окружение Витте, в роль его пера и кухарки (мольеровской). Занялся, по настоянию кн[язя] Мещерского, литературой[643].

* * *

— Напишите что-нибудь вроде «Исповеди» Руссо, — соблазнял меня приятель, умница и удачник, талант и шило, без тени моей вертеровщины, но с налетом карамазовщины. — Вас оболгали, допустим! Но вам не выкрутиться. Ваши звонкие песни никого уже не обманут и не обольстят. Да и негде их петь. Пора Баяна прошла. Как и пора Витте, Мещерского, всех ваших героев и сподвижников. Никому они больше не нужны. Но талант вы еще сохранили. Удивляюсь, но признаю. Используйте, но не по старым путям! К черту экивоки, клятвы, уверения! Жарьте напрямик, как Руссо! Так, мол, и так: распутничал, брал, крал, предавал! что вы были за сепаратный мир, — не интересно. Но если взяли за то с немцев — занятно! и сколько? С банков брали — сколько и за что? Если пом-

ните — дату и место действия. Развратничали — где, когда, на каком диване?.. Не ужасайтесь! Тема, по нынешним временам, модная, живая! Любовник леди Чаттерлей![644] Сдвиньте «дело» о вас с мертвой точки! Вырвите из пастей, вас грызущих, снедь! Не трудитесь, мол, копаться! Баян перед вами в натуральную величину. И пусть бросит в него первый камень праведник!.. Хе, хе! Вот и посмотрим, кто сей праведник? Милюков, Никитин? А ну-тка, бросайте! Тогда и увидим, как пасти, жующие вас, начнут жевать сих праведников, ибо за амплуа праведника грызться мы не устанем...

Отвечал я ему приблизительно так:

— Во-первых, — то был Руссо и то было время! Тогда эта «Исповедь» ударила и по нервам, и по лицам, а теперь, вы сами говорите, она не удивит и не оскорбит. В лучшем случае — плюнут, в худшем — потрут руки: мы же говорили! Во-вторых, — Руссо писал по-французски и для французов. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Наш чудный, несравненный язык для «грязи» неприспособлен. Одиссея леди Чаттерлей? Но в переводе на русский язык ее пришлось вдвое удлинить, — замазать зияющую эротику. А ведь в ней-то и были вся соль, весь успех. Были и у нас попытки исповеди под Руссо. Разделся почти догола наш несравненный Васенька Розанов. И что ж? Смаковали его сектанты и друзья, а публика выплюнула. И это прежде всего потому, что русский человек в таких случаях появляется в кальсонах, а француз, англичанин — в пижамах. Язык наш не приспособлен к такому дезабилье. Баяну не сладить.

Но есть и третье, кажется, самое существенное. Грех западного человека, почти целиком — во вне. Возьмите ту же леди Чаттерлей! Это уж почище мадам Бовари[645]. Но разве у обеих все это, со всеми почти деталями и точками над i, не внешнее, **исключительно** телесное?! Разве падение Анны Карениной у Толстого, Сони Мармеладовой и Настасьи Филипповны у Достоевского равны падению Бовари и Чаттерлей? Не в том ли и отличье âme slave[a] от души западной, что наши падения заплетены многими нитями с нашими подъемами и, подчас, не отдерешь нашего неба от нашей преисподней?! А на Западе-то и вообще упразднили и небо, и ад, падения и подъемы, и оставили одну уголовщину и альковщину. Легко сказать — исповедь! Попробуйте предложить то корифеям нашей литературы, властителям дум, — нашим Буниным, Куприным и даже Мережковским! Взяток они не брали, с банкирами не путались. Но умом, сердцем, плотью — не грешны разве? «Игра ума», блуд сердца, срывы плоти, разве не сопутствует все это всякому русскому дарованию, и чем оно ярче, тем глубже?! И Толстой, и Достоевский, и Гоголь, и сам Пушкин, — не грешники ли в этом смысле?! Не этот ли коллективный наш, вселенский грех, гораздо раньше нашего взяточничества и «темных дел», привел Россию к распаду?!

Так рассуждал Баян под знаком своего дарования, если оно у него есть, он несет свой грех в своей крови и в каждой поре своего тела: умом играл, сердцем и плотью блудил! Но разве это расскажешь? Попробую лучше порыться в причинах, почему моей персоной занялись — докопаться до источника «дурной славы».

---

[a] Славянская душа (франц.).

* * *

Свои «мемуары» Витте заключил главой: «Кн[язь] Мещерский». «Мемуары» эти писались долго, и многое из них Витте мне читал. Глава последняя была написана после нашей ссоры; а ссора произошла после моей статьи в «Русском слове» — «Два графа» (Витте и Коковцов)[646]. Статью же эту, весьма нелестную для Витте, я написал, получив неопровержимые свидетельства виттовских интриг и двоедушия.

Как я уже упомянул, я был лауреатом временщика, прославляя его «в прозе и в стихах» — в «Большом человеке» и во всех моих публицистических выступлениях. Об этом записал в своих мемуарах Куропаткин, об этом знал весь Петербург. И это было **бескорыстно**. Возле Витте наживали миллионы, — он создал богатство Проппера, Рафаловичей, Давыдова и многих других. Никто не верил, чтобы я не получил с Витте за «Большого человека» крупного куша. А я получил чай с вареньем. И чаем же он угощал меня после всех моих выступлений во славу его.

— Не такой дурак К[олышко], — говорили про меня, — чтобы стараться даром.

Но я был таким дураком, довольствуясь близостью к «большому человеку» и сравнительно скромными местами (за исключением Брянского общества[647]), которые мне дала эта близость. Ни одного «дела» из тех, что обеспечивают на всю жизнь, подобного делам тогдашней аристократии и плутократии, завязывавшимся в гостиной мадам Витте и развязывавшимся в банковских кассах дел, о которых воробьи с крыш кричали (постройки жел[езных] дорог, заводов, покупки и ссуды за счет казны, утверждение уставов, и проч[ее] и проч[ее]), не сделал. В моих денежных делах Витте никакого участия не принимал. Но я гордился ролью, которая выпала на мою долю при Манифесте 17 октября и в короткие месяцы премьерства Витте. Я ценил его доверие и жил памятью об его со мной откровенности, о пережитых нами вместе волнениях, надеждах и моих ему «услугах». Словом, наш платонический союз, продолжавшийся и после окончательного падения Витте (почти 10 лет), был моим светлым сознанием, искупавшим в моей душе многое мутное, о чем речь ниже. Так бывает с людьми, у которых одна «чистая» любовь переживает многие грязные. Мой роман с Витте был относительно чист. И это служило предметом насмешек надо мной. Мне иногда говорили:

— Вы довольствуетесь шипами этого романа, оставив розу в руках других. Неужто вы не видите, что Витте больше повредил вам, чем помог? Ведь после его падения все удары посыпались на вас?

Я это видел и чувствовал. Но, повторяю, цеплялся за «чистую любовь», омывался от Манусов и Мануйлов[ых], в тиши виттовского кабинета, в беседе с поверженным львом, в воспоминаниях, в страхах, в надеждах. В «белый дом» я ездил как в некую Мекку, в общество дряхлевшего льва окунался как в купель. И вот что случилось.

Прямо из этой «купели» я однажды попал на обед к кн[язю] Мещерскому. С ним у Витте отношения были порваны. Правильнее говоря, не с ним, а с гофмейстером Бурдуковым, который был подлинным властителем и дум, и чувств, и достатка одряхлевшего ментора двух царей. В ту пору те, кто искал милостей князя, заискивали не перед ним, а перед Бурдуковым. В наших беседах с Вит-

те имя это произносилось не раз, и негодованию Витте не было пределов. На Бурдукова он наседал с большей яростью, чем когда-то на Безобразова, Плеве, Столыпина. И не было бранного эпитета, который бы он ему не приклеивал. С Бурдуковым у меня были отношения неважные; но, зная слепую привязанность к нему старика, я старался с ним ладить. Встречались мы с ним лишь у Мещерского, за его четверговыми обедами. И сажали нас в конце стола, рядом. Вот каким диалогом мы с ним обменялись в один из четвергов, когда я приехал к Мещерскому прямо от Витте.

— Ну, что поделывает гр[аф] Безносиков? (Так называл Бурдуков Витте).

Я хмуро буркнул:

— Ничего, жив, здоров.

— Не говорил о своих надеждах на Маклакова?

— Каких надеждах? Какого Маклакова?

Гофмейстер играл злой усмешкой:

— Надежды у Витте могут быть лишь на власть. А Маклаков — министр внутренних дел.

— Ничего не понимаю. Какая власть и при чем тут Маклаков?

— Вижу, что гр[аф] Безносиков не удостаивает вас доверия, как других.

— Какого доверия, каких других?

— Друг мой, кто же не знает, что граф мечтает о третьем своем приходе к власти! И что все надежды его на Маклакова. Ну, а так как Маклаков в сфере нашего влияния, то... судите сами![648]

Я обомлел. И, вероятно, это было написано на моем лице. Гофмейстер сочно жевал и поблескивал красивыми глазами.

— Как это говорят, — есть много на свете, Горацио, о чем не снилось мудрецам...

— Шутить изволите.

Гофмейстер проглотил, вытер рот.

— Вот что: вы когда видели Витте?

— Сегодня.

— Ну да, он мне говорил...

— Сочиняете.

Гофмейстер обратился через стол к Мещерскому.

— Князь, он не верит, что я говорил сегодня с Безносиковым...

Мещерский любовно усмехнулся. Гофмейстер уже жевал следующий кусок.

— Безносиков висел у меня на телефоне с полчаса. Едва отвязался от него...

— Врете!

— Хотите доказательств?

— Хочу!

— Князь, он не верит... Ха, ха!

Не помню, как кончился этот обед. Но **доказательства** я получил. Так обманутый муж получает доказательства измены всю жизнь любимой жены. Так получают по темени удар падающего карниза. Я написал статью «Два графа».

А Витте написал обо мне в «мемуарах».

Главу о Мещерском Витте начинает так: «У Мещерского были две жены: К[олышко] и Бурдуков». В этом посмертном уколе Витте нет ничего нового, да, пожалуй, и обидного: он лишь формулировал и пропечатал «глас народа». Лю-

бовником кн[язя] Мещерского считали меня с юных лет, и эта репутация шла за мной по пятам, даже когда я был окружен «женами» и детьми. Мою «карьеру», мой достаток, все, вплоть до моих литературных успехов, приписали этой «близости». По подозрению в ней меня даже хотели удалить из Николаевского училища. Не удалили, но потребовали, чтобы я с Мещерским раззнакомился. На несколько лет я с ним и раззнакомился.

Исповедываться на эту тему трудно. Доказать, что я не верблюд, и здесь, как в «моем деле» с предательством, невозможно. Не 1½, а много десятков лет разделяют меня от эпохи, когда это могло быть. Как и в «моем деле», я вынужден защищаться более логикой, чем фактами, — переставить этот щекотливый вопрос с ребра: было ли это? — на ребро: могло ли это быть?

Но прежде два слова по существу: более ли позорно быть любовником кн[язя] Мещерского, чем, скажем, леди Чаттерлей (собирательной)? Более ли унизительно прильнуть к старику, чем к старухе? Случаи альфонсизма русских молодых людей нередки: эмиграция дает списки представителей нашего бывшего лучшего общества, вытанцовывающих старух. Свою юность и свои титулы они продают модным портнихам, дочерям «свиных» и иных королей. «Глас народа» с этим мирится. Но педерастия, грех содомский!

Не знаю, как у большевиков, но на западе и во всем мире «грех» этот исключен из сферы безнравственности. Педерастия, как и параллельное ему лесбиянство, получили право гражданства. Ведь в самой глубокой древности они шествуют за колесницей Эроса. Им посвящены вдохновеннейшие творения. И самые модные течения современной мысли не чураются, а углубляются в тайну плотского распада, находя в нем нечто близкое к распаду моллюска в раковине, создающему драгоценную жемчужину. Как жемчуг — болезнь этой раковины, так и педерастия с лесбиянством — продукт болезни пола. Такова психология физиологии!

С ней, понятно, можно спорить. Общество **должно** защищать основной закон природы, помогающий размножению. Общество **вынуждено** предпочитать самое уродливое соитие под покровом закона самому прекрасному вне закона. Так было и так будет.

О том, что Мещерский педераст, знала вся Россия, как вся Англия знала, что педераст — гениальный Оскар Уайльд; как вся Германия знала, что педераст — друг Вильгельма, граф Эленбург. Но многие ли у нас знали, что лучшие творения нашего поэта Апухтина, автора поэмы «Месяц в монастыре», вдохновлены были ему не женщиной, а мужчиной? Что мужчиной же вдохновлена дивная музыка Чайковского? Что закоренелым педерастом был царский дядя вел[икий] кн[язь] Сергей Александрович? Что педерастией были сплошь заражены наши Императорское училище правоведения и Имп[ераторский] пажеский корпус, как в Германии был ею заражен весь прусский гвардейский корпус? Знают ли менторы нравов, что в Париже, в Берлине, в Вене, Ницце под охраной властей процветают трущобы, где культивируется однополая любовь? Что любовь эта всюду прогрессирует? Что у парижских шикарных кокоток, кроме любовника, всегда имеется и любовница, что на модном пляже Жуан ле Пен, этим летом еще, прелестницы в майотках шумно протестовали против конкуренции прелестников (хлеб отбивают)?

Все это не отвечает на вопрос — был ли я любовником Мещерского? Если сей никчемный вопрос кого-либо еще интересует, отвечу — нет, не был!! Были поку-

шения (о диване умолчу), разбившиеся о яростный отпор. Я был «мазилкой», и ухаживал за мной не один Мещерский. Но наследственность петуха, homme à femmes[a], готового лоб расквасить за женский взгляд, жизнь вдребезги разметать за обладание женщиной, сказалось во мне чуть ли не с 10 лет. От мужчины меня тошнило. Четыре раза я разметывал свою жизнь из-за любви к женщине и много чаще терял из-за этой любви нить жизни. Нет, любовником Мещерского я быть **не мог**, как не может огонь гореть в воде и вода наполнять кратер пылающего вулкана. В кратере моего женолюбия сгорела моя карьера, мои «дела», мое детство, отрочество и юность. Близость моя к Мещерскому ограничивалась моей духовной жизнью, как литератора, — он открыл и он культивировал во мне талант. И в этом смысле он был мне духовным отцом. Косвенным подтверждением этому может служить тот факт, что не меня, а Бурдукова он сделал своим наследником, и не меня, а его возвел в высший сан. Нужна была вся злостность Витте, чтобы из-за гроба бросить в Баяна такой навет.

Теперь о моей служебной карьере. Я двигался не по иерархической, а по фантастической лестнице, — скачками. Начальную скорость этим скачкам давала «протекция», но дальнейшую развивал я сам. Служа по Министерству внутренних дел, я был послан вместе с Всеволодом Крестовским для статистического описания севера России. На моем докладе по этому предмету министр начертал: «Этот щенок далеко пойдет». Но в ведомстве внутренних дел идти мне было некуда: как католик, я не мог быть назначенным даже вице-губернатором. Я перешел в ведомство путейское. Глава его Гюббенет ласково сказал мне:

— Очень рад. Рекомендация солидная. Но мое ведомство техническое и максимум карьеры для не техника — стать директором от правительства на одной из частных дорог. Но это в лучшем случае после 20 лет службы.

А я занял этот пост через 2 года, после одной удачной ревизии. Потом меня сделали членом управления казенных жел[езных] дорог, где восседали одни инженеры. Лицом в грязь я и тут не ударил — не боги лепят горшки. Но господа инженеры на меня обозлились, и репутация «ставленника» кн[язя] Мещерского ко мне плотно пристала. Меня пригласил в свое ведомство Витте — я сопутствовал восходу его звезды, и мы друг другу симпатизировали. К тому же соблазняло покупаться в лучах его славы. Я не был его официальным секретарем, а — лицом доверительным — рупором и пером. И работал я для него верой и правдой. После своей второй отставки Витте изрек:

— Если бы не ваши женщины, вы были бы ближайшим ко мне министром...

Но мешали мне сделать официальную карьеру не одни женщины: поперек ее стояли мои «дела» и мое писательство. В делах я был неловок и жаден, в журналистике — бестактен (раб кончика пера). Моя исповедь была бы пикантнее, если бы я мог рассказать о каком-либо особо «сомнительном» моем деле, о какой-либо «купленной» статье Баяна. Не упомню. Таковых, кажись, не было, если не считать сомнительным мое проникновение в директора Брянских заводов. Но ведь в каждом деле есть аромат сомнительности, и журналист-делец всегда под подозрением подкупности. За «деловитость» вешали собак на Некрасова, Панаева[649], а в мои дни на Суворина и даже на Милюкова (банковские субсидии)...

[a] Дамского угодника (франц.).

Эпоха моего «делячества» началась с начала XX-го века, и в дела меня окунул не Мещерский, а Манус. Однажды, за отсутствием Мещерского, я редактировал его «Гражданин». В нем стали появляться обличительные против банкиров статьи. Мне телефонировали, что статьи шантажные. Я их выбросил. Явился автор их, Манус, и дал мне доказательства справедливости его разоблачений. Чрезвычайно напористый, хамоватый, но умница, Манус распространился о моих талантах и поклялся, что их лучше оценят дельцы, чем писатели. Я распустил хвост. Наутро Манус явился ко мне с председателем Брянского общества инж[енером] Горяиновым. Общество это было накануне банкротства, и для спасения его нужна была казенная ссуда. Если бы мне удалось у Витте ее выхлопотать, на выбор мне предлагали либо 250 тыс[яч] комиссии, либо кресло директора правления с 40 тыс[ячами] р[ублей] оклада. Я выбрал последнее. Без всякой надежды на успех, я побрел к Витте. И попал в момент, когда Витте грозила первая отставка. Витте выслушал меня, сверкнул очами и глухо вымолвил:

— Если я останусь министром, я не буду противиться ссуде.

Я разинул рот.

— Как так «если»?

— Дни мои сочтены. Моя отставка на столе у государя. Неужто Мещерский об этом не знает?

Мещерский не знал: интрига Плеве и Безобразова велась тонко. Старик взбесился и накатал царю длиннейшее письмо. Содержания его не знаю. Но результатом его было, что отставку заменил благодарственный рескрипт. Витте сиял.

— Ну, я дал ход делу о ссуде Брянскому обществу. Но этим роль моя кончается. Все в руках Лобко, государственного контролера. Есть у вас к нему ход?

— Нет.

— Лобко живет с «Тигренком», сестрой Веретенникова. Заинтересуйте брата и сестру!

Заинтересовать «Тигренка» с братом взялись Манус с Горяиновым. Заинтересовали так, что на заседании по делу Брянского общества Лобко потребовал, чтобы ссуду этому обществу дали не 5 милл[ионов], как они просили, а целых девять...

Я стал директором правления самого модного в ту пору металлургического общества — российского Креза. Директорствовал я не так уж плохо и взяток не брал. Мануса, соблазнявшего меня править делами общества сам-друг с ним, я спустил с лестницы. Но когда Витте пал, спустили с лестницы и меня. Внезапно лишившись 40-тысячного оклада, я запнулся. Чтобы очухаться, поехал по следам Витте за границу. Витте ничем не мог мне помочь. Помогла моя подруга, Наташа. Вычитав из газет, что на осень назначен конкурс пьес на премию Островского, она засадила меня за стол:

— Пиши.

Так явилась на свет моя первая пьеса «Дельцы». Я послал ее на конкурс и получил первую премию. Пьесу схватил Южин (Сумбатов), и она с успехом прошла на императорских сценах Петербурга и Москвы. Брешь, пробитая катастрофой с Брянским обществом, была отчасти заткнута. Но директорство и связанные с ним «онеры» меня отравили. Я затосковал. Надо было что-нибудь выкинуть. И я выкинул «Большого человека». Пьеса эта открыла мне не только двери «Нов[ого] вр[емени]» и «Русск[ого] слова», но и двери банкиров и бир-

жевиков, покинувших меня после падения Витте. Первым повернулся ко мне лицом Манус. Он уже был в больших миллионах и подравнивался с банкирами. Манус мне указал на биржу. Биржевой азарт в ту пору (Столыпина) был в полном разгаре. «Enrichessez vous» гремело над всем и всеми. Политику глушили экономикой. Как грибы возникали новые общества и акции. Петербург был наводнен дельцами. Ракетами взлетали «Золотопромышленные», «Ленские», «Бакинские», «Нобель». Я специализировался на нефти. Благодаря подсказам Мануса я преуспевал. (Паи Нобеля я покупал по 6 тысяч, а продавал по 13-ти). Триумф драматурга слился с триумфом биржевика. А из мути этого двойного триумфа выплыл Баян.

При всей моей готовности каяться я не нахожу еще пока достаточных оснований для своего осуждения: быть шишкой в министерствах, наперсником Витте, директором Брянских заводов и даже биржевиком, при тогдашних нравах, не так уж было зазорно. Сотни людей не только высшего общества, но и ученых, политиков и даже писателей, делали то же, или почти то же. Ни Витте, ни Мещерский в эту пору моей жизни помощи мне не оказывали и влияния на меня не имели: я катился по инерции. И по инерции стал видным публицистом. Вот откуда, по-моему, начинается моя ответственность. Вот какой «исповеди» вправе от меня требовать читатель.

Дело не в моем удельном весе и даже не в моих убеждениях. Был ли Баян талантлив, был он реакционером или прогрессистом — не важно. Важно — был ли он неподкупен и искренен? Ибо Баяну отвели трибуну перед миллионной аудиторией. И дали право вразумлять и осуждать, — будить общественную совесть. Несомненно — пост. И если, восходя до министерского поста, этика, да и закон, обязывают занимающего его порвать с лицами, учреждениями и деятельностью, обеспечивавшими личное благо носителя его, стряхнуть с плеч покровы обывательщины, омыться от эгоизма во всех его формах, — то пост руководителя общественного мнения обязывает к этому сугубо. Теперь мне это ясно. Тогда же, в мути успеха, только маячило. И напрашивались аналогии. У людей с именами более громкими, с ответственностью более подчеркнутой, — разве все в порядке? Вот вождь октябризма! Помешало ли это ему пойти в подручные к банкиру, принять из рук его хлебные места, стать вдохновителем газеты «Чего изволите»? А вождь кадетизма! Он ли не муштровал общественную совесть? А газету свою основал на деньги недобросовестного подрядчика, разновидности Мануса. Мало ли еще чем умащивал свою совесть Баян, одной рукой выливая бальзам своего «дарования», другой — подсчитывая барыши и «гонорары». То не были библейские сребреники — Баян никого не предавал, но Баян продал свое право и обязанность быть убогим, быть грозой, а не другом Манусов, быть Савонаролой, а не прихвостнем режима, несшего распад.

Мещерский, Витте, Манус — все это бугры, за которые цеплялась сплетня. По буграм карабкались и Наполеоны, Гамбетты, Брианы, Муссолини! В сравнении с ними что такое Баян? Прошлое тех, кто добрался до командных высот, всегда ища толпы. И клевета всегда в нем заплетена с правдой. Я бы не исповедовался, если бы дело шло об одной клевете. К сожалению, дело идет о правде.

Правда в том, что Баян, на новом посту своем, не оторвался от бугров, по которым карабкался, не порвал с миром, в котором первенствующую роль играли личные интересы. Баян не шантажировал, но он знал, что банкиры и биржевики

с ним кулантны постольку, поскольку он персона грата в «Русск[ом] слове», в «Нов[ом] вр[емени]», в «Биржевке». Очевидно, я не один шел по этому пути. У меня были «коллеги», не отстававшие, а даже опередившие меня в бешеной скачке к деньгам. Деловому и газетному Петербургу той эпохи много говорили имена Бориса Суворина, «Люльки» Гольдштейна, Юрки Беляева, Руманова, Горелова, Стембы, Ваньки Мануйлова и друг[их]. Вся эта рать «талантов» и «поклонников», удачников и неудачников, опираясь на «бугры» своих влияний, шествовала к наживе. Рвали и терзали тело России. Шантаж и «игра ума» здесь заплелись в узлы, которых по днесь не распутали. Баян шел вровень с ними. Впору от Столыпина, через Распутина, к Штюрмеру и Протопопову, когда люди с именами и талантами, как пылинки в солнечном луче, бешено кружились, как мошкара к электрическому фонарю, липли к источникам власти и наживы, Баян был среди них.

Я уличал Проппера, ходившего «ку Плеве и ку Витте». Но я сам ходил ку Манусу и ку Мануйлову; мой прибор стоял за столом у Люльки Гольдштейна, я пировал и с Гореловым и Азрой, я ластился к Протопопову. Без доклада я входил в банковские кабинеты. Без протекции получал платные места. Мне не надо было шантажировать, — все шли ко мне навстречу, давали добрые советы, доли в делах, угощали, ласкали. Сколько шампанского было выпито в «Аквариуме» с Манусом, сколько ужинов съедено с Гореловым, Азрой, Мануйловым! Помню возню с основанием «банковской газеты» («Русской воли») Протопопова. Тогда еще он был в ореоле тов[арища] председателя Гос[ударственной] думы. Баян и Протопопов восседали в центре работавших на них «друзей». И только стены укромных кабинетов Кюба и Контана знают, о чем беседовали эти два представителя общественной совести. А наутро Протопопов рисовался в Гос[ударственной] думе, а Баян — на страницах «Русского слова».

Большинство из моих тогдашних «друзей» теперь так или иначе заклеймены: столп «Нов[ого] вр[емени]», кудесники «Русского сл[ова]», «Биржевки», творцы «Русской воли», банковские и биржевые акулы. Но, право же, житейски все это были умницы, миляги, хлебосолы, обязательные и совсем не скучные люди. Манус был хамоват. Но он был полон юмора, сверкал наблюдательностью, готовностью услужить, посмеяться. Проппер называл своего редактора Горелова — «каторжником». Но из «каторжника» брызгало талантом, остроумием, тягой к дарованию. Горелов был собирателем и знатоком живописи, а хлебосольству его не было предела. Таким же острословом, эпикуром, готовым к услугам живчиком, горевшим любострастьем и радостью бытия был наперсник Сытина, фактотум «Русск[ого] слова» — Руманов, скупавший для своего патрона плохо лежавшие издания. А Борис Суворин, Люлька Гольдштейн — два столпа «Вечернего времени»[650], — да ведь это было наслаждение обменяться с ними острым замечанием, посудачить, выпить. Даже кадеты признали Протопопова «шармером». Даже Катоны находили «шантажиста» Ваньку Мануйлова — милейшим и обязательным малым. Да и с Штюрмером было наслаждение беседовать — он был знаток искусства и дворцовых традиций. Весь круг людей, к которым меня тянуло, был по-своему обаятелен, и тянуло меня к ним не только сребролюбие, но и жизнелюбие. Помню вечера у Мануйлова, с Юркой Беляевым, нововременцами, сотрудниками «Биржевки», Распутиным. Изящная квартирка, вся обставленная редкой мебелью и фарфором (у него была лучшая в России коллекция старорус-

ского фарфора), изящная умница жена, тонкий, прекрасно сервированный ужин. Даже Распутин держал себя здесь прилично. Кому же приходило в голову, что «Ванька» кончит свою карьеру шантажом и тюрьмой? В те предреволюционные годы в особняке Кшесинской, в хоромах Мануса, среди фарфора Ваньки Мануйлова, в укромном кабинете старика Суворина, в берлоге Распутина, в пышных залах у «Митьки» Рубинштейна, — в годы эти творилась не то мистерия, не то фарс императорской России, и было вавилонское смятение сословий, рангов, культур и дарований. Была сплошная авантюра. Не то отчаянием, не то торжеством звенела лебединая песнь режима. Подтягивал ее и Баян. Его сумятную, женски безвольную, почти истеричную душу тянули блеск, смех и ласка. Баяна побаивались, его баловали. Баловали не только потому, что боялись, но еще и потому, что чувствовали его незлобивость. Во многом грешен; но злостности, как душевной черты, не имел, да и сейчас не имею.

* * *

Я был не только генералом по Табели о рангах, но и генералом от журналистики. В разных газетах я зарабатывал более 5 тысяч руб[лей] в месяц. Загребал деньги на бирже. Но этого было мне мало, — я взял от Путилова и Вышнеградского подряд на поставку для военных надобностей, шведской стали. Ничего предосудительного, с коммерческой точки зрения, здесь не было. Но...

Одновременно с телеграммами в Азиатский и Международный банки о высылке денег за сталь шли в Москву пылкие статьи Баяна о гнете земных благ, о патриотизме, о таинственной силе пролитой крови, о «Каине» (Вильгельме), о «Карлике» — Швеции, о «мусорщиках», сеятелях русской смуты и прочих высоких материях. Темы были так высокопробны, что даже охранник, допрашивавший меня в Петропавловке, сознался, что его прошибала слеза, — оговорившись, впрочем, что талантом прошибать слезы и «заметать следы» обладали все известные ему шпионы и предатели. Из последующей главы читатель усмотрит, насколько верно проник в душу Баяна охранник. Но что хвативший по нем удар судьбы был, до известной степени, заслужен, в этом я могу сознаться теперь же.

Немецких денег мне не нужно было, — в банках Азиатском и Сибирском большевики захватили моих бумаг на сумму в 2 миллиона швейцарских франков, по курсу тех дней. (Я исчисляю их в швейцарской валюте потому, что мои счета в русских банках я перевел на счет одного швейцарского банка, имевшего отделение в Стокгольме — документы у меня). Состояние это было нажито мной **до** революции 1917 г., что доказано следствием. Кроме этих денег, у меня было в сказанном отделении швейцарского банка в Стокгольме более 100 тыс[яч] шведских крон, которые в 1921 г. я перевел в Берлин. Эти деньги я скушал и потерял в «делах» в эмиграции. Привожу эти цифры лишь для того, чтобы было ясно, за какую сумму Баян продал свое первородство — не немцам, а своим инстинктам, своей сумятности и раздвоенности.

Я воевал с «всероссийским двойником» (Витте, Суворин, Гучков). Но типичным двойником был я сам. Пера своего я не продавал, но душу, боюсь, продал. На словах я был искренен. А на деле лукав. Слово свое я зачеркивал делом. Я был из тех врачей, кто, врачуя других, всю жизнь собирался и так и не собрался

уврачевать себя. Я был из тех зряче-слепых, кто из-за сучков не видел бревен, из-за деревьев лесу. Ничего криминального за свою жизнь я не совершил; но многие мои дела были, как говорят, на границе криминала. Не было преступным жаждать мира и беседовать по этому поводу с германским пацифистом. Но, очевидно, было бы корректнее и законнее приобщить к этим беседам людей ответственных и не путать в эти дела импульсивных немок. Не было преступлением идти в хвосте Мануса и Рубинштейна; но для Баяна было бы морально опрятнее их обличать и разоблачать. Не зазорно было ставить для военных надобностей сталь; но эту заботу красивее было бы уступить маклеру Азиатского банка или агенту Международного. И т[ак] д[алее]. Утомлять читателя моими бестактностями (если «Бог бестактности» — Милюков, то я его пророк), некорректностями и неэстетичностями не буду. Виновен! Но, кажется, заслуживаю снисхождения. Не теряю надежды его заслужить. И с этой целью окунусь в волны жизни, где Баян обрел свою славу и свой позор.

Глава XXXIV.
«Мое дело»

Читатели, наверное, не забыли трилогию Сухово-Кобылина: «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». В них описан дореформенный быт, дореформенный суд, а главное — дореформенное жулье. Быт умер, но герои Сухово-Кобылина, вместе с героями Гоголя, перевалив за рубеж реформ, вкрапились в министерства, банки и во все учреждения строя, что своим оглушительным распадом при Керенском, Милюкове, Гучкове очистил поле для Лениных, Троцких и Дзержинских. Дореформенное жулье, став пореформенным, не потеряло своей типичности: те же Кречинские, те же Расплюевы, тот же подмен бриллиантов стразами, та же дьявольская провокация, то же шулерство. Гнилые акции на бирже, фальшивые идеи в политике и этике! Особенно повезло Кречинским и Расплюевым в дни Временного правительства. В те 25 дней, когда все бриллианты русской истории были обменены на стразы «Великой свободы». Тогда Кречинские облеклись в тон законодателей, полководцев, эмиссаров и [...][a], а Расплюевы заползли во все щели неистово стучавшей государственной жизни, пугая, лаская, заманивая и продавая, сочиняя вурдалаков, сея панику, пыжась и лопаясь как пузыри, пока их не раздавил сапог Ленина.

«Дело» мое началось в пору, когда из рук сифилитика Протопопова власть попала в руку неврастеника Керенского, а в ассистентах к эсеру попал кадет и октябрист, — тот самый Милюков, что вчера еще прозывал себя «оппозицией его величества», и тот самый Гучков, что вчера еще расписывался под столыпинскими полевыми судами и лакействовал у временщика. Рак, щука и лебедь — октябризм, кадетизм и социализм — вот во что вылилась освободительная мысль Герцена и Огарева. За рубеж царизма, навстречу большевизму, шествовали под ручку Кречинские и Расплюевы. Они уже нежились в царских постелях и лакомились царскими винами, как навстречу им лихо вылетела другая тройка: в корню «левый осел», в пристяжках — «кавказские обезьяны» (Чхеидзе, Нахамкес, Эрлих). И стали эти две тройки дико метаться, сшибаясь, гикая, все опрокидывая и ломая. Тройка Керенского орала: «Война!» Тройка Чхеидзе — «Мир!». Кречинские монархии, Кречинские республики! Расплюевы буржуазии, Расплюевы

[a] Далее одно слово не разобрано.

пролетариата! Стрижено — брито! Но оба Кречинские и все Расплюевы лгали, сыпали стразами, душили, рвали. Пока не сошлись на компромиссе: принести в жертву богу войны и богу свободы — воина и штатского. Первым оказался Корнилов, вторым — автор этих строк... Ни в какой мере я не ставлю себя вровень с героем войны; но, хоть и человек маленький, для революционных Кречинских я имел свою цену — я был видным деятелем старого режима и небездарным журналистом. А главное — заклятым политическим врагом Милюкова и Гучкова. Кречинские приказали Расплюевым состряпать «мое дело». И его состряпали.

* * *

Я приехал в Петербург из Стокгольма, где был занят поставкой для наших заводов стали для военных целей. В Стокгольме меня близко знало русское посольство и вся русская колония. В Стокгольме я провел большую часть великой войны, приезжая и уезжая, как дипломатический курьер. Никаких столкновений ни с русской, ни с союзными охранками за это время у меня не было. Ни малейшего намека на то, что меня в чем-то подозревали, и ни малейшего опасения возвратиться в Россию. Но в Стокгольме у меня был близкий человек — германско-подданная (о ней я писал в главах «Великая война» и «Стокгольм»), и этот вот факт и послужил Расплюевым основанием «моего дела».

Приехал я в Петроград в разгар уличных демонстраций против Милюкова и Гучкова и с удовольствием сообщил о них моей подруге, знавшей о моих «симпатиях» к этим деятелям. Занялся делами. Собирался обратно в Стокгольм. А в мае был арестован и засажен в Трубецкой бастион Петропавловки, между Штюрмером, Протопоповым и Сухомлиновым.

«Мое дело» характерно не только тем, что Кречинские и Расплюевы позволили себе учинить надо мной насилие, но еще и тем, что они начхали на институт судебного ведомства, — единственный, сохранивший еще в те дни знамя права и законности. Не вся старая администрация переродилась в Кречинских и Расплюевых, — в рядах ее остались еще люди независимые и честные. На бешеный наскок охранки они ответили хладнокровной проверкой «улик». И, убедившись в их мифичности, разобравшись, что ни фактически, ни логически я не мог совершить того, что мне приписывали, меня освободили. Расплюевы не успокоились: потребовали либо вновь меня засадить, либо, вместе со мной, освободить всех уличенных в сношениях с германцами большевиков (Троцкого, Фюрстенберга и друг[их])[651]. Министр Зарудный (трудовик) выбрал первое, и меня вновь засадили. Но еще через месяц, когда привитый мне тюрьмой туберкулез разыгрался, а все вымыслы Расплюевых рухнули, меня вновь выпустили, и дело мое направили к прекращению. Такова схема «моего дела». Она подтверждена письмами ко мне бывшего председателя Петроградского окружного суда г[осподина] Рейнбота, лично мне ни в Петрограде, ни за границей незнакомого. (Эти письма я привожу ниже.) Подтверждает ее и напечатанная мною тотчас по моем освобождении, т[о] е[сть] в 1917 г., под наблюдением и контролем судебного следователя по особо важным делам, производившего обо мне дознание, брошюра под заглавием «Мое дело». Ибо в брошюре этой собран весь следственный материал, и на нее в свое время, от Кречинских и Расплюевых, возражений не последовало.

* * *

«Мое дело» было репетицией тех большевистских «дел», над которыми эмиграция уже 15 лет не перестает лить слезы. Был Крыленко, были «следователи», «свидетели», был застенок, и была требующая смерти толпа. Глухой ночью арест, вонючая тюрьма, истязание и устрашение, попытки вынудить «сознание» и проч[ее]. Не было только пробковых камер и иголок под ногти. Напрягая все силы своего скудного воображения, Расплюев из охранки вербовал «очевидцев», осведомлял печать, раздавал роли. А Кречинские из Совета министров сыпали стразами в Гос[ударственной] думе. Лоскутки превращались в грозные германские документы, машины — в миллионы, проклятия сепаратному миру — в огненный призыв его, жалобы на безденежье — в швыряние немецкими миллионами и т[ак] д[алее]. Все, что в ту пору готовило путь Ленину, обрушилось на вредителя «войны до победного конца». На улицах и площадях агенты Германии раздавали забастовавшим солдатам сторублевки, Гучков разрушал фронт, Ленин хрипел — «грабь награбленное», правительство Чхеидзе оповестило мир о прекращении империалистической войны, а правительство Керенского требовало проливов. И... казни Баяна. «Распни его», гремел хор Кречинских и Расплюевых. Но Пилат XX-го века оказался упорнее Пилата века I-го, — полуживого, обрызганного пеной бешенства и грязью клеветы Баяна все же выпустили.

Под пулями большевиков он проскользнул на чужбину. Зализывает раны, приспособляется. Но микробы Петропавловки и «Крестов» живучи. Хоть и в благодатном климате, организм сдает. Баян на краю смерти. О болезни его и нужде осведомляет европейская и американская печать. Находятся добрые люди, у которых в ушах еще не заглохли «песни звонкие Баяна». Помогают. Баян чудом выживает. Но у проскользнувших на чужбину Кречинских и Расплюевых уже готов план его прикончить. Он уже не опасен. Но соблазнительная безнаказанность. И не улеглась злобная месть. Жив еще Курилка, но живы и Расплюевы с Кречинскими. Нет застенка Петропавловки, но есть застенок «читаемой газеты». И есть жаждущее сенсации зарубежное «общественное мнение».

То, что 15 лет тому назад фабриковалось в трущобах охранки, теперь фабрикуется в редакции «распространенной газеты». Вся гниль, ерунда на постном масле, что была 15 лет назад выброшена в помойку, в редакции «распространенной» газеты вылавливается, сортируется, укладывается в фельетоны. Зловоние, миазмы. Но Расплюев, засучив рукава, препарирует. Еле живой, на собранные гроши, Баян приползает в «столицу мира». К Кречинскому его не пускают. Кречинского охраняет мускулистый Расплюев. Наконец — свидание. Диалог.

— Вы напечатали клевету, — молвил Баян.

— Докажите, — обрезывает Кречинский.

— Вот письма председателя суда! вот печатный сборник следственного производства!

— Рейнбот? Пхе!.. А в брошюре мало ли что могли вы напечатать.

— Вы берете на себя функции суда. Кто вам дал на это право?

— Я редактирую газету.

— Делая из нее сыскное отделение.

— Милостивый государь...
— Вы же знаете, не можете не знать, ибо вы тогда еще путались в складках власти, что мое дело схоронено.
— Рано схоронено.
— Схоронил его компетентный орган вашей же власти.
— Я тогда не принадлежал к правительству.
— Поэтому теперь вы считаете себя вправе его опорочивать.
— Мало ли тогда делали чепухи!
— Вы допускаете, что суд мог освободить заведомо виновного?
— Освобождали же большевиков.
— Не суд, а толпа...
— Сведения о вас мне дало компетентное лицо.
— Вы считаете аматера охранника компетентнее старого судьи?
Кречинский выпячивает грудь.
— Я историк... Обязан печатать исторический материал.
— Разве историю черпают из помойки?
— Жалуйтесь в суд.
— Не имею средств.
— Очень жалеем...
— Напечатайте хоть письма Рейнбота!
— Он частное лицо.
— Напечатайте, что я привлекаю вашего осведомителя к третейскому суду.
— Не напечатаю.
— Это же насилие... Вы... вы...
— Наш разговор кончен...[652]
Расплюев ласково подталкивает Баяна к дверям. Кречинский отступает вглубь берлоги.
— Вы... Вы...
Дверь захлопывается.
Таков заключительный аккорд карьеры Баяна. В «распространенной газете» появляется еще одна порция расплюевской снеди — последние куски выловленной из помойки гнили. И все! Над долгой жизнью Баяна, над его задором, звонкими песнями, светлыми надеждами и мрачными отчаянием — могильная плита, вдавленная в насыпь из клеветы и мести. Плита эта — точное подражание большевистским, но водружена она в среде эмигрантской, в «столице мира».

Из брошюры «Мое дело». 1917 г.

Допрос

— К допросу!..
Конвой, коридоры, тяжелые двери под замками, промозглый воздух, канцелярия, комната следователей...
За столом — южного типа округленный брюнет, в форме.
— Садитесь!.. Курите!..
Голос вкрадчивый, движения мягкие...

Сдается, я век не видал людей: брюнет производит на меня прекрасное впечатление. Захваченное спазмой сердце разжимается: впервые, со дня ареста, в него проникает что-то мягкое, примиряющее.

Сажусь, оглядываюсь... За спиной следователя — зеркало, и в нем я вижу человека в сером, с землистым, изможденным лицом, всклокоченного, без галстука... кто же это еще в комнате!.. Оглядываюсь. Никого!.. Господи!.. Неужто это я?.. Я?..

Но обстановка этой комнаты, окно, в которое видны деревья, а главное, человек с воли, который приехал выяснить роковое недоразумение...

Все это меня успокаивает.

— Я — помощник начальника контрразведки... Лебедев... Вас будет еще допрашивать судебный следователь. Имеете право не отвечать на мои вопросы...

— Нет, отчего же!.. На все отвечу... Все расскажу... Так приятно поговорить, посидеть... В человеческой обстановке... пожалуйста! Допрашивайте! Как можно дольше!..

Ответом мне был сверкнувший взгляд и странная гримаса какого-то гуттаперчевого рта.

— Ну-с. Итак, начнем!.. Будьте любезны сказать — зачем вы приехали в Россию?

— Т[о] е[сть], вы хотите спросить — почему я так долго не приезжал!?..

— Я спрашиваю — зачем вы приехали!

Начался допрос.

Из него я впервые узрел пропасть, к краю коей меня подвели. В состоянии физического и морального отупения, в нависшем надо мной тумане, я еще не мог разглядеть очертаний этой пропасти. Преобладал, вообще, инстинкт самосохранения. Чувствовалась занесенная секира, петля на шее, — мускулы души и тела инстинктивно сокращались и инстинктивно разжимались. Думалось не о причинах, а о последствиях. Мозг работал, как пущенный полным ходом, но поврежденный в самых недрах своих, мотор, — работал со сбоями и скачками. Горячечная работа эта была направлена на одно — какую западню мне готовят и как из нее выскользнуть? Если бы стены моей темницы покрылись слоями моих тогдашних мыслей, они были бы пестры от зигзагов и иероглифов. Психиатры по ним, вероятно, установили бы манию преследования. В бесконечные дни и еще более бесконечные ночи после этого первого допроса контрразведки я видел рассылаемых во все страны света агентов, для уличения меня, слышал даваемые им поручения, видел сфабрикованный ими документ. Вся моя жизнь, с плоскости этого допроса, являлась, несомненно, преступной. И воспаленные глаза мои смежала покорная решимость — умереть, унеся с собой мою правду...

Убеждение, что против меня организован поход и что меня решили непременно сгубить, сложилось у меня с первых же вопросов брюнета. Небольшого роста, гладкий, смуглый, с горбатым, восточным носом и гуттаперчевой улыбкой, то открывающей, то закрывающей хищные, желтые зубы, — улыбкой, в которой не принимали участия остальные мускулы лица, — он похож был на кота, то собиравшегося, то распускавшегося над мышью. Он убаюкивал, чтобы больнее сжать, ранить.

— И когда подумаешь, что такие люди, как вы, продаются немцам... — мурлыкал кот охранки.

— Если вы меня читали, вы должны знать мой взгляд на немцев. Я его высказывал с самого начала войны... И даже раньше... Я первый предсказал немецкую опасность... В письмах из Берлина, в дни вильгельмовского юбилея...

— Читал-с... Читал. Я вообще ваш поклонник!.. Но я кое-что вынес из моей практики!.. Самые опасные шпионы прикрываются немцефобией... Это установлено.

— Вы это всерьез?..

Кот сверкнул глазами.

— А вы как думаете?

Сжимаю зубы, сдерживаю бешеные скачки сердца.

— Ну хорошо! Чем же, по-вашему, я мог быть полезен немцам? Я ведь активно не служу, беспартиен, связей не имею! Мое единственное оружие — перо. И его я целиком направил против нашего врага!

— Услуги многогранны. Вы, вот, были в отличных отношениях с нашим посланником в Швеции, с миссией. За это тоже платят.

— Сколько же, по-вашему, немцы за эту услугу могли мне заплатить?

— Не знаю.

— А вам известны мои средства, мой трудовой заработок?

— Нет.

— Узнайте! И увидите, что дешевле миллиона продать себя я не мог...

— Возможно.

— Миллион — за сплетни из миссии? Вы шутите, г[осподин] контрразведчик?..

Но он не шутил. Закусив свои резиновые губы, он вынимал из своего набитого портфеля документ за документом и бил ими меня, как обухом по голове. После каждого удара, который я отпарировал, он, без смущения и без извинения, переходил к другому. Порой мне казалось, что это все — водевиль: что передо мной не палач, а просто шут гороховый!

Когда кот поднялся, с лица его упала маска кошачьей мягкости: оно было теперь откровенно хищным.

— Когда же это кончится?.. — машинально спрашиваю.

Уже без всякой деликатности, как палач, ухватившийся за веревку, он шипит:

— Когда вы перестанете запираться!..

Между вооруженным конвоем, едва передвигая ноги, плетусь по бесконечным коридорам застенка, машинально читая номера над дверями, за которыми бьются такие же жалкие, как я, люди-мыши.

Один

Из-за крепостных валов, с какого-то близкого далека, словно из-за безбрежных степей и бездонных лесов, несся гул. Торжествующий, победный! До того торжествующий, до того победный, что победил даже отремонтированные Керенским толстые стены романовской Бастилии.

Сквозь эти стены врывается, словно гул пчельника, — то замирает, то усиливается, как бы злясь на препятствия.

Тянусь на цыпочки, подставляю ухо... Соображаю.

На Троицкой площади должен быть митинг.

Заржавленное колесо в душе радостно вздрагивает.

«Свободная мысль, свободное слово!.. Значит, я не один!.. Значит, есть еще правда, есть свобода на Руси!..»

Но чу!.. Треск!.. Как будто кто-то швыряет горохом о стены крепости...

Еще и еще!..

Стучу в дверь.

— Чего вам?

— Лекарства...

— Какого?

— Все равно!..

Окошечко нехотя открывают. Пока капают в стаканчик, спрашиваю:

— Голубчик, что там?

— Где?..

— На улице...

— А что?..

— Стреляют...

Недружелюбный исподлобья взгляд.

— Молодежь балует!..

Окошечко захлопывают. Но треск усиливается. Как будто рвут коленкор...

Слушаю, жду!..

Грохот замка.

О, этот грохот!.. Словно в душу лезет тюремный ключ. Сколько раз на дню я его слышу!.. И каждый раз трепещут все мускулы, все нервные центры!.. Не забыть его, как не забыть фальшиво-ехидной, кощунственно-жестокой игры петропавловских курантов!..

Стук прикладов, властный, грубый голос:

— На прогулку!..

Десять минут воздуха, десять минут света!..

Ради этих десяти минут живешь сутки. Об них мечтаешь, им улыбаешься, как ни одному свиданию с прекрасной женщиной!..

Воздух!.. Солнце!..

Их надо потерять, чтобы оценить!.. Неужто люди, свободно пользующиеся воздухом и солнцем, могут считать себя несчастными?.. Неужто ж тот, кто может день и ночь глядеть в голубую чашу неба, с перламутровыми орнаментами облаков, со звездами, кто может лежать в высокой пахучей траве, под сенью млеющих ветвей, — неужто они не испытывают безумного счастья?! Не задыхаются, не захлебываются им?! И не поют псалмов всеблагому Творцу?!

Залпы. Совсем близко... Один, другой... третий!..

Из глубины райского дня, из-за могучей реки, из-за сияющего ослепительного шпица, то срывается с цепи, то стелется по земле дикий зверь...

— Что это?

— Прогулка кончена!..

— Что там?..

— Ваш Ленин гуляет!..

Они считают меня за ленинца. А ленинцы — за буржуя... Зверь бунтует там, где ярко, свободно, ароматно; а я покорно плетусь туда, где темно, смрадно и тес-

но. Ползу и горько усмехаюсь!.. И падаю на железный переплет плахи... И дрожу от грохота замка... И вслушиваюсь в рев зверя на свободе...

Один!.. Один!..

Кто они?

При аресте мне предъявили обвинение в агитации за сепаратный мир. Но на допросах о моей агитации речи не было: спрашивали о моих письмах и телеграммах, о моих заграничных и здешних знакомых, о моей альковной жизни. Помню, на первом допросе, увидев, наконец, «документ», который я считал потерянным, я радостно встрепенулся:

— Нашли?.. Слава Тебе, Господи!..

И от радости даже рассмеялся.

Но игравший с мышью кот хитро ухмыльнулся:

— Чему вы радуетесь?

— Как чему?.. Раз нашли «документ», обвинение падает. Ведь вы же видите, что тут говорится о мире общем!..

Кот ласково мурлыкал:

— Слабые признаки...

Разве может быть мир сепаратный с признаками общего?..

— Оставим это!.. Обвинение против вас значительно расширено. Оно на границе шпионажа. Во всяком случае, вы информировали врага...

Таким образом, обвинение, на основании коего я был арестован, было отброшено; или, по меньшей мере, затенено. С первых же шагов следствие сдвинулось с заданной темы на другую, произвольную, не упомянутую в предъявленном мне обвинении.

— Г[осподин] К[олышко], вы — талантливый писатель. Но и я не дурак... Будем говорить, как два умных человека... Ведь это же ясно. Совпадение вашей телеграммы с падением Милюкова — это удар обухом по вас. Для чего вы это делали — не знаю пока. Но, несомненно, вы информировали. Вы радовались падению ненавистных немцам людей...

— Ненавистных?.. По моим сведениям, и Милюков, и Гучков вовсе не так ненавистны немцам, как они сами о том кричат. Напротив, инициатором развала нашей армии немцы считают не Ленина, а Гучкова. А милюковский империализм, милюковское немцефобство? У осведомленных в немецких делах людей они вызывают загадочную улыбку... какая-то страшная тайна висит над нашей политической неразберихой и концы ее — в Берлине!.. Минует война, и над миром взорвется не одна бомба!.. И не одно лицо из тех, что теперь имеют власть «сажать и не пущать», явится кандидатом на мою арестантскую камеру!..

— У вас, г[осподин] К[олышко], пылкая фантазия. Во всяком случае, пока мечты ваши не сбылись, вы выпьете горькую чашу прозы...

И хищные зубы кота оскалились, а все лицо подернулось непримиримой ненавистью! Тогда я впервые понял, что формальная сторона моего дела заключает в себе скрытую, а уголовная — политическую, и что не избыть мне напасти иначе, как с кровью и с соками моего, кому-то ненавистного, бытия!..

И когда в июльские дни кругом крепости раздавалась пальба и массы людей открыто, с оружием в руках выступали против революционной власти, требуя

мира во что бы то ни стало, а я, ненавистник политической компромиссности, сидел за десятью замками в сумраке и сырости каменного мешка о бок с Протопоповым и Штюрмером, сопоставляя мою судьбу с судьбой десятков тысяч подлинных немецких агитаторов, я пришел к заключению, что над революционной властью Керенского, над демократическими органами советов, над всей клокочущей страной все еще витают какие-то волчьи зубы и лисий хвост...

Кто они — я еще точно не знаю. Но удостоверяю, что осью контрразведочного усердия в моем деле была забота о Милюкове и Гучкове, преклонение перед ними и месть за покушение на их авторитет.

Глупость и бездушие

Сколько раз во время глупейших и тягучих допросов контрразведки мне хотелось крикнуть:

— Да ведь вы же сапожники, а не охранники!.. В вас нет элементарной обывательской психологии. Не соразмеряете причин и последствий. Мог ли я, при моих материальных средствах и общественном положении, пойти в наем к немцам? Имел ли я, наконец, возможность услужить им? Если я не делал этого при старом режиме, на что же мог я рассчитывать после революции, я — беспартийный журналист?.. И, наконец, так ли я глуп, чтобы проводить сепаратный мир через персонажей третьестепенных? Если я — немецкий агент, приехал ли бы я в Россию без денег? Если я — немецкий агент, могло ли случиться, чтобы между мной и действовавшими уже в России немецкими организациями не было никаких связей? Если я — немецкий агент, как не установили этого факта союзные миссии в Стокгольме, где я жил у них на виду более двух лет, посещая и принимая их у себя?!

Отличительная черта всех охранников — бездушие. В моем деле оно проявилось с первого же шага. Почему, например, меня засадили в крепость и в Трубецкой бастион, когда почти всех заподозренных по 108 ст.[653] до и после меня сажали в «Кресты»?.. Чего уж нашумела прокуратура с делами Козловского, Коллонтай, Суменсон[654], а крепости ведь они миновали! Между крепостью и всякой иной тюрьмой — разница колоссальная! Режим крепости есть режим смертников. Более 5–6 месяцев его никто безнаказанно не выносит. Убийственное влияние этого режима на мое здоровье было установлено с первых же дней. И, тем не менее, меня, подследственного, подвергли ему более двух месяцев. Когда же, наконец, после героических хлопот меня выбросили в «Кресты», сила сопротивляемости моего организма была уже сломлена. И тогда меня поставили в непосредственную близость к туберкулезным!..

Перевод статьи Эрцбергера, появившейся в датской газете, названный контрразведкой «германским документом на 18 стран[иц], с приложением денежных промесс[655]»

Протокол осмотра

1917 года, мая 27 дня, и[сполняющий] д[олжность] судебного следователя Петроградского окружного суда по важнейшим делам Гудвилович, в каме-

ре своей, в присутствии нижеподписавшихся понятых, через приглашенного в качестве переводчика с немецкого языка Н. Н. Рамминга, предупрежденного о присяге, произвел осмотр и перевод документа на немецком языке, найденного в отобранных по обыску у обвиняемого документах. При этом оказалось: осматриваемый документ писан чернилами, **на двух листах белой** линованной бумаги, таким образом, что текст находится только на трех полулистах, обороты же этих полулистов — чисты. Текст этого документа, в переводе на русский язык, следующий:

«Между Германией и Россией с Румынией заключается общее шестинедельное перемирие всех военных сил, со сроком действительности с ... (пробел) мая 1917 г. 6 ч. утра до ... (пробел) июня 1917 г. 6 ч. утра, с оставлением всех сухопутных войск в том расположении, к котором они находятся в день заключения договора.

Цель этого перемирия — привести к прочному, почетному для обеих сторон миру на следующих основаниях:

1) Существовавшая 1 августа 1914 г. граница России восстанавливается; при этом определенно оговаривается (возможность) исправления границы.

2) Граница нового государства — Польши — определяется Россией, Германией и Австро-Венгрией.

Через имеющее произойти до ... (пробел) июня 1917 года голосование жителей мужского пола старше 25 лет государства Польши должно быть установлено, будет ли Польша находиться под верховенством России, или же она будет свободною республикою, либо свободною наследственною монархией.

3) Россия соглашается на отмену капитуляции в Турции, за что Германия обещает свои услуги по урегулированию вопроса о Дарданеллах и Армении.

4) Все частно-правовые отношения жителей России и Германии опять вступают в силу в том виде, в каком они существовали до 1-го августа 1914 года. Если они не могут быть восстановлены, то надо доставить возмещение полноценной натурой; если и это оказывается невозможным, то в спорных случаях сумму денежного вознаграждения за убытки устанавливает Швейцарский союзный суд в Лозанне.

5) Бывший 1.8.14 в силе торговый договор между Германией и Россией продолжается, пока не будет заключен новый торговый договор.

Оба государства не имеют права устанавливать (каких-либо) запретов выселения, вывоза (пошлин на вывозимое) и затруднений транзита.

6) Каждая из обеих воюющих держав сама оплачивает свои военные издержки и военный убыток.

7) Все остальные вопросы будут урегулированы в мирном договоре.

8) Россия и Германия обязуются отстаивать международные ограничения вооружений.

9) Перед тем, как предпринимать меры военного характера (военное положение, мобилизация и т[ому] п[одобное]), обе стороны должны передать спорные вопросы на разрешение третейского суда.

10) По желанию России, Германия готова заключить во всякое время перемирие и с другими воюющими державами, для достижения всеобщего мира».

Протокол допроса

1917 года, октября 11 дня, судебный следователь Петроградского окружного суда по важнейшим делам В. Гудвилович, в камере своей, допросил нижепоименованного свидетеля, с соблюдением 443 ст. У[става] у[головного] с[удопроизводства][656], и допрашиваемый показал:

Павел Николаевич Милюков, 58 л[ет], член Временного совета Российской республики[657], бывший член Государственной думы, православный, не судился, посторонний, живу в Петрограде, по Бассейной ул., 60, кв. 30.

В 1916 году я два раза ездил из России за границу, оба раза — через Стокгольм, в первый раз это было в конце мая или в начале июня, а второй раз — в августе. В один из этих проездов моих через Стокгольм, меня там некто кн[язь] Бебутов познакомил с Иосифом Иосифовичем К[олышко], который раньше был мне известен только как литератор. У меня с К[олышко] была там только одна встреча — в Гранд-Отеле, где мы тогда останавливались. Насколько помню, у меня разговор с К[олышко] касался тогда о предполагаемом им издании в Петрограде газеты, подробностей этого разговора и теперь не помню, во всяком случае, ничего особенного в этом разговоре не было. Знакомство К[олышко] с кн[язем] Бебутовым, который только что перед тем приехал в Стокгольм из Берлина и пребывание в котором наложило на него, как мне показалось, известный отпечаток, натолкнуло меня на мысль, что в данном случае есть какой-то кружок, не чуждый интересов Германии. С другой стороны, частью там же в Стокгольме, частью впоследствии — от одного польского коммерсанта, с которым я случайно познакомился в вагоне (фамилии я его не помню), я узнал, что К[олышко] имеет какую-то связь с неким Малиняком, личность которого была известна в Стокгольме, с одной стороны, как посредника по торговым сделкам с германскими купцами, а с другой стороны — как лица, занимающегося, по-видимому, разведкой. Других данных о деятельности К[олышко] в Стокгольме у меня не имеется, но сказанное мною послужило мне, так сказать, **психологическою основою для уверенности в вероятности** тех сведений, которые я получил впоследствии. А сведения эти были таковы: незадолго до моего выступления, в начале июня с[его] г[ода], в частном совещании членов Государственной думы, ко мне явилось на квартиру лицо, назвавшее себя служащим в контрразведке (фамилии его, хотя он себя и назвал, я не помню), и сообщил мне об имеющихся в контрразведке данных об участии К[олышко] в агитации, предшествующей удалению меня из Министерства иностранных дел, а также Гучкова — из Министерства военного[658], и о том, что К[олышко] пользовался для этого средствами из германского источника. Так как эти сведения совпадали с темой моего выступления, посвященной деятельности русских идеологов Циммервальда и платных германских агентов, то я спросил разрешения моего посетителя воспользоваться сообщенными им мне данными для предстоящего моего выступления в частном совещании членов Государственной думы и таковое разрешение от него получил.

Таким образом, то, что было сказано мною в этом частном совещании членов Государственной думы, является повторением того, что мне было известно со слов упомянутого лица, служащего в контрразведке, и более никаких

данных, изобличающих К[олышко] в том, что он является германским агентом, в моем распоряжении не имеется.

С подлинным верно:
Судебный следователь Гудвилович.

Выдержка из секретн[ого] письма г[осподина] К[олышко], писанного к германско-подданной

Из этого секр[етного] письма к моему другу германско-подданной контрразведка заключила о моей связи с германским Ген[еральным] штабом и моей денежной заинтересованности в заключении сепаратного мира.

«Москва, 7–20 мая 1917 года. Ах, как тяжело быть одиноким... Я ненавижу Россию... я чувствую себя в ней, как в лесу, полном диких зверей. Наше бедное отечество в данный момент, действительно, похоже на лес. И я продвигаюсь шаг за шагом, раздвигая ветви, сплетающиеся в толстую стену, колющие и причиняющие мне боль. Если бы я знал... Если б я предчувствовал... Но я ничего не знал, как и другие. Я попал, как в ловушку. Еще месяц тому назад все представлялось сияющим. Анархистская буря налетела почти внезапно, вместе с этим пресловутым Лениным, проехавшим через Германию вместе с 30 остальными социалистами во время моего пребывания в Ст[окгольме][659]. Это они начали разруху России. Само собою разумеется, они не могли бы этого сделать, если бы почва не была подготовлена, то есть, если бы страсти не были спущены с цепи революцией, если бы толпа не была дезорганизована и аппетиты возбуждены. Ленин открыл им только дверь, перед которой они давно толпились, выжидая добычи. Теперь они хотят всего: земли, фабрик, денег, власти. Если анархия не принимает еще громадных размеров, то это чудо, потому что у нас нет более власти. Так как эта действительность испугала тех даже, которые сеяли беспорядок, они испугались, образовали коалиционное министерство[660]. Подождем. Может быть, оно спасет нас. Но сомневаются — гораздо труднее посадить дикого зверя на цепь, чем спустить его. Во всяком случае, мы переживаем страшный внутренний и внешний кризис. По последней речи Бетмана я вижу, что правые партии вновь получили преобладание, и германское правительство вновь отклоняется от мира без аннексий. Это большая ошибка. Не следует рассчитывать на сепаратный мир с нами — даже Ленин отшатывается от этого. **Мир должен быть всеобщим**. Мы, т[о] е[сть] новое правительство, можем побуждать союзников к миру, почетному для всех. Иначе это будет продолжаться. Даже в состоянии анархии мы будем продолжать. И, может быть, упрямство Германии послужит к нашему объединению, может быть, немецкие шовинисты спасут нас. Во всяком случае, я не вижу, какой может быть для Германии интерес иметь нас под боком в состоянии анархии. Ибо если крайние левые будут иметь успех со своими планами, если они уничтожат у нас собственность, если они отберут земли, фабрики, деньги, это возбудит аппетит у немецких социалистов, и рано или поздно они поступят так же. Кроме того, какие можно будет вести дела в стране, в которой не будет права собственности, в обанкротившейся стране. Ты поймешь остальное. Мы много поработали, чтобы прогнать Милюк[ова] и Гучк[ова] — шовинистические элементы у нас. Теперь

почва подготовлена для принятия семян мира — имеющий уши слышать, да услышит. Что касается моих планов, то они таковы: я могу купить три газеты: «Биржевые [ведомости]» (Проппер), «Р[усскую] в[олю]» и «Д[ело]». Я еще не решил, которую из трех. Я могу также основать новую газету. Для всего этого необходимо иметь наличные деньги, **которых у меня нет**.

Я посылаю это письмо с шведским курьером...».[a]

Свидетельство

Я, нижеподписавшийся врач, нашел у И. И. К[олышко] следующее: свидетельствуемый высокого роста, правильного телосложения, удовлетворительного питания; пульс 80, стенки лучевых артерий неподатливы; границы сердца увеличены: верхняя начинается с 3 ребра, правая доходит до срединной линии, левая — до сосковой линии; тоны у верхушки сердца несколько глуховаты, акценты на 2-х тонах легочной артерии и аорты: при перкуссии легких некоторое притупление тона над обеими верхними долями, а при выслушивании обилие крепитирующих и субкрепитирующих хрипов над правой верхушкой и наличность тех же хрипов, но только в несколько меньшем количестве, над левой верхушкой, жесткий вдох и жесткий же и удлиненный выдох к низу от левой ключицы над верхней долей этого легкого; бронхитные железы перкуторно увеличены, со стороны остальных внутренних органов никаких отклонений от нормы не наблюдается. Усиленный дермографизм; коленные рефлексы повышены, равномерны. Мокрота, по анализу, произведенному 27-го сентября с[его] г[ода] в лаборатории магистра фармации Креслинга, гнойно-слизистая, содержит в значительном количестве лейкоциты, единичные туберкулезные палочки при обработке ее по Уленгу и в малом количестве катаральные микрококки. Жалуется на общую слабость, упадок сил, ежедневный подъем температуры, кашель, ночные поты и полное расстройство нервной системы. На основании изложенного я прихожу к заключению, что у свидетельствуемого имеются: умеренный артериосклероз, функциональный невроз в форме неврастении и **туберкулез верхних долей обоих легких во 2-ой стадии** и с туберкулезом бронхиальных желез и различным перибронхитом. Исследуя И. Колышко в качестве врача, наблюдавшего его в Трубецком бастионе при поступлении туда 24 мая и перед переводом в Петроградскую одиночную тюрьму, я не наблюдал у него туберкулеза легких, который развился из скрыто протекавшего туберкулеза бронхиальных желез во время заключения в Петроградской одиночной тюрьме. Туберкулез легких в той стадии, в какой он имеется у свидетельствуемого, является опасным для его жизни заболеванием и требует немедленного климатического санаторского лечения, причем из различных климатических местностей для него представляет преимущество лечение северным горным воздухом, что подписью своею с приложением именной печати и удостоверяю. Петроград. 11 октября 1917 года.

Доктор медицины И. Манухин

[a] Настоящее письмо к близкому человеку было вынуто контрразведкой от шведского подданного, сфотографировано и послужило основой обвинения против меня (прим. автора).

* * *

Оклеветавший меня охранник Никитин принадлежит к тому типу негодяев, что некогда во Франции создали «дело Дрейфуса»[661], а во время великой войны посадили на скамью подсудимых по обвинению в государственной измене таких французских патриотов, как Кайо и Мальви. Такой же тип в царские времена был в Киеве — охранник Кулябко, креатура министра полиции Курлова. В угоду своему начальству он облегчил тогда убийство Богровым Столыпина. Угождая своему начальству, зауряд-офицер Никитин, став охранником, сделал все, чтобы уничтожить меня.

Свое гнусное обвинение он основал на трех китах («неопровержимых уликах»): 1) «Германский документ на 18 стр[аницах] убористого шрифта на машинке с приложением денежных промесс», найденный якобы у меня при обыске, 2) мое секретное письмо к моей подруге в Стокгольм, германской подданной, и 3) мои телеграммы в Стокгольм о присылке типографских машин.

1. «Германский документ», каковым он оказался при следственном делопроизводстве, приведен мной выше: рукой моей подруги набросанный перевод статьи из датской газеты с возможными условиями перемирия. Ложь Никитина здесь обнаруживается и фактически, и логически. Никакого другого «документа» при обыске у меня найдено **не было**. И не могло быть, ибо, при таковой возможности, судебный следователь и прокурор Палаты, меня освободившие и дело обо мне направившие к прекращению, явились бы моими **сообщниками**. Для маломальски беспристрастного человека это ясно. Но охранник, с присущей этому типу наглостью, долбит как дятел, что «германский документ с приложениями» он вытащил из моего чемодана **лично**, а «историк и вождь демократии» Милюков эту заведомую ложь печатает. Оба они пользуются тем обстоятельством, что бумага все терпит, а восстановить факт обыска у меня, имевшего место 15 лет назад, я, очевидно, не могу.

2. Из приведенного выше **секретного** письма к моей подруге, изъятого из курьерского пакета, Никитин заключает о моих «сношениях с германским генеральным штабом». Если бы таковые имелись, несомненно, я бы не стеснялся запечатлеть их в сказанном письме, ибо в неприкосновенности его я был **уверен**. Но о германском штабе там ни слова. И резко подчеркнута **немыслимость** сепаратного с Германией мира. Фраза же: «имеющие уши слышать, да слышат», — относится к адресату этого письма и ко всем тем, кто в ее окружении надеялся еще на такой мир. Допустим, однако, что это относится и к германскому генеральному штабу. Как же связать это с одновременно посланными мною телеграммами о присылке мне, якобы, германских денег (машины)? Если сепаратный мир **невозможен**, за что же мне деньги платить? В голову охранника это логическое заключение, разрушающее все обвинение, не приходит. И он умалчивает о заключительной фразе письма, в которой я жалуюсь на **безденежье**. Распоряжаюсь по телеграфу германскими миллионами, а сам сижу без денег. Зато Никитин играет фразой, с которой я начинаю письмо: «Я ненавижу Россию». Деятель из охранки не соображает, что речь здесь идет о России **Керенского** и **Никитина**, ибо Баяну нечего было доказывать свою любовь к России подлинной.

3. И, наконец, — машины. Я приехал в Петроград для оформления сделки по покупке мной у банкира Лесина его газеты «День». Торговал я ее у него больше

двух лет. Финансовую помощь по этому делу должен был мне оказать Сибирский банк. Газету «День» редактировал некий Кугель, а после революции она стала органом Совета рабочих и солдатских депутатов, во главе с Эрлихом. Я резко заявил Кугелю, что очищу газету от социалистов. Кугель пожаловался Эрлиху, и оба они подали на меня донос министру юстиции Переверзеву. А Переверзев, минуя прокурора Палаты, велел меня арестовать. С этого, плюс охранное усердие Никитина, началось «мое дело».

В разговоре с Кугелем я ему заявил, что я уже позаботился о шведской бумаге для газеты и соответствующем оборудовании типографии, где печаталась газета. Этих разговоров моих с ним не отрицает в своем показании следователю, весьма для меня неблагоприятном, и Кугель. Показание это приобщено к имеющемуся у меня следственному производству. Телеграммы мои к одному из стокгольмских комиссионеров по поставке машин (фамилию запамятовал) относятся к этому предмету. Деятель из охранки это отлично знает, но продолжает лгать.

Таким образом, три кита обвинения оказываются тремя гигантскими блефами. Деятель из охранки уснащает их приправами других клевет. Останавливаюсь на двух. По сведениям охранников французских и немецких, моя бывшая подруга и невеста, якобы, оказалась агентом германского ген[ерального] штаба. Сообщая об этом, агенты, однако, ни словом не заикнулись о моей роли. Доказать лживость этого утверждения, хотя я глубоко убежден в этой лживости, я не могу. Как немка, сроднившаяся с Россией, она очевидно жаждала мира. Жаждал его и я. Имею основание думать, что оклеветавшие ее иностранные охранники относятся к типу тех усердных в военное время деятелей, что посадили на скамью подсудимых Кайо и Мальви. Но даже допуская **невероятное**, что она была агентом германского ген[ерального] штаба, — где же следы того, что я это знал? У Мата Хари были десятки любовников, — судили ли их вместе с ней?

Что же касается моей близости к большевикам, на которой, без малейших оснований, настаивает деятель из охранки, вздорность этого утверждения подчеркивается тем фактом, что одновременно со следствием обо мне производившееся следствие над **подлинными** германскими агентами (Троцким, Фюрстенбергом и друг[ими]) **ни одним намеком** не указало на мою связь с ними. Чего не может скрыть даже деятель из охранки.

Угождая начальству и делая на моей спине карьеру, Никитин своей сути изменить не может: лгун, клеветник, смесь Репетилова с Расплюевым. Но что же сказать о «вожде» и «историке» Милюкове? Он первый возвестил на весь мир об измене Баяна. А вышеприведенное его подлинное показание на суде следователю (данное им в ванной, ибо Милюков два месяца уклонялся от явки к следователю и тот настиг его лишь в ванной) указывает, как мало нужно было «вождю» и экс-министру, чтобы опорочить одного из старейших, хотя и противного лагеря, журналистов. После 15 лет на чужбине охранник, с голодовки, решился перекраситься в журналиста. Три года тому назад он сделал эту попытку в газ[ете] «Возрождение». Забракованный, он постучался в редакцию Милюкова. И нашел у «историка» и «вождя» широкое гостеприимство.

Прибегнуть к коронному суду против этой пары, за неимением средств, я не могу. От суда третейского они отказались. Драться я не умею. Что же мне остается, как не эти страницы моего покаяния в делах содеянных и моего возмущения перед приписанными мне делами несодеянными?!

Письма ко мне бывшего председателя Петроградского окружного суда г[осподина] Рейнбота

1)

23/IX 1921 г. Вена.

«Милостивый государь Иосиф Иосифович,

считаю своим приятным и нравственным долгом сообщить вам, что у меня в памяти твердо сохранилось воспоминание о той несправедливости, которая была допущена в отношении Вас возбуждением обвинения в каком-то чуть ли не шпионаже. Как бывший председатель Петроградского окружного суда, я знал от судебного следователя Гудвиловича о том, что возбуждение преследования было основано на лживом доносе, которому дали ход только под влиянием страстей бушевавшей политики, пытавшейся ворваться даже в храм правосудия. Однако попытка не удалась. Едва дело было перенесено через порог суда, как вся лживость обвинения ярко всплыла на поверхность и предварительное следствие следователя по важнейшим делам Петрогр[адского] окр[ужного] суда было направлено к прекращению за отсутствием события преступления. Все это было в 1917 г. после революции. Пишу Вам об этом своем воспоминании, потому что случайно узнал здесь о том, будто Вы интересуетесь, нет ли среди беженцев из России лица судебного ведомства, которое бы знало что-либо о Вашем деле. Как видите, лицо такое нашлось и лицо, я полагаю, достаточно авторитетное. Пользуюсь случаем выразить Вам свое искреннее уважение, которое питал и раньше к Вам, как к блестящему публицисту. Готовый к услугам В. Рейнбот».

2)

12 октября 1932 г. Париж.

«Глубокоуважаемый Иосиф Иосифович,

Ваше желание исполнил: ознакомился с фельетонами «Последних новостей» и заметкой в «Journal». Прежде всего, выражаю чувство сожаления, чтобы не выразиться резче, по поводу того, что Ваше имя вновь позорится в зарубежной печати и в печати иностранной. Вновь повторяется несправедливое и ошибочное обвинение Вас в тягчайшем преступлении. Повторяется обвинение, опровергнутое 4-х месячным предварительным следствием, произведенным судебно-следственными органами, и прекращенное судебными учреждениями. Приводятся будто бы факты бесспорные, с умолчанием, что факты обратились в мифы и измышления при прикосновении вдумчивого, осторожного судебного деятеля, следователя Гудвиловича.

Видя повторение несправедливого навета, мне захотелось что-либо добавить к тому, что написал Вам, кажется, лет 10 тому назад. Почему дело Ваше возникло, минуя прокуроров Судебной палаты и суда (как это установлено законом), мне неизвестно. О существе предъявленного Вам обвинения по 108 ст[атье] Уголовн[ого] уложения я узнал от судебного следователя Гудвиловича, пришедшего ко мне за советом или, вернее, за моральной поддержкой в его решении направить дело Ваше с заключительным постановлением, редким в следственной

практике, содержащим окончательный вывод следователя, что в деянии привлеченного обвиняемого **нет состава преступления, и самое событие такового не только не доказано, но полностью опровергнуто.** Мы совместно со следователем Гудвиловичем по его докладу обсудили все данные дела, и тогда я всецело присоединился к мнению следователя, причем тогда же было нами намечено, что, перед решительным действием, следователь произведет еще два-три допроса, закрепляющие еще тверже сделанный уже вывод. Спустя недели четыре я узнал от Гудвиловича, что прокурорский надзор согласился с его выводами и дальнейшее уголовное преследование Вас судебными учреждениями прекращено.

Обращаясь ко мне за поддержкой, судебный следователь объяснил мне это обращение тем, что ему приходится испытывать в данном деле совершенно неведомое ему раньше **обвинительное давление** Министерства юстиции, которое, в свою очередь, испытывает **нажим** Совета солдатских и рабочих депутатов.

Стоявший во главе контрразведки Никитин (автор статей в «Посл[едних] новостях») считает неопровержимым только материал, полученный негласным путем от подчиненных ему органов, а я, старый судья, признаю бесспорным тот материал, который собран с необходимыми гарантиями уставов Александра II, неподчиненными и независимыми судебными следователями. По роду своей службы, охранник считает свои выводы решительными, отклоняя всякие возражения обвиняемых; я же, судебный деятель, менее решителен, я считаюсь с возражениями обвиняемых и признаю свои выводы, обвинительные, как и оправдательные, только тогда верными, когда они закреплены судебным определением. Вот в чем мое разногласие с бывшим начальником охраны, г[осподином] Никитиным, и в нашем разногласии русское законодательство **всецело на моей стороне.**

Пишу Вам это пространное письмо в надежде, что в нем Вы найдете такую же моральную поддержку в беде, какую нашел 15 лет назад у меня же судебный следователь Гудвилович. Не падайте духом, уважаемый Иосиф Иосифович, — правда на Вашей стороне, обвинение прекращено судом, а слова: res judicāta pro veritāte habētur[a] — извечны. Жму Вашу руку. Готовый к услугам В. Рейнбот».

Для читателя, надеюсь, станет ясным, почему г[осподин] Милюков, допустивший в своей газете заведомую на меня клевету Никитина, отказался не только напечатать вышеприведенные два письма г[осподина] Рейнбота, но и приглашение мною Никитина к третейскому суду. Грозило слишком явное крушение задуманного, в расчет на безнаказанность, плана мести — крушение, пожалуй, и авторитета «вождя». Письма г[осподина] Рейнбота имеют общественный интерес в том отношении, что рисуют не только изнанку «моего дела», но и изнанку того правового строя, что возглавлялся Временным правительством и привел к большевизму.

[a] Судебное решение следует принимать за истину (лат.).

Глава [XXXV].
Мое дело

По возвращении в Петроград вскоре после революции я был арестован в мае 1917 г. и заключен в Петропавловскую крепость, имея своими ближайшими соседями Протопопова, Вырубову, Штюрмера, Сухомлинова и других «столпов» царского режима. В августе, за болезнью, меня перевели в «Кресты», вскоре освободили, а через три дня вновь засадили, чтобы в сентябре окончательно выпустить. Меня арестовали и производили обо мне дознание власти судебные, а не контрразведка, как о том сообщил в «Последн[их] новостях» г[осподин] Никитин, и эти же власти меня освободили без всякого залога, как о том опять-таки облыжно сообщил г[осподин] Никитин. А дело обо мне, за отсутствием «субъекта преступления», направили к прекращению. Все это свидетельствуется собственноручным письмом ко мне бывшего председателя Петроградского окружного суда г[осподина] Рейнбота, каковое письмо было мной трижды опубликовано, в последний раз в газ[ете] «Возрождение» в 1929 г., в ответ на первую попытку г[осподина] Никитина оклеветать меня.

Вот текст этого письма:

«23/IX–1921 г., Вена.

Милостивый государь Иосиф Иосифович.

Считаю своим приятным и нравственным долгом сообщить Вам, что у меня в памяти твердо сохранилось воспоминание о той несправедливости, которая была допущена в отношении Вас возбуждением обвинения в каком-то чуть ли не шпионаже. Как бывший председатель Петроградского окружного суда, я знал от судебного следователя Гудвиловича о том, что возбуждение преследования было основано на лживом доносе, которому дали ход только под влиянием страстей бушевавшей политики, пытавшейся ворваться даже в храм правосудия. Однако попытка не удалась. Едва дело было перенесено через порог суда, как вся лживость обвинения ярко всплыла на поверхность, и предварительное следствие следователя по важнейшим делам Петроградского окружного суда было направлено к прекращению за отсутствием события преступления. Все это было в 1917 г. после революции. Пишу Вам об этом своем воспоминании, потому что

случайно узнал здесь о том, будто Вы интересуетесь, нет ли среди беженцев из России лица судебного ведомства, которое бы знало что-либо о Вашем деле. Как видите, лицо такое нашлось и лицо, я полагаю, достаточно авторитетное. Пользуюсь случаем выразить Вам свое искреннее уважение, которое питал и раньше к Вам, как к блестящему публицисту.

Готовый к услугам В. Рейнбот».

Г[осподина] Рейнбота я лично не знал, и письмо его ко мне было вызвано тем обстоятельством, что мои политические враги уже в 1921 г. в мое пребывание в Берлине распустили слух о моей «измене», удостоверяя, что меня освободили из заключения мои «друзья» большевики. Слово «шпионаж» в письме г[осподина] Рейнбота, отвечая тенденции раздутого в русской и заграничной прессе 1917 г. моего дела, не отвечает формальной стороне его. Я был арестован по той части 108 ст[атьи], в которой говорится о «споспешествовании целям неприятеля», и обвинение против меня сводилось лишь к «пропаганде сепаратного с Германией мира», что удостоверяет и сам г[осподин] Никитин. Второе, что в письме г[осподина] Рейнбота требует разъяснения, это указание на «бушевавшие страсти политики». Очень трудно в кратких словах, да еще 15 лет спустя, вскрыть истинный смысл этого существенного для меня определения. Но постараюсь.

Из главы «Баян»[662] читатель уже составил себе понятие о моей политической физиономии. По той или иной причине, а вернее всего, по причине моих личных недостатков, у меня было безмерно больше врагов, чем друзей. Во всяком случае, врагами моими были оба крыла русской политической мысли с вождями их: гг. Милюковым и Гучковым. Став во главе революции, лица эти возглавили и арестовавшее меня Временное правительство. Я не приписываю им инстинктов низкой мести; но, кажется, я не преувеличу, сказав, что они не способствовали выяснению правды в моем деле, а, наоборот, усугубили заблуждение его, — Гучков как военный министр и прямой начальник контрразведки, а Милюков как министр иностранных дел, настаивавший на продолжении войны. Вот как Милюков оповестил в заседании Госуд[арственной] думы о моем аресте:

— После того, как шпион на фронте Мясоедов повешен, а шпион в тылу Колышко под замком, мы можем продолжать войну до победного конца...

Естественно, что судебное следствие обо мне после столь компетентного, облетевшего весь мир утверждения должно было начаться с опроса г[осподина] Милюкова. Но министр иностр[анных] дел, в ту пору уже свергнутый, упорно уклонялся от свидания с судебным следователем, заставив тем меня просидеть под замком лишний месяц. Следователь настиг Милюкова только в ванной комнате, и вот что, сидя в воде, показал бывший министр иностранных дел:

— О шпионстве Колышко сообщил мне какой-то чиновник-контрразведчик, фамилии не помню. Я поверил его сообщению потому, что в бытность мою в Стокгольме кто-то сказал мне, что Колышко друг М[алиняка], а М[алиняка] считают немецким агентом. Больше ничего не знаю.

(Протокол допроса Милюкова у меня сохранился).

Такова общая схема «бушевания» вокруг моего дела политических страстей. А вот детали этого «бушевания».

Иметь в своем распоряжении газету мне, как и всякому журналисту, весьма хотелось, как ни ласкали меня Дорошевич, Суворин, Проппер и Худяков, я меч-

тал стать хозяином своего дела. С этой целью я всячески споспешествовал раньше переговорам Сытина с Лесиным, издателем газ[еты] «День», а впоследствии переговорам Протопопова с банками о «Русской воле». В обеих этих комбинациях мне отводилась руководящая роль. Когда Протопопов повез к союзникам «думское стадо», проект банковской газеты запнулся, я возобновил старые переговоры с Лесиным и, заручившись финансовой поддержкой Сибирского банка, в лице его председателя Грубе, пришел к принципиальному соглашению с Лесиным. Редактировал «День» один из «сорока братьев» Кугелей, Иона, малый даровитый и ко мне, казалось, расположенный. Мы с ним договорились, и он как будто примирился с мыслью стать мне в подчинение. Газ[ета] «День» была прогрессивна, но не очень, во всяком случае правее «Речи». Я уехал в Стокгольм, обещая вернуться через месяц. А вернулся лишь через два месяца, после революции. И застал газ[ету] «День» чрезвычайно полевевшей, с аншлагом: «Орган социалистической власти». Это меня взбудоражило. Я бросился к Лесину. Вконец растерянный, он бормотал:

— Мою газету захватил Совет рабочих и солдатских депутатов. Кугель только пешка. Всем ворочает Эрлих. Они требуют экспроприации земель и лесов, а я как раз теперь финансирую дело о покупке персидских лесов. Уже общество составлено, имеются и капиталы. А они, извольте! Я бессилен. Берите эту дрянь, и поскорее, а то я ее закрою, либо с ума сойду. Банкир — издатель социалистической газеты... Как вам это нравится?

Я вызвал к себе в Европейскую гостиницу Кугеля.

Кстати об этой гостинице! Никитин сообщает, что я занимал в ней роскошные апартаменты и вел в Петрограде роскошную жизнь[663]. На самом деле я занимал в ней комнату во двор за 5 руб[лей], в которой и был арестован, а трен[664] моей жизни был безмерно скромнее, чем до революции.

Кугеля я пригласил к скромному завтраку, за которым мы обменялись следующим диалогом:

— Что это вас угораздило в социалисты записаться?

— Революция все вверх дном перевернула. В газете теперь хозяин не я, а редакционный комитет.

— Т[о] е[сть] Эрлих с собачьими депутатами?

— И Эрлих, и Потресов, и другие.

Я горячился.

— Но ведь вам известно, что газета обещана мне. Обещание это сегодня же подтвердил Лесин. С вами мы уже раньше условились. Каким же образом вы так бесцеремонно распорядились моей газетой?

— Газета пока Лесина.

— Но она мне запродана.

— Этого я не знаю. Во всяком случае, вы не исполнили обещания и не приехали в срок.

— Давайте обсудим спокойно! Газету я беру и, понятно, социалистические мысли из нее вымету.

— Это ваше дело.

— И если вы сами не вполне еще социализировались, будем работать вместе. Иначе — не взыщите!

Мой собеседник видимо волновался, но сдерживал себя.

— Прежде чем брать газету, следует позаботиться о бумаге и машинах. Тираж «Дня» сильно возрос. Не хватает бумаги, износились машины. Ведь мы расходились в трех тысячах экземпляров, а сейчас тридцать...

— После чистки тираж уменьшится. А о бумаге и машинах я уже позаботился в Швеции.

Кугель задумался.

— Мириться надо, а не газету издавать!

Это вырвалось у него так искренно, что мои симпатии к Кугелю вернулись. Я живо подхватил:

— Немцы только об этом и мечтают.

— А по нашим сведениям, они настроены воинственно...

— Воинственны вы здесь. Заявили о прекращении империалистической бойни, а только ей и заняты. Первое, что я прочел в ваших газетах на границе, это требование проливов...

— Это Милюков. Но если бы мы были точно осведомлены о немецких настроениях...

— В общих чертах я вас осведомлю. Со мной текст статьи, напечатанной Эрцбергером в датской газете о предполагаемых условиях мира...

— Можно взглянуть?

— Сойдем ко мне. Я поищу.

Мы сошли, и Кугель начал читать листок, написанный рукой моей подруги.

— Мир сепаратный?

— Читайте до конца.

— Да, да. Занятно... Надо обсудить!... Вы не откажете зайти в редакцию, когда я соберу членов ее, и разъяснить на словах?

— Не откажу...

— Я вам протелефонирую...

Мы расстались, и я заметил в чертах моего собеседника и подъем, и оживление. Кугель мне не звонил, а я, погруженный в дела, забыл о нашем свидании. Ни с кем другим на эту тему я больше не беседовал и никому больше эрцбергеровского проекта не показывал. Равно никаких переговоров о приобретении другой какой-либо газеты не вел. А когда через три недели по доносу Кугеля и Эрлиха был ночью обыскан и арестован, я уже не мог среди гор моих бумаг найти привезенного мной «документа». Но его в конце концов нашли, и он был предметом тщательного исследования судебного ведомства. «Восемнадцать листов», о которых теперь пишет г[осподин] Никитин, оказались восемнадцатью строчками, и эти строчки были признаны за то, чем они и были — одним из многочисленных в ту пору газетных пробных немецких шаров по вопросу о прекращении войны. О подлинном происхождении «документа» я уже рассказал. Пока лишь замечу, что все здесь рассказанное о моих переговорах с Лесиным и Кугелем запечатлено в следственных материалах, напечатанных мной под наблюдением судебного следователя в 1917 г. и мною доныне сохраненных.

Не могу не упомянуть и еще об одной из «неопровержимых улик» моей виновности, опубликованных г[осподином] Никитиным. Это — мое секретное письмо к моей подруге, посланное ей с дипломатическим курьером.

Размах дела, предпринятого против меня, был так широк, а г[осподин] Никитин взял с места такой темп, нажав на все педали, что в ночь моего ареста обы-

скали чуть ли не пол-Петрограда и Москвы и нарушили дипломатическую тайну. (Задержали на границе и вскрыли неприкосновенный «курьерский пакет»). Обыски, понятно, не дали ничего, но моего сына без единого вопроса продержали месяц в «Крестах». А из «пакета» удалось извлечь мое очередное письмо к подруге. Вот этим письмом г[осподин] Никитин и козыряет теперь, по-своему расшифровывая его. Без шифра в нем, по словам г[осподин] Никитина, были лишь мои любовные объяснения, мое торжество по поводу падения Милюкова и Гучкова и моя «ненависть к России». А зашифрованы были мои сношения с немецким штабом, немецкие миллионы (машины) и распоряжения ими. Умышленно или нет, г[осподин] Никитин пропустил и еще одну незашифрованную фразу, которой начиналось мое секретное письмо. Вот она: «В России нет собаки, которая согласилась бы на сепаратный мир, даже Ленин не принял бы его». Как же отнеслись к этим «неопровержимым уликам» члены судебного ведомства? Прежде всего, они не нашли преступным мое удовлетворение падением Милюкова и Гучкова и не сочли сообщение об этом падении, известном в Стокгольме из телеграмм раньше получения моего письма, за шпионаж. Равным образом не сочли они также преступной мою «ненависть» к России Керенского и Ленина. А о том, что «машины» были истинно машинами, а не миллионами, убедило их не только судебное расследование, но и элементарная логика. Не в пример контрразведке, судебное ведомство вошло в обсуждение факта, что миллионами не швыряют по телеграфу и что их даром не платят. А какую же услугу я мог предложить германцам за эти миллионы?

На одном из допросов агента контрразведки в Петропавловской крепости, после удостоверения моих легальных денежных средств, составлявших около 100 тыс[яч] руб[лей] годового дохода, я спросил допрашивавшего меня:

— За какую же сумму, по-вашему, я мог себя продать?

— Почем я знаю, — рассердился он. — За миллион.

— За какие же услуги?

— За вашу близость к посольству.

— Вы, значит, считаете г[осподина] Неклюдова или очень неосторожным, или... моим сообщником?

— Неклюдов у нас на примете.

— Однако ему дали повышение.

— Милюков... За то же его и убрали.

— А я думал, что его убрали левые.

— Перейдем к делу!

— Еще один вопрос. Известно ли вам, что наша дипломатия с самого начала войны была очень плохо осведомлена? Настолько плохо, что об истинном положении дел наши заграничные представители справлялись у случайных из Петербурга приезжих? Я лично привозил иногда г[осподину] Неклюдову новости, которые он не знал.

— Возможно, возможно. О вашей близости к Штюрмеру, вашему соседу по камере, нам тоже известно.

— Так. Но вы изволили заявить о моей близости к г[осподину] Неклюдову. За какие же услуги немцы могли мне платить?

— Платили, значит было за что.

— А вы уверены, что платили?

Допрашивающий с торжеством хлопнул по лежавшему перед ним документу.

— Черное по белому.

— А-а.

— Вы внесли в Стокгольмский банк 250 тысяч крон! Откуда они? Из Петербурга вы их не переводили.

— Разрешите взглянуть!

В моих руках был печатный шведский договор, в котором от руки была проставлена моя фамилия, цифра денег и дата. Сообразил я не сразу, — злила торжествующая физиономия контрразведчика. Но в конце концов сообразил.

— Вы понимаете по-шведски?

— Незачем и понимать. Вы внесли 250 тыс[яч] крон. Откуда они, если не от немцев?

— Во-[первы]х, я мог их выиграть на бирже, в карты, на улице найти. Вы должны доказать, что это деньги немецкие, а не я, что они не немецкие...

— Пока что извольте вы доказать!

— Так и быть. Только впредь, г[осподин] контрразведчик, если вы обратитесь ко мне со шведскими документами, извольте предъявлять мне их засвидетельствованный перевод.

— Слушаю, слушаю. Извольте ответить на вопрос.

— Судебный следователь сказал мне, что я не обязан отвечать на ваши вопросы и что вы вообще не вправе меня допрашивать, но так и быть. Мне так надоело одиночество, что я рад и вам.

— Чрезвычайно приятно, — деканировал[665] контрразведчик. — А денежки-то немецкие. Не выкрутитесь.

Я встал.

— Вы мне надоели.

— Что??

— Справьтесь у переводчика. И он вам скажет, что деньги я не **внес**, а **взял**.

— Не понимаю.

— В Швеции нет онкольных счетов[666]. Давая ссуды под бумаги, там заключают контракты. Перед вами такой контракт. Я заложил мои бумаги. А бумаги эти я покупал в Стокгольме с начала войны. Квитанции у вас. Поняли?... Прощайте!

На другой раз контрразведчик заинтересовался, для чего я выписал из Стокгольма с моего счета 500 тыс[яч] руб[лей]?

— Такой суммы я никогда не выписывал.

— Черное по белому.

— Покажите!

Контрразведчик протянул мне телеграмму.

— По-французски-то вы умеете читать?

— Читаю.

— Здесь написано: Cent cinq milles, а не cinq cents[a].

Конфуз.

Были еще недоразумения в этом роде, которых я не упоминаю, но все они имеются в следственном производстве. Среди пропечатанных Никитиным

[a] 105 тысяч, а не 500 (франц.).

«неопровержимых улик» об них не упоминается. Фигурируют одни машины-миллионы и моя связь с германским штабом.

Воздвигнутое против меня контрразведкой обвинение покоилось на трех китах: 1) «документ на 18-ти листах» о сепаратном мире, 2) «машины-миллионы» и 3) мои сношения с германским штабом через посредство моей стокгольмской подруги. Происхождение «документа» я пояснил выше. О машинах-миллионах затрудняюсь что-либо прибавить к вышесказанному.

Чрезвычайно трудно мне теперь **доказать**, что я из Петрограда не мог распорядиться немецкими миллионами, которые ничем не заслужил, — в этом обвинении, самом существенном, в свое время разбиралось и разбиралось судебное ведомство. Равным образом трудно мне теперь доказать, что моя подруга не была агентом германского штаба и что я с этим штабом не имел никаких сношений. По этому последнему предмету мои объяснения, сохранившиеся в следственном производстве, сводились к следующему.

Мою подругу, когда она возвратилась на родину, немцы выслали по подозрению в шпионаже в пользу русских. Подобно Мата Хари, она была обворожительна, но любовных авантюр за ней, кроме связи со мной, ее женихом, не водилось. Если бы таковые были, если бы вообще она была в подозрении, французская контрразведка, не чета русской, об этом не преминула бы знать. Знал бы об этом и г[осподин] Неклюдов, посещавший нас. Узнав о моем аресте, моя подруга по телеграфу предложила министру юстиции Переверзеву выслать ему всю мою корреспонденцию. Предложение это не было принято, — г[осподина] Никитина, очевидно, оно не устраивало. Но были факты и более убедительные.

Одновременно со мной были задержаны и большевики с поличным о сношениях с германским штабом. В своих мемуарах г[осподин] Никитин об этом рассказывает. Разоблачением связи этих господ (Троцкий, Фюрстенберг и К°) с немцами, Временное правительство было обязано удачному подавлению июльского восстания. Большевики сидели в «Крестах», я — в Петропавловке. После того, как меня в первый раз выпустили на свободу, Чхеидзе с Эрлихом явились к министру юстиции Зарудному и потребовали — либо освобождения большевиков, либо нового моего ареста. Министр предпочел второе. И меня вновь засадили. Следствие о большевиках велось весьма усердно и связи их с германским штабом были установлены. В этом г[осподин] Никитин прав. Но, если это так, как же хоть один кончик нитей, протянутых между Германией и большевиками, не зацепил меня? Оказывается, судебное ведомство поняло то, чего не поняла и по сей день не понимает контрразведка, поняло, что следствие над большевиками было, до известной степени, и следствием надо мной, и что отсутствие малейших указаний на общность мою с большевиками свидетельствует о фантастичности обвинения меня в связи с германским штабом[667]. Факт этот был очевиден не только практически, но и теоретически. Ведь всякий здравомыслящий человек понимал, что Германии нужны были не созидатели, а **разрушители** России, — не те, кто боролся с большевиками, а те, кто им потворствовал, во всяком случае, не люди старого режима, начавшего и продолжавшего войну. Как пацифист и германофил, я был угоден Германии политической, но Германии воинской, т[о] е[сть] хозяйке положения, могли быть угодны лишь люди, свергшие этот режим. Не друзья Штюрмера и Протопопова, а друзья Чхеидзе и Керенского были нужны воинской Германии. И она их обрела в лице большевиков. Если г[осподин]

Никитин не сознавал этого разумом, он это чувствовал нюхом, — отсюда его попытки и тогда, 15 лет назад, и ныне, так или иначе связать меня и мое дело с большевиками и большевистской изменой. Отсюда и безумная попытка его связать мое «преступление» с преступлением Горгулова, как о том он информировал французскую газету «Journal», с которой я ныне сужусь. Если я и большевики — два полюса, то рушится и все здание обвинения меня, основанное на моем предательстве, корысти и «ненависти» к России. Не будучи в состоянии обосновать обвинение меня юридически, г[осподин] Никитин пытался и пытается обосновать это психологически: изменник, значит большевик, или vica versa — большевик, значит изменник. Такого же порядка мышления придерживаются и мои остальные «друзья» в эмиграции, возглавляемые известным стихоплетом Мунштейном-Лоло. Я редактировал в Ницце ярко антибольшевистскую газету. Самые непримиримые мои статьи в этом духе встречали злостное улюлюканье этих господ.

— Видите, видите!

— Что? Статья антибольшевистская.

— Следы заметает. Все большевики с этого начинают... Провокация...

Вздорность злостного утверждения Никитина, Мунштейна и других моих «друзей» о моих связях с большевиками может быть установлена тем фактом, что, освобожденный Вр[еменным] правительством, я был задержан большевиками и спасся от них лишь бегством, при содействии шведов, мой сын ими замучен.

На этом я мог бы покончить с юридической стороной моего дела. Юридически, кажется, я реабилитирован. Возобновить преследования, погашенные 15 лет назад, нельзя. Даже если бы не было письма г[осподина] Рейнбота, — могло же и не быть его — как придраться ко мне юридически: j`y suis, j`y reste![a] Клевета может понудить французское правительство выслать меня из Франции, мои знакомые и друзья могут от меня отвернуться (что и случилось), меня могут бойкотировать (что и случилось), от меня могут требовать доказательств, что я не верблюд (что и случилось); я могу, наконец, сгнить с голоду и лопнуть от незаслуженной обиды (чего, благодаря Богу, еще не случилось); и, тем не менее, юридически я чист. Жив курилка! Но, — является мысль: могло ли бы все это произойти в другом обществе, кроме русского, и с другим, кроме меня? Могло ли бы общество с зачатками культуры так измучить и унизить человека, оправданного его правосудием? Так пренебречь институтом, наиважнейшим в общежитии — институтом суда? А ведь гг. Никитины и Милюковы именно это и сделали, — начхали на суд, пренебрегли голосом одного из высших его представителей. И еще вопрос: случилось ли бы это, если бы Россия была цела? Ведь эти Милюковы и Никитины не протестовали против моего освобождения 15 лет тому назад. Почему протестуют они сейчас? Почему злостность их увеличивается по мере удаления от правосудия, в котором царствовала «правда и милость»? И, наконец, как же так случилось, что русская совесть, самая чуткая, неподкупная, стала, как уличная женщина, цинично бесстыжей, продажной?

Вопросов этих много, и ответы не радуют. Я убеждаю себя, что русские в изгнании, что пчелы, потерявшие свою царицу, — изозлились. Если смерти по-

[a] На том стою и не могу иначе (франц.).

добна потеря времени, то во сколько раз более подобна смерти потеря отечества! Но мой случай имеет, кажется, под собой и другое основание. Преследуют меня не столько юридически, сколько этически — не за измену политическую, а за измену нравственную. Кому много дано, с того много и взыщется. Судьба меня не обидела. Почти четверть века до великой войны я, пользуясь дарами моей родины, копил свои духовные и материальные силы. К 1914 году их оказалось немало. Не формулируя, не ставя точек над i, общественное мнение спрашивает, куда я их затратил в годы испытания моей родины? Мои связи, мое дарование и мои миллионы — как использовал я их для блага истекавшей кровью моей отчизны? Не лучше Манусов и Утиных? Не великодушнее жрецов наживы и разврата, о которых пишет Крымов? Ну, тогда верим. Ибо кто сказал А, скажет и Б. Одиум нравственный для нас эквивалентен одиуму политическому. Вот почему я не жду перемены в моей судьбе путем покаяния. И кому оно нужно? Есть категория лиц, для которых моя виновность почему-то необходима (не ведаю, почему). Для этих лиц всякое доказательство моей невиновности — личная обида. И если бы я вырвал из себя кусок сердца, свидетельствующего о моей невиновности, они бы его оплевали и растоптали... Миллионы людей будущего, все опрокидывая на своем пути, стремятся туда, где нет предательства, ибо нет чести, нет покаяния, ибо нет Бога; а обломок прошлого в чем покается, ворошит забытое. Ну виновен, ну прав! Что от этого изменится в загадке дня грядущего? А живут ведь только этим днем и этой загадкой. Верно! Но я дал слово.

Глава XXXVI.
Ныне отпущаеши…

После всего, что я, по совести и по мере сил, нагромоздил о виновниках и участниках в великом российском распаде, любой читатель вправе мне бросить: неужто только это, только этих лиц он усмотрел и встретил за вашу долгую жизнь и деятельность на рубежах двух Россий: служебной и общественной? Неужто одни лишь тени сопровождали скорбный путь великой страны к Голгофе? Не было разве, даже в эти смутные годы, пятен светлых, лиц и фактов лучистых, искупляющих ошибки и преступления? И в самих лицедеях, вами описанных — у Романовых, Победоносцевых, Витте, Плеве, Столыпина, у политиков типа Милюкова и Гучкова, у властителей душ типа Меньшикова, Амфитеатрова, Розанова и т[ак] д[алее], не было разве чего-то положительного, яркого, что оправдывало их власть над думами, их долгую популярность, их «вождизм»? Такой, какой вы изобразили Россию за последние полвека ее бытия, — она ведь оправдание всех злодейств большевиков и их великой лжи. Ваша книга — триумф наших злейших врагов. Напечатать ее должны были по ту, а не по сю сторону рубежа. Взывая к Божьему отпущению, не разжигаете ли вы дьявольского отмщения? Ведь не одни же старики, ваши сверстники, прочтут ее — прочтут ее и молодые, и что же, кроме отвращения к старой России, оставит она в их душах? Какими путями поверят они в великие силы, создавшие великую страну? Не расшатываете ли вы их веру в вами же выдвигаемую правду против большевистской лжи, их решимость бороться с этой ложью? Словом — не медвежью ли услугу оказываете вы вашими, может, и справедливыми, очерками великому делу спасения России, и это в момент, когда приблизились сроки этого спасения?

Я слышу этот «глас народа», я читаю его в уничтожающих рецензиях моего труда. Я сам подсказываю слова этих рецензий. И — я не беру назад сказанного, не краснею. Еже писах — писах. Безмерно приятнее мне была бы роль лауреата моей отчизны. Но и роль обличителя закономерна. Пожалуй, именно теперь, накануне нашего спасения, роль обличителя **нужнее** роли лауреата. Ибо повторение старых ошибок и преступлений бросит нас вновь в руки дьявола, и уже — навеки.

Но я не могу расстаться с повестью обличения, не обличив и самого себя. Как ни скромна была моя роль в огромном государстве, скованном гением народа, гигантского муравейника, пчелиного улья, скоплявшего мед жизни для произрастания единой правды, единого центра — своей царицы, каким бы ничтожным муравьем, какой бы рядовой пчелой или трутнем я ни был в этом пчельнике и муравейнике, у меня были присвоенные мне функции, был долг, были обязанности и осталась ответственность. Небольшой человек, я должен нести эту ответственность наравне с людьми большими. Я не был ни министром, ни сановником, ни «вождем», и я не делал истории; но я был близким свидетелем дел больших и малых, тенью тех, кто творили историю. И Провиденье одарило меня способностью отличать малое от большого, запечатлевая то и другое. Использовал ли я на пользу родине свое служебное и общественное положение, свой дар и свой долг писателя? Принес ли на алтарь служения родине выгоды в преимуществах моего положения и моих возможностей? Увы и ах, нет! Карьеру делал у царей Витте, у общественного мнения — Милюков, у Столыпина — Гучков, у Суворина — Меньшиков, у революции — Керенский, у большевиков — Горький, карьеру делал у истории сам царь. Повальная болезнь России на краю бездны — карьеризм. Но ведь и Робеспьер с Маратом, и Наполеон, и Гамбетта с Жоресом, и Гитлер с Эррио делали и делают карьеры. Всякая борьба — не карьера ли? Но между карьеризмом западным и русским есть существенная разница: на западе все карьеры сопряжены с риском и жертвами, у нас они почти всегда были беспроигрышными. Наши карьеристы решительно ничем не рисковали и не жертвовали. К началу ХХ-го века Россия выветрилась от государственных и гражданских подвигов. Не было риска быть ни левым, ни правым, прислуживаться или бунтовать, ходить «ку Плеве или ку Витте», бить лбом перед царем или называть его дураком, слагать или разлагать армию, лизать подошвы или клеветать, ездить «на левых ослах» или на себе их возить — все шло на потребу, было беспроигрышно, прибыльно для карьеры. Таким карьеристом был и автор сих строк.

* * *

Свою литературную карьеру я начал в журнале кн[язя] Мещерского «Гражданин». Там я писал фельетоны под общей рубрикой «Маленькие мысли», за подписью «Серенький». Фельетоны обратили на себя внимание, и Суворин, писавший в «Нов[ом] вр[емени]» «Маленькие письма», сказал мне:

— Содержание одобряю, а подпись нет. Унижение паче гордости. Впрочем, эка невидаль написать хороший фельетон: выпью черного кофея, выкурю дюжину сигар и напишу не хуже...

Другой такой же талантопоклонник и корыстолюбец, Амфитеатров, расхвалив в газете «Россия» мою первую книгу «Записки юнкера»[668], так закончил свою апологию:

«Автор покрыл себя неувядаемым позором, печатаясь на страницах “Гражданина”».

При свидании же со мной прибавил:

— Мы все знаем, что Мещерский не дурак, но мы **обязаны** считать его таковым...

Вот почему, когда Дорошевич спросил меня, как я намерен подписывать статьи, дав понять, что желательно что-нибудь более звучное, чем мои прежние псевдонимы, я, бросаясь из крайности в крайность, выпалил:

— Баян.

— Баян так Баян!

— Я пошутил.

— Боитесь «песен громких»?

— Боюсь.

— Спеть-то вы споете, а вот где сядете?

Из «Гражданина» в «Русское слово» — дистанция большая. Не говоря уже об «одиозности» органа кн[язя] Мещерского, аудитория его была в 2 тысячи реакционеров, а у «Русского слова» — около миллиона прогрессистов[669]. Первые мои опыты были поэтому не из легких — пришлось и впрямь больше петь, чем говорить. Но после успеха «Большого человека» дерзость моя преодолела мою трусость.

Обаяние Дорошевича на всех сотрудников «Русского слова» было безгранично. И у Суворина было это обаяние. Но старик лукавил, подсиживал, лгал и, вообще, вел игру, по выражению англичан, «не честную». А Влас, как медведь, пер на рожон, подгребал под себя, сыпал без меры своим талантом и высасывал без меры чужой. Оба были деспотами; выше всех правд земных ставили успех. Но Суворин был ближе к скорпиону, а Дорошевич — к коршуну.

И «Новое время», и «Русское слово» держали в струнку русское правительство; оба боролись со скукой и бездарностью русской жизни; но Суворин в этой борьбе не забывал своих интересов. А Дорошевич чхал на интересы Сытина. Для Дорошевича все сводилось к моральной власти, для Суворина — к реальной. Вот почему в революцию 1905 года Суворин изменил общественному движению, а Дорошевич в революцию 1917 г[ода], не одобрив ее, сложил оружие. Но оба, в техническом отношении, были редакторами, которых до них и после них не было и вряд ли когда будет.

Перекрасившись из «Serенького» в Баяна, я перешагнул из одной эпохи моей жизни в другую — из эпохи приватности в эпоху общественности. Крещение это явилось для меня порогом, за которым я оставил мои личные связи и мою деятельность закулисную, — сменив их на связи политические и на деятельность открытую. В этом смысле новый псевдоним меня обязывал и перед совестью, и перед людьми, — обязывал потому, что и совесть моя, и, главным образом, люди, под этим новым покровом, за этим ярким щитом, дали мне возможность вырваться из сомнительной тени интриг на яркий свет борьбы, положили крест на моих старых грехах, зачеркнули все двусмысленности моей карьеры и моей странной близости к таким крупным делателям истории, как гр[аф] Витте, Плеве, кн[язь] Мещерский, на каковую близость не давало мне право ни мое рождение, ни образование, ни способности. Под этим ярким именем, связанным с именем великого поэта, я из подсудимого как бы делался судьей. Только шалый успех моей пьесы («Большой человек») дал мне повод заимствовать это светлое имя, и только удельный вес Дорошевича позволил мне его удержать. В поэме Пушкина есть и другое имя, столь же темное, сколь светло имя Баяна, — Рогдай[670]. Его я приберег для «Нового времени». За подписью «Рогдай» не появилось ничего, что бы не могло быть подписано Баяном; но не Суворин с «Нов[ым] вр[еменем]» выве-

ли меня из тени прошлого к свету будущего, а Дорошевич с «Русск[им] словом». Вот почему тем, кто считает себя вправе меня ныне судить, я предлагаю, прежде всего, познакомиться с деятельностью моей, как Баяна.

Главным и непоправимым в карьере Баяна является то, что он «неуч». Кавалерийский штаб-ротмистр вряд ли имеет право на трибуну проповедника. Допустим, что прецедент Баяна не первый: Дорошевич тоже не прошел высшего образования, не коснулись его и многие «лихачи» «Нов[ого] вр[емени]» во главе с Сувориным. Русскую историю последнего пятидесятилетия царизма делали почти сплошь «неучи». Сам Витте, хоть и отличный математик, был детски наивен в вопросах истории, философии, социологии. Все его реформы были ему продиктованы окружавшими его людьми науки. Но наше освободительное движение находилось почти целиком в руках людей и просвещенных, и ученых. В этом смысле, пожалуй, Россия ничем не отстала от Европы, — тамошним Каутским, Эвальдам, Мишле, Рорбахам, Оствальдам у нас соответствовали Петрункевичи, Винаверы, Милюковы, Муромцевы, Кизеветтеры, Стасюлевичи, Кони и многие, многие другие, составлявшие в конце 19-го и начале 20-го века цвет русской интеллигенции. Чтобы стать в позу критика и судьи этих людей, проникнуться их идеями и впрячься с ними в колесницу русского прогресса, мало было смелости и таланта. Был хмель успеха и была инстинктивная чуткость. Ладья Баяна плыла под парусами этого хмеля и этой чуткости. И плыла так целое десятилетие, — важнейшее, за три века царизма.

* * *

Затмение этого десятилетия было не только затмением правительства, но еще более, как мне кажется, затмением общества. В грубых чертах, общество это поделилось на две почти ровные части — левую и правую Россию, соответствующие прогрессу и реакции, либерализму и консерватизму и, даже, монархии и республике. Столь грубое деление (на овец и козлищ, эллинов и иудеев) затушевало не только детали рисунка чрезвычайно сложного, но и его кардинальные черты — затушевало русскую личную жизнь, прогресс и регресс личности, как творца истории.

Журналистика этого десятилетия довольно выпукла — по таланту она была достойным наследием Герцена. Но вся она, как правая, так и левая, зиждилась на **отрицании**. Отрицал Меньшиков в «Нов[ом] вр[емени]», отрицал Милюков в «Речи»; по следам их шел Баян в «Русск[ом] слове». Лично меня вдохновляло, в отношении к власти, лишь **отрицание**. И я кончил тем, что стал отрицать даже своего кумира, Витте. Прогрессивность и талантливость своих публичных выступлений я стал мерить силой отрицания. Если бы не сдержка цензуры, я бы на этом пути дорвался до анархизма.

Оглядываясь на власть той эпохи, я диву даюсь, как, вообще, можно было вести какую-либо политику, имея над собой безвольного монарха, а под собой — воспитанное на отрицании и просоченное злостью (реакционной или прогрессивной) общественное мнение? В московском лицее воспитывался мой сын. Я был в дружеских отношениях с его директором, Кассо, человеком блестяще образованным и весьма прогрессивным. Став министром, он принял меры про-

тив университетской разнузданности[671]. Никто его так злостно не выругал за это, как Баян, — выругал уже умирающего. (Сытин заплатил за эту статью 5 тысяч штрафу).

Как, вообще, отражался анархизм русского общественного мнения (печати) на работе русской власти, я был близким свидетелем на примере Витте. Он божился, что его затравил Николай II. На самом деле его затравили Милюков, Гучков, Суворин, Мещерский. Когда Суворин написал: «Кто кого арестует — Хрусталев Витте или Витте Хрусталева», Витте затрясся гораздо сильнее, чем от корректного вопроса Николая II: «Когда же Вы покончите с революцией?» Министры русского правительства той эпохи трепетали гораздо более в кабинетах Суворина, Мещерского, а может, и Милюкова, чем царя. И сам всемогущий Столыпин, чтобы обезвредить Баяна, снизошел до любезностей Сытину и Дорошевичу.

Политика русской власти была сплошь и рядом никчемной. Но она могла быть лучшей при условиях иной общественности. Между лукавым царизмом (распутинщиной) и злостной общественностью она сплющилась до протопоповщины. Но и сам Протопопов, не затравленный левой печатью, мог бы еще одуматься. С Протопоповым я тоже дружил. И тоже не пощадило его мое перо. Ругать власть было в ту эпоху паспортом благонадежности перед публикой. И потому ругали ее не только кадеты и экстремисты, но и ходивший «ку Плеве» Проппер, и пользовавшийся казенными объявлениями Суворин. Но Баян на этом поприще, пожалуй, отличился особенно.

Гораздо сложнее была роль Баяна в политической неразберихе. Два человека в ту эпоху делали политику — Милюков и Гучков. (Пуришкевичи, Керенские, Балашевы, равно как и «кавказские обезьяны», относились к экзотике). Баян, а за ним и «Русское слово», стали в оппозицию к обоим. Эта страница деятельности Баяна, с моей точки зрения, заслуживающая наименьшего осуждения, принесла мне, однако, наиболее горькие плоды. В войне с кадетизмом и октябризмом я, как личность и как журналист, понес потери самые чувствительные.

Одиум октябризма, как политической смердяковщины, — вот тема Баяна в течение 10 лет. Крылатое «партия потерянного документа» пустил в оборот Баян. Борьба с октябризмом была для «Русского слова» борьбой со Столыпиным. А для меня эта борьба стала целью моей общественной деятельности. Баян специализировался на гучкофобии. Баян выпустил книгу «Пыль», с огненным протестом против Гучкова[672]. Было в этом моем порыве немало от того, что называют «линией наименьшего сопротивления», но было и от искренности. Я бы даже сказал — единственно искреннего.

Борьба же моя с кадетизмом свелась к борьбе с властолюбием Милюкова. Признавая авторитеты таких кадет, как Петрункевич, Муромцев и друг[ие], мы с Дорошевичем изощрялись над личностью «Бога бестактности» Милюкова.

* * *

Витте уже не было. Не было и Ротштейна, Полякова, Варшавского, — моих друзей, спутников виттовской планеты. Финансовый гений великой страны угас. «Хороший ездок на маленькой лошадке» (выражение Витте), Коков-

цов, корректно шел по проторенному Витте финансовому тракту, наводняя Госуд[арственную] думу бюджетными речами. За ним поплелся оборотливый Барк. За ним, в дни Временного правительства, недоуменно шагали земский врач Шингарев и проф[ессор] Бернацкий. Русская казна и русская экономика жили наследием Витте. В банках и правлениях сидели вторые и третьи актеры, — пешки в руках прежних дирекций. Только Утин, Каменка да Путилов были из «стаи славной». И возле них, как мошкара возле электрических фонарей, в бешеной пляске кружилась наживавшаяся Россия. Лозунг «enrichissez-vous»[a] был брошен с соизволения Столыпина и подсказу Гучкова. За этим лозунгом последовал и Баян.

Чтобы отвлечь Россию от политики, Плеве когда-то затеял японскую войну. Ради той же цели Столыпин благословил ажиотаж и грюндерство.

Экономика, как и политика последнего десятилетия царского режима, сделала все, чтобы этот режим развалить. Дельцы и банкиры этой эпохи шли в хвосте сановников и общественных деятелей, или, вернее, вторые в хвосте первых.

* * *

В развале царского режима участвовала и этика. Духовная жизнь страны была столь же мутна и сумбурна, как и физическая. Ни наука, ни литература, ни искусства не дали к закату царизма ничего хоть сколько-нибудь выдающегося. Россия жила тем, что нажила раньше. Те же Горький, Бунин, Куприн, Бальмонт, Брюсов, Мережковский, Розанов, Соллогуб — дети не 20-го, а 19-го века, не свободы, но неволи. Плеяда русских талантов заката царизма была создана в царствование Александра III. В цвете лет и дарования я их помню в 80-ые и 90-ые годы. К 1916–17-му гг. это уже были таланты порядочно истрепавшиеся и исписавшиеся. Бодро встретил революцию, пожалуй, один Горький, да Брюсов, таща за собой на привязи Чуковских, Маяковских и прочую литературную декадентщину. В журналистике были все те же Меньшиков, Дорошевич, Амфитеатров, Яблоновский.

В духовных сумерках того времени люди, прикосновенные к умственной жизни, пытались что-то обновить, наладить. Писатели пересаживались, издатели приспособлялись. Те же имена входили в ту или иную комбинацию, составляли ту или иную, как в картах, игру. Особенно старались два издателя: Сытин и Проппер... Затрудняюсь сказать, кто из них был ловчее и беспринципнее. И кто лучше (нюхом) оценивал таланты. А возле них играло шампанское русской мысли, во главе с Горьким. Про Сытина Витте говорил, что он «торгует русской мыслью». Не знаю, во что оценивал его Горький. Но связь между ними в это десятилетие не прерывалась, и эта связь между торговцем русской мыслью и кладезем русской совести была, пожалуй, самое типичное в духовной жизни той эпохи.

Очень талантливо оценила влияние Горького той эпохи г[оспо]жа Кускова[673]. Он и впрямь нас, интеллигентов-буржуев, в душе презирал, считая «кладовкой с протухшей провизией». Но, наружно, был с нами ласков. Ласкал он не только Сытина, но и меня грешного. А особенно ласков был с известным все-

[a] Обогащайтесь (франц.).

му литературному и сановному Петербургу, представителем Сытина в столице А. В. Румановым (по прозвищу «Румашкой»). Этот миляга-парень, окрутивший Сытина вокруг пальца, был в центре трепотни с перелицеванием газеты «День» в филиал «Русского слова». А роль арбитра в этом вопросе играл Горький. И висел на этой комбинации Баян.

Если прибавить к футбольной игре все теми же 9–10 литературными именами всяческие литературные комбинации, ничем не отличавшиеся от комбинаций деловых, — такие же азартные, вздымавшие нервы и аппетиты, — получится картина этики той эпохи. Дорошевичам, Меньшиковым, Баянам в литературе соответствовали Путиловы, Шайкевичи, Манусы в делах. Таланты и поклонники шли к катастрофе резвым пейсом и рука об руку.

Была еще жизнь духовно-религиозная... Но и здесь на верхушке стояли люди 90-х годов: Розанов, Мережковский с Гиппиус, Шестов, Бердяев, Минский, Тарнавцев, еп[ископ] Антонин и друг[ие]. Когда-то, при Сипягине и Победоносцеве, мы вместе открывали «Религиозно-философское общество» и ходили за благословением к митрополиту Антонию (еврей Минский благоговейно целовал ему руку). Активной роли в этом обществе я не играл. Но, своим влиянием, немало ему помогал. Журнал Мережковского, Гиппиус и Перцова «Новый путь» был выхлопотан мною[674]. А журнал этот спутал немало умов и разворошил немало совестей. Зинаида Гиппиус тогда находила во мне «задатки». Мы собирались то у Розановых, то у Мережковских. Среди нас был даже Дягилев, с его серебряной прядью волос и неразлучным своим другом — Философовым. Мозги наши работали тогда вовсю, а религиозная совесть подвергалась жестоким испытаниям. Помню одно ночное радение у Мережковских. За окнами на площади Спасо-Преображения румянилась майская заря. Первый луч солнца золотил космы, черную разбойничью бороду и грубые мужицкие черты Антонина, тогда еще архимандрита, играя в омуте его черных, лукавых глаз. Антонин говорил, а мы благоговейно внимали. Лучший знаток греческой духовной литературы, он доказывал, что Христос — миф, а христианство — сделка римско-византийско-греческого мира. Розанов хихикал. Мережковский слабо возражал. Я благоговел. Нам с Антонином было по дороге, и мы шли по Невскому, навстречу яркому солнцу и сверкавшим куполам Алекс[андро]-Невской лавры. С развевающейся рясой, космами и бородой Антонин яростно жестикулировал:

— Переселение душ — это единственное, во что можно верить. С этим я примирился, лишь бы не...

Дорогу нам перебежала стая отправлявшихся на водопой крыс.

— Лишь бы не в крысу, — докончил он, вздрогнув.

Этот вот Антонин, умнейший, но и распутнейший (куда распутнее Распутина) монах, светило Алекс[андро]-Невской лавры, к последнему десятилетию режима был уже епископом и под благословение его я подходил в Казанском соборе (не забуду усмешки владыки). С Мережковскими, после того как мавр сделал свое дело, мы раззнакомились. С Розановым даже чуть на дуэли не подрался (он однажды за неимением тем поместил на меня в «Нов[ом] вр[емени]» пасквиль). Словом, головка духовного обновления России, накануне катастрофы, скисла.

Мережковский занимался своими талантливыми компиляциями, Гиппиус наладила какую-то «Синюю лампу»[675]. Духовные дети Розанова «огарочники» усердно творили свои радения. Бывшие сподвижники духовного обновления

были дезавуированы. Владыко Антонин налаживал «живую церковь». В Синоде после «балаболки» кн[язя] Оболенского воцарился никому не ведомый Хвостов[676]. Думали и говорили о войне, о Распутине, о бирже, о «дворцовом перевороте». Но... не о Боге. Бог и деньги, как верно отметил в своей книге Крымов[677], занимали далеко не одинаковые места в людской совести. Разумеется, и в совести Баяна.

* * *

О коррупции русского общества в последнее десятилетие монархии свидетельствуют литература и искусства той эпохи. Успех Вербицкой, Нагродской, Соллогуба, Брюсова, Каменского и гомосексуальной литературы Кузьмина с Ко, головокружительный успех чувственных выступлений Северяниных, Маяковских, Бурлюков, посещаемость притонов сверхдекадентского искусства, вроде «Бродячей собаки»[678], повышенный интерес к эстетическо-эротической художественной журналистике, — решительно все, а не один скандал Распутина, свидетельствует, что к катастрофе Россия приближалась вслепую, — обозленная, одураченная, с вздутыми жадностью и чувственностью. За ней следовал и Баян.

* * *

После «Большого человека» я написал еще несколько пьес. Внушенные моей истеричной подругой, требовавшей для себя главной роли (она вступила в Александринскую труппу), эти пьесы, к счастью, света рампы не увидели. Мой друг и доброжелатель, покойный Южин, по поводу одной из них писал мне: «Что с Вами? Какая метаморфоза свершилась над Вашим дарованием? Где Ваша ясность, точность? Где быт, которого в прежних пьесах Вы являлись мастером? Я ничего не понимаю. Вас заворожили, подменили...»

Меня не заворожили и не подменили; но я, вместе с моей страной, с моими друзьями и ворогами и, может быть, впереди их, катился к пропасти. Росли мои миллионы и, вместе с ними, мое корыстолюбие. Росла возможность использовать, в отведенных мне пределах, литературную славу, а я норовил перескочить за эти пределы, прыгнуть выше себя. Нарушение обетов верности любви повлекло за собой нарушение и других обетов. Каждый день, засыпая и просыпаясь, я говорил себе, что надо что-то сделать хорошее, большое, нетленное и каждый раз утешал себя: «Успею!» Разнузданность духа перевилась с разнузданностью плоти. Пляс Распутина не оскорблял. Людской бойне извне соответствовала людская пляска изнутри. Кровь и шампанское, стоны страдания и наслаждения, горькие слезы и сладкие поцелуи, верность умиравших и измена живших, трагедия и фарс, тащили мою родину, как скотину на бойне, арканом, свитым из вольных и невольных ошибок, преступлений явных и скрытых. Вожди на фронте хмурились, если потери в людях были меньше 30–40%; вожди в тылу требовали потери всех 100% у старых традиций и старой власти. Там умирали за царя, тут копали яму царю. Там скрежетали, здесь болтали. Всероссийский двойник сорвался с цепи, а с ним и русские бесы.

Баян получал немало писем от читателей. К моменту ареста их накопились горы. Судебные ищейки искали в них «измены», а нашли — бездонную русскую душу, трогательное доверие, пытливость, экстаз. Многие из этих писем начинались так: «Дорогой учитель, помогите, научите...» «Учитель» сидел на цепочке, а ищейки недоумевали. В свое время я эти письма не дочитывал, — при все моей развязности было за себя совестно. Но одно из них я дочитал. Вот оно: «Г[осподин] Баян, — мы всей деревней собираемся читать ваши статьи. Складно пишете. И возразить вам ничего не имеем. Окромя одного... Главного. Пишете-то вы, должно быть, в чистой горнице, на хорошем столе (у нашего помещика князя Х. видели такой), и сидите, чай, на хорошем стуле, как наш князь, а под ногами у вас, как и у него, дорогой ковер, а по стенам картины, портреты. Все как следует быть у барина, которому до нашей бедности и темноты, как от неба до земли. Много, чай, денег платят вам за ваши писанья, куда больше, чем нам за нашу черную работу. Оттого и пишете так складно. Не кровью пишете, а как бы этакой фантазией... После нашего трудового дня, когда спину ломит, приятно побаловаться барской фантазией... Только вот, г[осподин] Баян, запомните, в списке, что ходит у нас по рукам, Ваше имя одно из первых — прямо после имени нашего князя. Для нашего князя у нас уже намечена осина. Есть и еще осины в его парке. Ничего супротив вас, как и супротив князя, не имеем. А только не взыщите. Всякому овощу свое время... Был час ваш, а будет наш. Не замайте!»

Письмо это мне контрразведчик возвратил, проворчав:

— Зачем же осины, когда есть виселицы?

Ну вот, и осины, и виселицы Бог дал миновать. Из рук друзей мужичков, из лап охранников и чекистов выскользнул. Хворый и нищий, но живу. И если мое покаяние дойдет до тех, кто для меня осину берег и кто теперь властвует на Руси, к этому покаянию прибавлю:

— Нет справедливее русского народа. Нет отзывчивее русского читателя. Нет глубже русского писателя. Только зачем из народа вылупился чекист, из писателя «разбойник пера и мошенник печати», а из читателя — охранник и клеветник?

Эту главу я писал для смягчения моей вины. Вряд ли я достиг цели. И это потому, что сроки обличения и оправдания прошли. Старая Россия умерла, умирает и новая. Пережившим и ту и другую, на заре появления России третьей, казалось бы, следует искать не оправдания, а отпущения. Мы еще живы, но большинство из нас в агонии. От грядущей на нас гостьи с косой мы заслоняемся мышиной возней. Наша зарубежная общественность на закате 2-ой России, как Распутин на закате 1–ой, пляшет. Danse macabre![a] Но, Боже праведный, Ты читаешь не только в поступках, но и в душах. А в душах наших:

«Ныне отпущаеши...»

[a] Ужасные пляски (франц.).

Приложение 1.
Скандинавия в годы великой войны

Брантинг[679]

В скромной квартире вождя шведских социалистов собралось порядочно народу. Вечер был в честь приехавших из Германии тамошних социалистов. Присутствовали на нем шведские друзья Брантинга, во главе с Ашбергом, и некоторые члены русской колонии[a]. Было просто, радушно, уютно. Ашберг играл на скрипке, кое-кто пел. Но хозяин дома был[b] озабочен и даже удручен. Днем было заседание Ригстага, на котором он произнес пламенную пацифистскую речь, потом было шествие по городу стройных рядов местных рабочих, к которым Брантинг обратился тоже с пламенной пацифистской речью[c]. Социалисты шествовали по улицам Стокгольма как дисциплинированные солдаты — ни одного лишнего возгласа, ни малейшего беспорядка. На меня это шествие «врагов буржуазии» произвело[d] впечатление не то маскарада, не то оперетки. «Враги», т.е. буржуазия и пролетариат, относились друг к другу с величайшей предупредительностью и уважением. Ни один полисмен не вмешался в демонстрацию, закончившуюся возгласами в честь короля. В памяти моей встали шествия петербургских социалистов в день объявления русской конституции (17-го окт[ября] 1905 г[ода]) и в день открытия первой Гос[ударственной] думы. Сердце мое сжалось, и я не без горечи заметил Брантингу:

— Однако ваши социалисты вымуштрованы не хуже ваших солдат.

— А как же иначе? — удивился Брантинг.

— Такие социалисты не опрокинут буржуазного строя.

— Буржуазный строй сам себя опрокидывает. В этом его трагедия.

Уединившись[e] вечером в кабинете хозяина[f], мы продолжили этот разговор.

---

[a] Зачеркнуто: посольства во главе с Неклюдовым.

[b] Далее зачеркнуто: видимо

[c] Далее зачеркнуто: говорили немецкие гости социалисты.

[d] Далее зачеркнуто: странное

[e] Перед этим зачеркнуто: На вечере у Брантинга мы

[f] Далее зачеркнуто: Брантинга

— Вы чем-то озабочены, дорогой г[осподин] Брантинг? Кажется, день прошел складно. Ни одного замешательства...

Мой радушный хозяин склонился еще ниже.

— Да, да! Здесь, в Стокгольме, да и во всей Швеции, слава Богу, еще нет замешательств. А там, на фронтах и в тылу, во всей Европе с ее 350 млн людей — разве не одно сплошное замешательство?! И разве это не... удар по социализму?!

— Крах социализма, — неосторожно вырвалось у меня.

Брантинг судорожно выпрямился[a]. Усталые глаза его сверкнули, длинные усы дрогнули, он воззрился на меня с недружелюбным удивлением.

— Это слово я слышу теперь часто[b]. Сегодня его произнесли не раз в Ригстаге, и даже сам Валенберг[680] не удержался от злорадного торжества. Крах социализма! Крах самой живой, после христианства, идеи, крах всего будущего человечества! Ибо, что же у него еще впереди, если социализм рухнет?

— Немецкое юнкерство! Вильгельм II, Бетман-Гольвег, Стиннес[681]...

Меня подхватило раздражение. Хотя я и знал, чем мы обязаны Брантингу в деле шведского нейтралитета, знал его миролюбие и добрые чувства к России, но я знал также о его уверенности в победе Германии, о его германофильстве. И присутствие на этом вечере[c] немецких социалистов, не сдерживавших своей гордости немецкими победами, меня уже прямо злило. Брантинг смотрел на меня с огорчением.

— Я признаю за вами право так выражаться, — продолжал он, — ибо очевидность против нас. Но вы ошибаетесь по существу. Чем бы война ни кончилась, вторично социалисты не дадут себя увлечь, обмануть...

— Кто же их обманул?[d] Кто заставил их санкционировать величайшее насилие[e] над лучшими идеями человечества, над их собственной святая святых? Каутские, Жоресы, Вандервельды[682] и, наконец, извините, вы сами здесь, — разве же это не была мировая сила, которая могла и должна была противостоять силе немецкого юнкерства?! А социалистические конгрессы, 2-ой интернационал?[f] На них произносилось столько громких речей, покуда ружья еще не палили и кровь не лилась. Но с первыми выстрелами, с первой каплей крови, все было забыто. И ведь довольно было одной резолюции, одного приказа по рядам мирового социализма, чтобы массы солдат побросали ружья. Социализм упустил единственный момент в мировой истории, чтобы доказать свое raison d'etre[g], свое господство над буржуазностью, подчеркнуть свое великое будущее... И этого уже не поправишь.

Увлекшись, я не заметил, как мой собеседник бледнел и склонялся к столу. Я не заметил влажности его глаз, дрожания рук.

— Вы забыли и о другой мировой силе, которая тоже могла остановить кровопролитие и не сделала этого... О католичестве, о римском Престоле! Папа ведь

---

[a] Далее зачеркнуто: как от удара острием в грудь.

[b] Перед этим зачеркнуто: Вот-вот.

[c] Далее зачеркнуто: моих врагов

[d] Далее зачеркнуто: в первый раз?

[e] Далее зачеркнуто: германизма

[f] Вместо зачеркнутого: Были социалистические конгрессы, был 2-ой интернационал.

[g] Смысл существования (франц.).

тоже мог проклясть войну... И миллионы католиков в Германии, Австрии, Франции тоже побросали бы ружья. Однако он этого не сделал.

Брантинг выпрямился, на щеках его заиграл румянец.

— Вы правы, момент в мировой истории упущен. Но он не последний, уверяю вас: Накануне объявления войны, в этом самом кабинете, я говорил с вождями немецкого социализма. Мы решили войны не допустить. Я телеграфировал Жоресу, Вандервильду. Мы были в себе уверены. И вдруг все рушилось, как по мановению волшебного жезла. Те самые люди, что здесь заверяли меня в невозможности войны, через несколько дней в Берлине кричали ho[c]h[a] кайзеру и ассигновали в Рейхстаге военные кредиты. Наваждение? Да, подлинное наваждение! Но я вам скажу причину его. У социализма есть враг сильнее буржуазии, капитализма и империализма. Враг этот — национализм. Сила этого врага в том, что он не становится лицом против нас, а идет даже иногда об руку с нами. Сила его в том, что он не привит внешними условиями жизни: неравенством, эксплуатацией, утеснением, что он не в мускулах и не в мозгах, а — в крови. Он носится вместе с кровавыми шариками как ядовитые микробы, и когда мускулы и мысль работают за нас, сердце работает против нас. Вот этого мы не учли. Но Рим это учел, и против этой сокрушительной силы чувства он не решился выступить.

— Как же Вам, г[осподин] Брантинг, удалось справиться с этой сокрушительной силой здесь, в Швеции, где национализм шведский почти отождествил себя с национализмом германским? Ведь и вы, будем откровенны, не лишены этой заразы. Вы очень любезны и великодушны к нам, русским. Ваш дом нам открыт, и ваше сердце болеет нашей болью. Но ведь те, что сидят там, в гостиной, ваши гости из Германии, ближе вашему сердцу, чем мы, и это не только потому, что они социалисты.

Брантинг пожал мне руку.

— Вы наблюдательны, мой друг. И Вы искренны. Спасибо! Я тоже буду искренен. Я люблю все народы. Англичане, французы, русские — разве это не цветы того же роскошного цветника человечества?! Разные, но одинако[во] прекрасные?! К русским у меня особое чувство любопытства и восхищения. Ваша история, ваш гений меня волнуют, как и история и гений Скандинавии. Но ваш режим! Он отталкивает меня как чума, как проказа. Я не вполне одобряю книгу моего друга Стефанса о России, но я понимаю его чувство оттолкновения от России. У меня этого чувства нет, но у меня есть чувство опасения. Я, извините, не верю вашему правительству и даже вашим свободолюбцам. Почему? Потому что у вас нет дисциплины мысли и чувств. Вы все немножко босяки Горького. Вы не обидитесь? Но вы чертовски талантливы и интересны. И я уверен, что в будущем человечества вы, пройдя через тяжкие испытания, которые я предчувствую, вы сыграете огромную роль... Англичане? Вы не раз делали мне честь, восхищаясь аристократичностью нашей расы. При всем моем демократизме, я тоже чувствую этот аристократизм, понимаемый как черта духовная, и горжусь им. С Англией нас связывает именно этот духовный аристократизм. Мы восхищаемся историей Англии, ее конституцией, оппозицией Его Величества, верностью традициям, мощью физической и проч. Но... это восхищение скорее умственное, чем сердечное. И оно лишено элемента некоего, свойственного и нам, мистициз-

[a] Ура! (нем.).

ма, любопытства. В Англии нам все понятно. Мы преклоняемся перед Шекспиром; но нам ближе наши Ибсены, Гамсуны, Стриндберги... Франция? Это сложнее. С французами у нас ничего нет общего. Но именно потому Les extremites se touchent[a]. Французский гений нам всегда импонировал. И со времен Наполеона покорил. Мы долго шли на буксире Франции. Разорвала этот буксир родственная нам по крови Германия. С 70-х годов наши две культуры двигались локоть к локтю. В материальном отношении Германия нас далеко опередила. Но в духовном, пожалуй, мы идем впереди Германии. Во всяком случае, все великие идеи 19-го века мы впитывали в себя одновременно с Германией и разрабатывали их дружно. Мы стали германофилами не только потому, что наши воинская сила организована по образцу германской, что наша индустрия подражает индустрии немецкой и что материалистический рост Германии заворожил нас, — мы германофилы еще и потому, что у нас общая с немцами дисциплина духа и плоти и общи наши идеалы человеческого счастья... И что наши два национализма почти слитны. Это[b] трудно понять. Но поверьте, не столько аристократизм и шовинизм толкает Швецию к выступлению на стороне Германии, сколько именно этот шведско-германский национализм. Обида Германии чувствуется у нас, как обида Швеции. Победы Германии празднуются как наши победы. Это ужасно для нашей политики в эти тревожные дни. Но это так.

— И, тем не менее, вам удается удерживать[c] ваш шведско-германский национализм в границах благоразумия.

— В этом смысле наши социалисты искупают[d] свою вину. Но нам помогает[e] король и наши политические враги...

— Ибо ведь[f] разгром Германии сгубил бы Швецию. Не так ли?

Брантинг усмехнулся.

— Германию разгромить нельзя. Ибо нельзя разгромить немецкий патриотизм и дисциплину.

Баян

Судьбы мира

В стокгольмском политическом муравейнике эпохи великой войны, кроме лиц официальных, вращались еще лица неофициальные, германского и русского происхождения. Из немцев наиболее крупными были: Стиннес, Эрцбергер, Варбург.

Как я уже говорил, Стиннес принадлежал к королям германской металлургии и углепромышленности. В коммерческом отношении, он не был сильнее Тиссена, Круп[п]а, Ратенау[683] и других промышленных магнатов[g] той эпохи. Со-

[a] Крайности сходятся (франц.).
[b] Далее зачеркнуто: очень
[c] Вместо зачеркнутого: удалось удержать
[d] Вместо зачеркнутого: искупили
[e] Вместо зачеркнутого: помог
[f] Вместо зачеркнутого: да, да
[g] Вместо зачеркнутого: немецких магнатов промышленности

стояние[a] его до войны оценивали в 100 млн. марок. Война сделала его миллиардером. Но не одна нажива составляла цель жизни этого типичного немецкого националиста, с внешностью грека или армянина. Сын простого вестфальского углекопа, Стиннес создал свое имя и состояние исключительными дарованиями организатора[b]. Эти дарования и свой патриотизм он предложил в эпоху войны к услугам германского правительства и командования[c].

Заветными целями Стиннеса были: мировая гегемония Германии и деловая гегемония в Германии его, Стиннеса. Сообразно этому он, в качестве ярого шовиниста, стал тенью Бетман-Гольвега, Людендорфа и Тирпица[684]; а в качестве крупнейшего дельца, стал во главе могущественного германского концерна, объединившего почти все отрасли германской промышленности. Скандинавия стала ареной его деятельности[d] и в коммерческом, и в политическом смыслах: Швецию он снабжал углем, а из Швеции, Дании и Норвегии вывозил руду и съестные припасы. В политическом же смысле он сначала[e] работал для выступления Швеции на стороне Германии, а потом[f] для сепаратного с Россией мира. Агенты Стиннеса в Швеции и он сам, в свои частые наезды в Стокгольм, выискивали для этой цели влиятельных русских. Среди этих последних ему удалось завязать сношения с видным членом партии кадетов, неким кн[язем] Бебутовым. А Бебутов привлек к группе Стиннеса кое-кого из русских журналистов. Затевалась в Петербурге новая пацифистская газета. Но[g] проект этот не осуществился.

В своих переговорах[h] с русскими Стиннес, от имени Бетман-Гольвега и Людендорфа, предлагал России за сепаратный мир: Галицию и проливы. Но требовал для Германии Курляндии и части Литвы с г. Вильно.

— Без Курляндии, — говорил он, — Германия не может существовать экономически, без Вильно — стратегически.

Стиннес до самой катастрофы не сомневался в окончательной победе Германии, уверяя[i], что немецкая подводная война уничтожит и английский, и американский флоты[j]. Но Россия была ему нужна как рынок для сбыта немецких товаров. И потому он делал все, чтобы выключить Россию из числа врагов Германии.

К этой же цели, но с другой стороны, подходил и заклятый политический враг Стиннеса, Эрцбергер. В качестве главы партии католического центра, Эрцбергер[k] неустанно боролся[l] с Германией реакционно-юнкерской и лютеранской. Война их временно примирила. Но когда целью Германии стал сепаратный мир с Россией, эти два вождя германской общественности столкнулись

[a] Перед этим зачеркнуто: до войны

[b] Вместо зачеркнутого: организационными дарованиями.

[c] Далее зачеркнуто: в эпоху войны, для достижения своих заветных целей.

[d] Далее зачеркнуто: в 1914–1918 гг.

[e] Вместо зачеркнутого: в первый год войн

[f] Вместо зачеркнутого: когда это ему не удалось

[g] Далее зачеркнуто: кажется

[h] Вместо зачеркнутого: сношениях

[i] Далее зачеркнуто: всех

[j] Далее зачеркнуто: Вера в Германию была у него искренна.

[k] Далее зачеркнуто: в Германии

[l] Вместо зачеркнутого: воевал

вплотную. Ареной их столкновения была Швеция, а последствиями — немецкая катастрофа.

Шел третий год войны. Истощение Германии на фронте, еще мало заметное, с каждым днем становилось яснее в тылу[a]. Эрцбергер проскользнул в Стокгольм. Здесь ему удалось войти в контакт с русскими неофициальными кругами. Переговоры о сепаратном мире с Россией развернулись в переговоры о мире общем. От имени Бетман-Гольвега Эрцбергер предлагал мир на условиях status quo, обещая возмещение[b] потерь Бельгии, восстановление разрушенных областей[c] Франции, а для России — Галицию и проливы. О передаче Германии Курляндии и Вильно Эрцбергер не заикался. Условия Эрцбергера показались русским заманчивыми. Но они требовали серьезных доказательств[d]. Эрцбергер обещал соответственное выступление в Рейхстаге Бетман-Гольвега. Выступление это должно было иметь место через два дня[e]. Эрцбергер поскакал[f] в Берлин.

Но среди русских был один, с которым вел раньше переговоры Стиннес. Он[g] поспешил повидаться с агентом Стиннеса, и между ними произошел такой диалог:

— Вы требуете за мир уступки Курляндии и Вильно. А нам предлагают мир без этих уступок.

— Кто предлагает?

— Эрцбергер.

— Он не уполномочен.

— Он говорил от имени канцлера.

— Врет.

— Канцлер об этом скажет публично.

— Пусть попробует!

— Речь назначена на послезавтра.

— Посмотрим!...

В назначенный день канцлер действительно произнес в Рейхстаге речь, но она была не миролюбивой, а воинственной. Об условиях Эрцбергера не было произнесено ни слова[h].

Впоследствии оказалось, что за час до заседания Рейхстага Бетман-Гольвег получил свыше инструкции, противоположные прежним: победили Стиннес и Людендорф[i].

Эпизод этот не единственный в истории великого столкновения (ниже я расскажу о других). Характерное и поучительное в нем то, что как в эту историче-

---

[a] Далее зачеркнуто: Стиннес был занят своими заводами.

[b] Далее зачеркнуто: Германией

[c] Вместо зачеркнутого: разрушения во Франции

[d] Далее зачеркнуто: германского миролюбия

[e] Вместо зачеркнутого: Эрцбергер заявил, что Бетман-Гальвег готов выступить в Рейхстаге с речью, по существу [одно слово не разобрано] предложениями его, Эрцбергера. Русские были удовлетворены. Речь Бетмана-Гальвега была назначена на послезавтра.

[f] Вместо зачеркнутого: полетел

[g] Вместо зачеркнутого: Этот русский

[h] Далее зачеркнуто: Оказывается, агент Стиннеса после вышеприведенного разговора поскакал в Берлин, Стиннес поскакал к Людендофу, а последний — к кайзеру.

[i] Далее зачеркнуто: и Гинденбург уверили кайзера в окончательной победе Германии. Эпизоду этому теперь трудно поверить, хотя и имеются его живые свидетели. Но

скую эпоху, последствия которой человечество еще переживает, великое мешалось с малым, трагическое — с комическим. Не разболтай участник переговоров с Эрцбергером о сущности их агенту Стиннеса, Бетман-Гольвег, несомненно, протянул [бы] тогда оливковую ветвь, а союзники, удрученные неудачами (это было до назначения Фоша)[685], несомненно, за нее ухватились бы.

В Стокгольме тогда не только наживались и веселились — в Стокгольме решались судьбы мира[a]. Стиннес и Эрцбергер умерли в цвете лет, и память о них вытеснили теперешние Гугенбурги и Хитлеры. Но 16 лет тому назад, на небольшом клочке Стокгольма между Рояль-отелем и Хассельбанкеном, эти два враждовавшие вождя двух Германий, один — опираясь на римского папу, другой — на рехнувшегося теперь Людендорфа, держали в своих руках судьбы мира. Вспоминая о Стокгольме, я вспоминаю об этих погасших звездах. И раздумываю о хрупкости судеб мира.

Баян

Попытки сепаратного мира

Начиная с 1915 г[ода], Стокгольм являлся ареной попыток Германии к сепаратному миру[b]. Лично мне известны четыре такие попытки. Но, несомненно, их было больше и, несомненно, что попытки эти делались не только в Стокгольме, но и в других нейтральных странах — Испании, Голландии и, особенно, в Дании.

В Копенгагене имел свою главную квартиру известный германский агент Парвус, впоследствии агент большевиков. Он играл при гр[афе] Броксдорфе-Ранцау такую же роль, какую при Люциусе в Стокгольме играли Красин, Фюрстенгоф[686], Варбург и друг[ие]. Парвус не только маклеровал сепаратный мир, но и снабжал в широких размерах Германию датскими товарами. За годы войны он нажил большое состояние. Имя его в России стало синонимом предательства, но в кругах большевиков он был persona grata и служил в первые годы большевистского господства связью между большевиками и Германией. Мрачная фигура Парвуса врезывалась в память с такой же силой, как фигура схожего с ним внешне и внутренне известного агента русской охранки Азефа. Но Азеф, как известно, окончил свои дни в бедности в Берлине, а Парвус умер в богатстве и в почете в своей роскошной вилле в Копенгагене[687].

Из всех попыток Германии в Стокгольме к сепаратному миру с Россией нашумела попытка гамбургского банкира и советника Люциуса по банковским делам Варбурга. В эту попытку был невольно замешан автор этих строк. Дело было так.

Из Петрограда выехала в Европу для ознакомления с настроениями стран наших союзников делегация Гос[ударственной] думы. Состояла она из вождей разных думских партий, и на чем[c] ее стал тогдашний товарищ председателя Гос[ударственной] думы, член партии октябристов Протопопов. В делегации

[a] Вместо зачеркнутого: участь человечества
[b] Далее зачеркнуто: с Россией
[c] Так в оригинале.

участвовал и вождь партии ка-дэ Милюков. Объехав Англию, Францию, Румынию, Сербию и Италию, делегация возвращалась через Стокгольм в Россию[a]. С Протопоповым я был близко знаком по Петрограду. В качестве сотрудника самой большой русской газеты «Русск[ое] слово», мне приходилось быть в тесных сношениях с выдающимися политическими деятелями той эпохи. Протопопов[b] производил[c] впечатление[d] легкомысленного политического шалуна, дельца и шармера[e]. Эластичный октябризм служил ему ступенью к карьере. Он был яркой противоположностью вождя ка-дэ Милюкова, который открыто презирал и партию октябристов, и ее[f] вождей. Вынужденный стать под эгиду Протопопова в путешествии по Европе, Милюков всюду демонстрировал это презрение. И делегация Гос[ударственной] думы проехалась по странам союзников, как Ноев ковчег с чистыми и нечистыми зверями или как бродячий цирк с заключенными в клетки, ненавидящими друг друга хищными зверями. Поездка эта была одним из ляпсусов умиравшего уже русского строя, одной из публичных демонстраций всероссийской политической розни, одним из скверных анекдотов заката царизма и русского парламентаризма[g]. В бытность свою в Стокгольме Протопопов еще не проявлял[h] симптомов болезни (прогрессивного паралича), которая несколько месяцев спустя, на посту министра вн[утренних] дел, сказалась с очевидностью. Но уже и тогда, в эпизоде с Варбургом, ненормальность этого парламентария и будущего хозяина внутренней жизни великой страны была несомненной.

С Протопоповым, несколькими парламентариями, известным русским нефтепромышленником Поляком и m-me Поляк мы завтракали в Рояль-отеле. Зал был переполнен интернациональной публикой. Протопопов охорашивался перед хорошенькой m-me Поляк. Без умолка тараторил.

— Что делается у союзников, — говорил он, — мы знаем. А вот что делается у врагов? Вы здесь среди них... Не дадите ли нам возможность потолковать с ними?...

Я оглянул зал, на другом конце коего сгруппировались наши «враги» — немцы. Среди них был Варбург и мой петроградский приятель, директор одного русского завода, немец Трек.

— Это нетрудно, — ответил я, — вон там, среди «врагов», один из моих петроградских «друзей»[i]. Хотите с ним познакомиться?[j] Он вам устроит свидание с Варбургом.

— Очень хочу.

[a] Вместо зачеркнутого: в Петроград

[b] Далее зачеркнуто: тогда уже

[c] Далее зачеркнуто: на меня

[d] Далее зачеркнуто: довольно

[e] Далее зачеркнуто: Он явно делал политическую карьеру и

[f] Далее зачеркнуто: эластичных

[g] Далее зачеркнуто: И чтобы анекдот этот запечатлеть в истории, русские парламентарии выбрали своим патроном самого легковесного и беспринципного из них, к тому же жертву грехов юности, прогрессивного паралитика Протопопова.

[h] Далее зачеркнуто: ярких

[i] Вместо зачеркнутого: милейший мой друг из Петрограда — Трек. С ним правая рука Люциуса Варбург.

[j] Вместо зачеркнутого: я вас познакомлю с Треком?

Вмешался в разговор Поляк.

— А я вам представлю для этого свидания нейтральную почву — мои апартаменты здесь. Идет?

— Abgemacht![a]

Знакомство состоялось после завтрака, а свидание с Варбургом у Поляка — к вечеру. На этом свидании не было произнесено ничего, о чем бы русские официальные и неофициальные круги не знали. Варбург повторил то, что говорили Стиннес, Эрцбергер, Парвус и другие немецкие агенты. Но Протопопов, приняв таинственный вид, увозил эту всем известную «тайну» как нечто ценное. И в Петрограде он ее разболтал, приукрасив. Враги Протопопова во главе с Милюковым всполошились. Хотели на этом сломать шею кандидату в министры. Изворачиваясь, Протопопов припутал к свиданию с Варбургом нашего посланника г[осподина] Неклюдова. Ложь обнаружилась. Скандал прогремел. Но он не помешал Распутину посадить своего друга Протопопова на министерское кресло.

Сидя в изоляторе Петропавловской крепости при Времен[ном] правительстве, то рыдая, то по-собачьи лая, в полном развитии прогрессивного паралича, Протопопов в числе своих заслуг перед Россией ссылался и на свое стокгольмское свидание с Варбургом, когда он, будто бы, «спас Россию от козней Германии». Кроме этой попытки и стараний Стиннеса, Эрцбергера, Парвуса, в Стокгольме и Копенгагене имели место еще и другие попытки[b] к сепаратному миру. Попытки эти завивались вокруг дворцов и редакций влиятельных газет.

Когда Люциус с его окружением увидели, что их старания к вовлечению в войну Швеции потерпели неудачу, вся их энергия направилась к тому, чтобы посредниками (честными маклерами) между Германией и Россией, к восстановлению их традиционной дружбы, стали династии Швеции и Дании и общественное мнение этих стран. Пацифистская волна[c] прокатилась по шведской и датской прессам уже с конца 1915 года. Волна эта приветствовала прибытие в Стокгольм пацифистской «миссии» Фарда. Со своей стороны, и высшие круги Швеции, с Валенбергом во главе, при активной поддержке Брантинга напрягали благородные усилия к умиротворению Европы. В этом смысле попытки к сепаратному миру, как первому шагу к миру общему, и шведской прессой, и шведскими высшими кругами приветствовались. Наше посольство в Стокгольме осаждалось известными и неизвестными лицами, принявшими миссию примирить Германию с Россией. Среди первых был болгарский экс-министр Ризов, враг Фердинанда[688], но друг России. Среди вторых были даже медиумы, устами[d] которых сепаратного мира требовали обитатели загробного мира. Но за русским посольством в Стокгольме и за русскими пацифистами зорко следили очи союзников[e].

Как это ни странно, но между союзниками в Великую войну доверия не было. В своей книге о союзниках шведский социалист Стефанс между прочим пишет: «Один из видных английских политических деятелей (фамилия названа) сказал

[a] Решено (нем.).

[b] Вместо зачеркнутого: старания

[c] Перед этим зачеркнуто: Уже с конца 1915 г.

[d] Вместо зачеркнутого: посредством

[e] Далее зачеркнуто: Баян

мне: “Дайте лишь окончить эту войну, и мы посадим Россию на ее место — место дикаря”...»

Стефанс может немного и преувеличивать, но в общем он был прав. Самым ярким свидетельством недоверия Англии к России[a] был тот унизительный для России факт, что, дав России заем для военных надобностей, Англия не только потребовала от России эквивалентного количества золота (которое отвез в Лондон лично русский мин[ист]р финансов Барк), но и не выдало союзнику этого займа на руки, производя по своему усмотрению уплаты за счет России по русским заказам. Такого отношения[b], вероятно, не вынесла бы Австрия со стороны Германии.

Об отношении к России союзников[c] свидетельствует поведение Ллойд Джор[д]жа[d] и Клемансо на Версальском конгрессе[e]. В годы Великой войны у союзников России было учреждение, напоминающее теперешнее ГПУ у большевиков. За поведением русского посольства в Стокгольме зорко следили из Копенгагена; а за Копенгагеном — из Стокгольма. Боязнь сепаратного мира России с Германией не оставляла Англию и Францию. Может быть, это и помешало усилиям Германии и Швеции, направленным к этой цели.

В своих мемуарах о Швеции в годы Великой войны г[осподин] Неклюдов между прочим передает разговор свой с королем Густавом V-м. «Я должен Вам откровенно сказать, г[осподин] Неклюдов, — сказал король, — что я не вижу возможности победы ни той, ни другой из воюющих сторон. Уже более 18-ти месяцев, как длится эта ужасная бойня. Нет оснований надеяться, что она не продлится еще два года без иного результата, как смерть, разорение и несчастье человечества. Что будет с Европой после этих ужасных лет! Вот почему у нас продолжают пламенно желать восстановления мира!»[689]

Эти искренние слова благородного монарха дают ключ к попыткам мира, общего или только сепаратного, имевшим место на территории Швеции.

Баян

Благородная нация

Только[f] вспоминая и вдумываясь в пережитые Россией после великого столкновения события и сравнивая теперешнюю долю русской эмиграции, в разных местах ее рассеяния, с долей во время войны русских беженцев и русских инвалидов в Швеции, оцениваешь по справедливости[g] благородство потомков викингов.

В политическом, как и в социальном, отношениях Швеция той эпохи была разделена на два лагеря: аристократический, буржуазно-консервативный и

[a] Вместо зачеркнутого: своему союзнику
[b] Вместо зачеркнутого: факта
[c] Вместо зачеркнутого: Англии
[d] Зачеркнуто: при большевиках и поведение
[e] Далее зачеркнуто: Я могу здесь засвидетельствовать факт, что
[f] Далее зачеркнуто: теперь, 15-ть спустя
[g] Далее зачеркнуто: аристократизм

демократически-социалистический (Валенберг–Брантинг). Оба эти лагеря имели равное основание не любить Россию и не жаловать русских. Вся история Швеции, у которой русский империализм отнял Финляндию и Аландские острова[a], оправдывал бы такое отношение. Есть еще нация, пострадавшая от русского империализма — поляки. Шведы были не менее обижены Россией, чем поляки. И шведы[b] чужды нам по крови. А, между тем, какая резкая черта отделила друг от друга эти две «жертвы» русского[c] царизма![d] Валенберг и Пилсудский! В то время как первый, во всеоружии шведской державности и в момент наибольшего исторического значения Швеции, не поддался искушению окружавших его шовинистов и проявил максимум политического такта и человеколюбия, недавний экспроприатор и террорист, предававший одновременно и Россию, и Австрию, «маршал» Пилсудский даже после разгрома России мстил и продолжает мстить ни в чем не повинным русским беженцам в Польше. Параллель между потомками Карла XII-го и потомками королей, которых бил Карл XII-ый, не в пользу последних. При всей своей национальной гордыне и заносчивости, поляки как нация столь же мало благородны, сколь благородна нация скандинавов.

Для русских симпатии не было места и у шведских социалистов. Хотя у шведов не было своих Рорбахов и Каутских, специализировавшихся на русофобстве, но были свои Стефансы, разделявшие мнение английских лордов и немецких юнкеров о «дикости» России и ненавистности ее режима. Но эта антипатия к стране царизма не вытравила симпатий Брантингов и Ашбергов к официальным и неофициальным представителям России в годы Великой войны. Благородная помощь шведской нации и шведского правительства пострадавшим от военных действий русским сказалась в[e] трех направлениях: помощь русским беженцам, наводнившим Швецию из стран Центральной Европы, посредничество в сношениях с русскими пленными и помощь русским раненым, следовавшим[f] в Россию. Первая категория русских (преимущественно евреев) состояла из паникеров, устремившихся, как Панургово стадо, к границам России[g]. Стадо это нахлынуло на Швецию без денег и часто без багажа, голодное, больное, обезумевшее от страха. Русское посольство организовало Комитет помощи этим несчастным. В своих мемуарах г[осподин] Неклюдов отмечает: «Огромную помощь нашему Комитету оказали сердобольные шведы, консул Стромберг и д[окто]р Линдберг сделали в этом смысле чудеса для выполнения нашей задачи — лечить, кормить и размещать несчастных беженцев. Серьезную помощь оказал нам и шведский отдел Армии спасения... Все проезжавшие через Стокгольм русские были обеспечены сердечным участием шведов к их доле[h], а больные, размещенные в стокгольмских госпиталях, находили там прекрасный уход... Когда наплыв беженцев

[a] Далее зачеркнуто: вопили против шведско-русских симпатий
[b] Далее зачеркнуто: не были славянами
[c] Далее зачеркнуто: империализма
[d] Далее зачеркнуто: Как два противоположных типа
[e] Далее зачеркнуто: двух главных
[f] Далее зачеркнуто: из Франции
[g] Далее зачеркнуто: через Берген
[h] Далее зачеркнуто: нашего комитета

несколько сократился, явилась другая неотложная задача: помочь русским в их[a] сношениях с родными, плененными в Германии. Так как число русских пленных беспрерывно росло, и не было другой возможности снестись с ними и им помочь, как через нейтральную Швецию, где жили обок представительства России и Германии, то, естественно, эта деятельность русского представительства при содействии шведских властей все росла, пока не выросла в крупный орган благотворительной помощи.

В первый год войны содержание русских пленных в Германии было поистине отвратительным. Тевтонская ярость к врагам еще не остыла, а воинские успехи германцев наполнили их злостным торжеством. В концентрационных лагерях Германии с русскими пленными обращались как с дикими зверьми. Очевидцы этих ужасов наполнили Швецию рассказами о них. И дрогнуло благородное сердце шведов. В Стокгольме была собрана конференция, патронированная шведским Красным Крестом. Неутомимый в делах помощи беженцам, брат короля принц Карл и его главный помощник г[осподин] Дитринг стали во главе учреждения, специально основанного для облегчения участи русских пленных. Был выработан индекс мер человеколюбия в отношении этих несчастных. Меры эти имели целью борьбу с немецкой жестокостью и русской халатностью. С осени 1915 г. концентрационные лагеря Германии стали посещаться членами шведского Красного Креста, а потом — и дамами-патронессами. Само собою разумеется, немцы допускали этих лишь в места, где еще не изгладились следы человеколюбия. Но все знали, что были и другие места для русских пленных, ужасы которых могли сравниться лишь с трущобами Дантового ада...

В этом же 1915 г. началось в Швеции еще одно благое дело по отношению к русским[b] — обмен раненых русских на раненых немцев. И тут тоже во главе помощи русским встал шведский Красный Крест, руководимый принцем Карлом. Госпитальные суда и поезда были оборудованы шведами со всем возможным комфортом. Отряды специальных врачей и сестер милосердия были мобилизованы для этой цели. С юга на север и с севера на юг раненые, русские и немцы, пересекали Швецию, направляясь к родным границам. Это было самое импозантное зрелище, свидетельствовавшее о человеческой жестокости и человеческом благородстве. Перед этим зрелищем Швеция содрогалась, но оно же выявляло благородные черты нации. На[c] местах остановок между Гапарандой и Треллеборгом, где скрещивались поезда с “врагами”, эти “враги” посылали друг другу знаки внимания и симпатии, а население Швеции, из городов и деревень, встречало и тех, и других с цветами и сердечными пожеланиями. И не одна слеза “нейтральных” шведов скатилась на этом крестном пути с юга на север и с севера на юг. И не делала благородная нация разницы между “родственными” германцами и чуждыми русскими.

Раненых встречали принц Карл с принцессой супругой Ингеборг. Принцесса однажды сказала мне: “Скажите им, что я кузина английской королевы”. Русские раненые ответили дружным “ура”! Встречала раненых нередко и королева

[a] Далее зачеркнуто: письменных
[b] Далее зачеркнуто: перевозка русских
[c] Далее зачеркнуто: станциях длинных

шведская Виктория, кузина Вильгельма II. Но и она не делала отличия между русскими и немцами, одинаково заботясь о тех и других...»[690]

Обрывая на этом мои слабые воспоминания о Скандинавии в годы Великой войны, я в моем невольном изгнании испытываю боль оторваться от этих воспоминаний[a]. Ибо все испытанное мною в эти 15-ть лет среди других народов, «гостеприимно» нас принявших, только оживляет в памяти и в сердце черты гостеприимства шведов. И на склоне жизни хочется поклониться в пояс благородной нации, столь выгодно отличающей север Европы от ее юга, запада и востока.

Баян
Ницца, 1932 г.

РГАЛИ. Ф. 2293. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–14 об.

[a] Так в оригинале.

Приложение 2.
Письмо И. И. Колышко М. А. Сукенникову

13/III [1932]

Дорогой коллега, спасибо за скорый ответ.

Отвечаю по пунктам.

[1)] Категорически утверждаю, что Неклюдов в деле и Протопопова, и Васильева ни при чем. Очевидно, Протопопов, как лицо официальное, не мог не быть у посланника и не поставить его в известность о его шагах в Стокгольме. Дело было, как я рассказал. Мы, т.е. я, Протопопов, гр[аф] Олсуфьев, Васильев (член Думы, ездивший по Европе с Протопоповым), нефтяник Поляк и его хорошенькая жена, завтракали в Royal Hotel. Протопопов — бабник, мужчина щупленький, но очень занятый собой, охорашивающийся, длинноусый (мышиный жеребчик), просил меня ознакомить его с настроением стокгольмских немцев. Я указал ему на моего петербургского приятеля, одного из директоров тульского меднопрокатного завода, где я был председ[ателем] ревиз[ионной] комиссии, обрусевшего немца, высланного вместе с немцами из Петербурга, Трека. После завтрака я их познакомил, а Трек познакомил Пр[отопопова] с Варбургом. Было назначено свидание к 5 час[ам] в №-ре того же отеля, занимавшемся Поляком. Я ждал Протопопова в его №-ре, и, вернувшись, он мне сказал, что ничего нового и интересного Варбург ему не сказал. И вообще, был утомлен и собрался на вокзал. К тому времени подъехал Неклюдов, и мы втроем в автомобиле поехали на вокзал. В автомобиле Неклюдов спросил о результатах свидания, и когда Пр[отопопов] ему рассказал, Неклюдов ответил:

— Ну, ради этого не стоило беспокоиться. Это я и без Варбурга мог Вам сказать (сепаратный мир за Галицию и проливы).

И все. Все дальнейшее — от вранья и глупости Протопопова, типичного Хлестакова и Ноздрева. Даю честное слово и готов отвечать своим именем.

2) Я говорю о Стиннесе покойном, отце — главе концернов, друге Бетмана и злом гении Германии в годы войны. О нем, если нужно, я могу прислать отдельную монограмму. В Стокгольме его все помнят. Его поверенным в Стокг[ольме] был Ферман, живущий ныне в Берлине.

3) Кн[язь] Бебутов, ничтожная личность, прихлебатель у кадет I-ой Думы, растративший на дела кадет состояние своей жены, но кадеты его не признали своим и не отблагодарили. Стиннесу указал на него Трек, знавший Бебутова по Петербургу. Стиннес польстился на титул и поручил Бебутову пропаганду в Питере сепаратного мира. Но из этого ничего не вышло. Бебутов подлаживался и к большевикам и тоже безуспешно.

4) С моими статьями можете делать, что хотите. Но я задыхаюсь от безденежья. Весь в долгу. Спасибо за немецкую газету. Это я разберу и пойму.

Итак, с Богом! Будьте моим лучом в окруживш[ей м]еня тьме. Крепко жму Ваши руки и трепетно жду развития событий.

Ваш Колышко.

РГАЛИ. Ф. 2293. Оп. 1. Д. 48. Л. 8–8 об.

Комментарии

1. Речь идет о событиях 1 марта 1881 г.

2. Герои романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

3. Хам, согласно Библии, — один из трех сыновей Ноя, ставший символом грубости и хамства; проклят Богом за то, что смеялся над наготой отца.

4. Здание Окружного суда в Петрограде было подожжено днем 27 февраля 1917 г. Несмотря на то, что пожар начали тушить вечером того же дня, он продолжался больше суток. За это время практически полностью сгорели судебные и следственные дела и нотариальный архив.

5. «Диктатура сердца» — политика М.Т. Лорис-Меликова, сочетавшая в себе борьбу с революционным движением и реформы, призванные удовлетворить запросы общества. Предполагала также привлечение выборных от населения к работе Государственного совета, но убийство Александра II 1 марта 1881 г. оборвало эту реформу.

Политика П.Д. Святополк-Мирского основывалась на лозунге «доверия» обществу и проведении реформ, призванных усилить влияние общества на государственную жизнь. Однако главная его задумка — привлечение выборных в Государственный совет — была в последний момент вычеркнута Николаем II перед подписанием указа Комитету министров 12 декабря 1904 г.

6. 21 ноября 1907 г. В.В. Розанов выступил с докладом «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» в Религиозно-философском обществе, где противопоставил Христа и весь мир: для кого сладок Иисус, для того мир делается горек. Доклад был опубликован в январском номере журнала «Русская мысль» за 1908 г. и вызвал многочисленные возражения.

7. Роман, а затем брачные узы императора Александра II с Е.М. Юрьевской (Долгорукой) не были тайной для света; в основном о них отзывались неодобрительно.

8. После 1 марта 1881 г. Е.М. Юрьевская вскоре выехала за границу, в Ниццу, где и постоянно проживала вплоть до своей смерти в 1922 г. Бумаги она, вероятно, вывезла с собой, может быть, не сразу, а, например, в 1913 г., когда она продала принадлежавший ей в Петербурге дворец за 1,5 млн. руб. и забрала оттуда все личные вещи, в том числе и принадлежавшие ее покойному супругу. Среди них была ее переписка с царем и дневники. После смерти светлейшей княгини оставшийся архив неоднократно предлагался к продаже, но долгое время не находил покупателя из-за высокой цены. Некоторые эмигранты, по-видимому, имели доступ к нему, в том числе и И.И. Колышко. Тогда, вероятно, появились и утраты из архива: впоследствии на аукционах нередко продавали по нескольку (до десятка) писем из этой обширной переписки. Однако основную часть кол-

лекции в 1990-е гг. выкупило семейство Ротшильдов (всего за 180 тыс. фунтов стерлингов или 270 тыс. долларов), чтобы обменять ее на часть их фамильного архива, захваченного советской армией в 1945 г. в Вене. Сделка состоялась, и в 2002 г. в ГАРФ поступили 3450 писем императора к Е.М. Долгорукой за 1867–1880 гг. и 1458 писем Екатерины Михайловны к Александру II за 1870–1880 гг. Помимо писем, в ГАРФ попали машинописные копии дневников императора за 1870–1881 гг. на французском языке (сохранились ли подлинники и где они находятся — неизвестно), а также некоторые другие документы (подробнее об этом см.: *Чиркова Е.А.* Архив светлейшей княгини Юрьевской в ГАРФ // Отечественные архивы. 2002. № 3. С.120–121). Как минимум, несколько десятков писем разошлось по миру и находится, по-видимому, в разных частных коллекциях, время от времени они появляются в продаже. Так, в августе 2006 г. неизвестный россиянин приобрел во Франции 10 писем из этой переписки, а 16 мая 2007 г. на аукционе Christie's был выставлен рекордный лот из 22 писем (11 писем императора за 1868 г. и 11 писем Е.М. Долгорукой за 1871 г.).

9. Марк Антоний в 44 г. до н.э. стал вместе с Цезарем консулом. Получив при разделе провинций восточную часть империи, Марк Антоний в 41 г. встретился с египетской царицей Клеопатрой (69–30 гг. до н.э.) и увлекся ею. После этого он не столько занимался правлением, сколько предавался бесконечным увеселениям. В 32 г. до н.э. начался его открытый конфликт с Октавианом, наследником Цезаря. Октавиан в 31 г. разгромил флот Антония, в 30 г. вторгся в Египет. После этого Марк Антоний кончил жизнь самоубийством. Вскоре за ним последовала и Клеопатра.

10. Имеется в виду покушение на Александра II 1 марта 1881 г., закончившееся его смертью, и расстрел царской семьи в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

11. Неточная цитата из письма великого князя Александра Александровича В.П. Мещерскому 9–10 (21–22) августа 1870 г. В оригинале она звучит так: «Я уверен, что французы еще дадут себя знать свиньям пруссакам. О! как я был бы счастлив!» (*Vinogradoff I.* Some Russian Imperial Letters to Prince V.P. Meshchersky (1839–1914) // Oxford Slavonic Papers. Vol. 10. 1962. P. 118). И.И. Колышко вообще охотно цитирует переписку В.П. Мещерского с коронованными особами, но делает это весьма неточно. Несомненно, что он был знаком с ее содержанием, но также несомненно и то, что в 1930-е гг. у него не было под рукой этих писем или их копий. Цитировал он их по памяти, с многочисленными неточностями.

12. В мае 1889 г. во время визита черногорского князя Николая в Петербург Александр III провозгласил тост за «единственного верного и честного друга России» (*Ламздорф В.Н.* Дневник 1891–1892. М.; Л., 1934. С. 99).

13. До 1870 г. внешняя политика России была подчинена задаче ликвидировать тяжелые последствия Крымской войны 1853–1856 гг. Депеша 17 (29) октября 1870 г., извещавшая державы, что Россия отказывается от нейтрализации Черного моря, означала, что Петербург успешно добился поставленной цели. Не следует преувеличивать в этом успехе роль князя: он, как правило, пасовал перед решительными шагами, здесь огромную роль играла твердость Александра II. Но в 1870-е гг., когда А.М. Горчаков сделал ставку на дружеские отношения с Австро-Венгрией и Германией, его политика уже не была такой успешной. Ее результатом стал Берлинский конгресс, призванный закрепить итоги русско-турецкой войны 1877–1878 гг. России пришлось многое уступить, в том числе и из-за того, что О. Бисмарк подыгрывал противникам Петербурга. А престарелый князь, возглавлявший русскую делегацию, продемонстрировал, что он уже не способен руководить внешними делами империи.

14. Б. Дизраэли противостоял А.М. Горчакову на Берлинском конгрессе. В это время политика Англии носила в основном антирусский характер.

15. Россия установила протекторат над Бухарой в 1868 г., над Хиванским ханством — в 1873 г.

16. «Завещание Петра Великого» — текст из 14 пунктов, который впервые напечатал в Париже в 1812 г. французский историк Лезюр (скрывшийся под псевдонимом L***). Это

было резюме якобы оставленных Петром I записок, представлявшее собой план завоевания Россией Европы и Востока, составленный царем для своих наследников и неуклонно ими исполнявшийся. Впоследствии этот «документ» получил широкое распространение в европейской историографии, использовался для доказательства извечной агрессивности России. Апокрифичность «завещания Петра Великого» была разоблачена еще во второй половине XIX в. (подробнее об этом см.: *Данилова Е.Н.* «Завещание» Петра Великого // Труды Историко-архивного института. 1946. Т. 2. С. 203–270; с сокращениями эта статья перепечатана в кн.: Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. Сб. ст. М., 1986. С. 213–279).

Никакого секретного договора между Павлом I и Наполеоном не существовало, так как стороны начали сближение осенью 1800 г., императоры успели обменяться лишь несколькими любезными письмами. Проживи Павел чуть дольше, не исключено, что между двумя империями состоялось бы соглашение на основе борьбы с Англией. Но внешняя политика сына Екатерины II не отличалась постоянством, в любой момент он мог пересмотреть ее направление (*Шильдер Н.К.* Император Павел I. М., 1996. С. 398–399, 403).

17. «Шовинист» Р. Солсбери настаивал на проведении международного конгресса, который бы зафиксировал итоги русско-турецкой войны. В дальнейшем он проводил активную колониальную политику, противостоял России в Азии. С другой стороны, Солсбери искал для Англии выход из «блестящей изоляции» и зондировал возможность англо-русского сближения.

Вопросы внешней политики занимали второстепенное место в политике У. Гладстона; при нем накал противостояния с Российской империей снизился.

18. 1 августа 1914 г. в 19 часов С.Д. Сазонов принял германского посла Ф. Пурталеса, который трижды спросил, готово ли российское правительство дать удовлетворительный ответ на немецкий ультиматум отменить мобилизацию. В своих мемуарах министр лаконично сообщает, что он «ответил отрицательно» (*Сазонов С.Д.* Воспоминания. М., 1991. С. 259).

19. Франц-Иосиф придерживался курса на союз с Пруссией (Германией), значительные усилия направлял на «обуздание» России.

20. Д. Андраши принадлежит авторство концепции двуединой австро-венгерской монархии. В основе его внешней политики лежало одновременно подавление национально-освободи-тельных движений на Балканах и борьба против влияния России на славян, а также претензии Вены на Боснию и Герцеговину. Граф завершил свою политическую карьеру заключением с Германией оборонительного союза, направленного в том числе и против России.

21. В апреле 1866 г. происходивший из дома Гогенцоллернов князь Карл был избран по итогам плебисцита наследственным румынским князем. Несмотря на значительные трудности, он сыграл важную роль в становлении румынского государства. В начале русско-турецкой войны, 22 мая 1877 г. Карл объявил о независимости Румынии, она была подтверждена на Берлинском конгрессе, и 26 марта 1881 г. княжество стало королевством. За свою независимость Румыния сражалась: ее армия участвовала в русско-турецкой войне.

22. Имеются в виду три неудачных штурма Плевны, предпринятые русскими и румынскими войсками 8 (20), 18 (30) июля и 30 августа (11 сентября) 1877 г., после чего 1 (13) сентября было принято решение перейти к блокаде крепости.

23. Э.И. Тотлебен был главным организатором осады Плевны осенью 1877 г.

24. Осман-паша в войну 1877–1878 гг. прославился умелой и упорной обороной Плевны, сдал крепость лишь после длительной осады и неудачной попытки прорвать блокаду. За бой 18 июля 1877 г. под Плевной султан даровал ему титул «гази» (победоносный).

Именно на участке, где располагался корпус Н.С. Ганецкого, турки попытались прорвать осаду Плевны, но русские войска выдержали атаку, а затем заставили нападающих капитулировать. Плевна была взята 28 ноября 1877 г.

25. И.И. Колышко очень произвольно трактует обстоятельства русско-турецкой войны 1877–1878 гг. То, что русские войска остановились в предместьях Константинополя, было вызвано не отсутствием у генералов решимости взять город, а боязнью Петербурга, что это может спровоцировать англо-русский конфликт (и что еще хуже — войну между несколькими великими державами и Россией наподобие Крымской), к которой в столице были совершенно не готовы. Поэтому Лондон заверили, что русские войска не будут брать город. Берлинский конгресс — то есть, урегулирование восточного вопроса с участием всех великих держав — был созван, прежде всего, по настоянию Англии. Англичане 2 (14) января 1878 г. поставили перед А.М. Горчаковым вопрос так: любой русско-турецкий мирный договор, нарушающий условия международных соглашений 1856 и 1871 гг., возможен лишь как итог европейской конференции. 13 (25) января 1878 г. Петербургу пришлось с этим согласиться. Другое дело, что после «военной тревоги» 1875 г., когда Россия не позволила Берлину начать новую войну против Франции, О. Бисмарк был не слишком расположен защищать русские интересы, что и подтвердил Берлинский конгресс 1878 г.

26. О Б. Дизраэли существует большая литература. Скорее всего, И.И. Колышко имеет в виду книгу: The life of Benjamin Disraeli, earl of Beaconsfield. By William Flavelle Monypenny. L., 1910–1920. Vol. 1–6.

27. Решения Берлинского конгресса были в основном предопределены секретными соглашениями Петербурга, Лондона и Вены. В частности, 18 (30) мая 1878 г. П.А. Шувалов и Р. Солсбери подписали секретное соглашение, в котором согласились, что за поддержку претензий Черногории и Сербии Россия соглашается на расчленение Болгарии на две части и существенную урезку ее границ, выделив Македонию как самостоятельное государство (П.А. Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г. // Красный архив. 1933. № 4 (59). С. 95–96).

28. Это слово стало крылатым после того как И.С. Тургенев использовал его в 1862 г. в романе «Отцы и дети».

29. П.А. Шувалов считался сторонником консервативной политики, противником реформ, пугал Александра II размахом революционного движения. В конце 1860 — начале 1870-х гг. он оказывал сильное влияние на внутреннюю политику, даже получил прозвище «Петр IV».

30. Возможно, речь идет о Ротшильдах, их лондонской ветви.

31. Член Исполнительного комитета «Народной воли» С.Л. Перовская, потомственная дворянка, дочь Петербургского гражданского губернатора в 1865–1866 гг., члена совета министра внутренних дел Льва Николаевича Перовского (1816–1890), участвовала в трех покушениях на Александра II, последнее из них 1 марта 1881 г. завершилось гибелью императора. Она стала первой женщиной в России, казненной 3 апреля 1881 г. по политическому делу.

32. 6 декабря 1877 г. на площади у Казанского собора в Петербурге прошла первая открытая политическая манифестация. Впервые же участников разогнала полиция, многие из них были арестованы.

33. Имеется в виду В.И. Засулич, участница революционного движения (с 1868 г.), с осени 1875 г. находилась на нелегальном положении. 24 января 1878 г. стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, ранив его. Это была месть революционеров за распоряжение генерала высечь заключенного Боголюбова (А. Емельянова). 31 марта 1878 г. суд присяжных (председатель — А.Ф. Кони) оправдал Засулич, она была освобождена из-под стражи прямо в зале суда и немедленно скрылась, вскоре эмигрировала в Швейцарию. Эта история подробно изложена А.Ф. Кони в неоднократно издававшихся «Воспоминаниях о деле Засулич».

34. Вероятно, имеется в виду Анастасия Сергеевна Панина (1850–1932) — дочь С.И. Мальцова, владельца многих промышленных предприятий в Брянске, Туле, Владимире и крымского имения в Симеизе. Первым браком была замужем за графом Вла-

димиром Викторовичем Паниным (1842–1872), сыном министра юстиции В.Н. Панина, и имела от него дочь Софью (С.В. Панина, 1871–1957); вторым браком с 1882 г. — за И.И. Петрункевичем.

35. Л.С. Маков в 1878–1880 гг. возглавлял Министерство внутренних дел. Эпитет «кавказский герой» дан М.Т. Лорис-Меликову за то, что во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он командовал Кавказским корпусом, одержал несколько побед над турецкими войсками и, наконец, 5–6 октября 1877 г. взял Карс. За эти успехи генерал был награжден орденом св. Георгия II степени.

36. Взрыв в столовой Зимнего дворца произошел 5 февраля 1880 г. Его подготовил член «Народной воли» С.Н. Халтурин. В результате погибло 8 солдат караула, 45 было ранено, однако главный объект покушения — царь — не пострадал.

37. Имеется в виду Г.А. Юрьевский.

38. Ответ Н.А. Бестужева на личном допросе у императора Николая I стал известен благодаря публикации сочинения И.Г. Шницлера «Тайная история России в царствования императоров Александра и Николая...» (см.: *Schnitzler I. H.* Histoire intime de la Roussie sous les empereurs Alexandre et Nicolas. Paris, 1847. T. 2. P. 135) и мемуарных свидетельств декабристов (в частности, «Записок декабриста» А.Е. Розена (Лейпциг, 1870)). Согласно изложению И.Г. Шницлера, в ответ на предложение Николая I о помиловании Бестужев ответил: «Государь, мы вот как раз и жалуемся на то, что император все может и для него нет закона». В мемуарах А.Е. Розена слова Бестужева переданы следующим образом: «Ваше Величество! В том и несчастье, что вы все можете сделать, что вы выше закона...» (*Розен А.Е.* Записки декабриста. СПб., 2008. С. 83).

39. III Отделение было упразднено высочайшим указом Сенату 6 августа 1880 г. Причиной решения стала его неудовлетворительная организация. Отныне все дела, касающегося политического сыска и борьбы с революционерами, были переданы в ведение Департамента полиции, создаваемого в системе МВД. Одновременно этим же указом ликвидировалась Верховная распорядительная комиссия.

40. Великий князь Константин Николаевич в 1865 г. представил проект преобразования Государственного совета, предполагавший привлечение к его работе выборных представителей.

41. «4 марта 1881 г., вследствие заявления дворников дома графа Менгдена, находящегося на углу Малой Садовой и Невского проспекта, о том, что содержатель сырной лавки в подвальном этаже того же дома крестьянин Евдоким Ермолаев Кобозев скрылся вместе с женою своей Еленою Федоровою, а в самой лавке найдена земля и разные орудия землекопания, произведен был осмотр означенной лавки, причем из жилья, смежного с лавкою, под ближайшим к ней окном, был обнаружен подкоп под улицу Малую Садовую: в самой лавке, на прилавке, разложены сыры; в стоявших здесь же бочке и в кадке, под соломою и за деревянной обшивкою нижней части задней и боковых стен, а равно в смежном жилье и подвалах сложена земля и в разных местах разбросаны землекопательные и минные инструменты. В жилье стена под окном пробита, и в ней открывается отверстие, ведущее в минную галерею, обложенную внутри досками и простирающуюся на две с лишком сажени до средины улицы. В отверстии оказалась склянка с жидкостью для заряжения гальванической батареи, элементы которой найдены тут же в корзинке, а от батареи шли по мине проводы, оканчивавшиеся снарядом, состоявшим из черного динамита, количеством около двух пудов, капсюли с гремучей ртутью и шашки пироксилина, пропитанного нитроглицерином. Такое устройство снаряда, по отзыву экспертов, вполне обеспечивало взрыв, от которого должна была образоваться среди улицы воронка в 2 ½ сажен в диаметре, а в соседних домах были бы вышиблены оконные рамы и, вероятно, обвалились бы печи и потолки. Следствием обнаружено, что называвшие себя супругами Кобозевыми наняли лавку в доме графа Менгден в декабре 1880 года и, переехав в январе настоящего года, открыли торговлю сыром при такой обстановке, которая скоро обратила на себя внимание многих, как не соответствовавшая свойствам, образу жизни и

внешности обыкновенной торговли и обыкновенных торговцев». (Обвинительный акт по «процессу 17-ти» (28 марта – 5 апреля 1883 г.) 2 марта 1883 г. // http://narovol.narod.ru/proc1marchverd2.htm).

42. 28 января 1881 г. М.Т. Лорис-Меликов представил Александру II доклад с предполагаемыми преобразованиями в «государственной жизни». В нем предусматривалось создание временных подготовительных комиссий для составления ряда крупных законопроектов (преобразование губернского управления, пересмотр земского и городового положений, изменения в законодательстве о крестьянах и т.д.). Предполагалось, что в состав этих комиссий войдут представители земства и крупных городов. Далее эти законопроекты подлежали бы рассмотрению в «общей» комиссии, также с участием выборных представителей, а затем были бы переданы в Государственный совет. Там для их обсуждения предполагалось призвать 10–15 выборных. 5 февраля 1881 г. доклад Лорис-Меликова был заслушан и одобрен в совещании с участием, помимо царя, наследника престола Александра Александровича, А.В. Адлерберга, С.Н. Урусова, А.А. Абазы, П.А. Валуева и Д.Н. Набокова. Те же лица и государственный контролер Д.М. Сольский обсудили предложения министра внутренних дел в Особом совещании 9 и 14 февраля и опять одобрили. Журнал Особого совещания 17 февраля был утвержден царем. 1 марта М.Т. Лорис-Меликов представил царю проект правительственного сообщения о предстоящих реформах. Царь передал его П.А. Валуеву, на 4 марта было назначено заседание Совета министров для окончательного утверждения этого документа, после чего он был бы обнародован (Россия в революционной ситуации на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1983. С. 108–110).

43. Санкт-Петербургский полицмейстер А.И. Дворжицкий сопровождал Александра II 1 марта 1881 г. и был ранен во время второго взрыва. Царь не погиб на месте, но получил сильные повреждения обеих ног и скончался в Зимнем дворце от потери крови.

44. И.И. Колышко неточно цитирует письмо великого князя Николая Александровича В.П. Мещерскому, б/д. [февраль-март 1864 г.]. В действительности фраза выглядит так: «С луны не хлебают на земле ухи» ([*Франк В.С.*] Из неизданной переписки имп[ератора] Александра III и Николая II с кн[язем] В.П. Мещерским // Современные записки. Т. 70. Париж, 1940. С. 176).

45. Великий князь Николай Александрович (1843–1865) — старший сын Александра II, брат Александра III, наследник престола. Скончался в Ницце от туберкулеза спинного мозга.

46. Роман В.П. Мещерского «Женщины из петербургского большого света» впервые был издан в 1874 г., имел продолжение в виде трех других романов.

47. Скорее всего, это неточная цитата. Среди писем великого князя Николая Александровича В.П. Мещерскому есть одно, из Флоренции 10 (22) ноября 1864 г., где звучат схожие по смыслу фразы: «Я знаю, что любим существом, которого я почти недостоин, я чувствую, что это счастье мне не по плечу, а это мысль тяжелая» ([*Франк В.С.*] Из неизданной переписки имп[ератора] Александра III и Николая II с кн[язем] В.П. Мещерским // Современные записки. Т. 70. Париж, 1940. С. 177). Такие мысли охватили цесаревича после его помолвки с принцессой Дагмарой в Копенгагене 20 сентября 1864 г.

48. Речь идет о М.И. Витте, второй жене С.Ю. Витте.

49. Об этом см.: *Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х – начала 90-х годов). М., 1970. С. 40–41.

50. Правильнее было бы склонять название — Борки. Катастрофа царского поезда произошла 17 октября 1888 г. на 277 версте между станциями Тарановка и Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. Царский поезд на полном ходу сошел с рельс. Несколько вагонов были полностью разрушены, погибло 19, ранено 14 человек. Согласно описанию А.Ф. Кони, царская семья спаслась благодаря тому, что крыша в вагоне-столовой, где во время крушения они находились, одним концом упала на пирамиду тележек высотой в 2,5 аршина (около 180 см). Расследование показало, что главной причиной катастрофы стали нарушения правил движения: тяжелый царский поезд должен был дви-

гаться не быстрее 40 верст в час, реальная же его скорость составляла примерно 60 верст в час (нагоняли график движения, так как отставали на полтора часа). Попутно выяснился еще целый ряд дефектов и неисправностей, способствовавших аварии. Прежде всего, это некачественная прокладка пути, произведенная летом 1886 г. (т.е., за два года до катастрофы), и низкое качество шпал. К осени 1888 г. на 277 версте 8 из них пришлось заменить, в том числе — 6 непосредственно на месте крушения, причем вместо новых использовали бывшие в употреблении. Специальное исследование показало, что некоторые из шпал уже по внешнему своему виду были явно не годны для дороги и что «не только дерево, из коего сделаны эти шпалы, слабое, но и дерево новых шпал имеет весьма посредственные качества». Сопротивление раздроблению испытуемых шпал оказалось в 2–3 раза ниже, чем у хорошей сосны, а сопротивление на вытягивание костылей — в 3–15 раз (подробнее см.: *Кони А.Ф.* Крушение царского поезда в 1888 г. // *Кони А.Ф.* Собрание сочинений. Т. 1. М., 1966. С. 420–495).

51. Катастрофа царского поезда близ станции Борки в октябре 1888 г. послужила причиной отставки К.Н. Посьета.

52. И.И. Колышко, вероятно, имеет в виду Самуила Соломоновича Полякова (1837–1888), одного из трех сыновей Соломона Лазаревича Полякова. К 1880-м гг. в его руках находилось более десятка железных дорог, построенных южнее Москвы.

53. В октябре 1894 г. Г.А. Захарьин присутствовал в Крыму во время последней болезни Александра III, но был не единственным врачом, приглашенным для консультаций. Г.А. Захарьин с самого начала не скрывал смертельный характер заболевания самодержца (*Вельяминов Н.А.* Воспоминания об императоре Александре III // Российский архив. Кн. V. М., 1994. С. 291–305).

«Дружба» М.Н. Каткова с С.С. Поляковым состояла в том, что последний субсидировал издание «Московских ведомостей» и пожертвовал крупную сумму на Катковский лицей. По слухам, целью С.С. Полякова было получение баронства.

54. С.Ю. Витте, будучи свидетелем этой встречи, в своих мемуарах поведал лишь о том, насколько почтительно юный принц относился к российскому монарху: когда он потребовал у конвойного казака подать ему плащ, Вильгельм бросился и сам подал Александру III одежду (Из архива С.Ю. Витте. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 161; Т. 2. Рукописные заметки. С. 81).

55. Обычно считается, что эта история произошла в Гатчине.

56. Наполеон III Бонапарт (1808–1873) — последний монарх Франции. Наполеон III стал императором в 1851 г. после переворота, до этого в 1848 г. был избран президентом республики. Потерял власть, попав в ходе франко-прусской войны 1870–1871 гг. в плен после поражения французской армии под Седаном.

Визит Александра II во Францию состоялся в мае 1867 г., в Париже в него стрелял поляк А.И. Березовский.

57. Евгения, супруга императора Наполеона III с 1853 г., мать наследника Эжена Наполеона (1856–1879), погибшего в Африке в ходе войны англичан с зулусами, славилась красотой и была законодательницей мод в Европе.

58. И.И. Колышко частично пересказывает письмо великого князя Александра Александровича В.П. Мещерскому 7 (19) июня 1867 г. из Фреденсберга: «К чорту все, лишь бы наш государь был невредим и вернулся бы в матушку Россию поскорее. <...> Странное было чувство попасть вдруг в Париж и сидеть возле такого человека, хотя он был любезен как нельзя больше и в особенности к русским. Императрица мне очень понравилась. Разговорчива и весела; она еще очень хороша собою и совсем не так переменилась, как я думал. Вообще, знакомиться и разговаривать с французами было легко, потому что они умеют говорить. Вы скажете слово, а они Вам ответют 20, так что разговор идет как по маслу» ([*Франк В.С.*] Из неизданной переписки имп[ератора] Александра III и Николая II с кн[язем] В.П. Мещерским // Современные записки. Т. 70. Париж, 1940. С. 185). В цитате сохранена орфография оригинала.

59. 13 июля 1891 г. французская военная эскадра прибыла в Кронштадт, Александр III не только лично встречал гостей, но и с непокрытой головой выслушал гимн французской республики «Марсельезу».

60. Против назначения Т.И. Филиппова выступал прежде всего К.П. Победоносцев, относившийся к Филиппову резко негативно за его вмешательство в церковные дела, а также Д.М. Сольский, государственный контролер, чьим товарищем Филиппов был в течение 11 лет (считал его «неподходящим»). Оба они рекомендовали на место уходящего Д.М. Сольского А.А. Половцова ([*Половцов А.А.*] Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. Т. 2. 1887–1892 гг. М., 1966. С. 220–224). Похоже, что это была не интрига Половцова, а интрига против назначения Филиппова. Половцов записал в дневнике: «Я очень хорошо понял, что Победоносцев говорил обо мне [царю] только с отчаяния видеть Филиппова на контролерском месте» (С. 224).

61. По поручению Александра III военный инженер А.А. фон Вендрих ездил по различным дорогам, предъявляя их руководству часто неисполнимые требования. Во время голода 1891–1892 гг. Вендрих своими распоряжениями вызвал дезорганизацию железнодорожного сообщения, нанеся государству ущерб в 12 млн. руб. По заключению С.Ю. Витте, его деятельность приносила некоторую пользу, «но в общем он скорее запутывал дело». Однако Александр III питал к Вендриху доверие, требовал исполнять его распоряжения, несмотря на протесты управляющего МПС Г.А. Евреинова, даже рассматривал его как кандидата в министры путей сообщения. Однако на это место был назначен С.Ю. Витте, который настоял на удалении Вендриха. Он продолжил службу как член Инженерного совета Министерства путей сообщения (07.03.1893 — 01.01.1907). С 28 июня 1907 г. по 8 октября 1908 г. А.А. Вендрих — товарищ министра путей сообщения. Здесь он также успел «отличиться»: получила известность история с представлением им Николаю II в обход министра путей сообщения плана милитаризации персонала железных дорог (который должен был быть ему подчинен, а он сам введен в состав Совета государственной обороны). С 8 октября 1908 г. А.А. Вендрих — сенатор. Подробнее о Вендрихе и его деятельности см.: Из архива С.Ю. Витте. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 220–223, 224–226.

62. В.М. Вонлярлярский в своих воспоминаниях сослался на доклад профессора Николаевской Академии Генерального штаба генерала А.М. Золотарева, сделанный в 1901 г. во время торжественного заседания в память императора Александра III в зале Дворянского собрания. На докладе он сообщил, что С.Ю. Витте подал прошение на высочайшее имя о женитьбе на М.И. Лисаневич, на котором царь сделал помету: «Хоть бы на козе». В. М. Вонлярлярский объясняет причину такой реакции самодержца: он понимал, что в случае положительной резолюции супруга С.Ю. Витте автоматически получила бы право приезда ко двору. Этого явно не желали (*Вонлярлярский В.М.* Мои воспоминания 1852–1939 гг. Берлин, [1939]. С. 173).

63. Циркуляр о «кухаркиных детях» был издан 1 июля 1887 г. министром народного просвещения И.Д. Деляновым. Согласно ему, предписывалось при приеме в гимназии воздержаться «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей», делая исключение лишь наиболее талантливым из них. Следствием циркуляра стало массовое исключение из гимназий «кухаркиных детей». П.А. Зайончковский приписал инициативу циркуляра И.Д. Делянову (*Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х – начала 90-х годов). М., 1970. С. 347–354).

64. В 1871 г. Д.А. Толстой провел реформу среднего образования в России, которая состояла в пересмотре учебных планов в гимназиях (усиление изучения классических языков и древней истории). Кроме того, отныне доступ в университеты получали лишь выпускники классических гимназий, реальные же гимназии в 1872 г. были понижены до статуса реальных училищ.

65. Катковский лицей (в память цесаревича Николая) основан в 1868 г., в 1893 г. получил статус императорского.

66. Политехнический институт в Петербурге был основан в 1899 г., а открыт 1 октября 1902 г.

67. А.Д. Пазухин участвовал в качестве эксперта в работе кахановской комиссии для составления проекта реформы местного управления, затем — правитель канцелярии министра внутренних дел. Его проекты легли в основу законов о земских начальниках (12 июля 1889 г.) и нового положения о земстве (12 июня 1890 г.). Первая его записка, излагавшая проект введения земских начальников, не сохранилась. Подробнее об этом см.: *Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х – начала 90-х гг.). М., 1970. С. 366–372.

68. Придача земским начальникам судебных функций была едва ли не главным предметом споров вокруг этой реформы. Решение оказалось неудачным, в 1912 г. мировой суд как низшая инстанция был восстановлен.

69. Рецепт Александра I — «Священный Союз», заключенный в 1815 г. между Австрией, Пруссией и Россией, предназначался, в том числе, для поддержания в Европе status quo после низвержения Наполеона и для борьбы с революциями.

В 1928 г. А. Бриан стал инициатором заключения международного пакта Келлога–Бриана, участники которого осуждали войну. Впоследствии число стран, подписавших этот пакт, увеличилось до 65, однако многие страны его не исполняли. В 1930 г. А. Бриан подготовил меморандум с идеей Соединенных штатов Европы, но и эту идею никто не принял.

70. После русско-турецкой войны 1877–1878 гг. устройство освобожденной Болгарии практически всецело находилось в руках России. Но избранный в 1879 г. болгарским князем Александр Баттенбергский отдалялся от Петербурга, русско-болгарские отношения постепенно охладились и дошли в 1886 г. до полного разрыва.

71. Население Российской империи достигло 180 млн. человек к 1915 г. В царствование Александра III его средняя численность составила 115,9 млн. человек.

72. Имеется в виду А.А. Суворов — человек, весьма близкий Александру II, присутствовал при его венчании с Е.М. Долгорукой.

73. Дневник Николая II, запись 16 мая 1905 г.: «После трех докладов приняли вдвоем 30 раненых и ампутированных солдат. Завтракали: д[ядя] Алексей и Кирилл (деж[урный флигель-адъютант]). Ездил верхом, гулял и катался в байдарке. Сегодня стали приходить самые противоречивые вести и сведения о бое нашей эскадры с японским флотом — все насчет наших потерь и полное умолчание о их повреждениях. Такое неведение ужасно гнетет!

Ольга, Петя и Кирилл обедали. Ездил в Павловск с ними (Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 261).

74. А. Мицкевич, в 1840–1845 гг. профессор в Колледж де Франс, был отстранен от преподавания за проповедь польского мессианства.

75. Имеются в виду один из лидеров германской социал-демократии К. Каутский и П. Рорбах, идеолог расчленения России (уподоблял ее апельсину, который следовало бы разделить на дольки), сторонник отделения Украины.

76. В основе русско-французского сближения, а затем и военного союза, заключенного в 1891 г., лежали не только финансовые интересы (выход на парижскую биржу), но и опасения перед резко усилившейся после 1870 г. Германией.

77. Религиозно-философские собрания проходили под председательством ректора Петербургской духовной академии епископа Сергия (Страгородского) в ноябре 1901 — апреле 1903 гг. Собрания возникли по инициативе Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, Д.В. Философова, В.В. Розанова, В.С. Миролюбова, А.Н. Бенуа, В.А. Тернавцева и других, с согласия обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева и митрополита Антония (Вадковского). На многолюдных собраниях обсуждались многочисленные проблемы взаимоот-

ношения церкви, общества и государства. После 22 заседаний собрания прекращены по личному распоряжению К.П. Победоносцева.

78. Имеется в виду основательница религиозно-мистической секты Е.Ф. Татаринова (урожд. Буксгевден). Смысл обрядности и «радений» в секте был в доведении участников действа до экстаза (современники отмечали схожесть с приемами скопцов). В секту входило несколько десятков человек, в том числе представители придворных кругов, высокопоставленные чиновники и военные. Среди посетителей Е.Ф. Татариновой был министр духовных дел князь А.Н. Голицын. Александр I однажды дал ей аудиенцию, затем с уважением отзывался о Е.Ф. Татариновой. Секта была ликвидирована в 1837 г., а ее основательница помещена в монастырь. Через 10 лет ее выпустили под подписку не создавать тайных обществ и не участвовать в их деятельности.

Фотий — архимандрит, борец с сектами, мистикой, масонством. Рескрипт Александра I министру внутренних дел В.П. Кочубею 1 августа 1822 г., запрещавший в России тайные общества и масонские ложи, приписывают успешной аудиенции Фотия у императора 5 июня 1822 г. Влиянию Фотия приписывают также отставку министра духовных дел и народного просвещения А.Н. Голицына 15 мая 1824 г. Фотий сыграл важнейшую роль в том, что в последние годы своего царствования Александр I принял сторону ортодоксов православия.

79. Чин тайного советника получил Самуил Соломонович Поляков.

80. Людовик XVI — последний король из династии Бурбонов. В 1789 г. созвал Генеральные штаты, вслед за чем началась Великая французская революция, признал конституцию 1791 г., казнен на гильотине 21 января 1793 г.

Филипп Эгалитэ, герцог Орлеанский — либерал, с 1771 г. великий магистр масонской ложи Великий восток Франции, поддержал французскую революцию, отказавшись от титула и приняв фамилию «Эгалитэ» (равенство). Казнен за измену революции его сына.

81. Крестьянский банк — учрежден в 1882 г. для того, чтобы быть одним из посредников при приобретении крестьянами помещичьей земли (другим был открытый в 1885 г. Дворянский банк). Он выдавал ссуды земледельцам (до 90% стоимости) на срок до 51 года под 7,5–8,5% годовых. При этом цена на землю, покупаемую у банка, была примерно в два раза выше рыночной. Тем не менее, в 1883–1915 гг. свыше 1 млн. крестьянских дворов приобрели через банк более 17,6 млн. десятин земли.

82. Книга И.А. Родионова «Наше преступление» выдержала в России около десятка изданий.

83. Людовик «Солнце» — Людовик XIV, король Франции в 1643–1715 гг.

84. Министерство торговли и промышленности было учреждено 27 октября 1905 г. из нескольких департаментов, выделенных из состава Министерства финансов. На создании нового ведомства настаивал глава кабинета С.Ю. Витте, предполагая таким образом уменьшить влияние министра финансов В.Н. Коковцова.

85. См. об этом же: Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 2. СПб., 2003. С. 606–607.

86. Речь идет об А.М. Безобразове, отставной гвардейском полковнике, близком графу И.И. Воронцову-Дашкову. Благодаря возможностям графа, он в начале 1898 г. обратился к Николаю II от имени группы лиц с идеей активизировать политику России в Корее под прикрытием псевдочастной коммерческой компании, используя для этого концессию на разработку леса в бассейне р. Ялу. С.Ю. Витте тогда не дал осуществиться этому замыслу, но сама идея понравилась царю, он продолжал симпатизировать Безобразову и его компаньонам. В 1902 г., в связи с ослаблением позиций министра финансов, влияние безобразовской группы стало быстро расти. Именно неудачей в противостоянии этой группе в конце 1902 – первой половине 1903 гг. объясняется прежде всего отставка С.Ю. Витте 16 августа 1903 г. с поста министра финансов. Подробнее об этом см.: *Романов Б.А.* Витте и концессия на р. Ялу. (Документальный комментарий к «Воспоминани-

ям» гр. С.Ю. Витте) // Сборник статей по русской истории, посвященных С.Ф. Платонову. Пг., 1922. С. 425–459; *Он же*. Концессия на Ялу. К характеристике личной политики Николая II // Русское прошлое. Кн. 1. Пг., 1923. С. 87–108.

87. Рассказ об отставке содержится также в воспоминаниях С.Ю. Витте, но в несколько других выражениях. См.: Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 2. СПб., 2003. С. 614–615.

88. Имеются в виду А.А. Буксгевден и А.И. Дубровин.

А.А. Буксгевден – и. д. чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, член «Союза русского народа», затем Главной палаты «Союза Михаила Архангела». Закладывавший бомбы в дымоходы особняка С.Ю. Витте А.Е. Казанцев служил у Буксгевдена управляющим его московскими домами. Бомбы в дымоходах в особняке С.Ю. Витте на Каменноостровском проспекте были случайно обнаружены хозяевами вечером 29 января и утром 30 января 1907 г. Они были начинены динамитом большой разрушительной силы, но конструкция взрывателей оказалась неудачной, поэтому заряды не сработали. Расследование этого происшествия велось, по мнению графа, неохотно, с явным намерением доказать несерьезность покушения (подробнее см.: Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 2. СПб., 2003. С. 775–794). Тем не менее, следователь П.А. Александров установил личность покушавшегося А.Е. Казанцева, а также то, что он был убит 28 мая 1907 г., и прекратил дело. 3 мая 1910 г. Витте обратился к П.А. Столыпину, где фактически обвинил власти в организации покушения. Далее завязалась переписка, граф просил передать дело на рассмотрение одному из членов Государственного совета. Вопрос о расследовании покушения на Витте был рассмотрен Советом министров 4 января 1911 г., участники сочли обвинения бывшего премьера необоснованными, а вопрос о поручении расследования члену Государственного совета передали на усмотрение царя. 22 февраля Николай II наложил на журнале Совета министров резолюцию: «Никаких ненормальностей в действиях властей административных, судебных и полицейских я не усматриваю. Дело это считаю законченным» (Особый журнал Совета министров «По делу о покушениях на жизнь статс-секретаря графа Витте» 4 января 1911 г. // Особые журналы Совета министров. 1911 г. М., 2002. С. 9–18).

89. Речь идет об А.А. Клопове, статистике, служившем в Министерстве путей сообщения. Для проведения исследований он обращался за помощью ко многим высокопоставленным лицам, в том числе великим князьям. В 1898 г. великий князь Александр Михайлович ввел его к Николаю II для того, чтобы царь имел возможность иметь «достоверную» информацию о положении дел в стране. А.А. Клопов получил право писать самодержцу в собственные руки, чем пользовался до начала 1917 г. (с перерывами). Правда, влияния на Николая II его информация и предложения не оказывали. О деятельности А.А. Клопова хорошо знали как в правительственных, так и в либеральных кругах. Подробнее см.: *Лукоянов И.В*. Тайный корреспондент Николая II А.А. Клопов // Из глубины времен. Вып. 6. СПб., 1996. С. 64–86; Тайный советник императора. СПб., 2002.

90. Николай прибыл в Японию 27 апреля 1891 г. Покушение на его жизнь произошло 29 апреля (11 мая) 1891 г., когда он, греческий принц Георг и принц Арисугава ехали в колясках по Оцу. Вдоль проезжей части узкой улицы стояло полицейское оцепление. Внезапно один из полицейских бросился к Николаю и нанес два удара по голове саблей в ножнах. Оба они получились скользящими. Наследник выпрыгнул из коляски и побежал, греческий принц Георг попытался задержать преступника и ударил его по затылку тростью. Тот замешкался, этого было достаточно, чтобы покушавшегося обезвредили. Его звали Цуда Сандзо, он был не вполне психически нормален, подозревая иностранных путешественников в шпионаже.

В японском правительстве поднялась страшная паника. Многие его члены опасались, что покушение неизбежно приведет к войне. Император Мэйдзи отправил в Киото врачей, и сам выехал туда на следующий день. Раны Николая оказались не слишком серьезными.

Сразу после ударов он зажал их платком, настоящую медицинскую помощь наследник получил через час, ее оказал фельдшер Клепиков. Позднее он рассказывал: «Большая рана доходила до кости и часть кожи совсем висела. Была поражена одна важная артерия, которую пришлось перевязать. <...> На большую рану было наложено 9 швов, на меньшую — 6 швов. Во время операции наследнику не давали никакого успокаивающего. Он насвистывал “марш Черномора” из “Руслана и Людмилы”». Швы были сняты 6 (18) мая, но повязка на голове Николая оставалась во время всего его путешествия по Сибири (Дневник А.В. Половцова, запись 18 декабря 1895 г. // ОР РНБ. Ф. 601. Оп. 1. № 67. Л. 2–2 об.).

Однако программа визита была скомкана, цесаревич по приказу родителей отказался от дальнейшего пребывания в стране, несмотря на настойчивые уговоры Мэйдзи. В российском МИДе тоже считали, что Николаю следует все-таки посетить императорский дворец в Токио, но цесаревич предпочел больше не ступать на японскую землю и провел несколько дней на своем фрегате. Мэйдзи еще раз посетил Николая на корабле. Цесаревич и император дружески общались за обедом. Никаких требований о компенсации выдвинуто не было. Тем не менее, всю свою оставшуюся жизнь 11 мая (29 апреля по старому стилю) Николай заказывал молебны «во здравие» (*Мещеряков А.* Покушение на жизнь цесаревича Николая // Додзе. 2005. № 5).

91. Речь идет о Е.Н. Волкове и Н.Д. Оболенском.

Положение князя Н.Д. Оболенского при дворе хорошо объясняет в своих мемуарах С.Ю. Витте: «Князь Оболенский был самый близкий человек к императору, был любимый из флигель-адъютантов отца его, императора Александра III, он совершил путешествие на Дальний Восток с императором Николаем II в бытность его наследником. Князь был в больших вниманиях и у императрицы Александры Федоровны, так как когда она приезжала в Петербург в качестве Alix Дармштадтской на смотрины и была забракована как невеста наследника, единственный кавалер, который по сему случаю от нее не отвернулся, а, напротив, удвоил к ней внимание, был князь Н.Д. Оболенский. Будучи близко знаком со мною и зная все, что делается при дворе, т. е. в дворцовых лакейских <...>, он, конечно, знал все, что происходило вокруг государя» (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 219–220).

92. Имеется в виду Н.П. Ашешов, либеральный журналист и публицист. В начале 1890-х гг. ему было запрещено пребывание в Москве и Петербурге, и он сотрудничал в ряде провинциальных газет. В 1900 г. вернулся в Петербург. Для Особого совещания по нуждам сельскохозяйственной промышленности составил записку о развитии животноводства в России. Собирал материалы о народовольцах, А.Н. Радищеве, их биографии он издал после 1917 г.

93. И.И. Колышко смешивает несколько событий, происходивших в разное время и по разным причинам. А.А. Клопов не были «изгнан» из Царского Села, в конце 1898 г. великий князь Александр Михайлович приказал ему некоторое время вести себя тихо. Связано это было с тем, что его негласная деятельность «по обследованию» России стала известна слишком широко и вызвала многочисленные протесты крупных бюрократов. Тем не менее, А.А. Клопов пользовался дарованным ему правом писать «в собственные руки» весьма активно. Некоторый перерыв в его деятельности наступил во второй половине 1899 г., но затем в феврале 1900 г. он опять продолжил свое эпистолярное творчество. Наконец, речь царя о «бессмысленных мечтаниях» относится к более раннему времени — январю 1895 г.

94. Эту историю, относящуюся к концу 1896 г., С.Ю. Витте описал в своих мемуарах (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 469–472).

95. Имеется в виду Китайская Восточная железная дорога (КВЖД).

96. Имеется в виду китайский государственный деятель Ли Хунчжан. В 1880-е – 1890-е гг. он отвечал за переговоры с иностранцами, в начале 1896 г. возглавлял специ-

альное китайское посольство, направленное в Россию для присутствия на коронации Николая II и подписания секретного союзного договора с Россией.

97. Ли Хунчжану было обещано за подписание соглашения с Россией и последующего контракта на строительство КВЖД 3 млн. руб. Контракт на сооружение дороги был заключен между Русско-Китайским банком и пекинским правительством в Берлине 16 августа 1896 г. Право на строительство и эксплуатацию железной дороги по территории Маньчжурии по русским стандартам на 80 лет передавалось формально частному акционерному обществу, созданному при участии банка, 70% акций этого общества находилось в государственном казначействе. Через 36 лет Китай получал право досрочно выкупить дорогу, но С.Ю. Витте считал это непосильным для Срединной империи. Строительство дороги обуславливалось рядом важных экономических условий: понижением на треть китайских таможенных пошлин для товаров, доставляемых к постройке магистрали, и установлением провозных тарифов по КВЖД исключительно по усмотрению русского правительства. Все это облегчало конкуренцию русским товарам в Китае и в целом, по мнению министра финансов, гарантировало экономическое влияние России в этой части Поднебесной (Всеподданнейший доклад С.Ю. Витте «По поводу заключенного между китайским правительством и Русско-Китайским банком договора на постройку и эксплуатацию железной дороги в Маньчжурии» 28 сентября 1896 г. // *Витте С.Ю.* Собрание сочинений и документальных материалов. Т. 1. Пути сообщения и экономическое развитие России. Кн. 2. Ч. 1. М., 2004. С. 252–256).

98. Германский император был в России с визитом 7–10 августа 1897 г. Во время одной из встреч с Николаем II он неожиданно спросил царя, может ли Германия занять Киао-Чао, так как Россия портом не пользуется, а немцам гавань нужна для стоянки своей эскадры. Царь, захваченный врасплох, не сумел отказать Вильгельму (*Ротштейн Ф.А.* Международные отношения в конце XIX века. М.; Л., 1960. С. 407–408). Захват Россией Порт-Артура был спровоцирован немецкими агрессивными действиями в Китае: в ответ на убийство двух немецких миссионеров Вильгельм II захватил китайский порт Киао-Чао, на который незадолго до этого претендовала Россия. Эскалация напряженности на Дальнем Востоке привела к тому, что в первых числах декабря командующий Тихоокеанской эскадрой Ф.В. Дубасов получил из Петербурга распоряжение занять порты Ляодунского полуострова Порт-Артур и Далянвань. Это распоряжение было исполнено 4 (16) декабря 1897 г. С.Ю. Витте был против, на идее настаивал министр иностранных дел М.Н. Муравьев (см.: *Лукоянов И.В.* Порт-Артур в политике России (конец XIX в.) // Вопросы истории. 2008. № 4. С. 49–66).

99. А.М. Безобразов попал к царю **до** А.А. Клопова, в начале 1898 г., его ввел во дворец граф И.И. Воронцов-Дашков, как своего давнего сослуживца. Великий князь Александр Михайлович появился чуть позже, чтобы возглавить неофициальное корейское предприятие, осуществлять которое и должен был Безобразов и его окружение.

100. Под авантюрой на Ялу понимается безобразовское лесопромышленное предприятие, основанное юридически 1 мая 1903 г., но фактически начавшее действовать ранее, с начала 1903 г. Основанием для него послужила концессия на разработку леса в бассейне корейской реки Ялу, полученная владивостокским купцом Ю.И. Бриннером еще в 1896 г., и проданная безобразовцам в 1898 г. Безобразовцы предполагали использовать заготовку леса как ширму, призванную скрыть деятельность по закреплению России в Северной Корее. Такого рода замыслы, да еще и осуществляемые неквалифицированно, конечно, не стали секретом для японцев. Токио использовал действия безобразовцев на Ялу как один из поводов к войне. Подробнее см.: *Лукоянов И.В.* «Не отстать от держав...». Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX в. СПб., 2008. С. 413–508.

101. Консервативный поворот в царствование Николая II, насколько можно так говорить, состоялся в 1896–1897 гг. Он связан с отказом от проведения серьезных внутренних реформ (например, крестьянской), ориентации финансовых ресурсов на проведение масштабной дальневосточной политики и обретением царем уверенности в себе. Его

действия стали более самостоятельные и решительные (пример — захват Порт-Артура). И.И. Воронцов-Дашков не имел в это время значительного влияния (особенно после ходынской катастрофы), так как молодой самодержец тяготился присутствием рядом с ним лиц из окружения своего отца. Также утрачивал влияние и К.П. Победоносцев. (См.: *Лукоянов И.В.* Император Николай II и К.П. Победоносцев: трудности отношений ученика и учителя // Константин Петрович Победоносцев: мыслитель, ученый, человек. Материалы международной юбилейной научной конференции, посвященной 180-летию со дня рождения и 100-летию со дня кончины К.П. Победоносцева. СПб., 2007. С. 52–59). То, что Александра Федоровна не вмешивалась в политику — неточно. Она уже в 1895 г. начала это делать, тогда — относительно германских дел (*Ламздорф В.Н.* Дневник 1894–1896. М., 1991. С. 125. Запись 17 января 1895 г.).

102. И.Л. Горемыкин никогда не высказывал либеральных взглядов, он был креатурой К.П. Победоносцева. Его увольнение стало результатом интриги, проведенной С.Ю. Витте при поддержке В.П. Мещерского и, наверное, Д.С. Сипягина и Н.В. Муравьева. Полемика Витте-Горемыкин по вопросу о земстве стала важной вехой в этой борьбе: министр финансов выставил своего оппонента как не слишком заботящегося о неприкосновенности самодержавия и склонного к опасным проектам (развития самоуправления, враждебного автократии). Об этом см.: *Ананьич Б.В.* Самодержавие и земство. Земская реформа 1898–1903 гг. // Кризис самодержавия в России 1895–1917 гг. Л., 1984. С. 93–113; *Ганелин Р.Ш.* «Битва документов» в среде царской бюрократии. 1899–1901 // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVII. Л., 1985. С. 214–248).

103. Имеется в виду Г.Г. Данилович, генерал от инфантерии, военный педагог, воспитатель Николая Александровича и Георгия Александровича. Именно ему приписывается воспитание в наследнике эмоциональной сдержанности, выдержки, бесстрастности на людях.

104. Это цитата из письма Николая II В.П. Мещерскому от 28 февраля 1902 г. (Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 129).

105. Это неточная цитата из письма Николая II 8 августа 1902 г. Настоящий текст выглядит так: «Я уже сказал, что ни [на] какие слухи внимания не обращаю. Конечно, наш оборонительный союз останется навсегда крепким и тайным для нас обоих. Прошу этому верить» (Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 133).

106. Письмо Николая II 1 мая 1903 г.: «По меньшей мере, смешно, если ты думаешь, что я буду исполнять все твои желания» (Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 136).

107. Высочайшие рескрипты С.Ю. Витте были даны 24 февраля 1898 г., 8 декабря 1899 г. и 1 января 1903 г.

108. Мукденское сражение состоялось с 19 февраля по 10 марта 1905 г. Оно было неудачным для русской армии, но и японцы не достигли своей цели — решающей победы. За этим поражением последовала отставка А.Н. Куропаткина с поста главнокомандующего русской армией. Сражение при Цусиме состоялось 14–15 мая 1905 г. и закончилось полным разгромом 2-й Тихоокеанской эскадры. Почти все суда были либо потоплены, либо захвачены японцами, прорваться во Владивосток удалось лишь четырем из них.

109. Имеется в виду террористический акт Боевой организации эсеров, в результате которого был убит В.К. Плеве.

110. Имеется в виду Фернандо Альварес де Толедо, III герцог Альба, испанский государственный деятель и военачальник; соединял решительность и жестокость с безграничной преданностью королю, особенно прославился «усмирением» Нидерландов (1567–1573).

111. «Булыгинской конституцией» И.И. Колышко назвал Учреждение Государственной думы 6 августа 1905 г.

112. «Потерянным документом» И.И. Колышко назвал Манифест 17 октября 1905 г., намекая на то, что большинство его положений не получило закрепления в законодательстве.

113. Д.Ф. Трепов оказывал большое влияние на политические события в 1905 – первой половине 1906 гг., но то, о чем пишет И.И. Колышко — «заслонял» императора — не имеет под собой никаких фактических оснований.

114. По свидетельству В.Н. Коковцова, который был очевидцем этой сцены, 6 сентября 1911 г., когда Николай II утром приехал в клинику Маковского проститься с покойным П.А. Столыпиным, там находилась его вдова, О.Б. Столыпина. «Она поднялась ему навстречу и громким голосом, отчеканивая каждое слово, произнесла известную фразу: “Ваше величество, Сусанины не перевелись еще на Руси”» (*Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. Кн. 1. М., 1992. С. 416–417).

115. 30 января 1914 г. В.Н. Коковцов был уволен в отставку вместе с возведением его в графское достоинство. Скорее всего, Николай II даровал ему титул не столько в пику С.Ю. Витте, сколько в признание его действительно немалых заслуг, и чтобы сделать увольнение от высшей в империи должности менее обидным. Нового назначения новоиспеченный граф не получил, оставшись всего лишь членом Государственного совета.

116. Во время обсуждения в III Думе 24 апреля 1908 г. вопроса о создании комиссии для обследования состояния казенных железных дорог лидер кадетской фракции П.Н. Милюков настаивал на ее парламентском, а не министерском статусе. На это министр финансов В.Н. Коковцов, выступавший за правительственный вариант, немедленно заметил: «У нас парламента, слава Богу, еще нет» (Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908 г. Сессия 1. Ч. 2. Стб. 1995).

117. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» — эту фразу П.А. Столыпин произнес 10 мая 1907 г., выступая во II Думе по аграрному вопросу (Государственная дума. Стенографический отчет. Созыв 2. Т. 2. СПб., 1907. Стб. 445). Надо помнить, что во II Думе было 65 социал-демократов, а кроме них — 37 эсеров, 16 народных социалистов и 104 трудовика, которые создавали там революционную атмосферу. В III Думе насчитывалось всего 19 социал-демократов и 13 трудовиков.

118. Имеется в виду Таврический дворец, где находилась Государственная дума.

119. 10–11 (23–24) июля 1905 г. в Бьорке Николай II подписал союзный договор с Вильгельмом II (История дипломатии. Т. 2. М., 1963. С. 575–577; *Романов Б.А.* Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895–1907. Изд. 2-е, испр. и доп. М.; Л., 1955. С. 467). Он состоял в обязательстве двух стран помочь друг другу в случае нападения на одну из них в Европе. Подписание документа явилось личной инициативой царя, не понявшего, что это соглашение нарушает русско-французский союзный договор. Вряд ли в этом акте сказалось влияние В.П. Мещерского. Скорее всего, царь действовал под впечатлением от неудач в русско-японской войне и обиды на Париж, который не помогал России в конфликте с Японией, заключив вместо этого «сердечное соглашение» с Лондоном. См. также примечание 599.

120. «Уезжаю завтра в Берлин бодро и с желанием принести матушке России возможную пользу. Уверен, Бог поможет мне в этом» (Николай II — В.П. Мещерскому 6 мая 1913 г. // Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 140). «Жду с удовольствием передать тебе впечатления о путешествии в Берлин» (Николай II — В.П. Мещерскому 29 мая 1913 г. // Там же).

121. Скорее всего, эта встреча состоялась 26 июня 1914 г. Николай II оставил лапидарную запись в дневнике «После чая принял Мещерского» (Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 472). Других сведений о встречах царя с князем в эти месяцы нет.

122. Бьоркский договор был денонсирован Николаем II спустя два месяца после его заключения, в конце сентября 1905 г. Он объявил Вильгельму II, что «Бьорский договор не должен быть приводим в жизнь до тех пор, пока мы не узнаем, как к нему отнесется Франция». В случае, если она откажется, царь предполагал изменить редакцию соглашения (т.е. его суть) (Письмо Николая II Вильгельму II, б/д. // Переписка Вильгельма II с Николаем II. М., 1923. С. 122–123). Разумеется, Париж, заключивший в 1904 г. «сердечное согласие» с Лондоном, не мог приветствовать такой документ.

123. *Витте С.Ю.* Самодержавие и земство. Stuttgart, 1901. Эта записка представляла собой ответ С.Ю. Витте на записку И.Л. Горемыкина (текст записки: РГИА. Ф. 1626. Оп. 1. Д. 247. Ее содержание подробно разобрал Б.В. Ананьич (Кризис самодержавия в России 1895–1917. Л., 1984. С. 107–111). Позднее сам С.Ю. Витте назвал имена трех ее авторов: А.И. Путилова, Н.Н. Кутлера и П.П. Цитовича.

124. Огарочником в церкви называли человека, который следил за огарками свечей. Сам термин в начале XX в. стал нарицательным: им обозначали молодых людей, живущей аморальной и антисоциальной (по понятиям того времени) жизнью. «Огарочников» противопоставляли революционерам, как две крайности.

125. А. А. Вырубова, фрейлина императрицы Александры Федоровны, являлась ее близкой подругой и поклонницей Г. Е. Распутина.

126. Вероятно, имеется в виду Пистолькорс Ольга Эриковна, дочь Пистолькорс Ольги Валериановны (1866–1929), морганатической супруги великого князя Павла Александровича. Входила в число поклонниц Г.Е. Распутина.

Возможно, однако, что И.И. Колышко ошибся, имея в виду Пистолькорс Александру Александровну (1888–1963) — урожд. Танееву, младшую сестру А.А. Вырубовой. Она вышла замуж в сентябре 1908 г. и, также как и старшая сестра, почитала Г.Е. Распутина.

127. Речь идет о Ф. Низье. С 1877 г. он бесплатно оказывал медицинскую помощь всем, приходившим к нему, за что трижды (в 1887, 1890 и 1892 гг.) привлекался к ответственности властями. С Николаем II он познакомился в сентябре 1901 г. во время визита царя во Францию и произвел на него сильное впечатление. Филипп дважды был в России — осенью 1901 г. и в 1902 г. Оба его визита обставлялись большой таинственностью. Под скандалом И.И. Колышко имеет в виду предсказание Филиппа, что у царской четы родится наследник. В России широкое распространение получил слух, что Александра Федоровна забеременела в 1902 г., но что на поверку беременность эта оказалась ложной, что приписывали психологическому воздействию Филиппа. Однако существует записка лейб-акушера Д.О. Отта 26 августа 1902 г., в которой он сообщает, что Александра Федоровна действительно была беременна, но плод, достигший размера грецкого ореха, погиб в утробе матери (РГИА. Ф. 468. Оп. 46. Д. 94. Л. 20–21). Подробнее см.: *Бурышкин П.А.* Филипп — предшественник Распутина // Новый журнал. 1955. Кн. XL. С. 179–199.

128. И.И. Колышко передает один из слухов о болезни Алексея Николаевича, которых в первые годы его жизни ходило немало. На самом деле он страдал не склерозом сосудов, а гемофилией — наследственной несвертываемостью крови.

129. Имеется в виду С.С. Игнатьева (урожд. Мещерская), жена графа А.П. Игнатьева, хозяйка правого политического салона, специализировавшегося на церковных вопросах. Сейчас установлено, что большую роль в «продвижении» Г.Е. Распутина к «черногоркам» играл епископ Феофан (Быстров Василий Дмитриевич) — с 1901 г. инспектор, с 1909 г. ректор Санкт-Петербургской духовной академии, духовник Николая II и Александры Федоровны.

Варнава (Накропин Василий), с 1899 г. настоятель Клименецкого монастыря, с 1908 г. — Коломенского Ново-Голутвинова монастыря, был вхож в великокняжескую среду, знаком с царской четой, являлся духовником С.Ю. Витте и его супруги, близким знакомым и другом Г.Е. Распутина. Но появлению «старца» в Петербурге способствовал не он, а казанский епископ Хрисанф (Щетковский), епископ чебоксарский, викарий Казанской епархии в 1904–1905 гг. Осенью 1904 г. Хрисанф дал Распутину рекомендательное письмо к ректору столичной Духовной академии Сергию (Страгородскому).

130. Наина — злая волшебница из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», которая стремилась погубить витязей, отправившихся освобождать Людмилу.

131. Возможно, имеется в виду В.Н. Орлов, князь, начальник Военно-походной канцелярии Николая II с 1906 г., которого царь уволил в 1915 г. из-за того, что он негативно относился к Г.Е. Распутину.

132. Договор, подписанный в Бьорке, был денонсирован в сентябре 1905 г.

133. Имеется в виду П. Жильяр, который преподавал французский язык детям Николая II в 1905–1918 гг., сопровождал семью в Тобольск, затем вернулся в Швейцарию, работал в университете Лозанны.

134. *Мельгунов С.П.* На путях к дворцовому перевороту (заговоры перед революцией 1917 года). Париж, 1931.

135. Речь идет о Д. Бьюкенене. Есть свидетельства того, что он поддерживал либеральную оппозицию в России и знал о планах дворцового переворота. О его непосредственном участии в этих проектах точно не известно. Ссылка на книгу С.П. Мельгунова здесь неправомерна.

136. До сих пор не обнаружено никаких сведений о существовании единого заговора для осуществления дворцового переворота, — тем более, с участием великих князей. Их недовольство максимально проявилось в коллективном письме Николаю II после убийства Г.Е. Распутина. Заговор А.И. Гучкова, который считается наиболее далеко продвинувшимся, развивался без активного участия великих князей.

137. Великий князь Дмитрий Павлович, сын Павла Александровича, внук императора Александра II, участвовал в убийстве Г.Е. Распутина в ночь с 16 на 17 декабря 1916 г.

138. 19 декабря 1916 г. великий князь Андрей Владимирович записал в дневнике: «Кирилл, Гавриил и я — мы заехали к Дмитрию заявить ему, что, не вникая вовсе в вопрос, виновен ли он или нет в убийстве Распутина, мы все стоим за него, и он может вполне на нас рассчитывать. Что бы ни случилось, мы будем за него» (*Мельгунов С.П.* Указ. соч. С. 132). С.П. Мельгунов процитировал советскую публикацию: Из дневника А.В. Романова за 1916–1917 гг. // Красный архив. 1928. № 1 (26). С. 186. Высылка Дмитрия Павловича произошла из-за участия его в убийстве Г.Е. Распутина.

139. Считается, что царь Федор Иоаннович был слаб здоровьем и умом и практически не участвовал в делах управления.

140. Речь идет о Г.Е. Львове, первом председателе Временного правительства, которого Николай II назначил одновременно с подписанием акта об отречении 2 марта 1917 г. 7 июля ушел в отставку, уступив пост А.Ф. Керенскому, после 1917 г. эмигрировал.

141. А.И. Желябов был арестован 27 февраля 1881 г., С.Л. Перовская — после 1 марта.

142. Считается, что состоявшихся покушений на Александра II было всего шесть. Первое покушение было совершено 4 апреля 1866 г., когда у решетки Летнего сада в него стрелял Д. В. Каракозов, но промахнулся. Второе произошло 25 мая 1867 г. в Париже: жизнь императора вновь подверг опасности поляк А. Березовский, но во время выстрела пистолет разорвало, а пуля ранила лошадь. В третий раз в царя 2 апреля 1879 г. на Дворцовой площади безуспешно пять раз стрелял А.К. Соловьев. 19 ноября 1879 г. «Народная воля» пыталась под Москвой подорвать императорский поезд, но заговорщики просчитались: вместо царского они подорвали состав со свитой. Наконец, 5 февраля 1880 г. С.Н. Халтурин организовал взрыв в столовой Зимнего дворца, царская семья не пострадала лишь по счастливой случайности, так как праздничный ужин предполагалось начать с опозданием на полчаса. Шестым стал террористический акт 1 марта 1881 г. В этот список не вошли подготавливаемые, но не состоявшиеся покушения.

143. Перовская С.Л. — дочь Л.Н. Перовского, губернатора Петербурга.

144. Г.М. Гельфман также была приговорена к смертной казни, но из-за беременности исполнение приговора было отложено, после рождения ребенка казнь заменили пожизненной каторгой, скончалась в тюрьме вскоре после родов.

145. Имеется в виду В.М. Юзефович, состоявший с 1880 г. при М.Т. Лорис-Меликове.

146. М.Т. Лорис-Меликов намеревался создать при Государственном совете несколько комиссий наподобие Редакционных, открытых в 1858 г. для подготовки освобождения крестьян, чтобы обсуждать в них административно-хозяйственные и финансовые вопросы, в частности, преобразование местного губернского управления, земского и городового положений и завершение временнообязанного состояния бывшего крепостного крестьянства. То есть речь шла не о совещательной, а законотворческой работе тех, кто призы-

вался по высочайшему указанию. Подготовленные законопроекты подлежали передаче в Общую комиссию, состав и предмет обсуждения которой определялись императором, а после нее вносились в общее собрание Государственного совета. «Для облегчения Государственного совета в предстоящих ему работах» М.Т. Лорис-Меликов предлагал ввести в его состав 10–15 выдающихся представителей «общественных учреждений». В.М. Юзефович не только вел подробный дневник, где записывал все происходившее, но и многое рассказывал. В частности, он дал скопировать Е.М. Феоктистову проект правительственного сообщения о предполагаемой программе реформ, который М.Т. Лорис-Меликов приготовил к публикации. Это было уже после 1 марта 1881 г. (*Феоктистов Е.М.* Дневник 1890–1896 // ОР ИРЛИ. 9122. LIIб14. Л. 34 об.–37).

147. Земский собор Н.П. Игнатьева значительно отличался от плана М.Т. Лорис-Меликова. Министр внутренних дел предполагал собрать 3500–4000 депутатов, избранных от разных сословий, а также верхушку церкви и правительство. Более половины депутатов представляли крестьянство (около 2000–2500 человек). Рассаженный по 30 столам, чтобы облегчить контроль за присутствовавшими и исключить оппозиционность, собор должен был выяснить настроения народа, выслушать и передать своим избирателям содержание царской речи, а также обсудить реформу местного управления, проект которой должен был быть подготовлен Кахановской комиссией. В случае, если обсуждение проекта затянулось бы, предполагалось оставить для разработки указанных вопросов небольшую комиссию из 30–40 человек, избранную собором. Подробнее см.: *Игнатьев Н.П.* Земский собор. СПб.; Кишинев, 2000.

Тартарэн — персонаж романа Альфонса Доде «Тартарен из Тараскона». Сатирический роман появился в 1869 г., обличал нравы «буржуазного общества» Провансаля, в нем описана повседневная жизнь маленького южного городка. Тартарэн — фантазер, мечтатель, чудак, готовый воплощать любую свою фантазию в действительность, не делавший разницы между мечтами и реальностью.

148. Речь идет об А.И. Горвице, И.Е. Гинцбурге, Поляковых. О банкирском доме «И.Е. Гинцбург» и предприятиях Поляковых см.: *Ананьич Б.В.* Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991. С. 37–110.

149. Резиденция великого князя Константина Николаевича в Петербурге.

150. У Е.М. Юрьевской и Александра II было пять детей: помимо двух, умерших во младенчестве, это уже упомянутый сын Георгий и две дочери — Ольга и Екатерина.

151. И.И. Колышко имеет в виду сражение при Фермопилах, состоявшееся в сентябре 480 г. до н.э., в котором небольшой (триста воинов) отряд спартанских воинов под командованием царя Леонида несколько дней преграждал на узком проходе через ущелье путь многочисленному персидскому войску Ксеркса I.

152. Царевич Алексей Петрович, противник преобразований своего отца, в 1717 г. втайне от него ездил в Вену и Италию, где вел переговоры с влиятельными государственными деятелями. За это в 1718 г. он был арестован, лишен права на престол, подвергся пыткам и в конечном счете осужден на смерть.

153. Член «Народной воли» С.П. Дегаев, завербованный полицией в 1882 г., сыграл важную роль в ликвидации народовольческих кружков, разоблачен в 1883 г., для сохранения жизни революционеры предложили ему убить завербовавшего его жандармского офицера Г.П. Судейкина. 16 декабря 1883 г. в Петербурге на своей квартире последний был убит, Дегаев успел скрыться и бежал за границу.

Е.Ф. Азеф, один из лидеров эсеровской партии, возглавлявший ее Боевую организацию одновременно с 1893 г. являлся агентом Департамента полиции. В 1908 г. разоблачен В. Л. Бурцевым и приговорен революционерами к смерти, поэтому был вынужден скрываться от них. Едва ли не самая крупная фигура, одновременно «игравшая» и с революционерами, и с охранкой.

154. И.С. Мазепа в первые годы своего гетманства поддерживал российских правителей, в Северную войну (1700–1721 гг.) выступил на стороне Петра I. Однако в 1708 г.

изменил русскому царю, за что вскоре был предан анафеме Русской православной церковью. После Полтавской битвы бежал к турецкому султану, умер на чужбине. На портрете Мазепы у него небольшие брови, грозным видом он не обладал.

155. 5 класс Табели о рангах (1800 г.) — статский советник, 4-й — действительный статский советник, 3-й — тайный советник. О шитье на мундирах см.: *Шепелев Л.Е.* Чиновный мир России XVIII — начало XX в. СПб., 1999.

156. Речь идет об А.Г. Булыгине.

«Булыгинской комиссией» И.И. Колышко называет утвержденное царем 16 марта 1905 г. особое предварительное совещание при МВД, которому было поручено разработать порядок призвания народных избранников для обсуждения законопроектов. Этот документ в виде проекта законосовещательной Государственной думы был подготовлен С.Е. Крыжановским, сам А.Г. Булыгин в работе совещания принимал минимальное участие. Совещание заседало с 12 марта, в него входили А.Г. Булыгин, С.Е. Крыжановский, Д.Ф. Трепов, А.И. Путилов, И.А. Ивановский, а также Ф.Д. Самарин, который присутствовал лишь на первом заседании. Совещание составило проект учреждения Государственной думы, его текст готовил в основном С.Е. Крыжановский. 6 августа 1905 г. законопроект об учреждении Государственной думы был подписан царем, а само народное представительство получило обиходное название — «Булыгинская дума», не вполне справедливое по отношению к А.Г. Булыгину, так как его роль в учреждении «российского парламента» нельзя признать значительной.

157. По данным Д.Н. Шилова (Государственные деятели Российской империи 1802–1917. СПб., 2001. С. 659), Г.Д. Толстой был холост.

158. А.С. Стишинский в 1889 г. познакомился с А.Д. Пазухиным и перешел в Земский отдел МВД на должность помощника управляющего (с 1893 — управляющий), из-за разногласий с новым министром И.Л. Горемыкиным стал в 1896 г. товарищем государственного секретаря, в 1899 г. вернулся в МВД на должность товарища Д.С. Сипягина, в 1904 г. вновь покинул МВД после того, как министром стал П.Д. Святополк-Мирский, был назначен членом Государственного совета. В 1906 г. — главноуправляющий землеустройством и земледелием в кабинете И.Л. Горемыкина. Позднее, в Государственном совете, Стишинский зарекомендовал себя активным членом правой группы.

159. И.И. Колышко, по-видимому, имеет в виду заседание Совета министров 8 марта 1881 г., первое после кончины Александра II, когда М.Т. Лорис-Меликов столкнулся с жесткой оппозицией своим планам со стороны К.П. Победоносцева и С.Г. Строганова.

160. А А. Абаза был уволен 1 января 1893 г. от председательствования в Департаменте государственной экономии Государственного совета, а 10 марта 1893 г. — от всех должностей в бессрочный отпуск.

161. В марте 1896 г. Г.А. Захарьин пожертвовал Синоду 500 тыс. руб. на пособия церковным школам Пензенской и Саратовской епархий. 3 октября 1897 г., согласно указу Синода, было определено, что ежегодно из пожертвованной суммы по 3500 руб. выделялось на пособия церковным школам и их учителям, столько же — на строительство новых школ, 2500 руб. — на вознаграждения священнослужителям беднейших приходов епархий. Этим же указом предполагалось учредить две школы имени тайного советника Захарьина. Вскоре, 23 декабря 1897 г., Г.А. Захарьин скончался (*Дворжанский А.И.* История Пензенской епархии. Кн. 1. Исторический очерк. Пенза, 1999. С. 188).

162. Ведомство учреждений императрицы Марии появилось в 1797 г., когда супруге Павла I Марии Федоровне были переданы в управление воспитательные дома в Петербурге и Москве. В дальнейшем это ведомство возглавляли супруги российских императоров. Постепенно размах его деятельности расширялся, к началу XX в. в ведомство входили около 1000 социальных заведений, опекавшие более 700 тыс. человек. Главой ведомства всегда являлась императрица, фактическое руководство осуществлял главноуправляющий канцелярией по ведомству императрицы Марии. И.Д. Делянов в 1885–1889 гг. несколько раз временно замещал его, но никогда не занимал эту должность постоянно.

163. Супругой И.Д. Делянова была Анна Христофоровна, урожд. Лазарева. И.И. Колышко ошибочно упомянул ее сестру, Елизавету Христофоровну Абамелек-Лазареву (урожд. Лазареву), супругу князя С.Д. Абамелека, основательницу фамилии Абамелек-Лазаревых (передана ей высочайшим указом в 1873 г. после смерти Х.Е. Лазарева).

164. А.А. Сабуров был министром народного просвещения в 1880–1881 гг., не после, а до И.Д. Делянова.

165. Осенью 1880 г. в столичном университете среди студентов большой размах получило составление петиций к министру народного образования, где излагались студенческие требования. Эти документы были переданы ректору А.Н. Бекетову для представления в министерство, но, как оказалось, в ведомстве их положили «под сукно». В знак протеста 8 февраля 1881 г. в Петербургском университете во время ежегодного акта один из студентов, Л.М. Коган-Бернштейн, зачитал протест, а другой — П.П. Подбельский — дал министру пощечину. Это был демонстративный акт против невнимания власти к нуждам студентов.

166. И.И. Колышко имеет в виду Ивана Николаевича Дурново и Петра Николаевича Дурново, которые являлись друг другу дальними родственниками.

И.Н. Дурново в 1863–1870 гг. был губернатором Черниговской губернии, в 1870–1882 гг. — Екатеринославской губернии. Современники почти единодушно отмечали его бесцветность, но губернатор сумел понравиться Александру III, после чего последовало его назначение товарищем министра внутренних дел (1882–1886). В 1889 г. он сменил на посту министра Д.А. Толстого. В 1895 гг. Николай II назначил И.Н. Дурново председателем Комитета министров.

167. Считается, что памфлет М.Е. Салтыкова-Щедрина «Губернатор с фаршированной головой» (1867 г.) был написан не на А.А. Татищева, а на тульского губернатора Михаила Романовича Шидловского.

168. А.К. Анастасьев — по сведениям П.А. Зайончковского, незаконнорожденный сын Ф.Ф. Трепова, в 1885–1892 гг. — черниговский губернатор. Александр III симпатизировал ему и назначил в 1892 г. с должности губернатора членом Государственного совета — случай беспрецедентный. О любви А.К. Анастасьева к розгам см.: *Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 80, 102, 171).

169. Г.П. Алексеев был Екатеринославским губернским предводителем дворянства в 1874–1886 гг., затем его сменил А.П. Струков (1886–1902 гг.). М.В. Родзянко в 1900–1905 гг. возглавлял губернскую земскую управу в Екатеринославле.

170. А.Н. Поль, предприниматель, открывший разработку железнорудных месторождений Кривого Рога. Начал исследования с 1872 г., в июне 1873 г. взял в аренду на 30 лет 18,6 тысячи десятин богатых рудой земель, для их освоения создал в 1880 г. акционерное общество.

171. В.М. Долгоруков был Екатеринославским губернатором с 7 октября 1883 по 19 июля 1884 г. И. Н. Дурново оставил должность 23 февраля 1882 г., затем ее непродолжительное время занимал А.Г. фон Розенберг (8 апреля 1882 – 6 октября 1883).

172. Н.И. Махно в 1918–1919 гг. возглавлял партизанское движение в Екатеринославской губернии, в декабре 1918 г. на неделю захватил и сам Екатеринославль. Воевал с украинским правительством С.В. Петлюры и войсками А.И. Деникина.

173. В.П. Мещерский, по крайней мере, с 1884 г. настойчиво предлагал И.Н. Дурново на смену Д.А. Толстому (*Дронов И.Е.* Князь В.П. Мещерский, его друзья и враги // http://www.voskres.ru/idea/meshcherskii.htm).

174. Содержание этого злополучного выступления, особенно эпитет «бессмысленные» применительно к «мечтаниям» земцев, породило сразу немало легенд и слухов. Гадание продолжили историки. П.А. Зайончковский, например, считал, что там было написано «несбыточные» (*Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 48, прим.) С.С. Ольденбург — «беспочвенные» (*Ольденбург С.С.* Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 47) и т.д.

В черновом же варианте самого К.П. Победоносцева это слово отсутствовало вообще (Красный архив. 1926. № 5 (18). С. 203), в копии окончательной редакции, посланной обер-прокурором великому князю Сергею Александровичу, было — «безумными» (ОР РГБ. Ф. 265. К. 29. № 2. Л. 18). Но в собственноручно записанном Николаем II тексте, который сохранился, вставлено «бессмысленными» (РГИА. Ф. 919. Оп. 2. Д. 609. Л. 1). То есть, неудачно подобранный К.П. Победоносцевым эпитет был заменен на еще более неуместный. Таким образом, это слово не было простой оговоркой. Информированная современница Е. Радзивилл видела в этой истории, прежде всего, желание молодого царя продемонстрировать самостоятельность (*Radzivill E.* The Intimate Life of the Last Tsarina. London, 1929. P. 62).

175. А.К. Кривошеин, до назначения министром путей сообщения, в 1870–1880-х гг. служил в Ростове на Дону уездным предводителем дворянства, гласным в уездном земском собрании и на других должностях.

176. По сведениям Д.Н. Шилова, у И.Н. Дурново было две дочери — Надежда и Елизавета (*Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 233).

177. Д.С. Сипягин был главноуправляющим Собственной Его императорского величества канцелярии по принятию прошений в 1895–1899 гг. В это время проводилась реформа канцелярии, призванная сделать ее влиятельнейшим учреждением: предполагалось передать туда все жалобы на правительственные инстанции с правом главы канцелярии проводить по ним расследования и докладывать их результаты прямо императору.

178. В личном фонде Д.С. Сипягина в РГИА сохранился двухстраничный текст без заголовка, который представляет собой рекомендации от нескольких лиц, переданные автору (он не указан), ставшему губернатором, его братом (РГИА. Ф. 721. Оп. 1. Д. 12). Наставления призывают губернатора быть внимательным к бумагам, милосердным к подчиненным и милостивым к просителям.

179. Речь идет об А.А. Лопухине, служившем по Министерству юстиции на прокурорских должностях, возглавлявшем Департамент полиции МВД с 9 мая 1902 г. (уже при В.К. Плеве). Впоследствии, после убийства великого князя Сергея Александровича, уволен за непринятие должных мер по его охране. В 1909 г. предан суду Сената за разглашение факта сотрудничества Е.Ф. Азефа с охранкой.

180. Имеется в виду публикация памфлета А.В. Амфитеатрова «Господа Обмановы» — первой главы большого, задуманного им сатирического романа. Она появилась в газете «Россия» 13 января 1902 г. и вызвала большой скандал. 14 января А.В. Амфитеатров был уже арестован, вскоре осужден на ссылку в Минусинск, затем отбывал ее в Вологде. В 1903 г. освобожден, в 1904 г. эмигрировал. Газета «Россия» была закрыта, ее издатель Г.П. Сазонов препровожден на жительство в Новгородскую губернию.

181. Д.С. Сипягин был убит 2 апреля 1902 г. С.В. Балмашев, один из основателей Боевой организации партии социалистов-революционеров, переодетый в мундир адъютанта, в Мариинском дворце вызвал Д.С. Сипягина якобы для того, чтобы вручить ему пакет от великого князя Сергея Александровича. Когда министр вышел, он вручил ему приговор от имени эсеровской партии и пять раз выстрелил. Через час Д.С. Сипягин скончался. 3 мая 1902 г. С.В. Балмашев был повешен по приговору суда.

182. Речь идет о Ж. Фуше.

183. В. К. Плеве родился в 1846 г., С.Ю. Витте — в 1849 г.

184. «В студенческие годы Плеве был, по-видимому, народником, ходил, как утверждали люди, его знавшие, в красной рубахе и с сучковатой дубинкой, по моде того времени» (*Крыжановский С.Е.* В.К. Плеве // Новый журнал. 1975. Кн. 118. С. 138).

185. О «Булыгинской комиссии» см. примечание 156.

186. Приказ «патронов не жалеть» Д.Ф. Трепова был обнародован в Петербурге 14 октября 1905 г., как он уверял — в профилактических целях.

187. Как сообщил С.Е. Крыжановский, который, правда, был недругом В.К. Плеве, «не то отец, не то дед его был выкрест из евреев, состоявший кистером при лютеранской церкви <...> говорили, что он <...> был крещен в католичество, а затем перешел в лютеранство и, наконец, в православие, два раза переменив религию, приставил и затем отбросил частицу “фон”, что он предал по какому-то поводу своего отца и т.п.» (*Крыжановский С.Е.* В.К. Плеве // Новый журнал. 1975. Кн. 118. С. 137–138).

188. Ошибка. Надо: Дмитрию Сергеевичу (Сипягину).

189. Прямых сведений о том, что В.К. Плеве желал войны с Японией, нет. Исследователи часто ссылаются на запись в дневнике А.Н. Куропаткина 11 декабря 1903 г., в которой военный министр записал, что, по мнению В.Н. Ламздорфа: «Плеве не прочь иметь войну с Японией. Он надеется, что война отвлечет внимание масс от политических вопросов» (Дневник А.Н. Куропаткина. Запись 11 декабря 1903 г. // Красный архив. 1922. № 2. С. 94). Однако тут же А.Н. Куропаткин сообщил, что ему удалось убедить В.К. Плеве, «что война с Японией не уменьшит его забот об успокоении России» (Там же). Скорее всего, министр внутренних дел в меньшей степени, чем тот же В.Н. Ламздорф, опасался конфликта с Японией, полагая, что «Россия выйдет победоносною из всех затруднений» (Там же). Он также поддерживал безобразовцев, крайне легкомысленно подходивших к вопросу о войне с Токио. Однако говорить о том, что В.К. Плеве **желал** войны, оснований нет.

190. Зубатовщиной принято называть «полицейский социализм», названный так по имени инициатора — жандармского полковника С.В. Зубатова. Суть его идеи состояла в том, чтобы создать легальные рабочие организации, оторванные от политики, которые ориентировали бы своих членов к мирной борьбе за свои экономические интересы при поддержке власти.

191. Самый известный еврейский погром, который случился при В.К. Плеве, произошел в Кишиневе 6–7 апреля 1903 г. Несмотря на многочисленные подозрения в том, что власть организовала этот погром, никаких доказательств этому так и не было найдено. Указывали обычно на поразительную быстроту действий погромщиков, оставляющую впечатление хорошей предварительной подготовки, а также на слабую реакцию местной администрации. Однако кишиневский губернатор Р.С. фон Рабен был отстранен от власти (См.: Кишиневский погром 1903 года. Сборник документов и материалов. Кишинев, 2000; *Джадж Э.* Пасха в Кишиневе. Анатомия погрома. Кишинев, 1998). Несмотря на антисемитизм многих сановников, они хорошо понимали недопустимость беспорядков. Характерен в этом смысле диалог между варшавским генерал-губернатором И.В. Гурко и Александром III, состоявшийся в начале 1890 г. Они говорили об избиениях евреев. Генерал заявил: «Если случится у меня что-нибудь подобное, <...> я не задумаюсь обуздать эти погромы самыми строгими мерами; живя часто в южных губерниях, я имел случай узнать евреев и глубоко ненавижу их; знаю, какой вред приносят они местному народонаселению, но, тем не менее, правительство обязано энергически подавлять уличные беспорядки». Александр III согласился с собеседником: «В глубине души я ужасно рад, когда бьют евреев, а все-таки не надо допускать этого» (*Феоктистов Е.М.* Дневник 1890–1896 гг. // ОР ИРЛИ. 9122.LIIб14. Л. 9). Похоже, что и после Александра III российские власти действовали по тому же принципу.

192. Торговый договор с Германией 1894 г. был в целом выгоден обеим сторонам: Германия понижала пошлины на продукцию российского сельского хозяйства, а Россия облегчала ввоз немецкого оборудования и промышленной продукции. Потери от уменьшения таможенного обложения оказались примерно одинаковыми (*Субботин Ю.Ф.* Россия и Германия: партнеры и противники. М., 1996. С. 73–87).

193. Речь идет о Г.А. Гапоне.

194. Речь идет о С.В. Зубатове. В юности он участвовал в революционном движении, в середине 1880-х гг. стал осведомителем охранки. В 1889 г. Зубатова приняли в штат Департамента полиции, в 1896 г. дослужился до должности начальника Московского охранного отделения. В 1898 г. С.В. Зубатов выступил с идеей создания «Собрания фабрично-

заводских рабочих» с целью отвлечения их от революционного движения. Первая такая организация появилась в Москве летом 1901 г. Однако камнем преткновения для С.В. Зубатова стали отношения с предпринимателями. Уже весной 1902 г. в Москве возник серьезный конфликт рабочих с хозяевами на фабрике Гужона. Полиция поддержала зубатовских активистов, а министр финансов С.Ю. Витте — фабрикантов. Он поставил вопрос о запрете зубатовских организаций, однако дело закончилось переводом офицера в столицу на должность директора Особого отдела Департамента полиции в октябре 1902 г. Неудачи толкнули С.В. Зубатова на поиск поддержки у С.Ю. Витте, этого ему не простил министр внутренних дел В.К. Плеве: 20 августа 1903 г. С.В. Зубатов вынужден был оставить службу и отправиться во Владимир под негласный надзор полиции. В 1917 г., узнав о падении самодержавия, он застрелился.

195. В 1903 г. В.К. Плеве подержал безобразовскую группу, несмотря на то что был не сведущ в вопросах дальневосточной политики. В частности, он открыто выступил на их стороне в ходе Особых совещаний 26 марта и 7 мая 1903 г., посвященных судьбе созданного ими лесопромышленного предприятия на р. Ялу. Сохранилось большое количество документов и писем, которые члены безобразовской группы (прежде всего, А.М. Безобразов и В.М. Вонлярлярский) посылали В.К. Плеве (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 759–761). Министр внутренних дел таким образом пытался свалить С.Ю. Витте, и ему это удалось: 16 августа 1903 г. министр финансов был уволен.

196. Имеется в виду убийство В.К. Плеве Е.С. Сазоновым. Подробнее см. примечание 201.

197. В.Н. Коковцов в своих мемуарах опровергает этот настойчиво распространявшийся С.Ю. Витте слух. Он пишет, что после убийства В.К. Плеве в его портфеле «не было найдено ни одной строчки, посвященной гр[афу] Витте». В письменном же столе министра обнаружили его всеподданнейшую препроводительную записку к выдержкам из перлюстрации. «В одном из писем говорилось, что Витте состоит в самом тесном общении с русскими и заграничными революционными кругами и чуть ли не руководит ими, в другом же неизвестный корреспондент выражает своему адресату прямое удивление, каким образом правительство не знает об отношении человека, занимающего высокий административный пост, к личности царя, проникнутого самой нескрываемой враждебностью, и даже близкого к заведомым врагам существующего государственного строя, и терпит такое явное безобразие». На этих выписках Николай II поставил только знак прочтения, никакой резолюции не было (*Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Кн. 1. М., 1992. С. 56–57).

198. Члена Государственного совета (с 1902 г.) Платонова звали Степан Федорович (1844–1916), он служил в Министерстве юстиции, с 1903 г. возглавлял Особое присутствие Сената по делам Петербурга, в январе 1904 г. ему поручено обследование учреждений городского столичного самоуправления для доклада министру внутренних дел.

199. Непонятно, почему среди авантюристов И.И. Колышко упоминает А.Н. Куропаткина — военный министр никогда не поддерживал безобразовцев. Также следует заметить, что отношение наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева к лесному предприятию на р. Ялу было неоднозначным.

200. Замок Шамбор — крупнейший на Луаре, построенный в первой половине XVI в., королевская резиденция.

201. Рассказ И.И. Колышко об обстоятельствах покушения на В.К. Плеве — чистая фантазия. «Чуйка», «сидевшая в трактире» — это Е.С. Сазонов, одетый в форму железнодорожного служащего. Он двигался по мосту через Обводный канал, затем — по Измайловскому проспекту, «высоко подняв голову и держа у плеча снаряд». Когда карета министра внутренних дел поравнялась с ним, бросил снаряд под нее. «Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти

черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся». (*Савинков Б.В.* Избранное. М., 1990. С. 62–63). Взрыв полностью разрушил карету В.К. Плеве, сам министр погиб на месте, а Е.С. Сазонов, получив ранения, выжил, был осужден на бессрочную каторгу. В 1910 г. он покончил жизнь самоубийством.

202. Имеется в виду В.А. Татаринов — первый государственный контролер в России (с 1863 г.), хорошо знакомый с европейским опытом деятельности подобного учреждения, разработавший правила деятельности контроля в России. Суть деятельности ведомства — контроль за исполнением бюджета как министерствами, так и их местными органами.

203. Фактический контроль эксплуатационных действий Николаевской железной дороги, а также ежемесячная проверка исполнения государственных доходов и расходов, были введены в 1866 г. Позднее фактический контроль был распространен и на другие казенные железные дороги, на винокуренные заводы, оптовые склады вина и т.д.

204. Намек на аферы, связанные со строительством Панамского канала. В 1879 г. во Франции было учреждено акционерное общество «Всеобщая компания межокеанского канала», бумаги которого приобрели более 800 тыс. человек. К 1888 г., когда была выполнена треть работ, выяснилось, что затраты на строительство уже в 2 раза превысили запланированные, при этом компания-подрядчик выполнила всего лишь треть объема работ. Компания обанкротилась, а расследование ее деятельности выявило колоссальную коррупцию. К началу XX в. вся эта история уже приобрела нарицательный характер, слово «панама» стало синонимом крупной аферы.

205. Имеется в виду М.Н. Анненков, член комиссии Э.Т. Баранова, занимавшейся изучением состояния железнодорожного дела в России, заведующий ее делопроизводством. В 1886–1887 гг. руководил строительством самаркандского участка Закаспийской железной дороги, с 1888 г. — ее управляющий, но занимал этот пост недолго.

206. Должность государственного контролера оказалось поприщем для ожесточенной борьбы между В.П. Мещерским и К.П. Победоносцевым, имевшим своего кандидата — А.А. Половцова. Борьба эта длилась более двух лет, а не являлась единичным актом «разоблачения интриги». Однако, несмотря на все усилия обер-прокурора и негативный отзыв Д.М. Сольского, кандидат В.П. Мещерского одержал победу (*Дронов И.Е.* Князь В.П. Мещерский, его друзья и враги // http://www.voskres.ru/idea/meshcherskii.htm).

207. Речь идет об А.И. Маликове.

208. Речь идет об И.Н. Быховце.

209. Ю.Б. Бак, инженер путей сообщения, основатель и главный пайщик газеты «Речь». Служил на Закаспийской железной дороге, затем занимался строительством участков на разных железнодорожных линиях (Пермь—Котлас, Вологда—Вятка, Киев—Ковель, Балашово—Харьков).

210. Имеется в виду увольнение с должности министра путей сообщения А.К. Кривошеина в 1894 г.

211. С.Т. Филиппов — камергер, чиновник особых поручений при Собственной Его императорского величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии. Состоял в переписке со многими музыкальными деятелями.

212. У Т.И. Филиппова было две дочери: Мария, замужем за Пелисье, и Наталия, замужем за В.О. Корибут-Дашкевичем. Ей посвящен романс М.А. Балакирева «Когда волнуется желтеющая нива».

213. Имеется в виду граф Владимир Алексеевич Бобринский, глава Министерства путей сообщения в 1869–1871 гг., или граф Алексей Павлович Бобринский, возглавлявший Министерство путей сообщения в 1872–1874 гг. Кого из них имеет в виду И.И. Колышко — не ясно.

214. Кукуевская катастрофа — крушение почтового поезда, произошедшее 30 июня 1882 г. на Московско-Курской дороге близ деревни Кукуево Мценского уезда Тульской губернии. Железнодорожная насыпь через овраг была смыта сильным ливнем (сточная

труба не справилась с напором воды), в образовавшийся провал глубиной свыше 30 метров рухнуло 7 вагонов. Это была первая в истории российских железных дорог катастрофа с человеческими жертвами (погибло 43 человека, 35 получили сильные увечья).

215. Намек на пьесу А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», главный герой которой представляет собой тип азартного игрока, готового на головоломные аферы для оплаты картежных долгов.

216. Речь идет о М.Н. Бухарине, главе водной и шоссейной инспекции МПС, члене совета министра путей сообщения. Получил также известность как автор театральных пьес.

217. Князь М.И. Хилков возглавлял Министерство путей сообщения с 4 января 1895 г. (сначала как управляющий, а со 2 апреля 1896 г. — как министр) по 25 октября 1905 г. Подробнее о его биографии см.: Шепелев Л.Е. Министр путей сообщения князь М.И. Хилков // Из глубины времен. Вып. 5. СПб., 1995. С. 132–138.

218. А.С. Танеев с 6 мая 1894 г. заведовал Инспекторским отделом Собственной Его императорского величества канцелярии, со 2 ноября 1896 г. — возглавлял ее. Отставка А.К. Кривошеина по прошению состоялась 17 декабря 1894 г.

219. М.И. Хилков служил на строительстве и эксплуатации Трансатлантической железной дороги в 1864–1869 гг. и завершил свою карьеру в США заведующим службой подвижного состава и тяги (1868–1869 гг.).

220. В Болгарии тогда не было министерства путей сообщения. М.И. Хилков во время русско-турецкой войны был уполномоченным Российского общества Красного креста при санитарном поезде. В апреле 1880 г. он был командирован на строительство Закаспийской железной дороги.

221. 22 июня 1892 г. М.И. Хилков был переведен на службу в МПС и назначен директором от министерства в правление Общества привислинских железных дорог, а 4 июля 1892 г. (при С.Ю. Витте) — начальником Орловско-Грязской железной дороги. При А.К. Кривошеине стал главным инспектором железных дорог, находившихся в ведении МПС.

222. Расплюев — герой комедии А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

223. С.В. Рухлов в декабре 1873 г., после окончания юридического факультета Петербургского университета, поступил на службу чиновником в Департамент исполнительной полиции МВД. В мае 1879 г. перешел в Главное тюремное управление МВД. К 1891 г. дослужился до чина действительного статского советника, в августе 1892 г. перешел на службу в Государственный совет (помощником статс-секретаря). 20 января 1903 г. С.В. Рухлов стал товарищем главноуправляющего торговым мореплаванием и портами (т.е. заместителем великого князя Александра Михайловича).

224. С этих слов Доминго, духовника короля, начинается трагедия Шиллера «Дон-Карлос, инфант Испанский» (1787 г.). Речь идет о пребывании Дон-Карлоса в увеселительном дворце Филиппа II в Аранжуэце (точнее — Аранхуэсе) близ Мадрида. Значение фразы — «прошло беззаботное время».

225. С.В. Рухлов был расстрелян большевиками 19 октября 1918 г. в окрестностях Пятигорска. Скорее всего, И. И. Колышко спутал его с М.И. Хилковым, умершим в 1909 г.

226. Имеется в виду Всероссийский национальный союз — партия, объединившая в 1908 г. умеренно правых депутатов III Государственной думы и некоторых известных общественных деятелей (М.О. Меньшиков, епископ Евлогий и др.). Первым председателем партии стал С.В. Рухлов (единственный пример, когда министр возглавлял политическую партию). ВНС выступал за то, чтобы в Российской империи доминировали «русские начала», но в их понимании лидеры партии значительно расходились.

227. Лавров Алексей Максимович — действительный статский советник, чиновник особых поручений при министре путей сообщения.

228. Вариант этой главы, отличный от публикуемого в незначительных деталях, впервые появился в печати в 1931 г. (Новое русское слово. 1931. 9 августа. № 6769. С. 2), в цикле статей Баяна «Тени минувшего».

229. Отец П.А. Столыпина — А.Д. Столыпин, генерал-адъютант, генерал от артиллерии, с 1892 г. заведовал придворной частью в Москве.

230. Брат П.А. Столыпина, А.А. Столыпин, окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, с 1882 г. публиковался в журналах. Публицист, один из авторов «Нового времени» (с 1904 г.), в 1902–1904 гг. был редактором в «Санкт-Петербургских ведомостях».

231. О.Б. Нейдгардт — невеста старшего брата П.А. Столыпина, погибшего на дуэли, стала супругой будущего премьера. И.И. Колышко имеет в виду влияние семьи Нейдгардтов, в частности братьев супруги П.А. Столыпина — А.Б. Нейдгардта, Д.Б. Нейдгардта и их отца — Д.Б. Нейдгардта.

А.Б. Нейдгардт, с 1906 г. член Государственного совета (1906 г.), возглавлял группу правого центра, ставшую опорой правительства П.А. Столыпина в верхней палате.

232. О покровительстве Б.В. Штюрмера (тогда — директора Департамента общих дел МВД) другие мемуаристы не упоминают, но известно, что П.А. Столыпину симпатизировал министр внутренних дел В.К. Плеве. Однако надо помнить, что Б.В. Штюрмер являлся одним из частых посетителей салона В.П. Мещерского, и И.И. Колышко, разумеется, был хорошо знаком с ним. Одно время «среды» князя посещял А.А. Столыпин. Поэтому не исключено, что в будущей карьере П.А. Столыпина В.П. Мещерский и его салон сыграли не последнюю роль.

233. Имеется в виду взрыв бомбы на даче П.А. Столыпина 12 августа 1906 г., когда он вел прием посетителей. Погибло 27 человек, среди тяжело раненых оказалась дочь премьера, он сам не пострадал.

234. Имеется в виду депутаты Трудовой фракции в I Государственной Думе А.Ф. Аладьин и С.В. Аникин.

235. С.Д. Урусов, выступая в прениях в Государственной думе 8 июня 1906 г., охарактеризовал тех, кто печатал погромные листовки в Департаменте полиции, следующим образом: «Люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики», не обращаясь к ним поименно (Государственная дума. Стенографический отчет. Созыв 1. Сессия 1. С. 1132). Эти слова использовал С.Ю. Витте, определив в мемуарах Д.Ф. Трепова — «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению», сославшись при этом на выступление С.Д. Урусова в Думе (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 127).

236. П.А. Столыпин впервые выступил в Государственной думе как министр внутренних дел 8 июня 1906 г. на 23-м заседании палаты. Он защищал своих подчиненных в связи с депутатским запросом по поводу деятельности МВД. Народные избранники встретили его не очень хорошо, во время речи министра в зале стоял шум, раздавались выкрики «довольно» (Государственная дума. Стенографические отчеты. Созыв 1. Т. 2. С. 1125–1129).

237. Ни Н.Е. Марков, ни В.М. Пуришкевич, ни П.Н. Милюков не входили в число депутатов I Думы. «Кавказские обезьяны» — этот эпитет относится к социал-демократической фракции во II Думе. «Нечитайло и Неписайло» — обыгрыш фамилии С.В. Нечитайло, депутата II Думы, трудовика, избранного от крестьян Киевской губернии.

238. С.Ю. Витте никогда не выступал в Государственной думе. Современники отмечали, что граф не был оратором. «Говорил Витте очень некрасиво, иногда растягивая слова, иногда пропуская отдельные слова, чуть ли не скороговоркой» (*Путилов А.С.* Воспоминания // РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 217. Л. 15). «Речь его была довольно тягучая, медленная, он как бы приискивал слова и обороты и притом говорил как бы с некоторым снисхождением к аудитории. Казалось, что ему как будто смешно и странно доказывать то, о чем он говорит. Можно сказать — зажечь слушателей, заставить усиленно биться их сердца, тем более властно увлечь их за собой, он не мог» (*Таганцев Н.С.* Впечатления от воспоминаний графа С.Ю. Витте // Интеллигенция и российское общество в начале XX века. СПб., 1996. С. 187).

239. Ф.И. Шаляпин дебютировал перед слушателями в сольной партии Зарецкого («Евгений Онегин») 29 марта 1890 г. в постановке Казанского общества любителей сценического искусства, однако далее он пел в хоре. Лишь перебравшись в Уфу в опереточную труппу С.Я. Семенова-Самарского, он совершенно случайно преобразился в солиста осенью 1890 г., заменив в опере Монюшко «Галька» заболевшего артиста.

240. Имеются в виду князь Д.М. Пожарский, М.М. Сперанский, С.С. Ланской.

241. Оценка Д.Ф. Трепова выглядит неожиданно, так как в мае-июне 1906 г. он вел переговоры о создании кадетского кабинета, искренне считая, что только такая уступка оппозиции поможет избежать наступления новой революционной волны.

242. Этот инцидент относится ко времени III Думы. 17 ноября 1907 г., выступая на общем собрании нижней палаты по поводу правительственной декларации, член кадетской фракции Ф.И. Родичев заявил: «Когда русская власть находилась в борьбе с эксцессами революции, только одно средство видели, один палладиум в том, что г. Пуришкевич называет муравьевским воротником и что его потомки назовут, быть может, столыпинским галстуком» (Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1907–1908 гг. Сессия 1. Ч. 1. Стб. 396). В Думе после этих слов вспыхнул скандал, Ф.И. Родичева чуть не избили, заседание было прервано на час. Незадачливый оратор лично извинился перед премьером, а общему собранию заявил, что берет свои слова назад. За эту выходку Ф.И. Родичев был удален из зала на 15 заседаний — высшее наказание для депутата, которое было применено впервые.

243. И.И. Колышко спутал П.Н. Игнатьева с Д.Ф. Треповым, действительно встречавшимся с П.Н. Милюковым в ресторане Кюба в первой половине июня 1906 г. Эту встречу лидер кадетов описал в своих мемуарах (*Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. 1. М., 1990. С. 377–378). П.Н. Милюков настаивал на формировании кадетского министерства, по крайней мере, на том, чтобы все ключевые портфели в правительстве отошли к представителям общественности. Коалиционный кабинет предлагал министр иностранных дел А.П. Извольский, представив царю проект депутата Думы Н.Н. Львова, согласованный с П.А. Столыпиным. Предполагалось, что П.А. Столыпин сохранит свой пост главы МВД, но премьером станет председатель Думы С.А. Муромцев (*Извольский А.П.* Воспоминания. М., 1989. С. 116–123).

244. Июньским (третьеиюньским) государственным переворотом принято называть решения Николая II распустить II Государственную думу и издать новый избирательный закон, которые были обнародованы 3 июня 1907 г. Если распустить нижнюю палату царь мог в любое время, то изменение Положения о выборах не входило в его компетенцию, относясь к исключительному ведению самой Думы. Это нарушение Основных законов уже в то время определили как государственный переворот.

245. После неожиданного для депутатов роспуска I Думы 9 июля 1906 г. около 180 членов нижней палаты спешно выехали в Выборг (Финляндия), где 9–10 июля, находясь вне пределов досягаемости для российской полиции, обсудили ответные меры. Однако их призыв к кампании гражданского неповиновения, адресованный всей России (т.н. «Выборгское воззвание»), не получил значительного отклика.

246. 10 мая 1907 г., выступая в Думе по аграрному вопросу, П.А. Столыпин заявил: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» (Государственная дума. Стенографический отчет. Сессия 2. Т. 2. Стб. 445).

247. Имеется в виду провал 4 марта 1911 г. в Государственном совете правительственного законопроекта о введении земства в западных губерниях, который органи-

зовали правые. П.А. Столыпин немедленно подал в отставку. Несколько дней сохранялось неопределенное положение. Николай II сначала был склонен принять ее. Однако за него заступились вдовствующая императрица Мария Федоровна и несколько великих князей. Благодаря их сильному давлению 5 марта царь отказался от намерения уволить главу правительства, а 11 марта окончательно принял его условия. Они состояли в том, что законопроект о западном земстве должен был немедленно принят по ст. 87 Основных законов (т.е. в обход Думы и Государственного совета), для этого на 3 дня распускались обе палаты. Зачинщики же интриги В.Ф. Трепов и П.Н. Дурново отправлялись «в отпуск» до конца года, а с 1912 г. удалялись из числа назначаемых к присутствию членов Государственного совета (*Дякин В.С.* Самодержавие, буржуазия и дворян-ство в 1907–1911 гг. Л., 1978. С. 219–221).

248. Имеется в виду С.Е. Крыжановский, с 1906 г. — товарищ министра. Автор многих законодательных инициатив, начиная с записки П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. и Учреждения Государственной думы 6 августа 1905 г., а также избирательных законов в Государственную думу и др. В 1911 г. назначен государственным секретарем, в канун Февральской революции едва не стал министром внутренних дел.

И.Я. Гурлянд, профессор Демидовского юридического лицея, в 1904 г. перешел на службу в МВД чиновником особых поручений при министре. Редактор газеты «Россия» (1906–1914).

249. Речь идет об А. Бриане и Ж. Кайо.

250. У. Питт (Младший) занимал пост премьер-министра в 1783–1801 и 1804–1806 гг. не столько благодаря поддержке короны, сколько опираясь на общественное мнение.

251. П.Г. Курлов, товарищ министра внутренних дел, возглавлявший полицию (1909–1911 гг.), после гибели П.А. Столыпина подозревался в том, что был причастен к покушению на премьера, но расследование не подтвердило этого предположения. В 1916 г. в течение двух месяцев незаконно исполнял должность товарища министра внутренних дел, так как указ о его назначении не прошел утверждение в Сенате.

252. Речь идет о Д.Г. Богрове.

253. Николаевское кавалерийское училище начало свою историю 9 мая 1823 г., когда Александр I учредил в казармах лейб-гвардии Измайловского полка Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В Николаевское кавалерийское училище Школа была преобразована в 1864 г. Расформировано в октябре 1917 г., в феврале 1921 г. воссоздано эмигрантами, просуществовало до 1923 г. Училище готовило офицеров для кавалерии, далеко не все попадали на командные должности в гвардии. Пожалуй, самыми известными его выпускниками были М.Ю. Лермонтов, М.П. Мусоргский, А.В. Каульбарс, В.А. Сухомлинов, К. Маннергейм, несколько будущих белых генералов. В отличие от Пажеского корпуса, представителей знатных аристократических семейств среди питомцев училища было сравнительно мало.

254. В ходе военной реформы Д.А. Милютина в 1863–1866 гг. существовавшие тогда 12 кадетских корпусов были преобразованы в военные гимназии. Они имели статус средних учебных заведений, готовивших своих выпускников к поступлению в военные училища.

255. А.И. Куприн — автор автобиографического романа «Юнкера» (1928–1932), написанного в эмиграции.

256. В Александровское военное училище в Москве в 1863 г. был преобразован Александринский сиротский кадетский корпус, учрежденный в 1849 г. Это училище готовило офицеров пехоты.

257. П.Г. Курлов в 1880–1883 гг. служил прапорщиком в лейб-гвардии Конно-гренадерском полку, затем в пограничной страже на Кавказе, оттуда и поступил в Военно-юридическую академию. С 1889 г. — в военной прокуратуре Московского окружного суда, затем была служба в Костроме, Твери, Одессе. В отставку с военной службы П.Г. Курлов вышел 17 мая 1892 г. в чине подполковника, затем служил в гражданской про-

куратуре во Владимире, Вологде. Товарищем прокурора Московской судебной палаты он стал в 1900 г. и уже с этой должности в 1903 г. был назначен курским вице-губернатором. В 1905 г. состоялось очередное повышение — губернатором в Минск.

258. Покушение на П.Г. Курлова состоялось 14 января 1906 г. — в губернатора бросил бомбу И. Пулихов за расстрел демонстрации в октябре 1905 г. Вскоре П.Г. Курлов был уволен с должности, а его действия по подавлению революционных выступлений в Минске в октябре 1905 г., закончившиеся гибелью и тяжелыми ранениями около ста человек, стали предметом специального расследования (прекращено Сенатом). П.Г. Курлов же получил назначение в Совет министра внутренних дел, а 8 декабря 1906 г. стал управляющим Киевской губернией — т.е. получил повышение по службе.

259. П.П. Скоропадский — гетман Украины в 1918 г.; в 1893 г. окончил Пажеский корпус, затем служил в Кавалергардском полку.

260. Одна из версий убийства П.А. Столыпина гласила, что его мог организовать П.Г. Курлов, чьи отношения с премьером в последние годы его жизни испортились. Премьер намеревался провести ревизию деятельности своего товарища, что, якобы, грозило ему выявлением больших финансовых злоупотреблений. (См. например: *Аврех А.Я.* П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 221–233). Сторонники этой версии почему-то совершенно не учли два обстоятельства. Первое — мнимые заговорщики не могли не понимать, что при удачном исходе их мифического замысла расследование убийства П.А. Столыпина прежде всего охватит их деятельность, не исключая и того, что их обвинят как минимум в ненадлежащей организации охраны. И дело не ограничилось бы просто ревизией, а обернулось бы настоящим расследованием (что, кстати, и произошло). Следствие, проведенное по распоряжению царя сенатором М.И. Трусевичем для выяснения роли охранки в тех событиях, не нашло убедительных фактов, подтверждающих заговор, ограничившись обвинением в вопиющем непрофессионализме. Надо сказать, что М.И. Трусевич начал свое расследование именно с вопроса о причастности чинов охранки к убийству. Второе соображение — у этих людей не было и не могло быть никаких гарантий того, что Д.Г. Богров станет стрелять именно в П.А. Столыпина. Тогда затея теряла всякий смысл. А если бы террорист стрелял в самого царя? Поэтому нет никаких серьезных оснований говорить о заговоре охранки против П. А. Столыпина. См.: *Степанов С.А.* Столыпин — история убийства. Жизнь м смерть ради России. М., 2006.

261. Д.Г. Богров происходил из семьи состоятельного и известного киевского адвоката. В революционном движении участвовал с 1906 г., сотрудничал с охранкой — с 1907 г. Причины связи молодого человека с анархистами-максималистами следует, видимо, искать в личности самого Д.Г. Богрова. Впрочем, случай Д.Г. Богрова не был уникальным. Сотрудничество с охранкой можно объяснить тем, что молодой человек был страстным картежным игроком, много проигрывал и, вероятно, нуждался в деньгах. Вряд ли ему было удобно брать их в семье. Получал он совсем не гроши — 150 руб. ежемесячно и единовременные выплаты. Однако его расходы и степень нужды в деньгах точно не известны. Вообще, его биография свидетельствует о том, что он не принимал рациональных решений.

262. Д.Г. Богров перед покушением никаких террористов в Киеве не выдавал.

263. Версия о сообщниках Д.Г. Богрова не нашла подтверждения.

264. Е.А. Полубояринова, вдова купца I гильдии, книгоиздателя Д.Д. Полубояринова (ум. в 1905 г.), расходовала крупные суммы на деятельность «Союза русского народа» (порядка 100 тыс. руб. в год), одно время была казначеем «Союза». О ее дружеских отношениях с Г.Е. Распутиным и П.А. Бадмаевым ничего не известно.

265. Н.К. Муравьев был председателем Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством в марте 1917 г. для подготовки грандиозного процесса над деятелями «старого режима».

266. П.Г. Курлов в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по поводу Е.А. Полубояриновой не допрашивался. У него интересовались про расстрел

демонстрации в Минске в октябре 1905 г. и про убийство Столыпина (Падение царского режима. Т. 3. Л., 1925. С. 179–207. Допрос состоялся 6 мая 1917 г.).

267. *Курлов П.Г.* Гибель императорской России. Berlin: Отто Кирхнер и К°, 1923. 227 с. В 1923 г. эта книга с сокращениями была переиздана в Советской России (*Курлов П.Г.* Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов. М.; Пг., 1923. 296 с.). В 1991 г. издательство «Современник» переиздало полную редакцию (*Курлов П.Г.* Гибель императорской России. М., 1991. 255 с.).

268. Как принято считать, А.Н. Хвостов намеревался с помощью иеромонаха Илиодора убить Г.Е. Распутина. Для этого в начале 1916 г. он направил для переговоров в Христианию (Осло), где тогда находился Илиодор, журналиста Б.М. Ржевского, известного ему по службе в Нижнем Новгороде. Однако при выезде из России Ржевского арестовали, на допросе он «раскололся», после чего вся история получила огласку и стала причиной увольнения А.Н. Хвостова от должности. Подробнее см.: *Лемке М.К.* 250 дней в царской ставке. Пг., 1920.

269. Имеется в виду известное выступление П.Н. Милюкова в Думе 1 ноября 1916 г.

270. Б.В. Штюрмер был назначен Ярославским губернатором 30 июля 1896 г., директором Департамента общих дел МВД он стал 10 августа 1902 г.

271. Родовое имение Б.В. Штюрмера (602 десятины) находилось в Бежецком уезде Тверской губернии.

272. Супруга Б.В. Штюрмера — Елизавета Васильевна, урожд. Струкова. У них было два сына — Георгий (Юрий), курский вице-губернатор (1916 г.), и Владимир, вице-губернатор в Царстве Польском.

273. И.Ф. Манасевич-Мануйлов, секретный агент Департамента полиции, политический аферист, занимался также журналистской деятельностью. Он был близок к Б.В. Штюрмеру, во время его премьерства (1916 г.) играл роль частного секретаря главы правительства.

274. И.И. Колышко изображает назначение Б.В. Штюрмера как волевой акт Г.Е. Распутина. Не отрицая того, что, по-видимому, именно «старец» предложил кандидата с немецкой фамилией сделать главой правительства, надо иметь в виду, что его назначение определялось также двумя очень существенными аргументами: Александра Федоровна видела в Б.В. Штюрмере «верного человека», а Николай II дал будущему премьеру инструкцию наладить отношения с Государственной думой — то есть, создать видимость уступки обществу (*Дякин В.С.* Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны (1914–1917). Л., 1967. С. 163–164).

275. В.Л. Бурцев, известный борец с провокаторами в революционном движении, с началом Первой мировой войны вернулся в Россию, на границе был арестован и сослан в Туруханский край, затем амнистирован и в конце 1915 г. приехал в Петроград. Б.В. Штюрмер не мог иметь отношения к освобождению В.Л. Бурцева, так как возглавил правительство позднее, в январе 1916 г.

276. Слух о германофильстве Александры Федоровны и Г.Е. Распутина не имеет под собой никаких оснований. Императрица за все время войны демонстрировала совершенную верность своему новому отечеству, к тому же у нее были неважные отношения с Вильгельмом II. Г.Е. Распутин же объективно не мог придерживаться никакого германофильства, так как не обладал необходимыми для такого политического выбора знаниями. Он лишь понимал (даже скорее — ощущал), что война всегда оборачивается народным бедствием, поэтому опасна для России и правящей династии.

277. Имеется в виду Эрнст-Людвиг Гессенский, великий герцог Гессенский и Прирейнский с 1892 г.

278. Уговоры Г.Е. Распутина были не единственным и, возможно, не решающим аргументом в выборе Николая II. Решение сместить Николая Николаевича созрело у императора, вероятно, летом 1915 г., когда для него стала очевидной связь «либеральных» министров в правительстве со Ставкой. К осени 1915 г. Ставка воспринималась многими как

оплот умеренно-либеральных сил, как надежда оппозиции, поэтому за увольнением министров должно было последовать и удаление великого князя. (*Ганелин Р.Ш*., *Флоринский М.Ф.* На пути к летнему политическому кризису 1915 г. // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–XX веков. Сб. ст. памяти Валентина Семеновича Дякина и Юрия Борисовича Соловьева. СПб., 1999. С. 474–496; *Они же*. В.С. Дякин о некоторых вопросах государственного управления в России 1914–1915 гг. // На пути к революционным потрясениям. Из истории России второй половины XIX – начала XX века. Материалы конференции памяти В.С. Дякина. СПб.; Кишинев, 2001. С. 51–80).

279. Имеется в виду М.А. Стахович, один из основателей партии «Союз 17 октября», с 1907 г. член Государственного совета по выборам.

280. Военный министр в 1915–1916 гг. А.А. Поливанов был близок А.И. Гучкову.

281. Вероятно, И.И. Колышко имеет в виду князя В.Н. Орлова, который до августа 1915 г. был начальником военно-походной канцелярии царя, но после назначения великого князя Николая Николаевича наместником и командующим Кавказской армией отбыл вместе с ним на Кавказ, заняв должность помощника наместника по гражданской части. Вряд ли он мог принимать активное участие в столичных делах.

282. Возможно, имеется в виду князь С.К. Белосельский-Белозерский, адъютант великого князя Владимира Александровича в 1896–1906 гг., позднее генерал-майор Свиты, с началом Первой мировой войны — в действующей армии, в конце декабря 1915 г. назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии. В 1900–1908 гг. также был членом Международного Олимпийского комитета от России.

283. О заговоре А.И. Гучкова существует весьма значительная литература (*Мельгунов С.П.* На путях к дворцовому перевороту (заговоры перед революцией 1917 г.). Париж, 1931, и др.). Главная проблема — о нем известно мало установленных фактов. Сейчас несомненно, что нельзя говорить о существовании одного заговора. Оценки степени готовности заговорщиков также разнятся, однако, по общему мнению, этот «заговор» был далек от осуществления. Тем более странно читать у И.И. Колышко, что свержения самодержца желала почти вся «камарилья» — ведь эти люди не могли не отдавать себе отчета в том, что вместе с Николаем II утратят свои позиции и они. И уж совсем странно видеть в числе «исполнителей» Николая Николаевича — с конца 1915 г. он находился на Кавказе и прямого влияния на столичные события оказать не мог. Максимальная степень его возможного участия — моральная поддержка заговорщиков. Кроме того, известно, что Николая Николаевича пытался вовлечь в свои планы «глава» другого «заговора» — Г.Е. Львов, но великий князь отказал ему.

284. Б.В. Штюрмера перевели в тюремную больницу 21 июля 1917 г. 29 июля было проведено его медицинское освидетельствование. Оно выявило увеличение предстательной железы и резко выраженный парез мочевого пузыря. 31 июля бывшего премьера перевезли в частную урологическую клинику доктора Герзони, где он содержался под охраной (ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 1. Д. 492). Б.В. Штюрмер скончался там 20 августа 1917 г. в 22 часа.

285. Имеется в виду князь Н.Д. Голицын, последний премьер-министр самодержавной России (с 27 декабря 1916 г.). 28 февраля 1917 г. задержан, помещен в Петропавловскую крепость, но 13 марта освобожден. При советской власти несколько раз арестовывался, расстрелян 2 июля 1925 г. в Ленинграде.

286. И.И. Колышко не мог быть свидетелем визита А.Ф. Керенского в Петропавловскую крепость 9 марта 1917 г., так как находился в это время в Стокгольме. Обстоятельства посещения министром юстиции крепости записал в свой дневник полковник Г.А. Иванишин, который заведовал арестантскими помещениями. А.Ф. Керенский попросил, чтобы ему вывели всех 34 заключенных Трубецкого бастиона, что и было сделано, но в три очереди (покоридорно). Им министр сообщил о новой власти в России, об отмене смертной казни, об учреждении Чрезвычайной следственной комиссии, «что он уважает

права каждого гражданина и поэтому даст и им льготы против инструкции о содерж[ании] в Трубецком бастионе». Эти льготы состояли в следующем:

«1. Находиться в собственной одежде.

2. Иметь собственное белье и постельн[ые] принадлежности.

3. Получать обед и ужин из офиц[ерского] собрания.

4. Иметь в камере тетрадь, чернила и перо для занятий.

5. Иметь свидания не через решетку, а в комнате, в присутствии товар[ища] прокурора и завед[ующего] арестантскими пом[ещениями].

6. Получать из дому в день свиданий:

а) сахар и чай, б) хлеб, сухари и печенье и в) масло и сыр»

(Записные книжки полковника Г.А. Иванишина // Минувшее. Т. 17. М.; СПб., 1994. С. 540–541). Однако этот режим продержался недолго: уже 20 марта в крепость явились солдаты Петроградского гарнизона и установили свой режим, значительно более жесткий, чем предполагал А.Ф. Керенский.

287. А.Д. Протопопов безуспешно баллотировался в I Государственную думу. Ему удалось получить депутатский мандат лишь в конце 1907 г., на выборах в III Думу. Они впервые проводились по избирательному закону 3 июня 1907 г., принятому царем с нарушением Основных законов империи.

288. А.Д. Протопопов в 1885 г. был выпущен из Николаевского кавалерийского училища корнетом в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. В 1890 г. он по болезни оставил службу. У А.Д. Протопопова было большое родовое имение (5,5 тыс. десятин), сам он приобрел еще 1,5 тыс.

289. Дядей А.Д. Протопопова (сын бабки от второго брака) был Н.Д. Селиверстов, генерал-лейтенант, с 1878 г. товарищ шефа жандармов и начальника III Отделения (после убийства Н.В. Мезенцева некоторое время, в августе-сентябре 1878 г. исполнял его обязанности). Н.Д. Селиверстов состоял в «Святой дружине», в качестве ее доверенного лица выезжал за границу. Во Франции он якобы выполнял поручения, связанные с арестами русских нигилистов. Генерал был убит в Париже в гостиничном номере эмигрантом-поляком С. Падлевским. А.Д. Протопопов получил от него большое имение (имение Румянцево Карсунского уезда Симбирской губернии) и суконную фабрику (ходили слухи, что Н.Д. Селиверстов подделывал там английское сукно). Согласно другим сведениям, паи в большой суконной фабрике (будущем товариществе «Румянцевско-Селиверстовской мануфактуры») А.Д. Протопопов получил в качестве приданого жены. Он ушел со службы, развернув бурную учредительную деятельность, и вскоре у него было три самых больших в России суконных фабрики. Однако позже, во время экономического кризиса, А.Д. Протопопов находился на грани банкротства, а над его фабриками было установлено внешнее административное управление (*Козлов В.* А.Д. Протопопов // Hoover Institution on War, Revolution and Peace. B.I. Nikolaevsky Collection. Box 639. № 42).

290. А.Д. Протопопов был избран товарищем председателя Государственной думы 20 мая 1914 г.

291. Соглашение А.Д. Протопопова (тогда — товарища председателя Государственной думы) с представителями столичных банков состоялось 15 июля 1916 г. 10 банков учредили акционерное общество «Заря» с основным капиталом в 5 млн. руб. для финансирования нового «прогрессивного» органа печати. Однако после стокгольмской встречи А.Д. Протопопова с Ф. Варбургом в списке акционеров осталось лишь три банка (*Черменский Е.Д.* IV Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976. С. 202).

292. Журнал «Красное знамя» А.В. Амфитеатров издавал в Париже в 1906–1907 гг.

293. А.В. Амфитеатров вернулся в Россию в ноябре 1916 г., возглавил отдел публицистики газеты «Русская воля», сотрудничал также в газете «Петербургский листок», журналах «Нива», «Огонек», редактировал журнал «Бич». В начале 1917 г. в административном порядке выслан в Иркутск за публикацию «Этюдов» с криптограммой, высмеивающей

министра внутренних дел А.Д. Протопопова (Русская воля. 1917. 22 января), благодаря Февральской революции не доехал до места назначения и вернулся в Петроград.

294. В апреле-июне 1916 г. депутация российских парламентариев из 17 человек (11 представляли Думу, 6 — Государственный совет) во главе с А.Д. Протопоповым совершили поездку по ряду европейских стран (Швеция, Норвегия, Франция, Англия, Италия). На обратном пути в Россию часть депутатов вновь посетила Стокгольм. Подробнее см.: *Алексеева И.В.* Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия и их союзники по Антанте. 1914–1917. Л., 1990. С. 172–195.

295. Кандидатуру А.Д. Протопопова на должность министра торговли и промышленности предложил председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко (Допрос М.В. Родзянко 4 сентября 1917 г. // Падение царского режима. Т. VII. М.; Л., 1927. С. 142).

296. Встреча А.Д. Протопопова и Ф. Варбурга получила громкий резонанс, поэтому многие ее детали стали широко известны. Свидетельства И.И. Колышко, как непосредственного очевидца этих событий, также заслуживают внимания. Правда, он, неоднократно рассказывая о встрече А.Д. Протопопова с Ф. Варбургом, по-разному излагал некоторые ее детали (см. приложение). Инициатором беседы с немцем выступил, кажется, Д.А. Олсуфьев, а А.Д. Протопопов лишь присоединился к ней. Но главное — в чем сходятся как мемуаристы, так и исследователи, — эта встреча не имела никакого политического значения, не отражала намерений к сепаратному миру в среде русской парламентской делегации, а была вызвана любопытством узнать, что происходит у немцев, от них самих. В немецком МИДе, куда поступил отчет Ф. Варбурга о разговоре, остались недовольны его содержанием, констатировав, что А.Д. Протопопов по большей части сам расспрашивал своего собеседника (*Майер Л.* «Русская воля» и «Луч»: А.Д. Протопопов и Максим Горький в борьбе за буржуазную общественность накануне Февральской революции // Отечественная история. 1996. № 1. С. 31). Подробнее см. вводную статью и приложение.

297. Лестница Якова (Иакова) — согласно Библии, лестница, соединяющая землю и небо, увиденная Иаковым во сне (Быт. 28: 12–16).

298. Барон Николай Ипполитович Вревский лечил пациентов невской водой с растворенными в ней в очень малом количестве различными веществами (масло и др.), называя свой метод гемотерапией. Барон обращался за признанием к официальной медицине, в январе 1889 г. он опубликовал в «Гражданине» открытые письма к медицинским светилам, но поддержки не получил. По общему признанию специалистов, Н.И. Вревский был шарлатан. Подробнее о его «лечении» см.: Система бар[она] Н.И. Вревского. СПб., 1896; Письма к барону Н.И. Вревскому. СПб., 1895.

299. П.А. Бадмаев в феврале 1894 г. прибыл в Читу для того, чтобы развернуть в Забайкалье деятельность своего торгового дома, деньги на который он получил от Александра III. На Дальнем Востоке он пробыл весьма продолжительное время. Кроме того, нет никаких данных, свидетельствовавших о том, что «доктора тибетской медицины» когда-либо приглашали для освидетельствования членов царской семьи. Слухи же об этом распускал сам П.А. Бадмаев.

300. Интерес к Тибету в России появился в 1899 г., когда в Петербург прибыло специальное посольство далай-ламы во главе с А. Доржиевым, искавшим у России покровительства и защиты от англичан и Пекина. П.А. Бадмаев всячески опекал посольство. Однако ни тогда, ни в 1901 г., когда посланец Тибета вновь посетил Петербург, российские власти не осмелились удовлетворить желания далай-ламы — это означало бы серьезное обострение отношений с Англией. Поэтому А. Доржиеву были даны расплывчатые обещания в поддержке. Реальных намерений присоединить Тибет к российским владениям у Николая II и его окружения никогда не было. Подробнее см.: *Андреев А.И.* Тибет в политике царской, советской и постсоветской России. СПб., 2006; *Snelling J.* Buddizm in Russia: the Story of Agvan Dorzhiev, Lhasa's Emissary to the Tsar. Rockport, Mass. 1993.

301. В феврале 1893 г. П.А. Бадмаев с помощью С.Ю. Витте представил Александру III записку, в которой предсказывая скорый крах Цинской династии, предлагал восполь-

зоваться этим и присоединить к России большую часть Китая. Для того, чтобы подготовить это, «доктор тибетской медицины» намеревался основать торговый дом, чтобы с его помощью создать разветвленную агентуру на Востоке. На это требовалось для начала 2 млн. руб. Царь, несмотря на некоторый скептицизм, все-таки выделил просителю деньги. На них П.А. Бадмаев действительно основал в Чите торговый дом и начал коммерческие операции. Однако спустя некоторое время С.Ю. Витте, у которого созрели собственные планы, отказал П.А. Бадмаеву в поддержке. Все дальнейшие попытки «доктора тибетской медицины» получить новые средства из казны были блокированы жестким сопротивлением министра финансов (лишь в 1898 г. ему удалось получить 250 тыс. руб.). Сам же торговый дом оказался коммерчески несостоятельным (подробнее об этом: За кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева / Ред. и вступ. ст. В.П. Семенникова. Л., 1925; *Лукоянов И.В.* Восточная политика России и П.А. Бадмаев // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 111–126).

302. Скорее всего, П.А. Бадмаев, не обладая значительным весом, искал их расположения. Э.Э. Ухтомский в 1895–1896 гг. всячески расхваливал деятельность «доктора тибетской медицины» перед Николаем II, которому был близок (П.А. Бадмаев искал таким образом влияния на молодого самодержца). С В.К. Плеве у П.А. Бадмаева сложились весьма плохие отношения. Министр внутренних дел решил подчинить бурятское самоуправление в Забайкалье местной администрации, чем спровоцировал протесты. П.А. Бадмаев пробовал заступаться за сородичей, но безуспешно. Что же касается А.А. Клопова, то влиятельной фигурой он не был; интерес П.А. Бадмаева к нему, вероятнее всего, связан с тем, что «негласный корреспондент» царя мог напомнить монарху о «докторе тибетской медицины».

303. По свидетельству самого А.Д. Протопопова, ему во время лечения за границей в 1896–1897 гг. в связи с нарывами на ногах один его родственник посоветовал обратиться к «доктору тибетской медицины». А.Д. Протопопов так и поступил: «Я обратился к Бадмаеву; человек он ласковый, милый, у него есть великолепные порошки из трав, почему я и решил поместиться в его санатории; пробыл 9 месяцев, брал он с меня огромные деньги — 1500 руб. в месяц за лечение. Тем не менее, скажу, что с Бадмаевым надо быть осторожным; последний раз он меня чуть не уморил» (Протокол заседания Петроградского окружного суда 30 октября 1917 г. // ЦГИА СПб. Ф. 225. Оп. 7. Д. 3. Л. 26). «Последний раз» — это в 1915, либо 1916 г., когда нервное заболевание А.Д. Протопопова обострилось: он страдал бессонницей, говорил только о своей болезни, вел себя неадекватно: бегал на четвереньках, катался по полу, покушался на самоубийство. В этом состоянии он 3–4 недели провел у П.А. Бадмаева, тот несколько улучшил состояние пациента. После П.А. Бадмаева А.Д. Протопопов выезжал в составе парламентской делегации за границу, а по возвращении обратился к услугам В.М. Бехтерева, который, по утверждению самого А.Д. Протопопова, действительно принес ему облегчение.

304. Имеется в виду князь М.М. Андроников, числившийся чиновником особых поручений в МВД (с 1897 г.), затем при Синоде (в 1914–1916 гг.), получивший известность благодаря своим аферам и близкому знакомству с Г.Е. Распутиным.

305. А.Д. Протопопов находился под арестом с 28 февраля по 15 сентября 1917 г. Он жаловался, что содержание в крепости отразилось на нем очень тяжело: «Не давали спать, как только начнешь засыпать, сейчас дают прикладом в дверь; не давали книг читать; было невероятно скверно» (Протокол заседания Петроградского окружного суда 30 октября 1917 г. // ЦГИА СПб. Ф. 225. Оп. 7. Д. 3. Л. 25). Бывшего министра мучили галлюцинации: когда он писал показания в крепости, ему казалось, что его мысли повторялись вслух в коридоре. Он предполагал, что в камере находился аппарат для передачи его мыслей на расстояние (История болезни А.Д. Протопопова, которая велась в Николаевском военном госпитале // Там же. Л. 15 об.). 6 сентября 1917 г. было проведено медицинское освидетельствование А.Д. Протопопова, по результатам которого 15 сентября его перевели в Николаевский военный госпиталь. Уже после захвата власти большевиками,

30 октября 1917 г., окружной суд рассматривал вопрос о сумасшествии узника и, несмотря на заключения экспертов, признавших, что он страдал циркулярным психозом, когда был министром, признал его психически здоровым.

306. При большевиках бывший министр был переведен в Москву, содержался в Таганской тюрьме. А.Д. Протопопов был взят во время богослужения из тюремной церкви и расстрелян 27 октября 1918 г. (*Беглецов Н.* В дни «красного террора» // ЧЕ-КА. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Берлин, 1922. С. 77).

307. Мене, мене, фекел, фарес — слова, начертанные невидимой рукой на стене во время пиршества царя вавилонского Валтасара. По разъяснению пророка Даниила, они означали: исчислил, взвесил, разделил, — то есть предсказывали распадение и гибель царства Валтасара (Дан.: V, 25–28).

308. Эта глава в значительно отличном варианте была опубликована И.И. Колышко, как цикл статей «Россия и Витте», в редактируемом им «Вестнике Ривьеры» (Вестник Ривьеры. 1930. № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 и далее).

309. Вольное экономическое общество — старейшая общественная организация и ученое общество в России, основанное еще в 1765 г. Екатериной II.

310. С.Ф. Шарапов в своих экономических сочинениях защищал интересы поместного дворянства, выступая за широкий государственный кредит ему и за сохранение бумажного рубля. Он полагал, что удовлетворить аппетиты помещиков в деньгах можно с помощью неограниченной эмиссии, не девальвируя при этом курс рубля. С.Ф. Шарапов выступал также против привлечения иностранных инвестиций и займов, против введения золотой валюты, утверждая, что это разорит Россию. Самодержавие публицист понимал очень своеобразно. Идеальная Россия представлялась ему в виде США, только вместо президента и конгресса должен быть царь. В этих сумбурных рассуждениях устойчивым было лишь противостояние С.Ф. Шарапова С.Ю. Витте после 1893 г.: журналист постоянно критиковал экономическую политику министра финансов.

311. С.Ю. Витте, став министром финансов, привлек С.Ф. Шарапова на службу в ведомство, по заданию министра публицист готовил текст записки о неотчуждаемости крестьянских надельных земель. Однако вскоре они рассорились, и С.Ф. Шарапов на десятилетие превратился в критика политики С.Ю. Витте. Летом 1902 г. С.Ю. Витте согласился поддержать предприятие С.Ф. Шарапова по производству плугов, приобретя на 50 тыс. руб. его акций и организовав посещение Николаем II показательной пахоты этими плугами. В ответ С.Ф. Шарапов обязался прекратить резкую критику в печати действий министра финансов (об этом см.: *Лукоянов И.В.* С.Ф. Шарапов и С.Ю. Витте // Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков. Сб. ст. к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. СПб., 2006. С. 337–341).

312. Видимо, опечатка. Должно быть — 80-х.

313. Общество Юго-Западных железных дорог — акционерное общество, образовалось в 1878 г. путем слияния управления дорог Киево-Брестской, Бресто-Граевской и Одесской железных дорог (более 2000 верст). С 1 января 1894 г. перешли в казну, причем списано со счетов около 106,5 млн. руб. долгов по гарантии. Первым управляющим кампании был Д.И. Андриевский (19.02.1880 – 1.01.1886), затем его сменил С.Ю. Витте (1.01.1886 — 7.03.1889).

314. Речь идет о представителях семьи банкиров и промышленников Полежаевых — К.М. Полежаеве, Н.М. Полежаеве, Б.К. Полежаеве.

315. Ср. мнение А.А. Половцова, связывавшего с назначением И.А. Вышнеградского министром финансов поворот «в приемах царствования Александра III», который, по его мнению, состоял в исчезновении «преклонения перед существовавшими порядками» и появлении «неведомых, непредвиденных, случайных сил, влияющих на течение жизни» (*Половцов А.А.* Дневник. Запись 29 марта 1895 г. // Красный архив. 1931. № 3 (46). С. 111; Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. Т. 2. М., 1966. С. 25. Запись 12 февраля 1887 г.).

316. Г.Я. Сокольников, социал-демократ с 1905 г., большевик, в 1917 г. член ЦК, Исполкома Петроградского совета, с осени 1922 г. народный комиссар финансов РСФСР, а затем СССР. По образованию он был юрист, учился на юридическом факультете Московского университета, который не окончил из-за революционной деятельности, в 1914 г. получил диплом Сорбонны. Во многом благодаря его усилиям в советской России вновь появился золотой рубль и был сбалансирован бюджет. В 1925–1926 гг. поддержал оппозицию И.В. Сталину, за что вскоре лишился влиятельных постов. В 1936 г. арестован, по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» получил 10 лет, погиб в заключении.

317. К.Е. Ворошилов, в 1925–1940 гг. нарком по военным и морским делам СССР (с 1934 г. — нарком обороны), отличался отсутствием каких-либо способностей как военачальник и личной преданностью И.В. Сталину.

318. Вероятно, имеется в виду записка П.А. Валуева «Дума русского во второй половине 1856 г.», широко распространенная в списках, а позднее, опубликованная в сентябрьском за 1893 г. номере журнала «Русская старина».

319. Г.П. Сазонов в начале своей журналистской карьеры в течение нескольких лет изучал русскую деревню, ее экономику. Как и С.Ф. Шарапов, выступал решительным защитником сохранения общинных порядков.

320. Его точный адрес — ул. Большая Морская, д. 16. Ресторан был известен встречами балетоманов и золотой молодежи. В начале XX в. он приобрел большую популярность у банкиров, промышленников и купцов.

321. Николаевская железная дорога (Петербург–Москва) строилась в 1842–1851 гг. Для ее сооружения строитель первой в России железной дороги Ф. Герстнер (австриец по происхождению) предложил привлечь американских специалистов, что и было сделано. Технические вопросы трассы решал Дж. Уистлер. Петербургско-Варшавскую железную дорогу, строившуюся в 1852–1862 гг., и Московско-Нижегородскую — в 1858–1862 гг. строило акционерное Главное общество российских железных дорог. В нем значительные должности занимали французы.

322. Тантьема — вознаграждение, выплачиваемое из прибыли членам руководства фирмы.

323. Имеется в виду Н.Н. Изнар.

324. Греви Ж. — президент Франции в 1879–1887 гг.

325. «Дело Юханцева» было рассмотрено Петербургским окружным судом в январе 1879 г. К. Юханцев, кассир Общества взаимного поземельного кредита, похитил разными способами и растратил 2 123 295 руб. денег общества, что выявила проведенная ревизия. Процесс потряс общество тем, как легко были украдены колоссальные деньги и как плохо обстояло дело с охраной и контролем за значительными суммами. По приговору суда виновный был отправлен в ссылку в Енисейскую губернию.

Матушка Митрофания (в миру баронесса Прасковья Розен) — игуменья Владычного Покровского монастыря (с 1861 г.). С помощью поддельных векселей стремилась завладеть средствами купчихи П. Медынцевой, на которые была наложена опека, а также обманным образом подделывала векселя от имени фабриканта М.Г. Солодовникова, чрезмерно доверявшего ей, состояние которого превышало 1,5 млн. руб. Суд, происходивший 5–18 октября 1874 г., приговорил ее к ссылке в Енисейскую губернию сроком на 3 года. Царь смягчил приговор, разрешив переместить предприимчивую настоятельницу в монастырь в Ставрополе. Об этой истории А.Н. Островский написал пьесу «Волки и овцы» (1875).

326. Любим Торцов — герой комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» (1853), паясничавший за кусок хлеба, при этом не теряя гордости и не совершая нравственно недопустимых поступков. Восклицание героя «Шире дорогу — Любим Торцов идет!» стало широко популярным, для славянофилов оно означало национальные начала в искусстве.

327. Речь идет о Н.А. Павлове.

328. Правильно — Борки.

329. А.Я. Гюббенет возглавлял Министерство путей сообщения с 30 марта 1889 г. (9 апреля был утвержден министром) до 17 января 1892 г. Вместе с отставкой он получил назначение членом Государственного совета. Скончался А.Я. Гюббенет 24 марта 1901 г. в Париже.

Г.А. Евреинов управлял МПС с 19 января по 15 февраля 1892 г.

330. А.А. Половцов прямо, а С.Ю. Витте — косвенно, сообщают, что главным кандидатом в министры был А.А. Вендрих, который, по словам И.А. Вышнеградского, даже в течение 10 дней был министром. Однако к 14 февраля 1892 г. окончательный выбор монарха остановился на С.Ю. Витте (Дневник государственного секретаря А.А. Половцова. Т. 2. М., 1966. С. 415–421; Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 220–222).

331. По утверждению С.Ю. Витте, идею проверить округа путей сообщений, в частности Могилевский, и послать для этого И.И. Колышко, дав ему возможность «показать свои способности», предложил В.П. Мещерский (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 262).

332. И.И. Колышко преувеличивает: С.Ю. Витте владел, но посредственно, французским языком. Других он действительно не знал.

333. Это случилось в 1893 г., уже после С.Ю. Витте.

334. Став министром финансов, С.Ю. Витте начал со строительства Сибирской дороги (что требовало колоссальных расходов) и «сибирских рублей», призванных покрыть казавшимся неизбежным дефицит бюджета. Он также приблизил к себе некоторых экономистов-аграрников (Г.П. Сазонов, С.Ф. Шарапов), выступавших за неограниченную эмиссию бумажных рублей, чтобы удовлетворить запросы помещиков в дешевом кредите.

335. Главное общество российских железных дорог было учреждено в 1857 г. для строительства ряда магистралей в европейской части империи (около 4 тыс. верст) в течение 10 лет. Ему была передана лишь начатая к тому времени железная дорога Петербург — Варшава, в 1868 г. оно получило в эксплуатацию железную дорогу Москва — Петербург. Общество выпустило акций на 75 млн. руб., а затем — облигаций на сумму свыше 37 млн. руб. Однако на собранные средства общество лишь достроило железную дорогу Петербург — Варшава и соорудило трассу Москва — Нижний Новгород (1862 г.) — всего чуть более 1600 верст. В общем, это было предприятие, ориентированное на получение прибыли, сопровождавшееся немалыми хищениями государственных средств. Эффективность его деятельности оказалась невысока, несмотря на немалую помощь государства. В 1894 г. дороги, находившиеся в распоряжении общества, выкупила казна.

336. Общество Юго-Западных железных дорог — см. о нем примечание 313.

Н.Н. Сущов, директор канцелярии министра юстиции при Д.Н. Замятнине, затем обер-прокурор Сената, камергер, активно участвовал в грюндерстве, входил в правление многих акционерных обществ (член правления Российского общества пароходства и торговли и член правления общества Юго-Западных железных дорог). Он отображен во многих литературных произведениях, в частности, в романе П.Д. Боборыкина «Дельцы». Председателем правления был И.С. Блиох. В правление также входил И.А. Вышнеградский.

337. Д.И. Бебутов утверждал, что целью С.Ю. Витте при покупке саратовского (а не самарского) имения И.И. Воронцова-Дашкова Крестьянским банком было представление М.И. Витте ко двору. Якобы после того, как чета Воронцовых-Дашковых нанесла визит М.И. Витте, это имение было приобретено на следующий день за 3,5 млн. руб. при его реальной стоимости в 700–800 тыс. руб., а супруга министра финансов якобы получила после этого приглашение ко двору (*Бебутов Д.И.* Записки // Hoover Institution on the War, Revolution and Peace. B.I. Nicolaevsky Collection. Box 106. № 1–4. Л. 296). Однако хорошо осведомленный противник графа, В.М. Вонлярлярский, в своих мемуарах сообщил,

что М.И. Витте была принята при дворе лишь после того, как стала графиней (*Вонлярлярский В.М.* Мои воспоминания. 1852–1939 гг. Берлин, [1939]. С. 162).

338. Имеется в виду В.Л. Нарышкин, хозяин огромного имения Пады в Саратовской губернии (свыше 77 тыс. десятин). Этого имения он не продавал, оно было конфисковано в 1917 г. Другое имение В.Л. Нарышкина в Пензенской губернии (9100 дес.) тоже не продавалось до 1917 г.

Дочь Витте, Вера Сергеевна, была замужем за Кириллом Васильевичем Нарышкиным, сыном В.Л. Нарышкина.

339. И.И. Колышко не вполне точен. Дворянский и Крестьянский банки появились до С.Ю. Витте (в 1885 и 1882 гг.), не с его именем связано также учреждение фабричной (в 1882 г.) и податной (в 1885 г.) инспекций. Наконец, под «новым банковским уставом» автор, вероятно, имеет в виду устав Государственного банка 1893 г., который был подготовлен также до С.Ю. Витте.

Вопрос о табачной монополии как способе увеличить доходы казны от продаж табака впервые поднял в начале 1880-х гг. Н.Х. Бунге. Но из-за многочисленности табачных фабрик в России и их небольшого размера он ограничился реформой табачных сборов. В середине 1880-х гг. эта проблема обсуждалась поднят вновь, преемник Н.Х. Бунге И.А. Вышнеградский приступил к подготовке введения табачной монополии. Однако тщательное исследование вопроса показало, что такая мера явится лишь серьезным ударом по табачному производству в России, значительного же повышения доходов от монополии ожидать не приходилось. В 1889 г. министр финансов доложил этот вопрос Государственному совету, и его мнение было признано основательным. Вместо монополии Министерство финансов постепенно повышало табачный акциз (*Степанов В.Л.* Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1996. С. 156–158). Вопрос о сахарной монополии прямо не стоял, речь шла о вмешательстве государства в нормировку объемов его производства, о чем и был принят закон 20 ноября 1895 г.

340. Дело не в нерешительности, а в неготовности. О введении золотой валюты думал еще Е.Ф. Канкрин, министр финансов в царствование Николая I. Предшественники С.Ю. Витте М.Х. Рейтерн, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский ее готовили, накапливая золотой запас. Близок к золотому рублю был М.Х. Рейтерн, но ему помешала русско-турецкая война 1877–1878 гг., «облегчившая» русскую казну более чем на 1 млрд. руб. Ситуация улучшилась лишь к концу 1880-х гг. Для проведения золотой реформы был необходим широкий приток иностранных капиталов в Россию и положительное внешнеторговое сальдо. О золотой реформе и ее подготовке существует огромная литература. См., например: Русский рубль. Два века истории. XIX–XX вв. М., 1994.

341. Рубль был девальвирован на треть, а не в два раза.

342. Начало царствования Николая II отличала политическая неопределенность. В молодом монархе сочетались желание следовать курсу отца, который он не понимал, влияние славянофильства, из которого им был усвоен вывод о вреде бюрократии, а также стремление проявить себя. Поэтому первым действиям нового самодержца трудно дать однозначную политическую оценку. Как, например, привлечению к активной государственной деятельности Н.Х. Бунге, который отличался умеренными взглядами (присутствовал на докладах министров). Одним из первых действий нового самодержца стало отличие тех, кого Александр III считал опасными либералами: 1 января 1895 г. К.К. Грот получил орден Андрея Первозванного, М.С. Каханов — Владимира III степени, С.А. Мордвинов был назначен в Государственный совет и т.д. Царь поддержал развитие народного образования, инициативную деятельность земств. Он был преисполнен желания вести страну по направлению, взятому Александром III, но своим путем, мечтал быть не просто Николаем II, но вторым Николаем (Дневник А.А. Киреева // ОР РГБ. Ф. 126. Д. 12. Л. 17 об.). Глядя на царя, жесты расположения относительно земства и общественных организаций стали делать министерства: А.С. Ермолов (единство власти и самоуправления в совершенствовании сельского хозяйства), С.Ю. Витте и др. Однако все

надежды вскоре рассеялись, единственным результатом этой эпохи стала реформа канцелярии прошений: канцелярия становилась местом не только принятия просьб, но и жалоб на высшие государственные инстанции, а ее глава получил право запрашивать любое ведомство по существу жалобы или просьбы. Придание такого высокого статуса канцелярии прошений было следствием не только традиционного недоверия к бюрократии, но и некоторым воплощением славянофильских идеалов о непосредственном общении царя с народом без бюрократического средостения и понимания сути самодержавной власти как неограниченной справедливости и милости при соблюдении установленных законов.

343. И.И. Колышко почему-то не упоминает случай с министром путей сообщения А.К. Кривошеиным, который был уволен 17 декабря 1894 г. за коммерческие операции (формально — по прошению). Возможно, что он не относил его к числу министров, близких Александру III.

344. Н.В. Шидловский всю свою жизнь служил в Государственном совете, пока в 1895 г. не стал его полноправным членом, несмотря на то что никогда не занимал высших бюрократических должностей.

345. Председателем Государственного совета в 1881–1905 гг. был великий князь Михаил Николаевич.

346. Законопроект о реформе крестьянского управления был внесен Д.А. Толстым в Государственный совет 5 февраля 1887 г. У него сразу выявились многочисленные противники, в том числе министр юстиции Н.А. Манасеин, министр двора И.И. Воронцов-Дашков и другие. Попытки найти компромисс ни к чему не привели, и законопроект, сначала в заседании Соединенных департаментов, а затем и в общем собрании Государственного совета, не получил поддержки большинства (13 против 39). Тем не менее, 29 января 1889 г. Александр III согласился с мнением меньшинства, даже усилив его. Считалось, что эта резолюция была следствием влияния В.П. Мещерского (подробнее об этом см.: *Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 366–395).

347. И.И. Колышко неточен. Корень вопроса — в субсидировании помещиков, требовавших дешевого кредита для своих запущенных хозяйств. С.Ю. Витте не столько содействовал переходу дворянских земель крестьянам, сколько с помощью системы «Крестьянский банк — Дворянский банк» поддерживал стоимость земли, обеспечивая тем самым достойные выплаты продавцам своих владений. С другой стороны, Особое совещание о нуждах поместного дворянства, пользуясь поддержкой В.К. Плеве, выдвигало к министру финансов многочисленные требования (подробнее об этом см.: *Соловьев Ю.Б.* Самодержавие и дворянство в 1902–1907 гг. Л., 1981).

348. В 1909 г. появилась книга некоего И.Н. Бродского (вероятно, это псевдоним) «Наши министры. Быль недавних прошлых дней» (СПб., 1909. 234 с.), где в слабо завуалированной, художественной форме (фамилии всех действующих лиц автор изменил, но ошибка в их опознании оказывалась практически невозможной) была изложена биография С.Ю. Витте до его женитьбы на М.И. Лисаневич. Сейчас трудно сказать, что в этой книге является правдой, а что вымыслом, но некоторые приведенные в ней подробности подтверждаются другими источниками.

349. Имеется в виду история о том, как иудеи, возглавляемые непобедимым Самсоном, изгнали филистимлян из Газы (Палестина, 1150 г. до н.э.). Филистимлянка Далила знакомится с Самсоном, пользуясь своей красотой и обаянием. Самсон открыл ей тайну своей силы (длинные волосы), и она остригла их, после чего филистимляне захватили врага, ослепили и заключили в темницу. Однако выведенный для поругания в языческий храм, Самсон нашел в себе силы обрушить колонны, державшие крышу, погубив под развалинами здания всех присутствующих.

350. Хотимская (по мужу) — родная сестра М.И. Витте. Купеческий клан Хотимских (киевские и томские мещане) занимался добычей золота на Урале и в Сибири с середины XIX в.

351. Речь идет о В.С. Витте, дочери М.И. Витте от первого брака, которой С.Ю. Витте дал свою фамилию. Была замужем за Кириллом Васильевичем Нарышкиным, дипломатом.

352. А.Ю. Ротштейн, сын берлинского биржевого маклера, начал свою карьеру со службы в банкирском доме Мендельсонов, затем некоторое время провел в Париже у Ротшильдов. В Петербурге он появился в конце 1870-х гг. и поступил в Петербургский международный коммерческий банк, где быстро занял видное положение (без всякой связи с С.Ю. Витте). В Deutsche Bank он не служил, но был «введен» туда Ф. Мендельсоном. Подробнее биографию А.Ю. Ротштейна см.: *Лебедев С.К.* С.-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские связи. М., 2003. С. 69–88.

353. А.И. Вышнеградский после окончания Петербургского университета в 1889 г. служил в Министерстве финансов. Покинул ведомство вскоре после отставки С.Ю. Витте (1903 г.), в 1906 г. стал директором Петербургского Международного коммерческого банка. Банк за время его руководства развивался весьма динамично. Замечание И.И. Колышко о том, что А.И. Вышнеградский находил компромиссы и с самодержавным, и с Временным правительством, справедливо. А вот с большевиками компромисс не получился: несмотря на достигнутые договоренности, банкир как председатель Комитета съезда представителей акционерных коммерческих банков, был арестован 11 декабря 1917 г. После освобождения он в 1920 г. эмигрировал во Францию. Подробнее см.: *Лебедев С.К.* С.-Петербургский Международный коммерческий банк во второй половине XIX века: европейские и русские связи. М., 2003; *Беляев С.Г.* А.И. Вышнеградский — директор Петербургского Международного коммерческого банка // Из глубины времен. Вып. 13. СПб., 2005. С. 95–102.

354. «Русская воля» — газета, основанная А.Д. Протопоповым. Выходила с 15 декабря 1916 г. Ее редактором был М. М. Гаккебуш (Горелов), до этого сотрудничавший в «Биржевых ведомостях».

355. Имеются в виду Петербургский Частный коммерческий банк (основан в 1861 г.); Русский торгово-промышленный банк (основан в 1889 г.).

356. Соединенный банк появился в 1909 г. в результате слияния Московского Международного торгового, Южно-Русского промышленного и Орловского банков; банкирский дом Рябушинских учрежден в 1902 г., в 1910 г. он был реорганизован в Московский банк; Московский Международный торговый банк, входивший в сферу влияния Поляковых, не мог «блистать» вместе с Соединенным банком, так как стал его составной частью. Подробнее см.: *Петров Ю.А.* Коммерческие банки Москвы. Конец XIX века – 1914 г. М., 1998.

357. Имеется в виду Я.И. Утин.

358. Возможно, И.И. Колышко имеет в виду «Приютинское братство», возникшее в 1885 г. и получившее название по месту первого «летнего сбора» — Приютино, Тверской губернии. В него входил ряд будущих лидеров кадетской партии (В.И. Вернадский, Д.И. Шаховской, С.Ф. Ольденбург и др.). Подробнее об этом: *Вернадский В.И.* Братство Приютино // Новый журнал. 1968. № 93. С. 147–171; 1969. № 95. С. 202–215; № 96. С. 153–171; № 97. С. 218–237.

359. Русский для внешней торговли банк — основан в 1871 г., с 1881 г. действовал в союзе с Санкт-Петербургским Международным коммерческим банком, вел активные операции за границей.

360. Страховое общество «Россия» — крупнейшее в Российской империи, создано в 1881 г.

361. В.И. Тимирязев, агент министерства финансов в Берлине (1894–1899 гг.) и Вене (1900–1903 гг.), с декабря 1902 г. – товарищ министра, заведующий делами торговли и промышленности. После учреждения Министерства торговли и промышленности возглавил новое ведомство (с 28 октября 1905 по 18 февраля 1906 и с 14 января по 5 ноября

1909 гг.). С 1906 г. член Государственного совета. Состоял в правлении многих акционерных обществ и банков.

362. Имеется в виду Б.А. Каменка, председатель правления Азовско-Донского коммерческого банка в 1910–1917 гг. (четвертый по величине коммерческий банк с капиталом в 50 млн. руб.). Состояние самого Б.А. Каменки оценивалось примерно в 40 млн. руб. Он спонсировал кадетскую газету «Речь», после 1917 г. эмигрировал, участвовал в издании берлинской кадетской газеты «Руль».

363. Уроженец села Сменцово Мышкинского уезда Ярославской губернии, Захарий Петрович Жданов (1871–1932?) был действительно «темного происхождения». Сначала он носил фамилию Голяшкин, но был объявлен Московским коммерческим судом несостоятельным должником, что и заставило его изменить фамилию. В 1907 г. открыл в Петербурге банкирский дом «Захарий Жданов и К°» для небогатых клиентов, занимавшийся исключительно операциями с ценными бумагами. Используя газетную рекламу и рассылая в громадном количестве проспекты о биржевых сделках, банкир приобрел широкую клиентуру. Одной из любимейших бумаг З.П. Жданова были акции Ленского золотопромышленного товарищества, которые даже называли на бирже «Еленой Захаровной». Он сумел «вздуть» их курс с 1 до 5–6 тыс. руб. Карьера «короля биржевых спекулянтов» неожиданно прервалась 13 июня 1914 г., когда Совет фондового отдела Петербургской биржи исключил З.П. Жданова из числа действительных членов, признав его деятельность крайне вредной. В 1918 г. привлекался по делу «Каморра народной расправы над евреями» и находился под стражей около 6 месяцев, но был выпущен. В 1921—1922 гг. З.П. Жданов вернулся к деятельности спекулянта-перекупщика. В конце концов, после нескольких арестов и изъятия у него всех ценностей З.П. Жданов в первой половине 1930-х гг. попал на поселение в Архангельскую область, где вскоре и умер (*Лизунов П.В.* Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703–1917 гг.). СПб., 2004; *Он же*. Расстрел с конфискацией. Судьбы петроградских банкиров // Родина. 2005. № 5. С. 86–89).

364. И.П. Манус начинал карьеру как агент по финансовой части в правлении Самаро-Оренбургской железной дороги и газетный репортер.

365. Вероятно, И.И. Колышко имеет в виду книгу Н.В. Никитина «Преступный мир и его защитники» (СПб., 1902), в которой небольшая глава под названием «Банкирский крах» (С. 201–209) посвящена банкротству банкирской конторы Г.А. Никитина. На суде, состоявшемся 20 ноября 1900 г., главным свидетелем выступил И.П. Манус. Он пытался оправдать обвиняемого, характеризовал его как солидного деятеля, но свидетелю напомнили, что он сам косвенно способствовал краху банкирской конторы, предлагая ей малосостоятельных клиентов. И.П. Манус также был вынужден обрисовать и свою деятельность на бирже — получалось, что он занимался чисто спекулятивными операциями. В целом, на суде он предстал как малоприятная личность.

366. И.П. Манус имел значительное влияние на В.П. Мещерского, спекулировал за его счет на бирже и печатал в «Гражданине» свои статьи по финансовым вопросам. При содействии князя он установил близкие отношения с генерал-адъютантом Николая II К.Д. Ниловым (*Лизунов П.* Расстрел с конфискацией. Судьбы петроградских банкиров // Родина. 2005. № 5. С. 86–89).

367. 4 июля 1918 г. И.П. Манус по приказу Г.И. Бокия был арестован по доносу о происходящем вывозе русских ценностей за границу, а 30 октября 1918 г. приговорен к расстрелу с конфискацией имущества «за предложение взятки комиссару Дома предварительного заключения», несмотря на то, что подобное преступление не каралось смертной казнью (*Лизунов П.* Указ. соч.).

368. Русско-Азиатский банк появился в 1910 г. в результате слияния Северного торгового и Русско-Китайского банков. По размеру он стал крупнейшим в России и четвертым в Европе банком. Я.С. Поляков — банкир, в конце жизни потерпел финансовый крах.

369. А.И. Путилов с 1890 г. служил в Министерстве финансов, с 1900 г. секретарь С.Ю. Витте, а с 1902 г. директор общей канцелярии министра. Позднее, в конце 1905 г.

занял пост товарища министра финансов в правительстве С.Ю. Витте. После его отставки ушел с государственной службы, а в феврале 1908 г. стал директором-распорядителем Русско-Китайского банка, а после его объединения с Северным банком — председателем правления Русско-Азиатского банка. Из Петрограда банкир бежал уже при большевиках, во второй половине ноября 1917 г., опасаясь ареста (подробнее о его биографии см.: *Беляев С.Г.* Алексей Иванович Путилов // Из глубины времен. Вып. 10. СПб., 1998. С. 140–153).

370. Путиловский завод производил примерно половину всех орудий, которые давала российская промышленность.

371. Речь идет о Б.В. Никитине.

372. И.Ф. Манасевич-Мануйлов.

373. «Батюшинская комиссия» была создана в начале июня 1916 г. по распоряжению начальника штаба Верховного главнокомандующего М.В. Алексеева, поручившего генералу Н.С. Батюшину проверить слухи о шпионаже в пользу Германии банкира Д.Л. Рубинштейна, «а равно и сведения о его спекулятивной деятельности». Расследование следовало вести тайно, без обысков. В распоряжение Н.С. Батюшина направили подполковника А.С. Резанова, служившего в штабе Северного фронта и выполнявшего поручения по судебной части. В частности, 23 ноября 1915 г. он получил в свои руки из штаба 6-й армии документы, изъятые в ходе обысков в некоторых страховых компаниях, якобы свидетельствовавшие о связях их с немцами. 30 июня 1916 г. Н.С. Батюшин от имени «комиссии» представил М.В. Алексееву доклад о том, что дальнейшее проведение следствия тайно невозможно. Начальник штаба верховного главнокомандующего 4 июля 1916 г. согласился вести дело открыто. А.С. Резанов быстро установил, что материалы, имевшиеся в штабе Петроградского военного округа о шпионаже Д.Л. Рубинштейна, «неосновательны», о чем составил доклад на имя М.В. Алексеева (показания полковника А.С. Резанова 7 марта 1916 г. // ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 1. Д. 386. Л. 1–1 об.). В распоряжении Н.С. Батюшина находился также прапорщик Павел Яковлевич Логвинский — крещеный еврей, служивший в сыскной полиции еще во время пребывания в Киевском университете, а перед войной — присяжный поверенный в Московском судебном округе (справка о П.Я. Логвинском // ГАРФ. Ф. 111. Оп. 8. Д. 24. Л. 17). И.Ф. Манасевич-Мануйлов в состав комиссии Батюшина не входил, но являлся ее «осведомителем». Н.С. Батюшин утверждал, что «осведомитель» оказал комиссии «огромные услуги» и что его сведения оказывались, как правило, точными (протокол допроса Н.С. Батюшина 8 октября 1916 г. // ЦГИА СПб. Ф. 225. Оп. 1. Д. 25. Л. 218–219).

374. По словам самого Д.Л. Рубинштейна, за «делом» против него стоял И.Ф. Манасевич-Мануйлов. Все началось весной 1915 г., когда к банкиру явился А.А. Суворин и стал требовать назначить его редактором «Нового времени» и предоставить 60 тыс. руб. на издание «Маленькой газеты». Д.Л. Рубинштейн отказал, после чего А.А. Суворин пытался травить его в печати. В начале апреля 1916 г. И.Ф. Манасевич-Мануйлов, близкий «Новому времени», сообщил банкиру, что для расследования его деятельности намечается создание специальной комиссии. Если он не хочет попасть под арест, то ему следует лично передать главе правительства Б.В. Штюрмеру 1 млн. руб. Д.Л. Рубинштейн вновь отказал в деньгах, но отправился на аудиенцию к Б.В. Штюрмеру. Он был крайне удивлен, услышав от премьера, что все вопросы по его делу следует адресовать И.Ф. Манасевичу-Мануйлову. После этого от И.Х. Озерова и А.В. Руманова банкир узнал о словах одного из ближайших сотрудников премьера И.Я. Гурлянда, что Б.В. Штюрмер намерен уничтожить Д.Л. Рубинштейна. В конце июня 1916 г. И.Ф. Манасевич-Мануйлов вновь сообщил Д.Л. Рубинштейну, что если тот не даст 1 млн. руб., то в ближайшие дни будет арестован. Наконец, в день ареста, 9 июля 1916 г., все тот же И.Ф. Манасевич-Мануйлов напомнил об 1 млн. руб., обещая выпустить банкира. Д.Л. Рубинштейн предпочел остаться под арестом (Изложение жалобы Д.Л. Рубинштейна министру юстиции // ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 689. Л. 75–83).

375. По словам самого Д.Л. Рубинштейна, уже в тюрьме Н.С. Батюшин заявил ему, что он не получит свиданий до тех пор, пока не продаст акции Юнкер-банка. Здесь банкир пошел на уступки и поручил отдать их по цене 400 руб. за акцию (при минимальной рыночной цене в 600 руб.). Оказавшись в заключении, он стал менее категоричен и распорядился, чтобы его супруга депонировала 200 тыс. руб. у А.Л. Животовского и 100 тыс. — у присяжного поверенного Г.С. Аронсона. По сведениям Д.Л. Рубинштейна, эти деньги предназначались следователям Жижину и Матвееву, а также П.Я. Логвинскому, И.Ф. Манасевичу-Мануйлову и Н.С. Батюшину. Однако получить их они не успели: до Д.Л. Рубинштейна дошли сведения, что комиссия Батюшина сама стала предметом расследования, и он поспешил забрать депонированные деньги (Изложение жалобы Д.Л. Рубинштейна министру юстиции // ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 689. Л. 75–83).

376. «Дело Манасевича-Мануйлова» возникло по другому поводу. 19 августа 1916 г. И.Ф. Манасевич-Мануйлов был арестован по распоряжению военных властей в связи с делом И.С. Хвостова (племянника министра), товарища директора-распорядителя Соединенного банка, возглавляемого В.С. Татищевым (кандидатом в министры финансов), за попытку их шантажа с помощью батюшинской комиссии.

377. Д.Л. Рубинштейн был освобожден из больницы Петроградской одиночной тюрьмы 27 февраля 1917 г. благодаря начавшейся революции. Так как суд по его делу еще не состоялся, то о своем освобождении банкир в этот же день сообщил следователю, который благоразумно изменил для банкира меру пресечения на подписку о невыезде (ЦГИА СПб. Ф. 1695. Оп. 2. Д. 323. Л. 1–1 об.).

378. Привлечение к суду И.Ф. Манасевича-Мануйлова вызвало невиданный переполох в царском окружении. К министру юстиции с просьбой прекратить дело обращались петроградский митрополит Питирим (28 октября 1916 г.), секретарь императрицы Александры Федоровны Я.Н. Ростовцев (31 октября 1916 г.), наконец, сам Николай II 14 декабря 1916 г. повелел «прекратить дело» и «не допускать его до суда» (ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 844. Л. 4, 9, 10). А.А. Макаров был вынужден выполнить распоряжение царя (рассмотрение дела должно было начаться 15 декабря 1916 г.), формально — из-за неявки «существенных свидетелей», но до объявления суду высочайшей воли просил возможность представить монарху специальный всеподданнейший доклад (Там же. Л. 8). Судебный процесс все-таки состоялся 13–18 февраля 1917 г. Он носил скандальный для верховной власти характер. И.Ф. Манасевич-Мануйлов был осужден на 1,5 года заключения в исправительно-арестантском отделении. От отбывания наказания его спасла Фервальская революция.

379. Д.Л. Рубинштейн после 1917 г. эмигрировал, за границей продолжал заниматься финансовыми операциями и махинациями. Так, в декабре 1927 г. он был арестован в Париже по обвинению в мошенничестве, причинившем Центральному коммерческому банку убытки в несколько миллионов франков. Закончил свои дни в Вене в 1936 г.

380. Н.Н. Кутлер после 1917 г. несколько раз арестовывался ВЧК, затем являлся членом правления Государственного банка РСФСР, участвовал в подготовке и практической реализации мероприятий денежной реформы 1922–1924 гг. Умер 10 мая 1924 г. в Москве (подробнее см.: *Марченкова Л.В.* Н.Н. Кутлер: материалы к биографии // Из глубины времен. Вып. 8. СПб., 1997. С. 113–130).

381. У. Ашберг, шведский банкир, основатель «Ниа банкен» (1912 г.), с 1917 г. сотрудничал с большевиками, получил прозвище «красный банкир».

382. У. Ашберг осенью 1922 г. создал в Советской России «Российский коммерческий банк», 90% акций которого находилось у него. Чем занималось это кредитное учреждение — неизвестно, но несомненно, что оно было близко большевистской власти. Банк был реорганизован сразу после смерти В.И. Ленина в марте 1924 г. во Внешторгбанк, а У. Ашберг расстался с принадлежавшими ему акциями. Подробнее об этом см.: *Ашберг У.* Между Западом и Россией. 1914–1924 гг. Из воспоминаний «красного банкира» [вступительная статья А.В. Островского] // Из глубины времен. Вып. 2. СПб., 1993. С. 16–17).

383. И.И. Колышко очень произвольно истолковывает дальневосточные события. Действительно, Ли Хунчжану весной 1896 г. министр финансов обещал 3 млн. руб. за подписание русско-китайского соглашения, куда входило и условие, по которому Пекин предоставлял частной русской компании право строительства железной дороги до Владивостока по территории Маньчжурии. Но этот договор был заключен не благодаря взятке, а из-за боязни правителей Пекина новой, после 1894 г., агрессии Японии, так как в обмен на железную дорогу Россия обещала помощь Китаю в случае войны с Токио. С.Ю. Витте не давал никаких обещаний Вильгельму II относительно Вэйхайвэя. Скорее всего, И.И. Колышко имеет в виду переговоры между германским и российским императорами в Петергофе в августе 1897 г., когда немецкий гость неожиданно спросил разрешение у Николая II занять Киао-Чао (Цзяочжоу) — порт, на который уже претендовала Россия. Царь не сумел отказать, этим Берлин и воспользовался несколько месяцев спустя. Захват Россией Порт-Артура состоялся 4 декабря 1897 г. из-за боязни того, что в эту гавань могут войти английские корабли. С.Ю. Витте был категорическим противником такого шага, на нем настоял министр иностранных дел М.Н. Муравьев.

384. Интерес к корейским портам Морское министерство проявило еще в начале 1890-х гг., но это были Кожедо (Каргодо) и Масанпо. С.Ю. Витте рассматривал возможность получения порта в Корее в конце 1896–1897 гг., после того как не сумел получить от Китая незамерзающую бухту, но его интересовали пункты в районе устья р. Ялу (северная граница Кореи). После захвата Порт-Артура и Далянваня и заключения договора об аренде Ляодунского полуострова вопрос о корейском порте отпал сам собой.

385. О каком подкупе корейского императора сообщает И.И. Колышко — непонятно. С 1895 г. в России обсуждалась возможность предоставить Корее заем в 3 млн. иен, но дальше переговоров дело так и не пошло.

386. И.И. Колышко излагает легенду, так как вплоть до 1903 г. Токио был готов удовольствоваться безраздельным господством лишь в Корее, не претендуя ни на Ляодун, ни тем более на формально частную железную дорогу до Порт-Артура.

387. Имеется в виду Н.Д. Оболенский.

388. Ляоян, Мукден — сражения 11–21 августа (24 августа — 3 сентября) 1904 г. и 6–25 февраля (19 февраля — 10 марта) 1905 г., отставка же С.Ю. Витте состоялась 16 августа 1903 г., до начала войны.

389. Обстоятельства своей отставки С. Ю. Витте подробно описал в мемуарах (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 2. СПб., 2003. С. 614–615).

390. Н.Д. Оболенский с 1904 г. заведовал Кабинетом Его императорского величества, с 1909 г. состоял при Марии Федоровне. Должность заведующего Кабинетом означала близость к царской семье, о почетной отставке тут говорить нельзя.

391. Назначение П.Д. Святополк-Мирского министром внутренних дел состоялось 26 августа 1904 г., после длительных колебаний Николая II. С.Ю. Витте делал все возможное, чтобы занять место своего врага В.К. Плеве, но ему это не удалось, поэтому «радость» председателя Комитета министров была скорее саркастической: он полагал, что князь не готов к такой должности.

392. Имеется в виду Гулльский инцидент, происшедший в ночь с 8 на 9 октября 1904 г., когда эскадра адмирала З.П. Рожественского обстреляла английские рыбацкие корабли, приняв их за японские миноносцы. Один рыболовный траулер был потоплен, два рыбака погибли, шестеро получили ранения. Инцидент вызвал большой международный скандал, заговорили даже о возможности англо-русского конфликта. Россия предложила передать дело на расследование специальной международной комиссии, с чем британская сторона согласилась. Вердикт комиссии носил компромиссный характер: с одной стороны, она не подтвердила наличие японских военных кораблей, но с другой, полностью оправдала действия адмирала З.П. Рожественского. Большинство очевидцев с русской стороны и исследователей не сомневались, что эскадра действительно встретилась с

японскими миноносцами. И.Ф. Манасевич-Мануйлов вместе с П.И. Рачковским участвовали в информационном «обеспечении» русской делегации (*Павлов Д.Б.* Русско-японская война 1904–1905 гг.: Секретные операции на суше и на море. М., 2004. С. 88–137).

393. П.Д. Святополк-Мирский был уволен 18 января 1905 г., А.Г. Булыгин стал министром внутренних дел 20 января 1905 г. «Булыгинская» Дума начала «стряпаться» во второй половине марта 1905 г. До этого обсуждалась лишь возможность привлечения выборных представителей народа к работе высших органов государственной власти.

394. И.И. Колышко имеет в виду записку за подписью С.Ю. Витте, опубликованную в Штутгарте П.Б. Струве под названием «Самодержавие и земство». Эта записка была второй в полемике между С.Ю. Витте и И.Л. Горемыкиным по вопросу о роли и будущем земских учреждений в России, в которой С.Ю. Витте доказывал принципиальную несовместимость абсолютизма и самоуправления. Министр финансов называл трех ее авторов из числа своих ближайших сотрудников: А.И. Путилова, Н.Н. Кутлера и П.П. Цитовича. Ни один из них не служил в Демидовском юридическом лицее. Правда, есть и другие версии происхождения текста. Так, чиновник МИД В.Б. Лопухин в своих воспоминаниях утверждал, что записку составил М.А. Липинский — профессор Ярославского Демидовского юридического лицея (ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. № 765. Л. 43).

395. И.И. Колышко не прав: затягивание войны, тем более — разгром России, не входили в планы ни Франции, ни Англии.

396. Х. Того — адмирал, разгромивший 2-ю Тихоокеанскую эскадру адмирала З.П. Рожественского в сражении при Цусиме 14–15 мая 1905 г.

Т. Куроки — командующий японской 1-й армией, которая захватила Корею, участвовала в сражениях при Ляояне, при р. Шахэ и при Мукдене. Но ни в одном из них японская армия не одержала однозначной победы.

397. Николай Валерианович Муравьев, бывший министр юстиции, посол России в Риме, был вторым кандидатом на поездку в Портсмут после того, как от нее категорически отказался посол в Париже А.И. Нелидов. Его утвердили 14 июня 1905 г. 25 июня Н.В. Муравьев прибыл в Петербург, однако уже 27 июня имел высочайшую аудиенцию, на которой и отказался от поручения. 28 июня он объявил о своей болезни, не позволяющей ему не только подготовиться к конференции, но и участвовать в ней. С.Ю. Витте впоследствии утверждал в «Воспоминаниях», ссылаясь на покойного к тому времени В.Н. Ламздорфа, что посла в Риме охватила «дипломатическая болезнь» из-за боязни провала переговоров и из-за того, что на их проведение ассигновали чрезвычайно скромную, с точки зрения Н.В. Муравьева, сумму (он хотел 100 тыс., а получил всего 15 тыс. руб.) (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 143–144). Совершенно другую версию приводит В. Н. Коковцов: Н. В. Муравьев после разговора с царем, «передумавши всю ночь», прямо объявил, что не решился возглавить русскую делегацию, так как почувствовал, что не в состоянии добиться успеха, посоветовав Николаю II назначить С.Ю. Витте (*Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 1. М., 1992. С. 77). Вдобавок посол в Риме действительно незадолго до того серьезно болел, а в Петербург приехал после лечения в Контрэксвилле. Как бы то ни было, 29 июня Николаю II пришлось назначить главным уполномоченным от России на переговорах С.Ю. Витте.

398. Каносса — замок в Северной Италии, куда в январе 1077 г. к римскому папе Григорию VII явился, претерпевая унижения, низложенный германский император Генрих IV.

399. Сан-Стефанский мирный договор был заключен между Россией и Турцией 19 февраля 1878 г. Его содержание фактически было продиктовано русским уполномоченным Н.П. Игнатьевым. Оно представляло собой согласие турок на все уступки, которые требовала русская сторона. Однако договор подлежал еще утверждению на конференции европейских держав. Там в 1878 г., в Берлине, успехи русского оружия были значительно урезаны.

400. Тильзитский мир — соглашение, подписанное Наполеоном I и Александром I 8 июля 1807 г. После разгрома русской армии царь был вынужден заключить с Францией военный союз и предоставить ей свободу действий в Европе, поддержать континентальную блокаду Англии. Для России это был не позорный, но тяжелый мир с победителем.

401. Петербургский совет рабочих депутатов начал действовать 13 октября 1905 г., солдатских депутатов в нем не было. Власть ликвидировала его в конце ноября – декабре 1905 г.

402. *Розанов В.В.* Когда начальство ушло... 1905–1906 гг. СПб., 1910. 420 с.

403. Слухи о том, что А.Д. Протопопов и петербургский градоначальник (с 10 ноября 1916 г.) генерал-майор А.П. Балк расставили на крышах зданий в Петрограде пулеметы, чтобы расстреливать манифестации, были очень распространены в первые дни революции. Однако расследование, проведенное Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства, не нашло этому подтверждений.

404. Речь идет о графе А.П. Игнатьеве.

405. И.И. Колышко, вероятно, имеет в виду князя П.Д. Долгорукого, возглавлявшего кадетский ЦК.

406. Имеется в виду документ под названием «Записка Витте от 9 октября» (Красный архив. 1925. № 4/5 (11/12). С. 51–61). Об этом см. также *Островский А.В.*, *Сафонов М.М.* Манифест 17 октября 1905 года // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 12. Л., 1981. С. 168–188.

407. Союз союзов — созданное в России 8–9 мая 1905 г. объединение 14 профессиональных союзов, которое возглавил П.Н. Милюков. Являлся предтечей кадетской партии. В 1906 г. «Союз союзов» прекратил существование.

408. Речь идет о неудачной попытке С.Ю. Витте пригласить в свой кабинет общественных деятелей. Он остановился на кандидатурах Н.С. Таганцева, Д.Н. Шипова, А.И. Гучкова, М.А. Стаховича и С.Д. Урусова. Однако по разным причинам они уклонились от приглашения графа. Еще при жизни С.Ю. Витте эта история вызвала значительную полемику в газетах, так как ее участникам показалось, что далеко не все детали излагаются точно (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 257–261; *Шипов Д.Н.* Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С. 349; Полемика по вопросу об «общественном министерстве» // Самодержавие и либералы в революцию 1905–1907 годов. М.; Л., 1925. С. 109–129 и др.).

409. Имеется в виду Г.А. Мин.

410. 3 февраля 1893 г. П.Н. Дурново был вынужден уйти в отставку с должности директора Департамента полиции из-за скандала, связанного с кражей писем его любовницы бразильскому посланнику. По слухам и свидетельствам мемуаристов, царь, которому дипломат пожаловался на бесцеремонное вмешательство в его частную жизнь, распорядился немедленно уволить столь ревнивого начальника полиции (*Герасимов А.В.* На лезвии с террористами // «Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска. М., 2004. Т. 2. С. 183–184).

411. Великий князь Николай Николаевич появился в Петербурге утром 15 октября 1905 г., прибыв из своего имения в Тульской губернии специальным поездом, состоящим из одного (разумеется, не товарного) вагона. Встреча с «представителем бастовавших рабочих» М.А. Ушаковым состоялась днем 16 октября 1905 г. По обоснованной версии А.В. Островского, эту встречу подготовил С.Ю. Витте, так как рабочий отстаивал его позицию, призывая великого князя к конституционным реформам (*Островский А.В.* С.Ю. Витте, М.А. Ушаков. К истории Манифеста 17 октября 1905 г. // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX веков. Сб. ст. памяти Валентина Семеновича Дякина и Юрия Борисовича Соловьева. СПб., 1999. С. 369–372).

412. И.Л. Горемыкин был призван в Петергоф Николаем II 13 октября 1905 г. (*Ананьич Б.В.*, *Ганелин Р.Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 219–220).

413. Подробнее см.: Редакторы петербургских газет и журналов у С.Ю. Витте [18 октября 1905 г.] // Красный архив. 1925. № 4/5 (11/12). С. 100–105. Правда, С.М. Проппер, согласно записи встречи, произнес лишь несколько кратких реплик.

414. В.А. Дедюлин.

415. Н.Э. Бауман, революционер, возглавлял московский комитет РСДРП. 18 октября 1905 г. во время манифестации в Москве его убил комендант фабричного общежития Н.Ф. Михалин. Похороны Н.Э. Баумана 20 октября вылились в грандиозную манифестацию, послужили новым поводом для всплеска антиправительственного движения.

416. Проекты манифеста Горемыкина–Будберга см.: Красный архив. 1925. № 4/5 (11/12). С. 92–96. Об этом см. также: *Островский А.В.*, *Сафонов М.М.* Неизвестный проект манифеста 17 октября 1905 г. // Советские архивы. 1979. № 2. С. 63–65; Они же. 15–17 октября 1905 г. В царской резиденции (из заметок Н.А. Будберга) // Английская набережная, 4. СПб., 1997. С. 391–412.

417. Речь идет об А.Д. Оболенском и Н.И. Вуиче.

418. Обстоятельства подписания манифеста 17 октября 1905 г. см.: Красный архив. 1925. № 4/5 (11/12). Их подробно изложил в мемуарах и С.Ю. Витте (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 209–246). И.И. Колышко в основном воспроизвел версию графа, новое в его рассказе — это присутствие императрицы в момент подписания акта.

419. С.Ю. Витте в целях безопасности переехал из своего особняка на Каменноостровском проспекте в запасной дом при Зимнем дворце (Дворцовая набережная, д. 30). Это произошло не позднее 27 октября 1905 г. (*Ананьич Б.В.*, *Ганелин Р.Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 238).

420. Д.Ф. Трепов скоропостижно скончался 2 сентября 1906 г. из-за болезни сердца. 26 октября 1905 г. он был назначен дворцовым комендантом — должность, предусматривавшая значительное влияние и возможности. В июне 1906 г. Д.Ф. Трепов вел переговоры (в частности, с П.Н. Милюковым) о создании кадетского кабинета, которые, правда, ничем не завершились. Конечно, это делалось по поручению царя, но вряд ли Николаю II нравилось то, что его посланец демонстрировал убеждение, что правительство от партии думского большинства — единственный выход для России.

421. Еврейский погром в Белостоке произошел 1–3 (14–16) июня 1906 г., когда С.Ю. Витте находился уже в отставке, поэтому докладывать о нем Николаю II он не мог. Скорее всего, И.И. Колышко имеет в виду погром в Гомеле 14–16 (28–30) января 1906 г. 28 февраля 1906 г. он обсуждался на Совете министров, по происшествию была составлена специальная мемория для Николая II, на которой царь оставил резолюцию: «Какое мне до этого дело? Вопрос о дальнейшем направлении дела о гр. Подгоричани подлежит ведению мин[истра] внут[ренних] дел» (Мемория по делу о еврейском погроме в г. Гомеле // Совет министров Российской империи 1905–1906 гг. Документы и материалы. Л., 1990. С. 283–285).

422. См. предыдущий комментарий. Эта же история изложена в мемуарах С.Ю. Витте (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 489).

423. В фонде С.Ю. Витте (РГИА. Ф. 1622) сохранились лишь две копии писем П.Н. Дурново: одно — от 2 марта 1906 г., посвященное печатанию провокационных прокламаций в Департаменте полиции (Д. 311), другое — от 20 марта 1906 г., где министр уверяет премьера в ринятии мер для борьбы с еврейскими погромами и настаивает на назначении своим товарищем В.И. Гурко. Ни в одном из них фразы, процитированной И.И. Колышко, нет.

424. Имеется в виду М.А. Суворин — сын А.С. Суворина, участвовавший в издательских делах отца.

425. Эта история также приведена в мемуарах С.Ю. Витте (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 254–255). Однако у графа речь идет о манифесте, который был принят Советом рабочих депутатов 22 ноября 1905 г. Ма-

нифест поддержанный революционными партиями, привывал нанести финансовый удар по государству: изымать вклады из сберкасс, не вносить туда золото и т.п.

426. Газета «Свободное слово» выходила в Петербурге в ноябре-декабре 1905 г., всего увидело свет несколько номеров.

427. «Новая жизнь», первая легальная большевистская газета, выходила с 27 октября (9 ноября) по 3 (16) декабря 1905 г. в Петербурге (28 номеров) тиражом до 80 тыс. экземпляров. Официальным редактором-издателем был поэт Н.М. Минский, издательницей — актриса М.Ф. Андреева. С ноября 1905 г. (№ 9) газета стала выходить под руководством В.И. Ленина, и фактически стала главным печатным органом большевиков. В газете активно участвовал М. Горький, не только как автор, но и как спонсор. Газета подвергалась полицейским репрессиям: из 27 номеров 15 было конфисковано. Окончательно закрыта 2 (15) декабря 1905 на 27-м номере, 28-й номер вышел нелегально.

428. После того, как 2 ноября 1905 г. началась очередная забастовка, С.Ю. Витте выпустил воззвание к рабочим: «Братцы рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Дайте время, все возможное для вас будет сделано. Послушайте человека, к вам расположенного и желающего вам добра. Граф Витте» (цит. по: *Ольденбург С.С.* Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 323).

429. Имеется в виду Н.Е. Марков 2-й.

430. Имеется в виду А.И. Дубровин.

431. Общепризнанно, что в основу проекта Н.Н. Кутлера была положена записка П.П. Мигулина, в которой предлагался немедленный принудительный выкуп 25 млн. десятин земли, на что требовалось изыскать не менее 500 млн. руб. О каком Бобринском упоминает И.И. Колышко — непонятно, так как в эти годы (1905–1906) ни один из них не возглавлял губернское дворянское общество в Туле, должность предводителя временно исполнял в это время Р.Д. Еропкин. Возможно, речь идет о графе В. А. Бобринском, почетном мировом судье и гласном Тульского уездного и губернского земств, богородицком уездном предводителе дворянства, депутате II–IV Государственных дум, лидере фракции националистов.

432. Проект Н.Н. Кутлера решительно отклонил сам Николай II в той части, где речь шла о возможности принудительного отчуждения частновладельческих земель. Подробнее об этом см.: Аграрный вопрос в Совете министров (1906 г.). М.; Л., 1924.

433. Открыл заседания Государственной думы председатель Государственного совета Э.В. Фриш. И.Л. Горемыкин выступил в нижней палате с правительственной декларацией 13 мая 1906 г.

434. Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 233, 239, 240. Цитаты переданы И.И. Колышко не вполне точно.

435. Фукс (fuchs) — лисица (нем.).

436. Дезабилье (франц. déshabillé — раздетый) — небрежно, по-домашнему одетый.

437. Проанализировав данные о 448 депутатах, первый историк «российского парламента» Н.А. Бородин пришел к выводу, что первая Дума на 2/3 состояла из интеллигентов и на оставшуюся треть — из крестьян и рабочих. Иначе выглядел сословный состав депутатов: 45,5% — крестьяне, 36,7% — дворяне, доля других социальных групп не превышала 5% (*Бородин Н.А.* Личный состав первой Государственной думы, ее организация и статистические сведения о членах // Первая Государственная дума. Сб. ст. Вып. 1. Политическое значение первой Думы. СПб., 1907. С. 18).

438. Имеется в виду Б.Ф. Малешевский.

439. Учреждение самостоятельного Министерства торговли и промышленности 28 октября 1905 г. было связано не столько с назревшими потребностями в появлении нового ведомства, сколько со стремлением С.Ю. Витте лишить власти великого князя Александра Михайловича, забрав у него Главное управление торгового мореплавания и портов, а также существенно урезать власть министра финансов В.Н. Коковцова, изъяв из его ведомства ряд важных департаментов. Об этом можно судить благодаря тому, что ра-

боту по созданию нового министерства вел А.И. Путилов, бывший директор канцелярии министра финансов при С.Ю. Витте, еще до отставки В.Н. Коковцова, которая состоялась 20 октября 1905 г. После этого некоторые планы реорганизации финансового ведомства претерпели изменение (*Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. Кн. 1. М., 1992. С. 99).

440. Е.А. Шабельская в 1903 г. попала под суд за предъявление фальшивых векселей за подписью своего любовника — товарища министра финансов В.И. Ковалевского. Ее «сын» — некто Петр Николаевич Попов, принявший фамилию Шабельский-Борк (1893–1952), 28 марта 1922 г. пытался застрелить П.Н. Милюкова. В.Д. Набокова, помешавшего П.Н. Шабельскому-Борку, убил его сообщник, С.В. Таборицкий.

441. С.Ю. Витте еще при жизни не скрывал, что составляет обширные воспоминания (подробнее об этом см.: *Ананьич Б.В.*, *Ганелин Р.Ш.* С.Ю. Витте и его воспоминания // Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 6–7). В специальной записке, приложенной к рукописи, он просил опубликовать свои мемуары «в ближайшее время» после его смерти (Там же. С.10).

442. Мать В.П. Мещерского, Екатерина Николаевна, — старшая дочь Н.М. Карамзина. Отец — князь Петр Иванович Мещерский, отставной подполковник гвардии.

443. Часть ее (7 писем Николая Александровича за 1863–1864 гг.) опубликована В.С. Франком (Современные записки. 1940. Т. 70. С. 173–182).

444. А.С. Суворин после окончания специальных классов Дворянского полка пошел служить сапером, но быстро вышел в отставку, выдержал экзамен на звание учителя и устроился на работу сначала в Боброве, а затем в Воронеже. В Петербурге он появился в 1863 г., вскоре стал секретарем в «Санкт-Петербургских ведомостях».

445. В.П. Мещерский основал «Гражданин» в 1872 г.

И.И. Колышко упоминает П.П. Демидова (1839–1885), князя Сан-Донато (1872 г.). Вероятно, его участие в основании «Гражданина» объясняется родственными связями: супругой П.П. Демидова-Сан-Донато была М.Э. Мещерская, дочь Элима Петровича Мещерского, внучка Петра Сергеевича Мещерского, обер-прокурора Синода. Брат П.С. Мещерского — Иван Сергеевич Мещерский, был дедом В.П. Мещерского. Кроме того, мать П.П. Демидова, Аврора Карловна, была замужем во второй раз за А.Н. Карамзиным, сыном Н.М. Карамзина.

446. Ф.М. Достоевский в 1873–1874 гг. редактировал «Гражданин», что способствовало росту его тиража. Однако из-за расхождений с В.П. Мещерским их сотрудничество вскоре прервалось.

447. «Колокол» — газета, издававшаяся А.И. Герценом и Н.П. Огаревым в Лондоне в 1857–1867 гг. «Голос» — ежедневная столичная газета, издававшаяся в 1863–1883 гг. А.А. Краевским.

448. Имеется в виду В.И. Лихачев. Газета, основанная в 1868 г., была приобретена им и А.С. Сувориным у К.В. Трубникова в феврале 1876 г. В.И. Лихачев отошел от газеты в 1878 г.

449. И.И. Колышко преувеличивает влияние В.П. Мещерского: его кандидаты в министры проходили далеко не всегда. Назначения А.Н. Хвостова (сентябрь 1915 г.) и Б.В. Штюрмера (январь 1916 г.) и вовсе состоялись после смерти В.П. Мещерского, в них сказалось влияние Г.Е. Распутина.

450. Речь идет об Е.В. Богдановиче, хозяине правого политического салона в столице, где собирались преимущественно бюрократы средней руки. Подробнее о салоне Е.В. Богдановича см.: *Стогов Д.И.* Правомонархические салоны Петербурга–Петрограда (конец XIX – начало XX века). СПб., 2007. С. 125–188).

451. «Кронштадтский вестник» — городская газета, выходившая с 2 июля 1861 г. сначала дважды в неделю, а с 1 августа 1862 г. — трижды (8 ноября 1909 г. издание стало ежедневным). Никаких сведений о том, что Александр III читал ее, нет.

452. Имеется в виду Г.Г. Данилович.

453. Известно, что попытки В.П. Мещерского в первые годы царствования Николая II обратиться к нему за субсидией на «Гражданин», при посредничестве С.Ю. Витте, окончились неудачей.

454. Точнее — неопределенности, которая продолжалась и после «бессмысленных мечтаний». Другой вопрос, что первое выступление изменило отношение в обществе к молодому царю: надежды на либеральное царствование улетучились.

455. Жена С.Д. Шереметева — Екатерина Павловна, и жена Д.С. Сипягина — Александра Павловна — родные сестры, их отец — князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888).

456. «Я уверовал в себя» — из письма Николая II В.П. Мещерскому 28 февраля 1902 г. — «По меньшей мере, смешно, если ты думаешь, что я буду исполнять все твои желания. У меня тоже свое мнение и своя воля — в этом ты скоро убедишься» — письмо 1 мая 1903 г.; «Мы ведь недавно оба заключили тайный и оборонительный союз» — письмо 14 мая 1902 г. (Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 129, 132, 136).

457. Последний милостивый рескрипт С.Ю. Витте был дан 1 января 1903 г.

458. Циммервальдская международная социалистическая конференция состоялась 5–8 сентября 1915 г., на ней присутствовало 38 человек из 11 стран. Цель конференции — попытка объединить наиболее левые социалистические партии и группы под лозунгом революции. Однако идеологам такого объединения (прежде всего — В.И. Ленину) удалось добиться лишь компромиссного решения — большинство участников конференции приняло лозунг «Мир без аннексий и контрибуций».

459. Это произошло 10 (23) июля 1914 г.

460. Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 г., на котором России пришлось существенно умерить свои требования к Турции после победы в войне 1877–1878 гг. Германия на этом конгрессе не оправдала надежды Петербурга.

461. Речь идет о Г. Аното и М.-Ф. Карно.

462. Ж. Луи был французским послом в Петербурге в 1906–1909 гг.

463. И.И. Колышко намекает на «благодарственные рескрипты» царя министру вместо его увольнения, которые, по его сведениям, Николай II подписывал трижды. Но на 1902–1903 гг. приходится лишь один такой рескрипт — 1 января 1903 г.

464. При отставке С.Ю. Витте получил 400 тыс. руб. (*Шилов Д.Н.* Государственные деятели Российской империи. Главы высших и центральных учреждений. 1802–1917. Биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 124).

465. Коломбина — служанка в итальянской народной комедии масок.

466. Вариант этой главы вошел в цикл публикаций И.И. Колышко в «Новом русском слове» под общим заголовком «Тени минувшего» (Новое русское слово. 1931. 12 июля. № 6741. С. 2, 8).

467. М.В. Ломоносов происходил из семьи крестьянина-помора, до 19 лет занимался рыбным промыслом. В 1730 г. ушел с рыбным обозом в Москву, где ему удалось поступить в Славяно-греко-латинскую академию, выдав себя за дворянского сына. Впоследствии сыграл колоссальную роль в становлении российской науки.

А.В. Кольцов был не из «мужиков», а купеческий сын.

468. Имеются в виду С.В. Аникин и Ф.М. Онипко.

469. М.И. Калинин, участник революционного движения с 1895 г., с 1911 г. член Петербургского комитета РСДРП, в 1919 г. избран председателем ВЦИК, с 1926 г. член Политбюро ЦК ВКП (б). И.И. Колышко намекает на то, что М.И. Калинин — из крестьян.

470. Имеется в виду Г.П. Сазонов.

471. Имеется в виду В.К. Сютаев.

472. Антонин (Грановский), епископ Нарвский (1903), в 1905 г. член комиссии по разработке правил о свободе печати, выдающийся знаток древних языков, отличался экстравагантным поведением. Противник аскетизма, занимал радикальные политические позиции. Интересовался вопросом об общении полов, что сближало его с В.В. Розановым.

473. Свидригайлов — герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; Передонов — герой романа Ф.К. Сологуба «Мелкий бес»; Санин — герой одноименного романа М.П. Арцыбашева.

474. И.И. Колышко пересказывает отрывок из воспоминаний А. Симановича (*Симанович А.* Распутин и евреи. М., 1991. С. 47). Однако рассказ так называемого секретаря Распутина вызывает большие сомнения в достоверности.

475. Имеется в виду В.Ф. Джунковский. Попытка разоблачить Г.Е. Распутина в глазах Николая II стоила ему отставки.

476. *Юсупов Ф.Ф.* Конец Распутина. Париж, 1927; *Маклаков В.А.* Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова об убийстве Распутина // Современные записки. 1928. Т. XXXIV. С. 260–281.

477. Е.В. Богданович с 1845 г. служил на Черноморском флоте, но по болезни в 1850-е гг. оставил морскую службу.

Н.М. Баранов, генерал-лейтенант, петербургский градоначальник в 1881–1882 гг., во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., командуя небольшим пароходом «Веста», согласно его собственному донесению, 11 июня 1877 г. после 6-часового боя заставил удалиться с уроном турецкий броненосец «Фехти Булен».

478. Е.В. Богданович считается родоначальником проекта, легшего в основу программы строительства Сибирской дороги. Он в 1860-е гг. представил аргументированный план магистрали, которая, по мысли автора, должна была протянуться из европейской части России через Урал до Тюмени и далее до Восточной Сибири и границы с Китаем, соединяя отдельными ветками водоразделы крупных сибирских рек (*Богданович Е.В.* Проект Сибирско-Уральской железной дороги. СПб., 1891). Заботясь об окупаемости и экономической востребованности новой железной дороги, Е.В. Богданович надеялся, что она даст импульс экономическому развитию Урала, находившемуся в бедственном состоянии после отмены крепостного права, а также русско-китайской торговле, что позволило бы довести магистраль до Восточной Сибири (*Богданович Е.В.* О Сибирской железной дороге и о развитии уральского горного промысла. СПб., 1866). Он также выражал интересы сибирского купечества, выступая его ходатаем в Петербурге и организатором заказных публикаций в столичных газетах инспирированных телеграмм о строительстве железной дороги в Сибирь (*Изнар Н.Н.* Записки инженера // Вопросы истории. 2004. № 2. С. 102).

479. М.И. Кази был близок к Н.М. Чихачеву. То, что идея основать военный порт на Мурмане принадлежала М.И. Кази, признавал и С.Ю. Витте (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Рассказы в стенографической записи. Кн. 1. СПб., 2003. С. 397). Она была высказана не позднее 1894 г.

480. Имеется в виду А.В. Богданович (урожд. Бутовская), дочь В.И. Бутовского, возглавлявшего более 20 лет Строгановское училище и основавшего при нем Художественно-промышленный музей. Происходил он из дворян Рязанской губернии.

481. Е.В. Богданович — автор большого числа брошюр, прославлявших победы русской армии и флота (например, Синопский бой), а также призванных укреплять веру в самодержавие. Написанные простым языком и изданные в колоссальном количестве (сотни тысяч экземпляров), они бесплатно распространялись в народе.

482. Имеется в виду Н.Е. Богданович — тамбовский вице-губернатор (1905), 15 декабря 1905 г. смертельно ранен в Тамбове.

483. М.М. Андроников не окончил курс Пажеского корпуса, так как был отчислен. С 1897 г. он значился к причисленным к МВД, с 1914 г. — к Синоду. С конца XIX в. князь занимался различными политическими аферами. Одно время активно «сотрудничал» с Г.Е. Распутиным.

484. Речь идет о Д.А. Бенкендорфе, действительном статском советнике, члене совета Русского для внешней торговли банка, члене правления Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества.

485. Имеется в виду графиня М.А. Келлер. Широко известен ее портрет кисти Л. Бакста.

486. М.М. Андроников был близок С.Ю. Витте уже в 1902 г. В это время он вместе с С.Ф. Шараповым плел интриги против министра юстиции Н.В. Муравьева и В.К. Плеве.

487. С помощью В.А. Сухомлинова М.М. Андроников рассчитывал скупить на имя акционерного общества значительные орошаемые территории в Бухаре и Хиве (*Апушкин В.А.* Генерал от поражений В.А. Сухомлинов. Л., 1925. С. 49).

488. М.М. Андроников сблизился с Г.Е. Распутиным в 1914 г., вскоре он начал интриговать в пользу назначения на министерский пост А.Н. Хвостова, бывшего нижегородского губернатора, затем лидера крайне правых в IV Государственной думе. В это время М.М. Андроников имел доступ к Александре Федоровне, императрица прислушивалась к «советам» всезнающего князя. Но это продолжалось до начала 1916 г.: после открывшейся попытки А.Н. Хвостова организовать покушение на жизнь Г.Е. Распутина отношение царицы к нему и М.М. Андроникову резко изменилось в худшую сторону. Князь попал в немилость, в конце 1916 г. его даже выслали в Рязань.

489. Достоверно известно, что в 1918 г. князь М.М. Андроников возглавил Кронштадтскую ЧК. Однако в июле 1919 г. его арестовали в связи с «делом Национального центра» и расстреляли (*Голинков Д.Л.* Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 1. М., 1986. С. 287).

490. В 1730 г. при вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны ее принудили подписать «Кондиции», согласно которым реальная высшая власть в России переходила к Верховному тайному совету, существовавшему с 1726 г. как совещательный орган при монархе. Без его согласия она не могла объявлять войну или заключать мир, вводить новые налоги, осуществлять расходы, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола. Однако «Кондиции» просуществовали всего месяц: недовольство «верховниками» позволило императрице ликвидировать ограничения собственной власти. После этого один из членов Верховного тайного совета Д.М. Голицын разработал проект конституции, превращавший Россию в дворянскую республику. Разумеется, он был отвергнут.

491. «Обделанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим народом. Просмотрите от начала до конца наши летописи,— вы найдете в них на каждой странице глубокое воздействие власти, непрестанное влияние почвы, и почти никогда не встретите проявлений общественной воли» (*Чаадаев П.Я.* Апология сумасшедшего // *Чаадаев П.Я.* Сочинения. М., 1989. С. 153).

492. «Речь» — ежедневная газета, выходившая с 1906 по 1917 г., главный печатный орган кадетской партии.

493. «Русские ведомости» — московская либеральная газета, выходившая с 1863 по 1918 г.

«Вестник Европы» — популярнейший либеральный журнал в России, выходивший в 1866–1918 гг.

«Отечественные записки» — журнал, основанный в 1818 г., выходил с перерывами до 1884 г. Пик его популярности приходится на 1840-е–1870-е гг.

494. Coulant — покладистый, сговорчивый (франц.).

495. Речь идет о князе Д.И. Бебутове, известном общественном деятеле. Его супруга — Анна Федоровна, урожденная Хартулари. В конце 1905 г. князь передал кадетской партии 25 тыс. руб. на ведение предвыборной кампании, затем арендовал помещение для партийного клуба. Он также спонсировал революционные партии, в итоге растранжирив немалое состояние своей супруги (см.: *Старцев В.И.* Князь Д.И. Бебутов и его воспоминания // Английская набережная, 4. Ежегодник Санкт-Петербургского общества историков и архивистов. СПб., 1997. С. 343–370).

496. М. Ганди — идеолог ненасильственных методов борьбы, один из руководителей национально-освободительного движения в Индии, лидер Индийского национального конгресса в 1921–1934 гг.

Гоминьдан (китайская народная партия) была создана в 1912 г. Сунь Ятсеном, ведущая политическая сила в Китае до 1949 г., когда она проиграла гражданскую войну коммунистам.

497. Никейский (первый вселенский) собор в 325 г. принял символ веры для христиан.

498. «Катехизисом» А.А. Кизеветтера назвали брошюру «Нападки на партию народной свободы и возражения на них» (М., 1906), вышедшую под его редакцией. Книга появилась во время избирательной кампании во II Государственную думу и была призвана помочь в полемике с противниками кадетов как слева (социал-демократами), так и справа (октябристами, крайне правыми). Она была построена по принципу: возражение на кадетскую программу — ответ.

499. Подразумевается известная фраза В.Д. Набокова: «Исполнительная власть да покорится власти законодательной». Она прозвучала в Государственной думе в ответ на декларацию правительства, зачитанную И.Л. Горемыкиным 13 мая 1906 г. (Государственная дума. Стено-графический отчет. Сессия 1. Т. 1. С. 326).

500. Черта оседлости была учреждена указом Екатерины II от 28 декабря 1791 г., в Своде законов эта мера отсутствовала.

501. Убийство Г.Б. Иоллоса относится к марту 1907 г., а образование группы П.Н. Балашева (раскол национальной фракции в Думе) — к концу 1913 г., — оно было связано не с П.Н. Милюковым, а с отношением к правительству и формированию проправительственного большинства в нижней палате.

502. Возможно, имеется в виду М.Ю. Гольдштейн — один из основателей газеты «Россия», сотрудник «Нового времени», редактор «Голоса Москвы». После 1917 г. жил в Париже.

503. С.Д. Меркулов — с 26 мая 1921 г. председатель приамурского Временного правительства, поддержанного США и Японией. Власть нового государственного образования раздирали многочисленные противоречия, в июне 1922 г. дело дошло до вооруженных конфликтов. Не помог и созванный в конце июля 1922 г. в Приморье Земский собор. В октябре 1922 г. область окончательно захватили части народно-революционной армии.

504. «Голос России» — газета, близкая эсерам, которая выходила в Берлине в 1919–1922 гг.

505. Речь идет о П.Я. Рыссе.

506. На первом заседании I Государственной Думы 27 апреля 1906 г., вместо благодарности за приветственную речь Николая II, И.И. Петрункевич, в нарушение регламента Думы, поставил вопрос о проведении в России всеобщей политической амнистии (это являлось исключительной прерогативой монарха).

507. В начале 1906 г., перед созывом I Государственной думы, ряд кадетских лидеров, в частности В.А. Маклаков, предприняли ряд мер, чтобы противодействовать крупному русскому займу во Франции. Но они опоздали и, кроме того, действовали весьма вяло, лишь обозначая борьбу (*Ананьич Б.В.* Россия и международный капитал 1897–1914. Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970. С. 177–182).

508. Лимитропы — небольшие, не вполне самостоятельные страны.

509. А.И. Гучков поступил в охранную стражу КВЖД в 1898 г., но уже в 1899 г. из-за конфликта с одним из служащих железной дороги покинул эту службу (сам, а не был уволен С.Ю. Витте).

510. А.И. Гучков отправился добровольцем сражаться за буров в их войне с Англией (1899–1902 гг.), там он был ранен, попал в плен.

511. И.И. Колышко спутал П.Н. Игнатьева с Д.Ф. Треповым.

512. 12 августа 1906 г. террористы взорвали дачу П.А. Столыпина, находившуюся на Аптекарском острове, когда премьер вел прием посетителей. Однако к тому времени все переговоры о создании думского кабинета были уже прекращены.

513. А.И. Гучков не был депутатом IV Государственной думы: он проиграл выборы по Москве кадету М.М. Новикову.

514. Речь идет о приеме депутатов III Государственной думы, который состоялся 12 июня 1912 г. в 11 часов утра в Александровском дворце. Его свидетель В.Н. Коковцов позднее вспоминал: «Государь вошел в залу, по стенам которой разместились члены Думы по алфавиту губерний, от которых они были выбраны. Он поздоровался со мною и председателем Думы (М.В. Родзянко — *И. Л.*), обошел сначала представляющихся, разговаривая сравнительно подолгу с некоторыми из них, ограничился по отношению Гучкова одним вопросом: “Вы были избраны, кажется, по Московской губернии”, затем вышел на середину, вынул со дна фуражки листочек бумаги и, изредка заглядывая в него, произнес свое обращение» (*Коковцов В.Н.* Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 гг. Кн. 2. М., 1992. С. 63–64). А.И. Гучков возглавлял нижнюю палату в 1910–1911 гг., он покинул пост председателя в марте 1911 г. в знак протеста против действий П.А. Столыпина, который провел закон о введении земства в западных губерниях, минуя Думу, по ст. 87 Основных законов.

515. Имеется в виду библейская история о том, как Бог, испытывая веру Авраама, повелел ему сжечь на жертвенном костре своего сына Исаака. Авраам уже был готов исполнить приказание, как в последний момент Бог повелел заменить сына на барана (Быт. 22: 7–18).

516. В 1912 г. А.И. Гучков начал против С.Н. Мясоедова интригу. 17 апреля 1912 г. в «Новом времени» появилось интервью с бывшим председателем Думы, который открыто обвинил офицера в шпионаже. С.Н. Мясоедов вызвал А.И. Гучкова на дуэль. С.Н. Мясоедов стрелял первым и промахнулся; А.И. Гучков выстрелил в воздух. За дуэль офицер был уволен из армии.

517. К.Д. Нилов с октября 1905 г. — флаг-капитан Николая II. Эта должность по значению напоминала роль начальника штаба Верховного главнокомандующего, но по делам флота.

518. Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, принятый 1 марта 1917 г., фактически упразднял дисциплину в армии, так как деятельность офицеров ставилась им под контроль солдатских Советов.

519. В своих воспоминаниях П.Н. Милюков объяснял свою отставку несогласием с внешнеполитическим курсом Временного правительства, а также с принципами коалиции в нем, то есть политическими факторами, но не немецким влиянием или интригами (*Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 289–319).

520. Цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел».

521. Ге — имеется в виду Б.В. Гей (Гейман).

522. Житель — псевдоним А.А. Дьякова.

523. Имеется в виду С.Н. Терпигорев (Атава).

524. Сигма — псевдоним С.Н. Сыромятникова.

525. Имеется в виду Ю.Д. Беляев.

526. Речь идет о М.А. Суворине.

527. «Новое время» представляло собой не только газету, но и типографию, книжный магазин, другие издания и т.п. До 1903 г. настоящей бухгалтерии в этом хозяйстве не существовало, отчетность велась по системе отдельных приходно-расходных книг. Газета приносила наибольшую прибыль, но в XX веке она уже не покрывала расходы, в том числе и от убыточных предприятий. К 1908 г. суммарный долг «Нового времени» перевалил за 500 тыс. руб., и было ясно, что он и дальше будет увеличиваться (*Снессарев Н.В.* Мираж «Нового времени». Почти роман. СПб., 1914. С. 55, 71).

528. Речь идет о Н.В. Снессареве.

529. Имеется в виду В.П. Козловский, женатый на дочери М.А. Суворина. Он был арестован как политически неблагонадежный, но быстро выпущен.

530. Точнее — не выбран.

531. После акционирования «Нового времени» в 1911 г. А.С. Суворин согласился на продажу 100 паев из 800 (лично за ним оставалось более 500). А.И. Гучков приобрел 20, поэтому определяющего влияния на газету он никак не мог иметь (*Снессарев Н.В.* Мираж «Нового времени». Почти роман. СПб., 1914. С. 87–100). Однако А.И. Гучков имел личное влияние на М.А. Суворина, чем и воспользовался: в начале 1912 г. газета повела личную войну против В.Н. Коковцова и С.Д. Сазонова, за которой, по мнению современников, стоял именно лидер октябристов (Там же. С. 105).

532. Имеется в виду Б.А. Суворин, младший сын А.С. Суворина (от второй жены), журналист, редактировал газету «Вечернее время» (1911–1917).

533. М.А. Суворин — публицист, редактор «Нового времени».

534. А.А. Суворин считался самым талантливым из сыновей А.С. Суворина, с 1888 г. участвовал в редактировании «Нового времени», позднее издавал «Маленькую газету». Отличался неуравновешенным характером. А.А. Суворин также известен тем, что разработал собственную методику лечебного голодания. Покончил с собой в Париже (отравился газом).

535. Петр Верховенский — герой романа Ф.М. Достоевского «Бесы», его прототипом для писателя был С.Г. Нечаев.

536. Малый театр А.С. Суворина вырос из Литературно-артистического кружка, который издатель возглавлял, а в 1895 г. решил арендовать для постоянных постановок необходимое помещение. Выбор пал на Малый театр А.С. Апраксина, постороенный на набережной Фонтанки в 1874 г.

537. Газета «Русь», основанная А.А. Сувориным, издавалась в 1903–1908 гг. с перерывом в 1905–1906 гг.

538. По свидетельству римского историка Полибия, карфагенский полководец Ганнибал рассказывал, что когда ему было десять лет, перед отправлением в поход отец заставил его поклясться перед алтарем быть непримиримым врагом Рима. Клятву Ганнибал сдержал.

539. См. примечание 425.

540. А.С. Суворин — автор значительного количества театральных пьес: драм «Татьяна Репина», «Медея», комедий «Биржевая горячка», «Не пойман, не вор», «Он в отставке», «Честное слово», «Женщины и мужчины» и др. У современников они пользовались значительной популярностью.

541. Обличительные корреспонденции В.И. Немировича-Данченко с русско-японской войны 1904–1905 гг., публиковавшиеся в «Русском слове», имели большую популярность.

542. П.П. Батолин — крупный хлеботорговец, совладелец концерна И.И. Стахеева (1912 г.).

543. «Киевская мысль» — ежедневная либеральная газета, выходившая в 1906–1918 гг., ее издатель — Рудольф К. Лубковский.

544. Сотрудники «Биржевых ведомостей»: И.И. Ясинский, Н.А. Гредескул, С.А. Адрианов, В.А. Бонди, И.Л. Ольдор. И.И. Колышко несправедлив: ни один из них не сделал карьеры при советской власти.

545. Саваоф — в переводе с иврита Бог.

Имеется в виду Бестужев (Марлинский) Александр Александрович — писатель, критик, декабрист. Его романтическая проза пользовалась колоссальной популярностью у современников.

546. Имеется в виду «Всемирная иллюстрация».

547. Лупанарий — публичный дом в Древнем Риме.

548. Адмирал Н.И. Скрыдлов командовал Черноморским флотом в 1903–1904 и 1906–1907 гг.

549. Выражение «лукуллов пир» обязано своим происхождением римскому консулу Луцию Лицинию Лукуллу (ок. 106–56 до н. э.), прославившемуся расточительством и необыкновенно богатыми и изысканными застольями.

550. Онер (honneur) — почет, в картах — козырь (франц.).

551. Историю с приемом представителей большинства столичных газет С.Ю. Витте изложил в воспоминаниях (Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. Рукописные заметки. СПб., 2003. С. 251–253).

552. О газете «Свободное слово» см. сноску 426.

553. Немецкий погром — разгром немецкого посольства в Петербурге — состоялся вечером 22 июля 1914 г. «По Морской бежал народ, скакали извозчики, неслись автомобили. Громадная толпа с царским портретом впереди шла к посольству. Слышались ругательства, угрозы по адресу Германии, имп[ератора] Вильгельма. <...> Громадное здание посольства было освещено только внизу. Там бегали какие-то люди и выбрасывали в окна какие-то предметы. Скоро появился свет во втором этаже, затем и выше. Бегающие фигуры появились во всех этажах. Особенно суетилась там какая-то барышня в шляпке. Кипы бумаг полетели из окон верхнего этажа и как снег посыпались листьями на толпу. Летели столы, стулья, комоды, кресла <...> Все с грохотом падало на тротуары и разбивалось вдребезги. Публика улюлюкала и кричала ура. А на крыше здания какая-то группа, стуча и звеня молотками, старалась сбить две колоссальные конные статуи. Голые тевтоны, что держали лошадей, уже были сбиты. Их сбросили с крыши и под восторженное ура стащили волоком к Мойке и сбросили в воду. <...> Полиция только просила не ходить на тротуар посольства. Эскадрон стоял наготове. На площади был сам министр внутренних дел Маклаков, был и только что назначенный новый градоначальник князь Оболенский.

Вдруг пронеслось, что на чердаке громилы нашли труп убитого человека. То был русский, долго служивший в посольстве. В группе начальства заволновались. У эскадрона жандармов послышалась команда. Публику стали просить расходиться. Никто не слушался. Появилась пожарная машина, в толпу направили струю воды, с хохотом стали разбегаться» (*Спиридович А.И.* Великая война и февральская революция 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960. Кн. 1. С. 13–14). Генерал А.И. Спиридович, очевидец этих событий, также сообщил, что намерение разгромить аналогичным образом австро-венгерское посольство было сразу пресечено властями.

554. Имеется в виду А.А. Столыпин.

555. См.: *Тейтель Я.Л.* Из моей жизни за сорок лет. Париж, 1925. С. 82–83.

556. М.О. Меньшиков был расстрелян новгородской ЧК 20 сентября 1918 г. на берегу Валдая.

557. Ф.М. Достоевский вернулся в Петербург в 1860 г., «Гражданин» он редактировал в 1873–1874 гг.

558. Имеется в виду О.-Ю.И. Сенковский — ученый-востоковед, писатель, издатель, писавший под псевдонимом «Барон Бромбеус». Автор многочисленных развлекательных и нравоучительных повестей и рассказов с восточным колоритом.

559. Согласно воспоминаниям жены М.О. Меньшикова, ее муж был расстрелян по решению «суда» за «явное неподчинение Советской власти», выражавшееся, по разъяснению «судей», в том, что публицист «подчинялся Совету из-под палки». «Судьями» были Якобсон, Давидсон, Гильфонт и Губа. Сам М.О. Меньшиков на «суде» молчал. Он был уверен, что пал жертвой еврейской мести за якобы звучавшие в его сочинениях призывы к погромам. По официальной версии, появившейся в газетах, «черносотенного публициста» лишили жизни за то, что он стоял во главе «монархического заговора» (*Меньшикова М.В.* Как убили моего мужа М.О. Меньшикова в г. Валдае Новгородской губ. // Российский архив. Вып. IV. М., 1993. С. 243–250).

560. Впервые вариант этой главы И.И. Колышко опубликовал в парижском журнале «Мир и искусство» (1930. № 16. С. 14–15).

561. Московский трактир И.Я. Тестова — модный столичный «Большой Патрикеевский трактир», известный своей русской кухней, существовавший с 1868 г. Во время русско-японский войны преобразован в ресторан Тестова.

Театр Корша — московский частный Русский драматический театр, созданный в 1882 г. Его распорядителем был Ф.А. Корш. После 1917 г. театр менял название, существовал до 1932 г.

562. «Одесский листок» — ежедневная либеральная газета, выходившая в Одессе в 1880–1920 гг., имела наибольший тираж из провинциальных газет.

563. Имеется в виду, скорее всего, Т. Дейблер — австрийский писатель, близкий символистам, теоретик искусства.

564. М.О. Альберт — в конце XIX в. директор московского отделения Общества электрического освещения, позднее директор-распорядитель Невского судостроительного завода. На его средства издавалась газета «Россия» (под редакцией Г.П. Сазонова).

565. Имеется в виду лорд Нордклиф, владелец «Daily Mail».

566. Н.А. Алексеев — московский купец, в 1885–1893 гг. — городской голова. К.С. Станиславский (Алексеев) — его двоюродный брат.

567. Впервые текст этой главы с некоторыми изменениями был опубликован И.И. Колышко в 1931 г. (Новое русское слово. 1931. 3 мая. № 6671. С. 10) под названием «Пророки. Розанов–Мережковский–Гиппиус».

568. *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. СПб., 1899. Автор сурово раскритиковал существовавшую тогда систему образования за то, что она нарушает единство трех принципов: индивидуальности, целости и единства.

569. Скорее всего, И.И. Колышко имеет в виду книгу: *Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912. Первое ее издание было конфисковано, а автор обвинен в порнографии.

570. Имеется в виду Антоний Великий — основатель отшельнического монашества.

571. Впервые текст этой главы с некоторыми изменениями был опубликован И.И. Колышко в 1931 г. (Новое русское слово. 1931. 3 мая. № 6671. С. 10) под названием «Пророки. Розанов–Мережковский–Гиппиус».

572. Имеется в виду В.М. Скворцов — активный деятель черносотенных партий, редактор журнала «Миссионерское обозрение» (1896–1916) и крайне правой газеты «Колокол» (1906–1917).

573. Антонин (Грановский) стал епископом Нарвским в 1903 г.

При Временном правительстве А.В. Карташев являлся последним обер-прокурором Синода (с 24 июля по 5 августа 1917 г.), затем занял пост министра исповеданий.

М.А. Стахович занял пост Финляндского генерал-губернатора также в 1917 г.

574. Вероятно, И.И. Колышко имеет в виду Н.К. Михайловского.

575. Кубизм — модернистское течение в живописи и поэзии начала XX века, термин появился в 1908 г.

576. В первой редакции своих воспоминаний о В.И. Ленине М. Горький, сравнивая лидера большевиков с другими историческими деятелями России, упоминал среди них и Петра I: «Лично для меня Ленин не только изумительно совершенное воплощение воли, устремленной к цели, которую до него никто из людей не решался практически поставить пред собою, — он для меня один из тех праведников, один из тех чудовищных, полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта, какими были Петр Великий, Михаил Ломоносов, Лев Толстой и прочие этого ряда». «И был он насквозь русский человек — с “хитрецой” Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой революционеру прямолинейностью Петра Великого» (*Горький М.* Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, 1927). В следующих изданиях упоминание Петра I было из текста удалено. Однако первая редакция попала в 19-й том Собрания сочинений писателя (Берлин) и в 20-й том советского издания.

577. Видимо, И.И. Колышко имеет в виду выступление В.И. Ленина 4 июня 1917 г. на I Всероссийском съезде Советов, в котором вождь большевиков заявил о необходимости передачи всей власти Советам, как способе решения всех проблем.

578. И.И. Манухин — врач, специализировавшийся на туберкулезе. В 1913 г. он применил новый метод лечения (слабое облучение селезенки) к М. Горькому, добился положительного результата и стал его личным доктором. В апреле 1917 г. И.И. Манухин получил доступ в Петропавловскую крепость для освидетельствования находившихся там узников Чрезвычайной следственной комиссии и в значительной степени способствовал улучшению их участи (*Ульянкина Т.И.* Этот неизвестный известный Иван Манухин // Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 3. С. 45–62).

579. Например, благодаря ходатайству М. Горького В.И. Ленин разрешил выезд за границу великому князю Гавриилу Константиновичу. Писатель предупредил об опасности ареста Н.С. Брасовой и т.д. (*Манухин И.И.* Воспоминания о 1917–18 гг. // Новый журнал. 1958. Кн. LIV. С. 113–114).

580. «Периколла» — оперетта Ж. Оффенбаха, так же звали героиню произведения.

581. Роланд — герой французского эпоса, рыцарь эпохи Карла Великого, погибший в Пиренеях от рук басков. В конце XI в. появилась «Песнь о Роланде».

582. Журнал «Былое» под редакцией В.Л. Бурцева выходил в России в 1906–1907, 1917–1926 гг. За границей в 1900–1904 и 1908–1913 гг. издавались историко-революционные сборники «Былое» (всего — 14 выпусков).

583. «Освобождение» — либеральный неподцензурный журнал, издававшийся в Штутгарте под редакцией П.Б. Струве в 1902–1905 гг., являлся предвестником появления кадетской партии.

584. В.Л. Бурцев сумел разоблачить Е.Ф. Азефа в 1908 г.; подробно описал это в воспоминаниях (*Бурцев В.Л.* В погоне за провокаторами. М.; Л., 1928).

585. А. А. Лопухин, директор Департамента полиции в 1902–1905 гг., в 1908 г. за границей подтвердил В.Л. Бурцеву факт сотрудничества Е.Ф. Азефа с охранкой. В 1909 г. предан в связи с этим суду.

586. См. примечание 275.

587. В своих воспоминаниях английский посол упомянул лишь о том, как он успешно ходатайствовал о возвращении В.Л. Бурцева из ссылки (*Бьюкенен Дж.* Мемуары дипломата. М., 1991. С. 154).

588. Имеется в виду Ж. Фуше — участник Великой французской революции, в 1799 г. стал министром полиции. Ж. Фуше поддержал Наполеона, став при нем влиятельной политической фигурой. Создал широкую систему осведомления, провокации, разведки. Несмотря на то, что его несколько раз увольняли от должности, неизменно возвращался к власти. Окончательное его удаление произошло лишь в 1816 г.

589. И.И. Колышко перепутал: предложение воюющим народам и их правительствам немедленно вступить в переговоры о прекращении войны содержалось в Декрете о мире, принятом 26 октября 1917 г. на II съезде Советов. В дни Февральской революции доминировало настроение воевать до победы.

590. Газета В.Л. Бурцева «Будущее» выходила в Париже в 1911–1913 гг.

591. «Общее дело» — еженедельник, выходивший в Париже под редакцией В.Л. Бурцева с 1918 по 1922 гг. (в 1920–1922 гг. был ежедневной газетой).

592. Рапальский договор был заключен между РСФСР и Германией 16 апреля 1922 г. в г. Рапалло (Италия), во время международной Генуэзской конференции. Он означал окончание международной изоляции большевистской власти в России.

593. Имеется в виду Д.П. Святополк-Мирский.

594. Имеется в виду Б.А. Бахметев — профессор Политехнического института (1913), с июня 1917 г. по июнь 1922 г. — посол России в США. Через него американские власти осуществляли кредитование Временного правительства, а затем и белых правительств, на сумму не менее 50 млн. долларов. Позднее принял американское гражданство, стал профессором

Колумбийского университета. В.Л. Бурцев резко критиковал Б.А. Бахметева за то, что его поддержка распространялась на левые круги эмиграции. Вряд ли посол в США финансировал «Общее дело» В.Л. Бурцева и, тем более, пропускал через него крупные суммы.

595. К. Гельферих — дипломат, экономист, с 1908 г. директор Немецкого банка. Руководил немецкими финансами во время Первой мировой войны.

596. См.: *Милюков П.Н.* Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 150–151.

597. Прогрессивный блок появился в 1915 г.

598. Имеется в виду А. фон Эренталь, с 1906 г. министр иностранных дел Австро-Венгрии. Боснийский кризис возник после того, как Австро-Венгрия по договоренности с Россией аннексировала Боснию и Герцеговину, что признали другие европейские державы. Петербург же, рассчитывавший на изменение режима черноморских проливов (их открытия для военного флота России), не добился ожидаемого из-за позиции Лондона и Берлина. Таким образом, соглашение, заключенное между А.П. Извольским и А. Эренталем, закончилось дипломатическим поражением России. Следствием его стала отставка А.П. Извольского, которого сменил С.Д. Сазонов. Виновник же поражения отправился послом в Париж.

599. Секретный договор между Россией и Германией был подписан Николаем II и Вильгельмом II по инициативе немецкой стороны, на яхте у острова Бьорке (недалеко от Выборга). Благодаря усилиям В.Н. Ламздорфа и С.Ю. Витте, в ноябре 1905 г. Николай направил Вильгельму письмо, где обусловил вступление в силу подписанного соглашения присоединением к нему Франции (что исключалось). Таким образом, договор так и не был реализован. См. также примечание 119.

600. Речь идет об обвиненном в шпионаже в пользу Германии С.Н. Мясоедове и В.А. Сухомлинове. Супруга последнего, Е.В. Сухомлинова, также обвинялась в соучастии в «преступлениях» мужа, но на суде в 1917 г. была оправдана.

601. Имеется в виду книга: *Nekludoff A.* Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911–1917. L.: J. Murray, 1920. 541 p.

602. Суд над В.А. Сухомлиновым проходил с 10 августа по 14 сентября 1917 г. Несмотря на отсутствие фактических данных, бывший министр под давлением толпы был обвинен в неподготовленности армии к войне и 20 сентября 1917 г. приговорен к лишению всех прав состояния и бессрочной каторге. Каторгу заменили на тюремное заключение в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. При большевиках В.А. Сухомлинова амнистировали, как достигшего 70-летнего возраста, 1 мая 1918 г. (*Апушкин В.А.* Генерал от поражений В.А. Сухомлинов. Л., 1925. С. 120–126).

603. Речь идет о П.Н. Балашеве — депутате III и IV Государственной думы, лидере национальной фракции.

604. Польское коло — фракция в Государственной думе, в которую входило большинство депутатов, избранных от Польши (до 40). В 1907 г. из-за нового избирательного закона численность польских избранников резко сократилась, в III и IV Думах она не превышала 11 человек. И.И. Колышко преувеличивает значение коло в III Думе: депутаты-поляки старались не вмешиваться в русские дела, сосредоточившись исключительно на польских вопросах. В 1914 г. немногочисленные члены коло (7 депутатов) поддержали вступление России в войну, надеясь на то, что это побудит Петербург даровать Польше автономию. Позицию поляков можно определить как безусловную поддержку правительства, но никак не шовинизм.

605. В 1910 г. Совет министров решил выделить на государственную оборону дополнительно 1413 млн. руб. на 10 лет (по Военному министерству — 715 млн., по Морскому — 698 млн.) (Особый журнал Совета министров 24 февраля 1910 г. «О мерах к усовершенствованию государственной обороны и о порядке покрытия вызываемых сими мерами расходов» // Особые журналы Совета министров Российской империи. 1910 год. М., 2001. С. 128–137). Однако эта программа так и не была представлена в Думу, а в чрезвычайных статьях росписи с 1908 г. появились дополнительные расходы Военного

министерства (1908 г. — 52 023 590 руб., 1909 г. — 64 891 000 руб., 1910 г. — 50 000 руб.) (*Покровский И.П.* Государственный бюджет России за последние десять лет (1901–1910). СПб., 1911. С. 23, 25, 27). В начале 1913 г. Военное министерство претендовало на единовременный кредит в 350 млн. руб. и увеличение его ежегодного финансирования на 100 млн. руб. Но министр финансов В.Н. Коковцов, формально не возражая, предупредил: у него есть свободная наличность в 450 млн. руб., она вся и уйдет на вооружения, поэтому другим ведомствам об увеличении финансирования следовало забыть. Он также заметил, что плана совершенствования армии у В.А. Сухомлинова нет. Фактически это означало, что новых ассигнований в желательном генералам размере не будет. Кроме того, личные неприязненные отношения В.Н. Коковцова и В.А. Сухомлинова привели к тому, что денег на оборону выделялось, как правило, даже меньше обещанного. К.Ф. Шацилло на основании своих подсчетов утверждает, что к концу 1913 г. Военное министерство получило из общей суммы утвержденных на развитие армии (т.е. чрезвычайных) расходов всего лишь 37% (из запланированных до 1917 г. 1 055 812,3 тыс. руб. — 383 392,3 тыс. руб). (*Шацилло К.Ф.* От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. М., 2000. С. 336, 353–355). При таких условиях Думе даже при желании невозможно было проявить «шовинизм» и уж точно стать одной из виновниц войны.

606. Не воинская, а военная комиссия.

607. Н.Н. Янушкевич — генерал от инфантерии (1914), с 5 марта 1914 г. начальник Генерального (а не Главного) штаба, с началом войны — начальник штаба Верховного главнокомандующего. После отстранения великого князя Николая Николаевича и назначения его кавказским наместником занял должность его помощника по военным вопросам (18 августа 1915 г.).

608. Эта история была подробно изложена в воспоминаниях министра иностранных дел С.Д. Сазонова, чей рассказ, похоже, и использует И.И. Колышко (*Сазонов С.Д.* Воспоминания. Париж, 1927. С. 240–249).

609. Г.Е. Распутин находился в те дни на родине в селе Покровском, где излечивался после покушения на его жизнь Хионии Гусевой. Он призывал Николая II не воевать, но безуспешно.

610. Паника на петербургской фондовой бирже началась 12 июля 1914 г., на следующий день после предъявления ультиматума Австро-Венгрией Сербии. Государственный банк старался успокоить ситуацию, скупая через своих агентов дешевеющие акции. Утром 16 июля, после того, как Австро-Венгрия объявила войну Сербии, министр финансов П.Л. Барк прекратил операции на бирже по согласованию с банками и крупнейшими биржевиками (*Лизунов П.В.* Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703–1917 гг.). СПб., 2004. С. 453–455).

611. В.А. Маклаков — адвокат, видный деятель кадетской партии, лидер ее правого крыла.

612. Имеется в виду Энвер-паша, один из лидеров младотурок, инициатор союза с Германией и участия Турции в Первой мировой войне на стороне Берлина.

613. Беспорядки в Москве начались 26 мая 1915 г., их спровоцировали женщины, которым отказали в дополнительной подработке. Собравшись перед резиденцией генерал-губернатора, они начали винить в своих проблемах великую княгиню Елизавету Федоровну. На следующий день начались манифестации, разгромы лавок, магазинов, контор, фабрик, в том числе с человеческими жертвами. Власть опомнилась лишь 29 мая и жесткими мерами быстро подавила бесчинства. В погромах приняло участие не менее 100 тысяч человек. В ходе погромов пострадало 475 торговых предприятий, 207 квартир и домов, 113 германских и австрийских подданных и 489 русских подданных (с иностранными или похожими на иностранные фамилиями). Ущерб был нанесен многим российским, французским и английским фирмам и магазинам, иностранным консульствам и даже предприятиям, выполнявшим военные заказы. Общая сумма убытков составила более 50 млн. рублей. (*Гатагова Л.* Хроника бесчинств. Немецкие погромы в Москве в 1915 году // Ро-

дина. 2002. № 10. С. 18–23; *Кирьянов Ю.И.* «Майские беспорядки» в 1915 г. в Москве // Вопросы истории. 1994. № 12; С. 137–150; *Харламов Н.* Избиение в Первопрестольной. Немецкий погром в Москве в мае 1915 года // Родина. 1993. № 8–9. С. 127–133).

О немецком погроме в Петербурге см. также гл. XXII.

614. Имеется в виду И. Крёгер — инициативный предприниматель, создавший в 1920-х гг. огромную финансово-промышленную корпорацию, которая на самом деле являлась гигантской «пирамидой» и после гибели ее основателя (неясно, было ли это убийство или самоубийство) рассыпалась.

615. Далее, в гл. XXXIV И.И. Колышко прямо раскрывает криптоним М. — Малиняк.

616. Речь идет о Н.Д. Шубине-Поздееве, гласном Петербургской городской думы; в 1913 г. был избран городским головой, но не утвержден министром внутренних дел, вместо него головой стал И. И. Толстой.

617. Г. Гарбо — киноактриса.

618. Густав V Бернадотт в 1881 г. женился на Виктории, дочери великого герцога Баденского Фридриха I.

619. Аландские острова, населенные преимущественно шведами, в XIX в. вместе с Финляндией вошли в состав Российской империи. Конфликт разгорелся между жителями и финскими властями, стремившимися к насаждению всего финского, особенно языка. Проблема была разрешена лишь в 1917–1921 гг., когда острова остались в составе Финляндии, получив особый, автономный статус.

620. Мария Павловна (1890–1958) — дочь великого князя Павла Александровича, супруга шведского кронпринца Вильгельма (в 1913 г. они развелись). Причиной развода стал роман Марии с французским герцогом Монпансье. Позднее она вышла замуж за князя С. Путятина, после 1917 г. эмигрировала.

621. Речь идет об А.А. Савинском, в 1912–1913 гг. — посланнике в Швеции, в 1913–1915 гг. — посланнике в Болгарии.

622. *Nekludoff A.* Souvenirs diplomatiques; en Suède pendant la guerre mondiale, avec une préface de M. Gabriel Hanotaux. Paris, 1926.

623. В 1914–1916 гг. Россия вывезла в Англию золота на 643 млн. руб. Однако вопрос состоял не в «недоверии», а в желании Лондона пополнить свой золотой запас, который был самым скромным из стран Антанты. Для сравнения: долг России Англии за годы Первой мировой войны вырос со 180 тыс. руб. до 5 млрд. руб. (*Беляев С.Г.* П.Л. Барк и финансовая политика России 1914–1917 гг. СПб., 2002. С. 370, 375, 381).

624. П.Л. Барк жил в Лондоне с 1920 г., занимал должность советника управляющего банком Англии. Он также вел финансовые и имущественные дела эмигрировавших членов дома Романовых.

625. Речь идет об Эрнсте-Людвиге Гессенском, старшем брате императрицы Александры Федоровны, с 1892 г. великом герцоге.

626. В оригинале фраза звучит так: «Я уверен, что французы еще дадут себя знать свиньям пруссакам» (Александр Александрович — В.П. Мещерскому 10 (22) августа 1870 г. // Oxford Slavonic Papers. 1962. Vol. 10. P. 118).

627. Имеется в виду М.А. Сукенников. В начале 1930-х гг. в его руках оказался текст дневника императрицы Марии Федоровны за 1915 г., выборку из которого, касающуюся политических событий, он предлагал издать в «Последних новостях». Она составляла, вместе с комментариями самого М.А. Сукенникова, всего 40 машинописных страниц. Но, несмотря на решение П.Н. Милюкова принять предложение, сделка не состоялась (Письмо М.А. Сукенникова в редакцию «Последних ведомостей» от 11 мая 1933 г. // Hoover Institution on the War, Revolution and Peace. B. I. Nicolaevsky Collection. Box 644. № 37).

628. А.В. Неклюдов умер в 1934 г.

629. М. Эрцбергер — германский политический деятель, лидер католической партии центра в рейхстаге, в 1917 г. стал одним из лидеров оппозиции, участвовал в подписании Версальского мирного соглашения. Затем — министр финансов.

630. Имеется в виду П.К. Ренненкампф — генерал от кавалерии, в Первую мировую войну командовал 1-й армией Северо-Западного фронта. В августе 1914 г. во время наступления в Восточной Пруссии, вопреки приказу Ставки, не пришел на помощь 2-й армии под командованием А.В. Самсонова, из-за чего она была разбита. В октябре 1915 г. Ренненкампф был уволен в отставку.

631. А.А. Брусилов — генерал от кавалерии, в 1916 г. главком Юго-Западного фронта, провел успешное наступление, в ходе которого австро-венгерской армии было нанесено серьезное поражение: только пленными противник потерял около 500 тыс. человек.

632. Имеется в виду М.С. Гуревич — представитель общества «Мазут» в Варшаве, затем в Стокгольме.

633. Сам М. Эрцбергер очень кратко коснулся переговоров с «русскими» в Стокгольме в своих мемуарах. 28 марта 1917 г. он находился уже в столице Швеции, откуда послал письмо Т. Бетману-Гольвегу с напоминанием главе правительства о разговоре с ним, касающемся позиции России («...Мировая война может окончиться только великим мировым событием: <...> оно наступило теперь с русской революцией»). 29 марта Т. Бетман-Гольвег произнес в рейхстаге речь, нацеленную на склонение России к миру (ее текст был составлен М. Эрцбергером). Казалось, план замирения с Россией начинает действовать; М. Эрцбергер встретился в Стокгольме с «русскими» (имен их он не назвал). Однако в результате беседы он заключил, что мнение Петрограда о завершении войны было неустойчивым, и «дальнейшее выяснение положения могло быть достигнуто после возвращения русских знакомых и переговоров с ними». Тем не менее, участники встречи составили «проект заключения перемирия между Германией и Россией». Пока же положение выяснялось, на Т. Бетмана-Гольвега было оказано сильное давление, и 15 мая он произнес в рейхстаге воинственную речь, которая, по оценке М. Эрцбергера, «чрезвычайно понизила шансы на заключение мира с Россией» (*Эрцбергер М.* Германия и Антанта. Мемуары. М.; Пг., 1923. С. 204–207).

634. Речь идет о неудачных попытках П.Н. Милюкова убедить немецких представителей в Киеве оказать помощь и предоставить финансирование антибольшевистской интервенции. Эти переговоры не поддержали другие кадетские лидеры, П.Н. Милюков в знак протеста отказался от обязанностей председателя партии.

635. Впервые воспоминания о том, как ставилась пьеса «Большой человек», И.И. Колышко опубликовал в 1930 г. (*Баян.* Как я ставил свои пьесы // Мир и искусство (Париж). 1930. № 7. С. 10; № 8. С. 8–9).

636. Наташа — Н. Тхоржевская.

637. Этим цензором был, по-видимому, Н.В. Дризен. Сохранилось письмо И.И. Колышко к нему, в котором публицист по просьбе цензора напомнил ему обстоятельства разговора по поводу пьесы «Большой человек». Главная претензия состояла в том, что в героях И.И. Колышко легко угадываются С.Ю. Витте и его супруга, благодаря «беспринципности и неразборчивости в средствах борьбы» графа. Задача же цензуры — «не допускать изображения на сцене живых гос[ударственных] деятелей». Разумеется, И.И. Колышко отрицал сходство (И.И. Колышко — Н.В. Дризену 6 декабря [1908 г.] // ОР РНБ. Ф. 263. Оп. 1. № 175. Л. 2–2 об.).

638. Б.С. Глаголин (Гусев) в 1908 г. играл Жанну Д'Арк в «Орлеанской девственнице», эта работа актера наделала немало шума, но позже была признана удачной.

639. О происхождении М.И. Витте имеется мало достоверной информации. Согласно книге некого И.Н. Бродского (вероятно, это псевдоним), изданной в 1909 г., в которой в художественной манере с большим знанием дела повествуется о ранней (доминистерской) биографии С.Ю. Витте, отец Матильды — Янкель Абрамович Нурок — перебрался в Петербург во второй половине 1870-х гг. из Бердичева. Сначала он держал часовую мастерскую, но вскоре сумел организовать «дом свиданий» для великосветской публики, хорошо известный в столице (*Бродский И.Н.* Наши министры. Быль недавних прошлых дней. СПб., 1909. С. 118–136).

640. П.Г. Баратов оставил воспоминания о том, как он играл Ишимова в «Большом человеке». Актер представлял С.Ю. Витте, так как публика ждала именно его, а не некого анонимного сановника. П.Г. Баратов, встречавшийся с прототипом своего героя два-три раза, воспроизводил фигуру графа, его походку, манеру держаться (*Баратов П.Г.* Суворинский театр // Новое русское слово. 1946. 4 мая. № 12424. С. 4).

641. К.А. Варламов — актер, его отличительной особенностью была импровизация. Несмотря на то, что в 1880-е гг. он заболел и мог играть преимущественно сидя, К.А. Варламов был любимцем публики.

642. «Вертер» — роман И.-В. Гете (1774 г.), повествующий о трагическом конце молодого бюргера, влюбленного в невесту своего друга, покончившего жизнь самоубийством после их свадьбы.

643. Литературой И.И. Колышко занялся в начале 1880-х гг. — задолго до того, как попал в окружение С.Ю. Витте.

644. «Любовник леди Чаттерлей» — роман Д. Лоуренса.

645. «Мадам Бовари» — роман Г. Флобера.

646. Русское слово. 1914. 10 мая.

647. Имеется в виду акционерное общество Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода, созданное в 1873 г. П.О. Губониным.

648. Рассказ И.И. Колышко относится, по всей видимости, к 1913 г., когда новый министр внутренних дел Н.А. Маклаков, которого поддерживал вновь вошедший в фавор у Николая II В.П. Мещерский, затеял при поддержке князя и с одобрения царя, большую политическую интригу. Ее целью была отставка В.Н. Коковцова с поста премьера, роспуск Государственной думы и общий поворот курса вправо. С.Ю. Витте, который был в курсе дела, надеялся на то, что успех интриги может вернуть его к власти. Но надежды графа были безосновательны. Подробнее об этом см.: *Дякин В.С.* Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Л., 1988. С. 157–161.

649. Под «деловитостью» Н.А. Некрасова и В.И. Панаева И.И. Колышко, вероятно, имеет в виду профессиональную игру в карты на деньги.

650. «Вечернее время» — столичная ежедневная газета, выходившая в 1911–1917 гг. Официальным редактором газеты был Б.А. Суворин.

651. Никаких сведений о связях Л.Д. Троцкого с немцами до конца 1917 г. нет.

652. И.И. Колышко пересказывает свой диалог с П.Н. Милюковым, состоявшийся в редакции «Последних известий» в конце 1932 г.

653. Статья 108 Уголовного уложения (1903 г.) разъясняла понятие государственной измены и предусматривала наказание в виде каторги от 15 лет, а также смертную казнь за шпионаж.

654. М.Ю. Козловский в июле-августе 1917 г. находился под арестом по подозрению в измене (получение денег от немцев на революционную пропаганду). Следствие стремилось доказать, что он получал крупные суммы денег от Е.М. Суменсон для большевиков.

Е.М. Суменсон — двоюродная сестра Я.С. Ганецкого, осуществляла финансовые операции между Петроградом и Стокгольмом. После ареста Временным правительством 8 июля 1917 г. дала признательные показания, послужившие для обвинения большевиков в связях с немцами.

655. Промесса — обязательство обменять выигрышную облигацию на другую или на деньги на определенных условиях.

656. Статья 443 Устава уголовного судопроизводства гласит: «За исключением случаев, означенных в предшедшей (442) статье, судебный следователь не приводит свидетелей к присяге, но предупреждает их, что в суде они могут быть спрошены под присягою, и внушает им о необходимости показать всю правду, по чистой совести».

657. Так назывался Предпарламент, совещательный орган при Временном правительстве. Создан 20 сентября на Демократическом совещании как представительный орган всех российских партий.

658. П.Н. Милюков был министром иностранных дел по 1 мая 1917 г. А.И. Гучков подал в отставку 30 апреля 1917 г.

659. 4 апреля 1917 г. (по новому стилю) В.И. Ленин при посредничестве швейцарского социал-демократа Ф. Платтена достиг соглашения с немецким МИДом о пропуске 32 русских революционеров в опломбированном вагоне из Швейцарии через Германию в Швецию, чтобы оттуда въехать в Россию. 9 апреля эмигранты выехали из Цюриха, а 13 апреля они прибыли в Стокгольм. В Петрограде эмигранты появились 16 (3) апреля.

660. Первое коалиционное правительство было создано в России после кризиса 18 апреля (1 мая) 1917 г.

661. Дело Дрейфуса — процесс о шпионаже, главным обвиняемым на котором был офицер французского Генерального штаба Альфред Дрейфус (еврей по национальности). В 1894 г. А. Дрейфус был признан виновным в государственной измене и осужден на пожизненную ссылку в Кайенну. Однако сомнительность доказательств и наличие другого подозреваемого — майора Эстерхази — привели к тому, что в 1898 г. во Франции благодаря Э. Золя вспыхнула широкая общественная кампания, требовавшая пересмотра «дела Дрейфуса». В 1906 г. А. Дрейфус был признан полностью невиновным.

662. Такой главы нет. Возможно, И.И. Колышко имел в виду главу XXXIII «Исповедь. [Pro domo suo]».

663. Б.В. Никитин всего лишь написал, что И.И. Колышко, остановившись в Европейской гостинице, «начинает вести свой обычный широкий трэн» (*Никитин Б.* Роковые годы (новые показания участника). Париж, 1937. С. 64).

664. Образ (франц.).

665. Деканировать — сливать чистую воду, оставляя осадок.

666. Онкольный счет — текущий счет в банке, открываемый под залог ценных бумаг.

667. И.И. Колышко ни слова не говорит о том, что контрразведка зафиксировала его встречи с неким Степиным — бывшим агентом фирмы «Зингер», большевиком, который активно занимался вербовкой рабочих и солдат для участия в демонстрациях, в том числе и за деньги. Б.В. Никитина также поразило наличие одинаковых пунктов о самостоятельности Финляндии и Украины в планах мира с Германией, принадлежавших В.И. Ленину и И.И. Колышко (*Никитин Б.В.* Роковые годы (новые показания участника). Париж, 1937. С. 71).

668. *Колышко И.И.* Записки юнкера. Повесть в 2-х частях. СПб., 1890.

669. И.И. Колышко явно преувеличивает популярность «Русского слова».

670. Рогдай — богатырь, упоминаемый в Никоновской летописи. Его имя также носит один из персонажей поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

671. По-видимому, И.И. Колышко имеет в виду ряд жестких мер Л.А. Кассо по пресечению революционной агитации в среде учащихся. Для этого из университетов были изгнаны многие неугодные профессора, а также проведена чистка среди студентов.

672. *Колышко И.И.* Пыль. Сборник политических статей 1907–1912. М., 1913. 232 с.

673. Имеется в виду Е.Д. Кускова — публицист, участвовала в либеральном движении в России с конца XIX в., была знакома с М. Горьким, но относилась к нему без особого уважения.

674. Журнал «Новый путь» (1903–1904 гг.) возник как продолжение идеи «Религиозно-философского общества».

675. И.И. Колышко путает «Синюю книгу» З.Н. Гиппиус (петербургский дневник 1914–1917 гг.) и интеллигентский кружок «Зеленая лампа», который она вместе с Д.С. Мережковским основала в 1926 г. уже в эмиграции.

676. После князя А.Д. Оболенского Святейший Синод в правительстве И.Л. Горемыкина возглавил А.А. Ширинский-Шихматов. 9 июля 1906 г. это правительство было отправлено в отставку, а Синод возглавил П.П. Извольский, родной брат министра иностранных дел.

677. *Крымов В.П.* Бог и деньги. Эпизоды нескольких жизней. Берлин, 1926.

678. «Бродячая собака» — артистическое кафе, существовавшее в 1912–1915 гг.

679. Речь идет о К. Брантинге.

680. Имеется в виду М. Валленберг — один из богатейших людей Швеции, имел обширные связи в деловых кругах Европы и США. Министр иностранных дел Швеции

681. Речь идет о Г. Стиннесе.

682. Имеется в виду Э. Вандервельде — бельгийский социалист, один из лидеров II Интернационала, с 1900 г. — председатель его Международного социалистического бюро. С 1914 г. входил в бельгийское правительство.

683. В. Ратенау — немецкий промышленник, министр иностранных дел Германии (1922 г.), 18 апреля 1922 г. подписал Раппальский договор с Советской Россией.

684. Имеется в виду А. фон Тирпиц.

685. И.И. Колышко имеет в виду назначение Ф. Фоша начальником генерального штаба французской армии 15 мая 1917 г.

686. Вероятно, описка — имеется в виду Ганецкий (Фюрстенберг).

687. А.Л. Парвус умер 12 декабря 1924 г. в Берлине.

688. Имеется в виду Фердинанд Кобургский.

689. *Nekludoff A.* Diplomatic Reminiscences before and during the World War, 1911–1917. L., 1920. P. 414.

690. Ibid. P. 358–367.

Указатель имен

Содержане

И. И. Колышко

Великий распад
Воспоминания

Корректор *П. Ильин*
Компьютерная верстка *Л. Философова*
Дизайн обложки *Т. Иванова*

Подписано в печать 02.07.09. Формат 60×84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Petersburg
Усл. печ. л. 29. Тираж . Заказ №

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7
тел.: (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел.: (812)622-01-23